Осип Мандельштам

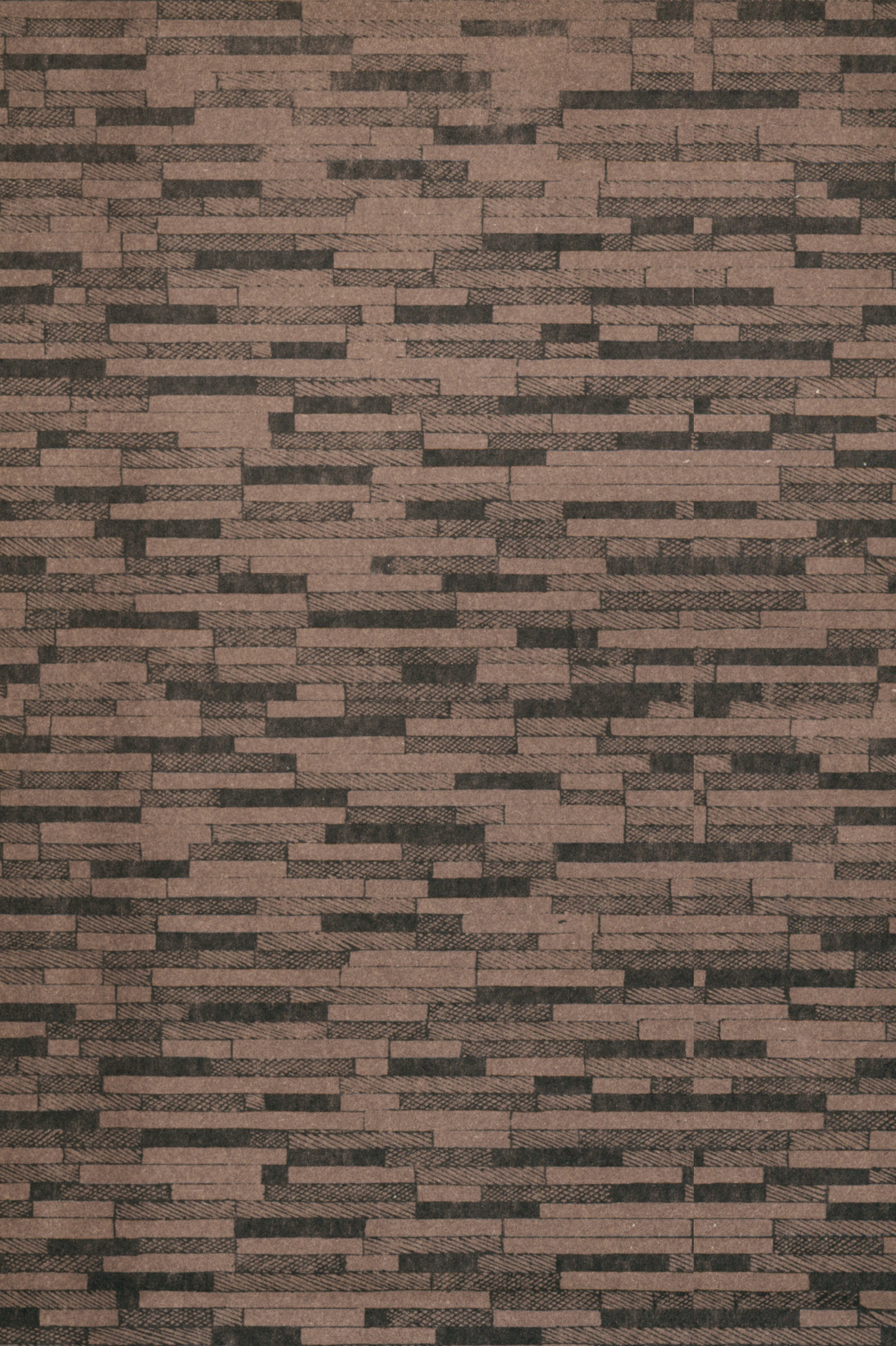
1

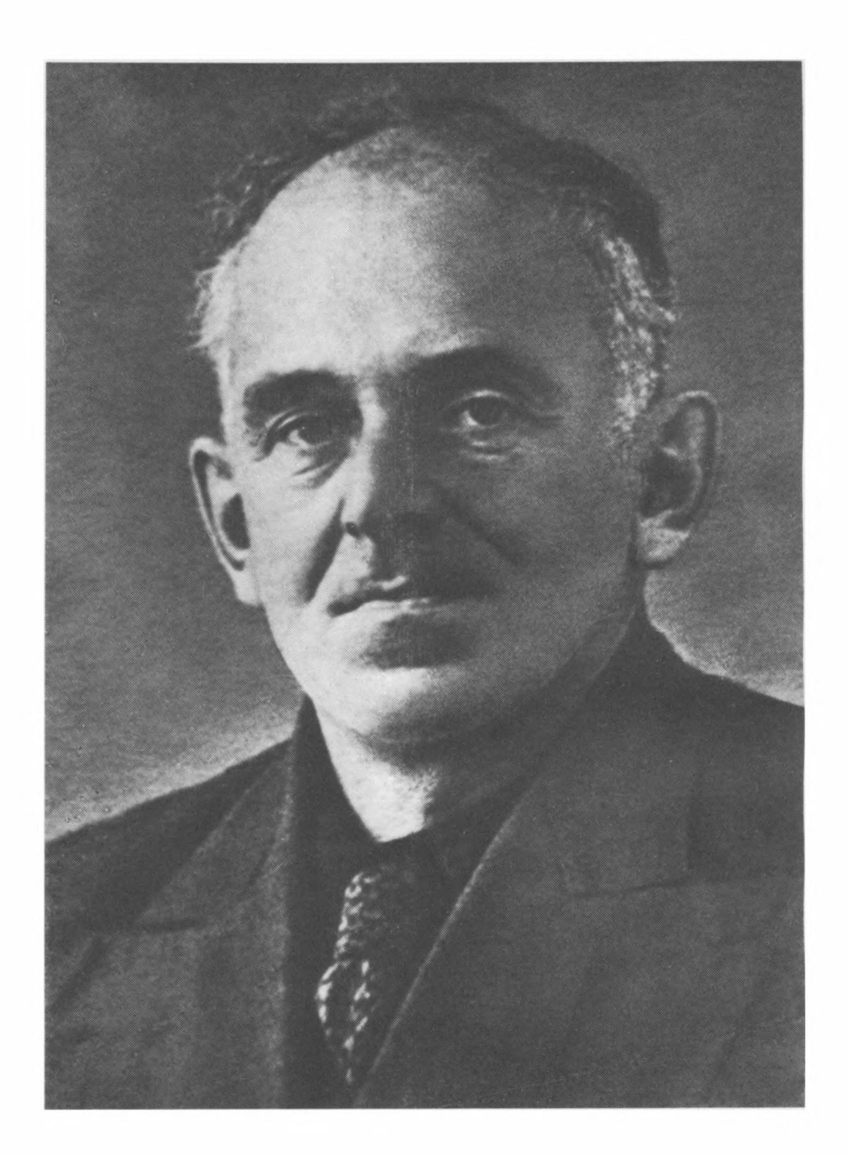
О с и п
Мандельштам

Сочинения

Том первый

1





Осип Мандельштам

Сочинения

в двух томах



Осип Мандельштам

Сочинения в двух томах

Москва «Художественная литература» 1990

Осип Мандельштам

Сочинения Том первый

Стихотворения Переводы

Москва «Художественная литература» 1990

ББК 84Р7
М23

Составление
П. М. НЕРЛЕРА

Подготовка текста и комментарии
А. Д. МИХАЙЛОВА И П. М. НЕРЛЕРА

Вступительная статья
С. С. АВЕРИНЦЕВА

Оформление художника
В. И. ЛЕВЕНСОНА

М $\frac{4702010202\text{-}124}{028(01)\text{-}90}$ 49-89

ISBN 5-280-00559-2 (Т. 1)
ISBN 5-280-00560-6

СУДЬБА И ВЕСТЬ ОСИПА МАНДЕЛЬШТАМА

Прямизна нашей речи не только пугач для детей,
Не бумажные дести, а вести спасают людей *.

Весть летит светопыльной обновою,
И от битвы вчерашней светло.

В письме Мандельштама к Тынянову от 21 января 1937 года, таком судорожном и трудном, написанном поистине de profundis, из глубины, из бездны,— есть слова: «Вот уже четверть века, как я, мешая важное с пустяками, наплываю на русскую поэзию, но вскоре стихи мои сольются с ней, кое-что изменив в ее строении и составе».

Ничего не скажешь — все исполнилось, все сбылось. Предсказание воронежского ссыльного оправдано временем. Стихов его невозможно отторгнуть от полноты русской поэзии. Сдвиги «в ее строении и составе» необратимы — след алмазом по стеклу, как Мандельштам выразился однажды о воздействии Чаадаева. Масштаб мандельштамовского творчества — объективно уже вне споров. Другое дело, что всегда, может быть, будут люди, которых Мандельштам просто раздражает; что же, в его мысли, в его поэзии, во всем его облике и впрямь есть нечто царапающее, задевающее за живое, принуждающее к выбору между преданностью, которая простит все, и нелюбовью, которая не примет ничего. Отнестись к нему «академически», то есть безразлично,— не удается. Прописать бесприютную тень бесприютного поэта в ведомственном доме отечественной литературы, отвести для него нишу в пантеоне и на этом успокоиться — самая пустая затея. Уж какой там пантеон, когда у него нет простой могилы, и это очень важная черта его судьбы. Что касается **литературы,** не будем забывать, что в его лексиконе это слово бранное: отчасти вслед за дорогим ему Верленом [1], но куда резче Верлена и с другими акцентами. «Было два брата Шенье — презренный младший весь принадлежит литературе, казненный старший сам ее казнил». У нас еще будет случай подумать и

---

* Все эпиграфы, приводимые во вступительной статье, взяты из произведений О. Э. Мандельштама.

[1] Как известно, в поэтическом манифесте Верлена описание того, чем должна быть поэзия, завершается словами: «Все прочее — литература» (пастернаковский перевод, в случае этой строки точный до буквальности).

поговорить о смысле этой фразы; а пока будем помнить поразительный факт: бытие поэта понято Мандельштамом как смертельная борьба не с «литературщиной», а с литературой, то есть именно с тем, говоря по-соловьевски, отвлеченным началом, которое берется благодушно узаконить поэзию — и через это благополучно нейтрализовать ее. Вот перспектива, перед лицом которой поэт — «оскорбленный и оскорбитель».

Сказав о песни, о своей песни: «утеха для друзей»,— Мандельштам недаром поспешил добавить: «и для врагов — смола». По правде говоря, не одним врагам с ним нелегко. Лермонтов у него назван — «мучитель наш»; не раз возникает искушение — переадресовать эти слова ему самому. Если он нас измучил — каково же с ним тем, кто выбрал нелюбовь к нему? Положительно, без темных лучей вражды спектр того ореола, в котором является нам мандельштамовская поэзия, неполон. Если эти лучи погаснут, если Мандельштам перестанет тревожить и озадачивать, это будет плохая примета, знаменующая окончательную победу отношения к его поэзии не как к **вести**, а как к **вещи**: утехе уже не для друзей, а для коллекционеров. Но пока этого не случилось — голос вражды вместе с иными голосами по-своему свидетельствует о значении присутствия Мандельштама в нашей культуре и нашей жизни.

Об этом — уже не имеет смысла спорить. Но все, что касается облика поэта и характера его поэзии,— область содержательных разногласий [1]. А как поляризуются черты личности в изображении мемуаристов! Воспоминания Н. Я. Мандельштам и А. А. Ахматовой, отчасти Б. С. Кузина и Н. Е. Штемпель дают монументальный образ, в котором к реальности ничего, в общем, не прибавлено, но вот кое-какие «случайные черты», как это называлось у Блока,— стерты. Напротив, именно демонументализирующие, дегероизирующие черты выходят на передний план в записях Э. Г. Герштейн, сила и слабость которых — в отсутствии пропорций, то есть сортировки материала. Но даже у Надежды Мандельштам и Кузина социальная позиция поэта в одни и те же годы выглядит совершенно различно, а интерпретаторы разводят линии еще дальше — на одном полюсе творится либерально-гражданственная легенда о поэте, чуть ли не главной заслугой которого оказывается обличение сталинизма,— на другом, как у Г. Фрейдина, все гражданские мотивы мандельштамовской поэзии без остатка сводятся к игре, к «театру для самого себя», к инсценировке импровизируемой мистерии на тему обреченности избранника. Читатель нашего двухтомника убедится, что споры об этом непосредственно затрагивают

---

[1] Далеко не полный перечень важнейших работ о Мандельштаме, постоянно используемых или служащих предметом подразумеваемого спора на протяжении статьи: Brown Clarence. Mandelstam. Cambridge, 1973; Тоддес Е. А. Мандельштам и Тютчев. International Journal of Slavic Linguistics and Poetics. 17 (1974); Taranovsky Kiril. Essays on Mandelstam. Harvard, 1976; Ronen Omry. An approach to Mandelstam. Jerusalem, 1979; Dutli Ralph. Ossip Mandelstam. Dialog mit Frankreich. Zürich, 1985; Freidin Gregory. A Coat of Many Colours. Osip Mandelstam and his mythologies of self-presentation. Berkeley — Los Angeles — London, 1987; Струве Н. А. Осип Мандельштам. London, 1988.

конкретнейшую текстологическую практику — как в случае последней строки стихотворения «Если б меня наши враги взяли...». То же — с отношением Мандельштама, что называется, к культурному наследию; проблема в его случае важная, недаром же хрестоматийной стала мандельштамовская формула об акмеизме как «тоске по мировой культуре», но прийти к согласию хотя бы о подходе к этой проблеме не получается. Одни интерпретаторы склонны априорно ожидать от поэта в каждой строке чудес эрудиции, другие, напротив, ссылаются на отложившиеся в анекдоты отголоски пересудов о пробелах в его познаниях, задают провокационные вопросы, вроде такого, например: а дочитал ли он до конца хоть «Федру» Расина, ту «знаменитую «Федру» — «Я не увижу знаменитой «Федры»...», — которую возвел в ранг одного из абсолютных ориентиров вкуса и нескончаемыми аллюзиями на которую в таком изобилии насыщал свои стихи и прозу? Ну, положим, именно этот вопрос основан на довольно простеньком недоразумении[1]; однако в целом колебание образа Мандельштама между фигурой умника-историософа, вложившего в хитрые шифры метафорики страх как много премудрости, и фигурой идиотического невежды, не способного заинтересоваться ничем, кроме капризов сюрреалистического воображения, которое отдано в безраздельную власть самых случайных созвучий (хотя бы у С. В. Поляковой), — очень характерно.

Несогласуемые между собой, несводимые воедино представления о Мандельштаме — словно проекции трехмерного тела на плоскость. (Еще нужно проверить, разумеется, насколько точно снята каждая из проекций, но это уже другой вопрос.) Чтобы получить три измерения, восставляют к прямой — перпендикуляр, проводят через две прямые плоскость, а затем восставляют новый перпендикуляр, на сей раз — уже к плоскости. Поэзия, по Мандельштаму, — пространство даже не трехмерное, а четырехмерное. Можно понять, что поэт только и занимается восставлением «перпендикуляров», что он весь — поперек и наперекор самому же себе («себя губя, себе противореча...»), и что это — не только от странностей психологии, от извилин биографии, но прежде всего потому, что иначе ему не освоить полноты измерений своего мира. По крайней мере, таков поэт мандельштамовского склада. У других поэтов, даже подлинных, мы найдем и однолинейную динамику порыва, и красоты, остающиеся на плоскости; у Мандельштама — не найдем или почти не найдем, и это сближает его с самыми большими из его собратьев, с его любимым Данте, с его Пушкиным и Тютчевым. А так как, по извечному закону, расплачивается за поэта — человек, не приходится удивляться обилию «перпендикуляров» и «углов», разрывов и контрастов в человеческом бытии Мандельштама. Можно было бы понять, в чем дело, из поэзии самой по себе, даже не вспоминая о

[1] В отброшенном варианте одной строки из поэтического портрета Ахматовой («Вполоборота, о печаль...») Федра была названа «отравительницей»; это нормальный для поэтики Мандельштама способ соединять данные традицией сюжеты в единый метасюжет (см. ниже о стихотворении «Домби и сын»).

свойствах психофизического склада и, что важнее, о свойствах времени. Но те и другие свойства, конечно, сделали свое, чтобы осложнить жизнь человеку — и чтобы сполна и без остатка, но преобразованными, преображенными, проясненными войти в поэзию.

* * *

Как облаком сердце одето
И камнем прикинулась плоть,
Пока назначенье поэта
Ему не откроет Господь.

2/14 января 1891 года у Эмиля Вениаминовича и Флоры Осиповны Мандельштам родился старший из трех сыновей — Осип. Вспомним: 1889 — год рождения Ахматовой, 1890 — Пастернака, 1892 — Цветаевой.

Со временем будет сказано:

...Я рожден в ночь с второго на третье
Января в девяносто одном
Ненадежном году — и столетья
Окружают меня огнем.

А тогда XIX век шел к своему концу, и чего-чего — а огня в нем не чувствовалось. «Неподвижные газетчики на углах, без выкриков, без движений, неуклюже приросшие к тротуарам, узкие пролетки с маленькой откидной скамеечкой для третьего, и, одно к одному,— девяностые годы слагаются в моем представлении из картин разорванных, но внутренно связанных тихим убожеством и болезненной, обреченной провинциальностью умирающей жизни» («Шум времени»). Тихое убожество и обреченная провинциальность — в поэзии выражением их была надсоновщина, в явление которой Мандельштам будет со временем вглядываться и вслушиваться уже с гигантской дистанции, как в «загадку русской культуры», в «непонятый ее звук», но которая успела положить свою тень на его полудетские стихотворные опыты, решительно ничем не предвещавшие того, что будет писать юноша, не говоря уже о взрослом человеке: нормальные образцы народнической лиры.

Отец Мандельштама — странный, причудливый человек, погруженный в изобретение своей, как он выражался, «маленькой философии», тянувшийся к культуре, но не получивший образования; по выражению Н. Я. Мандельштам, он «был не фантазером, а фантастом, вернее, фантасмагорией». Торговля кожей доставила ему возможность жить с семьей в Петербурге, но шла незадачливо — мешала сумасшединка. «У отца совсем не было языка, это было косноязычие и безъязычие. Русская речь польского еврея? — Нет. Речь немецкого еврея? — Тоже нет. Может быть, особый курляндский акцент? — Я таких не слышал. Совершенно отвлеченный, придуманный язык, витиеватая и закрученная речь самоучки, где обычные слова переплетаются со старинными философскими терминами Гердера, Лейбница и Спинозы, причудливый

синтаксис талмудиста, искусственная, не всегда договоренная фраза — это было все что угодно, но не язык, все равно — по-русски или по-немецки». На это безумие с тихим испугом смотрела мать поэта — родственница известного историка литературы С. А. Венгерова, тип еврейки в русской интеллигенции. «Речь матери, ясная и звонкая, без малейшей чужестранной примеси, с несколько расширенными и чрезмерно открытыми гласными, литературная великорусская речь; словарь ее беден и сжат, обороты однообразны,— но это язык, в нем есть что-то коренное и уверенное. Мать любила говорить и радовалась корню и звуку прибедненной интеллигентским обиходом великорусской речи. Не первая ли в роду дорвалась она до чистых и ясных русских звуков?»

От матери мальчик унаследовал, наряду с предрасположенностью к сердечным заболеваниям и музыкальностью, обостренное чувство звуков русского языка. От матери были русские книги в книжном шкафу, которому посвящена целая глава «Шума времени», и оторопь перед мозговым вывертом отца. Но свойство «косноязычия» воспринимается как свойство семьи в целом. Атмосфера родительского дома насыщена напряжением невыговоренного и невыговариваемого. «Что хотела сказать семья? Я не знаю. Она была косноязычна от рождения — а между тем у нее было что сказать».

Здесь Мандельштам называет очень важный воспитующий фактор своих начальных лет. Возможно, и то, и другое — и «было что сказать», и «косноязычие» — преувеличены восприятием отпрыска, призванного своим дарованием к борьбе за слово. Преувеличены — но не выдуманы. Ему достается странное, трудное наследство: не речь, а неутоленный порыв к речи, рвущийся через преграду безъязыкости. Речь необходимо завоевать, безостановочно расширяя границы выговариваемого, «прирожденную неловкость» нужно одолеть «врожденным ритмом». «Какая боль — искать потерянное слово»... Энергетический источник разогревания слова у Мандельштама — именно боль, неутоленность, воспаленная, не дающая покоя жажда. Три рода косноязычия сливаются в единстве биографического импульса. Это безъязыкость евреев, входящих в русскую речь извне, с усилием; недаром о матери сказано, что она до русской речи — «дорвалась». Это общая безъязыкость надсоновской поры, когда старые возможности языка до предела исчерпаны, а к поискам новых никто покуда не догадывается приступить. И это, наконец, особая безъязыкость будущего поэта, которому отродясь заказано благополучное пользование готовым языком, потому что он призван к иному: безобразие гадкого утенка — будущего лебедя.

И над этой тройной невнятицей — видение властной, повелительной гармонии: петербургская архитектура (семья перебралась в Павловск, «российский полу-Версаль», затем в столицу). Мандельштам будет вспоминать: «...семи или восьми лет, весь массив Петербурга, гранитные и торцовые кварталы, все это нежное сердце города, с разливом площадей, с кудрявыми садами, островами памятников, кариатидами Эрмитажа, таинственной Миллионной, где не было никогда прохожих и среди мраморов затесалась всего одна мелочная лавочка, особенно же арку Главного штаба, Сенатскую площадь и голландский Петербург я

считал чем-то священным и праздничным». Как в «Медном всаднике» Пушкина, и в повседневном обиходе, в наивности детского восприятия архитектура была неотделима от военных имперских торжеств; так в жизнь Мандельштама вошла тема государственности, жесткой и стройной, тема «Рима». «Не знаю, чем населяло воображение маленьких римлян их Капитолий, я же населял эти твердыни и стогны каким-то немыслимым и идеальным всеобщим военным парадом». Но, еще раз как в «Медном всаднике», бранно-архитектурное имперское великолепие требует противовеса; ему идет быть увиденным глазами человека, которому оно, собственно, не по чину, для которого оно — в чужом пиру похмелье. Державный блеск «очень плохо вязался с кухонным чадом средне-мещанской квартиры, с отцовским кабинетом, пропахшим кожами, лайками и опойками, с еврейскими деловыми разговорами». Между еврейскими истоками мальчика в Петербурге и тем, что развертывается перед его глазами,— неразрешенный диссонанс, описываемый по аналогии с тютчевской антитезой дня как покрова и ночи как утаенной этим покровом бездны. «Весь стройный мираж Петербурга был только сон, блистательный покров, накинутый над бездной, а кругом простирался хаос иудейства, не родина, не дом, не очаг, а именно хаос, незнакомый утробный мир, откуда я вышел, которого я боялся, о котором смутно догадывался и бежал, всегда бежал».

Заметим, что в этом бегстве, намечающем важное для мандельштамовской поэзии противоположение родимого и страшного «утробного мира» — и «тоски по мировой культуре», продолжен порыв, гнавший в свое время отца «самоучкой в германский мир из талмудических дебрей» и приведший мать в российско-интеллигентскую среду, так что для нее и мир отца представлялся допотопным «хаосом». Порыв этот, как можно догадываться, определял воспитательную стратегию матери. «Насколько я понимаю,— замечает в своих воспоминаниях Н. Я. Мандельштам,— мать только и делала, что ограждала сыновей от отца. Она возила их на дачи и на курорты, выбирала для них гимназии — и очень умно, поскольку старшего отдала в Тенишевское, нанимала гувернанток, словом, старалась создать для них обычную обстановку интеллигентской семьи» («Вторая книга»).

Тенишевское коммерческое училище, учеником которого Осип Мандельштам был в 1900—1907 годах,— одна из лучших школ тогдашней России. Как в детстве — петербургская архитектура и петербургские парады, так в отрочестве — Тенишевское училище было образом строгого и ясного рационального порядка, однако в ином варианте, менее праздничном, более интеллигентски-аскетическом, умно-стускленном. «...А все-таки в Тенишевском были хорошие мальчики. Из того же мяса, из той же кости, что дети на портретах Серова. Маленькие аскеты, монахи в детском своем монастыре, где в тетрадках, приборах, стеклянных колбочках и немецких книжках больше духовности и внутреннего строю, чем в жизни взрослых». Таков был фон двух формирующих переживаний: именно тогда в сознание отрока вошли — во-первых, революция, во-вторых, та стихия, которую Мандельштам назовет «литературной злостью».

Первая русская революция вместе со всеми событиями, непосредственно ее подготовившими и непосредственно за ней последовавшими, для мандельштамовского поколения совпала со вступлением в жизнь, явилась как бы «инициацией»: вспомним поэму Пастернака «Девятьсот пятый год». Парадоксальным, но понятным образом революция была пережита в отроческих восторгах тенишевца как обновляющая метаморфоза все той же архитектурно-имперской «славы», которая «переехала», сменила свое место в жизни, оставив защитников режима и перейдя к его противникам. «Мальчики девятьсот пятого года шли в революцию с тем же чувством, с каким Николенька Ростов шел в гусары: то был вопрос влюбленности и чести. И тем, и другим казалось невозможным жить не согретыми славой своего века, и те, и другие считали невозможным дышать без доблести». Это — для чувства; для ума — необходимость выбрать между социал-демократами и социалистами-революционерами. Марксизм импонировал мальчику Мандельштаму своей «архитектурностью» — как противоположность народнической «расплывчатости мироощущения»; однако под влиянием семьи Синани (врач и душеприказчик Глеба Успенского Борис Наумович Синани, чей рано умерший сын был товарищем Мандельштама по Тенишевскому) будущий поэт сближается с эсерами. Весной 1907 года он произносит пламенную речь перед рабочими квартала по случаю событий, касавшихся Государственной думы; в самом конце года, уже окончив Тенишевское, он будет слушать на собрании русских политических эмигрантов в Париже речь Савинкова, поражая присутствующих своей впечатлительностью. «Главным оратором на собрании был Б. В. Савинков,— вспоминает М. М. Карпович.— Как только он начал говорить, Мандельштам весь встрепенулся, поднялся со своего места и всю речь прослушал, стоя в проходе. Слушал он ее в каком-то трансе, с полуоткрытым ртом и полузакрытыми глазами, откинувшись всем телом назад,— так что я даже боялся, как бы он не упал». Явственные отголоски настроений этого периода мы будем встречать и много, много позднее: непростая диалектика отношения Мандельштама к народническо-эсеровской традиции — важная составляющая его мировосприятия. Но тогда, на переломе от отрочества к юности, он оставил политику ради поэзии. В 1910 году его новый друг С. П. Каблуков, секретарь Санкт-Петербургского религиозно-философского общества и знаток православной церковной музыки, запишет о нем в дневнике: «Теперь стыдится своей прежней революционной деятельности и призванием своим считает поприще лирического поэта».

В мир русской поэтической традиции, как и в мир новой, то есть символистской, эстетической культуры, Мандельштама ввел тенишевский учитель словесности Владимир Васильевич Гиппиус, печатавшийся под псевдонимами «В. Бестужев» и «В. Нелединский», довольно слабый поэт, но человек острого и глубокого ума, одаренный критик, а если верить мандельштамовской характеристике — и прирожденный педагог, «формовщик душ». У него можно было учиться «литературной злости» — тонусу страстного и пристрастного отношения к поэтическому слову. «Начиная от Радищева и Новикова, у В. В. устанавливалась уже

личная связь с русскими писателями, желчное и любовное знакомство, с благородной завистью, ревностью, с шутливым неуважением, кровной несправедливостью, как водится в семье». Даже если бы мы не знали юношеского письма, в котором ученик объясняется в любви-ненависти к своему учителю, по одной только заключительной главе «Шума времени», специально посвященной В. Гиппиусу, было бы ясно, как много значил в жизни Мандельштама этот человек.

После окончания Тенишевского училища происходят те немногие встречи Мандельштама с Западной Европой, эхо которых звучит в его поэзии вплоть до стихотворения «Я молю как жалости и милости...», написанного в марте 1937 года: с октября 1907 по лето 1908 года он живет в Париже, после этого путешествует по Швейцарии с однодневным заездом в Геную; второе путешествие на Запад (два семестра в Гейдельбергском университете, посвященные романской филологии, с новыми поездками в Швейцарию и Италию)—с осени 1909 по весну 1910 года; третье, и последнее,—в пригород Берлина Целендорф с 21 июля 1910 по середину октября того же года. В сумму архитектурных впечатлений Мандельштама входит европейская готика, которой суждено было стать важнейшим значащим компонентом мандельштамовской образной системы (занятия старофранцузской поэзией в Гейдельберге подбирали к той же готике словесные, историко-литературные ассоциации).

В перерывах между поездками юноша посещает знаменитую «Башню» Вячеслава Иванова—средоточие таинств и торжеств символистской культуры. Из Гейдельберга он посылает Иванову письма, странно сочетающие с ломкой мальчишеской заносчивостью тона—неожиданную зрелость и уверенность мысли. Но еще больше зрелости и уверенности—в стихах восемнадцатилетнего Мандельштама, приложенных к письмам. Это уже настоящие стихи.

В девятой, августовской, книжке журнала «Аполлон» за 1910 год—первая публикация поэта: пять стихотворений.

Начинался новый период жизни Мандельштама.

* * *

Недоволен стою и тих
Я, создатель миров моих...

Любите существование вещи больше самой вещи и свое бытие больше самих себя—вот высшая заповедь акмеизма.

Уже в раннем творчестве Мандельштама очень внятно заявляет о себе до упрямства последовательная художническая воля, обходящаяся без демонстративного вызова, но тем более сосредоточенно и бесповоротно отклоняющая все возможности, кроме избираемой.

На поверхности это предстает поначалу как некий негативизм — или, если выражаться более высоким слогом, «апофатизм».

Не раз отмечалось преизобилие отрицательных эпитетов: «небогатый», «небывалый», «невидимый», «невыразимый», «невысокий», «неживой», «нежилой», «недовольный», «незвучный», «неизбежный», «немолчный», «ненарушаемый», «неожиданный», «неостывающий», «нерешительный», «неторопливый», «неузнаваемый», «неунывающий», «неутоленный», «неутолимый» и т. д.; сюда же — «бесшумный», «безостановочный» и проч. И какую силу приобретают эти слова внутри стиха!

От неизбежного
Твоя печаль,
И пальцы рук
Неостывающих,
И тихий звук
Неунывающих
Речей...

Стихотворение часто начинается отрицанием: «Ни о чем не нужно говорить, // Ничему не следует учить»; «Она еще не родилась», «Быть может, я тебе не нужен»; «Нет, не луна, а светлый циферблат»; «Я не поклонник радости предвзятой». Или отрицание, напротив, приходит в конце, как вывод из всего сказанного:

И думал я: витийствовать не надо.
Мы не пророки, даже не предтечи,
Не любим рая, не боимся ада...

Или оно логически обосновывает некое «да», покоящееся на «нет» как на фундаменте:

...Но люблю мою бедную землю,
Оттого, что иной не видал.

Или оно просто наполняет сердцевину стихотворения:

Никто тебя не проведет
По зеленеющим долинам,
И рокотаньем соловьиным
Никто тебя не позовет,—

Когда, закутанный плащом,
Не согревающим, но милым...

И над техникой, и над образностью господствует принцип аскетической сдержанности: сразу бросается в глаза, чего здесь нет, от чего стихотворение очищено,— отсутствие выразительнее присутствия.

Нет звонких, редких, изысканно-богатых или экспериментально-небрежных рифм. Мандельштам никогда не будет рифмовать «страстотерпный — неисчерпный», как Вячеслав Иванов, «палестр — де Местр»,

как Волошин, «дельта — кельта», как Бенедикт Лившиц, «беспокоиться — Троица», как Михаил Кузмин, «сковывающий — очаровывающий», как Брюсов, «баней — Албанией», как Маяковский, «лица́ — лопается́», как Цветаева. У него преобладают рифмы «бедные», часто — глагольные или вообще грамматические, создающие ощущение простоты и прозрачности. Все сделано для того, чтобы рифма как таковая не становилась самостоятельным источником возбуждения, не застила собой чего-то иного.

В лексике ценится не столько богатство, сколько жесткий отбор. Мандельштам избегает слов, чересчур бросающихся в глаза: у него нет ни разгула изысканных архаизмов, как у Вячеслава Иванова, ни нагнетания вульгаризмов, как у Маяковского, ни обилия неологизмов, как у Цветаевой и особенно у Хлебникова, ни наплыва бытовых оборотов и словечек, как у Кузмина и Пастернака. Очень редки в ранних мандельштамовских стихах имена собственные. Потом их станет больше, появятся строки, целиком из них состоящие («Россия, Лета, Лорелея», «Ленор, Соломинка, Лигейя, Серафита»); но неизменным принципом останется исключительность, выделенность каждого имени собственного, а потому как бы затрудненность его введения — «Легче камень поднять, чем имя твое повторить»,— глубоко коренящаяся в том, что можно было бы назвать поэтической верой Мандельштама. Любое имя как бы причастно у него библейскому статусу имени Божия, которое нельзя употреблять всуе. Установкой на субстанциальный характер акта именования исключено расточительное употребление «экзотических» имен для декоративных целей, как это было обычным у Брюсова или Волошина. Чисто практически это означает отказ еще от одной возможности сделать лексику пряной или пестрой. И здесь строгая прозрачность, предстающая внешне как скудость или скупость, предпочтена «колерам».

Этому соответствует образный строй. В ранних стихах Мандельштама нет ни громких звуков, ни яркого света: звук у него — «осторожный и глухой» и даже полдень — «матовый». Нет чувства, на которое не ложилась бы тень противочувствия. Вдохновение ни на минуту не забывает о своей временности, прерывности: ритмический экстаз — «мгновенный», это «только случай, неожиданный Аквилон», который уйдет и «совсем не вернется» или «вернется совсем иной». Восторженность ограждена и уравновешена самоограничением, трезвым различением между своим домашним затвором — и «эфирными лирами» нечеловеческой бездны космоса:

Есть целомудренные чары —
Высокий лад, глубокий мир,
Далеко от эфирных лир
Мной установленные лары.

У тщательно обмытых ниш
В часы внимательных закатов
Я слушаю моих пенатов
Всегда восторженную тишь.

Недаром замечательный немецкоязычный поэт Пауль Целан, хорошо знавший стихи Мандельштама, много их переводивший, в собственном стихотворении связал дух мандельштамовской поэзии с идеей «конечного»: «Da hört ich dich, Endlichkeit, singen, // Da sah ich dich, Mandelstamm... Das Endliche sang, das Stete» («Я слышал, как поешь ты, о конечное, я видел тебя, Мандельштам... Пело то, что конечно, то, что пребывает»). Подумаем о том, как расходились пути поэтов. Цветаева шла к тому, чтобы сделать «без-мерность» одновременно темой и принципом своего творчества. Путь Мандельштама к бесконечному — противоположный: через принятие всерьез конечного как конечного, через твердое полагание некоей онтологической границы.

Стускленный, «матовый» колорит ранней мандельштамовской поэзии не наделен никакой специфической многозначительностью во вкусе символизма или его эпигонов — это не «лиловые миры» Блока и еще того менее «некто в сером» из ненавистного Мандельштаму Леонида Андреева. Но дело здесь обстоит вдвойне непросто, и оба осложняющих фактора — черты нового сравнительно с символистской эпохой.

Во-первых, колорит этот решительно не поддается интерпретации в терминах, носящих оценочный характер, более того, делает любую попытку однозначной интерпретации «со знаком плюс» или «со знаком минус» — просто абсурдной. Истолковать его только как выражение мудрости и целомудрия («...Есть целомудренные чары») — чересчур благостно; увидеть в нем только знак уныния, безлюбия, юношеской меланхолии («...О, позволь мне быть также туманным») — уж слишком бедно. То есть на поверхности одно как будто сменяется другим — в одних стихотворениях речь идет о «высоком ладе», а в других — о «сумрачной жизни»; но внимательный читатель скоро заметит, что на глубине истинным предметом остается одна и та же отрешенность, которую было бы крайне неосторожно отождествить с тем или иным ее аспектом — утешительным или неутешительным. Притом отметим, что если тема «высокого лада» не имеет частого у символистов проповеднического, учительного звучания («Ничему не следует учить...»),— то тема «сумрачной жизни» не выливается в сарказмы, не приводит ни к обвинениям Бога и мира, ни к самообвинениям или, напротив, самооправданиям. Никаких порывов по примеру персонажа Достоевского «возвратить билет» Богу. Никаких поползновений объявить войну Солнцу, как в стихах Федора Сологуба, который до известной меры являлся для раннего Мандельштама образцом. В семнадцать лет поэт скажет, что «ничего не приемлет» от жизни, через два года поправит себя: «Твой мир, болезненный и странный, // Я принимаю, пустота!» — и уж после никаких разговоров ни о «приятии», ни о «неприятии» мира, столь характерных для символистской и послесимволистской поры, нет как нет. Нет и попыток отделить себя самого от «сумрачной жизни», от болезненного и странного мира пустоты, укоризненно противопоставить себя «всему кругом», как сказано в заглавии одного стихотворения З. Гиппиус,— и поэт такой же, как всё и как все: самое его одиночество — не какой-то удел избранника, а

попросту норма в мире, «где один к одному одинок». При этом экстатическое слияние со всем сущим как патетический жест или особо формулируемая тема — будь то на ноте Уитмена, подхваченной у нас Маяковским, будь то в духе программы соборности, теоретически сформулированной Вяч. Ивановым,— абсолютно исключено. Лишь на самом исходе своего пути Мандельштам скажет о себе: «Всех живущих прижизненный друг»,— но это будет честно оплаченный итог, вывод из всего сказанного, сделанного и выстраданного, а не исходная презумпция «радости предвзятой», от которой поэт отказался в самом начале и навсегда. Факт собственной единоприродности с невнятицей «тусклого пятна» сырой и серой природы, с «мировой туманной болью», с жизнью разобщенных людей не внушает молодому Мандельштаму энтузиазма, он может только сказать этой безликой стихии: «О, позволь мне быть также туманным // И тебя не любить мне позволь»,— но это не гнев, которого было предостаточно у той же Гиппиус и которым будут звенеть стихи зрелой Цветаевой; человеку не за что любить аморфную тусклость, которой так много в мире и в людях, но ее же он ощущает и внутри себя, так что тяжбу вести не с кем. Ситуация самого поэта перед лицом мира не описывается ни в радужных тонах, как у Бальмонта, но также порой, скажем, у Кузмина («...Новые дороги, всегда весенние, чаются...» и т. п.), ни в мрачных тонах, как отчасти у Блока («Молчите, проклятые книги...») и стольких других; поэт не лучше и не хуже других людей (в отличие от «литератора», обязанного быть «выше» общества, как Мандельштам заметит в статье 1913 года «О собеседнике»), он относится к самому себе просто — какой есть. «Какая есть. Желаю вам другую»,— скажет через десятилетия Ахматова; но и в этих словах есть педалирование темы, у Мандельштама отсутствующее. Он даже не скажет о себе: «какой есть», настолько это самоочевидно. Вибрация личного самоощущения, со всеми муками «разночинской» неловкости, со всеми эксцессами самоутверждения и стыда, обиды и неуверенности, которая была весьма свойственна личной психологии Мандельштама как человека и которая нашла впоследствии выражение в прозе, например в «Египетской марке», с самого начала и довольно последовательно изгнана из мандельштамовских стихов. «Я забыл ненужное «я».

Во-вторых, «матовые» тона, приглушенные звуки, отказ от мифологизации места поэта среди людей — все это странно соединяется с постоянной, равномерной торжественностью тона. Торжественность раннего Мандельштама, не нуждающаяся в пафосе, в восклицательных знаках и высоких материях, почти что вовсе безразличная к теме и предмету, в соединении с медлительным ритмом стиха вызывает ощущение рассеянного взгляда, смотрящего **сквозь** вещи. С точки зрения поэтики XIX века, также и в ее символистской переработке, эта беспредметная торжественность вызывает мысль о пародии; говорить выспренно о чем попало — самый избитый прием пародистов. Но у Мандельштама равномерной приподнятости отвечает столь же равномерная серьезность, изливающаяся на все предметы без различия; в некоторых стихотворениях 1913—1914 годов («Старик», «Кинемато-

граф», «Американка», «Мороженно!» Солнце. Воздушный бисквит...», отчасти «Аббат») серьезность эта смягчена или модифицирована выведенным на поверхность юмором («...И боги не ведают — что он возьмет: // Алмазные сливки иль вафлю с начинкой?») — недаром бо́льшая их часть появлялась в «Новом Сатириконе»; позднее подобные интонации уходят. Вообще говоря, из свидетельств современников, а также из шуточных стихотворений, не введенных поэтом в канонический корпус его сборников, мы знаем, что Мандельштам был наделен исключительно высокой степенью чувства смешного; как это чувство соотносится с его серьезностью? Здесь не место для подробной характеристики мандельштамовского юмора; ограничимся двумя отрицательными констатациями — во-первых, это не традиционный юмор, по конвенциональной схеме выделяющий «комические» предметы среди некомических; во-вторых, это и не специфическая ирония во вкусе немецких романтиков, и особенно Гейне[1]. Получается парадокс: Блок, чья серьезность была несравнимо более наивной, подчас даже тяжеловесной, дезавуировал ее, вводя автопародийную иронию «Балаганчика»; напротив, серьезность Мандельштама, которая, пожалуй, с блоковской точки зрения и серьезной-то не была, остается недезавуированной. По сути дела, взгляд Мандельштама, отрешенно покоящийся на мальчике перед мороженым, столь же серьезен, как тогда, когда переходит на какое-нибудь архитектурное чудо вроде Нотр-Дам или Адмиралтейства или на небеса и землю. Но если торжественность, «одичность» тона не мотивирована ни по старинке — выбором «высокого» предмета, ни на более новый, символистский, манер — патетическим мифом о поэте и квазисакральным статусом поэзии, возникает законный вопрос: чем же она мотивирована? Раз ее предмет — не качества вещей и не ранг вещей, очевидно, это самое бытие вещей. Стускленность колорита и служит тому, чтобы переадресовать интонационную важность от сущего — к «абстрактному бытию», «ничем не прикрашенному», как скажет Мандельштам в статье «Утро акмеизма». Нам легче понять такое движение поэтической мысли, чем современникам Мандельштама: между его временем и нашим — такое явление, как философия Хайдеггера, только и старавшегося о том, чтобы das Siende, сущее, не закрывало собою das Seien, бытие. Но ведь Мандельштам-то писал: «Любите существование вещи больше самой вещи и свое бытие больше самих себя» — еще в 10-е годы, то есть лет за двадцать до того, как Хайдеггер только начал приходить к своим темам; а тогда о нем не слыхивали даже немецкие философы, не говоря о русских поэтах. Интересно, конечно, что Мандельштам, толком и не читавший философов, за вычетом Владимира Соловьева, Бергсона и

---

[1] Заметим, что Мандельштам в течение всей своей жизни последовательно игнорировал Гейне, что на фоне рецепции Гейне в русской лирической традиции от Тютчева и Фета через Блока и Анненского вплоть до 20-х годов выглядит контрастом. Тривиально рассуждая, можно было бы ожидать, что у Гейне и Мандельштама найдутся сближающие моменты — от еврейской судьбы и еврейской впечатлительности до схожей позиции в литературе (Гейне — «постромантик», Мандельштам — «постсимволист»). Но этого не произошло.

Флоренского[1], так близко подошел к важнейшей теме западной философии 30—50-х годов. Но в пределах поэзии как таковой применение торжественной интонации к «тусклым пятнам», вовсе не демонизируемым, как «пошлость таинственная» у Блока, не вводимым ни в какой мистериальный сюжет, а данным в тождестве себе,—это очень мощное разрушение поэтики символизма. Последняя не могла ужиться с перефункционированием ее же собственной «жреческой» установки, и это тем более, что такой сдвиг функций не уходит в приготовленные заранее каналы иронии или пародии, не дает — при адекватном восприятии — комической разрядки. Говорят, будто смех убивает; на самом деле убивает совсем иное — серьезность, с которой носитель инициативы поворачивается к старому спиной, чтобы начать, не оглядываясь, новый путь. Естественно, что современники некоторое время понимали особенность поэзии Мандельштама как утрировку той торжественности, к которой их приучил символизм (поздний отголосок этого первого впечатления можно встретить, например, в неглупой и задорной рецензии С. Боброва — «Печать и революция», 1923, кн. 4). Это было одновременно и недоразумением, и разумением, превратным выражением истинного положения дел. Чувство меры, как его понимает замкнутое в себе самосознание литературной эпохи,—это чувство, подсказывающее, между прочим, где надо остановиться, чтобы не нарушить прежнего статуса того или иного приема. Тривиальное нарушение чувства меры нарушает прежний статус, не давая нового. Но содержательная «утрировка» отменяет прежний статус, чтобы дать новый статус и новый смысл.

Необходимо добавить, что парадоксальное соединение «одичности» и стускленного колорита, будучи разрывом с инерцией символистской линии, одновременно может до известной меры рассматриваться как возврат на новом уровне к одному из истоков символизма — к наивно-важной, негромко-угловатой рассудительности гениального юноши Ивана Коневского, утонувшего двадцатитрехлетним в 1901 году. Мандельштам не забывал об этом: отголоски поэзии Коневского займут важное место в мандельштамовских стихах разного времени, а прямые ее упоминания — в прозе.

Осталось сделать три замечания, касающихся мира раннего Мандельштама и тех его свойств, которые были только что описаны.

Начнем с того, что стихи 1908—1910 годов представляют собой едва ли не уникальное явление во всей истории мировой поэзии: очень трудно отыскать где-нибудь еще сочетание незрелой психологии юноши, чуть не подростка, с такой совершенной зрелостью интеллектуального наблюдения и поэтического описания именно этой психологии.

Из омута злого и вязкого
Я вырос тростинкой, шурша,—
И страстно, и томно, и ласково
Запретною жизнью дыша.

---

[1] И, конечно, Чаадаева, Герцена, Леонтьева и Розанова — но те «абстрактным бытием» не занимались.

И никну, никем не замеченный,
В холодный и топкий приют,
Приветственным шелестом встреченный
Коротких осенних минут.

Я счастлив жестокой обидою,
И в жизни, похожей на сон,
Я каждому тайно завидую
И в каждого тайно влюблен.

Никакой это не декаданс — все мальчики во все времена чувствовали, чувствуют и будут чувствовать нечто подобное. Боль адаптации к жизни взрослых, а главное — особенно остро ощущаемая прерывность душевной жизни, несбалансированные перепады между восторгом и унынием, между чувственностью и брезгливостью, между тягой к еще не обретенному «моему ты» (как Мандельштам будет называть свою жену) и странной, словно бы нечеловеческой, холодностью, когда межличностные связи еще не налажены,— все это для мальчика не болезнь, а норма, однако воспринимается как болезнь и потому замалчивается. Скрытная застенчивость мальчика, а затем и ностальгическая сентиментальность воспоминаний взрослого о собственных ранних годах в своем сотрудничестве создают условную, приукрашенно-бодрую картину отрочества и юности, усваиваемую и закрепляемую обыденным сознанием. Притом обычно у мальчика, даже если он — поэт в будущем, покамест нет еще слов, чтобы с достаточной точностью и силой описать психологию своего возраста. Но недостаток словесного умения — не единственная помеха. Даже в редких случаях необычно ранней реализации поэтического дарования механизмы, называемые у психологов компенсаторными, обычно направляют пробудившуюся силу слова на то, чтобы маскировать пугающие зияния и туманы собственной душевной жизни либо готовой образностью наследуемой культуры, что по большей части можно видеть даже у раннего Пушкина, либо, что более обычно, безудержным романтизированием своего «я» (юный Лермонтов, юный Блок). Более реалистический подход к психологии подростка у Рембо окрашен в слишком черные тона — опять-таки романтические,— слишком демонизирован, чтобы дойти до подлинной объективации. Короче говоря, обычно один из самых необходимых признаков юношеской души, все равно, у самых обычных людей или у самых больших поэтов,— это неспособность наблюдать себя самое без идеализации и самоочернения, без сарказмов и самооправданий и адекватно дать себя в слове; приобретая способность объективации, душа как раз и перестает быть юношеской. Здесь Мандельштам — редчайшее исключение, обусловленное не только силой таланта, но особенностью становления его человеческой и поэтической личности. Произошел какой-то сдвиг сроков: хотя в нем очень долго держался «мальчик» — по-отрочески скрытный, по-отрочески общительный, поражавший современников импульсивностью поведения и вызывавший у них улыбку детской страстью к сладостям,— наряду с этим он же необычно рано

созрел как «муж», способный смотреть на себя, «мальчика», со стороны и описывать душу этого мальчика точно и здраво, в стихах, по-своему вполне совершенных. Не будем повторять общих мест — дело не в том, что поэт вообще чаще всего бывает, с одной стороны, «наделен каким-то вечным детством», как скажет Ахматова о Пастернаке, а с другой стороны, взрослее взрослых, ибо смотрит на вещи неожиданно смело и проницательно. Нас интересует не «поэт вообще», а неповторимый случай Мандельштама, который даже в плане биографическом не с чем сравнить. Но куда больше занимает нас конструктивное значение, определенное столь трезво трактуемой теме перепадов юношеской психологии в общем смысловом контексте ранних мандельштамовских стихов. Контексте, если угодно, полемическом.

Как все мы знаем, традиционной лирике в общем свойственно игнорировать прерывность душевной жизни человека, работая с фикцией беспримесных эмоциональных состояний, якобы наполняющих собою все психофизическое бытие личности и всю вечность лирического мгновения. Фикция эта сохраняла все свои права и тогда, когда эмоциональное состояние описывалось как противоречивое (еще у Катулла — «ненавижу и люблю»); просто самодержавный статус доминанты передавался противоречию. Драма и роман давно отошли от такой практики: Пушкин хвалил Шекспира за то, что у него — в противоположность Мольеру — поведение персонажа несводимо к доминанте. С лирическими жанрами дело обстояло сложнее. Сначала упомянутую фикцию поддерживала откровенная условность риторических правил (скажем, меланхолический Батюшков принужден был являть себя жизнелюбивым и влюбчивым в стихах из анакреонтического рода — «Эвоэ! и неги глас!»); романтизм потеснил правила, но поставил на место игровой условности, по-своему честной,— спонтанность страсти. Подумать только — заданную, требуемую, принудительную спонтанность, спонтанность как императив! Старая система в течение эпох сохраняла пристойную дистанцию между лирикой и психологией; великое притязание романтической и послеромантической культуры — сломать барьер и непосредственно ввести в лирику психологию. Но психология эта оказывалась в очень важном пункте неточной. Господствовавший в XIX веке тип лиризма менее верен психологии, чем древние библейские псалмы с их немотивированными и оттого особенно убедительными переходами-перепадами от экзальтации к прострации и обратно или чем оды Горация, где «маятник лирического движения», как блестяще показал М. Л. Гаспаров, колеблется между двумя состояниями, а под конец замирает в равноудаленной от них точке. Над лиризмом XIX века господствует представление о длящемся эмоциональном порыве, так сказать, с правильными контурами, с красивой линией подъема или нисхождения, без риска сбоев. Упоминавшаяся выше ирония в духе Гейне сама по себе не только не разрушала эту лирическую псевдопсихологию, но, напротив, помогала консервировать ее, давая внутрилитературное разрешение всем несоответствиям между ней и конкретным человеческим опытом. И с этой точки зрения психология юноши, какова она есть на самом деле, со всеми пустотами и

пробелами, со всеми фантомами эмоций, остающихся в возможности, ибо не получивших для себя предмета,— особенно резкий пример тех черт общечеловеческой психологии, которую лиризм XIX века не сумел освоить. Ввести юношескую психологию как тему — значило разорвать замкнутый круг.

Проблема, о которой мы говорим, была обострена практикой русских неоромантических течений — символизма и отчасти футуризма. И тому, и другому, как известно, противопоставил себя акмеизм, впервые декларативно провозглашенный Гумилевым и Городецким в начале 1912 года. Здесь не место останавливаться на деятельности «Цеха поэтов», выяснять нюансы, отделявшие акмеизм как таковой от родственного ему «кларизма» Михаила Кузмина, или, скажем, удивляться, что Мандельштам оказался в одной литературной группировке с Городецким, еще недавно — неоязыческим мифотворцем в арьергарде Вяч. Иванова. «Древний хаос потревожим, // Мы ведь можем, можем, можем!» — восклицал Городецкий, и нет, кажется, ничего более далекого от внутренней музыки раннего Мандельштама, чем этот бодрый напор, да еще с метафизической претензией. Но дело не в таких частностях: формулировки литературных манифестов, персональный состав группировок — всегда смесь смысла и бессмыслицы, то есть случайности, что не снимает с нас задачи искать за случайностями смысл. Для самого Мандельштама было очень важно, что он определял себя в качестве акмеиста. Необходимо понять, что это означало в перспективе его поэтического пути.

Не стоит соблазняться расхожим представлением, подсказываемым самими акмеистическими манифестами, будто суть акмеизма — в «вещности», понимаемой как чувственная пластическая наглядность и конкретность реалий. Применительно к Мандельштаму такое представление явно не работает. Когда он хочет передать вещь не то что зрительно, а на ощупь, он достигает цели одним эпитетом («А в эластичном сумраке кареты...»); но выразительность деталей уравновешена их скупостью, их сознательной и последовательной разреженностью, а конкретное увидено настолько издали, проходящим сквозь него взглядом, что становится абстрактнее всех абстракций. В этом отношении Мандельштам — антипод Пастернака. Если мы вспомним аристотелевское деление признаков вещи на сущностные и случайные («субстанциальные» и «акцидентальные»), то поэзия Пастернака — убежденное уравнивание случайного с сущностным и постольку апофеоз конкретности; у него «чем случайней, тем вернее» и даже Бог — «всесильный Бог деталей», а поэзия — «лето, с местом в третьем классе»; напротив, поэзия Мандельштама идет путем поступательного очищения субстанции от случайных признаков, продолжая в этом отношении импульс символизма, хотя сильно его модифицируя. Пастернак живет среди вещей своего века, беря их совершенно всерьез,— чего стоят заоконные «стаканчики купороса», за которыми «ничего не бывало и нет»! — он братается с вещами, упраздняет дистанцию между бытом и бытием, коль скоро «на свете ни праха нет без пятнышка родства»; не просто обиход, но, что особенно трудно для поэзии, интеллигентский, например консерватор-

ский, обиход, до «ковровой дорожки» и даже «московских светил» включительно, без всякого препятствия становится у него частью лирической темы. Если бы «вещность» действительно была критерием акмеистичности, Пастернак, никогда ничего общего с акмеизмом не имевший, оказался бы акмеистичнее даже Ахматовой, не говоря уже о Мандельштаме[1]. Воздух у него прямо-таки густ от вещности — а у Мандельштама прозрачен, по-своему не меньше, чем, например, у Вячеслава Иванова[2] (или, на другой манер, у поздней Цветаевой — в определенных отношениях мандельштамовского антипода). На вещи своего века Мандельштам смотрит, как только что сказано, с огромной дистанции; это для него как будто озадачивающие курьезы, чья конкретность до конца растворена в интеллектуальной эмоции удивления, настолько равномерного, что кажущегося спокойным. То же удивление обращено на его собственную личность, на себя как субъект биографии: «Неужели я настоящий // И действительно смерть придет?» Взгляд сосредоточен не на вещности вещи, а, как мы отмечали, на ее бытии — и еще на том, что у философа Гуссерля (которого Мандельштам, по-видимому, не знал) называется «интенциональностью»: на природе самого познавательного отношения к вещи. И при этом поэт обходится, в отличие от Андрея Белого, без философского жаргона; в отличие от символистов вообще — от выведения философского плана на поверхность; в отличие от Цветаевой — от превращения своей чуждости вещам в специально заявленную тему. Для него это не тема, а ровный фон для всех тем. Необходимо перечувствовать в ранних стихах Мандельштама то грустный, то позабавленный, но всегда отчужденный взгляд на реалии богемного или буржуазного быта («Золотой» — второстепенное по качеству, но очень характерное по интонации стихотворение),— хотя бы для того, чтобы не поддаваться тривиально

---

[1] Конечно, у Ахматовой чувственная пластика и бытовая деталь действительно имеют первостепенную важность. Но у нее, как и у раннего Кузмина, все это сведено к назначению театральной декорации, на фоне которой демонстрирует свое инсценируемое бытие лирическое «я». Последнее оттеняется вещью, а не сливается с ней, как у Пастернака.

[2] Вспомним слова В. Пяста о Вяч. Иванове, проясняющие проблему, немаловажную и для понимания Мандельштама. «Читатель, приступающий к этому поэту, чувствует себя как-то удивительно странно. Где то, что он привык видеть и слышать в литературе, как и в жизни? Где все окружающие его изо дня в день предметы? Он их привык встречать на каждом шагу, и, право, без присутствия их, хотя бы молчаливого, скрытого в **заднем плане** стихотворения,— в начале обойтись не может. Скажет Пушкин: «Я помню чудное мгновенье» — и во всем стихотворении не упомянет ни одной вещи из наличной, окружающей это **мгновенье** обстановки; но никому и в голову не придет спросить себя, **где** это происходило. Отнюдь не потому, чтобы это было для нас не важно, но потому, что где-то между строчек эта обстановка **вошла** в это стихотворение... Ничего подобного не найдет он у Вячеслава Иванова... Стихи этой книги «видны насквозь»... в них самих нет заграждающего зрение заднего фона» (Книга о русских поэтах последнего десятилетия. Под ред. М. Гофмана. СПб., 1909, с. 265—266).

«советскому» или тривиально «антисоветскому» истолкованию такого же подхода к приметам «эпохи Москвошвея» в его поздних стихах. Вещи менялись, и самочувствие поэта в разные периоды его жизни тоже менялось; но прослеживаемая на глубине структура отношения к вещи оставалась неизменной от начала до конца.

Вернемся, однако, к проблеме акмеистического бунта против символизма. Если суть — не в вещности, не в наглядности и выпуклости, то в чем? Пытаясь ответить на этот вопрос в своей «Второй книге», Н. Я. Мандельштам рисует примерно следующую картину. Главы символистского движения, прежде всего Вяч. Иванов и Брюсов, «соблазнители» и «ловцы душ», разрушили или подменили христианскую моральную традицию, увели от вечных ценностей и ясных критериев, явившись предтечами грядущего одичания. Переосмысленный Вяч. Ивановым идеал «соборности» вел к отказу от личного начала, его же мечта об «орхестрах и фимелах» всенародного действа материализовалась чуть ли не в лагерной самодеятельности, и прочая. Дело символистов было в более брутальных формах продолжено футуристами, получившими от своих предшественников благословение. Однако в защиту отринутого «христианского просвещения», как некие рыцари, выступили акмеисты. Поскольку ни Зенкевич, ни Нарбут, не говоря уже о Городецком, в рыцари, тем более христианские, не годятся, рыцарей оказывается трое: Гумилев, Ахматова, Мандельштам. Что сказать о такой концепции? В том виде, в котором она высказана у вдовы поэта, она представляет собой просто миф, имеющий, как всякий миф, определенное отношение к действительности — но весьма специфическое. По частностям можно много возражать[1], но это едва ли было бы адекватным подходом к мифу. Попробуем лучше перевести его на более рациональный язык.

Если существует общий знаменатель, под который можно не без основания подвести и символизм, и футуризм, и общественную реальность послереволюционной России, то знаменателем этим будет умонастроение **утопии** в самых различных вариантах — философско-антропологическом, этическом, эстетическом, лингвистическом, политическом. Подчеркиваем, что речь идет не о социальной утопии как жанре интеллектуальной деятельности, а именно об умонастроении, об атмосфере. «Человек есть нечто, что следует преодолеть». Вместо человека — сверхчеловек: всепроникающее влияние Ницше, прослеживаемое от Вяч. Иванова до Максима Горького,— да ведь и Маяковский неспроста назвал себя «крикогубым Заратустрой» («конец гуманизма» по Блоку относится, конечно, туда же). Вместо искусства — сверхискусство,— для теории «теургии» это очевидно, однако и заостренное против этой теории акцентирование прав артистизма, скажем, у Брюсова, само собой переходило в абсолютизацию артистизма; уж

[1] Например, сознанию Н. Я. Мандельштам свойственно видеть в особенно черных красках Вяч. Иванова. Благодаря этому в ее интерпретации исчезает то здоровое и естественное соединение притяжения и отталкивания, которое испытывал к старшему поэту Мандельштам.

если «все в жизни лишь средство для ярко певучих стихов», значит, стихи — уже не просто стихи, не веселое пушкинское «для звуков жизни не щадить», а предмет квазирелигиозного культа. Но ведь и непосредственное слияние искусства с жизнью на улицах и площадях, в неожиданном согласии предсказанное и Вяч. Ивановым, и Маяковским и отчасти осуществленное в массовых действах первой послереволюционной поры, в экспериментах «жизнестроителей»,—тоже вариант сверхискусства. Соответственно вместо языка — сверхъязык: если жреческая речь Вяч. Иванова отчасти приближалась к сфере лексической утопии, то «заумь» футуристов уже всецело принадлежала этой сфере... И здесь мы вправе сказать, что если понятие акмеизма более или менее сводится к понятию творчества двух столь несхожих поэтов, как ранняя Ахматова и ранний Мандельштам[1], то акмеизм действительно был вызовом духу времени как духу утопии. Ахматова и Мандельштам подхватили импульс антиутопизма, среди символистского поколения воплощенный с достаточной чистотой, пожалуй, в одном Иннокентии Анненском. Недаром имя Анненского выделялось акмеистами с полемическим ударением.

Вот, стало быть, исторический контекст упорства, с которым ранний Мандельштам отказывается от «радости предвзятой», но и от столь же предвзятой трагической позы, вслед за Анненским настаивая на прерывности эмоциональной жизни души, на ее неожиданной хрупкости, на законе перепадов и противочувствий. В споре между утопией и антиутопизмом вопрос был поставлен едва ли не в первую очередь о поэте. Если в свое время Пушкин с несравненной правдивостью поведал, что все бытие поэта — чередование взлетов вдохновения с провалами и пустотами, когда забытый Аполлоном служитель, быть может, ничтожнее всех «меж детей ничтожных мира», то эпоха утопий восстановила и возвела в абсолют старый романтический принцип, согласно которому поэт обязан не выходить из экстаза двадцать четыре часа в сутки, на глазах у всех горя и сгорая, как неугасимая свеча. «Символисты не хотели отделять писателя от человека, литературной биографии — от личной... От каждого вступавшего в орден... требовалось лишь непрестанное горение... безразлично, во имя чего» (В. Ходасевич). «Гори!» — действительно ключевое слово, объединяющее символизм, футуризм и утопически понятый восторг революции. «Распростри свое объятье — // И гори, гори, гори!» — твердит Вяч. Иванов человеку. «Люблю тебя за то, что ты горишь»,— обращается он же к Бальмонту. Блок цитирует Фета: «Там человек сгорел» — и говорит о «гибельном

[1] Мы сознательно обходим вопрос о Гумилеве. Живущий в его поэзии идеал непрерывного героического самопроявления, недаром так импонировавший романтикам 20-х годов вроде Н. Тихонова или Багрицкого, по своей сути утопичен, как бы ни оправдывала его гумилевская биография. Ср. у Н. Я. Мандельштам: «Акмеисты отказались от культа поэта и «дерзающего человека», которому «все позволено», хотя «сильный человек» Городецкого и отчасти Гумилева унаследован от символистов. Сила и смелость представлялись Гумилеву в форме воинской доблести (воин и путешественник). Мандельштам мог понять только твердость того, кто отстаивает свою веру».

пожаре» жизни за «бледными заревами» искусства. Маяковский стоит на той же линии, когда диагностицирует у себя «пожар сердца». «Рыдай, буревая стихия, // В столбах громового огня! // Россия, Россия, Россия,— // Безумствуй, сжигая меня!» — обращается Андрей Белый к стране революции. Достаточно вспомнить трагический облик Блока, муку Андрея Белого, гибельное юродство Хлебникова, самоубийственное тореадорство Маяковского, чтобы почувствовать: принцип непрестанного горения — не поза, а именно утопия, в жертву которой поэты приносили свои нервы и свои души (последней жертвой на этом алтаре была, конечно, Цветаева, преобразовавшая поэтическую систему, но оставившая без изменения личностную установку символизма[1]). Но у Ходасевича недаром добавлено: гореть — «безразлично, во имя чего». На описанном пути невозможно было избежать имморализма. Если налицо обязанность — гореть каждое мгновение, вопрос о духовном качестве огня, о его небесной или гееннской природе сам собой отпадает. Как сказано у Волошина: «Беги не зла, а только угасанья; // И грех, и страсть — цветенье, а не зло». Брюсов еще раньше выразил готовность восславить — «и Господа, и Дьявола». На стадии футуризма выясняется, что не только «грех и страсть», не только трагически окрашенная дьяблерия, но и вульгарность как таковая может стать предметом утопической абсолютизации: эгофутурист Игорь Северянин взял на себя доказать это со всей необходимой основательностью. Не забудем, что его восторженно приветствовал Федор Сологуб и вполне всерьез принял Блок.

Символизм немыслим без своей религиозной претензии. Символисты легко приступали к штурму верховных высот мистического восхождения; «новое религиозное сознание» было лозунгом их культуры. Старые критерии для отличения христианского от антихристианского или хотя бы религиозного от антирелигиозного отменялись, новых не давалось, кроме все того же «гори!». Поэтому для символизма в некотором смысле все — религия, нет ничего, что не было бы религией (то есть, выражаясь более трезво, нет ничего, что не поддавалось бы религиозной стилизации по некоторым правилам игры). Эротический экстаз можно было отождествить с мистическим («путь в Дамаск»), а богоборчество включить в систему религиозной топики. Поэтому ни антирелигиозность раннего Маяковского, ни, так сказать, парарелигиозность Хлебникова в конечном счете не нарушали правил игры. Поэтому же Маяковскому было куда легче отказаться от Бога, чем от того типа широковещательности и метафизической заносчивости, который повелительно требует библейских оборотов, разумеется, выворачиваемых наизнанку. Здесь пример подал первоучитель эпохи — Фридрих Ницше, клявший христианство, но не устававший имитировать новозаветную

[1] Вспомним, что Цветаева рисует бытие Андрея Белого или Волошина без малейшего чувства дистанции, включаясь в их игру, «подыгрывая» им, доводя до конца от них исходящую стилизацию реальности. Пастернак с некоторым преувеличением, но не без основания утверждал, что «ранняя Цветаева была тем самым, чем хотели быть и не могли быть... символисты» («Люди и положения»).

стилистику. Но игры в богоборчество поражают наш взгляд меньше, чем религиозная неразборчивость людей религиозных: даже Вяч. Иванов — тот из символистов, чье отношение к богословской традиции было едва ли не самым органичным,— в 1909 году был способен рекомендовать одному своему доброму приятелю (В. Бородаевскому) в качестве поучительного примера «религиозной гармонии» и «непрестанной молитвы» ...Михаила Кузмина. Настолько двусмысленными стали религиозные понятия, одновременно эмансипированные от своего «канонического» смысла и не теряющие неких притязаний на этот смысл.

Ахматову и Мандельштама, в меньшей степени Гумилева объединяет протест против инфляции священных слов. Мандельштам скажет: «Русский символизм так много и громко кричал о «несказанном», что это «несказанное» пошло по рукам, как бумажные деньги». У акмеистов святость сакрального слова восстанавливается через подчеркивание его запретности: его произнесение грозит непредсказуемыми последствиями. «Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно»... У Гумилева мотив запрета на слово дан еще в тонах мифологизирующей стилизации:

Патриарх седой, себе под руку
Покоривший и добро и зло,
Не решаясь обратиться к звуку,
Тростью на песке чертил число.

Это уже много серьезнее, когда Ахматова предупреждает:

О, есть неповторимые слова;
Кто их сказал — истратил слишком много.
Неистощима только синева
Небесная и милосердье Бога.

Но особое место в разработке мотива принадлежит странному мандельштамовскому стихотворению 1912 года:

Образ твой, мучительный и зыбкий,
Я не мог в тумане осязать.
«Господи!» — сказал я по ошибке,
Сам того не думая сказать.

Божье имя, как большая птица,
Вылетело из моей груди!
Впереди густой туман клубится,
И пустая клетка позади...

Перед нами не «религиозное» стихотворение — ни по традиционной мерке, ни по расширительным критериям символистской поры. В нем нет ни мифологических образов, ни метафизических абстракций. У него есть сюжет, и сюжет этот очень прост. Обстановка — одинокая

прогулка (годом раньше: «Легкий крест одиноких прогулок...»). Зачин описывает негативно характеризуемое психологическое состояние, какие так часто служат у раннего Мандельштама исходной точкой: неназванный образ мучает своим отсутствием, своей неосязаемостью, он забыт, утрачен. «Образ твой» — такие слова могли бы составлять обычное до банальности, как в романсе, начало стихотворения о любви; но нас ждет совсем иное. Вполне возможно, хотя совершенно не важно, что образ — женский. Во всяком случае, в нем самом не предполагается ничего сакрального, иначе «твой» имело бы написание с большой буквы. Но по решающему негативному признаку — по признаку недоступности для воображéния — он сопоставим с образом Бога; это как бы образ образа Бога. Одна неназванность — зеркало другой неназванности; и соответствие тому и другому — «туман», симметрически упоминаемый во 2-й строке от начала и во 2-й строке от конца: характерная тусклость мандельштамовского ландшафта. Но вот происходит катастрофа: в напряжении поисков утраченного образа, в оторопи, «по ошибке» человек восклицает: «Господи!» В русском разговорном обиходе это слово — не больше чем междометие. Но одновременно именно оно — субститут самого главного, неизрекаемого библейского имени Бога, так называемого Тетраграмматона. «Господи!» — сказал я по ошибке, // Сам того не думая сказать»,— это две строки, легко приближающиеся в читательском восприятии к грани комического: тем резче действует неожиданная серьезность, к которой принуждает читателя поэт. Имя Божие оказывается реальным, живым, как птица,— именно в своей вещественности, в соединении с дыханием говорящего. Но это причина не для умиления и не для эйфории, а для страха: неизреченного не надо было изрекать. Бездумным, случайным выговариванием Имени человек наносит себе урон и убыль: Имя вылетает, улетает, опыт его реальности — одновременно опыт безвозвратного прощания с ним. Этот вывод подсказан и скреплен последней строкой, тяжкая плотность которой возникает из характерного для техники Мандельштама наложения двух семантических характеристик на одно слово — метафорическая «клетка», из которой вылетает «птица», и «клетка» из словосочетания «грудная клетка».

Отталкивание от облегченного отношения к религиозным темам заставляет Мандельштама и в других стихотворениях подчеркивать эмоции страха. Святость святыни реальна постольку, поскольку опасна, и оторопь перед ней предстает неприкрашенной.

И слова евангельской латыни
Прозвучали, как морской прибой;
И волной нахлынувшей святыни
Поднят был корабль безумный мой.

Нет, не парус, распятый и серый,
С неизбежностью меня влечет —
Страшен мне «подводный камень веры»,
Роковой ее круговорот!

«Подводный камень веры», как и многое другое у Мандельштама,— из любимого им Тютчева, из стихов о Наполеоне: «Он гордо плыл, презритель волн, // Но о подводный веры камень // В щепы разбился утлый челн». Вера — «подводный» камень, она связана с пучиной, с непроницаемой тайной глубоких вод. Но у Тютчева она угрожает чужому, другому, врагу — самоутверждению Наполеона. Мандельштам переадресовывает угрозу своему собственному «я».

Характерно, что в свой первый сборник стихов «Камень», вышедший в 1913 году и следующим, расширенным изданием — в 1915 году, поэт остерегся включить это стихотворение, как и несколько других, отмеченных прямой связью с религиозной темой, в том числе и столь совершенное, как «Неумолимые слова...» — двенадцать строк, дающих классически строгий образ Распятия. Свирепая, бешеная стыдливость возбраняла ему обнажать перед читателем свои переживания подобного рода; религиозная топика допускается у него при условии объективации, вывода из личной эмоциональной сферы. Злейший враг, которому объявлена война не на жизнь, а на смерть,— нескромность мистического чувства. В подходе к сакральному поэт может быть одически важен, как в «Евхаристии», или охлажденно описателен, как в «Аббате»; но исключена даже тень страшного подозрения, что он — интимен.

У Гумилева и особенно Ахматовой стратегия борьбы против инфляции религиозных мотивов предполагала их возвращение в сферу конкретной бытовой церковности. Недаром запомнили современники, как Гумилев крестился на все церкви подряд; ему и в стихах важно сказать, что за таких воинов, как он, молятся монахи «в Мадриде и на Афоне»,— уже не сам он, как было принято у поэтов символистской формации, притязает на особую фамильярность с небесами, но есть и у него на Афоне молитвенники. В стихах Ахматовой сакральное является под покровом смиренных житейских форм: священник отпускает ей грехи — «И темная епитрахиль // Накрыла голову и плечи»; Христов крест — это крестик на ее груди, согретый теплотой ее тела. Но этим поэтам было легче: они оба были люди крещеные с младенчества. Религиозная ситуация еврея Мандельштама — кстати, упрекавшего обоих своих православных друзей-поэтов за слишком легкое обращение в стихах с именем Божиим [1],— была значительно сложнее.

Внелитературные факты очень скупы. Мы знаем, что 14 мая 1911 года Мандельштам был крещен в методистской кирхе в Выборге. Это — нагое документальное сведение, к которому не дано никакой аутентичной интерпретации: ибо сам поэт, разумеется, скорее проглотил бы язык, чем поведал устно или тем более письменно о своих мотивах и переживаниях. На всякий случай добавим — если переживания вообще были. В конце концов, остается возможность полагать, что

---

[1] См. запись С. Б. Рудакова от 1 июля 1935 г. (Мандельштам о Гумилеве): «Я говорил ему, поменьше Бога в стихах трогай — (то же у Ахматовой: «Господь», а потом китайская садовая беседка)» (Герштейн Э. Г. Новое о Мандельштаме. Париж, 1986, с. 243.) Общеакмеистский упрек символизму здесь переадресован самим акмеистам — даже их строгость недостаточна.

молодой человек пошел в «выкресты» по прагматическим мотивам, желая сделать для себя возможным поступление в Санкт-Петербургский университет осенью того же года. Кое-что, однако, говорит против такой возможности. Во-первых, предыдущий, 1910 год был заполнен острым религиозным кризисом, о котором свидетельствуют те самые стихи, которые за свою чрезмерную исповедальность не были включены в «Камень»; едва ли такое соотношение дат случайно. Во-вторых, в дальнейшем для Мандельштама было важно, что хотя бы в некотором, подлежащем уточнению, смысле он — христианин. Применительно к человеку еврейского происхождения это означало прежде всего — не иудаист: достаточно конкретный и серьезный выбор. От своего еврейства поэт, собственно говоря, не отрекался, хотя относился к нему с острой амбивалентностью, о чем ниже; но иудаизм, до известной черты импонировавший ему как «практический монотеизм»,— согласно формуле, употребленной по ходу рассуждения о Бергсоне,— был им раз и навсегда отвергнут как свой путь. Любое чрезмерное приближение к «утробному миру» иудейства, к материнскому «хаосу», воспринимается Мандельштамом в образах кровосмешения: это «черное солнце» Федры — инверсия исторического преемства.

Можно только гадать, почему Мандельштам пошел именно к методистам. В сущности, это тоже довод против грубо практической мотивировки: чтобы ладить с властями российской империи, проще было принять православие. Обращение к протестантской конфессии кажется неожиданным, если вспомнить, что тема христианства уже в стихах 1910 года, не говоря о более поздних, связана с недвусмысленно католическими атрибутами («И пятна золота и крови // На теле статуй восковых», «И слова евангельской латыни...»,— и прочая), протестантизм же — правда, не раньше 1913 года — являет в мандельштамовской поэзии облик не только мрачный («Здесь прихожане — дети праха // И доски вместо образов», «лютеранский проповедник» — «гневный собеседник»), но, по-видимому, и безблагодатный («И кряжистого Лютера незрячий // Витает дух над куполом Петра»). Наиболее простых ответов на эти недоумения — два, и они не исключают друг друга. Первый ответ: протестантизм именно как стускленный, неяркий вариант христианства был в колер, в масть «матовому» миру раннего Мандельштама. В 1912 году, то есть вскоре после крещения и ранее процитированных стихов 1913 года, было написано стихотворение «Лютеранин», тонкими нитями связанное с тютчевским «Я лютеран люблю богослуженье». В нем именно скудость протестантского обихода сочувственно описывается как честность и правдивость, исключающая патетику и недостоверные духовные притязания; она, эта скудость, щадит нервы слишком возбудимого, слишком впечатлительного человека, не оскорбляет его вкуса, не тревожит его чувственности, соответствует его пессимизму:

Кто б ни был ты, покойный лютеранин,
Тебя легко и просто хоронили.
Был взор слезой приличной затуманен,
И сдержанно колокола звонили.

Второй ответ: если Мандельштам хотел креститься, так сказать, в «христианскую культуру» (выражение, употребленное им еще в 1907 году в письме бывшему учителю В. Гиппиусу), если для него было важно считать себя христианином, при этом не посещая богослужений, не принадлежа ни к какой общине и не совершая выбора между этими общинами,— не православие и не католицизм, а только протестантизм мог обеспечить ему для этого более или менее легитимную возможность; прецеденты имелись. В немецком обиходе даже был создан особый термин — «культурпротестантизм»: он обозначает именно позицию интеллигента, являющегося христианином по крещению и, главное, в силу интеллектуального приятия так называемых «христианских ценностей», но держащегося подальше от приходов. Для человека, дорожащего, как Мандельштам, своей удаленностью от всех сообществ,— позиция комфортабельная.

На деле же он оказывается не внутри протестантизма, а между обоими другими вероисповеданиями, действительно задевающими его душу и вдохновляющими его поэзию. По отношению к православию и католицизму крещение у методистов — «нулевой вариант», отодвигание выбора. Недаром в «Камне» рядом поставлены два стихотворения о двух храмах — о православном соборе св. Софии в Константинополе и о католическом соборе Нотр-Дам в Париже; рядом стояли они и в № 3 «Аполлона» за 1913 год. Правда, симметрично — да не совсем: Нотр-Дам поэт видел своими глазами, Айя-Софию — нет; готика — жизненное и очень глубокое переживание, память о котором будет возвращаться вновь и вновь, вплоть до самых поздних стихов, Византия — эфемерная фантазия молодого человека, полного впечатлений, может быть, от лекции знаменитого византиниста Д. В. Айналова (как предположил бывший товарищ Мандельштама по университету В. Вейдле). Личное творческое признание — о прекрасном, творимом «из тяжести недоброй»,— связано именно с Нотр-Дам, не с византийским храмом. И последний нюанс: слово «христианство» тоже введено в стихотворение о Нотр-Дам, в то время как Айя-София увидена как бы в стилизованной языческой перспективе,— с точки зрения Артемиды Эфесской или ее поклонников, Юстиниан строит «для чужих богов».

Одним из наиболее близких поэту людей в 10-е годы был уже упомянутый выше С. П. Каблуков, который, разумеется, убеждал поэта стать православным. О масштабе влияния Каблукова можно спорить, но оно должно было быть достаточно весомо (другое дело, что на таких виртуозов противочувствия, как Мандельштам, лучше не пытаться влиять, ибо всякое прямое воздействие будет сопровождаться, если не вытесняться, обратным). Каблуков водил поэта на концерт духовной музыки, возил к православной заутрене. И все же в мандельштамовских стихах 1914—1915 годов очень громко звучат католические мотивы. Внешним толчком для поэта послужил выход в конце 1913 года первого тома впервые обнародованных М. О. Гершензоном сочинений Чаадаева (второй том вышел в следующем году). Мандельштам был глубоко захвачен чтением; в ноябре 1914 года он уже предлагал редакции «Аполлона» свою статью «Петр Чаадаев». У русского западника прошло-

го века его поразила идея единства как вневременной смысловой связи[1], являющейся, однако, в невыдуманной конкретности исторического преемства, зримое воплощение которого Чаадаев искал в феномене католической церкви. «Сильнейшая потребность ума была для него в то же время и величайшей нравственной необходимостью,— замечает о Чаадаеве Мандельштам.— Я говорю о потребности единства, определяющей строй избранных умов». И еще — об отношении своего наставника к традиции Рима, к папству: «Как очарованный, смотрел Чаадаев в одну точку — туда, где это единство стало плотью, бережно хранимой, завещаемой из поколения в поколение».

Параллельно со статьей Мандельштам пишет стихотворение «Посох» — для него необычно легкое ритмически, раскованное, доверительное. Но стыдливость поэта ограждена характерной техникой смыслового наложения: каждое слово выбрано так, что оно приложимо и к самому Мандельштаму, и к Чаадаеву, одним поворотом все можно перевести в сферу объективации.

Посох мой, моя свобода —
Сердцевина бытия,
Скоро ль истиной народа
Станет истина моя?

Я земле не поклонился
Прежде, чем себя нашел;
Посох взял, развеселился
И в далекий Рим пошел.

А снега на черных пашнях
Не растают никогда,
И печаль моих домашних
Мне по-прежнему чужда.

Снег растает на утесах,
Солнцем истины палим.
Прав народ, вручивший посох
Мне, увидевшему Рим!

Чтобы найти правильный подход к «католической» теме, а заодно к противопоставленным ей темам «русской» и «еврейской», позволим себе маленькое отступление. Мандельштам — редкий по ясности пример, на котором можно рассматривать, как у подлинного поэта один и тот же

---

[1] Вспомним, что именно с идеей единства Мандельштам связывает в «Шуме времени» свое отроческое переживание марксизма. Вспомним также, с какой остротой поставлен вопрос о единстве русской литературы в статье 1922 г. «О природе слова», с каким сочувствием в этой же статье сказано о попытке Бергсона «спасти принцип единства в вихре перемен и безостановочном потоке явлений». Принцип единства противостоит для Мандельштама аморфному эволюционизму, подменяющему связь времен «дурной бесконечностью» прогресса.

принцип определяет и то, что по-литературоведчески называется поэтикой, и то, что по-обывательски называется психологией. В основе как литературного, так и внелитературного поведения Мандельштама — глубокая боязнь тавтологии в самом широком смысле слова, боязнь мертвой точки, непродуктивной статики, когда «разряд равен заводу», когда «на сколько заверчено, на столько и раскручивается». Все, что угодно, только не мертвая точка. Теоретически это будет исчерпывающе разъяснено в «Разговоре о Данте», но практически дано уже в ранних стихах. Вот изблизи взятый пример для контраста: Ахматова могла закончить прекрасное стихотворение словами «страшной книгой грозовых вестей», но по критериям, к которым приучает своего читателя Мандельштам, слова эти скучают в обществе друг друга, ибо эпитет «страшный» не наращивает смысла сравнительно с «грозовыми вестями». Кто поймет, что в мандельштамовском мире это не банальный страх перед банальностью, не забота о том, как сделать поновей и удивить, короче, не «остранение» по Шкловскому, а закон мысли и жизни,— не удивится тому, о чем мы сейчас будем говорить. Мандельштам, будучи евреем, избирает быть русским поэтом — не просто «русскоязычным», а именно русским[1] — не в последнюю очередь потому, что для еврея самоотождествиться в качестве еврея, прикрепить себя к своей национальной идентичности — припахивает тавтологией. Недостает противоречия как энергетического источника, недостает восставленного перпендикуляра. Но вот сделан выбор в пользу русской поэзии и «христианской культуры» — хорошо, одно противоречие вживлено в ткань жизни, один перпендикуляр восставлен: что дальше? Стать православным — означало бы так называемую ассимиляцию: «выкрест» однозначно отождествит себя в качестве русского — снова опасность тавтологии, на сей раз еще и сомнительной. Повинуясь императиву, воплощенному в мандельштамовской поэтике, ум Мандельштама шарил в поисках возможности нового выхода за пределы, отыскивал третий член пропорции между двумя данными — еврейством и Россией. Искомым был некий универсализм, который так относился бы к национальному русскому православию, как христианский универсализм относится к национальному партикуляризму евреев. Стоя перед этим уравнением, поэт был потрясен примером Чаадаева — русского человека, и притом человека пушкинской эпохи, то есть самой органической эпохи русской культуры, избравшего католическую идею единства. Мандельштам угадывает в чаадаевской мысли освобождающий парадокс, родственный тем парадоксам, без которых не мог жить он сам: не вопреки своему русскому естеству, а благодаря ему, ведомый русским духовным странничеством — вот он, «посох мой»! — пришел Чаадаев к тому, к чему пришел. «Мысль Чаадаева, национальная в своих истоках, национальна и там, где вливается в Рим. Только русский человек мог открыть этот

---

[1] Это решение — не такое уж само собой разумеющееся: начало века в России — время бурного развития еврейской литературы, как на иврите (которому Мандельштам отказался учиться в отрочестве) и на идише, так, отчасти, и на русском языке.

Запад, который сгущеннее, конкретнее самого исторического Запада. Чаадаев именно по праву русского человека вступил на священную землю традиции, с которой он не был связан преемственностью. Туда, где все — необходимость, где каждый камень, покрытый патиной времени, дремлет, замурованный в своде, Чаадаев принес нравственную свободу, дар русской земли, лучший цветок, ею взращенный». Как выражается Н. А. Струве, обсуждая именно отказ от перспективы тривиальной ассимиляции, Мандельштам пожелал «не стать, а быть русским»; а имелся ли для этого «не стать, а быть» более убедительный вариант, чем подражание русскому пути Чаадаева, выведшему его за пределы русского?

Легко усмотреть, что строй католической традиции, «бессмертная весна неумирающего Рима», как сказано в статье, перенимает у взрослого Мандельштама те функции противовеса родимому хаосу, которые для отрока выполняла петербургская архитектура. А в понятии родимого хаоса теперь неразличимы два аспекта: «иудейский» и российский. «И печаль моих домашних // Мне по-прежнему чужда»,— о чьей печали говорится здесь, о печали русских или о печали евреев? По логике стихотворения это одно и то же: уныние замкнувшегося в себе мира, отлученного от «единства», несвобода, бесплодие тавтологии. (Разумеется, выбор слова содержит аллюзию на евангельский текст: «Враги человеку домашние его», Евангелие от Матфея, 10, 36). Любопытно, что в одном стихотворении католическая тема просвечивает сквозь петербургскую, потому что речь в нем идет о Казанском соборе Воронихина, «русского в Риме»,— хрупком северном отголоске облика собора св. Петра, главного храма католичества на всей земле.

На площадь выбежав, свободен
Стал колоннады полукруг...

Помимо мысли о римском Сан-Пьетро, помимо всех коннотаций, которые жили для Мандельштама в словах «русский в Риме», стихотворение это связывается с «католическими» стихами через эпитет «свободен». В тех стихах, как и в статье о Чаадаеве, о свободе говорится снова и снова. «Посох мой, моя свобода», «Есть обитаемая духом // Свобода — избранных удел». Собственно говоря, слова для русских стихов неожиданные. Русский интеллигент привык ассоциировать католицизм в лучшем для последнего случае со стройностью и эстетическими приманками, а в худшем — со слепым послушанием какому-нибудь Великому Инквизитору, с «чудом, тайной и авторитетом», по Достоевскому; при чем тут свобода? Но Мандельштам ни теперь, ни после не противопоставляет свободу — подчинению. О Чаадаеве он говорит: «Идея организовала его личность, не только ум, дала этой личности строй, архитектуру, подчинила ее себе всю без остатка и, в награду за абсолютное подчинение, подарила ей абсолютную свободу». Архитектура ведь в том и состоит, что неоформленное покоряется форме, принимает ее устав. Мандельштамовское понимание свободы не похоже на расхожий либерализм; недаром он любил Константина Леонтьева. И если мы спросим

себя: свободу от чего он имеет в виду? — мы должны будем ответить: свободу от тавтологии. От случайных черт облика народности. «Синтетическая народность не склоняет головы перед фактом национального самосознания, а возносится над ним в суверенной личности, самобытной, а потому национальной». А выход из тавтологии — сам по себе веселье: «Посох взял, развеселился...». «Бессмертная весна» — вместо нетающих снегов на «черных пашнях». Об этих снегах сначала сказано, что они «не растают никогда», потом — что они все-таки растают, правда, не в низинах, а «на утесах» — для избранных. «Свобода — избранных удел».

Исповедальности поэт продолжает остерегаться и теперь. Это стихотворение написано так, чтобы лирическое «я» могло спрятаться за Чаадаева. Стихотворение «Аббат» в «Новом Сатириконе» и в «Камне» имеет вид подчеркнуто литературный, иронический, бытописательский: «аббат Флобера и Золя», «спутник вечного романа», вздыхающий от жары, утомленный разговором. Но в авторских вариантах, имеющих, как это обычно для Мандельштама, вполне самостоятельное значение, звучат иные ноты:

А в толщь унынья и безделья
Какой врезается алмаз,
Когда мы вспомним новоселье,
Что в Риме ожидает нас!

И еще:

Там каноническое счастье,
Как солнце, стало на зенит,
И никакое самовластье
Ему сиять не запретит.
О жаворонок, гибкий пленник,
Кто лучше песнь твою поймет,
Чем католический священник
В июле, в урожайный год!

Об алмазе у поэта заходит речь в связи с идеалом воли, внутренней собранности, строя как единства «абсолютного подчинения» и «абсолютной свободы», противостоящего хаосу. «Унынье и безделье» — как бы «хаос российский», в противоположность «хаосу иудейскому». «Все стало тяжелее и громаднее,— скажет Мандельштам о своем времени уже после революции,— потому и человек должен... быть тверже всего на земле и относиться к ней, как алмаз к стеклу».

Конечно, католичество Мандельштама не очень похоже на конфессиональный католицизм тех времен (это выглядело бы для поэта еще одной ловушкой тавтологичности). Во фрагментарно дошедшей речи 1915 года «Скрябин и христианство» он неожиданно говорит о Девятой симфонии Бетховена как воплощении «католической радости», и это кажется причудой; с другой стороны — он будто слышал, как ровно через полвека (конец 1915 — конец 1965) на закрытии Второго Ватиканского собора будут исполнять именно эту музыку... Вроде бы еще

неожиданнее в той же речи: «Все римское бесплодно, потому что почва Рима камениста, потому что Рим — это Эллада, лишенная благодати» (в предыдущем году было написано: «Поговорим о Риме — дивный град!»: в будущем году будет написано: «И никогда он Рима не любил»). Из этого неразумно было бы делать вывод о католических убеждениях Мандельштама до конца 1915 года и отсутствии таковых впоследствии. С одной стороны, он никогда не был католиком, ибо единственный способ для этого — принадлежать к католической Церкви, «к приходу»; с другой же стороны, мысленное католичество поэта по своей логике не исключает возможности предпочитать Элладу — Риму, как не исключает оно любой степени сочувствия православию. Ему запрещено быть тавтологически латинским или тавтологически ватиканским.

Возьмем три первые строки стихотворения 1915 года «Евхаристия»:

Вот дароносица, как солнце золотое,
Повисла в воздухе — великолепный миг.
Здесь должен прозвучать лишь греческий язык...

Католическое и греко-православное здесь объединены в характерной мандельштамовской технике наложения. Первые две строки дают недвусмысленные приметы латинской мессы (гостия, вознесенная для поклонения в ореоле расходящихся во все стороны лучей из золота); и сейчас же с большой силой назван греческий язык — весомость строки выводит ее за пределы сферы реалий. В конце, однако, мы снова возвращены к мессе (очень конкретное упоминание инструментальной музыки — «играют и поют»).

Позднее, в 1921 году, он будет просто говорить о вселенском христианстве, беря Константинополь и Рим в одни скобки:

Соборы вечные Софии и Петра,
Амбары воздуха и света,
Зернохранилища вселенского добра
И риги Нового Завета.

В том же году, славя нищее, неприкаянное и вольное состояние культуры — «не от мира сего», Мандельштам увидит в ней христианские черты: «культура стала церковью», «теперь всякий культурный человек — христианин». Впоследствии для таких формул не было основания: культура перестала быть и нищей, и вольной — какое уж там «отделение церкви-культуры от государства»! Но в самосознании самого поэта это продолжало вспыхивать. Кто понимает Мандельштама изнутри, услышит и в поздней его формуле — «тоска по мировой культуре» — отголосок мыслей его статьи о Чаадаеве.

Из Мандельштама неосторожно делать «христианского поэта» в каком-то специфическом смысле слова. Столь же неосторожно, однако, вместе с Г. Фрейдиным видеть в христианских мотивах его поэзии лишь цветной лоскуток среди прочих таких же лоскутков на театральном наряде Арлекина. Поэт не был ни богословом, ни Арлекином. От своих

мыслей о христианстве он отходил, увлекаемый другими сюжетами, но не отказывался, и они продолжают жить подспудно, вступая в новые сочетания, которые могут казаться нам странными, но без которых его пути не объяснишь.

На первый план для него, как для его современников и соотечественников, выходят политические темы. Он недаром сказал не об одном себе: «Мы будем помнить и в летейской стуже, // Что десяти небес нам стоила земля». Он знал, что говорил.

* * *

Век мой, зверь мой, кто сумеет
Заглянуть в твои зрачки
И своею кровью склеит
Двух столетий позвонки?

В жизни слова наступила героическая эра. Слово — плоть и хлеб. Оно разделяет участь хлеба и плоти: страдание.

Рубеж времен — начало первой мировой войны. Начинался, по слову Ахматовой, сразу открывшей в себе именно тогда силу плакальщицы, «не календарный — настоящий двадцатый век».

Но мысль Мандельштама, привыкшую работать с большими временными глыбами и словно пораженную высоким недугом дальнозоркости, события поначалу направили к веку минувшему — к Наполеону и Венскому конгрессу, к интонациям политической лирики Тютчева.

Европа цезарей! С тех пор, как в Бонапарта
Гусиное перо направил Меттерних,—
Впервые за сто лет и на глазах моих
Меняется твоя таинственная карта!

Ему вспоминается «рукопожатье роковое на шатком неманском плоту», вообще «Россия Александра» (одновременно, по принципу наложения, Россия Александра I и Александра Пушкина, Россия европейская, классическая, архитектурная). Пройдет несколько лет, и окажется, что «солнце Александра» — то, что дальше всего от современности, от «сумерек свободы». Что пришло время окончательного прощания с ним. В 1922 году Мандельштам констатирует: «Многие еще говорят на старом языке, но никакой политический конгресс наподобие венских или берлинских в Европе уже невозможен, никто не станет слушать актеров, да и актеры разучились играть». И ниже: «В нынешней Европе нет и не должно быть никакого величия, ни тиар, ни корон, ни величественных идей, похожих на массивные тиары. Куда все это делось — вся масса литого золота исторических форм и идей?..»

Но перед своим концом именно обреченное «величие», именно

«исторические формы и идеи» обступают ум поэта. В их внутренней опустошенности он должен убедиться — не из внешних событий, а из внутреннего опыта усилий сочувствовать «миру державному», вчувствоваться в его строй. Он прощается с ним по-своему — перебирая старые мотивы, приводя их в порядок, составляя для них средствами поэзии некий каталог. «Вечные сны, как образчики крови, // Переливай из стакана в стакан»,— будет это названо позднее. Как в стихотворении «Домби и сын» ему случилось дистиллировать как бы из всех диккенсовских романов единый «метасюжет» — отчасти наподобие того, как В. Пропп средствами науки будет делать это с русскими сказками,— так он поступает по отношению к запасу имперских и славянофильских тем русского XIX века. Получается нечто странное и грустное: серьезная пародия. Заметим, что Мандельштам, при всей своей неизбывной склонности ко всякого рода шуткам, в том числе и стихотворным, никогда не сочинял пародий в обычном смысле. Серьезная пародия получается оттого, что старая интонация иначе звучит в изменившемся воздухе времени. «Поляки! Я не вижу смысла»,— именно такая серьезная пародия на политические стихи Тютчева, да и не только Тютчева; поэт с древним жестом ритора укоряет поляков, как сам Пушкин укорял в свое время «клеветников России»,— присутствие оппонента, могущего слышать укоры, в обоих случаях, при разнице масштабов, является одинаково воображаемым. (В той же статье 1922 года будет сказано: «Ни один мессианствующий и витийствующий народ никогда не был услышан другим»...) Еще примечательнее другое стихотворение 1914 года — «В белом раю лежит богатырь...». Это опыт, вызывающий резкое чувство абсурдности, и чувство это, по-видимому, не было чуждо самому поэту, не включившему стихов об иконописно-былинном «пахаре войны» в сборники. Только перед нами отнюдь не обычная сентиментальная версификация на дежурную патриотическую тему, какими не брезговали в ту пору даже истинные поэты, не аморфное обращение к эмоциям,— а, напротив, очень четко, даже чересчур четко оформленный суммирующий каталог общих мест русского народного самосознания в славянофильской аранжировке. Совсем как в «Домби и сыне». Притом Мандельштам с аккуратностью, может быть — инстинктивной и бессознательной, ставит читателя в известность, что говорящий в этом стихотворении — не он[1]. Этому служат риторические вопрошания[2]:

Разве Россия — не белый рай
И не веселые наши сны?

[1] Нечто подобное мы встретим в «Оде» Сталину 1937 г., о чем ниже. Ода тоже основана на принципе каталога. Разница, конечно, в том, что никакая внешняя сила не принуждала Мандельштама писать стихотворение 1914 г. и корысти ему тоже не было никакой. Интересно, однако, что некоторая возможность опытов в таком роде возникает из самой поэтики Мандельштама (чуть ли не из родовой памяти поэзии как таковой, издревле служившей этикетному славословию),— хотя бы на периферии этой поэтики, да еще так, что все немедленно оказывается оспорено и взято назад самим поэтом.

[2] В «Оде» Сталину ту же функцию ухода от простой утвердительной формы выполняет вводимое с первой же строки сослагательное наклонение.

Здесь каждое слово выбрано по противоположности к стихотворению «Посох». Там — «черные пашни», здесь — «белый рай», там — «печаль моих домашних», здесь — «веселые наши сны». Там — чаадаевский образ России, здесь — славянофильский; и оба даны на уровне предельного обобщения. Будучи возведена на этот уровень, неизбежный для Мандельштама с его обычной оптикой дальнозоркости, политическая риторика, когда-то имевшая такое импонирующее звучание у поэтов прошлого века, не говоря уже о веках предшествовавших, сама собой оказывалась предметом описательной объективации (на манер «Домби и сына»), в конечном счете уничтожая себя самое, показывая, до чего легко ей повернуться на сто восемьдесят градусов.

Говоря о прощании Мандельштама с имперской темой, упомянем ради удобства читателя одно обстоятельство, которое надо иметь в виду, даже не пытаясь отыскать для него рационалистическое объяснение. В мандельштамовской системе шифров обреченный Петербург, именно в своем качестве имперской столицы, эквивалентен той Иудее, о которой сказано, что она, распяв Христа, «окаменела»: он связывается уже не с Римом, а со святым, богоотступническим и гибнущим Иерусалимом. Цвета, характеризующие безблагодатное иудейство — «Благодати не имея // И священства лишены...», — это черный и желтый: «У ворот Ерусалима // Солнце черное взошло. // Солнце желтое страшнее...» Так вот, именно эти цвета характеризуют петербургский «мир державный». Собственно говоря, и в только что процитированных стихах тема иудейства как-то загадочно соотнесена с мессианско-русской темой через цитату из славянофила Хомякова — «У ворот Ерусалима» [1]. Но далее поэт подчеркивает, что черный и желтый — цвета российского императорского штандарта: «Черно-желтый лоскут злится, // Словно в воздухе струится // Желчь двуглавого орла». Эти цвета остаются константой образа Петербурга вплоть до знаменитых стихов 1930 года: «Узнавай же скорее декабрьский денек, // Где к зловещему дегтю подмешан желток». Но отчетливее всего «историософская», эсхатологическая тема города на Неве как обреченного ветхозаветного Иерусалима дана в стихотворении, написанном в ноябре 1917 года и посвященном А. В. Карташеву, православному богослову и представителю ученой церковной общественности на соборе, состоявшемся летом того же года. В фигуре «левита» можно узнать и самого поэта, одержимого пророческой тревогой.

Среди священников левитом молодым
На страже утренней он долго оставался.
Ночь иудейская сгущалася над ним,
И храм разрушенный угрюмо созидался.

Он говорил: небес тревожна желтизна.
Уж над Евфратом ночь, бегите, иереи!
А старцы думали: не наша в том вина;
Се черно-желтый цвет, се радость Иудеи.

[1] Позднее цитата будет комически подчеркнута: «У ворот Ерусалима Хомякова борода».

Он с нами был, когда, на берегу ручья,
Мы в драгоценный лен Субботу пеленали
И семисвещником тяжелым освещали
Ерусалима ночь и чад небытия.

«Погибающий Петербург, конец петербургского периода русской истории,— комментирует это стихотворение Н. Я. Мандельштам,— вызывает в памяти гибель Иерусалима. Гибель обоих городов тождественна: современный город погибает за тот же грех, что и древний. Петербург не Вавилон — мировая блудница пророческих прозрений, а именно Иерусалим. Вавилон, языческий город, погряз в роскоши и блуде. Петербург, как и Иерусалим, отвечает за другой — более глубокий грех». Какой же именно? По-видимому, едва ли будет ошибкой понять негативный общий знаменатель между Российской империей и окаменевшей Иудеей как национальный мессианизм, срывающийся в «небытие» (тема «Пшеницы человеческой» в 1922 году),— качество государственности, чересчур густо сакрализованной. Уходящий «державный мир» вызывает у поэта сложное переплетение чувств. Это и ужас, почти физический. Это и торжественность — «Прославим власти сумрачное бремя, // Ее невыносимый гнет». И третье, самое неожиданное,— жалость. Государство вызывает обычно либо преданность, либо холодную лояльность, либо ненависть; кажется, только Мандельштам заговорил о «сострадании» к государству, к его «голоду». В одной из глав «Шума времени», посвященных поре гражданской войны, возникает сюрреалистический образ «больного орла, жалкого, слепого, с перебитыми лапами,— орла добровольческой армии», двуглавой птицы, копошащейся в углу жилища сердобольного полковника Цыбульского «под шипенье примуса». Но чернота этой геральдической птицы была увидена как цвет конца еще в 1915 году.

По понятной связи мыслей действительность русской революции приближает к уму поэта образы Французской революции, которые впоследствии так и остаются в постоянном ассоциативном арсенале его поэзии. Среди них один имел особое значение, ибо через него выражал себя трагизм, рождающийся из проблематики революции, из недр ее антиномий. Это воспетый еще Пушкиным образ лучшего поэта революционной Франции, поэта-гражданина, вдохновленного революцией и революцией умерщвленного, сложившего голову на гильотине под самый конец робеспьеровского террора,— образ Андре Шенье. Он и раньше привлекал внимание Мандельштама. Но впечатления 1917 года побудили поэта прямо-таки заговорить голосом Шенье. Это сделано в стихах на гибель растерзанного солдатами комиссара Временного правительства эсера Линде — того самого, который известен читателям «Доктора Живаго» как комиссар Гинц; но если у Пастернака обстоятельства переданы реалистически, не без сострадательной иронии, то у Мандельштама они возвышены до пафоса, казалось бы навсегда отзвучавшего в день казни Шенье. Согласно поэтической вере Мандельштама, очень глубоко чувствующего кровь, жертва, просто потому, что

она — жертва, достойна пафоса. То, что получилось, больше дает понятие о подлинном Шенье, чем любой из переводов французского поэта.

Среди гражданских бурь и яростных личин,
Тончайшим гневом пламенея,
Ты шел бестрепетно, свободный гражданин,
Куда вела тебя Психея.

И если для других восторженный народ
Венки свивает золотые —
Благословить тебя в далекий ад сойдет
Стопами легкими Россия.

Кто сочтет этот классицизм курьезом, будет не прав; стихотворение это слишком близко к такому неоспоримому шедевру, как «Декабрист». Для Мандельштама было совершенно неизбежно видеть мучившую злобу дня с той же установкой на дальность, как своего декабриста. С другой стороны, однако, русская революция — не повторение французской, и строй русской поэзии не похож на «абстрактную, внешне холодную и рассудочную, но полную античного беснования поэзию Шенье» (мандельштамовская характеристика). Шенье в свое время претворял в лиризм политическую риторику; у нас из самых больших поэтов с политической риторикой работал только Маяковский (Цветаева даже в «Лебедином стане» не могла удержаться в пределах таковой). Традиция русской поэзии требовала такого ответа на политические события, который выходил бы за пределы только политического, а потому был бы противоречивым с любой однолинейно-политической точки зрения. Чтобы адаптировать, например, стихотворение Ахматовой «Когда в тоске самоубийства...», одним желательно было отсечь два первые четверостишия, а другим — последнее; целое не вмещалось ни в одну систему, ни в другую. Что же говорить о Мандельштаме с его отталкиванием от тавтологий! Самый значительный из его откликов на революцию — стихотворение «Сумерки свободы» (1918 год), и его очень трудно подвести под рубрику «приятия» или «неприятия» в тривиальном смысле. Тема отчаяния звучит в нем очень громко:

В ком сердце есть — тот должен слышать, время,
Как твой корабль ко дну идет.

Ласточка, нежный и хрупкий образ души, свободы, поэзии, здесь является в иной, несвойственной ей, функции. Речь идет уже не о ласточке, единственной и вольной, а о ласточках, которые «связаны» — слово-то какое! — в легионы, в боевой строй, сплочены принуждением времени. Великий сдвиг отнимает возможность ориентироваться в мире: солнце закрыто. Вспоминал ли Мандельштам «осязаемую тьму» из библейской Книги Исхода, одну из «казней египетских»? Но в этой темноте и густоте движения живой стихии поэт не отделяет себя от

происходящего и описывает действие в грамматической форме первого лица множественного числа — «мы» сделали это:

Мы в легионы боевые
Связали ласточек — и вот
Не видно солнца; вся стихия
Щебечет, движется, живет;
Сквозь сети — сумерки густые —
Не видно солнца, и земля плывет.

Последняя строка процитированного шестистишия поражает тем, как много в нее вложено: она вместительна, как емкая формула. Вспомним, что в иной, более темный, час истории, в 1933 году, поэт начнет стихотворение, в котором он возвысит свой голос против сталинщины, тоже с формулы, близкой по смыслу к этой, — с еще одной жалобы на невозможность ориентироваться в человеческом пространстве: «Мы живем, под собою не чуя страны». Но различие между обеими формулами тоже существенно и подчеркивает точность каждой из них. В более ранней скрылось от зрения солнце — образ всего далекого и высокого, общечеловеческого, «горнего»; однако «дольнее» никуда не ушло, земля, земная стихия человеческой массы, «пшеница человеческая», — осязаема, хотя и текуча, «десяти небес нам стоила земля». Но в более поздней формуле подменена и перестала быть осязаемой «страна» — та самая земля, за которую платили небесами.

Однако тема сопричастности совершающемуся, намеченная местоимением «мы», крепнет под конец стихотворения:

Ну что ж, попробуем: огромный, неуклюжий,
Скрипучий поворот руля.
Земля плывет. Мужайтесь, мужи.
Как плугом, океан деля...

Происходящее «огромно», и оно требует степени мужества, которая была бы пропорциональна этой огромности. «Идеал совершенной мужественности подготовлен стилем и практическими требованиями нашей эпохи. Все стало тяжелее и громаднее, потому и человек должен стать тверже, так как человек должен быть тверже всего на земле и относиться к ней, как алмаз к стеклу», — сказано в брошюре 1922 года «О природе слова». «Мужайтесь, мужи», — подумать только, что эти слова принадлежат отнюдь не героической натуре вроде Гумилева, а, напротив, человеку столь хрупкому и впечатлительному, столь непоследовательному в своем каждодневном поведении, нуждающемуся, как ребенок, в помощи! И все-таки они оправданы, и притом дважды: во-первых, уникальной независимостью его мысли, на своем внутреннем пространстве и впрямь твердой, как алмаз; во-вторых, постепенно созревающей от десятилетия к десятилетию личной готовностью быть жертвой. Когда, двадцатидвухлетний, писал до революции, даже до

начала войны: «Россия,—ты, на камне и крови, // Участвовать в твоей железной каре // Хоть тяжестью меня благослови!»,—было ли это еще литературой? Трудно сказать—только почему-то подобные слова имеют обыкновение исполняться (как буквально, от слова до слова, исполнилась молитва Ахматовой: «Отыми и ребенка, и друга»). В 1922 году мотив заклания становится сосредоточеннее и сокровеннее:

Снова в жертву, как ягненка,
Темя жизни принесли.

В 1930 году в одном из стихотворений армянского цикла промелькнет сожаление поэта, что он «крови горячей не пролил»; присущее Мандельштаму глубокое и совсем не сентиментальное отвращение ко всему, что пахнет кровью, не оставляет ни малейшего сомнения, что речь идет не о чужой, а о своей собственной крови. И так пойдет дальше—вплоть до той совсем уж внелитературной ситуации февраля 1934 года, когда Ахматова услышит в Москве, на переходе от Кропоткинской улицы к Гоголевскому бульвару, признание Мандельштама, уже написавшего к этому времени гибельные для себя стихи о Сталине: «Я к смерти готов». (Слова, эхо которых отзовется в «Поэме без героя».)

Поэты, укорененные в «старом мире», должны были в первые послереволюционные годы решить для себя вопрос об эмиграции или отказе от нее. Классическая форма отказа—у Ахматовой: «Но равнодушно и спокойно // Руками я замкнула слух, // Чтоб этой речью недостойной // Не осквернился скорбный дух». У Мандельштама тема отказа появляется в 1920 году, но звучит поначалу под сурдинку и как-то легкомысленно: «Недалеко до Смирны и Багдада, // Но трудно плыть, а звезды всюду те же». И как только она крепнет, она окрашивается в тона жертвенные, и притом отчетливо христианские. Символом верности русской беде становится Исаакиевский собор (который чисто архитектурно не импонировал поэту, чем подчеркнуто внеэстетическое, духовно-нравственное значение образа). После прощальной оглядки на Айя-Софию, символ вселенского православия, и на Сан-Пьетро, символ вселенского католичества, взятые в единстве, как манящая средиземноморская даль, сказано:

Не к вам влечется дух в годины тяжких бед,
Сюда влачится по ступеням
Широкопасмурным несчастья волчий след,
Ему ж вовеки не изменим:

Зане свободен раб, преодолевший страх,
И сохранилось свыше меры
В прохладных житницах в глубоких закромах
Зерно глубокой, полной веры.

Самое начало 20-х годов, когда Мандельштам после скитаний по южным краям[1] вернулся в Петроград и проживал в Доме Искусств, затем снова ездил на юг или обосновывался в Москве,— было для его мысли и для его поэзии временем подъема. Эмоциональный фон подъема — то странное, вроде бы иррациональное, настроение катарсиса, которое так просветленно звучит в стихотворении «В Петербурге мы сойдемся снова...», в статье «Слово и культура», очень естественно соединяясь с чувством обреченности и физической болью тягот. О хрупком веселье русской культуры посреди гибельной стужи русской жизни сказаны самые пронзительные слова, которые когда-либо говорились:

И живая ласточка упала
На горячие снега.

Это пятикратно повторенное под ударением «а» звучит как музыкальное ламенто, в восторге которого боль и радость — одно и то же. Подобное настроение посещало в годы разрухи не одного Мандельштама. «Все голодной тоскою изглодано, // Отчего же нам стало светло?» — спрашивала тогда же Ахматова, менее всего склонная относиться к происходящему с эйфорией. Длится парадоксальное по своей сути историческое мгновение: старая культура еще жива и остается собою, она, как уверяет Мандельштам в только что упомянутой статье, жива даже «более, чем когда-либо»; но у нее, отрешенной от всех своих внешних опор и предпосылок, словно открылось новое измерение. «Нет ничего невозможного. Как комната умирающего открыта для всех, так дверь старого мира настежь распахнута перед толпой. Внезапно все стало достоянием общим. Идите и берите. Все доступно: все лабиринты, все тайники, все заповедные ходы. Слово стало не семиствольной, а тысячествольной цевницей, оживляемой сразу дыханием всех веков».

В стихах этого времени, составляющих заключительную часть сборника «Tristia», достигнуто единственное в своем роде равновесие между старой «архитектурной» стройностью — и новой дерзостью семантического сдвига, никак не укладывавшейся в рамки акмеизма[2], между

---

[1] «Чуя грядущие казни, от рева событий мятежных // Я убежал к нереидам на Черное море...» Вехи пути: Харьков и Киев, где он встретил будущую спутницу своей жизни Н. Я. Хазину, Коктебель, где он не ужился с Волошиным, и Феодосия, где он был арестован врангелевской контрразведкой и спасен стараниями полковника Цыбульского — того самого, с которым связан образ увечного двуглавого орла в «Шуме времени»,— а также Волошина и Вересаева; Батуми, где он был еще раз арестован береговой охраной меньшевистского правительства и освобожден по ходатайству поэтов Н. Мицишвили и Т. Табидзе; наконец, Тбилиси.

[2] Это неоднократно и едва ли удачно описывали как приближение к футуризму (впрочем, контакты Мандельштама с группой «Гилея» — факт, который необходимо учитывать). Поэтика Мандельштама — понятие более конкретное и потому более ясное, чем «акмеизм вообще» или «футуризм вообще». Футуристов Хлебникова и Маяковского поэт принимал всерьез — как, впрочем, и неоклассика Ходасевича.

прозрачным смыслом — и «блаженным бессмысленным словом». От акмеистических принципов Мандельштам отходит и в теории. «Живое слово не обозначает предмета, а свободно выбирает, как бы для жилья, ту или иную предметную значимость, вещность, милое тело. И вокруг вещи слово блуждает свободно, как душа вокруг брошенного, но не забытого тела... Стихотворение живо внутренним образом, тем звучащим слепком формы, который предваряет написанное стихотворение». Музыка сознательно предпочтена пластике. И при этом — императив равновесия: слово получает свободу от своего предметного смысла, однако «не забывает» о нем, подобно тому как культура в переходный момент получает свободу от своих прежних оснований, отрешается от них, но еще не теряет верности себе. Так называемая магия слова вплотную подходит к «зауми», но не переходит последней черты. «В беспамятстве ночная песнь поется»; но схождение в ночные глубины беспамятства служит тому, чтобы обострить до предела акт памяти, припоминания.

Техника постепенного ухода от опознаваемых деталей и примет подразумеваемой жизненной ситуации, хорошо прослеживаемая по черновикам, работает не на самоцельный бред и не на рационалистический ребус — она создает контраст для внезапного прорыва «узнаванья». «Слепой узнает милое лицо, едва прикоснувшись к нему зрячими перстами, и слезы радости, настоящей радости узнаванья, брызнут из глаз его после долгой разлуки». В. Рождественский пересказывал устные советы Мандельштама: «Понятия должны вспыхивать то там, то тут... Но их разобщенность только кажущаяся. Все подчинено разуму, твердому логическому уставу». Так и построены наиболее абсолютные образцы серединного периода творчества Мандельштама — «Сестры — тяжесть и нежность...», «Ласточка», «Чуть мерцает призрачная сцена...», «Возьми на радость из моих ладоней...», «За то, что я руки твои не сумел удержать...».

В статьях начала 20-х годов поэт как будто торопится сказать самое главное. Среди них — уже цитированная выше «Пшеница человеческая», ошеломляюще умный, трезвый, реалистический опыт о духовной ситуации эпохи масс, когда вышедшая из послушания «пшеница» не дает выпечь из себя «хлеба», а традиционные символы государственной «архитектуры» превращаются в бутафорию. Одной этой статьи было бы достаточно, чтобы навсегда опровергнуть миф о Мандельштаме как «птичке Божьей», не способной связать двух мыслей по законам рационального мышления. «Остановка политической жизни Европы как самостоятельного, катастрофического процесса, завершившегося империалистической войной, совпала с прекращением органического роста национальных идей, с повсеместным распадом «народностей» на простое человеческое зерно, пшеницу, и теперь к голосу этой человеческой пшеницы, к голосу массы, как ее нынче косноязычно называют, мы должны прислушаться, чтобы понять, что происходит с нами и что нам готовит грядущий день», — ведь здесь ни слова не сказано зря. Статья, наперед изобличающая пустоту, историческую неоправданность, тупиковость всех предстоящих попыток обновить кровавый пафос государ-

ственного «величия», как будто обращена непосредственно к нам. Кажется, мы только теперь способны как следует оценить ее формулировки. «Ныне трижды благословенно все, что не есть политика в старом значении слова... все, что поглощено великой заботой об устроении мирового хозяйства, всяческая домовитость и хозяйственность, всяческая тревога за вселенский очаг. Добро в значении этическом и добро в значении хозяйственном, то есть совокупности утвари, орудий производства, горбом тысячелетий нажитого вселенского скарба, сейчас одно и то же». Не менее актуальной остается другая статья того же времени — «Гуманизм и современность», полемизирующая с тезисом символистов о конце гуманизма, его исчерпанности. Большими линиями, широкими мазками, ни на что не отвлекаясь, Мандельштам набрасывает три свои темы. Первая — неизбежность новой, монументальной «социальной архитектуры», кризис попыток обойтись одной правовой регуляцией, характерных для прошлого века, гибель, нависшая над домашним уютом. Вторая тема — угроза социальной архитектуры, враждебной достоинству и свободе человека: нового «Египта», новой «Ассирии». «Ассирийские пленники копошатся, как цыплята, под ногами огромного царя, воины, олицетворяющие враждебную человеку мощь государства, длинными копьями убивают связанных пигмеев, и египтяне и египетские строители обращаются с человеческой массой, как с материалом, которого должно хватить, который должен быть доставлен в любом количестве». Мы понимаем, почему в одном стихотворении 1937 года неожиданно сказано: «пустячком пирамид»; при всей своей колоссальности, пирамиды не могут быть «большими», потому что не соотнесены с человеческой мерой[1]. И третья тема — идеал, альтернатива «социальной пирамиде» — «свободная игра тяжестей и сил, человеческое общество, задуманное как сложный и дремучий архитектурный лес, где все целесообразно, индивидуально, и каждая частность аукается с громадой».

Какие бы превратности ни постигали хрупкое равновесие нервов Мандельштама, какие бы зигзаги ни прочерчивало его поведение в повседневной жизни, едва ли не играющей для поэтов роль черновика,— его неподкупная мысль вглядывалась в происходящее твердо, без паники, без эйфории и ставила вопросы, ничего не скажешь, по существу.

Сегодня, в свете всего нашего опыта,— что можем мы добавить к его формулировке принципов и критериев?

---

[1] Древний Египет — для Мандельштама всегда образ несвободы, одновременно жестокой и чиновничьи-самодовольной («Бессмертны высокопоставленные лица»), а потому образ конца истории как пространства для выбора. Здесь отчасти играли роль библейские коннотации «Египта, дома рабства». В 1931 г. поэт говорил отцу Э. Г. Герштейн о Сталине: «...десятник, который заставлял в Египте работать евреев». (Ср. библейский рассказ о том, как Моисей «увидел тяжкие работы их, и увидел, что египтянин бьет одного еврея из братьев его».— Исход, 2, 11.)

* * *

Нельзя дышать, и твердь кишит червями,
И ни одна звезда не говорит...

Нюренбергская есть пружина,
Выпрямляющая мертвецов.

Двойное равновесие, которым отмечено лучшее, что писал Мандельштам в начале 20-х годов,—равновесие тревог и надежд в осмыслении времени, обеспеченное сознанием независимости собственной мысли, да и культуры в целом, и равновесие темнот и ясности в облике стиха, обеспеченное тем, что сам поэт называл чувством внутренней правоты,—уже к середине десятилетия оказывается буквально взорванным.

Очень лично пережит был расстрел Гумилева. Нечто вроде присяги на верность памяти казненного друга проходит через всю жизнь Мандельштама. В письме к Ахматовой от 25 августа 1928 года сказано: «Знайте, что я обладаю способностью вести воображаемую беседу только с двумя людьми: с Николаем Степановичем и с Вами. Беседа с Колей не прервалась и никогда не прервется». Со временем боль не притуплялась, а скорее усиливалась: на нее накладывались новые впечатления.

Надежда на «отделение церкви-культуры от государства», на «органический тип новых взаимоотношений, связывающих государство с культурой наподобие того, как удельные князья были связаны с монастырями», которые они держали «для совета», все определеннее оказывалась иллюзией. Культуру энергично и расторопно ставили на место и пристраивали к делу—не без участия самой интеллигенции. Убеждение Мандельштама, выраженное в более поздней фразе, приводимой Н. Я. Мандельштам: «В вопросах литературы они должны спрашивать у нас, а не мы у них»,—воспринималось уже как анахронизм. Независимость становилась фрондой, либо опасной, либо обреченной мельчать, спускаться в приватные разговоры, переходить в позу, в бытовую воркотню. Одни принимали новый порядок вещей на его собственных условиях, постепенно снимая все свои оговорки; другие уходили в эмиграцию. Круг носителей культуры, способных понимать друг друга, распадался.

Существовали причины, по которым положение Мандельштама и Ахматовой стало неуютным несколько ранее, чем положение других больших поэтов. Какую-то роль играл биографический, можно сказать, хронологический фактор, по своей сути вполне случайный. Если поэт по-настоящему составил себе имя только после революции, это само по себе побуждало воспринимать его как поэта советского, не «старорежимного». Так было с Пастернаком: хотя он родился как раз между годами рождений Ахматовой и Мандельштама, хотя «Близнец в тучах» вышел всего на год позже «Камня» и на два года позже «Вечера», заметили его только после выхода «Сестры моей—жизни», в 1922 году

(принадлежность к футуристическим кругам тоже была для 20-х годов лучшей рекомендацией, чем принадлежность к акмеистической группе). С другой стороны, если поэт составил себе имя достаточно задолго до революции в качестве деятеля символизма, его репутация воспринималась как «старорежимная», но в самой своей «старорежимности» солидная: он был бесспорным реликтом старой культуры, до поры до времени состоящим под охраной. С Ахматовой и Мандельштамом было хуже: оба были на виду в 10-е годы, тогда выработали свои навыки поведения в литературе и жизни, вообще прочно ассоциировались с этой порой, а потому не могли избежать обвинения в старомодности, в котором неразличимо переплетались мотивы политические («старорежимность») и эстетические (устаревшая поэтика). Они воспринимались как старики, пришедшие из старого мира. Но на самом деле они были еще совсем молоды, и репутация их, будучи установившейся, не была освящена временем и пиетета не вызывала. «Меня хотели, как пылинку, сдунуть»,—жалуется Мандельштам в 1931 году, добавляя: «Уж я теперь не юноша, не вьюн»; в этой жалобе выразилась одна из характерных черт его судьбы. Для одних—старик, чье время прошло вместе со старым Петербургом; старик, хотя всего на четыре года старше Багрицкого. Для других—«юноша», «вьюн», которому до конца века не стать солидным и почтенным. «Оттого-то мне и годы впрок не идут: другие с каждым днем все почтеннее, а я наоборот: обратное течение времени».

Последнее обстоятельство выявится со всей определенностью под конец 20-х годов. Но мрачные предчувствия одолевают поэта много раньше. Они с большой силой выражены в стихотворении «1 января 1924»:

Я знаю, с каждым днем слабеет жизни выдох,
Еще немного—оборвут
Простую песенку о глиняных обидах
И губы оловом зальют.

Это стихотворение построено на противочувствиях. У революции есть смысл: Мандельштам вспоминает «Присягу чудную четвертому сословью // И клятвы крупные до слез» и отказывается предать их «позорному злословью». Он недаром любил Герцена. Но будущее смутно:

Кого еще убьешь? Кого еще прославишь?
Какую выдумаешь ложь?

Однако для поэта куда страшнее любой внешней угрозы—угроза потерять чувство внутренней правоты, усомниться в своем отношении к слову. Этого не сравнить ни с какими неуютными обстоятельствами. Конечно, внутренняя угроза в конечном счете тоже связана с состоянием общества, но иной, более тонкой, связью; дело не в том, что поэт со страхом оглядывается на кого-то,—просто воздух, который он находит

в своей собственной груди, зависит в своем качестве от атмосферы общества. Страшно не то, что другие думают и говорят о тебе как о «бывшем» поэте, наравне со всеми другими «бывшими», которых так много на дне новой социальной структуры; страшно, когда сам думаешь о себе так. Не самое страшное — замолчать, потому что кто-то залил тебе говорящие губы оловом; самое страшное — мысль: а может быть, мне самому уже нечего сказать?

«Беспомóщная улыбка человека, // Который потерял себя», все чаще появляется в мандельштамовских стихах.

Человеческие губы,
которым больше нечего сказать,
Сохраняют форму последнего сказанного слова,
И в руке остается ощущение тяжести,
Хотя кувшин
наполовину расплескался,
пока его несли домой.

Голос, так властно звучавший в «Камне» и в «Tristia», становится судорожным и напряженным. Трудная попытка уйти от самого себя запечатлена прежде всего в «Грифельной оде». Там примечательна не только густая темнота образов, решительно нарушающая прежнее равновесие, не оставляющая мест ни для какой прозрачности, ни для чего «дневного»:

Как мертвый шершень возле сот,
День пестрый выметен с позором.
И ночь-коршунница несет
Горящий мел и грифель кормит.
С иконоборческой доски
Стереть дневные впечатленья
И, как птенца, стряхнуть с руки
Уже прозрачные виденья!

Примечательна и такая частность, как отход от принципиальной для прежнего Мандельштама ориентации на аскетически бедные, но классически точные рифмы, переход к экспериментам с ассонансами («песни» — «перстень», «позором» — «кормит», «бушует» — «шубы»), неожиданно напоминающими раннего Эренбурга, хотя, конечно, не его одного. Это попытка схватить и передать звучание времени, отличное от той музыки, с которой поэт простился ранее: «...На тризне милой тени // В последний раз нам музыка звучит». Теперь она отзвучала.

Стихи приходят все реже. После очень сильных стихотворений 1925 года, посвященных Ольге Ваксель, в которых страсть борется с острым чувством вины, тема которых — беззаконный праздник за пределами данной человеку жизни, в «зареснчной стране», а эмоциональный фон — отчаяние, поэт замолкает на годы, до самого конца

десятилетия. Вспомним, что одновременно творческий кризис постигает и Ахматову, и Пастернака. Но у Мандельштама он был тяжелее и продолжительнее: ни одного стихотворения за пять лет. «И ни одна звезда не говорит»... Одно дело — слышать про себя, что ты «бывший», пока знаешь, что работа идет по-прежнему; совсем другое — когда она остановилась. Тут человек становится по-настоящему уязвимым, любая обида застит мир, любая муха вырастает в слона. Отсюда беспокойное настроение обиды, воинственной защиты своего достоинства, безнадежной тяжбы о собственной чести, которое уже не отпускает Мандельштама до конца, но кульминации своей достигает на рубеже 20-х и 30-х годов. Начинаются истории, о которых говорят: «попасть в историю»; какие умел описывать Достоевский,— смертельно серьезные, но одновременно всласть разыгрываемые, как театральное представление, инсценируемые самой жертвой. Поэт, который не может писать стихов и потому не находит выхода для накапливающегося в нем напряжения, сам нарывается на скандал, сам провоцирует современников на травлю себя,— а в такое грозное время много усилий тратить не приходится. Как сказал, перелагая гетевскую «Песнь арфиста», любимый Мандельштамом Тютчев: «Кто хочет миру чуждым быть, // Тот скоро будет чужд».

Годы, когда не было стихов, заняты работой над прозой. Собственно, «Шум времени» создавался отчасти параллельно со стихами, последними перед паузой; он вышел весной 1925 года. Мы уже не раз цитировали эту автобиографическую книгу, без выписок из которой рассказывать жизнь Мандельштама нет никакой возможности. Что характерно для эмоциональной атмосферы середины 20-х годов, так это тон глубокого отчуждения от собственной биографии.

«Мне хочется говорить не о себе, а следить за веком, за шумом и прорастанием времени. Память моя враждебна всему личному. Если бы от меня зависело, я бы только морщился, припоминая прошлое. Никогда я не мог понять Толстых и Аксаковых, Багровых-внуков, влюбленных в семейственные архивы с эпическими домашними воспоминаниями. Повторяю — память моя не любовна, а враждебна, и работает она не над воспроизведением, а над отстранением прошлого».

Нечто подобное было и раньше — поэтика ранних стихов тоже по-своему «враждебна всему личному»; но такая степень резкости приходит только теперь. Не из конъюнктурных соображений, а по глубокому внутреннему инстинкту поэт боится застрять в историческом и биографическом прошлом. Но, отталкиваясь от своего прошлого, он отталкивается от самого себя. Вспомним, что в 1928 году он писал, отвечая на анкету под заглавием «Советский писатель и Октябрь», предложенную редакцией газеты «Читатель и писатель»:

«Октябрьская революция не могла не повлиять на мою работу, так как отняла у меня «биографию», ощущение личной значимости. Я благодарен ей за то, что она раз навсегда положила конец духовной обеспеченности и существованию на культурную ренту...»

В этих словах есть, конечно, и боль, и нечто вроде черного юмора. Но мы ничего в них не поймем, если совсем откажемся принимать их буквальный смысл. Какой-то частью своего существа поэт действительно хочет избавиться от «биографии», начать с нуля, хочет со страхом, но и со страстью. Поэты — они такие, а Мандельштам — в особенности.

В том же, 1928 году выходит «Египетская марка», где тема отталкивания от себя доведена до надрыва, до транса. Мандельштам создает своего двойника, лепит его на глазах читателя, дарит ему свои черты — например, «макушку, облысевшую в концертах Скрябина»,— свои психологические странности, идиосинкразии, нарекает Парноком, чтобы на протяжении всей повести предать его чему-то вроде ритуального поругания. Парнок — не человек, а «человечек», у него «овечьи копытца» и «кроличья кровь». Из первой же относящейся к нему фразы мы узнаем, что его презирали «швейцары и женщины». Всякая хула к нему липнет: «Скажу вам больше: сегодня на Фонтанке — не то он украл часы, не то у него украли. Мальчишка! Грязная история!» И поэт разражается заклинанием:

«Господи! Не сделай меня похожим на Парнока! Дай мне силы отличить себя от него!»

Это значит: отличить себя от себя. Оторвать себя от себя. Как было сказано в одном стихотворении 1924 года: «О, как противен мне какой-то соименник, // То был не я, то был другой».

Параллельно теме Парнока проходит тема смерти Бозио, итальянской певицы прошлого века, не перенесшей петербургских морозов. Это тема обреченности певчего горла, глубоко автобиографическая: умирающая Бозио — эквивалент образу живой ласточки, совершающей свое падение «на горячие снега». Темы связаны довольно причудливо; сам автор сказал по поводу «Египетской марки»: «Я мыслю опущенными звеньями».

Целомудренная сдержанность мандельштамовской поэзии ограждалась тем, что поэт, в отличие от многих собратьев по веку, не пускал в свои стихи судорогу нервов. Мандельштам с осуждением высказывался о форсировании языковых средств в прозе Андрея Белого. Даже в «Шуме времени» нервозность стоит где-то за интонацией, но не допускается в самое интонацию. И только в «Египетской марке» с хаоса принципиально сняты все запреты.

«Страшно подумать, что наша жизнь — это повесть без фабулы и героя, сделанная из пустоты и стекла, из горячего лепета одних отступлений, из петербургского инфлуэнцного бреда».

Тон — захлебывающийся; одна метафорическая волна посылается вдогонку другой, и эти метафорические эксцессы не отпускают читателя от начала и до конца. Как выразился Н. Берковский в своей статье 1929 года, «в «Египетской марке» борзые игрового стиля затравлены до последних сил». И так раздраконены темы по природе своей менее всего игровые — тема чести и бесчестия, тема страха. О чести сказано: «Пропала крупиночка: гомеопатическое драже, крошечная доза холодного белого вещества». О страхе — что он «координата времени и

пространства». «Я люблю, я уважаю страх. Чуть было не сказал: «с ним мне не страшно». Страх и боль втянуты в игру, наделены гротескной амбивалентностью: со страхом не страшно; пытка лишения чести открывает бесценную возможность «крикнуть последнее неотразимо убедительное слово» — «как каторжанин, сорвавшийся с нар, избитый товарищами, как запарившийся банщик, как базарный вор». Этим устранена опасность слишком однозначной жалобы, малодушного нытья. Но тем сильнее выражено отчаяние.

Когда Мандельштам описывает, как его Парнок беспомощно и безуспешно пытается летом 1917 года спасти от самосуда толпы пойманного воришку,— он включает в систему осмеяния то дело, которому он отдал весной 1928 года бо́льшую часть своего времени и которое было для него серьезным до святости: хлопоты об отмене смертного приговора пяти банковским чиновникам. Как раз тогда вышел, в большой степени благодаря содействию Н. И. Бухарина, сборник «Стихотворения», которому суждено было остаться последним прижизненным поэтическим сборником Мандельштама; поэт послал его тому же Бухарину с надписью, имевшей в виду казнь чиновников,— «Каждая строчка этих стихотворений говорит против того, что вы намереваетесь сделать». Такая надпись стоит, чтобы над ней задуматься. У Мандельштама нет каких-то особенно филантропических тем; но ведь и Пушкин не был сентиментальным моралистом, когда подвел итоги своих поэтических заслуг в строке: «И милость к падшим призывал». Дело не в морали, дело в поэзии. Согласно пушкинской поэтической вере, унаследованной Мандельштамом, поэзия не может дышать воздухом казней. Уживаться с этим воздухом, а значит, составлять с ним одно целое может только «литература»,— например, созданные с участием именитых писателей хвалебные сборники о первых сталинских каторгах. Поэзия самым своим бытием казнит казнь — и постольку казнит «литературу». Мы уже цитировали в начале статьи слова о казненном Андре Шенье, что сам совершил над литературой казнь.

Заступаясь за приговоренных к смерти, Мандельштам не знал, что вскоре заступничество понадобится ему самому. Здесь не место говорить о конфликте поэта с А. Горнфельдом, обстоятельства которого вкратце изложены в комментариях к «Четвертой прозе». Предмет конфликта сам по себе выеденного яйца не стоил. Дело существенно изменилось, когда Д. Заславский — тот самый, который, достойно завершая свою карьеру палача поэтов, назовет в 1958 году Пастернака «литературным сорняком»,— опубликовал 7 мая 1929 года в «Литературной газете» фельетон против Мандельштама под заглавием: «Скромный плагиат или развязная халтура»; сбывались худшие предчувствия «Египетской марки» («Выведут тебя когда-нибудь, Парнок...») — поэт должен был убедиться, что нет никаких помех к тому, чтобы третировать его не как литературного деятеля с двадцатилетним стажем и давно завоеванным именем, а как никому не ведомого мелкого жулика. Правда, многие советские писатели и критики подписали письмо в «Литературную газету», протестовавшее против фельетона Заславского. Но в начале

1930 года Мандельштама начинают вызывать на допросы, вроде бы в связи с той же горнфельдовской историей, однако задавая вопросы и про «период у белых». «Запутали меня, как в тюрьме держат, свету нет,— жалуется поэт в письме к жене.— Все хочу ложь смахнуть — и не могу, все хочу грязь отмыть — и нельзя». Невесело было ему и в редакции газеты «Московский комсомолец», куда он поступил на службу. «Мне здесь невыносимо, скандально, не ко двору. Надо уходить. Давно... Опоздал...» Но рядом с этим — очень характерная для настроения Мандельштама в описываемое время мысль о своем несчастье как некоем «богатстве»: «Разрыв — богатство. Надо его сохранить. Не расплескать».

«Сохранить», «не расплескать» — прежде всего для творчества, для выговаривания в слове с последней откровенностью отчаяния. Это сделано в «Четвертой прозе», надиктованной жене зимой 1929/30 годов. Захлебывающийся, нервно-торопливый тон — по сути тот же, что в «Египетской марке», но вместо господствовавшей там мрачно-игровой беспредметности, которая соответствовала фазе предчувствий,— здесь темы предметны и конкретны.

Личная тема — постигшие Мандельштама злоключения, необузданные памфлетные выпады против Горнфельда и других антагонистов, и, шире, несовместимость вольного поэта с «литературой», столь быстро адаптирующейся и умеющей доказать кому надо собственную нужность. «Ибо литература везде и всюду выполняет одно назначение: помогает начальникам держать в повиновении солдат и помогает судьям чинить расправу над обреченными». А поэт — вне игры, он ничего никому не докажет, не внушит к себе ни малейшего уважения. «Сколько бы я ни трудился, если б я носил на спине лошадей, если б я крутил мельничьи жернова,— все равно никогда я не стану трудящимся. Мой труд, в чем бы он ни выражался, воспринимается как озорство, как беззаконие, как случайность. Но такова моя воля, и я на это согласен. Подписываюсь обеими руками». В этой связи вспоминается один сюжет из «Второй книги» Н. Я. Мандельштам — как в самом начале 30-х годов какая-то осетинская женщина из крестьян говорила поэту: «Ося, ты к ним в колхоз не идешь, я понимаю... Ты лучше иди, не то пропадешь, видит бог, пропадешь...»

Сверхличная тема — то, что происходит со всей страной.

«Как мальчишки топят всенародно котенка на Москве-реке, так наши веселые ребята играючи нажимают, на большой переменке масло жмут. Эй, навались, жми, да так, чтоб не видно было того самого, кого жмут,— таково священное правило самосуда.

Приказчик на Ордынке работницу обвесил — убей его!

Кассирша обсчиталась на пятак — убей ее!

Директор сдуру подмахнул чепуху — убей его!

Мужик припрятал в амбаре рожь — убей его!»

Мандельштам, скорее недолюбливавший Есенина, с тоскующей любовью вспоминает одну есенинскую строку — «Не расстреливал несчастных по темницам». Это для него «символ веры... подлинный канон настоящего писателя, смертельного врага литературы».

Следует отметить, что в самых резких местах «Четвертой прозы» — язык не «антисоветский» и не досоветский; это распознаваемый и актуальный для 1929—1930 годов язык советской оппозиции. Характерна в этом отношении фраза: «Мы... правим свою китайщину, зашифровывая в животно-трусливые формулы великое, могучее, запретное понятие класса». Сказать, что для официальной фразеологии понятие класса, которым оперировали на каждом шагу, по существу стало «запретным»,—это кажущийся парадокс, очень конкретный смысл которого понятен для взгляда изнутри, не для взгляда извне. Ни один эмигрант так не сказал бы.

Весной 1930 года Мандельштам—еще раз по заступничеству Бухарина—получает возможность сменить ставшую удушливой московскую обстановку. Он едет в санаторий на Кавказе, затем в Армению. Встреча с древней армянской культурой становится для него одним из формирующих жизненных впечатлений. В Армении начинается дружба с Б. Кузиным, человеком глубоким, прямым, абсолютно не способным на конформизм. Об этой дружбе будет сказано: «Когда я спал без облика и склада, // Я дружбой был, как выстрелом, разбужен». И происходит чудо: «сон без облика и склада» прекращается. Снова приходят стихи.

Новые стихи куда яснее, чем «Грифельная ода» и то, что с ней соседствовало. Их интонация проще, резче—что называется, раскованнее и современнее,—чем у прежнего Мандельштама. «Я спешу сказать настоящую правду. Я тороплюсь»,—это слова из «Египетской марки», но вполне всерьез они подходят не столько к повести, в которой так много игровых подмен, а к мандельштамовской поэзии 30-х годов.

Настоящая правда—страшна. Возврат поэтического дыхания начинается со стихов о страхе. В поэзию входят темы, разработанные перед этим в прозе; но если там было метание, безнадежное усилие уйти от угрозы, здесь этого нет. Стихи потому и стали возможны, что поэт принял свою судьбу, возобновляя внутреннее согласие на жертву, одушевлявшее его поэзию с давнего времени.

А мог бы жизнь просвистать скворцом,
Заесть ореховым пирогом,

Да, видно, нельзя никак...

Но его мужество—мужество отчаяния. «Были мы люди, а стали людьё». У него никогда еще не было этих неистовых интонаций, выражающих состояние души, когда последние силы собраны, как в кулак:

По губам меня помажет
Пустота,
Строгий кукиш мне покажет
Нищета.

Или помягче, но и пронзительнее:

Что, Александр Герцевич,
На улице темно?
Брось, Александр Сердцевич,
Чего там! Все равно!

Или как бы со спортивной бодростью:

Держу пари, что я еще не умер,
И, как жокей, ручаюсь головой,
Что я еще могу набедокурить
На рысистой дорожке беговой.

И с вызовом—прежде всего современникам, извергшим, исключившим, отторгшим от себя поэта, но также и тем, кто действительно остался во вчерашнем дне, и себе же самому, заявившему семь лет назад: «Нет, никогда, ничей я не был современник»:

Пора вам знать, я тоже современник,
Я человек эпохи Москвошвея,—
Смотрите, как на мне топорщится пиджак,
Как я ступать и говорить умею!
    Попробуйте меня от века оторвать,—
    Ручаюсь вам—себе свернете шею!

Поэзия Мандельштама становится в начале 30-х годов поэзией вызова. Она накапливает в себе энергию вызова—гнева, негодования. «Человеческий жаркий обугленный рот // Негодует и «нет» говорит». После ряда подступов, набросков, вариантов рождается такой шедевр гражданской лирики, как «За гремучую доблесть грядущих веков...». Это уже не всполошные выкрики «Четвертой прозы»—голос вернул себе спокойную твердость, каждое слово плотно и полновесно:

...Чтоб не видеть ни труса, ни хлипкой грязцы,
Ни кровавых костей в колесе...

Между тем круг суживается. На фотографиях сорокалетний поэт выглядит глубоким стариком. Появление «Путешествия в Армению» в журнале «Звезда» (март 1933 года) вызывает бурный скандал; в августе «Правда» печатает разгромную рецензию.

Терять было нечего. Наступило время, когда слово должно было стать делом, поэзия должна была стать поступком. В эти годы поэт не без мрачного удовлетворения говорил жене, что к стихам у нас относятся серьезно—за них убивают.

Разумом или инстинктом, но одно свое свойство Мандельштам должен был знать: до смешного хрупкий и немощный человек, он сразу

делался сильнее, когда абсолютно прямо шел навстречу самому главному страху. (Так было, по-видимому, в 1918 году, когда он вырвал из рук работавшего в ЧК левого эсера Блюмкина ордера на расстрелы.) Тут он переставал быть «Парноком». «Парнока» — того можно было утопить в луже, в стакане воды: изо дня в день грозили смутные страхи, абсурдные обиды, булавочные уколы, и Мандельштам терял всякое самообладание. Но нет — он погибнет не от булавочных уколов.

Так в ноябре 1933 года были написаны стихи против Сталина — «Мы живем, под собою не чуя страны...».

Перед этим был страшный голод, искусственно созданный в ходе сталинской коллективизации на Украине, на Дону, на Кубани: вымирали целые деревни. Не должно быть забыто, что именно Мандельштам — «горожанин и друг горожан», как он назвал себя,— первым сказал в своих стихах о великой крестьянской беде:

Природа своего не узнает лица,
И тени страшные Украины, Кубани...
Как в туфлях войлочных голодные крестьяне
Калитку стерегут, не трогая кольца...

Он об этом думал; недаром в одном из вариантов его поэтического памфлета Сталин назван «душегубцем и мужикоборцем».

Что сказать о самом стихотворении? Это прежде всего поступок, некое «ужо тебе!» — как у пушкинского Евгения. Чисто поэтически две первые строки, как кажется, перевешивают остальное. В них выговорено самое главное — страшное разобщение между атомизированными индивидами и страной, разрыв естественных связей; и по афористической силе эти две строки — на уровне самых больших удач поэта. Перейти от них к политической карикатуре, хотя бы такой, которая заставляет вспомнить «Капричос» Гойи,— неизбежное снижение. И вообще этика гражданского поступка оказывалась в противоречии с мандельштамовской поэтикой: первая требовала однозначности, второй однозначность была противопоказана. Как углубляло перед этим самые страшные стихи Мандельштама то, что в них совместно с безоговорочным осуждением «шестипалой неправды» звучал мотив совиновности, сопричастности: «Я и сам ведь такой же, кума...» Но что делать — поступок должен быть прямым и потому прямолинейным.

Среди глухого всеобщего молчания — один ломкий, но внезапно окрепший голос, который договорил до конца то, чего никто не решался додумать про себя.

Теперь Мандельштаму только и было оставлено времени, что оплакать в стихах смерть Андрея Белого, скончавшегося в начале 1934 года. Прежде Мандельштам высказывался и о стиле Белого, и о его антропософских увлечениях весьма резко; Белый платил ему антипатией. Но теперь он написал великолепный стихотворный реквием и самому Андрею Белому, и ушедшей вместе с ним эпохе, и утраченной, разрушенной культуре,— и, подспудно, самому себе.

13 мая 1934 года Мандельштам был арестован в своей квартире на улице Фурманова — той самой, которой посвящено горькое стихотворе-

ние «Квартира тиха как бумага...», отлично передающее атмосферу предчувствий. «Ордер на арест был подписан самим Ягодой,— вспоминает Ахматова.— Обыск продолжался всю ночь. Искали стихи, ходили по выброшенным из сундучка рукописям. Мы все сидели в одной комнате. Было очень тихо. За стеной, у Кирсанова, играла гавайская гитара. Следователь при мне нашел «Волка»[1] и показал Осипу Эмильевичу. Он молча кивнул. Прощаясь, поцеловал меня. Его увели в 7 утра».

* * *

Еще не умер ты, еще ты не один,
Покуда с нищенкой-подругой
Ты наслаждаешься величием равнин,
И мглой, и холодом, и вьюгой.

В роскошной бедности, в могучей нищете
Живи спокоен и утешен,
Благословенны дни и ночи те,
И сладкогласный труд безгрешен.

Приговор, постигший тогда Мандельштама, оказался неожиданно мягким. Вместо расстрела, вместо лагеря — высылка в Чердынь, да еще с разрешением жене сопровождать высланного; а потом и вовсе «минус 12» — и поэт мог выбрать теплый, относительно благополучный Воронеж.

Часто спрашивают, почему так было, ищут объяснений. Да, были хлопоты: Ахматова ходила к Енукидзе, Пастернак — к Демьяну Бедному, Надежда Яковлевна — к Бухарину. Да, был пресловутый звонок Сталина Пастернаку. Только разве это имело какое-нибудь значение? И Н. А. Струве, и Б. М. Сарнов полагают, что Сталину хотелось приручить Мандельштама и поставить его себе на службу. Возможно,— только и подобные соображения едва ли могли быть решающими.

Вопрос этот связан с другим: «за что», собственно, взяли поэта повторно — через четыре года после первого ареста? Он не только не наделал никаких новых дерзостей — в худые минуты он пробовал воспевать Сталина. Так «за что»?

Как кажется, ответ на оба вопроса достаточно несложен. Если что Сталин умел в совершенстве, так это мстить — и выжидать для мести удобного часа. Судьба поэта, позволившего себе выпад неслыханной силы и прямоты против личности Вождя Народов, в принципе была решена, скорее всего, сразу и бесповоротно: он не должен был ходить по земле. От него не нужно было славословий: нужна была только его смерть. Но нетрудно было понять, что немедленный расстрел или даже значительный лагерный срок — это способ поднять интерес к преступным стихам, дать им резонанс. Нет, первое наказание должно выглядеть

[1] Домашнее название стихотворения «За гремучую доблесть грядущих веков...».

как пустяк, почти что курам на смех: большого ребенка за его проказы поставили в угол. Но он на крючке—и про него не забудут. А когда придет давно задуманная полоса Большого Террора, поэт исчезнет с лица земли незаметно: у каждого будут свои заботы.

Несмотря на мягкость приговора, арест очень тяжело обошелся Мандельштаму. «Осип был в состоянии оцепенения, у него были стеклянные глаза,—вспоминает Э. Г. Герштейн.—Веки воспалены, с тех пор это никогда не проходило, ресницы выпали. Рука на привязи». В Чердыни поэт выбросился из окна. Помрачение сознания ушло, но временами возвращалось.

Внешние обстоятельства были сугубо неустойчивыми. В 1935 году Мандельштаму было разрешено заниматься с местной молодежью литературной консультацией; он сотрудничал на местном радио, писал литературные радиопередачи (одна из них—«Юность Гете»). Однако в 1936 году началась травля. Некто Г. Рыжманов написал о нем характерные стишки:

По́дняв голову надменно,
Свысока глядит на люд—
Не его проходит смена,
Не его стихи поют.

Буржуазен, он не признан,
Нелюдимый, он—чужак,
И побед социализма
Не воспеть ему никак...

«Заработки прекратились,—читаем мы в воспоминаниях Н. Я. Мандельштам.—Знакомые на улице отворачивались или глядели на нас не узнавая». В 1937 году альманах «Литературный Воронеж» причислил поэта к «банде» троцкистов, распространяющей вокруг себя «дух маразма и аполитичности». Поэт жалуется в письме к К. И. Чуковскому: «Я поставлен в положение собаки, пса... Меня нет. Я—тень. У меня только право умереть».

Ахматова, приехавшая к Мандельштаму в Воронеж в феврале 1936 года, писала:

А в комнате опального поэта
Дежурят страх и Муза в свой черед.
И ночь идет,
Которая не ведает рассвета.

Таков биографический фон последнего, очень яркого расцвета мандельштамовской поэзии. Воронежская земля, земля изгнания, увидена и воспета как целомудренное чудо русского ландшафта.

В лицо морозу я гляжу один:
Он—никуда, я—ниоткуда,
И все утюжится, плоится без морщин
Равнины дышащее чудо.

А солнце щурится в крахмальной нищете —
Его прищур спокоен и утешен...
Десятизначные леса — почти что те...
А снег хрустит в глазах, как чистый хлеб, безгрешен.

То же смысловое сопряжение нищеты и чистоты, тот же размер, те же рифмы — «утешен» и «безгрешен» — появляются в тех стихах, которые взяты как эпиграф для этого раздела статьи. Суровый зимний пейзаж, выступавший как метафора очистительного испытания еще в поэзии начала 20-х годов («Умывался ночью на дворе...», «Кому зима — арак и пунш голубоглазый...»), служит фоном для торжественной и торжествующей темы человеческого достоинства, неподвластного ударам судьбы.

Несчастлив тот, кого, как тень его,
Пугает лай и ветер косит,
И беден тот, кто сам полуживой,
У тени милостыни просит.

Но с тенью дело обстоит не так просто. Этот образ возникает в двух письмах того же времени: «Пожалуйста, не считайте меня тенью. Я еще отбрасываю тень» (письмо к Ю. Н. Тынянову); «Я тень. Меня нет» (письмо к К. И. Чуковскому). О ком идет речь в стихотворении, кого это «пугает лай и ветер косит», кто это «как тень» и просит милостыни у тени? Этот антипод поэта — он же сам, только не в состоянии катарсиса, а в состоянии омрачения, справиться с которым способен только катарсис. «Не считайте меня тенью» — и одновременно «я тень»: две правды о самом себе.

Так гранит зернистый тот
Тень моя грызет очами...

Не признавая и все же каждодневно ощущая себя «тенью», изверженной из мира людей и только по видимости замешкавшейся в нем, поэт проходит через свое последнее искушение: попросить милостыню у тени, поддаться иллюзорному соблазну, использовать свой дар, чтобы вернуться в жизнь. Так возникает «Ода Сталину». Вполне очевидно, что Мандельштам — какими бы противоречивыми ни были к этому времени его, может быть, уже не всегда вменяемые мысли — должен был причинить себе при работе над «Одой» немалое насилие; внешним его знаком было уже то, что стихи не рождались на ходу, в движении, «с голоса», как обычно,— нет, поэту пришлось засадить себя за стол. «Каждое утро О. М. садился к столу и брал в руки карандаш: писатель как писатель,— вспоминает Н. Я. Мандельштам.— Просто Федин какой-то...» С другой стороны, столь же очевидно, что в отличие от жутких, откровенно мертворожденных опытов Ахматовой в официозном роде из цикла «Слава миру», это не совсем пустая версификация, а нечто, хотя бы временами, отдельными прорывами и проблесками, причастное мандельштамовскому гению.

Что, собственно, произошло? Мы уже подступались к ответу на этот

вопрос в связи с характеристикой ранних описательных стихов на историко-культурные темы вроде «Домби и сына». Поэтическая система Мандельштама дошла до такой степени строгости и последовательности, что она как бы срабатывает сама, отстраняя от себя ложь, создавая между ложью и собой дистанцию, при которой ложь, независимо от намерения поэта, выступает как объект наблюдения. Поэт может пытаться принудить себя солгать, но его поэзия солгать не может.

Примечательно уже начало «Оды»:

Когда б я уголь взял для высшей похвалы —
Для радости рисунка непреложной,—
Я б воздух расчертил на хитрые углы
И осторожно и тревожно...

Ведь об эту же пору, на этой же ритмической волне рождается строка:

И не рисую я, и не пою...

Связь между обоими поэтическими высказываниями,— вероятно, бессознательная, выстроенная не рассудком и волей человека, а инстинктом художника,— подмечена еще Н. Я. Мандельштам. «Когда б я уголь взял»,— но ведь я-то не рисую, не беру угля, рисует углем некто другой, а я смотрю со стороны и описываю его рисунок. Несмотря на сентиментальные нотки — или как раз благодаря им, ибо когда это Мандельштам позволял себе сентиментально говорить про себя самого? — стихотворение получилось отстраненно-дескриптивным. Это сумма мотивов сталинистской мифологии, каталогизируемая так, как можно было каталогизировать представления древних народов,— например, ассирийцев или египтян, так часто служивших у Мандельштама метафорой тоталитарного мира. Каждый мотив доведен до нечеловеческой кристальности формы, как у египетского иероглифа, до завораживающей и пугающей абстрактности. Атмосфера жути нарастает от строфы к строфе. Снова и снова возникающие «бугры голов» — это страшно само по себе, по действию поэтической логики, объективно, вне всякой зависимости от того, точно ли передает вдова поэта его задумчивое бормотанье: «Почему, когда я думаю о нем, передо мной все головы — бугры голов? Что он делает с этими головами?»

И все-таки работа над «Одой» не могла не быть помрачением ума и саморазрушением гения.

Скучно мне: мое прямое
Дело тараторит вкось —
По нему прошлось другое,
Надсмеялось, сбило ось.

Но затем забота о собственной судьбе отпускает поэта — и среди тягот и неурядиц последних воронежских месяцев он создает совсем свободные, совсем отрешенные стихи.

Задача была названа чуть раньше: «жить... перед смертью хоро-

шея». А еще раньше, в «Путешествии в Армению», было описано, как рушат липу на замоскворецком дворике: «Дерево сопротивлялось с мыслящей силой,— казалось, к нему вернулось полное сознание». Эти пронзительные слова — словно эпиграф к неожиданным прорывам света в конце воронежского периода поэзии Мандельштама. Борьба за «полное сознание» на самой границе бреда, борьба за катарсис на последнем пределе срыва наполняет эти прощальные стихи, дает им драматическую пружину.

Может быть, это точка безумия,
Может быть, это совесть твоя —
Узел жизни, в котором мы узнаны
И развязаны для бытия.

Поздняя мандельштамовская поэтика сполна реализует ту программу «существующей только в наплывах и волнах, только в подъемах и лавированьях поэтической композиции», которая была теоретически развита еще в «Разговоре о Данте». Усложняется и обогащается, порой приводя к темнотам, порой триумфально выводя из них, тот прием, который мы называли выше семантическим наложением. Приходит к своему окончательному торжеству намечавшийся уже давно принцип комплементорного равноправия текстовых вариантов, которые не относятся друг к другу как беловик и черновики, но сосуществуют по законам единства особого порядка, по двое или по трое вырастая на одном корню, подтверждая друг друга, но и споря друг с другом. Более, чем когда-либо прежде, это поэтика противоречия.

Противоречие, особенно важное для понимания во многом загадочной смысловой глубины возникших тогда «Стихов о неизвестном солдате»,— это спор между личностью поэта, умевшей «топорщиться», да еще как («Нрава он не был лилейного...»), и глубокой волей «быть как все», жить и гибнуть «с гурьбой и гуртом», не отделять своей судьбы от судьбы безымянных. Такая воля выявилась именно у позднего Мандельштама: «Всех живущих прижизненный друг»,— сказал он о себе, этим он хотел быть. Окончательная, ничем не прикрашенная анонимность человеческой участи: «миллионы убитых задешево»,— вся прежняя поэзия не знала и не могла знать такой темы. «Истертый год рожденья» — уже не знаменательная дата начала индивидуальной биографии (вспомним давнюю статью «Конец романа»!), а нечто совсем иное: бирка в кулаке, соединяющая призывника с поколением, с товарищами по судьбе, растворяющая его в их потоке. Человеческая мера взорвана и развеяна «молью нулей». Настоящее — безымянная мука голода, холода и безразличной к человеку смерти под неприветливым дождем: «пасмурный, оспенный // И приниженный — гений могил». Будущее — «воздушная яма». Но тягой контраста и конфликта в стихотворение втягивается катарсис, не объяснимый никаким рационалистическим толкованием, но пронизывающий весь его состав:

...От меня будет свету светло.

«Небо крупных оптовых смертей», окопное небо, названо не только неподкупным, но и целокупным, и это слово повторено в величавой элегии «К пустой земле невольно припадая...»,— в обоих случаях через смерть дается образ некоей строгой гармонии, которая несовместима со счастьем, но глубже счастья и, может быть, дороже, нужнее сердцу, чем счастье. А в эпизоде «Для того ль должен череп развиться...» время обращено назад, к своему чистому истоку, так что уже после гибели, после входа «войск», после конца победоносно является начало — непорочное и многодумное сияние младенческого лба.

Развивается череп от жизни
Во весь лоб — от виска до виска,—
Чистотой своих швов он дразнит себя,
Понимающим куполом яснится,
Мыслью пенится, сам себе снится...

И в другом стихотворении этой поры, написанном легкими, короткими строчками, речь идет о встрече со светом — уже где-то за пределами собственного существования:

О, как же я хочу,
Не чуемый никем,
Лететь вослед лучу,
Где нет меня совсем.

А уже упомянутая элегия «К пустой земле невольно припадая...», едва ли не самый строгий и высокий образец любовной лирики нашего столетия, славит призвание — «впервые // Приветствовать умерших». Другие стихи, пронизанные образностью Тайной Вечери («Небо вечери в стену влюбилось...») и Распятия («Как светотени мученик Рембрандт...»), словно замыкают круг, начатый когда-то юношеским стихотворением Мандельштама о Голгофе.

Было бы утешительнее, пожалуй, если бы на этом последнем, удивительно чистом взлете голос поэта навсегда оборвался. Но случилось не совсем так.

16 мая 1937 года истек срок трехлетней ссылки. Надежда вернуться в жизнь людей, уже духовно преодоленная, снова подступает к полуживому человеку, чтобы мучить и унижать его, отнимая дорого доставшийся покой отчаяния. Поэт снова увидел Москву, куда к нему немедленно приехала Ахматова. Однако новые впечатления были мрачными. «Чего-то он здесь не узнавал,— свидетельствует Э. Г. Герштейн.— И люди изменились...— все какие-то, он шевелил губами в поисках определения,—...все какие-то... поруганные». Весьма скоро, однако, выяснилось, что в Москве ему жить никто не даст; прописка как раз становилась фундаментальной житейской категорией. Временно он обосновался с женой в Савелове, возле Кимр (там же довелось жить, между прочим, и высланному Бахтину). В Москве для него остается открытым дом Шкловских; он навещает Пастернака в Переделкине. Для сбора денег на самые насущные нужды он дважды приезжал в

Ленинград — осенью 1937 года, когда общался со Стеничем и особенно со старым другом Лозинским, и в феврале 1938 года, когда Стенич был арестован, а смертельно перепуганный Лозинский отказался принять. «Время было апокалипсическое,— вспоминает Ахматова.— Беда ходила по пятам за всеми нами. У Мандельштамов не было денег. Жить им было совершенно негде. Осип плохо дышал, ловил воздух губами».

Таков биографический фон савеловских стихов — последних стихов Мандельштама, которые мы знаем. Едва ли будет ханжеством сказать, что они производят грустное впечатление, хотя власть над словом до конца не изменяет поэту. В чувственном лепете возникает стилизованный под фольклор образ русской красавицы: это Еликонида Попова, жена Яхонтова. Агрессивное здоровье этого образа противостоит хрупкой обреченности самого поэта, точно желающего в изнеможении прислониться к чужой силе. (Трудно не вспомнить финал пьесы Ионеско «Носороги», где герой — единственный, кто отказался сменить образ человеческий на носорожий,— смотрится в зеркало с поздним раскаянием и жгучим стыдом за свою неловкую немощь, контрастирующую с толстокожей мощью оносорожившихся.) «...Произносящая ласково Сталина имя громовое...» — это сходится с тем, что рассказывают мемуаристы о почитании Поповой Вождя. И все же есть своя правильность в том, что «имя громовое» в последний раз появляется в стихах Мандельштама именно так: овеянное запахом блуда. Еще раз — какой бы ложный шаг ни делал поэт, его поэзия солгать не может. Жаль, что утрачено стихотворение, посвященное характерному для Мандельштама протесту против казней. Без него наше впечатление от стихов савеловского периода по необходимости не совсем справедливо.

А между тем судьба идет своим путем. Истомившиеся от бездомности и безденежья Мандельштамы неожиданно получают литфондовскую милость — путевки в дом отдыха в Саматиху. Но именно там поэта подстерегал неминуемый повторный арест, настигший его 2 мая 1938 года.

Приговор ОСО... Эшелон арестованных покидает Бутырскую тюрьму... прибывает в транзитный лагерь под Владивостоком... В последний раз мы слышим голос Мандельштама в единственном письме из этого лагеря:

«Здоровье очень слабое. Истощен до крайности, исхудал, неузнаваем почти, но посылать вещи, продукты и деньги — не знаю, есть ли смысл. Попробуйте все-таки. Очень мерзну без вещей.

Родная Наденька, не знаю, жива ли ты, голубка моя?»

В том же лагере поэт и умер — 27 декабря 1938 года; как известно, эта официальная дата вызывала некоторые сомнения, но в настоящее время подтверждена документами.

На свете оставалось не так уж много людей, помнивших самое его имя. Несколько человек хранили его неопубликованные стихи, пряча и перепрятывая списки, вытверживая текст наизусть, ревниво проверяя свою память.

С неожиданной точностью реализовалась метафора из давней статьи:

«Мореплаватель в критическую минуту бросает в воды океана запечатанную бутылку с именем своим и описанием своей судьбы... Письмо, запечатанное в бутылке, адресовано тому, кто найдет ее».

Все было кончено. Все было впереди.

Во второй половине 50-х, едва отпустил страх, списки мандельштамовских стихов начинают расходиться по рукам, поначалу в сравнительно узком кругу, служа словно заветным паролем для тех, кто хранил память культуры. Но вот оказывается, что слух новых, вступающих в жизнь поколений от рождения подготовлен к музыке этих стихов, настроен на нее. Что акустика времени заставляет эту музыку звучать все громче, все яснее. Что у поэта все больше, как сказал бы он сам, «провиденциальных собеседников», действительно, всерьез живущих его стихами. Для многих мандельштамовская поэзия становится формирующим, воспитующим переживанием. Ее воздействие выходит за пределы русской культуры — мы уже упоминали выше такое явление, как Пауль Целан, сделавший образ Мандельштама одним из символов европейской поэтической традиции.

Весть мореплавателя нашла своих адресатов. И все же вспомним, что даже куцая книжка «Библиотеки поэта» никак не могла выйти до самого 1973 года; да и то лишь с чудовищной статьей А. Л. Дымшица, в которой переврано все, начиная с места рождения Мандельштама, и забавно отмечено, что «одним из самых серьезных заблуждений Мандельштама была мысль об особой миссии поэта и о его особом поэтическом языке»... Что до окончательной юридической реабилитации Осипа Эмильевича, для нее пришло время только в 1987 году.

Да что,— сам напророчил в «Четвертой прозе»:

«Судопроизводство еще не кончилось».

Сквозная тема Мандельштама, обеспечивающая единство его творчеству от начала до конца,— это клятва на верность началу истории как принципу творческого спора, поступка, выбора.

Вспомним, что еще в 20-е годы поэт пристально вчитывался в книгу П. А. Флоренского «Столп и утверждение истины». Здесь не место говорить о самой книге; но вот слова, которые Мандельштам должен был читать с живым сочувствием, с внутренним согласием и которые много поясняют у него самого: «Мы не должны, *не смеем* замазывать *противоречие* тестом своих философем! Пусть противоречие остается глубоким, как есть». Чуть ниже приятие противоречия названо «бодрым», то есть отождествлено с витальностью мысли, чуть ли не физиологически понятой,— с победой над «склерозом», как сказал бы Мандельштам на языке своего «Разговора о Данте». Или прибегнем к космологической метафоре, важной для эпохи и близкой именно Флоренскому: столкновения «да» и «нет», перепады жара и холода — единственное, что спасает бытие от энтропии, форму от хаоса, поскольку выравнивание температуры, приведение всего сущего к безразличной теплоте, не горячей и не холодной, есть, согласно второму началу термодинамики, «тепловая смерть вселенной». Но Мандельштам трево-

жился не столько за вселенную, сколько за историю, прекращение, энтропийное замирание которой внушало ему больший ужас, чем все катастрофы самой истории. Пока кипит гнев и спор, пока живо удивление, жива история. Отсюда характерная для поэта парадоксальная апология «литературной злости» некрасовской поры русской словесности, подобие которой он увидел в крутом, несговорчивом нраве тех новгородских икон, на которых «сердятся» рядами изображенные заказчики, «спорщики и ругатели», «удивленно поворачивая к событию умные мужицкие головы». Здесь каждое слово важно: есть на что, значит, сердиться, есть чему удивляться, есть о чем спорить, раз есть событие. Синоним события — поступок («Чтоб звучали шаги, как поступки...»).

Но вот если «буддийское» отвлеченное безразличие или «египетское» чиновничье самодовольство сможет «тупым напильником» притупить острие готического шпиля, знаменующего напряженность события-поступка, бросающего вызов пустоте,— это беда горше всех бед, и о ней у поэта сказано: «наступает глухота паучья».

Одно из противоречий, какими живо творчество Мандельштама, касается собственной природы этого творчества. «Мы — смысловики»,— говорил поэт, и слово это явно не брошено наобум. Его обеспечивает исключительная цепкость, с которой ум поэта прослеживает, не отпуская, одну и ту же мысль, то уходящую на глубину, то выступающую на поверхность, ведет ее из стихотворения в стихотворение, то так, то эдак поворачивает в вариантах. Его обеспечивает высокая степень связности, которую открывают пристальному взгляду самые, казалось бы, шальные образы и метафоры, если не лениться рассматривать их в «большом контексте». Но тот же поэт сказал о «блаженном, бессмысленном слове», и очевидно, что иррациональное начало в его поэзии не может быть сведено на нет никаким умным толкованием. Что во всем этом отличает Мандельштама от всесветного типа поэта XX века, так это острое напряжение между началом смысла и «темнотами». Это не беспроблемный симбиоз, в котором эксцессы рассудочности мирно уживаются с эксцессами антиинтеллектуализма. Это действительно противоречие, которое «остается глубоким, как есть». И установка «смысловика», и жизнь «блаженного, бессмысленного слова» остаются, оспаривая друг друга, неожиданно меняясь местами.

Поэтому Мандельштама так заманчиво понимать — и так трудно толковать.

С. Аверинцев

Стихотворения 1908-1925

Камень

* * *

Звук осторожный и глухой
Плода, сорвавшегося с древа,
Среди немолчного напева
Глубокой тишины лесной...

1908

* * *

Сусальным золотом горят
В лесах рождественские елки;
В кустах игрушечные волки
Глазами страшными глядят.

О, вещая моя печаль,
О, тихая моя свобода
И неживого небосвода
Всегда смеющийся хрусталь!

1908

* * *

Только детские книги читать,
Только детские думы лелеять,
Все большое далеко развеять,
Из глубокой печали восстать.

Я от жизни смертельно устал,
Ничего от нее не приемлю,
Но люблю мою бедную землю
Оттого, что иной не видал.

Я качался в далеком саду
На простой деревянной качели,
И высокие темные ели
Вспоминаю в туманном бреду.

1908

* * *

Нежнее нежного
Лицо твое,
Белее белого
Твоя рука,
От мира целого
Ты далека,
И все твое —
От неизбежного.

От неизбежного
Твоя печаль,
И пальцы рук
Неостывающих,
И тихий звук
Неунывающих
Речей,
И даль
Твоих очей.

1909

* * *

На бледно-голубой эмали,
Какая мыслима в апреле,
Березы ветви поднимали
И незаметно вечерели.

Узор отточенный и мелкий,
Застыла тоненькая сетка,
Как на фарфоровой тарелке
Рисунок, вычерченный метко,—

Когда его художник милый
Выводит на стеклянной тверди,
В сознании минутной силы,
В забвении печальной смерти.

1909

* * *

Есть целомудренные чары —
Высокий лад, глубокий мир,
Далеко от эфирных лир
Мной установленные лары.

У тщательно обмытых ниш
В часы внимательных закатов
Я слушаю моих пенатов
Всегда восторженную тишь.

Какой игрушечный удел,
Какие робкие законы
Приказывает торс точеный
И холод этих хрупких тел!

Иных богов не надо славить:
Они как равные с тобой,
И, осторожною рукой,
Позволено их переставить.

1909

* * *

Дано мне тело — что мне делать с ним,
Таким единым и таким моим?

За радость тихую дышать и жить
Кого, скажите, мне благодарить?

Я и садовник, я же и цветок,
В темнице мира я не одинок.

На стекла вечности уже легло
Мое дыхание, мое тепло.

Запечатлеется на нем узор,
Неузнаваемый с недавних пор.

Пускай мгновения стекает муть —
Узора милого не зачеркнуть.

1909

* * *

Невыразимая печаль
Открыла два огромных глаза,
Цветочная проснулась ваза
И выплеснула свой хрусталь.

Вся комната напоена
Истомой — сладкое лекарство!
Такое маленькое царство
Так много поглотило сна.

Немного красного вина,
Немного солнечного мая —
И, тоненький бисквит ломая,
Тончайших пальцев белизна.

1909

* * *

Ни о чем не нужно говорить,
Ничему не следует учить,
И печальна так и хороша
Темная звериная душа:

Ничему не хочет научить,
Не умеет вовсе говорить
И плывет дельфином молодым
По седым пучинам мировым.

1909

* * *

Когда удар с ударами встречается
И надо мною роковой,
Неутомимый маятник качается
И хочет быть моей судьбой,

Торопится, и грубо остановится,
И упадет веретено —
И невозможно встретиться, условиться,
И уклониться не дано.

Узоры острые переплетаются,
И, все быстрее и быстрей,
Отравленные дротики взвиваются
В руках отважных дикарей...

1910

* * *

Медлительнее снежный улей,
Прозрачнее окна хрусталь,
И бирюзовая вуаль
Небрежно брошена на стуле.

Ткань, опьяненная собой,
Изнеженная лаской света,
Она испытывает лето,
Как бы не тронута зимой;

И, если в ледяных алмазах
Струится вечности мороз,
Здесь — трепетание стрекоз
Быстроживущих, синеглазых.

1910

SILENTIUM *

Она еще не родилась,
Она и музыка и слово,
И потому всего живого
Ненарушаемая связь.

---

* Молчание *(лат.)*.

Спокойно дышат моря груди,
Но, как безумный, светел день,
И пены бледная сирень
В черно-лазоревом сосуде.

Да обретут мои уста
Первоначальную немоту,
Как кристаллическую ноту,
Что от рождения чиста!

Останься пеной, Афродита,
И, слово, в музыку вернись,
И, сердце, сердца устыдись,
С первоосновой жизни слито!

1910, 1935

* * *

Слух чуткий парус напрягает,
Расширенный пустеет взор,
И тишину переплывает
Полночных птиц незвучный хор.

Я так же беден, как природа,
И так же прост, как небеса,
И призрачна моя свобода,
Как птиц полночных голоса.

Я вижу месяц бездыханный
И небо мертвенней холста;
Твой мир, болезненный и странный,
Я принимаю, пустота!

1910

* * *

Как тень внезапных облаков,
Морская гостья налетела
И, проскользнув, прошелестела
Смущенных мимо берегов.

Огромный парус строго реет;
Смертельно-бледная волна
Отпрянула — и вновь она
Коснуться берега не смеет;

И лодка, волнами шурша,
Как листьями...

1910

* * *

Из омута злого и вязкого
Я вырос тростинкой, шурша,—
И страстно, и томно, и ласково
Запретною жизнью дыша.

И никну, никем не замеченный,
В холодный и топкий приют,
Приветственным шелестом встреченный
Коротких осенних минут.

Я счастлив жестокой обидою,
И в жизни, похожей на сон,
Я каждому тайно завидую
И в каждого тайно влюблен.

1910

* * *

В огромном омуте прозрачно и темно,
И томное окно белеет.
А сердце — отчего так медленно оно
И так упорно тяжелеет?

То — всею тяжестью оно идет ко дну,
Соскучившись по милом иле,
То — как соломинка, минуя глубину,
Наверх всплывает без усилий.

С притворной нежностью у изголовья стой
И сам себя всю жизнь баюкай;
Как небылицею, своей томись тоской
И ласков будь с надменной скукой.

1910

* * *

Душный сумрак кроет ложе,
Напряженно дышит грудь...
Может, мне всего дороже
Тонкий крест и тайный путь.

1910

* * *

Как кони медленно ступают,
Как мало в фонарях огня!
Чужие люди, верно, знают,
Куда везут они меня.

А я вверяюсь их заботе.
Мне холодно, я спать хочу;
Подбросило на повороте,
Навстречу звездному лучу.

Горячей головы качанье,
И нежный лед руки чужой,
И темных елей очертанья,
Еще невиданные мной.

1911

* * *

Скудный луч холодной мерою
Сеет свет в сыром лесу.
Я печаль, как птицу серую,
В сердце медленно несу.

Что мне делать с птицей раненой?
Твердь умолкла, умерла.
С колокольни отуманенной
Кто-то снял колокола.

И стоит осиротелая
И немая вышина,
Как пустая башня белая,
Где туман и тишина...

Утро, нежностью бездонное,
Полу-явь и полу-сон,
Забытье неутоленное,
Дум туманный перезвон...

1911

* * *

Воздух пасмурный влажен и гулок;
Хорошо и нестрашно в лесу.
Легкий крест одиноких прогулок
Я покорно опять понесу.

И опять к равнодушной отчизне
Дикой уткой взовьется упрек,—
Я участвую в сумрачной жизни,
Где один к одному одинок!

Выстрел грянул. Над озером сонным
Крылья уток теперь тяжелы.
И двойным бытием отраженным
Одурманены сосен стволы.

Небо тусклое с отсветом странным—
Мировая туманная боль—
О, позволь мне быть также туманным
И тебя не любить мне позволь.

1911, 1935

* * *

Сегодня дурной день:
Кузнечиков хор спит,
И сумрачных скал сень —
Мрачней гробовых плит.

Мелькающих стрел звон
И вещих ворон крик...
Я вижу дурной сон,
За мигом летит миг.

Явлений раздвинь грань,
Земную разрушь клеть
И яростный гимн грянь —
Бунтующих тайн медь!

О, маятник душ строг —
Качается глух, прям,
И страстно стучит рок
В запретную дверь к нам...

1911

* * *

Смутно-дышащими листьями
Черный ветер шелестит,
И трепещущая ласточка
В темном небе круг чертит.

Тихо спорят в сердце ласковом
Умирающем моем
Наступающие сумерки
С догорающим лучом.

И над лесом вечереющим
Встала медная луна;
Отчего так мало музыки
И такая тишина?

1911

* * *

Отчего душа так певуча,
И так мало милых имен,
И мгновенный ритм — только случай,
Неожиданный Аквилон?

Он подымет облако пыли,
Зашумит бумажной листвой
И совсем не вернется — или
Он вернется совсем другой.

О, широкий ветер Орфея,
Ты уйдешь в морские края —
И, несозданный мир лелея,
Я забыл ненужное «я».

Я блуждал в игрушечной чаще
И открыл лазоревый грот...
Неужели я настоящий
И действительно смерть придет?

1911

РАКОВИНА

Быть может, я тебе не нужен,
Ночь; из пучины мировой,
Как раковина без жемчужин,
Я выброшен на берег твой.

Ты равнодушно волны пенишь
И несговорчиво поешь;
Но ты полюбишь, ты оценишь
Ненужной раковины ложь.

Ты на песок с ней рядом ляжешь,
Оденешь ризою своей,
Ты неразрывно с нею свяжешь
Огромный колокол зыбей;

И хрупкой раковины стены,—
Как нежилого сердца дом,—
Наполнишь шопотами пены,
Туманом, ветром и дождем...

1911

* * *

На перламутровый челнок
Натягивая шелка нити,
О, пальцы гибкие, начните
Очаровательный урок!

Приливы и отливы рук...
Однообразные движенья...
Ты заклинаешь, без сомненья,
Какой-то солнечный испуг,

Когда широкая ладонь,
Как раковина, пламенея,
То гаснет, к теням тяготея,
То в розовый уйдет огонь!..

<1911>

* * *

О, небо, небо, ты мне будешь сниться!
Не может быть, чтоб ты совсем ослепло,
И день сгорел, как белая страница:
Немного дыма и немного пепла!

1911

* * *

Я вздрагиваю от холода —
Мне хочется онеметь!
А в небе танцует золото —
Приказывает мне петь.

Томись, музыкант встревоженный,
Люби, вспоминай и плачь
И, с тусклой планеты брошенный,
Подхватывай легкий мяч!

Так вот она — настоящая
С таинственным миром связь!
Какая тоска щемящая,
Какая беда стряслась!

Что, если, вздрогнув неправильно,
Мерцающая всегда,
Своей булавкой заржавленной
Достанет меня звезда?

1912, 1937

* * *

Я ненавижу свет
Однообразных звезд.
Здравствуй, мой давний бред,—
Башни стрельчатый рост!

Кружевом, камень, будь
И паутиной стань,
Неба пустую грудь
Тонкой иглою рань.

Будет и мой черед—
Чую размах крыла.
Так—но куда уйдет
Мысли живой стрела?

Или свой путь и срок
Я, исчерпав, вернусь:
Там—я любить не мог,
Здесь—я любить боюсь...

1912

* * *

Образ твой, мучительный и зыбкий,
Я не мог в тумане осязать.
«Господи!»—сказал я по ошибке,
Сам того не думая сказать.

Божье имя, как большая птица,
Вылетело из моей груди!
Впереди густой туман клубится,
И пустая клетка позади...

1912

* * *

Нет, не луна, а светлый циферблат
Сияет мне,— и чем я виноват,
Что слабых звезд я осязаю млечность?

И Батюшкова мне противна спесь:
Который час, его спросили здесь,
А он ответил любопытным: вечность!

1912

ПЕШЕХОД

М. Л. Лозинскому

Я чувствую непобедимый страх
В присутствии таинственных высот.
Я ласточкой доволен в небесах,
И колокольни я люблю полет!

И, кажется, старинный пешеход,
Над пропастью, на гнущихся мостках,
Я слушаю, как снежный ком растет
И вечность бьет на каменных часах.

Когда бы так! Но я не путник тот,
Мелькающий на выцветших листах,
И подлинно во мне печаль поет;

Действительно, лавина есть в горах!
И вся моя душа — в колоколах,
Но музыка от бездны не спасет!

1912

КАЗИНО

Я не поклонник радости предвзятой,
Подчас природа — серое пятно.
Мне, в опьяненьи легком, суждено
Изведать краски жизни небогатой.

Играет ветер тучею косматой,
Ложится якорь на морское дно,
И бездыханная, как полотно,
Душа висит над бездною проклятой.

Но я люблю на дюнах казино,
Широкий вид в туманное окно
И тонкий луч на скатерти измятой;

И, окружен водой зеленоватой,
Когда, как роза, в хрустале вино,—
Люблю следить за чайкою крылатой!

1912

* * *

Паденье — неизменный спутник страха,
И самый страх есть чувство пустоты.
Кто камни нам бросает с высоты,
И камень отрицает иго праха?

И деревянной поступью монаха
Мощеный двор когда-то мерил ты:
Булыжники и грубые мечты —
В них жажда смерти и тоска размаха!

Так проклят будь, готический приют,
Где потолком входящий обморочен
И в очаге веселых дров не жгут.

Немногие для вечности живут,
Но если ты мгновенным озабочен —
Твой жребий страшен и твой дом непрочен!

1912

ЗОЛОТОЙ

Целый день сырой осенний воздух
Я вдыхал в смятеньи и тоске.
Я хочу поужинать, и звезды
Золотые в темном кошельке!

И, дрожа от желтого тумана,
Я спустился в маленький подвал.
Я нигде такого ресторана
И такого сброда не видал!

Мелкие чиновники, японцы,
Теоретики чужой казны...
За прилавком щупает червонцы
Человек,— и все они пьяны.

— Будьте так любезны, разменяйте,—
Убедительно его прошу,—
Только мне бумажек не давайте —
Трехрублевок я не выношу!

Что мне делать с пьяною оравой?
Как попал сюда я, Боже мой?
Если я на то имею право,—
Разменяйте мне мой золотой!

1912

ЦАРСКОЕ СЕЛО

Георгию Иванову

Поедем в Царское Село!
Свободны, ветрены и пьяны,
Там улыбаются уланы,
Вскочив на крепкое седло...
Поедем в Царское Село!

Казармы, парки и дворцы,
А на деревьях — клочья ваты,
И грянут «здравия» раскаты
На крик «здорово, молодцы!»
Казармы, парки и дворцы...

Одноэтажные дома,
Где однодумы-генералы
Свой коротают век усталый,
Читая «Ниву» и Дюма...
Особняки — а не дома!

Свист паровоза... Едет князь.
В стеклянном павильоне свита!..
И, саблю волоча сердито,
Выходит офицер, кичась,—
Не сомневаюсь—это князь...

И возвращается домой—
Конечно, в царство этикета,
Внушая тайный страх, карета
С мощами фрейлины седой,
Что возвращается домой...

1912, 1927

ЛЮТЕРАНИН

Я на прогулке похороны встретил
Близ протестантской кирки, в воскресенье.
Рассеянный прохожий, я заметил
Тех прихожан суровое волненье.

Чужая речь не достигала слуха,
И только упряжь тонкая сияла
Да мостовая праздничная глухо
Ленивые подковы отражала.

А в эластичном сумраке кареты,
Куда печаль забилась, лицемерка,
Без слов, без слез, скупая на приветы,
Осенних роз мелькнула бутоньерка.

Тянулись иностранцы лентой черной,
И шли пешком заплаканные дамы,
Румянец под вуалью, и упорно
Над ними кучер правил вдаль, упрямый.

Кто б ни был ты, покойный лютеранин,
Тебя легко и просто хоронили.
Был взор слезой приличной затуманен,
И сдержанно колокола звонили.

И думал я: витийствовать не надо.
Мы не пророки, даже не предтечи,
Не любим рая, не боимся ада,
И в полдень матовый горим, как свечи.

1912

АЙЯ-СОФИЯ

Айя-София — здесь остановиться
Судил Господь народам и царям!
Ведь купол твой, по слову очевидца,
Как на цепи, подвешен к небесам.

И всем векам — пример Юстиниана,
Когда похитить для чужих богов
Позволила эфесская Диана
Сто семь зеленых мраморных столбов.

Но что же думал твой строитель щедрый,
Когда, душой и помыслом высок,
Расположил апсиды и экседры,
Им указав на запад и восток?

Прекрасен храм, купающийся в мире,
И сорок окон — света торжество;
На парусах, под куполом, четыре
Архангела прекраснее всего.

И мудрое сферическое зданье
Народы и века переживет,
И серафимов гулкое рыданье
Не покоробит темных позолот.

1912

NOTRE DAME

Где римский судия судил чужой народ,
Стоит базилика, и — радостный и первый —
Как некогда Адам, распластывая нервы,
Играет мышцами крестовый легкий свод.

Но выдает себя снаружи тайный план,
Здесь позаботилась подпружных арок сила,
Чтоб масса грузная стены не сокрушила,
И свода дерзкого бездействует таран.

Стихийный лабиринт, непостижимый лес,
Души готической рассудочная пропасть,
Египетская мощь и христианства робость,
С тростинкой рядом — дуб, и всюду царь — отвес.

Но чем внимательней, твердыня Notre Dame,
Я изучал твои чудовищные ребра,—
Тем чаще думал я: из тяжести недоброй
И я когда-нибудь прекрасное создам...

1912

СТАРИК

Уже светло, поет сирена
В седьмом часу утра.
Старик, похожий на Верлэна,
Теперь твоя пора!

В глазах лукавый или детский
Зеленый огонек;
На шею нацепил турецкий
Узорчатый платок.

Он богохульствует, бормочет
Несвязные слова;
Он исповедываться хочет —
Но согрешить сперва.

Разочарованный рабочий
Иль огорченный мот —
А глаз, подбитый в недрах ночи,
Как радуга цветет.

А дома — руганью крылатой,
От ярости бледна,
Встречает пьяного Сократа
Суровая жена!

1913, 1937

ПЕТЕРБУРГСКИЕ СТРОФЫ

Н. Гумилеву

Над желтизной правительственных зданий
Кружилась долго мутная метель,
И правовед опять садится в сани,
Широким жестом запахнув шинель.

Зимуют пароходы. На припеке
Зажглось каюты толстое стекло.
Чудовищна, как броненосец в доке,—
Россия отдыхает тяжело.

А над Невой — посольства полумира,
Адмиралтейство, солнце, тишина!
И государства жесткая порфира,
Как власяница грубая, бедна.

Тяжка обуза северного сноба —
Онегина старинная тоска;
На площади Сената — вал сугроба,
Дымок костра и холодок штыка...

Черпали воду ялики, и чайки
Морские посещали склад пеньки,
Где, продавая сбитень или сайки,
Лишь оперные бродят мужики.

Летит в туман моторов вереница;
Самолюбивый, скромный пешеход —
Чудак Евгений — бедности стыдится,
Бензин вдыхает и судьбу клянет!

1913

* * *

Hier stehe ich — ich kann nicht anders...

«Здесь я стою — я не могу иначе»,
Не просветлеет темная гора —
И кряжистого Лютера незрячий
Витает дух над куполом Петра.

1913 <1915?>

* * *

...Дев полуночных отвага
И безумных звезд разбег,
Да привяжется бродяга,
Вымогая на ночлег.

Кто, скажите, мне сознанье
Виноградом замутит,
Если явь — Петра созданье,
Медный всадник и гранит?

Слышу с крепости сигналы,
Замечаю, как тепло.
Выстрел пушечный в подвалы,
Вероятно, донесло.

И гораздо глубже бреда
Воспаленной головы
Звезды, трезвая беседа,
Ветер западный с Невы.

1913

БАХ

Здесь прихожане — дети праха
И доски вместо образов,
Где мелом — Себастьяна Баха
Лишь цифры значатся псалмов.

Разноголосица какая
В трактирах буйных и в церквах,
А ты ликуешь, как Исайя,
О, рассудительнейший Бах!

Высокий спорщик, неужели,
Играя внукам свой хорал,
Опору духа в самом деле
Ты в доказательстве искал?

Что звук? Шестнадцатые доли,
Органа многосложный крик —
Лишь воркотня твоя, не боле,
О, несговорчивый старик!

И лютеранский проповедник
На черной кафедре своей
С твоими, гневный собеседник,
Мешает звук своих речей.

1913

* * *

В спокойных пригородах снег
Сгребают дворники лопатами.
Я с мужиками бородатыми
Иду, прохожий человек.

Мелькают женщины в платках,
И тявкают дворняжки шалые,
И самоваров розы алые
Горят в трактирах и домах.

1913

* * *

Мы напряженного молчанья не выносим —
Несовершенство душ обидно, наконец!
И в замешательстве уж объявился чтец,
И радостно его приветствовали: просим!

Я так и знал, кто здесь присутствовал незримо:
Кошмарный человек читает «Улялюм».
Значенье — суета и слово — только шум,
Когда фонетика — служанка серафима.

О доме Эшеров Эдгара пела арфа.
Безумный воду пил, очнулся и умолк.
Я был на улице. Свистел осенний шелк...
И горло греет шелк щекочущего шарфа...

1913, 1937

* * *

Заснула чернь. Зияет площадь аркой.
Луной облита бронзовая дверь.
Здесь Арлекин вздыхал о славе яркой,
И Александра здесь замучил Зверь.

Курантов бой и тени государей:
Россия, ты — на камне и крови —
Участвовать в твоей железной каре
Хоть тяжестью меня благослови!

1913

АДМИРАЛТЕЙСТВО

В столице северной томится пыльный тополь,
Запутался в листве прозрачный циферблат,
И в темной зелени фрегат или акрополь
Сияет издали — воде и небv брат.

Ладья воздушная и мачта-недотрога,
Служа линейкою преемникам Петра,
Он учит: красота — не прихоть полубога,
А хищный глазомер простого столяра.

Нам четырех стихий приязненно господство,
Но создал пятую свободный человек:
Не отрицает ли пространства превосходство
Сей целомудренно построенный ковчег?

Сердито лепятся капризные Медузы,
Как плуги брошены, ржавеют якоря —
И вот разорваны трех измерений узы
И открываются всемирные моря!

1913

* * *

В таверне воровская шайка
Всю ночь играла в домино.
Пришла с яичницей хозяйка,
Монахи выпили вино.

На башне спорили химеры:
Которая из них урод?
А утром проповедник серый
В палатки призывал народ.

На рынке возятся собаки,
Менялы щелкает замок.
У вечности ворует всякий,
А вечность — как морской песок:

Он осыпается с телеги —
Не хватит на мешки рогож,—
И, недовольный, о ночлеге
Монах рассказывает ложь!

1913

КИНЕМАТОГРАФ

Кинематограф. Три скамейки.
Сантиментальная горячка.
Аристократка и богачка
В сетях соперницы-злодейки.

Не удержать любви полета:
Она ни в чем не виновата!
Самоотверженно, как брата,
Любила лейтенанта флота.

А он скитается в пустыне —
Седого графа сын побочный.
Так начинается лубочный
Роман красавицы графини.

И в исступленьи, как гитана,
Она заламывает руки.
Разлука. Бешеные звуки
Затравленного фортепьяно.

В груди доверчивой и слабой
Еще достаточно отваги
Похитить важные бумаги
Для неприятельского штаба.

И по каштановой аллее
Чудовищный мотор несется,
Стрекочет лента, сердце бьется
Тревожнее и веселее.

В дорожном платье, с саквояжем,
В автомобиле и в вагоне,
Она боится лишь погони,
Сухим измучена миражем.

Какая горькая нелепость:
Цель не оправдывает средства!
Ему — отцовское наследство,
А ей — пожизненная крепость!

1913

ТЕННИС

Средь аляповатых дач,
Где шатается шарманка,
Сам собой летает мяч —
Как волшебная приманка.

Кто, смиривший грубый пыл,
Облеченный в снег альпийский,
С резвой девушкой вступил
В поединок олимпийский?

Слишком дряхлы струны лир:
Золотой ракеты струны
Укрепил и бросил в мир
Англичанин вечно юный!

Он творит игры обряд,
Так легко вооруженный,
Как аттический солдат,
В своего врага влюбленный!

Май. Грозовых туч клочки.
Неживая зелень чахнет.
Все моторы и гудки,—
И сирень бензином пахнет.

Ключевую воду пьет
Из ковша спортсмэн веселый;
И опять война идет,
И мелькает локоть голый!

1913

АМЕРИКАНКА

Американка в двадцать лет
Должна добраться до Египта,
Забыв «Титаника» совет,
Что спит на дне мрачнее крипта.

В Америке гудки поют
И красных небоскребов трубы
Холодным тучам отдают
Свои прокопченные губы.

И в Лувре океана дочь
Стоит прекрасная, как тополь;
Чтоб мрамор сахарный толочь,
Влезает белкой на Акрополь.

Не понимая ничего,
Читает «Фауста» в вагоне
И сожалеет, отчего
Людовик больше не на троне.

1913

* * *

Отравлен хлеб, и воздух выпит.
Как трудно раны врачевать!
Иосиф, проданный в Египет,
Не мог сильнее тосковать!

Под звездным небом бедуины,
Закрыв глаза и на коне,
Слагают вольные былины
О смутно пережитом дне.

Немного нужно для наитий:
Кто потерял в песке колчан,
Кто выменял коня — событий
Рассеивается туман.

И, если подлинно поется
И полной грудью, наконец,
Все исчезает — остается
Пространство, звезды и певец!

1913

ДОМБИ И СЫН

Когда, пронзительнее свиста,
Я слышу английский язык —
Я вижу Оливера Твиста
Над кипами конторских книг.

У Чарльза Диккенса спросите,
Что было в Лондоне тогда:
Контора Домби в старом Сити
И Темзы желтая вода...

Дожди и слезы. Белокурый
И нежный мальчик — Домби-сын.
Веселых клэрков каламбуры
Не понимает он один.

В конторе сломанные стулья,
На шиллинги и пэнсы счет;
Как пчелы, вылетев из улья,
Роятся цифры круглый год.

А грязных адвокатов жало
Работает в табачной мгле —
И вот, как старая мочала,
Банкрот болтается в петле.

На стороне врагов законы:
Ему ничем нельзя помочь!
И клетчатые панталоны,
Рыдая, обнимает дочь...

1914

ВАЛКИРИИ

Летают Валкирии, поют смычки —
Громоздкая опера к концу идет.
С тяжелыми шубами гайдуки
На мраморных лестницах ждут господ.

Уж занавес наглухо упасть готов,
Еще рукоплещет в райке глупец,
Извозчики пляшут вокруг костров...
«Карету такого-то!» — Разъезд. Конец.

1914

* * *

...На луне не растет
Ни одной былинки;
На луне весь народ
Делает корзинки —
Из соломы плетет
Легкие корзинки.

На луне — полутьма
И дома опрятней;
На луне не дома —
Просто голубятни;
Голубые дома —
Чудо-голубятни...

1914

АХМАТОВА

Вполоборота, о, печаль,
На равнодушных поглядела.
Спадая с плеч, окаменела
Ложноклассическая шаль.

Зловещий голос — горький хмель —
Души расковывает недра:
Так — негодующая Федра —
Стояла некогда Рашель.

1914

* * *

Поговорим о Риме — дивный град!
Он утвердился купола победой.
Послушаем апостольское credo:
Несется пыль, и радуги висят.

На Авентине вечно ждут царя —
Двунадесятых праздников кануны,—
И строго-канонические луны —
Двенадцать слуг его календаря.

На дольний мир глядит, как облак хмурый,
Над Форумом огромная луна,
И голова моя обнажена —
О, холод католической тонзуры!

1914

* * *

О временах простых и грубых
Копыта конские твердят.
И дворники в тяжелых шубах
На деревянных лавках спят.

На стук в железные ворота
Привратник, царственно ленив,
Встал, и звериная зевота
Напомнила твой образ, скиф!

Когда с дряхлеющей любовью
Мешая в песнях Рим и снег,
Овидий пел арбу воловью
В походе варварских телег.

1914

* * *

На площадь выбежав, свободен
Стал колоннады полукруг,—
И распластался храм Господень,
Как легкий крестовик-паук.

А зодчий не был итальянец,
Но русский в Риме,— ну, так что ж!
Ты каждый раз, как иностранец,
Сквозь рощу портиков идешь.

И храма маленькое тело
Одушевленнее стократ
Гиганта, что скалою целой
К земле, беспомощный, прижат!

1914

РАВНОДЕНСТВИЕ

Есть иволги в лесах, и гласных долгота
В тонических стихах единственная мера,
Но только раз в году бывает разлита
В природе длительность, как в метрике Гомера.

Как бы цезурою зияет этот день:
Уже с утра покой и трудные длинноты,
Волы на пастбище, и золотая лень
Из тростника извлечь богатство целой ноты.

1914

* * *

«Мороженно!» Солнце. Воздушный бисквит.
Прозрачный стакан с ледяною водою.
И в мир шоколада с румяной зарею,
В молочные Альпы, мечтанье летит.

Но, ложечкой звякнув, умильно глядеть—
И в тесной беседке, средь пыльных акаций,
Принять благосклонно от булочных граций
В затейливой чашечке хрупкую снедь...

Подруга шарманки, появится вдруг
Бродячего ледника пестрая крышка—
И с жадным вниманием смотрит мальчишка
В чудесного холода полный сундук.

И боги не ведают — что он возьмет:
Алмазные сливки иль вафлю с начинкой?
Но быстро исчезнет под тонкой лучинкой,
Сверкая на солнце, божественный лед.

1914

* * *

Есть ценностей незыблемая ска́ла
Над скучными ошибками веков.
Неправильно наложена опала
На автора возвышенных стихов.

И вслед за тем, как жалкий Сумароков
Пролепетал заученную роль,
Как царский посох в скинии пророков,
У нас цвела торжественная боль.

Что делать вам в театре полуслова
И полумаск, герои и цари?
И для меня явленье Озерова —
Последний луч трагической зари.

1914

* * *

Природа — тот же Рим и отразилась в нем.
Мы видим образы его гражданской мощи
В прозрачном воздухе, как в цирке голубом,
На форуме полей и в колоннаде рощи.

Природа — тот же Рим, и, кажется, опять
Нам незачем богов напрасно беспокоить —
Есть внутренности жертв, чтоб о войне гадать,
Рабы, чтобы молчать, и камни, чтобы строить!

1914

* * *

Пусть имена цветущих городов
Ласкают слух значительностью бренной.
Не город Рим живет среди веков,
А место человека во вселенной!

Нов. Сат. 1915 № 26 «Мороженно» нно. 1

«Мороженно. Солнце.» Воздушный бисквит
Прозрачный стакан съ ледяною водою,—
И въ міръ шоколада съ румяной зарею,
Въ молочные Альпы мечтанье летитъ.—

Но ложечкой звать.. но умильно смотрѣть
Чтобы въ тѣсной бесѣдкѣ средь пыльныхъ акацій
Принять благосклонно отъ булочныхъ грацій
Въ затѣйливой чашечкѣ хрупкую снѣдь

Подруга шарманки появится вдругъ,—
Бродячаго ледника пестрая крышка,
И съ жаднымъ вниманіемъ смотритъ мальчишка
Въ чудеснаго холода полный сундукъ.
—

И боги не вѣдаютъ, что онъ возьметъ.
Алмазныя сливки иль вафлю съ начинкой?
Но быстро исчезнетъ подъ тонкой лучинкой,—
Сверкая на солнцѣ божественный ледъ.

О. Мандельштамъ

Автограф стихотворения
«Мороженно!» Солнце. Воздушный бисквит...»
(ГПБ, дневник С. П. Каблукова)

Им овладеть пытаются цари,
Священники оправдывают войны,
И без него презрения достойны,
Как жалкий сор, дома и алтари.

1914

* * *

Я не слыхал рассказов Оссиана,
Не пробовал старинного вина;
Зачем же мне мерещится поляна,
Шотландии кровавая луна?

И перекличка ворона и арфы
Мне чудится в зловещей тишине;
И ветром развеваемые шарфы
Дружинников мелькают при луне!

Я получил блаженное наследство —
Чужих певцов блуждающие сны;
Свое родство и скучное соседство
Мы презирать заведомо вольны.

И не одно сокровище, быть может,
Минуя внуков, к правнукам уйдет,
И снова скальд чужую песню сложит
И как свою ее произнесет.

1914

ЕВРОПА

Как средиземный краб или звезда морская,
Был выброшен последний материк,
К широкой Азии, к Америке привык,—
Слабеет океан, Европу омывая.

Изрезаны ее живые берега,
И полуостровов воздушны изваянья,
Немного женственны заливов очертанья:
Бискайи, Генуи ленивая дуга...

Завоевателей исконная земля —
Европа в рубище Священного союза:
Пята Испании, Италии Медуза
И Польша нежная, где нету короля.

Европа цезарей! С тех пор, как в Бонапарта
Гусиное перо направил Меттерних,—
Впервые за сто лет и на глазах моих
Меняется твоя таинственная карта!

1914

ENCYCLYCA*

Есть обитаемая духом
Свобода — избранных удел.
Орлиным зреньем, дивным слухом
Священник римский уцелел.

И голубь не боится грома,
Которым церковь говорит;
В апостольском созвучьи: Roma! —
Он только сердце веселит.

Я повторяю это имя
Под вечным куполом небес,
Хоть говоривший мне о Риме
В священном сумраке исчез!

1914

ПОСОХ

Посох мой, моя свобода —
Сердцевина бытия,
Скоро ль истиной народа
Станет истина моя?

* Энциклика *(лат.)* — папское послание «ко всему миру».

Я земле не поклонился
Прежде, чем себя нашел;
Посох взял, развеселился
И в далекий Рим пошел.

А снега на черных пашнях
Не растают никогда,
И печаль моих домашних
Мне по-прежнему чужда.

Снег растает на утесах,
Солнцем истины палим,
Прав народ, вручивший посох
Мне, увидевшему Рим!

1914, 1927

ОДА БЕТХОВЕНУ

Бывает сердце так сурово,
Что и любя его не тронь!
И в темной комнате глухого
Бетховена горит огонь.
И я не мог твоей, мучитель,
Чрезмерной радости понять.
Уже бросает исполнитель
Испепеленную тетрадь.

....
....
....
Кто этот дивный пешеход?
Он так стремительно ступает
С зеленой шляпою в руке,
....
....

С кем можно глубже и полнее
Всю чашу нежности испить?
Кто может, ярче пламенея,
Усилье воли освятить?
Кто по-крестьянски, сын фламандца,
Мир пригласил на ритурнель

И до тех пор не кончил танца,
Пока не вышел буйный хмель?

О, Дионис, как муж, наивный
И благодарный, как дитя!
Ты перенес свой жребий дивный
То негодуя, то шутя!
С каким глухим негодованьем
Ты собирал с князей оброк
Или с рассеянным вниманьем
На фортепьянный шел урок!

Тебе монашеские кельи —
Всемирной радости приют,
Тебе в пророческом весельи
Огнепоклонники поют;
Огонь пылает в человеке,
Его унять никто не мог.
Тебя назвать не смели греки,
Но чтили, неизвестный бог!

О, величавой жертвы пламя!
Полнеба охватил костер —
И царской скинии над нами
Разодран шелковый шатер.
И в промежутке воспаленном,
Где мы не видим ничего,—
Ты указал в чертоге тронном
На белой славы торжество!

1914

* * *

Уничтожает пламень
Сухую жизнь мою,—
И ныне я не камень,
А дерево пою.

Оно легко и грубо:
Из одного куска
И сердцевина дуба,
И весла рыбака.

Вбивайте крепче сваи,
Стучите, молотки,
О деревянном рае,
Где вещи так легки!

1915

* * *

И поныне на Афоне
Древо чудное растет,
На крутом зеленом склоне
Имя Божие поет.

В каждой радуются келье
Имябожцы-мужики:
Слово — чистое веселье,
Исцеленье от тоски!

Всенародно, громогласно
Чернецы осуждены;
Но от ереси прекрасной
Мы спасаться не должны.

Каждый раз, когда мы любим,
Мы в нее впадаем вновь.
Безымянную мы губим
Вместе с именем любовь.

1915

АББАТ

О, спутник вечного романа,
Аббат Флобера и Золя —
От зноя рыжая сутана
И шляпы круглые поля.
Он все еще проходит мимо,
В тумане полдня, вдоль межи,
Влача остаток власти Рима
Среди колосьев спелой ржи.

Храня молчанье и приличье,
Он с нами должен пить и есть

И прятать в светское обличье
Сияющей тонзуры честь.
Он Цицерона, на перине,
Читает, отходя ко сну:
Так птицы на своей латыни
Молились Богу в старину.

Я поклонился, он ответил
Кивком учтивым головы
И, говоря со мной, заметил:
— Католиком умрете вы! —
Потом вздохнул: — Как нынче жарко! —
И, разговором утомлен,
Направился к каштанам парка,
В тот замок, где обедал он.

1915

* * *

От вторника и до субботы
Одна пустыня пролегла.
О, длительные перелеты!
Семь тысяч верст — одна стрела.

И ласточки когда летели
В Египет водяным путем,
Четыре дня они висели,
Не зачерпнув воды крылом.

1915

ДВОРЦОВАЯ ПЛОЩАДЬ

Императорский виссон
И моторов колесницы,—
В черном омуте столицы
Столпник-ангел вознесен.

В темной арке, как пловцы,
Исчезают пешеходы,
И на площади, как воды,
Глухо плещутся торцы.

Только там, где твердь светла,
Черно-желтый лоскут злится,
Словно в воздухе струится
Желчь двуглавого орла.

1915

* * *

О свободе небывалой
Сладко думать у свечи.
— Ты побудь со мной сначала,—
Верность плакала в ночи,—

Только я мою корону
Возлагаю на тебя,
Чтоб свободе, как закону,
Подчинился ты, любя...

— Я свободе, как закону,
Обручен, и потому
Эту легкую корону
Никогда я не сниму.

Нам ли, брошенным в пространстве,
Обреченным умереть,
О прекрасном постоянстве
И о верности жалеть!

1915

* * *

Бессонница. Гомер. Тугие паруса.
Я список кораблей прочел до середины:
Сей длинный выводок, сей поезд журавлиный,
Что над Элладою когда-то поднялся.

Как журавлиный клин в чужие рубежи,—
На головах царей божественная пена,—
Куда плывете вы? Когда бы не Елена,
Что Троя вам одна, ахейские мужи?

И море, и Гомер — все движется любовью.
Кого же слушать мне? И вот Гомер молчит,
И море черное, витийствуя, шумит
И с тяжким грохотом подходит к изголовью.

1915

* * *

Обиженно уходят на холмы,
Как Римом недовольные плебеи,
Старухи овцы — черные халдеи,
Исчадье ночи в капюшонах тьмы.

Их тысячи — передвигают все,
Как жердочки, мохнатые колени,
Трясутся и бегут в курчавой пене,
Как жеребья в огромном колесе.

Им нужен царь и черный Авентин,
Овечий Рим с его семью холмами,
Собачий лай, костер под небесами
И горький дым жилища и овин.

На них кустарник двинулся стеной
И побежали воинов палатки,
Они идут в священном беспорядке.
Висит руно тяжелою волной.

1915

* * *

С веселым ржанием пасутся табуны,
И римской ржавчиной окрасилась долина;
Сухое золото классической весны
Уносит времени прозрачная стремнина.

Топча по осени дубовые листы,
Что густо стелются пустынною тропинкой,
Я вспомню Цезаря прекрасные черты —
Сей профиль женственный с коварною горбинкой!

Здесь, Капитолия и Форума вдали,
Средь увядания спокойного природы,
Я слышу Августа и на краю земли
Державным яблоком катящиеся годы.

Да будет в старости печаль моя светла:
Я в Риме родился, и он ко мне вернулся;
Мне осень добрая волчицею была
И — месяц Цезаря — мне август улыбнулся.

1915

* * *

Я не увижу знаменитой «Федры»
В старинном многоярусном театре,
С прокопченной высокой галереи,
При свете оплывающих свечей.
И, равнодушен к суете актеров,
Сбирающих рукоплесканий жатву,
Я не услышу, обращенный к рампе,
Двойною рифмой оперенный стих:

— Как эти покрывала мне постылы...

Театр Расина! Мощная завеса
Нас отделяет от другого мира;
Глубокими морщинами волнуя,
Меж ним и нами занавес лежит.
Спадают с плеч классические шали,
Расплавленный страданьем крепнет голос,
И достигает скорбного закала
Негодованьем раскаленный слог...

Я опоздал на празднество Расина!

Вновь шелестят истлевшие афиши,
И слабо пахнет апельсинной коркой,
И словно из столетней летаргии
Очнувшийся сосед мне говорит:
— Измученный безумством Мельпомены,
Я в этой жизни жажду только мира;
Уйдем, покуда зрители-шакалы
На растерзанье Музы не пришли!

Когда бы грек увидел наши игры...

1915

Tristia

* * *

«Как этих покрывал и этого убора
Мне пышность тяжела средь моего позора!»

— Будет в каменной Трезене
Знаменитая беда,
Царской лестницы ступени
Покраснеют от стыда,
....
....
И для матери влюбленной
Солнце черное взойдет.

«О, если б ненависть в груди моей кипела,—
Но, видите, само признанье с уст слетело».

— Черным пламенем Федра горит
Среди белого дня.
Погребальный факел чадит
Среди белого дня.
Бойся матери ты, Ипполит:
Федра—ночь—тебя сторожит
Среди белого дня.

«Любовью черною я солнце запятнала...»
....

— Мы боимся, мы не смеем
Горю царскому помочь.
Уязвленная Тезеем,
На него напала ночь.

Мы же, песнью похоронной
Провожая мертвых в дом,
Страсти дикой и бессонной
Солнце черное уймем.

1915, 1916

ЗВЕРИНЕЦ

Отверженное слово «мир»
В начале оскорбленной эры;
Светильник в глубине пещеры
И воздух горных стран — эфир;
Эфир, которым не сумели,
Не захотели мы дышать.
Козлиным голосом, опять,
Поют косматые свирели.

Пока ягнята и волы
На тучных пастбищах водились
И дружелюбные садились
На плечи сонных скал орлы,—
Германец выкормил орла,
И лев британцу покорился,
И галльский гребень появился
Из петушиного хохла.

А ныне завладел дикарь
Священной палицей Геракла,
И черная земля иссякла,
Неблагодарная, как встарь.
Я палочку возьму сухую,
Огонь добуду из нее,
Пускай уходит в ночь глухую
Мной всполошенное зверье!

Петух и лев, широкохмурый,
Орел и ласковый медведь —
Мы для войны построим клеть,
Звериные пригреем шкуры.
А я пою вино времен —
Источник речи италийской —
И в колыбели праарийской
Славянский и германский лен!

Италия, тебе не лень
Тревожить Рима колесницы,
С кудахтаньем домашней птицы
Перелетев через плетень?
И ты, соседка, не взыщи —
Орел топорщится и злится:
Что, если для твоей пращи
Тяжелый камень не годится?

В зверинце заперев зверей,
Мы успокоимся надолго,
И станет полноводней Волга,
И рейнская струя светлей,—
И умудренный человек
Почтит невольно чужестранца,
Как полубога, буйством танца
На берегах великих рек.

1916, 1935

* * *

В разноголосице девического хора
Все церкви нежные поют на голос свой,
И в дугах каменных Успенского собора
Мне брови чудятся, высокие, дугой.

И с укрепленного архангелами вала
Я город озирал на чудной высоте.
В стенах Акрополя печаль меня снедала
По русском имени и русской красоте.

Не диво ль дивное, что вертоград нам снится,
Где голуби в горячей синеве,
Что православные крюки поет черница:
Успенье нежное — Флоренция в Москве.

И пятиглавые московские соборы
С их итальянскою и русскою душой
Напоминают мне явление Авроры,
Но с русским именем и в шубке меховой.

1916

* * *

На розвальнях, уложенных соломой,
Едва прикрытые рогожей роковой,
От Воробьевых гор до церковки знакомой
Мы ехали огромною Москвой.

А в Угличе играют дети в бабки
И пахнет хлеб, оставленный в печи.
По улицам меня везут без шапки,
И теплятся в часовне три свечи.

Не три свечи горели, а три встречи —
Одну из них сам Бог благословил,
Четвертой не бывать, а Рим далече —
И никогда он Рима не любил.

Ныряли сани в черные ухабы,
И возвращался с гульбища народ.
Худые мужики и злые бабы
Переминались у ворот.

Сырая даль от птичьих стай чернела,
И связанные руки затекли;
Царевича везут, немеет страшно тело —
И рыжую солому подожгли.

1916

СОЛОМИНКА

1

Когда, соломинка, не спишь в огромной спальне
И ждешь, бессонная, чтоб, важен и высок,
Спокойной тяжестью,— что может быть печальней,—
На веки чуткие спустился потолок,

Соломка звонкая, соломинка сухая,
Всю смерть ты выпила и сделалась нежней,
Сломалась милая соломка неживая,
Не Саломея, нет, соломинка скорей!

В часы бессонницы предметы тяжелее,
Как будто меньше их — такая тишина!
Мерцают в зеркале подушки, чуть белея,
И в круглом омуте кровать отражена.

Нет, не соломинка в торжественном атласе,
В огромной комнате над черною Невой,
Двенадцать месяцев поют о смертном часе,
Струится в воздухе лед бледно-голубой.

Декабрь торжественный струит свое дыханье,
Как будто в комнате тяжелая Нева.
Нет, не соломинка — Лигейя, умиранье,—
Я научился вам, блаженные слова.

2

Я научился вам, блаженные слова:
Ленор, Соломинка, Лигейя, Серафита.
В огромной комнате тяжелая Нева,
И голубая кровь струится из гранита.

Декабрь торжественный сияет над Невой.
Двенадцать месяцев поют о смертном часе.
Нет, не соломинка в торжественном атласе
Вкушает медленный томительный покой.

В моей крови живет декабрьская Лигейя,
Чья в саркофаге спит блаженная любовь.
А та, соломинка — быть может, Саломея,
Убита жалостью и не вернется вновь!

1916

* * *

1

Мне холодно. Прозрачная весна
В зеленый пух Петрополь одевает,
Но, как медуза, невская волна
Мне отвращенье легкое внушает.
По набережной северной реки
Автомобилей мчатся светляки,

Летят стрекозы и жуки стальные,
Мерцают звезд булавки золотые,
Но никакие звезды не убьют
Морской воды тяжелый изумруд.

2

В Петрополе прозрачном мы умрем,
Где властвует над нами Прозерпина.
Мы в каждом вздохе смертный воздух пьем,
И каждый час нам смертная година.
Богиня моря, грозная Афина,
Сними могучий каменный шелом.
В Петрополе прозрачном мы умрем,—
Здесь царствуешь не ты, а Прозерпина.

1916

* * *

Не веря воскресенья чуду,
На кладбище гуляли мы.
— Ты знаешь, мне земля повсюду
Напоминает те холмы
....
....
Где обрывается Россия
Над морем черным и глухим.

От монастырских косогоров
Широкий убегает луг.
Мне от владимирских просторов
Так не хотелося на юг,
Но в этой темной, деревянной
И юродивой слободе
С такой монашкою туманной
Остаться — значит, быть беде.

Целую локоть загорелый
И лба кусочек восковой.
Я знаю — он остался белый
Под смуглой прядью золотой.

I

Мнѣ холодно! Прозрачная весна
Въ зеленый пухъ Петрополь одѣваетъ,
Но, какъ Медуза, невская волна
Мнѣ отвращенье легкое внушаетъ!
По набережной ~~царственной~~ сѣверной рѣки,
Автомобилей мечутся свѣтляки,
Летятъ стрекозы и жуки стальные,
Мерцаютъ звѣздъ булавки золотыя —
Но никакія звѣзды не убьютъ
Морской воды тяжелый изумрудъ!

II

Не фонари сіяли намъ, а свѣчи
Александрійскихъ стройныхъ тополей.
Вы сняли черный мѣхъ съ груди своей
И на мои переложили плечи.
Смущенная величіемъ Невы,
Вашъ чудный мѣхъ мнѣ подарили вы!

III

Въ Петрополѣ прозрачномъ мы умремъ,
Гдѣ властвуетъ надъ нами Прозерпина;
Мы въ каждомъ вздохѣ смертный воздухъ пьемъ,
И каждый часъ — намъ смертная година.
Богиня моря, грозная Аѳина,
Сними могучій каменный шеломъ:
Въ Петрополѣ прозрачномъ мы умремъ,
Здѣсь царствуешь не ты, а Прозерпина!

Май 1916

Осипъ Мандельштамъ

Автограф первоначальной редакции стихотворения
«Мне холодно! Прозрачная весна...» (Архив М. Л. Лозинского)

Целую кисть, где от браслета
Еще белеет полоса.
Тавриды пламенное лето
Творит такие чудеса.

Как скоро ты смуглянкой стала
И к Спасу бедному пришла,
Не отрываясь целовала,
А гордою в Москве была.
Нам остается только имя:
Чудесный звук, на долгий срок.
Прими ж ладонями моими
Пересыпаемый песок.

1916

* * *

Эта ночь непоправима,
А у вас еще светло.
У ворот Ерусалима
Солнце черное взошло.

Солнце желтое страшнее,—
Баю-баюшки-баю,—
В светлом храме иудеи
Хоронили мать мою.

Благодати не имея
И священства лишены,
В светлом храме иудеи
Отпевали прах жены.

И над матерью звенели
Голоса израильтян.
Я проснулся в колыбели —
Черным солнцем осиян.

1916

* * *

Собирались эллины войною
На прелестный остров Саламин,—
Он, отторгнут вражеской рукою,
Виден был из гавани Афин.

А теперь друзья-островитяне
Снаряжают наши корабли —
Не любили раньше англичане
Европейской сладостной земли.

О, Европа, новая Эллада,
Охраняй Акрополь и Пирей!
Нам подарков с острова не надо —
Целый лес незваных кораблей.

1916

ДЕКАБРИСТ

— Тому свидетельство языческий сенат —
Сии дела не умирают! —
Он раскурил чубук и запахнул халат,
А рядом в шахматы играют.

Честолюбивый сон он променял на сруб
В глухом урочище Сибири
И вычурный чубук у ядовитых губ,
Сказавших правду в скорбном мире.

Шумели в первый раз германские дубы,
Европа плакала в тенетах,
Квадриги черные вставали на дыбы
На триумфальных поворотах.

Бывало, голубой в стаканах пун горит,
С широким шумом самовара
Подруга рейнская тихонько говорит,
Вольнолюбивая гитара.

— Еще волнуются живые голоса
О сладкой вольности гражданства!
Но жертвы не хотят слепые небеса:
Вернее труд и постоянство.

Все перепуталось, и некому сказать,
Что, постепенно холодея,
Все перепуталось, и сладко повторять:
Россия, Лета, Лорелея.

1917

* * *

Золотистого меда струя из бутылки текла
Так тягуче и долго, что молвить хозяйка успела:
— Здесь, в печальной Тавриде, куда нас судьба занесла,
Мы совсем не скучаем,— и через плечо поглядела.

Всюду Бахуса службы, как будто на свете одни
Сторожа и собаки,— идешь, никого не заметишь.
Как тяжелые бочки, спокойные катятся дни.
Далеко в шалаше голоса — не поймешь, не ответишь.

После чаю мы вышли в огромный коричневый сад,
Как ресницы, на окнах опущены темные шторы.
Мимо белых колонн мы пошли посмотреть виноград,
Где воздушным стеклом обливаются сонные горы.

Я сказал: виноград, как старинная битва, живет,
Где курчавые всадники бьются в кудрявом порядке;
В каменистой Тавриде наука Эллады — и вот
Золотых десятин благородные, ржавые грядки.

Ну, а в комнате белой, как прялка, стоит тишина,
Пахнет уксусом, краской и свежим вином из подвала.
Помнишь, в греческом доме: любимая всеми жена,—
Не Елена — другая,— как долго она вышивала?

Золотое руно, где же ты, золотое руно?
Всю дорогу шумели морские тяжелые волны,
И, покинув корабль, натрудивший в морях полотно,
Одиссей возвратился, пространством и временем полный.

1917

МЕГАНОМ

Еще далеко асфоделей
Прозрачно-серая весна.
Пока еще на самом деле
Шуршит песок, кипит волна.
Но здесь душа моя вступает,
Как Персефона, в легкий круг,
И в царстве мертвых не бывает
Прелестных, загорелых рук.

Зачем же лодке доверяем
Мы тяжесть урны гробовой
И праздник черных роз свершаем
Над аметистовой водой?
Туда душа моя стремится,
За мыс туманный Меганом,
И черный парус возвратится
Оттуда после похорон.

Как быстро тучи пробегают
Неосвещенною грядой,
И хлопья черных роз летают
Под этой ветряной луной.
И, птица смерти и рыданья,
Влачится траурной каймой
Огромный флаг воспоминанья
За кипарисною кормой.

И раскрывается с шуршаньем
Печальный веер прошлых лет,—
Туда, где с темным содроганьем
В песок зарылся амулет,
Туда душа моя стремится,
За мыс туманный Меганом,
И черный парус возвратится
Оттуда после похорон.

1917

* * *

А. В. Карташеву

Среди священников левитом молодым
На страже утренней он долго оставался.
Ночь иудейская сгущалася над ним,
И храм разрушенный угрюмо созидался.

Он говорил: небес тревожна желтизна!
Уж над Евфратом ночь: бегите, иереи!
А старцы думали: не наша в том вина —
Се черно-желтый свет, се радость Иудеи!

Он с нами был, когда, на берегу ручья,
Мы в драгоценный лен Субботу пеленали
И семисвещником тяжелым освещали
Ерусалима ночь и чад небытия.

1917

* * *

Когда на площадях и в тишине келейной
Мы сходим медленно с ума,
Холодного и чистого рейнвейна
Предложит нам жестокая зима.

В серебряном ведре нам предлагает стужа
Валгаллы белое вино,
И светлый образ северного мужа
Напоминает нам оно.

Но северные скальды грубы,
Не знают радостей игры,
И северным дружинам любы
Янтарь, пожары и пиры.

Им только снится воздух юга —
Чужого неба волшебство,—
И все-таки упрямая подруга
Откажется попробовать его.

1917

КАССАНДРЕ

Я не искал в цветущие мгновенья
Твоих, Кассандра, губ, твоих, Кассандра, глаз,
Но в декабре торжественного бденья
Воспоминанья мучат нас.

И в декабре семнадцатого года
Все потеряли мы, любя;
Один ограблен волею народа,
Другой ограбил сам себя...

Когда-нибудь в столице шалой
На скифском празднике, на берегу Невы —
При звуках омерзительного бала
Сорвут платок с прекрасной головы.

Но, если эта жизнь — необходимость бреда
И корабельный лес — высокие дома,—
Я полюбил тебя, безрукая победа
И зачумленная зима.

На площади с броневиками
Я вижу человека — он
Волков горящими пугает головнями:
Свобода, равенство, закон.

Больная, тихая Кассандра,
Я больше не могу — зачем
Сияло солнце Александра,
Сто лет тому назад сияло всем?

1917

* * *

Du, Doppelgänger! du, bleicher Geselle!..*

В тот вечер не гудел стрельчатый лес органа.
Нам пели Шуберта — родная колыбель!
Шумела мельница, и в песнях урагана
Смеялся музыки голубоглазый хмель!

Старинной песни мир — коричневый, зеленый,
Но только вечно-молодой,
Где соловьиных лип рокочущие кроны
С безумной яростью качает царь лесной.

---

* О, <мой> двойник, о, <мой> бледный собрат!.. <*Г. Гейне*> (*нем.*).

И сила страшная ночного возвращенья —
Та песня дикая, как черное вино:
Это двойник — пустое привиденье —
Бессмысленно глядит в холодное окно!

1918

* * *

Твое чудесное произношенье —
Горячий посвист хищных птиц;
Скажу ль: живое впечатленье
Каких-то шелковых зарниц.

«Что» — голова отяжелела.
«Цо» — это я тебя зову!
И далеко прошелестело:
— Я тоже на земле живу.

Пусть говорят: любовь крылата,—
Смерть окрыленнее стократ.
Еще душа борьбой объята,
А наши губы к ней летят.

И столько воздуха и шелка
И ветра в шопоте твоем,
И, как слепые, ночью долгой
Мы смесь бессолнечную пьем.

1918

* * *

Что поют часы-кузнечик,
Лихорадка шелестит
И шуршит сухая печка,—
Это красный шелк горит.

Что зубами мыши точат
Жизни тоненькое дно,—
Это ласточка и дочка
Отвязала мой челнок.

Что на крыше дождь бормочет,—
Это черный шелк горит,
Но черемуха услышит
И на дне морском: прости.

Потому что смерть невинна
И ничем нельзя помочь,
Что в горячке соловьиной
Сердце теплое еще.

1918

* * *

На страшной высоте блуждающий огонь!
Но разве так звезда мерцает?
Прозрачная звезда, блуждающий огонь,—
Твой брат, Петрополь, умирает!

На страшной высоте земные сны горят,
Зеленая звезда летает.
О, если ты звезда,— воды и неба брат,—
Твой брат, Петрополь, умирает!

Чудовищный корабль на страшной высоте
Несется, крылья расправляет...
Зеленая звезда,— в прекрасной нищете
Твой брат, Петрополь, умирает.

Прозрачная весна над черною Невой
Сломалась, воск бессмертья тает...
О, если ты звезда,— Петрополь, город твой,
Твой брат, Петрополь, умирает!

1918

* * *

Когда в теплой ночи замирает
Лихорадочный Форум Москвы
И театров широкие зевы
Возвращают толпу площадям,—

Протекает по улицам пышным
Оживленье ночных похорон;
Льются мрачно-веселые толпы
Из каких-то божественных недр.

Это солнце ночное хоронит
Возбужденная играми чернь,
Возвращаясь с полночного пира
Под глухие удары копыт,

И как новый встает Геркуланум
Спящий город в сияньи луны,
И убогого рынка лачуги,
И могучий дорический ствол!

1918

СУМЕРКИ СВОБОДЫ

Прославим, братья, сумерки свободы,
Великий сумеречный год!
В кипящие ночные воды
Опущен грузный лес тенет.
Восходишь ты в глухие годы,—
О, солнце, судия, народ.

Прославим роковое бремя,
Которое в слезах народный вождь берет.
Прославим власти сумрачное бремя,
Ее невыносимый гнет.
В ком сердце есть — тот должен слышать, время,
Как твой корабль ко дну идет.

Мы в легионы боевые
Связали ласточек — и вот
Не видно солнца; вся стихия
Щебечет, движется, живет;
Сквозь сети — сумерки густые —
Не видно солнца, и земля плывет.

Ну что ж, попробуем: огромный, неуклюжий,
Скрипучий поворот руля.

Когда въ теплой ночи замираетъ
Лихорадочный форумъ Москвы,
И театровъ широкіе зѣвы
Возвращаютъ толпу площадямъ —

Протекаетъ по улицамъ пышнымъ
Оживленье ночныхъ похоронъ;
Льются мрачно-веселыя толпы
Изъ какихъ-то божественныхъ нѣдръ.

Это солнце ночное хоронитъ
Возбужденная играми чернь,
Возвращаясь съ полночнаго пира
Подъ глухіе удары копытъ,

И, какъ новый встаетъ Геркуланумъ,
Спящій городъ въ сіяньи луны:
И убогаго рынка лачуги,
И могучій дорическій стволъ!

Май 1918
Москва

О. Мандельштамъ

Автограф стихотворения
«Когда в теплой ночи замирает...» (ЦГАЛИ)

Земля плывет. Мужайтесь, мужи.
Как плугом, океан деля,
Мы будем помнить и в летейской стуже,
Что десяти небес нам стоила земля.

1918

TRISTIA

Я изучил науку расставанья
В простоволосых жалобах ночных.
Жуют волы, и длится ожиданье —
Последний час вигилий городских,
И чту обряд той петушиной ночи,
Когда, подняв дорожной скорби груз,
Глядели в даль заплаканные очи,
И женский плач мешался с пеньем муз.

Кто может знать при слове «расставанье»,
Какая нам разлука предстоит,
Что нам сулит петушье восклицанье,
Когда огонь в акрополе горит,
И на заре какой-то новой жизни,
Когда в сенях лениво вол жует,
Зачем петух, глашатай новой жизни,
На городской стене крылами бьет?

И я люблю обыкновенье пряжи:
Снует челнок, веретено жужжит.
Смотри, навстречу, словно пух лебяжий,
Уже босая Делия летит!
О, нашей жизни скудная основа,
Куда как беден радости язык!
Все было встарь, все повторится снова,
И сладок нам лишь узнаванья миг.

Да будет так: прозрачная фигурка
На чистом блюде глиняном лежит,
Как беличья распластанная шкурка,
Склонясь над воском, девушка глядит.
Не нам гадать о греческом Эребе,
Для женщин воск, что для мужчины медь.
Нам только в битвах выпадает жребий,
А им дано гадая умереть.

1918

ЧЕРЕПАХА

На каменных отрогах Пиэрии
Водили музы первый хоровод,
Чтобы, как пчелы, лирники слепые
Нам подарили ионийский мед.
И холодком повеяло высоким
От выпукло-девического лба,
Чтобы раскрылись правнукам далеким
Архипелага нежные гроба.

Бежит весна топтать луга Эллады,
Обула Сафо пестрый сапожок,
И молоточками куют цикады,
Как в песенке поется, перстенек.
Высокий дом построил плотник дюжий,
На свадьбу всех передушили кур,
И растянул сапожник неуклюжий
На башмаки все пять воловьих шкур.

Нерасторопна черепаха-лира,
Едва-едва беспалая ползет,
Лежит себе на солнышке Эпира,
Тихонько грея золотой живот.
Ну, кто ее такую приласкает,
Кто спящую ее перевернет?
Она во сне Терпандра ожидает,
Сухих перстов предчувствуя налет.

Поит дубы холодная криница,
Простоволосая шумит трава,
На радость осам пахнет медуница.
О, где же вы, святые острова,
Где не едят надломленного хлеба,
Где только мед, вино и молоко,
Скрипучий труд не омрачает неба
И колесо вращается легко?

1919

* * *

В хрустальном омуте какая крутизна!
За нас сиенские предстательствуют горы,
И сумасшедших скал колючие соборы
Повисли в воздухе, где шерсть и тишина.

С висячей лестницы пророков и царей
Спускается орган, Святого Духа крепость,
Овчарок бодрый лай и добрая свирепость,
Овчины пастухов и посохи судей.

Вот неподвижная земля, и вместе с ней
Я христианства пью холодный горный воздух,
Крутое «Верую» и псалмопевца роздых,
Ключи и рубища апостольских церквей.

Какая линия могла бы передать
Хрусталь высоких нот в эфире укрепленном,
И с христианских гор в пространстве изумленном,
Как Палестрины песнь, нисходит благодать.

1919

* * *

Сестры тяжесть и нежность, одинаковы ваши приметы.
Медуницы и осы тяжелую розу сосут.
Человек умирает. Песок остывает согретый,
И вчерашнее солнце на черных носилках несут.

Ах, тяжелые соты и нежные сети,
Легче камень поднять, чем имя твое повторить!
У меня остается одна забота на свете:
Золотая забота, как времени бремя избыть.

Словно темную воду, я пью помутившийся воздух.
Время вспахано плугом, и роза землею была.
В медленном водовороте тяжелые, нежные розы,
Розы тяжесть и нежность в двойные венки заплела!

1920

* * *

Вернись в смесительное лоно,
Откуда, Лия, ты пришла,
За то, что солнцу Илиона
Ты желтый сумрак предпочла.

Иди, никто тебя не тронет,
На грудь отца в глухую ночь
Пускай главу свою уронит
Кровосмесительница-дочь.

Но роковая перемена
В тебе исполниться должна:
Ты будешь Лия — не Елена!
Не потому наречена,

Что царской крови тяжелее
Струиться в жилах, чем другой,—
Нет, ты полюбишь иудея,
Исчезнешь в нем — и Бог с тобой.

1920

ФЕОДОСИЯ

Окружена высокими холмами,
Овечьим стадом ты с горы сбегаешь
И розовыми, белыми камнями
В сухом прозрачном воздухе сверкаешь.
Качаются разбойничьи фелюги,
Горят в порту турецких флагов маки,
Тростинки мачт, хрусталь волны упругий
И на канатах лодочки-гамаки.

На все лады, оплаканное всеми,
С утра до ночи «яблочко» поется.
Уносит ветер золотое семя,—
Оно пропало — больше не вернется.
А в переулочках, чуть свечерело,
Пиликают, согнувшись, музыканты,
По двое и по трое, неумело,
Невероятные свои варьянты.

О, горбоносых странников фигурки!
О, средиземный радостный зверинец!
Расхаживают в полотенцах турки,
Как петухи у маленьких гостиниц.
Везут собак в тюрьмоподобной фуре,
Сухая пыль по улицам несется,

И хладнокровен средь базарных фурий
Монументальный повар с броненосца.

Идем туда, где разные науки
И ремесло — шашлык и чебуреки,
Где вывеска, изображая брюки,
Дает понятье нам о человеке.
Мужской сюртук — без головы стремленье,
Цирюльника летающая скрипка
И месмерический утюг — явленье
Небесных прачек — тяжести улыбка.

Здесь девушки стареющие в челках
Обдумывают странные наряды
И адмиралы в твердых треуголках
Припоминают сон Шехерезады.
Прозрачна даль. Немного винограда.
И неизменно дует ветер свежий.
Недалеко до Смирны и Багдада,
Но трудно плыть, а звезды всюду те же.

1920

* * *

Мне Тифлис горбатый снится,
Сазандарей стон звенит,
На мосту народ толпится,
Вся ковровая столица,
А внизу Кура шумит.

Над Курою есть духаны,
Где вино и милый плов,
И духанщик там румяный
Подает гостям стаканы
И служить тебе готов.

Кахетинское густое
Хорошо в подвале пить,—
Там в прохладе, там в покое
Пейте вдоволь, пейте двое,
Одному не надо пить!

В самом маленьком духане
Ты обманщика найдешь.
Если спросишь «Телиани»,
Поплывет Тифлис в тумане,
Ты в бутылке поплывешь.

Человек бывает старым,
А барашек молодым,
И под месяцем поджарым
С розоватым винным паром
Полетит шашлычный дым...

1920, 1927, 1935

ВЕНИЦЕЙСКАЯ ЖИЗНЬ

Венецейской жизни, мрачной и бесплодной,
Для меня значение светло.
Вот она глядит с улыбкою холодной
В голубое дряхлое стекло.

Тонкий воздух кожи, синие прожилки,
Белый снег, зеленая парча.
Всех кладут на кипарисные носилки,
Сонных, теплых вынимают из плаща.

И горят, горят в корзинах свечи,
Словно голубь залетел в ковчег.
На театре и на праздном вече
Умирает человек.

Ибо нет спасенья от любви и страха,
Тяжелее платины Сатурново кольцо,
Черным бархатом завешенная плаха
И прекрасное лицо.

Тяжелы твои, Венеция, уборы,
В кипарисных рамах зеркала.
Воздух твой граненый. В спальне тают горы
Голубого дряхлого стекла.

Только в пальцах — роза или склянка,
Адриатика зеленая, прости!
Что же ты молчишь, скажи, венецианка,
Как от этой смерти праздничной уйти?

Черный Веспер в зеркале мерцает,
Все проходит, истина темна.
Человек родится, жемчуг умирает,
И Сусанна старцев ждать должна.

1920

* * *

Когда Психея-жизнь спускается к теням
В полупрозрачный лес вослед за Персефоной,
Слепая ласточка бросается к ногам
С стигийской нежностью и веткою зеленой.

Навстречу беженке спешит толпа теней,
Товарку новую встречая причитаньем,
И руки слабые ломают перед ней
С недоумением и робким упованьем.

Кто держит зеркальце, кто баночку духов,—
Душа ведь женщина, ей нравятся безделки,
И лес безлиственный прозрачных голосов
Сухие жалобы кропят, как дождик мелкий.

И в нежной сутолке не зная, что начать,
Душа не узнает прозрачные дубравы,
Дохнет на зеркало и медлит передать
Лепешку медную с туманной переправы.

1920

ЛАСТОЧКА

Я слово позабыл, что я хотел сказать.
Слепая ласточка в чертог теней вернется
На крыльях срезанных, с прозрачными играть.
В беспамятстве ночная песнь поется.

Не слышно птиц. Бессмертник не цветет,
Прозрачны гривы табуна ночного,
В сухой реке пустой челнок плывет,
Среди кузнечиков беспамятствует слово.

И медленно растет как бы шатер иль храм,
То вдруг прокинется безумной Антигоной,
То мертвой ласточкой бросается к ногам
С стигийской нежностью и веткою зеленой.

О, если бы вернуть и зрячих пальцев стыд,
И выпуклую радость узнаванья.
Я так боюсь рыданья Аонид,
Тумана, звона и зиянья.

А смертным власть дана любить и узнавать,
Для них и звук в персты прольется,
Но я забыл, что я хочу сказать,
И мысль бесплотная в чертог теней вернется.

Все не о том прозрачная твердит,
Все ласточка, подружка, Антигона...
А на губах, как черный лед, горит
Стигийского воспоминанье звона.

1920

* * *

Возьми на радость из моих ладоней
Немного солнца и немного меда,
Как нам велели пчелы Персефоны.

Не отвязать неприкрепленной лодки,
Не услыхать в меха обутой тени,
Не превозмочь в дремучей жизни страха.

Нам остаются только поцелуи,
Мохнатые, как маленькие пчелы,
Что умирают, вылетев из улья.

Они шуршат в прозрачных дебрях ночи,
Их родина — дремучий лес Тайгета,
Их пища — время, медуница, мята.

Возьми ж на радость дикий мой подарок —
Невзрачное сухое ожерелье
Из мертвых пчел, мед превративших в солнце.

1920

* * *

Чуть мерцает призрачная сцена,
Хоры слабые теней,
Захлестнула шелком Мельпомена
Окна храмины своей.
Черным табором стоят кареты,
На дворе мороз трещит,
Все космато — люди и предметы,
И горячий снег хрустит.

Понемногу челядь разбирает
Шуб медвежьих вороха.
В суматохе бабочка летает.
Розу кутают в меха.
Модной пестряди кружки и мошки,
Театральный легкий жар,
А на улице мигают плошки
И тяжелый валит пар.

Кучера измаялись от крика,
И храпит и дышит тьма.
Ничего, голубка Эвридика,
Что у нас студеная зима.
Слаще пенья итальянской речи
Для меня родной язык,
Ибо в нем таинственно лепечет
Чужеземных арф родник.

Пахнет дымом бедная овчина,
От сугроба улица черна.
Из блаженного, певучего притина
К нам летит бессмертная весна.
Чтобы вечно ария звучала:
«Ты вернешься на зеленые луга»,—
И живая ласточка упала
На горячие снега.

1920

* * *

В Петербурге мы сойдемся снова,
Словно солнце мы похоронили в нем,
И блаженное, бессмысленное слово
В первый раз произнесем.

В черном бархате советской ночи,
В бархате всемирной пустоты,
Все поют блаженных жен родные очи,
Все цветут бессмертные цветы.

Дикой кошкой горбится столица,
На мосту патруль стоит,
Только злой мотор во мгле промчится
И кукушкой прокричит.
Мне не надо пропуска ночного,
Часовых я не боюсь:
За блаженное, бессмысленное слово
Я в ночи советской помолюсь.

Слышу легкий театральный шорох
И девическое «ах» —
И бессмертных роз огромный ворох
У Киприды на руках.
У костра мы греемся от скуки,
Может быть, века пройдут,
И блаженных жен родные руки
Легкий пепел соберут.

Где-то грядки красные партера,
Пышно взбиты шифоньерки лож,
Заводная кукла офицера —
Не для черных душ и низменных святош...
Что ж, гаси, пожалуй, наши свечи
В черном бархате всемирной пустоты.
Все поют блаженных жен крутые плечи,
А ночного солнца не заметишь ты.

1920

* * *

За то, что я руки твои не сумел удержать,
За то, что я предал соленые нежные губы,
Я должен рассвета в дремучем акрополе ждать.
Как я ненавижу пахучие древние срубы!

Ахейские мужи во тьме снаряжают коня,
Зубчатыми пилами в стены вгрызаются крепко,
Никак не уляжется крови сухая возня,
И нет для тебя ни названья, ни звука, ни слепка.

Как мог я подумать, что ты возвратишься, как смел?
Зачем преждевременно я от тебя оторвался?
Еще не рассеялся мрак и петух не пропел,
Еще в древесину горячий топор не врезался.

Прозрачной слезой на стенах проступила смола,
И чувствует город свои деревянные ребра,
Но хлынула к лестницам кровь и на приступ пошла,
И трижды приснился мужьям соблазнительный образ.

Где милая Троя? Где царский, где девичий дом?
Он будет разрушен, высокий Приамов скворешник.
И падают стрелы сухим деревянным дождем,
И стрелы другие растут на земле, как орешник.

Последней звезды безболезненно гаснет укол,
И серою ласточкой утро в окно постучится,
И медленный день, как в соломе проснувшийся вол,
На стогнах, шершавых от долгого сна, шевелится.

1920

* * *

Когда городская выходит на стогны луна,
И медленно ей озаряется город дремучий,
И ночь нарастает, унынья и меди полна,
И грубому времени воск уступает певучий,

И плачет кукушка на каменной башне своей,
И бледная жница, сходящая в мир бездыханный,
Тихонько шевелит огромные спицы теней
И желтой соломой бросает на пол деревянный...

1920

* * *

Мне жалко, что теперь зима
И комаров не слышно в доме,
Но ты напомнила сама
О легкомысленной соломе.

Стрекозы вьются в синеве,
И ласточкой кружится мода;
Корзиночка на голове
Или напыщенная ода?

Советовать я не берусь,
И бесполезны отговорки,
Но взбитых сливок вечен вкус
И запах апельсинной корки.

Ты все толкуешь наобум,
От этого ничуть не хуже,
Что делать, самый нежный ум
Весь помещается снаружи.

И ты пытаешься желток
Взбивать рассерженною ложкой,
Он побелел, он изнемог,
И все-таки еще немножко.

И, право, не твоя вина,
Зачем оценки и изнанки?
Ты как нарочно создана
Для комедийной перебранки.

В тебе все дразнит, все поет,
Как итальянская рулада.
И маленький вишневый рот
Сухого просит винограда.

Так не старайся быть умней,
В тебе все прихоть, все минута.
И тень от шапочки твоей
Венецианская баута.

1920

* * *

Я наравне с другими
Хочу тебе служить,
От ревности сухими
Губами ворожить.
Не утоляет слово
Мне пересохших уст,
И без тебя мне снова
Дремучий воздух пуст.

Я больше не ревную,
Но я тебя хочу,
И сам себя несу я,
Как жертву, палачу.
Тебя не назову я
Ни радость, ни любовь.
На дикую, чужую
Мне подменили кровь.

Еще одно мгновенье,
И я скажу тебе:
Не радость, а мученье
Я нахожу в тебе.
И, словно преступленье,
Меня к тебе влечет
Искусанный в смятеньи
Вишневый нежный рот.

Вернись ко мне скорее,
Мне страшно без тебя,
Я никогда сильнее
Не чувствовал тебя,
И все, чего хочу я,
Я вижу наяву.
Я больше не ревную,
Но я тебя зову.

1920

* * *

Я в хоровод теней, топтавших нежный луг,
С певучим именем вмешался,
Но все растаяло, и только слабый звук
В туманной памяти остался.

Сначала думал я, что имя — серафим,
И тела легкого дичился,
Немного дней прошло, и я смешался с ним
И в милой тени растворился.

И снова яблоня теряет дикий плод,
И тайный образ мне мелькает,
И богохульствует, и сам себя клянет,
И угли ревности глотает.

А счастье катится, как обруч золотой,
Чужую волю исполняя,
И ты гоняешься за легкою весной,
Ладонью воздух рассекая.

И так устроено, что не выходим мы
Из заколдованного круга.
Земли девической упругие холмы
Лежат спеленутые туго.

1920

* * *

Люблю под сводами седыя тишины
Молебнов, панихид блужданье
И трогательный чин — ему же все должны, —
У Исаака отпеванье.

Люблю священника неторопливый шаг,
Широкий вынос плащаницы
И в ветхом неводе Генисаретский мрак
Великопостныя седмицы.

Ветхозаветный дым на теплых алтарях
И иерея возглас сирый,
Смиренник царственный — снег чистый на плечах
И одичалые порфиры.

Соборы вечные Софии и Петра,
Амбары воздуха и света,
Зернохранилища вселенского добра
И риги Нового Завета.

Не к вам влечется дух в годины тяжких бед,
Сюда влачится по ступеням
Широкопасмурным несчастья волчий след,
Ему ж вовеки не изменим:

Зане свободен раб, преодолевший страх,
И сохранилось свыше меры
В прохладных житницах в глубоких закромах
Зерно глубокой, полной веры.

1921, 1922

Стихи 1921—1925 годов

КОНЦЕРТ НА ВОКЗАЛЕ

Нельзя дышать, и твердь кишит червями,
И ни одна звезда не говорит,
Но, видит Бог, есть музыка над нами,
Дрожит вокзал от пенья Аонид,
И снова,паровозными свистками
Разорванный,скрипичный воздух слит.

Огромный парк. Вокзала шар,стеклянный.
Железный мир опять заворожен.
На звучный пир в элизиум туманный
Торжественно уносится вагон:
Павлиний крик и рокот фортепьянный.
Я опоздал. Мне страшно. Это—сон.

И я вхожу в стеклянный лес вокзала,
Скрипичный строй в смятеньи и слезах.
Ночного хора дикое начало
И запах роз в гниющих парниках—
Где под стеклянным небом ночевала
Родная тень в кочующих толпах...

И мнится мне: весь в музыке и пене,
Железный мир так нищенски дрожит.
В стеклянные я упираюсь сени.
Горячий пар зрачки смычков слепит.
Куда же ты? На тризне милой тени
В последний раз нам музыка звучит!

1921

* * *

Умывался ночью на дворе.
Твердь сияла грубыми звездами.
Звездный луч — как соль на топоре.
Стынет бочка с полными краями.

На замок закрыты ворота,
И земля по совести сурова.
Чище правды свежего холста
Вряд ли где отыщется основа.

Тает в бочке, словно соль, звезда,
И вода студеная чернее.
Чище смерть, соленее беда,
И земля правдивей и страшнее.

1921

* * *

Кому зима — арак и пунш голубоглазый,
Кому душистое с корицею вино,
Кому жестоких звезд соленые приказы
В избушку дымную перенести дано.

Немного теплого куриного помета
И бестолкового овечьего тепла;
Я все отдам за жизнь — мне там нужна забота,—
И спичка серная меня б согреть могла.

Взгляни: в моей руке лишь глиняная крынка,
И верещанье звезд щекочет слабый слух,
Но желтизну травы и теплоту суглинка
Нельзя не полюбить сквозь этот жалкий пух.

Тихонько гладить шерсть и ворошить солому,
Как яблоня зимой, в рогоже голодать,
Тянуться с нежностью бессмысленно к чужому,
И шарить в пустоте, и терпеливо ждать.

Пусть заговорщики торопятся по снегу
Отарою овец и хрупкий наст скрипит,
Кому зима — полынь и горький дым к ночлегу,
Кому — крутая соль торжественных обид.

О, если бы поднять фонарь на длинной палке,
С собакой впереди идти под солью звезд
И с петухом в горшке прийти на двор к гадалке.
А белый, белый снег до боли очи ест.

1922

* * *

С розовой пеной усталости у мягких губ
Яростно волны зеленые роет бык,
Фыркает, гребли не любит — женолюб,
Ноша хребту непривычна, и труд велик.

Изредка выскочит дельфина колесо
Да повстречается морской колючий еж,
Нежные руки Европы,— берите все!
Где ты для выи желанней ярмо найдешь?

Горько внимает Европа могучий плеск,
Тучное море кругом закипает в ключ,
Видно, страшит ее вод маслянистый блеск
И соскользнуть бы хотелось с шершавых круч.

О, сколько раз ей милее уключин скрип,
Лоном широкая палуба, гурт овец
И за высокой кормою мелькание рыб,—
С нею безвесельный дальше плывет гребец!

1922

* * *

Холодок щекочет темя,
И нельзя признаться вдруг,—
И меня срезает время,
Как скосило твой каблук.

Жизнь себя перемогает,
Понемногу тает звук,
Все чего-то не хватает,
Что-то вспомнить недосуг.

А ведь раньше лучше было,
И, пожалуй, не сравнишь,
Как ты прежде шелестила,
Кровь, как нынче шелестишь.

Видно, даром не проходит
Шевеленье этих губ,
И вершина колобродит,
Обреченная на сруб.

1922

* * *

Как растет хлебов опара,
Поначалу хороша,
И беснуется от жару
Домовитая душа.

Словно хлебные Софии
С херувимского стола
Круглым жаром налитые
Подымают купола.

Чтобы силой или лаской
Чудный выманить припек,
Время — царственный подпасок —
Ловит слово-колобок.

И свое находит место
Черствый пасынок веков —
Усыхающий довесок
Прежде вынутых хлебов.

1922

* * *

Я не знаю, с каких пор
Эта песенка началась,—
Не по ней ли шуршит вор,
Комариный звенит князь?

Я хотел бы ни о чем
Еще раз поговорить,
Прошуршать спичкой, плечом
Растолкать ночь, разбудить;

Раскидать бы за стогом стог,
Шапку воздуха, что томит;
Распороть, разорвать мешок,
В котором тмин зашит.

Чтобы розовой крови связь,
Этих сухоньких трав звон,
Уворованная нашлась
Через век, сеновал, сон.

1922

* * *

Я по лесенке приставной
Лез на всклоченный сеновал,—
Я дышал звезд млечных трухой,
Колтуном пространства дышал.

И подумал: зачем будить
Удлиненных звучаний рой,
В этой вечной склоке ловить
Эолийский чудесный строй?

Звезд в ковше медведицы семь.
Добрых чувств на земле пять.
Набухает, звенит темь
И растет и звенит опять.

Распряженный огромный воз
Поперек вселенной торчит.
Сеновала древний хаос
Защекочет, запорошит...

Не своей чешуей шуршим,
Против шерсти мира поем.
Лиру строим, словно спешим
Обрасти косматым руном.

Из гнезда упавших щеглов
Косари приносят назад,—
Из горящих вырвусь рядов
И вернусь в родной звукоряд.

Чтобы розовой крови связь
И травы сухорукий звон
Распростились: одна — скрепясь,
А другая — в заумный сон.

1922

* * *

Ветер нам утешенье принес,
И в лазури почуяли мы
Ассирийские крылья стрекоз,
Переборы коленчатой тьмы.

И военной грозой потемнел
Нижний слой помраченных небес,
Шестируких летающих тел
Слюдяной перепончатый лес.

Есть в лазури слепой уголок,
И в блаженные полдни всегда,
Как сгустившейся ночи намек,
Роковая трепещет звезда.

И, с трудом пробиваясь вперед,
В чешуе искалеченных крыл
Под высокую руку берет
Побежденную твердь Азраил.

1922

МОСКОВСКИЙ ДОЖДИК

Он подает куда как скупо
Свой воробьиный холодок —
Немного нам, немного купам,
Немного вишням на лоток.

И в темноте растет кипенье —
Чаинок легкая возня,
Как бы воздушный муравейник
Пирует в темных зеленях.

Из свежих капель виноградник
Зашевелился в мураве:
Как будто холода рассадник
Открылся в лапчатой Москве!

1922

ВЕК

Век мой, зверь мой, кто сумеет
Заглянуть в твои зрачки
И своею кровью склеит
Двух столетий позвонки?
Кровь-строительница хлещет
Горлом из земных вещей,
Захребетник лишь трепещет
На пороге новых дней.

Тварь, покуда жизнь хватает,
Донести хребет должна,
И невидимым играет
Позвоночником волна.
Словно нежный хрящ ребенка
Век младенческой земли —
Снова в жертву, как ягненка,
Темя жизни принесли.

Чтобы вырвать век из плена,
Чтобы новый мир начать,
Узловатых дней колена
Нужно флейтою связать.
Это век волну колышет
Человеческой тоской,
И в траве гадюка дышит
Мерой века золотой.

И еще набухнут почки,
Брызнет зелени побег,

Но разбит твой позвоночник,
Мой прекрасный жалкий век!
И с бессмысленной улыбкой
Вспять глядишь, жесток и слаб,
Словно зверь, когда-то гибкий,
На следы своих же лап.

Кровь-строительница хлещет
Горлом из земных вещей,
И горячей рыбой плещет
В берег теплый хрящ морей.
И с высокой сетки птичьей,
От лазурных влажных глыб
Льется, льется безразличье
На смертельный твой ушиб.

1922

НАШЕДШИЙ ПОДКОВУ

(Пиндарический отрывок)

Глядим на лес и говорим:
— Вот лес корабельный, мачтовый,
Розовые сосны,
До самой верхушки свободные от мохнатой ноши,
Им бы поскрипывать в бурю,
Одинокими пиниями,
В разъяренном безлесном воздухе;
Под соленою пятою ветра устоит отвес,
пригнанный к пляшущей палубе,
И мореплаватель,
В необузданной жажде пространства,
Влача через влажные рытвины
Хрупкий прибор геометра,
Сличит с притяженьем земного лона
Шероховатую поверхность морей.

А вдыхая запах
Смолистых слез, проступивших сквозь обшивку корабля,
Любуясь на доски,
Заклепанные, слаженные в переборки
Не вифлеемским мирным плотником, а другим —
Отцом путешествий, другом морехода,—

Говорим:
— И они стояли на земле,
Неудобной, как хребет осла,
Забывая верхушками о корнях
На знаменитом горном кряже,
И шумели под пресным ливнем,
Безуспешно предлагая небу выменять на щепотку соли
Свой благородный груз.

С чего начать?
Все трещит и качается.
Воздух дрожит от сравнений.
Ни одно слово не лучше другого,
Земля гудит метафорой,
И легкие двуколки
В броской упряжи густых от натуги птичьих стай
Разрываются на части,
Соперничая с храпящими любимцами ристалищ.

Трижды блажен, кто введет в песнь имя;
Украшенная названьем песнь
Дольше живет среди других —
Она отмечена среди подруг повязкой на лбу,
Исцеляющей от беспамятства, слишком сильного одуряющего запаха —
Будь то близость мужчины,
Или запах шерсти сильного зверя,
Или просто дух чобра, растертого между ладоней.

Воздух бывает темным, как вода, и все живое в нем плавает, как рыба,
Плавниками расталкивая сферу,
Плотную, упругую, чуть нагретую,—
Хрусталь, в котором движутся колеса и шарахаются лошади,
Влажный чернозем Нееры, каждую ночь распаханный заново
Вилами, трезубцами, мотыгами, плугами.
Воздух замешен так же густо, как земля,—
Из него нельзя выйти, в него трудно войти.

Шорох пробегает по деревьям зеленой лаптой,
Дети играют в бабки позвонками умерших животных.
Хрупкое летоисчисление нашей эры подходит к концу.
Спасибо за то, что было:
Я сам ошибся, я сбился, запутался в счете.

Эра звенела, как шар золотой,
Полая, литая, никем не поддерживаемая,
На всякое прикосновение отвечала «да» и «нет».
Так ребенок отвечает:
«Я дам тебе яблоко» — или: «Я не дам тебе яблоко».
И лицо его — точный слепок с голоса, который произносит эти
слова.

Звук еще звенит, хотя причина звука исчезла.
Конь лежит в пыли и храпит в мыле,
Но крутой поворот его шеи
Еще сохраняет воспоминание о беге с разбросанными ногами,—
Когда их было не четыре,
А по числу камней дороги,
Обновляемых в четыре смены,
По числу отталкиваний от земли
Пышущего жаром иноходца.

Так
Нашедший подкову
Сдувает с нее пыль
И растирает ее шерстью, пока она не заблестит;
Тогда
Он вешает ее на пороге,
Чтобы она отдохнула,
И больше уж ей не придется высекать искры из кремня.

Человеческие губы,
которым больше нечего сказать,
Сохраняют форму последнего сказанного слова,
И в руке остается ощущение тяжести,
Хотя кувшин
наполовину расплескался,
пока его несли домой.

То, что я сейчас говорю, говорю не я,
А вырыто из земли, подобно зернам окаменелой пшеницы.
Одни
на монетах изображают льва,
Другие —
голову.
Разнообразные медные, золотые и бронзовые лепешки

С одинаковой почестью лежат в земле,
Век, пробуя их перегрызть, оттиснул на них свои зубы.
Время срезает меня, как монету,
И мне уж не хватает меня самого...

1923

ГРИФЕЛЬНАЯ ОДА

Мы только с голоса поймем,
Что там царапалось, боролось...

Звезда с звездой — могучий стык,
Кремнистый путь из старой песни,
Кремня и воздуха язык,
Кремень с водой, с подковой перстень.
На мягком сланце облаков
Молочный грифельный рисунок —
Не ученичество миров,
А бред овечьих полусонок.

Мы стоя спим в густой ночи
Под теплой шапкою овечьей.
Обратно в крепь родник журчит
Цепочкой, пеночкой и речью.
Здесь пишет страх, здесь пишет сдвиг
Свинцовой палочкой молочной,
Здесь созревает черновик
Учеников воды проточной.

Крутые козьи города,
Кремней могучее слоенье;
И все-таки еще гряда —
Овечьи церкви и селенья!
Им проповедует отвес,
Вода их учит, точит время,
И воздуха прозрачный лес
Уже давно пресыщен всеми.

Как мертвый шершень возле сот,
День пестрый выметен с позором.
И ночь-коршунница несет
Горящий мел и грифель кормит.

С иконоборческой доски
Стереть дневные впечатленья
И, как птенца, стряхнуть с руки
Уже прозрачные виденья!

Плод нарывал. Зрел виноград.
День бушевал, как день бушует.
И в бабки нежная игра,
И в полдень злых овчарок шубы.
Как мусор с ледяных высот —
Изнанка образов зеленых —
Вода голодная течет,
Крутясь, играя, как звереныш.

И как паук ползет ко мне —
Где каждый стык луной обрызган,
На изумленной крутизне
Я слышу грифельные визги.
Ломаю ночь, горящий мел,
Для твердой записи мгновенной.
Меняю шум на пенье стрел,
Меняю строй на стрепет гневный.

Кто я? Не каменщик прямой,
Не кровельщик, не корабельщик,—
Двурушник я, с двойной душой,
Я ночи друг, я дня застрельщик.
Блажен, кто называл кремень
Учеником воды проточной.
Блажен, кто завязал ремень
Подошве гор на твердой почве.

И я теперь учу дневник
Царапин грифельного лета,
Кремня и воздуха язык,
С прослойкой тьмы, с прослойкой света;
И я хочу вложить персты
В кремнистый путь из старой песни,
Как в язву, заключая в стык —
Кремень с водой, с подковой перстень.

1923, 1937

ПАРИЖ

Язык булыжника мне голубя понятней,
Здесь камни — голуби, дома — как голубятни,
И светлым ручейком течет рассказ подков
По звучным мостовым прабабки городов.

Здесь толпы детские — событий попрошайки,
Парижских воробьев испуганные стайки,
Клевали наскоро крупу свинцовых крох —
Фригийской бабушкой рассыпанный горох.
И в памяти живет плетеная корзинка,
И в воздухе плывет забытая коринка,
И тесные дома — зубов молочных ряд
На деснах старческих, как близнецы, стоят.

Здесь клички месяцам давали, как котятам,
И молоко и кровь давали нежным львятам;
А подрастут они — то разве года два
Держалась на плечах большая голова!
Большеголовые там руки подымали
И клятвой на песке, как яблоком, играли...

Мне трудно говорить — не видел ничего,
Но все-таки скажу: я помню одного,—
Он лапу поднимал, как огненную розу,
И, как ребенок, всем показывал занозу,
Его не слушали: смеялись кучера,
И грызла яблоки, с шарманкой, детвора.
Афиши клеили, и ставили капканы,
И пели песенки, и жарили каштаны,
И светлой улицей, как просекой прямой,
Летели лошади из зелени густой!

1923

* * *

Как тельце маленькое крылышком
По солнцу всклянь перевернулось
И зажигательное стеклышко
На эмпирее загорелось.

Как комариная безделица
В зените ныла и звенела
И под сурдинку пеньем жужелиц
В лазури мучилась заноза:

— Не забывай меня, казни меня,
Но дай мне имя, дай мне имя!
Мне будет легче с ним, пойми меня,
В беременной глубокой сини.

1923

1 ЯНВАРЯ 1924

Кто время целовал в измученное темя,—
С сыновьей нежностью потом
Он будет вспоминать, как спать ложилось время
В сугроб пшеничный за окном.
Кто веку поднимал болезненные веки —
Два сонных яблока больших,—
Он слышит вечно шум — когда взревели реки
Времен обманных и глухих.

Два сонных яблока у века-властелина
И глиняный прекрасный рот,
Но к млеющей руке стареющего сына
Он, умирая, припадет.
Я знаю, с каждым днем слабеет жизни выдох,
Еще немного — оборвут
Простую песенку о глиняных обидах
И губы оловом зальют.

О, глиняная жизнь! О, умиранье века!
Боюсь, лишь тот поймет тебя,
В ком беспомóщная улыбка человека,
Который потерял себя.
Какая боль — искать потерянное слово,
Больные веки поднимать
И с известью в крови для племени чужого
Ночные травы собирать.

Век. Известковый слой в крови больного сына
Твердеет. Спит Москва, как деревянный ларь,
И некуда бежать от века-властелина...
Снег пахнет яблоком, как встарь.

Мне хочется бежать от моего порога.
Куда? На улице темно,
И, словно сыплют соль мощеною дорогой,
Белеет совесть предо мной.

По переулочкам, скворешням и застрехам,
Недалеко, собравшись как-нибудь,—
Я, рядовой седок, укрывшись рыбьим мехом,
Все силюсь полость застегнуть.
Мелькает улица, другая,
И яблоком хрустит саней морозный звук,
Не поддается петелька тугая,
Все время валится из рук.

Каким железным скобяным товаром
Ночь зимняя гремит по улицам Москвы,
То мерзлой рыбою стучит, то хлещет паром
Из чайных розовых — как серебром плотвы.
Москва — опять Москва. Я говорю ей: здравствуй!
Не обессудь, теперь уж не беда,
По старине я принимаю братство
Мороза крепкого и щучьего суда.

Пылает на снегу аптечная малина,
И где-то щелкнул ундервуд,
Спина извозчика и снег на пол-аршина:
Чего тебе еще? Не тронут, не убьют.
Зима-красавица, и в звездах небо козье
Рассыпалось и молоком горит,
И конским волосом о мерзлые полозья
Вся полость трется и звенит.

А переулочки коптили керосинкой,
Глотали снег, малину, лед,
Все шелушиться им советской сонатинкой,
Двадцатый вспоминая год.
Ужели я предам позорному злословью —
Вновь пахнет яблоком мороз —
Присягу чудную четвертому сословью
И клятвы крупные до слез?

Кого еще убьешь? Кого еще прославишь?
Какую выдумаешь ложь?

То ундервуда хрящ: скорее вырви клавиш —
И щучью косточку найдешь;
И известковый слой в крови больного сына
Растает, и блаженный брызнет смех...
Но пишущих машин простая сонатина —
Лишь тень сонат могучих тех.

1924, 1937

* * *

Нет, никогда, ничей я не был современник,
Мне не с руки почет такой.
О, как противен мне какой-то соименник,
То был не я, то был другой.

Два сонных яблока у века-властелина
И глиняный прекрасный рот,
Но к млеющей руке стареющего сына
Он, умирая, припадет.

Я с веком поднимал болезненные веки —
Два сонных яблока больших,
И мне гремучие рассказывали реки
Ход воспаленных тяжб людских.

Сто лет тому назад подушками белела
Складная легкая постель,
И странно вытянулось глиняное тело,—
Кончался века первый хмель.

Среди скрипучего похода мирового —
Какая легкая кровать!
Ну что же, если нам не выковать другого,
Давайте с веком вековать.

И в жаркой комнате, в кибитке и в палатке
Век умирает,— а потом
Два сонных яблока на роговой облатке
Сияют перистым огнем.

1924

* * *

Вы, с квадратными окошками
Невысокие дома,—
Здравствуй, здравствуй, петербургская
Несуровая зима.

И торчат, как щуки, ребрами
Незамерзшие катки,
И еще в прихожих слепеньких
Валяются коньки.

А давно ли по каналу плыл
С красным обжигом гончар,
Продавал с гранитной лесенки
Добросовестный товар?

Ходят боты, ходят серые
У Гостиного двора,
И сама собой сдирается
С мандаринов кожура;

И в мешочке кофий жареный,
Прямо с холоду — домой:
Электрическою мельницей
Смолот мокко золотой.

Шоколадные, кирпичные
Невысокие дома,—
Здравствуй, здравствуй, петербургская
Несуровая зима!

И приемные с роялями,
Где, по креслам рассадив,
Доктора кого-то потчуют
Ворохами старых «Нив».

После бани, после оперы,
Все равно, куда ни шло,
Бестолковое, последнее
Трамвайное тепло...

1925

* * *

Сегодня ночью, не солгу,
По пояс в тающем снегу
Я шел с чужого полустанка.
Гляжу — изба, вошел в сенцы,
Чай с солью пили чернецы,
И с ними балует цыганка...

У изголовья вновь и вновь
Цыганка вскидывает бровь,
И разговор ее был жалок:
Она сидела до зари
И говорила: — Подари
Хоть шаль, хоть что, хоть полушалок...

Того, что было, не вернешь.
Дубовый стол, в солонке нож
И вместо хлеба — еж брюхатый;
Хотели петь — и не смогли,
Хотели встать — дугой пошли
Через окно на двор горбатый.

И вот — проходит полчаса,
И гарнцы черного овса
Жуют, похрустывая, кони;
Скрипят ворота на заре,
И запрягают на дворе;
Теплеют медленно ладони.

Холщовый сумрак поредел.
С водою разведенный мел,
Хоть даром, скука разливает,
И сквозь прозрачное рядно
Молочный день глядит в окно
И золотушный грач мелькает.

1925

* * *

Жизнь упала, как зарница,
Как в стакан воды ресница.
Изолгавшись на корню,
Никого я не виню...

Хочешь яблока ночного,
Сбитню свежего, крутого,
Хочешь, валенки сниму,
Как пушинку подниму.

Ангел в светлой паутине
В золотой стоит овчине,
Свет фонарного луча —
До высокого плеча.

Разве кошка, встрепенувшись,
Черным зайцем обернувшись,
Вдруг простегивает путь,
Исчезая где-нибудь...

Как дрожала губ малина,
Как поила чаем сына,
Говорила наугад,
Ни к чему и невпопад.

Как нечаянно запнулась,
Изолгалась, улыбнулась —
Так, что вспыхнули черты
Неуклюжей красоты.

Есть за куколем дворцовым
И за кипенем садовым
Заресничная страна,—
Там ты будешь мне жена.

Выбрав валенки сухие
И тулупы золотые,
Взявшись за руки, вдвоем
Той же улицей пойдем,

Без оглядки, без помехи
На сияющие вехи —
От зари и до зари
Налитые фонари.

1925

«ИЗ ТАБОРА УЛИЦЫ ТЕМНОЙ...»

Я буду метаться по табору улицы темной
За веткой черемухи в черной рессорной карете,
За капором снега, за вечным за мельничным шумом...

Я только запомнил каштановых прядей осечки,
Придымленных горечью — нет, с муравьиной кислинкой,
От них на губах остается янтарная сухость.

В такие минуты и воздух мне кажется карим,
И кольца зрачков одеваются выпушкой светлой;
И то, что я знаю о яблочной розовой коже...

Но все же скрипели извозчичьих санок полозья,
В плетенку рогожи глядели колючие звезды,
И били вразрядку копыта по клавишам мерзлым.

И только и свету — что в звездной колючей неправде,
А жизнь проплывет театрального капора пеной;
И некому молвить: «из табора улицы темной...»

1925

Новые стихи 1930-1937

Московские стихи

* * *

Куда как страшно нам с тобой,
Товарищ большеротый мой!

Ох, как крошится наш табак,
Щелкунчик, дружок, дурак!

А мог бы жизнь просвистать скворцом,
Заесть ореховым пирогом,

Да, видно, нельзя никак...

Октябрь 1930

* * *

Как бык шестикрылый и грозный,
Здесь людям является труд
И, кровью набухнув венозной,
Предзимние розы цветут...

Октябрь 1930

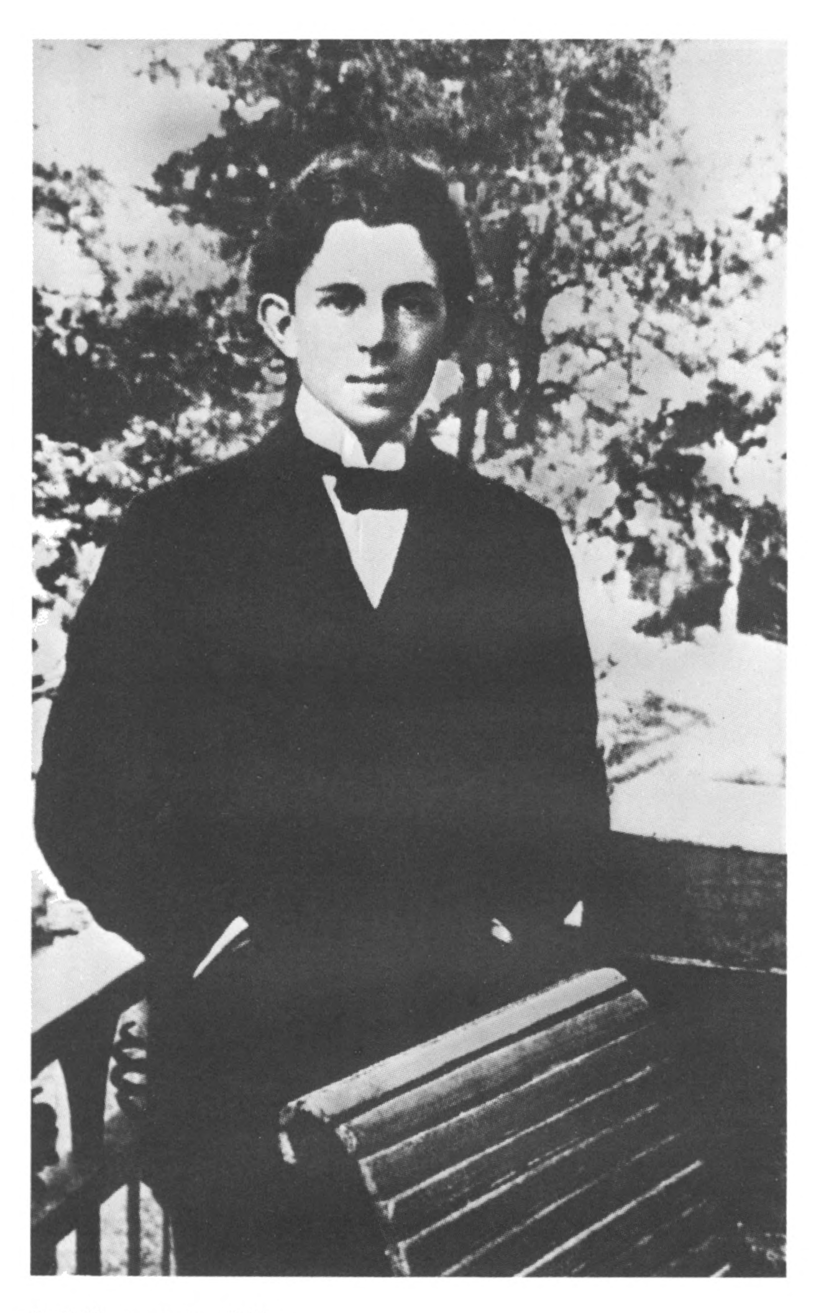
АРМЕНИЯ

1

Ты розу Гафиза колышешь
И нянчишь зверушек-детей,
Плечьми осьмигранными дышишь
Мужицких бычачьих церквей.



О. Э. Мандельштам. 1908 г.
(Архив А. Э. Мандельштама)



О. Э. Мандельштам. 1910 г.





Обложка первого издания книги «Камень» (1913)

Титульный лист журнала «Аполлон», в котором впервые были напечатаны стихи О. Э. Мандельштама

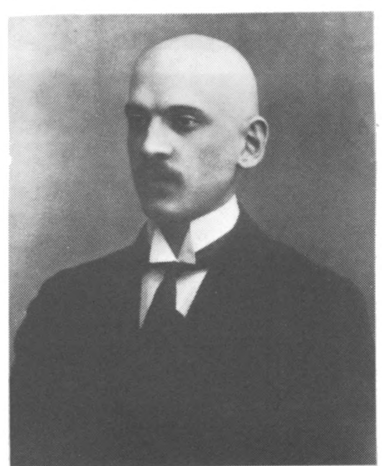


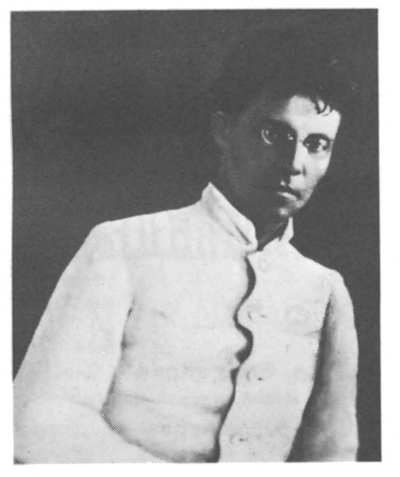
Обложка третьего издания книги «Камень» (1923), работы А. Родченко



А. А. Ахматова. 1910-е годы







Н. С. Гумилев и С. М. Городецкий. 1910-е годы

В. И. Нарбут. 1910-е годы

М. А. Зенкевич. 1922 г.
(Собрание В. В. Лаврова)

ІСЕРВАТОРІИ

Воскресенье, 26-го сентября

ЕДИНСТВЕННЫЙ ВЕЧЕРЪ ПОЭТОВЪ

О. МАНДЕЛЬШТАМА

и

И. ЭРЕНБУРГА

I. **Гр. Робакидзе** — Слово о новой русской поэзіи.

II. **И. Эренбургъ**—Искусство и новая эра.

Стихи изъ книгъ: „Огонь" и „Новыя Зори"

III **О. Мандельштамъ**—Стихи изъ книги „Камень" и новые стихи.

IV. **Н. Н. ХОДОТОВЪ**—Стихи О. Мандельштама и И. Эренбурга.

Объявление в газете «Грузия» о вечере О. Мандельштама и И. Эренбурга в Тифлисе 26 сентября 1920 г.

Р. Ивнев и О. Мандельштам. Харьков, 1919 г. (Архив А. Э. Мандельштама)



Н. Я. Мандельштам. Середина 20-х годов

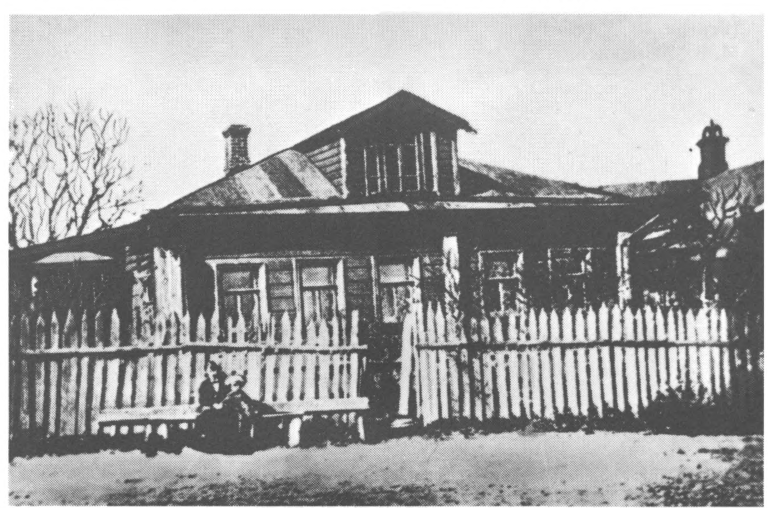


Силуэт О. Мандельштама работы Э. Кругликовой

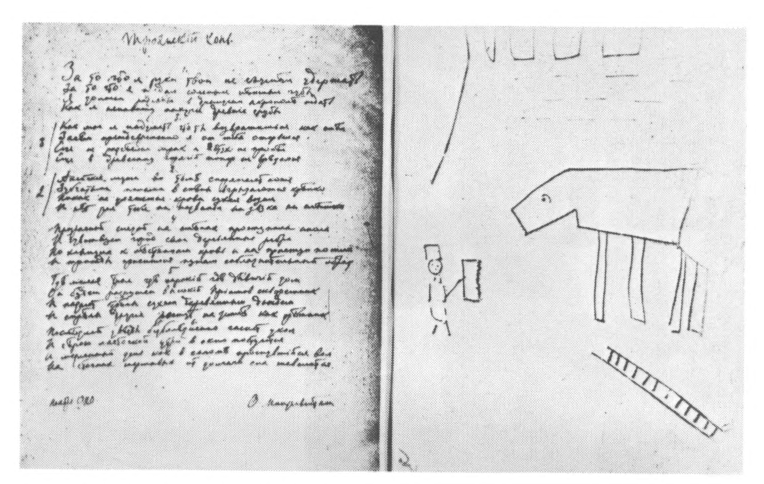
О. Мандельштам. 1915 г. *Рисунок П. В. Митурича* (Государственный Русский музей)



Марина Цветаева. Коктебель, 1910-е годы



Дом в г. Александрове, где в 1916 г. жила М. Цветаева



Автограф стихотворения «За то, что я руки твои не сумел удержать...» и рисунок О. Э. Мандельштама из рукописного журнала «Новый Гиперборей», 1921, № 1



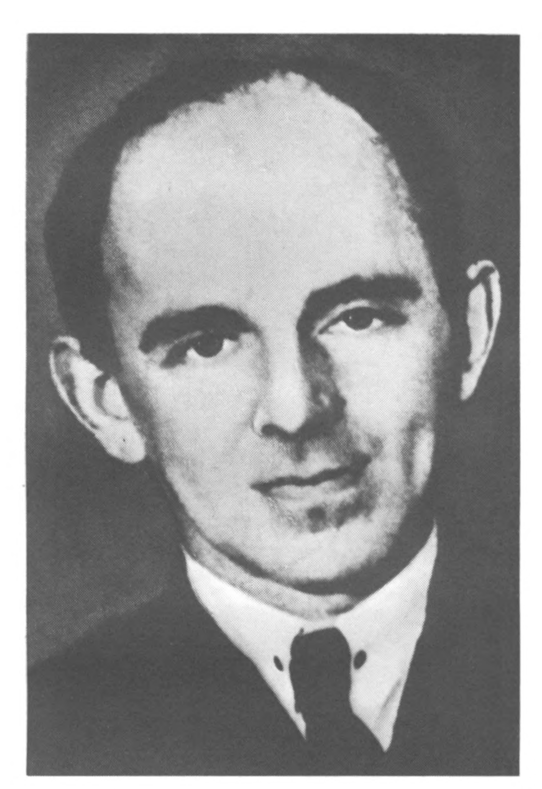
Обложка книги «Tristia» (Берлин, 1922) работы М. В. Добужинского





О. Н. Арбенина-Гильденбрандт. *Фотография М. Наппельбаума*

О. А. Ваксель (Собрание А. А. Смольевского)



О. Мандельштам.
1923 г. *Фотография*
М. Наппельбаума



Г. Чулков, М. Петровых, А. Ахматова и О. Мандельштам. 1933 г.

Мастерица виноватых взоров,
Маленьких держательница плеч,
Усмирен мужской опасный норов,
Не звучит утопленница-речь.

Ходят рыбы, рдея плавниками,
Раздувая жабры: на, возьми!
Их, бесшумно охающих ртами,
Полухлебом плоти накорми.

Мы не рыбы красно-золотые,
Наш обычай сестринский таков:
В теплом теле ребрышки худые
И напрасный влажный блеск зрачков.

Маком бровки мечен путь опасный...
Что же мне, как янычару, люб
Этот крошечный, летуче-красный,
Этот жалкий полумесяц губ...

Не серчай, турчанка дорогая:
Я с тобой в глухой мешок зашьюсь,
Твои речи темные глотая,
За тебя кривой воды напьюсь.

Ты, Мария — гибнущим подмога,
Надо смерть предупредить — уснуть.
Я стою у твердого порога.
Уходи, уйди, еще побудь.

13–14/II

М.

Автограф стихотворения «Мастерица виноватых взоров...» (1934)
(Собрание А. В. Головачевой)



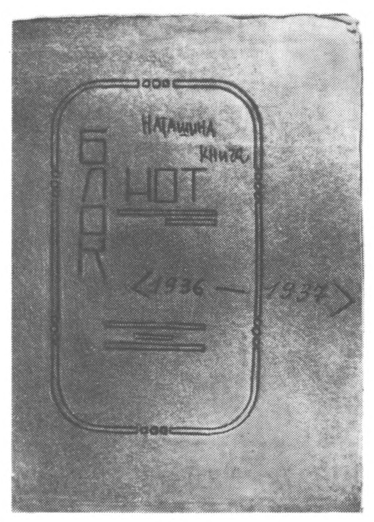
О. Мандельштам. Воронеж, 1935 г.





Воронеж, здание издательства «Коммуна» на проспекте Революции

Воронеж, д. 2 по ул. Линейной (ныне ул. Швейников), где жил О. Мандельштам. *Фотография В. Гордина*





Обложка «Наташиной книги» — блокнота, в который О. Э. и Н. Я. Мандельштам переписали для Н. Штемпель стихи 30-х годов (Архив О. Э. Мандельштама)

Автограф стихотворения «К пустой земле невольно припадая...» (1937) (Архив О. Э. Мандельштама)

Н. Е. Штемпель. Середина 1980-х годов. ***Фотография В. Гордина***

Окрашена охрою хриплой,
Ты вся далеко за горой,
А здесь лишь картинка налипла
Из чайного блюдца с водой.

2

Ты красок себе пожелала —
И выхватил лапой своей
Рисующий лев из пенала
С полдюжины карандашей.

Страна москательных пожаров
И мертвых гончарных равнин,
Ты рыжебородых сардаров
Терпела средь камней и глин.

Вдали якорей и трезубцев,
Где жухлый почил материк,
Ты видела всех жизнелюбцев,
Всех казнелюбивых владык.

И, крови моей не волнуя,
Как детский рисунок просты,
Здесь жены проходят, даруя
От львиной своей красоты.

Как люб мне язык твой зловещий,
Твои молодые гроба,
Где буквы — кузнечные клещи
И каждое слово — скоба...

3

Ах, ничего я не вижу, и бедное ухо оглохло,
Всех-то цветов мне осталось лишь сурик да хриплая охра.

И почему-то мне начало утро армянское сниться;
Думал — возьму посмотрю, как живет в Эривани синица,

Как нагибается булочник, с хлебом играющий в жмурки,
Из очага вынимает лавашные влажные шкурки...

Ах, Эривань, Эривань! Иль птица тебя рисовала,
Или раскрашивал лев, как дитя, из цветного пенала?

Ах, Эривань, Эривань! Не город — орешек каленый,
Улиц твоих большеротых кривые люблю вавилоны.

Я бестолковую жизнь, как мулла свой коран, замусолил,
Время свое заморозил и крови горячей не пролил.

Ах, Эривань, Эривань, ничего мне больше не надо,
Я не хочу твоего замороженного винограда!

4

Закутав рот, как влажную розу,
Держа в руках осьмигранные соты,
Все утро дней на окраине мира
Ты простояла, глотая слезы.

И отвернулась со стыдом и скорбью
От городов бородатых востока;
И вот лежишь на москательном ложе
И с тебя снимают посмертную маску.

5

Руку платком обмотай и в венценосный шиповник,
В самую гущу его целлулоидных терний
Смело, до хруста, ее погрузи. Добудем розу без ножниц.
Но смотри, чтобы он не осыпался сразу —
Розовый мусор — муслин — лепесток соломоновый —
И для шербета негодный дичок, не дающий ни масла, ни запаха.

6

Орущих камней государство —
Армения, Армения!
Хриплые горы к оружью зовущая —
Армения, Армения!

3.

Орущих камней государство —
Армения Армения
Хриплые горы к оружью зовущая
Армения Армения
К трубам серебряным Азии вечно летящая
Армения Армения
Солнца персидские деньги щедро раздаривающая
Армения Армения

Автограф стихотворения
«Орущих камней государство...» (Архив О. Э. Мандельштама)

К трубам серебряным Азии вечно летящая —
Армения Армения!
Солнца персидские деньги щедро раздаривающая —
Армения, Армения!

7

Не развалины — нет, — но порубка могучего циркульного леса,
Якорные пни поваленных дубов звериного и басенного
христианства,
Рулоны каменного сукна на капителях, как товар из языческой
разграбленной лавки,
Виноградины с голубиное яйцо, завитки бараньих рогов
И нахохленные орлы с совиными крыльями, еще
не оскверненные Византией.

8

Холодно розе в снегу:
На Севане снег в три аршина...
Вытащил горный рыбак расписные лазурные сани,
Сытых форелей усатые морды
Несут полицейскую службу
На известковом дне.

А в Эривани и в Эчмиадзине
Весь воздух выпила огромная гора,
Ее бы приманить какой-то окариной
Иль дудкой приручить, чтоб таял снег во рту.

Снега, снега, снега на рисовой бумаге,
Гора плывет к губам.
Мне холодно. Я рад...

9

О порфирные цокая граниты,
Спотыкается крестьянская лошадка,
Забираясь на лысый цоколь
Государственного звонкого камня.
А за нею с узелками сыра,

Еле дух переводя, бегут курдины,
Примирившие дьявола и бога,
Каждому воздавши половину...

10

Какая роскошь в нищенском селенье —
Волосяная музыка воды!
Что это? пряжа? звук? предупрежденье?
Чур-чур меня! Далеко ль до беды!
И в лабиринте влажного распева
Такая душная стрекочет мгла,
Как будто в гости водяная дева
К часовщику подземному пришла.

11

Я тебя никогда не увижу,
Близорукое армянское небо,
И уже не взгляну прищурясь
На дорожный шатер Арарата,
И уже никогда не раскрою
В библиотеке авторов гончарных
Прекрасной земли пустотелую книгу,
По которой учились первые люди.

12

Лазурь да глина, глина да лазурь,
Чего ж тебе еще? Скорей глаза сощурь,
Как близорукий шах над перстнем бирюзовым,
Над книгой звонких глин, над книжною землей,
Над гнойной книгою, над глиной дорогой,
Которой мучимся, как музыкой и словом.

16 октября — 5 ноября 1930 г.

* * *

Как люб мне натугой живущий,
Столетьем считающий год,
Рожающий, спящий, орущий,
К земле пригвожденный народ.

Твое пограничное ухо —
Все звуки ему хороши —
Желтуха, желтуха, желтуха
В проклятой горчичной глуши.

Октябрь 1930

* * *

Не говори никому,
Все, что ты видел, забудь —
Птицу, старуху, тюрьму
Или еще что-нибудь.

Или охватит тебя,
Только уста разомкнешь,
При наступлении дня
Мелкая хвойная дрожь.

Вспомнишь на даче осу,
Детский чернильный пенал
Или чернику в лесу,
Что никогда не сбирал.

Октябрь 1930

* * *

Колючая речь араратской долины,
Дикая кошка — армянская речь,
Хищный язык городов глинобитных,
Речь голодающих кирпичей.

А близорукое шахское небо —
Слепорожденная бирюза —
Все не прочтет пустотелую книгу
Черной кровью запекшихся глин.

Октябрь 1930

* * *

На полицейской бумаге верже
Ночь наглоталась колючих ершей —
Звезды живут, канцелярские птички,
Пишут и пишут свои раппортички.

Сколько бы им ни хотелось мигать,
Могут они заявленье подать,
И на мерцанье, писанье и тленье
Возобновляют всегда разрешенье.

Октябрь 1930

* * *

Дикая кошка — армянская речь —
Мучит меня и царапает ухо.
Хоть на постели горбатой прилечь:
О, лихорадка, о, злая моруха!

Падают вниз с потолка светляки,
Ползают мухи по липкой простыне,
И маршируют повзводно полки
Птиц голенастых по желтой равнине.

Страшен чиновник — лицо как тюфяк,
Нету его ни жалчей, ни нелепей,
Командированный — мать твою так! —
Без подорожной в армянские степи.

Пропадом ты пропади, говорят,
Сгинь ты навек, чтоб ни слуху, ни духу,—
Старый повытчик, награбив деньжат,
Бывший гвардеец, замыв оплеуху.

Грянет ли в двери знакомое:— Ба!
Ты ли, дружище,— какая издевка!
Долго ль еще нам ходить по гроба,
Как по грибы деревенская девка?..

Были мы люди, а стали людьё,
И суждено — по какому разряду? —
Нам роковое в груди колотье
Да эрзерумская кисть винограду.

Ноябрь 1930

* * *

И по-звериному воет людье,
И по-людски куролесит зверье.
Чудный чиновник без подорожной,
Командированный к тачке острожной,
Он Черномора пригубил питье
В кислой корчме на пути к Эрзеруму.

Ноябрь 1930

ЛЕНИНГРАД

Я вернулся в мой город, знакомый до слез,
До прожилок, до детских припухлых желез.

Ты вернулся сюда, так глотай же скорей
Рыбий жир ленинградских речных фонарей,

Узнавай же скорее декабрьский денек,
Где к зловещему дегтю подмешан желток.

Петербург! я еще не хочу умирать:
У тебя телефонов моих номера.

Петербург! У меня еще есть адреса,
По которым найду мертвецов голоса.

Я на лестнице черной живу, и в висок
Ударяет мне вырванный с мясом звонок,

И всю ночь напролет жду гостей дорогих,
Шевеля кандалами цепочек дверных.

Декабрь 1930

* * *

С миром державным я был лишь ребячески связан,
Устриц боялся и на гвардейцев смотрел исподлобья —
И ни крупицей души я ему не обязан,
Как я ни мучил себя по чужому подобью.

С важностью глупой, насупившись, в митре бобровой
Я не стоял под египетским портиком банка,
И над лимонной Невою под хруст сторублевый
Мне никогда, никогда не плясала цыганка.

Чуя грядущие казни, от рева событий мятежных
Я убежал к нереидам на Черное море,
И от красавиц тогдашних — от тех европеянок нежных —
Сколько я принял смущенья, надсады и горя!

Так отчего ж до сих пор этот город довлеет
Мыслям и чувствам моим по старинному праву?
Он от пожаров еще и морозов наглее —
Самолюбивый, проклятый, пустой, моложавый!

Не потому ль, что я видел на детской картинке
Лэди Годиву с распущенной рыжею гривой,
Я повторяю еще про себя под сурдинку:
— Лэди Годива, прощай... Я не помню, Годива...

Январь 1931

* * *

Мы с тобой на кухне посидим,
Сладко пахнет белый керосин;

Острый нож да хлеба каравай...
Хочешь, примус туго накачай,

А не то веревок собери
Завязать корзину до зари,

Чтобы нам уехать на вокзал,
Где бы нас никто не отыскал.

Январь 1931

* * *

Помоги, Господь, эту ночь прожить,
Я за жизнь боюсь, за твою рабу...
В Петербурге жить — словно спать в гробу.

Январь 1931

После полуночи сердце ворует
Прямо из рук запрещенную тишь.
Тихо живет — хорошо озорует,
Любишь — не любишь: ни с чем не сравнишь...

Любишь — не любишь, поймешь — не поймаешь.
Не потому ль, как подкидыш, молчишь,
Что пополуночи сердце пирует,
Взяв на прикус серебристую мышь?

Март 1931

* * *

Ночь на дворе. Барская лжа:
После меня хоть потоп.
Что же потом? Хрип горожан
И толкотня в гардероб.

Бал-маскарад. Век-волкодав.
Так затверди ж назубок:
Шапку в рукав, шапкой в рукав —
И да хранит тебя Бог.

Март 1931

* * *

Ma voia aigre et fausse...
*P. Verlain**

Я скажу тебе с последней
Прямотой:
Все лишь бредни — шерри-бренди, —
Ангел мой.

Там, где эллину сияла
Красота,
Мне из черных дыр зияла
Срамота.

* Мой голос пронзительный и фальшивый... *П. Верлен (фр.).*

Греки сбондили Елену
По волнам,
Ну, а мне — соленой пеной
По губам.

По губам меня помажет
Пустота,
Строгий кукиш мне покажет
Нищета.

Ой ли, так ли, дуй ли, вей ли —
Все равно;
Ангел Мэри, пей коктейли,
Дуй вино.

Я скажу тебе с последней
Прямотой:
Все лишь бредни — шерри-бренди,—
Ангел мой.

2 марта 1931

* * *

Колют ресницы. В груди прикипела слеза.
Чую без страху, что будет и будет гроза.
Кто-то чудной меня что-то торопит забыть.
Душно — и все-таки до смерти хочется жить.

С нар приподнявшись на первый раздавшийся звук,
Дико и сонно еще озираясь вокруг,
Так вот бушлатник шершавую песню поет
В час, как полоской заря над острогом встает.

2 марта 1931

* * *

За гремучую доблесть грядущих веков,
За высокое племя людей,—
Я лишился и чаши на пире отцов,
И веселья, и чести своей.

Мне на плечи кидается век-волкодав,
Но не волк я по крови своей:
Запихай меня лучше, как шапку, в рукав
Жаркой шубы сибирских степей...

Чтоб не видеть ни труса, ни хлипкой грязцы,
Ни кровавых костей в колесе;
Чтоб сияли всю ночь голубые песцы
Мне в своей первобытной красе.

Уведи меня в ночь, где течет Енисей
И сосна до звезды достает,
Потому что не волк я по крови своей
И меня только равный убьет.

17—18 марта 1931, конец 1935

* * *

Жил Александр Герцевич,
Еврейский музыкант,—
Он Шуберта наверчивал,
Как чистый бриллиант.

И всласть, с утра до вечера,
Заученную вхруст,
Одну сонату вечную
Играл он наизусть...

Что, Александр Герцевич,
На улице темно?
Брось, Александр Сердцевич,—
Чего там? Все равно!

Пускай там итальяночка,
Покуда снег хрустит,
На узеньких на саночках
За Шубертом летит:

Нам с музыкой-голубою
Не страшно умереть,
Там хоть вороньей шубою
На вешалке висеть...

Все, Александр Герцевич,
Заверчено давно.
Брось, Александр Скерцевич.
Чего там! Все равно!

27 марта 1931

* * *

Нет, не спрятаться мне от великой муры
За извозчичью спину — Москву,
Я трамвайная вишенка страшной поры
И не знаю, зачем я живу.

Мы с тобою поедем на «А» и на «Б»
Посмотреть, кто скорее умрет,
А она то сжимается, как воробей,
То растет, как воздушный пирог.

И едва успевает грозить из угла —
Ты как хочешь, а я не рискну!
У кого под перчаткой не хватит тепла,
Чтоб объездить всю курву Москву.

Апрель 1931

НЕПРАВДА

Я с дымящей лучиной вхожу
К шестипалой неправде в избу:
— Дай-ка я на тебя погляжу,
Ведь лежать мне в сосновом гробу.

А она мне соленых грибков
Вынимает в горшке из-под нар,
А она из ребячьих пупков
Подает мне горячий отвар.

— Захочу,— говорит,— дам еще...—
Ну, а я не дышу, сам не рад.
Шасть к порогу — куда там — в плечо
Уцепилась и тащит назад.

Вошь да глушь у нее, тишь да мша,—
Полуспаленка, полутюрьма...
— Ничего, хороша, хороша...
Я и сам ведь такой же, кума.

4 апреля 1931

* * *

Я пью за военные астры, за все, чем корили меня,
За барскую шубу, за астму, за желчь петербургского дня.

За музыку сосен савойских, Полей Елисейских бензин,
За розу в кабине рольс-ройса и масло парижских картин.

Я пью за бискайские волны, за сливок альпийских кувшин,
За рыжую спесь англичанок и дальних колоний хинин.

Я пью, но еще не придумал — из двух выбираю одно:
Веселое асти-спуманте иль папского замка вино.

11 апреля 1931

РОЯЛЬ

Как парламент, жующий фронду,
Вяло дышит огромный зал —
Не идет Гора на Жиронду,
И не крепнет сословий вал.

Оскорбленный и оскорбитель,
Не звучит рояль-Голиаф —
Звуколюбец, душемутитель,
Мирабо фортепьянных прав.

Разве руки мои — кувалды?
Десять пальцев — мой табунок!
И вскочил, отряхая фалды,
Мастер Генрих — конек-горбунок.
....
Чтобы в мире стало просторней,
Ради сложности мировой,
Не втирайте в клавиши корень
Сладковатой груши земной.

Чтоб смолою соната джина
Проступила из позвонков,
Нюренбергская есть пружина,
Выпрямляющая мертвецов.

16 апреля 1931

* * *

— Нет, не мигрень,— но подай карандашик ментоловый,—
Ни поволоки искусства, ни красок пространства веселого!

Жизнь начиналась в корыте картавою мокрою шопотью,
И продолжалась она керосиновой мягкою копотью.

Где-то на даче потом в лесном переплете шагреневом
Вдруг разгорелась она почему-то огромным пожаром
сиреневым...

— Нет, не мигрень, но подай карандашик ментоловый,—
Ни поволоки искусства, ни красок пространства веселого!

Дальше сквозь стекла цветные, сощурясь, мучительно вижу я:
Небо, как палица, грозное, земля, словно плешина, рыжая...

Дальше — еще не припомню — и дальше как будто оборвано:
Пахнет немного смолою да, кажется, тухлою ворванью...

— Нет, не мигрень, но холод пространства бесполого,
Свист разрываемой марли да рокот гитары карболовой!

23 апреля 1931

* * *

Сохрани мою речь навсегда за привкус несчастья и дыма,
За смолу кругового терпенья, за совестный деготь труда.
Как вода в новгородских колодцах должна быть черна и
сладима,
Чтобы в ней к Рождеству отразилась семью плавниками звезда.

И за это, отец мой, мой друг и помощник мой грубый,
Я — непризнанный брат, отщепенец в народной семье,—
Обещаю построить такие дремучие срубы,
Чтобы в них татарва опускала князей на бадье.

Лишь бы только любили меня эти мерзлые плахи —
Как прицелясь на смерть городки зашибают в саду,—
Я за это всю жизнь прохожу хоть в железной рубахе
И для казни петровской в лесу топорище найду.

3 мая 1931

КАНЦОНА

Неужели я увижу завтра —
Слева сердце бьется, слава, бейся! —
Вас, банкиры горного ландшафта,
Вас, держатели могучих акций гнейса?

Там зрачок профессорский орлиный,—
Египтологи и нумизматы —
Это птицы сумрачно-хохлатые
С жестким мясом и широкою грудиной.

То Зевес подкручивает с толком
Золотыми пальцами краснодеревца
Замечательные луковицы-стекла —
Прозорливцу дар от псалмопевца.

Он глядит в бинокль прекрасный Цейса —
Дорогой подарок царь-Давида,—
Замечает все морщины гнейсовые,
Где сосна иль деревушка-гнида.

Я покину край гипербореев,
Чтобы зреньем напитать судьбы развязку,
Я скажу «села́» начальнику евреев
За его малиновую ласку.

Край небритых гор еще неясен,
Мелколесья колется щетина,
И свежа, как вымытая басня,
До оскомины зеленая долина.

Я люблю военные бинокли
С ростовщическою силой зренья.
Две лишь краски в мире не поблекли:
В желтой — зависть, в красной — нетерпенье.

26 мая 1931

* * *

Полночь в Москве. Роскошно буддийское лето.
С дроботом мелким расходятся улицы в чоботах узких железных.
В черной оспе блаженствуют кольца бульваров...
Нет на Москву и ночью угомону,
Когда покой бежит из-под копыт...
Ты скажешь — где-то там на полигоне
Два клоуна засели — Бим и Бом,
И в ход пошли гребенки, молоточки,
То слышится гармоника губная,
То детское молочное пьянино:
— До-ре-ми-фа
И соль-фа-ми-ре-до.

Бывало, я, как помоложе, выйду
В проклеенном резиновом пальто
В широкую разлапицу бульваров,
Где спичечные ножки цыганочки в подоле бьются длинном,
Где арестованный медведь гуляет —
Самой природы вечный меньшевик.
И пахло до отказу лавровишней...
Куда же ты? Ни лавров нет, ни вишен...

Я подтяну бутылочную гирьку
Кухонных крупно скачущих часов.
Уж до чего шероховато время,
А все-таки люблю за хвост его ловить,
Ведь в беге собственном оно не виновато
Да, кажется, чуть-чуть жуликовато...

Чур, не просить, не жаловаться! Цыц!
Не хныкать —
для того ли разночинцы
Рассохлые топтали сапоги, чтоб я теперь их предал?
Мы умрем как пехотинцы,
Но не прославим ни хищи, ни поденщины, ни лжи.

Есть у нас паутинка шотландского старого пледа.
Ты меня им укроешь, как флагом военным, когда я умру.
Выпьем, дружок, за наше ячменное горе,
Выпьем до дна...

Из густо отработавших кино,
Убитые, как после хлороформа,
Выходят толпы — до чего они венозны,
И до чего им нужен кислород...

Пора вам знать, я тоже современник,
Я человек эпохи Москвошвея,—
Смотрите, как на мне топорщится пиджак,
Как я ступать и говорить умею!
Попробуйте меня от века оторвать,—
Ручаюсь вам — себе свернете шею!

Я говорю с эпохою, но разве
Душа у ней пеньковая и разве
Она у нас постыдно прижилась,
Как сморщенный зверек в тибетском храме:
Почешется и в цинковую ванну.
— Изобрази еще нам, Марь Иванна.
Пусть это оскорбительно — поймите:
Есть блуд труда и он у нас в крови.

Уже светает. Шумят сады зеленым телеграфом,
К Рембрандту входит в гости Рафаэль.
Он с Моцартом в Москве души не чает —
За карий глаз, за воробьиный хмель.
И словно пневматическую почту
Иль студенец медузы черноморской
Передают с квартиры на квартиру
Конвейером воздушным сквозняки,
Как майские студенты-шелапуты.

Май — 4 июня 1931

* * *

Еще далеко мне до патриарха,
Еще на мне полупочтенный возраст,
Еще меня ругают за глаза
На языке трамвайных перебранок,
В котором нет ни смысла, ни аза:
Такой-сякой! Ну что ж, я извиняюсь,
Но в глубине ничуть не изменяюсь.

Когда подумаешь, чем связан с миром,
То сам себе не веришь: ерунда!
Полночный ключик от чужой квартиры,
Да гривенник серебряный в кармане,
Да целлулоид фильмы воровской.

Я как щенок кидаюсь к телефону
На каждый истерический звонок.
В нем слышно польское: «дзенкую, пане»,
Иногородний ласковый упрек
Иль неисполненное обещанье.

Все думаешь, к чему бы приохотиться
Посереди хлопушек и шутих,—
Перекипишь, а там, гляди, останется
Одна сумятица и безработица:
Пожалуйста, прикуривай у них!

То усмехнусь, то робко приосанюсь
И с белорукой тростью выхожу;
Я слушаю сонаты в переулках,
У всех ларьков облизываю губы,
Листаю книги в глыбких подворотнях —
И не живу, и все таки живу.

Я к воробьям пойду и к репортерам,
Я к уличным фотографам пойду,—
И в пять минут — лопаткой из ведерка —
Я получу свое изображенье
Под конусом лиловой шах-горы.

А иногда пущусь на побегушки
В распаренные душные подвалы,
Где чистые и честные китайцы
Хватают палочками шарики из теста,
Играют в узкие нарезанные карты
И водку пьют, как ласточки с Ян-дзы.

Люблю разъезды скворчащих трамваев,
И астраханскую икру асфальта,
Накрытую соломенной рогожей,
Напоминающей корзинку асти,
И страусовы перья арматуры
В начале стройки ленинских домов.

Вхожу в вертепы чудные музеев,
Где пучатся кащеевы Рембрандты,
Достигнув блеска кордованской кожи,
Дивлюсь рогатым митрам Тициана
И Тинторетто пестрому дивлюсь
За тысячу крикливых попугаев.

И до чего хочу я разыграться,
Разговориться, выговорить правду,
Послать хандру к туману, к бесу, к ляду,
Взять за руку кого-нибудь: будь ласков,
Сказать ему: нам по пути с тобой.

Май — 19 сентября 1931

ОТРЫВКИ УНИЧТОЖЕННЫХ СТИХОВ

1

В год тридцать первый от рожденья века
Я возвратился, нет — читай: насильно
Был возвращен в буддийскую Москву.
А перед тем я все-таки увидел
Библейской скатертью богатый Арарат
И двести дней провел в стране субботней,
Которую Арменией зовут.

Захочешь пить — там есть вода такая
Из курдского источника Арзни,
Хорошая, колючая, сухая
И самая правдивая вода.

2

Уж я люблю московские законы,
Уж не скучаю по воде Арзни.
В Москве черемухи да телефоны,
И казнями там имениты дни.

3

Захочешь жить, тогда глядишь с улыбкой
На молоко с буддийской синевой,
Проводишь взглядом барабан турецкий,
Когда обратно он на красных дрогах
Несется вскачь с гражданских похорон,
Иль встретишь воз с поклажей из подушек
И скажешь: «гуси-лебеди, домой!»

Не разбирайся, щелкай, милый кодак,
Покуда глаз — хрусталик кравчей птицы.
А не стекляшка!
                    Больше светотени —
Еще, еще! Сетчатка голодна!

4

Я больше не ребенок!
                    Ты, могила,
Не смей учить горбатого — молчи!
Я говорю за всех с такою силой,
Чтоб нёбо стало небом, чтобы губы
Потрескались, как розовая глина.

6 июня 1931

* * *

Довольно кукситься! Бумаги в стол засунем!
Я нынче славным бесом обуян,
Как будто в корень голову шампунем
Мне вымыл парикмахер Франсуа.

Держу пари, что я еще не умер,
И, как жокей, ручаюсь головой,
Что я еще могу набедокурить
На рысистой дорожке беговой.

Держу в уме, что нынче тридцать первый
Прекрасный год в черемухах цветет,
Что возмужали дождевые черви
И вся Москва на яликах плывет.

Не волноваться. Нетерпенье — роскошь,
Я постепенно скорость разовью —
Холодным шагом выйдем на дорожку —
Я сохранил дистанцию мою.

7 июня 1931

* * *

Сегодня можно снять декалькомани,
Мизинец окунув в Москву-реку,
С разбойника Кремля. Какая прелесть
Фисташковые эти голубятни:
Хоть проса им насыпать, хоть овса...
А в недорослях кто? Иван Великий —
Великовозрастная колокольня —
Стоит себе еще болван болваном
Который век. Его бы за границу,
Чтоб доучился... Да куда там! Стыдно!

Река Москва в четырехтрубном дыме
И перед нами весь раскрытый город:
Купальщики-заводы и сады
Замоскворецкие. Не так ли,
Откинув палисандровую крышку
Огромного концертного рояля,
Мы проникаем в звучное нутро?
Белогвардейцы, вы его видали?
Рояль Москвы слыхали? Гули-гули!

Мне кажется, как всякое другое,
Ты, время, незаконно. Как мальчишка
За взрослыми в морщинистую воду,
Я, кажется, в грядущее вхожу,
И, кажется, его я не увижу...

Уж я не выйду в ногу с молодежью
На разлинованные стадионы,
Разбуженный повесткой мотоцикла,
Я на рассвете не вскочу с постели,
В стеклянные дворцы на курьих ножках
Я даже тенью легкой не войду.

Мне с каждым днем дышать все тяжелее,
А между тем нельзя повременить...
И рождены для наслажденья бегом
Лишь сердце человека и коня.

И Фауста бес — сухой и моложавый —
Вновь старику кидается в ребро
И подбивáет взять почасно ялик,
Или махнуть на Воробьевы горы,
Иль на трамвае охлестнуть Москву.

Ей некогда. Она сегодня в няньках.
Все мечется. На сорок тысяч люлек
Она одна — и пряжа на руках.

25 июня — август 1931

ФАЭТОНЩИК

На высоком перевале
В мусульманской стороне
Мы со смертью пировали —
Было страшно, как во сне.

Нам попался фаэтонщик,
Пропеченный, как изюм,
Словно дьявола погонщик,
Односложен и угрюм.

То гортанный крик араба,
То бессмысленное «цо»,—
Словно розу или жабу,
Он берег свое лицо:

Под кожевенною маской
Скрыв ужасные черты,
Он куда-то гнал коляску
До последней хрипоты.

И пошли толчки, разгоны,
И не слезть было с горы —
Закружились фаэтоны,
Постоялые дворы...

Я очнулся: стой, приятель!
Я припомнил — черт возьми!
Это чумный председатель
Заблудился с лошадьми!

Он безносой канителью
Правит, душу веселя,
Чтоб вертелась каруселью
Кисло-сладкая земля...

Так, в Нагорном Карабахе,
В хищном городе Шуше
Я изведал эти страхи,
Соприродные душе.

Сорок тысяч мертвых окон
Там видны со всех сторон
И труда бездушный кокон
На горах похоронен.

И бесстыдно розовеют
Обнаженные дома,
А над ними неба мреет
Темно-синяя чума.

12 июня 1931

* * *

Как народная громада,
Прошибая землю в пот,
Многоярусное стадо
Пропыленною армадой
Ровно в голову плывет:

Телки с нежными боками
И бычки-баловники,
А за ними кораблями
Буйволицы с буйволами
И священники-быки.

12 июня 1931

* * *

О, как мы любим лицемерить
И забываем без труда
То, что мы в детстве ближе к смерти,
Чем в наши зрелые года.

Еще обиду тянет с блюдца
Невыспавшееся дитя,
А мне уж не на кого дуться
И я один на всех путях.

Но не хочу уснуть, как рыба,
В глубоком обмороке вод,
И дорог мне свободный выбор
Моих страданий и забот.

Февраль — 14 мая 1932

* * *

Там, где купальни, бумагопрядильни
И широчайшие зеленые сады,
На реке Москве есть светоговорильня
С гребешками отдыха, культуры и воды.

Эта слабогрудая речная волокита,
Скучные-нескучные, как халва, холмы,
Эти судоходные марки и открытки,
На которых носимся и несемся мы.

У реки Оки вывернуто веко,
Оттого-то и на Москве ветерок.
У сетрицы Клязьмы загнулась ресница,
Оттого на Яузе утка плывет.

На Москве-реке почтовым пахнет клеем,
Там играют Шуберта в раструбы рупоров.
Вода на булавках и воздух нежнее
Лягушиной кожи воздушных шаров.

Май 1932

ЛАМАРК

Был старик, застенчивый как мальчик,
Неуклюжий, робкий патриарх...
Кто за честь природы фехтовальщик?
Ну, конечно, пламенный Ламарк.

Если все живое лишь помарка
За короткий выморочный день,
На подвижной лестнице Ламарка
Я займу последнюю ступень.

К кольчецам спущусь и к усоногим,
Прошуршав средь ящериц и змей,
По упругим сходням, по излогам
Сокращусь, исчезну, как Протей.

Роговую мантию надену,
От горячей крови откажусь,
Обрасту присосками и в пену
Океана завитком вопьюсь.

Мы прошли разряды насекомых
С наливными рюмочками глаз.
Он сказал: природа вся в разломах,
Зренья нет — ты зришь в последний раз.

Он сказал: довольно полнозвучья,—
Ты напрасно Моцарта любил:
Наступает глухота паучья,
Здесь провал сильнее наших сил.

И от нас природа отступила —
Так, как будто мы ей не нужны,
И продольный мозг она вложила,
Словно шпагу, в темные ножны.

И подъемный мост она забыла,
Опоздала опустить для тех,
У кого зеленая могила,
Красное дыханье, гибкий смех...

7—9 мая 1932

* * *

Когда в далекую Корею
Катился русский золотой,
Я убегал в оранжерею,
Держа ириску за щекой.

Была пора смешливой бульбы
И щитовидной железы,
Была пора Тараса Бульбы
И наступающей грозы.

Самоуправство, своевольство,
Поход троянского коня,
А над поленницей посольство
Эфира, солнца и огня.

Был от поленьев воздух жирен,
Как гусеница, на дворе,
И Петропавловску-Цусиме
Ура на дровяной горе...

К царевичу младому Хлору
И — Господи благослови! —
Как мы в высоких голенищах
За хлороформом в гору шли.

Я пережил того подростка,
И широка моя стезя —
Другие сны, другие гнезда,
Но не разбойничать нельзя.

11 — 13 мая 1932, 1935

* * *

Увы, растаяла свеча
Молодчиков каленых,
Что хаживали вполплеча
В камзольчиках зеленых,
Что пересиливали срам
И чумную заразу
И всевозможным господам
Прислуживали сразу.

И нет рассказчика для жен
В порочных длинных платьях.
Что проводили дни как сон
В пленительных занятьях:
Лепили воск, мотали шелк,
Учили попугаев
И в спальню, видя в этом толк
Пускали негодяев

22 мая 1932

* * *

Вы помните, как бегуны
В окрестностях Вероны
Еще разматывать должны
Кусок сукна зеленый.
Но всех других опередит
Тот самый, тот, который
Из песни Данта убежит,
Ведя по кругу споры.

Май 1932—сентябрь 1935

ИМПРЕССИОНИЗМ

Художник нам изобразил
Глубокий обморок сирени
И красок звучные ступени
На холст, как струпья, положил.

Он понял масла густоту —
Его запекшееся лето
Лиловым мозгом разогрето,
Расширенное в духоту.

А тень-то, тень все лиловей,
Свисток иль хлыст, как спичка, тухнет,—
Ты скажешь: повара на кухне
Готовят жирных голубей.

Угадывается качель,
Недомалеваны вуали,
И в этом солнечном развале
Уже хозяйничает шмель.

23 мая 1932

* * *

Дайте Тютчеву стрекозу —
Догадайтесь почему!
Веневитинову — розу.
Ну, а перстень — никому.

Боратынского подошвы
Изумили прах веков,
У него без всякой прошвы
Наволочки облаков.

А еще над нами волен
Лермонтов, мучитель наш,
И всегда одышкой болен
Фета жирный карандаш.

Май 1932

БАТЮШКОВ

Словно гуляка с волшебною тростью,
Батюшков нежный со мною живет.
Он тополями шагает в замостье,
Нюхает розу и Дафну поет.

Ни на минуту не веря в разлуку,
Кажется, я поклонился ему:
В светлой перчатке холодную руку
Я с лихорадочной завистью жму.

Он усмехнулся. Я молвил: спасибо.
И не нашел от смущения слов:
— Ни у кого — этих звуков изгибы...
— И никогда — этот говор валов...

Наше мученье и наше богатство,
Косноязычный, с собой он принес —
Шум стихотворства и колокол братства
И гармонический проливень слез.

И отвечал мне оплакавший Тасса:
— Я к величаньям еще не привык;
Только стихов виноградное мясо
Мне освежило случайно язык...

Что ж! Поднимай удивленные брови
Ты, горожанин и друг горожан,
Вечные сны, как образчики крови,
Переливай из стакана в стакан...

18 июня 1932

СТИХИ О РУССКОЙ ПОЭЗИИ

1

Сядь, Державин, развалися,—
Ты у нас хитрее лиса,
И татарского кумыса
Твой початок не прокис.

Дай Языкову бутылку
И подвинь ему бокал.
Я люблю его ухмылку,
Хмеля бьющуюся жилку
И стихов его накал.

Гром живет своим накатом —
Что ему до наших бед?
И глотками по раскатам
Наслаждается мускатом
На язык, на вкус, на цвет.

Капли прыгают галопом,
Скачут градины гурьбой,
Пахнет потом — конским топом —
Нет — жасмином, нет — укропом,
Нет — дубовою корой.

2

Зашумела, задрожала,
Как смоковницы листва,
До корней затрепетала
С подмосковными Москва.

Катит гром свою тележку
По торговой мостовой,
И расхаживает ливень
С длинной плеткой ручьевой.

И угодливо поката
Кажется земля, пока
Шум на шум, как брат на брата,
Восстают издалека.

Капли прыгают галопом,
Скачут градины гурьбой
С рабским потом, конским топом
И древесною молвой.

4 июля 1932

3

С. А. Клычкову

Полюбил я лес прекрасный,
Смешанный, где козырь — дуб,
В листьях клена перец красный,
В иглах — еж-черноголуб.

Там фисташковые молкнут
Голоса на молоке,
И когда захочешь щелкнуть,
Правды нет на языке.

Там живет народец мелкий —
В желудевых шапках все —
И белок кровавый белки
Крутят в страшном колесе.

Там щавель, там вымя птичье,
Хвой павлинья кутерьма,
Ротозейство и величье
И скорлупчатая тьма.

Тычут шпагами шишиги,
В треуголках носачи,
На углях читают книги
С самоваром палачи.

И еще грибы-волнушки,
В сбруе тонкого дождя,
Вдруг поднимутся с опушки —
Так, немного погодя...

Там без выгоды уроды
Режутся в девятый вал,
Храп коня и крап колоды —
Кто кого? Пошел развал...

И деревья — брат на брата —
Восстают. Понять спеши:
До чего аляповаты,
До чего как хороши!

3—7 июля 1932

К НЕМЕЦКОЙ РЕЧИ

Б. С. Кузину

Freund! Versäume nicht zu leben:
Denn die Jahre fliehn,
Und es wird der Saft der Reben
Uns nicht lange glühn!

(*Ew. Chr. Kleist*)*

Себя губя, себе противореча,
Как моль летит на огонек полночный,
Мне хочется уйти из нашей речи
За все, чем я обязан ей бессрочно.

---

* Друг! Ну упусти (в суете) самое жизнь. // Ибо годы летят // И сок винограда // Недолго еще будет нас горячить! *(Э.-Х. Клейст) (нем.).*

Есть между нами похвала без лести
И дружба есть в упор, без фарисейства —
Поучимся ж серьезности и чести
На западе у чуждого семейства.

Поэзия, тебе полезны грозы!
Я вспоминаю немца-офицера,
И за эфес его цеплялись розы,
И на губах его была Церера...

Еще во Франкфурте отцы зевали,
Еще о Гете не было известий,
Слагались гимны, кони гарцевали
И, словно буквы, прыгали на месте.

Скажите мне, друзья, в какой Валгалле
Мы вместе с вами щелкали орехи,
Какой свободой мы располагали,
Какие вы поставили мне вехи.

И прямо со страницы альманаха,
От новизны его первостатейной,
Сбегали в гроб ступеньками, без страха,
Как в погребок за кружкой мозельвейна.

Чужая речь мне будет оболочкой,
И много прежде, чем я смел родиться,
Я буквой был, был виноградной строчкой,
Я книгой был, которая вам снится.

Когда я спал без облика и склада,
Я дружбой был, как выстрелом, разбужен.
Бог Нахтигаль, дай мне судьбу Пилада
Иль вырви мне язык — он мне не нужен.

Бог Нахтигаль, меня еще вербуют
Для новых чум, для семилетних боен.
Звук сузился, слова шипят, бунтуют,
Но ты живешь, и я с тобой спокоен.

8—12 августа 1932

АРИОСТ

Во всей Италии приятнейший, умнейший,
Любезный Ариост немножечко охрип.
Он наслаждается перечисленьем рыб
И перчит все моря нелепицею злейшей.

И, словно музыкант на десяти цимбалах,
Не уставая рвать повествованья нить,
Ведет туда-сюда, не зная сам, как быть,
Запутанный рассказ о рыцарских скандалах.

На языке цикад пленительная смесь
Из грусти пушкинской и средиземной спеси —
Он завирается, с Орландом куролеся,
И содрогается, преображаясь весь.

И морю говорит: шуми без всяких дум,
И деве на скале: лежи без покрывала...
Рассказывай еще — тебя нам слишком мало,
Покуда в жилах кровь, в ушах покуда шум.

О город ящериц, в котором нет души,—
Когда бы чаще ты таких мужей рожала,
Феррара черствая! Который раз сначала,
Покуда в жилах кровь, рассказывай, спеши!

В Европе холодно. В Италии темно.
Власть отвратительна, как руки брадобрея,
А он вельможится все лучше, все хитрее
И улыбается в крылатое окно —

Ягненку на горе, монаху на осляти,
Солдатам герцога, юродивым слегка
От винопития, чумы и чеснока,
И в сетке синих мух уснувшему дитяти.

А я люблю его неистовый досуг —
Язык бессмысленный, язык солено-сладкий
И звуков стакнутых прелестные двойчатки...
Боюсь раскрыть ножом двустворчатый жемчуг.

Любезный Ариост, быть может, век пройдет —
В одно широкое и братское лазорье
Сольем твою лазурь и наше черноморье.
...И мы бывали там. И мы там пили мед...

4—6 мая 1933

АРИОСТ

В Европе холодно. В Италии темно.
Власть отвратительна, как руки брадобрея.
О, если б распахнуть, да как нельзя скорее,
На Адриатику широкое окно.

Над розой мускусной жужжание пчелы,
В степи полуденной — кузнечик мускулистый.
Крылатой лошади подковы тяжелы,
Часы песочные желты и золотисты.

На языке цикад пленительная смесь
Из грусти пушкинской и средиземной спеси,
Как плющ назойливый, цепляющийся весь,
Он мужественно врет, с Орландом куролеся.

Часы песочные желты и золотисты,
В степи полуденной кузнечик мускулистый —
И прямо на луну влетает враль плечистый...

Любезный Ариост, посольская лиса,
Цветущий папоротник, парусник, столетник,
Ты слушал на луне овсянок голоса,
А при дворе у рыб — ученый был советник.

О, город ящериц, в котором нет души,—
От ведьмы и судьи таких сынов рожала
Феррара черствая и на цепи держала,
И солнце рыжего ума взошло в глуши.

Мы удивляемся лавчонке мясника,
Под сеткой синих мух уснувшему дитяти,

Ягненку на дворе, монаху на осляти,
Солдатам герцога, юродивым слегка
От винопития, чумы и чеснока,—
И свежей, как заря, удивлены утрате...

Май 1933, июль 1935

* * *

Друг Ариоста, друг Петрарки, Тасса друг —
Язык бессмысленный, язык солено-сладкий.
И звуков стакнутых прелестные двойчатки —
Боюсь раскрыть ножом двустворчатый жемчуг.

Май 1933, август 1935

* * *

Не искушай чужих наречий, но постарайся их забыть:
Ведь все равно ты не сумеешь стекло зубами укусить.

О, как мучительно дается чужого клекота полет —
За беззаконные восторги лихая плата стережет.

Ведь умирающее тело и мыслящий бессмертный рот
В последний раз перед разлукой чужое имя не спасет.

Что, если Ариост и Тассо, обворожающие нас,
Чудовища с лазурным мозгом и чешуей из влажных глаз?

И в наказанье за гордыню, неисправимый звуколюб,
Получишь уксусную губку ты для изменнических губ.

Май 1933

СТАРЫЙ КРЫМ

Холодная весна. Голодный Старый Крым,
Как был при Врангеле — такой же виноватый.
Овчарки на дворе, на рубищах заплаты,
Такой же серенький, кусающийся дым.

Все так же хороша рассеянная даль —
Деревья, почками набухшие на малость,
Стоят, как пришлые, и возбуждает жалость
Вчерашней глупостью украшенный миндаль.

Природа своего не узнает лица,
И тени страшные Украины, Кубани...
Как в туфлях войлочных голодные крестьяне
Калитку стерегут, не трогая кольца...

Май 1933

* * *

Мы живем, под собою не чуя страны,
Наши речи за десять шагов не слышны,
А где хватит на полразговорца,
Там припомнят кремлевского горца.
Его толстые пальцы, как черви, жирны,
И слова, как пудовые гири, верны,
Тараканьи смеются глазища
И сияют его голенища.

А вокруг него сброд тонкошеих вождей,
Он играет услугами полулюдей.
Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет,
Он один лишь бабачит и тычет.
Как подкову, дари́т за указом указ —
Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз
Что ни казнь у него — то малина
И широкая грудь осетина.

Ноябрь 1933

* * *

Квартира тиха как бумага —
Пустая, без всяких затей,—
И слышно, как булькает влага
По трубам внутри батарей.

Имущество в полном порядке,
Лягушкой застыл телефон,
Видавшие виды манатки
На улицу просятся вон.

Мы живем под собою не чуя страны
Наши речи за десять шагов не слышны
А где хватит на полразговорца
Там припомнят кремлевского горца.
Его толстые пальцы как черви жирны
И слова как пудовые гири верны
Тараканьи смеются глазища
И сияют его голенища

А вокруг него сброд тонкошеих вождей
Он играет услугами полулюдей
Кто свистит кто мяучит кто хнычет
Он один лишь бабачит и тычет
Как подковы дарит за указом указ
Кому в пах кому в лоб кому в бровь
кому в глаз
Что ни казнь у него — то малина
И широкая грудь осетина

О Мандельштам

Автограф стихотворения
«Мы живем, под собою не чуя страны...»,
записанный на допросе в тюрьме (ЦГАЛИ)

А стены проклятые тонки,
И некуда больше бежать,
А я как дурак на гребенке
Обязан кому-то играть.

Наглей комсомольской ячейки
И вузовской песни наглей,
Присевших на школьной скамейке
Учить щебетать палачей.

Пайковые книги читаю,
Пеньковые речи ловлю
И грозное баюшки-баю
Колхозному баю пою.

Какой-нибудь изобразитель,
Чесатель колхозного льна,
Чернила и крови смеситель,
Достоин такого рожна.

Какой-нибудь честный предатель,
Проваренный в чистках, как соль,
Жены и детей содержатель,
Такую ухлопает моль.

И столько мучительной злости
Таит в себе каждый намек,
Как будто вколачивал гвозди
Некрасова здесь молоток.

Давай же с тобой, как на плахе,
За семьдесят лет начинать,
Тебе, старику и неряхе,
Пора сапогами стучать.

И вместо ключа Ипокрены
Давнишнего страха струя
Ворвется в халтурные стены
Московского злого жилья.

Ноябрь 1933

У нашей святой молодежи
Хорошие песни в крови —
На баюшки-баю похожи
И баю борьбу объяви.

И я за собой примечаю
И что-то такое пою:
Колхозного бая качаю,
Кулацкого пая пою.

Ноябрь 1933

* * *

Татары, узбеки и ненцы,
И весь украинский народ,
И даже приволжские немцы
К себе переводчиков ждут.

И, может быть, в эту минуту
Меня на турецкий язык
Японец какой переводит
И прямо мне в душу проник.

Ноябрь 1933

ВОСЬМИСТИШИЯ

1

Люблю появление ткани,
Когда после двух или трех,
А то четырех задыханий
Прийдет выпрямительный вздох.

И дугами парусных гонок
Зеленые формы чертя,
Играет пространство спросонок —
Не знавшее люльки дитя.

Ноябрь 1933, июль 1935

2

Люблю появление ткани,
Когда после двух или трех,
А то четырех задыханий
Прийдет выпрямительный вздох.

И так хорошо мне и тяжко,
Когда приближается миг,
И вдруг дуговая растяжка
Звучит в бормотаньях моих.

Ноябрь 1933 — январь 1934

3

О бабочка, о мусульманка,
В разрезанном саване вся,—
Жизняночка и умиранка,
Такая большая — сия!

С большими усами кусава
Ушла с головою в бурнус.
О флагом развернутый саван,
Сложи свои крылья — боюсь!

Ноябрь 1933 — январь 1934

4

Шестого чувства крошечный придаток
Иль ящерицы теменной глазок,
Монастыри улиток и створчаток,
Мерцающих ресничек говорок.

Недостижимое, как это близко —
Ни развязать нельзя, ни посмотреть,—
Как будто в руку вложена записка
И на нее немедленно ответь...

Май 1932 — февраль 1934

5

Преодолев затверженность природы,
Голуботвердый глаз проник в ее закон.
В земной коре юродствуют породы,
И как руда из груди рвется стон.

И тянется глухой недоразвиток
Как бы дорогой, согнутою в рог,
Понять пространства внутренний избыток
И лепестка и купола залог.

Январь — февраль 1934

6

Когда, уничтожив набросок,
Ты держишь прилежно в уме
Период без тягостных сносок,
Единый во внутренней тьме,
И он лишь на собственной тяге
Зажмурившись, держится сам,
Он так же отнесся к бумаге,
Как купол к пустым небесам.

Ноябрь 1933 — январь 1934

7

И Шуберт на воде, и Моцарт в птичьем гаме,
И Гете, свищущий на вьющейся тропе,
И Гамлет, мысливший пугливыми шагами,
Считали пульс толпы и верили толпе.
Быть может, прежде губ уже родился шопот
И в бездревесности кружилися листы,
И те, кому мы посвящаем опыт,
До опыта приобрели черты.

Ноябрь 1933 — январь 1934

8

И клена зубчатая лапа
Купается в круглых углах,
И можно из бабочек крапа
Рисунки слагать на стенах.

Бывают мечети живые —
И я догадался сейчас:
Быть может, мы Айя-София
С бесчисленным множеством глаз.

Ноябрь 1933 — январь 1934

9

Скажи мне, чертежник пустыни,
Арабских песков геометр,
Ужели безудержность линий
Сильнее, чем дующий ветр?
— Меня не касается трепет
Его иудейских забот —
Он опыт из лепета лепит
И лепет из опыта пьет...

Ноябрь 1933 — январь 1934

10

В игольчатых чумных бокалах
Мы пьем наважденье причин,
Касаемся крючьями малых,
Как легкая смерть, величин.
И там, где сцепились бирюльки,
Ребенок молчанье хранит,
Большая вселенная в люльке
У маленькой вечности спит.

Ноябрь 1933, июль 1935

11

И я выхожу из пространства
В запущенный сад величин
И мнимое рву постоянство
И самосознанье причин.

И твой, бесконечность, учебник
Читаю один, без людей,—
Безлиственный, дикий лечебник,
Задачник огромных корней.

Ноябрь 1933—июль 1935

<Переводы из Фр. Петрарки>

* * *

Valle che dé lamenti miei se' piena..

Речка, распухшая от слез соленых,
Лесные птахи рассказать могли бы,
Чуткие звери и немые рыбы,
В двух берегах зажатые зеленых;

Дол, полный клятв и шопотов каленых,
Тропинок промуравленных изгибы,
Силой любви затверженные глыбы
И трещины земли на трудных склонах —

Незыблемое зыблется на месте,
И зыблюсь я. Как бы внутри гранита,
Зернится скорбь в гнезде былых веселий

Где я ищу следов красы и чести,
Исчезнувшей, как сокол после мыта,
Оставив тело в земляной постели.

Декабрь 1933 — январь 1934

* * *

Quel rosignuol che si soave piagne...

Как соловей, сиротствующий, славит
Своих пернатых близких ночью синей
И деревенское молчанье плавит
По-над холмами или в котловине,

И всю-то ночь щекочет и муравит
И провожает он, один отныне,—
Меня, меня! Силки и сети ставит
И нудит помнить смертный пот богини!

О, радужная оболочка страха!
Эфир очей, глядевших в глубь эфира,
Взяла земля в слепую люльку праха,—

Исполнилось твое желанье, пряха,
И, плачучи, твержу: вся прелесть мира
Ресничного недолговечней взмаха.

Декабрь 1933—январь 1934

* * *

Or che'l ciel e la terra e'l vento tace...

Когда уснет земля и жар отпышет,
А на душе зверей покой лебяжий,
Ходит по кругу ночь с горящей пряжей
И мощь воды морской зефир колышет,—

Чую, горю, рвусь, плачу—и не слышит,
В неудержимой близости все та же,
Цéлую ночь, цéлую ночь на страже
И вся как есть далеким счастьем дышит.

Хоть ключ один, вода разноречива—
Полужестка, полусладка,—ужели
Одна и та же милая двулична...

Тысячу раз на дню, себе на диво,
Я должен умереть на самом деле
И воскресаю так же сверхобычно.

Декабрь 1933—январь 1934

* * *

I di miei più leggier che nessun cervo...

Промчались дни мои — как бы оленей
Косящий бег. Срок счастья был короче,
Чем взмах ресницы. Из последней мочи
Я в горсть зажал лишь пепел наслаждений.

По милости надменных обольщений
Ночует сердце в склепе скромной ночи,
К земле бескостной жмется. Средоточий
Знакомых ищет, сладостных сплетений.

Но то, что в ней едва существовало,
Днесь, вырвавшись наверх, в очаг лазури,
Пленять и ранить может как бывало.

И я догадываюсь, брови хмуря:
Как хороша? к какой толпе пристала?
Как там клубится легких складок буря?

4—8 января 1934

<Стихи памяти Андрея Белого>

* * *

Голубые глаза и горячая лобная кость —
Мировая манила тебя молодящая злость.

И за то, что тебе суждена была чудная власть,
Положили тебя никогда не судить и не клясть.

На тебя надевали тиару — юрода колпак,
Бирюзовый учитель, мучитель, властитель, дурак!

Как снежок на Москве заводил кавардак гоголек:
Непонятен-понятен, невнятен, запутан, легок...

Собиратель пространства, экзамены сдавший птенец,
Сочинитель, щегленок, студентик, студент, бубенец...

Конькобежец и первенец, веком гонимый взашей
Под морозную пыль образуемых вновь падежей.

Часто пишется казнь, а читается правильно — песнь,
Может быть, простота — уязвимая смертью болезнь?

Прямизна нашей речи не только пугач для детей —
Не бумажные дести, а вести спасают людей.

Как стрекозы садятся, не чуя воды, в камыши,
Налетели на мертвого жирные карандаши.

На коленях держали для славных потомков листы,
Рисовали, просили прощенья у каждой черты.

Меж тобой и страной ледяная рождается связь —
Так лежи, молодей и лежи, бесконечно прямясь.

Да не спросят тебя молодые, грядущие те,
Каково тебе там в пустоте, в чистоте, сироте...

10—11 января 1934

10 ЯНВАРЯ 1934

Меня преследуют две-три случайных фразы,
Весь день твержу: печаль моя жирна...
О Боже, как жирны и синеглазы
Стрекозы смерти, как лазурь черна.

Где первородство? где счастливая повадка?
Где плавкий ястребок на самом дне очей?
Где вежество? где горькая украдка?
Где ясный стан? где прямизна речей,

Запутанных, как честные зигзаги
У конькобежца в пламень голубой,—
Морозный пух в железной крутят тяге,
С голуботвердой чокаясь рекой.

Ему солей трехъярусных растворы,
И мудрецов германских голоса,
И русских первенцев блистательные споры
Представились в полвека, в полчаса.

И вдруг открылась музыка в засаде,
Уже не хищницей лиясь из-под смычков,
Не ради слуха или неги ради,
Лиясь для мышц и бьющихся висков,

Лиясь для ласковой, только что снятой маски,
Для пальцев гипсовых, не держащих пера,
Для укрупненных губ, для укрепленной ласки
Крупнозернистого покоя и добра.

Дышали шуб меха, плечо к плечу теснилось,
Кипела киноварь здоровья, кровь и пот —
Сон в оболочке сна, внутри которой снилось
На полшага продвинуться вперед.

А посреди толпы стоял гравировальщик,
Готовясь перенесть на истинную медь
То, что обугливший бумагу рисовальщик
Лишь крохоборствуя успел запечатлеть.

Как будто я повис на собственных ресницах,
И созревающий и тянущийся весь,—
Доко́ле не сорвусь, разыгрываю в лицах
Единственное, что мы знаем днесь...

16 января 1934

* * *

Когда душе и то́ропкой и робкой
Предстанет вдруг событий глубина,
Она бежит виющеюся тропкой,
Но смерти ей тропина не ясна.

Он, кажется, дичился умиранья
Застенчивостью славной новичка
Иль звука первенца в блистательном собраньи,
Что льется внутрь — в продольный лес смычка,

Что льется вспять, еще ленясь и мерясь
То мерой льна, то мерой волокна,
И льется смолкой, сам себе не верясь,
Из ничего, из нити, из темна,—

Лиясь для ласковой, только что снятой маски,
Для пальцев гипсовых, не держащих пера,
Для укрупненных губ, для укрепленной ласки
Крупнозернистого покоя и добра.

Январь 1934

* * *

Он дирижировал кавказскими горами
И машучи ступал на тесных Альп тропы,
И, озираючись, пустынными брегами
Шел, чуя разговор бесчисленной толпы.

Толпы умов, влияний, впечатлений
Он перенес, как лишь могущий мог:
Рахиль глядела в зеркало явлений,
А Лия пела и плела венок.

Январь 1934

* * *

А посреди толпы, задумчивый, брадатый,
Уже стоял гравер — друг меднохвойных доск,
Трехъярой окисью облитых в лоск покатый,
Накатом истины сияющих сквозь воск.

Как будто я повис на собственных ресницах
В толпокрылатом воздухе картин
Тех мастеров, что насаждают в лицах
Порядок зрения и многолюдства чин.

Январь 1934

* * *

Мастерица виноватых взоров,
Маленьких держательница плеч!
Усмирен мужской опасный норов,
Не звучит утопленница-речь.

Ходят рыбы, рдея плавниками,
Раздувая жабры: на, возьми!
Их, бесшумно охающих ртами,
Полухлебом плоти накорми.

Мы не рыбы красно-золотые,
Наш обычай сестринский таков:
В теплом теле ребрышки худые
И напрасный влажный блеск зрачков.

Маком бровки мечен путь опасный.
Что же мне, как янычару, люб
Этот крошечный, летуче-красный,
Этот жалкий полумесяц губ?..

Не серчай, турчанка дорогая:
Я с тобой в глухой мешок зашьюсь,
Твои речи темные глотая,
За тебя кривой воды напьюсь.

Ты, Мария,— гибнущим подмога,
Надо смерть предупредить — уснуть.
Я стою у твердого порога.
Уходи, уйди, еще побудь.

После 14 февраля 1934

* * *

Твоим узким плечам под бичами краснеть,
Под бичами краснеть, на морозе гореть.

Твоим детским рукам утюги поднимать,
Утюги поднимать да веревки вязать.

Твоим нежным ногам по стеклу босиком,
По стеклу босиком, да кровавым песком.

Ну, а мне за тебя черной свечкой гореть,
Черной свечкой гореть да молиться не сметь.

<Февраль> 1934

Воронежские стихи

ЧЕРНОЗЕМ

Переуважена, перечерна, вся в холе,
Вся в холках маленьких, вся воздух и призор,
Вся рассыпаючись, вся образуя хор,—
Комочки влажные моей земли и воли...

В дни ранней пахоты черна до синевы,
И безоружная в ней зиждется работа—
Тысячехолмие распаханной молвы:
Знать, безокружное в окружности есть что-то.

И все-таки, земля—проруха и обух.
Не умолить ее, как в ноги ей ни бухай:
Гниющей флейтою настраживает слух,
Кларнетом утренним зазябливает ухо...

Как на лемех приятен жирный пласт,
Как степь лежит в апрельском провороте!
Ну, здравствуй, чернозем: будь мужествен, глазаст...
Черноречивое молчание в работе.

Апрель 1935

* * *

Я должен жить, хотя я дважды умер,
А город от воды ополоумел:
Как он хорош, как весел, как скуласт,
Как на лемех приятен жирный пласт,
Как степь лежит в апрельском провороте,
А небо, небо—твой Буонаротти...

Апрель 1935

* * *

Пусти меня, отдай меня, Воронеж:
Уронишь ты меня иль проворонишь,
Ты выронишь меня или вернешь,—
Воронеж — блажь, Воронеж — ворон, нож...

Апрель 1935

* * *

Я живу на важных огородах.
Ванька-ключник мог бы здесь гулять.
Ветер служит даром на заводах,
И далеко убегает гать.

Чернопахотная ночь степных закраин
В мелкобисерных иззябла огоньках.
За стеной обиженный хозяин
Ходит-бродит в русских сапогах.

И богато искривилась половица —
Этой палубы гробовая доска.
У чужих людей мне плохо спится
И своя-то жизнь мне не близка.

Апрель 1935

* * *

Наушнички, наушники мои!
Попомню я воронежские ночки:
Недопитого голоса Аи
И в полночь с Красной площади гудочки...

Ну как метро? Молчи, в себе таи,
Не спрашивай, как набухают почки,
И вы, часов кремлевские бои,—
Язык пространства, сжатого до точки...

Апрель 1935

* * *

Это какая улица?
Улица Мандельштама.
Что за фамилия чортова —
Как ее ни вывертывай,
Криво звучит, а не прямо.

Мало в нем было линейного,
Нрава он не был лилейного,
И потому эта улица
Или, верней, эта яма
Так и зовется по имени
Этого Мандельштама...

Апрель 1935

* * *

За Паганини длиннопалым
Бегут цыганскою гурьбой —
Кто с чохом чех, кто с польским балом,
А кто с венгерской чемчурой.

Девчонка, выскочка, гордячка,
Чей звук широк, как Енисей,—
Утешь меня игрой своей:
На голове твоей, полячка,
Марины Мнишек холм кудрей,
Смычок твой мнителен, скрипачка.

Утешь меня Шопеном чалым,
Серьезным Брамсом, нет, постой:
Парижем мощно-одичалым,
Мучным и потным карнавалом
Иль брагой Вены молодой —

Вертлявой, в дирижерских фрачках,
В дунайских фейерверках, скачках
И вальс из гроба в колыбель
Переливающей, как хмель.

Играй же на разрыв аорты
С кошачьей головой во рту,
Три чорта было — ты четвертый,
Последний чудный чорт в цвету.

5 апреля — июль 1935

* * *

От сырой простыни говорящая —
Знать, нашелся на рыб звукопас —
Надвигалась картина звучащая
На меня, и на всех, и на вас...

Начихав на кривые убыточки,
С папироской смертельной в зубах,
Офицеры последнейшей выточки —
На равнины зияющий пах...

Было слышно жужжание низкое
Самолетов, сгоревших дотла,
Лошадиная бритва английская
Адмиральские щеки скребла.

Измеряй меня, край, перекраивай —
Чуден жар прикрепленной земли! —
Захлебнулась винтовка Чапаева:
Помоги, развяжи, раздели!..

<Апрель> — июнь 1935

* * *

День стоял о пяти головах. Сплошные пять суток
Я, сжимаясь, гордился пространством за то, что росло
на дрожжах..
Сон был больше, чем слух, слух был старше, чем сон,—
слитен, чуток,
А за нами неслись большаки на ямщицких вожжах.

День стоял о пяти головах, и, чумея от пляса,
Ехала конная, пешая шла черноверхая масса —
Расширеньем аорты могущества в белых ночах — нет, в ножах —
Глаз превращался в хвойное мясо.

На вершок бы мне синего моря, на игольное только ушко!
Чтобы двойка конвойного времени парусами неслась хорошо.
Сухомятная русская сказка, деревянная ложка, ау!
Где вы, трое славных ребят из железных ворот ГПУ?

Чтобы Пушкина чудный товар не пошел по рукам дармоедов,
Грамотеет в шинелях с наганами племя пушкиноведов —
Молодые любители белозубых стишков.
На вершок бы мне синего моря, на игольное только ушко!

Поезд шел на Урал. В раскрытые рты нам
Говорящий Чапаев с картины скакал звуковой...
За бревенчатым тылом, на ленте простынной
Утонуть и вскочить на коня своего!

Апрель — май 1935

КАМА

1

Как на Каме-реке глазу тёмно, когда
На дубовых коленях стоят города.

В паутину рядясь, борода к бороде,
Жгучий ельник бежит, молодея в воде.

Упиралась вода в сто четыре весла —
Вверх и вниз на Казань и на Чердынь несла.

Так я плыл по реке с занавеской в окне,
С занавеской в окне, с головою в огне.

А со мною жена пять ночей не спала,
Пять ночей не спала, трех конвойных везла.

2

Как на Каме-реке глазу темно, когда
На дубовых коленях стоят города.

В паутину рядясь, борода к бороде,
Жгучий ельник бежит, молодея в воде.

Упиралась вода в сто четыре весла,
Вверх и вниз на Казань и на Чердынь несла.

Чернолюдьем велик, мелколесьем сожжен
Пулеметно-бревенчатой стаи разгон.

На Тоболе кричат. Обь стоит на плоту.
И речная верста поднялась в высоту.

3

Я смотрел, отдаляясь, на хвойный восток,
Полноводная Кама неслась на буек.

И хотелось бы гору с костром отслоить,
Да едва успеваешь леса посолить.

И хотелось бы тут же вселиться, пойми,
В долговечный Урал, населенный людьми,

И хотелось бы эту безумную гладь
В долгополой шинели беречь, охранять.

Апрель—май 1935

* * *

Лишив меня морей, разбега и разлета
И дав стопе упор насильственной земли,
Чего добились вы? Блестящего расчета:
Губ шевелящихся отнять вы не могли.

Май 1935

СТАНСЫ

Я не хочу средь юношей тепличных
Разменивать последний грош души,
Но, как в колхоз идет единоличник,
Я в мир вхожу — и люди хороши.

Люблю шинель красноармейской складки —
Длину до пят, рукав простой и гладкий
И волжской туче родственный покрой,
Чтоб, на спине и на груди лопатясь,
Она лежала, на запас не тратясь,
И скатывалась летнею порой.

Проклятый шов, нелепая затея
Нас разлучили, а теперь — пойми:
Я должен жить, дыша и большевея
И перед смертью хорошея —
Еще побыть и поиграть с людьми!

Подумаешь, как в Чердыни-голубе,
Где пахнет Обью и Тобол в раструбе,
В семивершковой я метался кутерьме!
Клевещущих козлов не досмотрел я драки:
Как петушок в прозрачной летней тьме —
Харчи да харк, да что-нибудь, да враки —
Стук дятла сбросил с плеч. Прыжок. И я в уме.

И ты, Москва, сестра моя, легка,
Когда встречаешь в самолете брата
До первого трамвайного звонка:
Нежнее моря, путаней салата —
Из дерева, стекла и молока...

Моя страна со мною говорила,
Мирволила, журила, не прочла,
Но возмужавшего меня, как очевидца,
Заметила и вдруг, как чечевица,
Адмиралтейским лучиком зажгла.

Я должен жить, дыша и большевея,
Работать речь, не слушаясь — сам-друг,—
Я слышу в Арктике машин советских стук
Я помню все: немецких братьев шеи

И что лиловым гребнем Лорелеи
Садовник и палач наполнил свой досуг.

И не ограблен я, и не надломлен,
Но только что всего переогромлен...
Как Слово о Полку, струна моя туга,
И в голосе моем после удушья
Звучит земля — последнее оружье —
Сухая влажность черноземных га!

Май — июнь 1935

* * *

Еще мы жизнью полны в высшей мере,
Еще гуляют в городах Союза
Из мотыльковых, лапчатых материй
Китайчатые платьица и блузы.

Еще машинка номер первый едко
Каштановые собирает взятки,
И падают на чистую салфетку
Разумные, густеющие прядки.

Еще стрижей довольно и касаток,
Еще комета нас не очумила,
И пишут звездоносно и хвостато
Толковые, лиловые чернила.

24 мая 1935

* * *

Не мучнистой бабочкою белой
В землю я заемный прах верну —
Я хочу, чтоб мыслящее тело
Превратилось в улицу, в страну:
Позвоночное, обугленное тело,
Сознающее свою длину.

Возгласы темно-зеленой хвои,
С глубиной колодезной венки

Тянут жизнь и время дорогое,
Опершись на смертные станки —
Обручи краснознаменной хвои,
Азбучные, крупные венки!

Шли товарищи последнего призыва
По работе в жестких небесах,
Пронесла пехота молчаливо
Восклицанья ружей на плечах.

И зенитных тысячи орудий —
Карих то зрачков иль голубых —
Шли нестройно — люди, люди, люди,—
Кто же будет продолжать за них?

Весна — лето 1935, 30 мая 1936

* * *

На мертвых ресницах Исакий замерз
И барские улицы сини —
Шарманщика смерть, и медведицы ворс,
И чужие поленья в камине...

Уже выгоняет выжлятник-пожар
Линеек раскидистых стайку,
Несется земля — меблированный шар,—
И зеркало корчит всезнайку.

Площадками лестниц — разлад и туман,
Дыханье, дыханье и пенье,
И Шуберта в шубе застыл талисман —
Движенье, движенье, движенье...

3 июня 1935

* * *

Возможна ли женщине мертвой хвала?
Она в отчужденьи и в силе,
Ее чужелюбая власть привела
К насильственной жаркой могиле.

И твердые ласточки круглых бровей
Из гроба ко мне прилетели
Сказать, что они отлежались в своей
Холодной стокгольмской постели.

И прадеда скрипкой гордился твой род,
От шейки ее хорошея,
И ты раскрывала свой аленький рот,
Смеясь, итальянясь, русея... .

Я тяжкую память твою берегу —
Дичок, медвежонок, Миньона,—
Но мельниц колеса зимуют в снегу,
И стынет рожок почтальона.

3 июня 1935, 14 декабря 1936

* * *

Римских ночей полновесные слитки,
Юношу Гете манившее лоно,—
Пусть я в ответе, но не в убытке:
Есть многодонная жизнь вне закона.

Июнь 1935

* * *

Бежит волна-волной, волне хребет ломая,
Кидаясь на луну в невольничьей тоске,
И янычарская пучина молодая,
Неусыпленная столица волновая,
Кривеет, мечется и роет ров в песке.

А через воздух сумрачно-хлопчатый
Неначатой стены мерещатся зубцы,
А с пенных лестниц падают солдаты
Султанов мнительных — разбрызганы, разъяты —
И яд разносят хладные скопцы.

27 июня — июль 1935

* * *

Исполню дымчатый обряд:
В опале предо мной лежат
Морского лета земляники —
Двуискренние сердолики
И муравьиный брат — агат.

Но мне милей простой солдат
Морской пучины — серый, дикий,
Которому никто не рад.

Июль 1935

* * *

Из-за домов, из-за лесов,
Длинней товарных поездов,
Гуди за власть ночных трудов,
Садко заводов и садов.

Гуди, старик, дыши сладко́.
Как новгородский гость Садко
Под синим морем глубоко,
Гуди протяжно в глубь веков,
Гудок советских городов.

6—9 декабря 1936

РОЖДЕНИЕ УЛЫБКИ

Когда заулыбается дитя
С развилинкой и горечи и сласти,
Концы его улыбки, не шутя,
Уходят в океанское безвластье.

Ему непобедимо хорошо,
Углами губ оно играет в славе —
И радужный уже строчится шов,
Для бесконечного познанья яви.

На лапы из воды поднялся материк —
Улитки рта наплыв и приближенье,—
И бьет в глаза один атлантов миг
Под легкий наигрыш хвалы и удивленья.

9 декабря 1936—17 января 1937

* * *

Не у меня, не у тебя — у них
Вся сила окончаний родовых:
Их воздухом поющ тростник и скважист,
И с благодарностью улитки губ людских
Потянут на себя их дышащую тяжесть.

Нет имени у них. Войди в их хрящ —
И будешь ты наследником их княжеств.

И для людей, для их сердец живых,
Блуждая в их извилинах, развивах,
Изобразишь и наслажденья их,
И то, что мучит их,— в приливах и отливах.

9—27 декабря 1936

* * *

Нынче день какой-то желторотый —
Не могу его понять —
И глядят приморские ворота
В якорях, в туманах на меня...

Тихий, тихий по воде линялой
Ход военных кораблей,
И каналов узкие пеналы
Подо льдом еще черней.

9—28 декабря 1936

* * *

Детский рот жует свою мякину,
Улыбается, жуя,
Словно щеголь, голову закину
И щегла увижу я.

Хвостик лодкой, перья черно-желты,
Ниже клюва красным шит,
Черно-желтый, до чего щегол ты,
До чего ты щегловит!

Подивлюсь на свет еще немного,
На детей и на снега,—
Но улыбка неподдельна, как дорога,
Непослушна, не слуга.

9—13 декабря 1936

* * *

Мой щегол, я голову закину—
Поглядим на мир вдвоем:
Зимний день, колючий, как мякина,
Так ли жестк в зрачке твоем?

Хвостик лодкой, перья черно-желты,
Ниже клюва в краску влит,
Сознаешь ли—до чего щегол ты,
До чего ты щегловит?

Что за воздух у него в надлобье—
Черн и красен, желт и бел!
В обе стороны он в оба смотрит—в обе!—
Не посмотрит—улетел!

10—27 декабря 1936

* * *

Когда щегол в воздушной сдобе
Вдруг затрясется, сердцевит,—
Ученый плащик перчит злоба,
А чепчик—черным красовит.

Клевещет жердочка и планка,
Клевещет клетка сотней спиц,
И все на свете наизнанку,
И есть лесная Саламанка
Для непослушных умных птиц!

Декабрь (после 8-го) 1936

* * *

Внутри горы бездействует кумир
В покоях бережных, безбрежных и счастливых,
А с шеи каплет ожерелий жир,
Оберегая сна приливы и отливы.

Когда он мальчик был и с ним играл павлин,
Его индийской радугой кормили,
Давали молока из розоватых глин
И не жалели кошенили.

Кость усыпленная завязана узлом,
Очеловечены колени, руки, плечи,
Он улыбается своим тишайшим ртом,
Он мыслит костию и чувствует челом
И вспомнить силится свой облик человечий.

10—26 декабря 1936

* * *

Пластинкой тоненькой жиллета
Легко щетину спячки снять:
Полуукраинское лето
Давай с тобою вспоминать.

Вы, именитые вершины,
Дерев косматых именины,—
Честь Рюисдалевых картин,—
И на почин лишь куст один
В янтарь и мясо красных глин.

Земля бежит наверх. Приятно
Глядеть на чистые пласты
И быть хозяином объятной
Семипалатной простоты.

Его холмы к далекой цели
Стогами легкими летели,
Его дорог степной бульвар
Как цепь шатров в тенистый жар!
И на пожар рванулась ива,
А тополь встал самолюбиво...
Над желтым лагерем жнивья
Морозных дымов колея.

А Дон еще как полукровка,
Сребрясь и мелко и неловко,
Воды набравши с полковша,
Терялся, что моя душа,

Когда на жесткие постели
Ложилось бремя вечеров
И, выходя из берегов,
Деревья-бражники шумели...

15—27 декабря 1936

* * *

Сосновой рощицы закон:
Виол и арф семейный звон.
Стволы извилисты и голы,
Но все же — арфы и виолы.
Растут, как будто каждый ствол
На арфу начал гнуть Эол
И бросил, о корнях жалея,
Жалея ствол, жалея сил,
Виолу с арфой пробудил
Звучать в коре, коричневея.

16—18 декабря 1936

* * *

Эта область в темноводье —
Хляби хлеба, гроз ведро —
Не дворянское угодье —
Океанское ядро.
Я люблю ее рисунок —
Он на Африку похож.
Дайте свет — прозрачных лунок
На фанере не сочтешь.
— Анна, Россошь и Гремячье,—
Я твержу их имена,
Белизна снегов гагачья
Из вагонного окна.

Я кружил в полях совхозных —
Полон воздуха был рот,
Солнц подсолнечника грозных
Прямо в очи оборот.
Въехал ночью в рукавичный,
Снегом пышущий Тамбов,
Видел Цны — реки обычной —
Белый-белый бел-покров.
Трудодень земли знакомой
Я запомнил навсегда,
Воробьевского райкома
Не забуду никогда.

Где я? Что со мной дурного?
Степь беззимняя гола.
Это мачеха Кольцова,
Шутишь: родина щегла!
Только города немого
В гололедицу обзор,
Только чайника ночного
Сам с собою разговор...
В гуще воздуха степного
Перекличка поездов
Да украинская мова
Их растянутых гудков.

23—27 декабря 1936

* * *

Вехи дальние обоза
Сквозь стекло особняка.
От тепла и от мороза
Близкой кажется река.
И какой там лес — еловый?
Не еловый, а лиловый,
И какая там береза,
Не скажу наверняка —
Лишь чернил воздушных проза
Неразборчива, легка.

26 декабря 1936

* * *

Как подарок запоздалый
Ощутима мной зима:
Я люблю ее сначала
Неуверенный размах.

Хороша она испугом,
Как начало грозных дел,—
Перед всем безлесным кругом
Даже ворон оробел.

Но сильней всего непрочно-
Выпуклых голубизна —
Полукруглый лед височный
Речек, бающих без сна...

29—30 декабря 1936

* * *

Оттого все неудачи,
Что я вижу пред собой
Ростовщичий глаз кошачий —
Внук он зелени стоячей
И купец воды морской.

Там, где огненными щами
Угощается Кащей,
С говорящими камнями
Он на счастье ждет гостей —
Камни трогает клещами,
Щиплет золото гвоздей.

У него в покоях спящих
Кот живет не для игры —
У того в зрачках горящих
Клад зажмуренной горы,
И в зрачках тех леденящих,
Умоляющих, просящих,
Шароватых искр пиры.

29—30 декабря 1936

* * *

Твой зрачок в небесной корке,
Обращенный вдаль и ниц,
Защищают оговорки
Слабых, чующих ресниц.

Будет он обожествленный
Долго жить в родной стране —
Омут ока удивленный,—
Кинь его вдогонку мне.

Он глядит уже охотно
В мимолетные века —
Светлый, радужный, бесплотный,
Умоляющий пока.

2 января 1937

* * *

Улыбнись, ягненок гневный с Рафаэлева холста,—
На холсте уста вселенной, но она уже не та:

В легком воздухе свирели раствори жемчужин боль,
В синий, синий цвет синели океана въелась соль.

Цвет воздушного разбоя и пещерной густоты,
Складки бурного покоя на коленях разлиты,

На скале черствее хлеба — молодых тростинки рощ,
И плывет углами неба восхитительная мощь.

9 января 1937

* * *

Когда в ветвях понурых
Заводит чародей
Гнедых или каурых
Шушуканье мастей,—

Не хочет петь линючий
Ленивый богатырь —
И малый, и могучий
Зимующий снегирь,—

Под неба нависанье,
Под свод его бровей
В сиреневые сани
Усядусь поскорей.

9 января 1937

* * *

Я около Кольцова
Как сокол закольцован,
И нет ко мне гонца,
И дом мой без крыльца.

К ноге моей привязан
Сосновый синий бор,
Как вестник без указа
Распахнут кругозор.

В степи кочуют кочки,
И все идут, идут
Ночлеги, ночи, ночки —
Как бы слепых везут.

9 января 1937

* * *

Дрожжи мира дорогие:
Звуки, слезы и труды —
Ударенья дождевые
Закипающей беды
И потери звуковые —
Из какой вернуть руды?

В нищей памяти впервые
Чуешь вмятины слепые,
Медной полные воды,—
И идешь за ними следом,
Сам себе немил, неведом —
И слепой и поводырь...

12—18 января 1937

* * *

Влез бесенок в мокрой шерстке —
Ну, куда ему, куды? —
В подкопытные наперстки,
В торопливые следы:
По копейкам воздух версткий
Обирает с слободы.

Брызжет в зеркальцах дорога —
Утомленные следы
Постоят еще немного
Без покрова, без слюды...
Колесо брюзжит отлого —
Улеглось — и полбеды!

Скучно мне: мое прямое
Дело тараторит вкось —
По нему прошлось другое,
Надсмеялось, сбило ось.

12—18 января 1937

* * *

Еще не умер ты, еще ты не один,
Покуда с нищенкой-подругой
Ты наслаждаешься величием равнин
И мглой, и холодом, и вьюгой.

В роскошной бедности, в могучей нищете
Живи спокоен и утешен.
Благословенны дни и ночи те,
И сладкогласный труд безгрешен.

Несчастлив тот, кого, как тень его,
Пугает лай и ветер косит,
И беден тот, кто сам полуживой
У тени милостыню просит.

15—16 января 1937

* * *

В лицо морозу я гляжу один:
Он — никуда, я — ниоткуда,
И все утюжится, плоится без морщин
Равнины дышащее чудо.

А солнце щурится в крахмальной нищете —
Его прищур спокоен и утешен...
Десятизначные леса — почти что те...
И снег хрустит в глазах, как чистый хлеб, безгрешен.

16 января 1937

* * *

О, этот медленный, одышливый простор! —
Я им пресыщен до отказа,—
И отдышавшийся распахнут кругозор —
Повязку бы на оба глаза!

Уж лучше б вынес я песка слоистый нрав
На берегах зубчатой Камы:
Я б удержал ее застенчивый рукав,
Ее круги, края и ямы.

Я б с ней сработался — на век, на миг один —
Стремнин осадистых завистник,—
Я б слушал под корой текучих древесин
Ход кольцеванья волокнистый...

16 января 1937

* * *

Что делать нам с убитостью равнин,
С протяжным голодом их чуда?
Ведь то, что мы открытостью в них мним,
Мы сами видим, засыпая, зрим,
И все растет вопрос: куда они, откуда
И не ползет ли медленно по ним
Тот, о котором мы во сне кричим,—
Народов будущих Иуда?

16 января 1937

* * *

Не сравнивай: живущий несравним.
С каким-то ласковым испугом
Я соглашался с равенством равнин,
И неба круг мне был недугом.

Я обращался к воздуху-слуге,
Ждал от него услуги или вести,
И собирался плыть, и плавал по дуге
Неначинающихся путешествий.

Где больше неба мне — там я бродить готов,
И ясная тоска меня не отпускает
От молодых еще воронежских холмов
К всечеловеческим, яснеющим в Тоскане.

18 января 1937

* * *

Я нынче в паутине световой —
Черноволосой, светло-русой,—
Народу нужен свет и воздух голубой,
И нужен хлеб и снег Эльбруса.

И не с кем посоветоваться мне,
А сам найду его едва ли:
Таких прозрачных, плачущих камней
Нет ни в Крыму, ни на Урале.

Народу нужен стих таинственно-родной,
Чтоб от него он вечно просыпался
И льнянокудрою, каштановой волной —
Его звучаньем — умывался.

19 января 1937

* * *

Где связанный и пригвожденный стон?
Где Прометей — скалы подспорье и пособье?
А коршун где — и желтоглазый гон
Его когтей, летящих исподлобья?

Тому не быть: трагедий не вернуть,
Но эти наступающие губы —
Но эти губы вводят прямо в суть
Эсхила-грузчика, Софокла-лесоруба.

Он эхо и привет, он веха, нет — лемех.
Воздушно-каменный театр времен растущих
Встал на ноги, и все хотят увидеть всех —
Рожденных, гибельных и смерти не имущих.

19 января — 4 февраля 1937

* * *

Как землю где-нибудь небесный камень будит,
Упал опальный стих, не знающий отца.
Неумолимое — находка для творца —
Не может быть другим, никто его не судит.

20 января 1937

* * *

Слышу, слышу ранний лед,
Шелестящий под мостами,
Вспоминаю, как плывет
Светлый хмель над головами.

С черствых лестниц, с площадей
С угловатыми дворцами
Круг Флоренции своей
Алигьери пел мощней
Утомленными губами.

Так гранит зернистый тот
Тень моя грызет очами,
Видит ночью ряд колод,
Днем казавшихся домами.

Или тень баклуши бьет
И позевывает с вами,

Иль шумит среди людей,
Греясь их вином и небом,

И несладким кормит хлебом
Неотвязных лебедей.

21—22 января 1937

* * *

Люблю морозное дыханье
И пара зимнего признанье:
Я—это я, явь—это явь...

И мальчик, красный как фонарик,
Своих салазок государик
И заправила, мчится вплавь.

И я—в размолвке с миром, с волей—
Заразе саночек мирволю—
В сребристых скобках, в бахромах,—

И век бы падал векши легче,
И легче векши к мягкой речке —
Полнеба в валенках, в ногах...

24 января 1937

* * *

Средь народного шума и спеха,
На вокзалах и пристанях
Смотрит века могучая веха
И бровей начинается взмах.

Я узнал, он узнал, ты узнала,
А потом куда хочешь влеки —
В говорливые дебри вокзала,
В ожиданья у мощной реки.

Далеко теперь та стоянка,
Тот с водой кипяченой бак,
На цепочке кружка-жестянка
И глаза застилавший мрак.

Шла пермяцкого говора сила,
Пассажирская шла борьба,
И ласкала меня и сверлила
Со стены этих глаз журьба.

Много скрыто дел предстоящих
В наших летчиках и жнецах,
И в товарищах реках и чащах,
И в товарищах городах...

Не припомнить того, что было:
Губки жарки, слова черствы —
Занавеску белую било,
Несся шум железной листвы.

А на деле-то было тихо,
Только шел пароход по реке,
Да за кедром цвела гречиха,
Рыба шла на речном говорке.

И к нему, в его сердцевину
Я без пропуска в Кремль вошел,
Разорвав расстояний холстину,
Головою повинной тяжел...

Январь 1937

* * *

Если б меня наши враги взяли
И перестали со мной говорить люди,
Если б лишили меня всего в мире:
Права дышать и открывать двери
И утверждать, что бытие будет
И что народ, как судия, судит,—
Если б меня смели держать зверем,
Пищу мою на пол кидать стали б,—
Я не смолчу, не заглушу боли,
Но начерчу то, что чертить волен,
И, раскачав колокол стен голый
И разбудив вражеской тьмы угол,
Я запрягу десять волов в голос
И поведу руку во тьме плугом —
И в глубине сторожевой ночи
Чернорабочей вспыхнут земле очи,
И — в легион братских очей сжатый —
Я упаду тяжестью всей жатвы,
Сжатостью всей рвущейся вдаль клятвы —
И налетит пламенных лет стая,
Прошелестит спелой грозой Ленин,
И на земле, что избежит тленья,
Будет будить разум и жизнь Сталин.

(Первые числа) февраля — начало марта 1937

* * *

Куда мне деться в этом январе?
Открытый город сумасбродно цепок...
От замкнутых я, что ли, пьян дверей? —
И хочется мычать от всех замков и скрепок.

И переулков лающих чулки,
И улиц перекошенных чуланы —
И прячутся поспешно в уголки
И выбегают из углов угланы...

И в яму, в бородавчатую темь
Скольжу к обледенелой водокачке
И, спотыкаясь, мертвый воздух ем,
И разлетаются грачи в горячке —

А я за ними ахаю, крича
В какой-то мерзлый деревянный короб:
— Читателя! советчика! врача!
На лестнице колючей разговора б!

1 февраля 1937

* * *

Обороняет сон мою донскую сонь,
И разворачиваются черепах маневры —
Их быстроходная, взволнованная бронь
И любопытные ковры людского говора...

И в бой меня ведут понятные слова —
За оборону жизни, оборону
Страны-земли, где смерть уснет, как днем сова...
Стекло Москвы горит меж ребрами гранеными.

Необоримые кремлевские слова —
В них оборона обороны
И брони боевой — и бровь, и голова
Вместе с глазами полюбовно собраны.

И слушает земля — другие страны — бой,
Из хорового падающий короба:
— Рабу не быть рабом, рабе не быть рабой,—
И хор поет с часами рука об руку.

3—11 февраля 1937

* * *

Как светотени мученик Рембрандт,
Я глубоко ушел в немеющее время,
И резкость моего горящего ребра
Не охраняется ни сторожами теми,
Ни этим воином, что под грозою спят.

Простишь ли ты меня, великолепный брат
И мастер и отец черно-зеленой теми,—
Но око соколиного пера
И жаркие ларцы у полночи в гареме
Смущают не к добру, смущают без добра
Мехами сумрака взволнованное племя.

4 февраля 1937

* * *

Разрывы круглых бухт, и хрящ, и синева,
И парус медленный, что облаком продолжен,—
Я с вами разлучен, вас оценив едва:
Длинней органных фуг, горька морей трава —
Ложноволосая — и пахнет долгой ложью,
Железной нежностью хмелеет голова,
И ржавчина чуть-чуть отлогий берег гложет...
Что ж мне под голову другой песок подложен?
Ты, горловой Урал, плечистое Поволжье
Иль этот ровный край — вот все мои права,—
И полной грудью их вдыхать еще я должен.

4 февраля 1937

* * *

Еще он помнит башмаков износ —
Моих подметок стертое величье,
А я — его: как он разноголос,
Черноволос, с Давид-горой гранича.

Подновлены мелком или белком
Фисташковые улицы-пролазы:
Балкон — наклон — подкова — конь — балкон,
Дубки, чинары, медленные вязы...

И букв кудрявых женственная цепь
Хмельна для глаза в оболочке света,—
А город так горазд и так уходит в крепь
И в моложавое, стареющее лето.

7—11 февраля 1937

* * *

Пою, когда гортань сыра, душа — суха,
И в меру влажен взор, и не хитрит сознанье:
Здорово ли вино? Здоровы ли меха?
Здорово ли в крови Колхиды колыханье?
И грудь стесняется,— без языка — тиха:
Уже я не пою — поет мое дыханье —
И в горных ножнах слух, и голова глуха...

Песнь бескорыстная — сама себе хвала:
Утеха для друзей и для врагов — смола.

Песнь одноглазая, растущая из мха,—
Одноголосый дар охотничьего быта,—
Которую поют верхом и на верхах,
Держа дыханье вольно и открыто,
Заботясь лишь о том, чтоб честно и сердито
На свадьбу молодых доставить без греха.

8 февраля 1937

* * *

Вооруженный зреньем узких ос,
Сосущих ось земную, ось земную,
Я чую все, с чем свидеться пришлось,
И вспоминаю наизусть и всуе.

И не рисую я, и не пою,
И не вожу смычком черноголосым:
Я только в жизнь впиваюсь и люблю
Завидовать могучим, хитрым осам.

О, если б и меня когда-нибудь могло
Заставить — сон и смерть минуя —
Стрекало воздуха и летнее тепло
Услышать ось земную, ось земную...

8 февраля 1937

* * *

Были очи острее точимой косы —
По зегзице в зенице и по капле росы,—

И едва научились они во весь рост
Различать одинокое множество звезд.

9 февраля 1937

* * *

Как дерево и медь — Фаворского полет,—
В дощатом воздухе мы с временем соседи,
И вместе нас ведет слоистый флот
Распиленных дубов и яворовой меди.

И в кольцах сердится еще смола, сочась,
Но разве сердце — лишь испуганное мясо?
Я сердцем виноват — и сердцевины часть
До бесконечности расширенного часа.

Час, насыщающий бесчисленных друзей,
Час грозных площадей с счастливыми глазами...
Я обведу еще глазами площадь всей
Этой площади с ее знамен лесами.

11 февраля 1937

* * *

Я в львиный ров и в крепость погружен
И опускаюсь ниже, ниже, ниже
Под этих звуков ливень дрожжевой —
Сильнее льва, мощнее Пятикнижья.

Как близко, близко твой подходит зов —
До заповедей роды и первины —
Океанийских низка жемчугов
И таитянок кроткие корзины...

Карающего пенья материк,
Густого голоса низинами надвинься!
Богатых дочерей дикарско-сладкий лик
Не стоит твоего — праматери — мизинца.

Неограниченна еще моя пора:
И я сопровождал восторг вселенский,
Как вполголосная органная игра
Сопровождает голос женский.

12 февраля 1937

СТИХИ О НЕИЗВЕСТНОМ СОЛДАТЕ

Этот воздух пусть будет свидетелем,
Дальнобойное сердце его,
И в землянках всеядный и деятельный
Океан без окна — вещество...

До чего эти звезды изветливы!
Все им нужно глядеть — для чего?
В осужденье судьи и свидетеля,
В океан без окна, вещество.

Помнит дождь, неприветливый сеятель,—
Безымянная манна его,—
Как лесистые крестики метили
Океан или клин боевой.

Будут люди холодные, хилые
Убивать, холодать, голодать
И в своей знаменитой могиле
Неизвестный положен солдат.

Научи меня, ласточка хилая,
Разучившаяся летать,
Как мне с этой воздушной могилой
Без руля и крыла совладать.

И за Лермонтова Михаила
Я отдам тебе строгий отчет,
Как сутулого учит могила
И воздушная яма влечет.

Шевелящимися виноградинами
Угрожают нам эти миры
И висят городами украденными,
Золотыми обмолвками, ябедами,
Ядовитого холода ягодами —
Растяжимых созвездий шатры,
Золотые созвездий жиры...

Сквозь эфир десятично-означенный
Свет размолотых в луч скоростей
Начинает число, опрозрачненный
Светлой болью и молью нулей.

И за полем полей поле новое
Треугольным летит журавлем,
Весть летит светопыльной обновою,
И от битвы вчерашней светло.

Весть летит светопыльной обновою:
— Я не Лейпциг, я не Ватерлоо,
Я не Битва Народов, я новое,
От меня будет свету светло.

Аравийское месиво, крошево,
Свет размолотых в луч скоростей,
И своими косыми подошвами
Луч стоит на сетчатке моей.

Этот воздух пусть будет свидетелем —
~~Безымянная манна его~~ —
Сострадательный темный,
Океан без души, вещество...

Шевелящимися виноградинами
Угрожают нам эти миры
И висят городами украденными,
Золотыми обмолвками, ябедами,
Ядовитого холода ягодами
Растяжимых созвездий шатры —
Золотые созвездий жиры...

Аравийское месиво, крошево
Начинающих смерть скоростей —
Доброй ночи! Всего им хорошего
В холодеющем Южном Кресте

1 марта 37 г.
В.

Миллионы убитых задешево,

Черновик одной из редакций
«Стихов о неизвестном солдате» (ЦГАЛИ)

Миллионы убитых задешево
Протоптали тропу в пустоте,—
Доброй ночи! всего им хорошего
От лица земляных крепостей!

Неподкупное небо окопное —
Небо крупных оптовых смертей,—
За тобой, от тебя, целокупное,
Я губами несусь в темноте —

За воронки, за насыпи, осыпи,
По которым он медлил и мглил:
Развороченных — пасмурный, оспенный
И приниженный — гений могил.

Хорошо умирает пехота,
И поет хорошо хор ночной
Над улыбкой приплюснутой Швейка,
И над птичьим копьем Дон-Кихота,
И над рыцарской птичьей плюсной.

И дружи́т с человеком калека —
Им обоим найдется работа,
И стучит по околицам века
Костылей деревянных семейка,—
Эй, товарищество, шар земной!

Для того ль должен череп развиться
Во весь лоб — от виска до виска,—
Чтоб в его дорогие глазницы
Не могли не вливаться войска?

Развивается череп от жизни
Во весь лоб — от виска до виска,—
Чистотой своих швов он дразнит себя,
Понимающим куполом яснится,
Мыслью пенится, сам себе снится,—
Чаша чаш и отчизна отчизне,
Звездным рубчиком шитый чепец,
Чепчик счастья — Шекспира отец...

Ясность ясеневая, зоркость яворовая
Чуть-чуть красная мчится в свой дом,
Словно обмороками затоваривая
Оба неба с их тусклым огнем.

Нам союзно лишь то, что избыточно,
Впереди не провал, а промер,
И бороться за воздух прожиточный —
Эта слава другим не в пример.

И сознанье свое затоваривая
Полуобморочным бытием,
Я ль без выбора пью это варево,
Свою голову ем под огнем?

Для того ль заготовлена тара
Обаянья в пространстве пустом,
Чтобы белые звезды обратно
Чуть-чуть красные мчались в свой дом?

Слышишь, мачеха звездного табора,
Ночь, что будет сейчас и потом?

Наливаются кровью аорты,
И звучит по рядам шепотком:
— Я рожден в девяносто четвертом,
Я рожден в девяносто втором...—
И в кулак зажимая истертый
Год рожденья — с гурьбой и гуртом
Я шепчу обескровленным ртом:
— Я рожден в ночь с второго на третье
Января в девяносто одном
Ненадежном году — и столетья
Окружают меня огнем.

1—15 марта 1937

* * *

Я молю, как жалости и милости,
Франция, твоей земли и жимолости,

Правды горлинок твоих и кривды карликовых
Виноградарей в их разгородках марлевых.

В легком декабре твой воздух стриженый
Индевеет — денежный, обиженный...

Но фиалка и в тюрьме: с ума сойти в безбрежности!
Свищет песенка — насмешница, небрежница,—

Где бурлила, королей смывая,
Улица июльская кривая...

А теперь в Париже, в Шартре, в Арле
Государит добрый Чаплин Чарли —

В океанском котелке с растерянною точностью
На шарнирах он куражится с цветочницей...

Там, где с розой на груди в двухбашенной испарине
Паутины каменеет шаль,
Жаль, что карусель воздушно-благодарная
Оборачивается, городом дыша,—

Наклони свою шею, безбожница
С золотыми глазами козы,
И кривыми картавыми ножницами
Купы скаредных роз раздразни.

3 марта 1937

РЕЙМС — ЛАОН

Я видел озеро, стоявшее отвесно,—
С разрезанною розой в колесе
Играли рыбы, дом построив пресный.
Лиса и лев боролись в челноке.

Глазели внутрь трех лающих порталов
Недуги — недруги других невскрытых дуг.
Фиалковый пролет газель перебежала,
И башнями скала вздохнула вдруг,—

И, влагой напоен, восстал песчаник честный,
И средь ремесленного города-сверчка
Мальчишка-океан встает из речки пресной
И чашками воды швыряет в облака.

4 марта 1937

* * *

На доске малиновой, червонной,
На кону горы крутопоклонной,—
Втридорога снегом напоенный,
Высоко занесся санный, сонный
Полу-город, полу-берег конный,
В сбрую красных углей запряженный,
Желтою мастикой утепленный
И перегоревший в сахар жженый.
Не ищи в нем зимних масел рая,
Конькобежного голландского уклона,
Не раскаркается здесь веселая, кривая,
Карличья, в ушастых шапках стая,—
И, меня сравненьем не смущая,
Срежь рисунок мой, в дорогу крепкую влюбленный,
Как сухую, но живую лапу клена
Дым уносит, на ходулях убегая...

6 марта 1937

* * *

Я скажу это начерно, шопотом,
Потому что еще не пора:
Достигается потом и опытом
Безотчетного неба игра.

И под временным небом чистилища
Забываем мы часто о том,
Что счастливое небохранилище —
Раздвижной и прижизненный дом.

9 марта 1937

* * *

Небо вечери в стену влюбилось,—
Все изрублено светом рубцов —
Провалилось в нее, осветилось,
Превратилось в тринадцать голов.

Вот оно — мое небо ночное,
Пред которым как мальчик стою:
Холодеет спина, очи ноют.
Стенобитную твердь я ловлю —

И под каждым ударом тарана
Осыпаются звезды без глав:
Той же росписи новые раны —
Неоконченной вечности мгла...

9 марта 1937

* * *

Заблудился я в небе — что делать?
Тот, кому оно близко,— ответь!
Легче было вам, Дантовых девять
Атлетических дисков, звенеть.

Не разнять меня с жизнью: ей снится
Убивать и сейчас же ласкать,
Чтобы в уши, в глаза и в глазницы
Флорентийская била тоска.

Не кладите же мне, не кладите
Остроласковый лавр на виски,
Лучше сердце мое разорвите
Вы на синего звона куски...

И когда я усну, отслуживши,
Всех живущих прижизненный друг,
Он раздастся и глубже и выше —
Отклик неба — в остывшую грудь.

9—19 марта 1937

* * *

Заблудился я в небе — что делать?
Тот, кому оно близко,— ответь!
Легче было вам, Дантовых девять
Атлетических дисков, звенеть,
Задыхаться, чернеть, голубеть.

Если я не вчерашний, не зряшний,—
Ты, который стоишь надо мной,
Если ты виночерпий и чашник —
Дай мне силу без пены пустой
Выпить здравье кружащейся башни —
Рукопашной лазури шальной.

Голубятни, черноты, скворешни,
Самых синих теней образцы,—
Лед весенний, лед вышний, лед вешний —
Облака, обаянья борцы,—
Тише: тучу ведут под уздцы.

9—19 марта 1937

* * *

Может быть, это точка безумия,
Может быть, это совесть твоя —
Узел жизни, в котором мы узнаны
И развязаны для бытия.

Так соборы кристаллов сверхжизненных
Добросовестный свет-паучок,
Распуская на ребра, их сызнова
Собирает в единый пучок.

Чистых линий пучки благодарные,
Направляемы тихим лучом,
Соберутся, сойдутся когда-нибудь,
Словно гости с открытым челом,—

Только здесь, на земле, а не на небе,
Как в наполненный музыкой дом,—
Только их не спугнуть, не изранить бы —
Хорошо, если мы доживем...

То, что я говорю, мне прости...
Тихо-тихо его мне прочти...

15 марта 1937

РИМ

Где лягушки фонтанов, расквакавшись
И разбрызгавшись, больше не спят
И, однажды проснувшись, расплакавшись,
Во всю мочь своих глоток и раковин
Город, любящий сильным поддакивать,
Земноводной водою кропят,—

Древность легкая, летняя, наглая,
С жадным взглядом и плоской ступней,
Словно мост ненарушенный Ангела
В плоскоступьи над желтой водой,—

Голубой, онелепленный, пепельный,
В барабанном наросте домов —
Город, ласточкой купола лепленный
Из проулков и из сквозняков,—
Превратили в убийства питомник
Вы, коричневой крови наемники,
Италийские чернорубашечники,
Мертвых цезарей злые щенки...

Все твои, Микель Анджело, сироты,
Облеченные в камень и стыд,—
Ночь, сырая от слез, и невинный
Молодой, легконогий Давид,
И постель, на которой несдвинутый
Моисей водопадом лежит,—
Мощь свободная и мера львиная
В усыпленьи и в рабстве молчит.

И морщинистых лестниц уступки —
В площадь льющихся лестничных рек,—
Чтоб звучали шаги, как поступ и,
Поднял медленный Рим-человек,
А не для искалеченных нег,
Как морские ленивые губки.

Ямы Форума заново вырыты
И открыты ворота для Ирода,
И над Римом диктатора-выродка
Подбородок тяжелый висит.

16 марта 1937

* * *

Чтоб, приятель и ветра и капель,
Сохранил их песчаник внутри,
Нацарапали множество цапель
И бутылок в бутылках зари.

Украшался отборной собачиной
Египтян государственный стыд,
Мертвецов наделял всякой всячиной
И торчит пустячком пирамид.

То ли дело любимец мой кровный,
Утешительно-грешный певец,—
Еще слышен твой скрежет зубовный,
Беззаботного права истец...

Размотавший на два завещанья
Слабовольных имуществ клубок
И в прощанье отдав, в верещанье
Мир, который как череп глубок;

Рядом с готикой жил озоруючи
И плевал на паучьи права
Наглый школьник и ангел ворующий,
Несравненный Виллон Франсуа.

Он разбойник небесного клира,
Рядом с ним не зазорно сидеть:
И пред самой кончиною мира
Будут жаворонки звенеть.

18 марта 1937

КУВШИН

Длинной жажды должник виноватый,
Мудрый сводник вина и воды,—
На боках твоих пляшут козлята
И под музыку зреют плоды.

Флейты свищут, клевещут и злятся,
Что беда на твоем ободу
Черно-красном — и некому взяться
За тебя, чтоб поправить беду.

21 марта 1937

* * *

Гончарами велик остров синий —
Крит зеленый, — запекся их дар
В землю звонкую: слышишь дельфиньих
Плавников их подземный удар?

Это море легко на помине
В осчастливленной обжигом глине,
И сосуда студеная власть
Раскололась на море и страсть.

Ты отдай мне мое, остров синий,
Крит летучий, отдай мне мой труд
И сосцами текучей богини
Воскорми обожженный сосуд.

Это было и пелось, синея,
Много задолго до Одиссея,
До того, как еду и питье
Называли «моя» и «мое».

Выздоравливай же, излучайся,
Волоокого неба звезда
И летучая рыба — случайность
И вода, говорящая «да».

<21 марта> 1937

* * *

О, как же я хочу,
Не чуемый никем,
Лететь вослед лучу,
Где нет меня совсем.

А ты в кругу лучись —
Другого счастья нет —
И у звезды учись
Тому, что значит свет.

Он только тем и луч,
Он только тем и свет,
Что шопотом могуч
И лепетом согрет.

И я тебе хочу
Сказать, что я шепчу,
Что шопотом лучу
Тебя, дитя, вручу...

23 марта — начало мая 1937

* * *

Нереиды мои, нереиды,
Вам рыданья — еда и питье,
Дочерям средиземной обиды
Состраданье обидно мое.

Март 1937

* * *

Флейты греческой тэта и йота —
Словно ей не хватало молвы —
Неизваянная, без отчета,
Зрела, маялась, шла через рвы.

И ее невозможно покинуть,
Стиснув зубы, ее не унять,
И в слова языком не продвинуть,
И губами ее не размять.

А флейтист не узнает покоя:
Ему кажется, что он один,
Что когда-то он море родное
Из сиреневых вылепил глин...

Звонким шопотом честолюбивым,
Вспоминающих топотом губ
Он торопится быть бережливым,
Емлет звуки — опрятен и скуп.

Вслед за ним мы его не повторим,
Комья глины в ладонях моря,
И когда я наполнился морем —
Мором стала мне мера моя...

И свои-то мне губы не любы —
И убийство на том же корню —
И невольно на убыль, на убыль
Равноденствие флейты клоню.

7 апреля 1937

* * *

Как по улицам Киева-Вия
Ищет мужа не знаю чья жинка,
И на щеки ее восковые
Ни одна не скатилась слезинка.

Не гадают цыганочки кралям,
Не играют в Купеческом скрипки,
На Крещатике лошади пали,
Пахнут смертью господские Липки.

Уходили с последним трамваем
Прямо за город красноармейцы,
И шинель прокричала сырая:
— Мы вернемся еще — разумейте...

Апрель 1937

* * *

Я к губам подношу эту зелень —
Эту клейкую клятву листов —
Эту клятвопреступную землю:
Мать подснежников, кленов, дубков.

Я к губам подношу эту зелень
Эту клейкую клятву листов —
Эту клятвопреступную землю:
Мать подснежников кленов дубков.

Погляди как я слепну и крепну
Подчиняясь смиренным корням
И не слишком-ли великолепно
От гремучего парка глазам

А квакуши как шарики ртути
Голосами сцепляются в шар
И становятся ветками — прутья
И молочною выдумкой пар.

Апр. 37.

В.

Автограф стихотворения
«Я к губам подношу эту зелень...»
(Архив О. Э. Мандельштама)

Погляди, как я крепну и слепну,
Подчиняясь смиренным корням,
И не слишком ли великолепно
От гремучего парка глазам?

А квакуши, как шарики ртути,
Голосами сцепляются в шар,
И становятся ветками прутья
И молочною выдумкой пар.

30 апреля 1937

* * *

Клейкой клятвой липнут почки,
Вот звезда скатилась:
Это мать сказала дочке,
Чтоб не торопилась.

— Подожди,— шепнула внятно
Неба половина,
И ответил шелест скатный:
— Мне бы только сына...

Стану я совсем другою
Жизнью величаться.
Будет зыбка под ногою
Легкою качаться.

Будет муж прямой и дикий
Кротким и послушным,
Без него, как в черной книге,
Страшно в мире душном...

Подмигнув, на полуслове
Запнулась зарница.
Старший брат нахмурил брови,
Жалится сестрица.

Ветер бархатный крыластый
Дует в дудку тоже:
Чтобы мальчик был лобастый,
На двоих похожий.

Спросит гром своих знакомых:
— Вы, грома, видали,
Чтобы липу до черемух
Замуж выдавали?

Да из свежих одиночеств
Леса — крики пташьи.
Свахи-птицы свищут почесть
Льстивую Наташе.

И к губам такие липнут
Клятвы, что по чести
В конском топоте погибнуть
Мчатся очи вместе.

Все ее торопят часто:
— Ясная Наташа,
Выходи, за наше счастье,
За здоровье наше!

2 мая 1937

* * *

На меня нацелилась груша да черемуха —
Силою рассыпчатой бьет меня без промаха.

Кисти вместе с звездами, звезды вместе с кистями,—
Что за двоевластье там? В чьем соцветьи истина?

С цвету ли, с размаха ли бьет воздушно-целыми
В воздух убиваемый кистенями белыми.

И двойного запаха сладость неуживчива:
Борется и тянется — смешана, обрывчива.

4 мая 1937

<Стихи к Н. Штемпель>

I

К пустой земле невольно припадая,
Неравномерной сладкою походкой
Она идет — чуть-чуть опережая
Подругу быструю и юношу-погодка.
Ее влечет стесненная свобода
Одушевляющего недостатка,
И, может статься, ясная догадка
В ее походке хочет задержаться —
О том, что эта вешняя погода
Для нас — праматерь гробового свода,
И это будет вечно начинаться.

II

Есть женщины сырой земле родные,
И каждый шаг их — гулкое рыданье,
Сопровождать воскресших и впервые
Приветствовать умерших — их призванье.
И ласки требовать от них преступно,
И расставаться с ними непосильно.
Сегодня — ангел, завтра — червь могильный,
А послезавтра только очертанье...
Что было поступь — станет недоступно...
Цветы бессмертны, небо целокупно,
И все, что будет,— только обещанье.

4 мая 1937

Стихотворения разных лет

* * *

Среди лесов, унылых и заброшенных,
Пусть остается хлеб в полях некошеным!
Мы ждем гостей незваных и непрошеных,
    Мы ждем гостей!

Пускай гниют колосья недозрелые!
Они придут на нивы пожелтелые,
И не сносить нам, честные и смелые,
    Своих голов!

Они растопчут нивы золотистые,
Они разроют кладбища тенистые,
Потом развяжет их уста нечистые
    Кровавый хмель!

Они ворвутся в избы почернелые.
Зажгут пожар, хмельные, озверелые...
Не остановят их седины старца белые,
    Ни детский плач!

Среди лесов, унылых и заброшенных,
Мы оставляем хлеб в полях некошеным.
Мы ждем гостей незваных и непрошеных.
    Своих детей!

1906

* * *

Тянется лесом дороженька пыльная,
Тихо и пусто вокруг.
Родина, выплакав слезы обильные,
Спит, и во сне, как рабыня бессильная,
Ждет неизведанных мук.

Вот задрожали березы плакучие
И встрепенулися вдруг,
Тени легли на дорогу сыпучую:
Что-то ползет, надвигается тучею,
Что-то наводит испуг...

С гордой осанкою, с лицами сытыми...
Ноги торчат в стременах.
Серую пыль поднимают копытами
И колеи оставляют изрытыми...
Все на холеных конях.

Нет им конца. Заостренными пиками
В солнечном свете пестрят.
Воздух наполнили песней и криками,
И огоньками звериными, дикими
Черные очи горят...

Прочь! Не тревожьте поддельным веселием
Мертвого, рабского сна.
Скоро порадуют вас новоселием,
Хлебом и солью, крестьянским изделием...
Крепче нажать стремена!

Скоро столкнется с звериными силами
Дело великой любви!
Скоро покроется поле могилами,
Синие пики обнимутся с вилами
И обагрятся в крови!

1906

* * *

В непринужденности творящего обмена,
Суровость Тютчева — с ребячеством Верлэна —
Скажите — кто бы мог искусно сочетать,
Соединению придав свою печать?
А русскому стиху так свойственно величье,
Где вешний поцелуй и щебетанье птичье!

1908

* * *

О, красавица Сайма, ты лодку мою колыхала,
Колыхала мой челн, челн подвижный, игривый и острый.
В водном плеске душа колыбельную негу слыхала,
И поодаль стояли пустынные скалы, как сестры.
Отовсюду звучала старинная песнь — Калевала:
Песнь железа и камня о скорбном порыве титана.
И песчаная отмель — добыча вечернего вала,—
Как невеста, белела на пурпуре водного стана.
Как от пьяного солнца бесшумные падали стрелы
И на дно опускались и тихое дно зажигали,
Как с небесного древа клонилось, как плод перезрелый,
Слишком яркое солнце и первые звезды мигали,
Я причалил и вышел на берег седой и кудрявый;
Я не знаю, как долго, не знаю, кому я молился...
Неоглядная Сайма струилась потоками лавы,
Белый пар над водою тихонько вставал и клубился.

1908

* * *

Мой тихий сон, мой сон ежеминутный —
Невидимый, завороженный лес,
Где носится какой-то шорох смутный,
Как дивный шелест шелковых завес.

В безумных встречах и туманных спорах,
На перекрестке удивленных глаз
Невидимый и непонятный шорох
Под пеплом вспыхнул и уже погас.

И как туманом одевает лица,
И слово замирает на устах,
И кажется — испуганная птица
Метнулась в вечереющих кустах.

1908

* * *

Из полутемной залы, вдруг,
Ты выскользнула в легкой шали —
Мы никому не помешали,
Мы не будили спящих слуг...

1908

* * *

Довольно лукавить: я знаю,
Что мне суждено умереть;
И я ничего не скрываю:
От Музы мне тайн не иметь...

И странно: мне любо сознанье,
Что я не умею дышать;
Туманное очарованье
И таинство есть — умирать...

Я в зыбке качаюсь дремотно,
И мудро безмолвствую я:
Решается бесповоротно
Грядущая вечность моя!

Конец 1908 — начало 1909

* * *

Здесь отвратительные жабы
В густую падают траву.
Когда б не смерть, то никогда бы
Мне не узнать, что я живу.

Вам до меня какое дело,
Земная жизнь и красота?
А та напомнить мне сумела,
Кто́ я и кто́ моя мечта.

1909

* * *

Сквозь восковую занавесь,
Что нежно так сквозит,
Кустарник из тумана весь
Заплаканный глядит.

Простор, канвой окутанный,
Безжизненней кулис,
И месяц, весь опутанный,
Беспомощно повис.

Темнее занавеситься,
Все небо охватить
И пойманного месяца
Совсем не отпустить.

1909

ПИЛИГРИМ

Слишком легким плащом одетый,
Повторяю свои обеты.

Ветер треплет края одежды —
Не оставить ли нам надежды?

Плащ холодный — пускай скитальцы
Безотчетно сжимают пальцы.

Ветер веет неутомимо —
Веет вечно и веет мимо.

1909

* * *

В морозном воздухе растаял легкий дым,
И я, печальною свободою томим,
Хотел бы вознестись в холодном, тихом гимне,
Исчезнуть навсегда, но суждено идти мне

По снежной улице, в вечерний этот час
Собачий слышен лай и запад не погас
И попадаются прохожие навстречу...
Не говори со мной! Что я тебе отвечу?

1909

* * *

В безветрии моих садов
Искуственная никнет роза.
Над ней не тяготит угроза
Неизрекаемых часов.

В юдоли дольней бытия
Она участвует невольно;
Над нею небо безглагольно
И ясно,— и вокруг нея

Немногое, на чем печать
Моих пугливых вдохновений
И трепетных прикосновений,
Привыкших только отмечать.

1909

* * *

Истончается тонкий тлен —
Фиолетовый гобелен,

К нам — на воды и на леса —
Опускаются небеса.

Нерешительная рука
Эти вывела облака.

И печальный встречает взор
Отуманенный их узор.

Недоволен стою и тих
Я, создатель миров моих,—

Где искусственны небеса
И хрустальная спит роса.

1909

* * *

Ты улыбаешься кому,
О, путешественник веселый?
Тебе неведомые долы
Благословляешь почему?

Никто тебя не проведет
По зеленеющим долинам
И рокотаньем соловьиным
Никто тебя не позовет,—

Когда, закутанный плащом,
Не согревающим, но милым,
К повелевающим светилам
Смиренным возлетишь лучом.

1909

* * *

В просторах сумеречной залы
Почтительная тишина.
Как в ожидании вина,
Пустые зыблются кристаллы;

Окровавленными в лучах
Вытягивая безнадежно
Уста, открывшиеся нежно
На целомудренных стеблях;

Смотрите: мы упоены
Вином, которого не влили.
Что может быть слабее лилий
И сладостнее тишины?

1909

* * *

В холодных переливах лир
Какая замирает осень!
Как сладостен и как несносен
Ее золотострунный клир!

Она поет в церковных хорах
И в монастырских вечерах
И, рассыпая в урны прах,
Печатает вино в амфорах.

Как успокоенный сосуд
С уже отстоенным раствором,
Духовное — доступно взорам,
И очертания живут.

Колосья — так недавно сжаты,
Рядами ровными лежат;
И пальцы тонкие дрожат,
К таким же, как они, прижаты.

1909

* * *

Озарены луной ночевья
Бесшумной мыши полевой;
Прозрачными стоят деревья,
Овеянные темнотой,—

Когда рябина, развивая
Листы, которые умрут,
Завидует, перебирая
Их выхоленный изумруд,

Печальной участи скитальцев
И нежной участи детей;
И тысячи зеленых пальцев
Колеблет множество ветвей.

1909

* * *

Твоя веселая нежность
Смутила меня:
К чему печальные речи,
Когда глаза
Горят, как свечи,
Среди белого дня?

Среди белого дня —
И те далече —
Одна слеза,
Воспоминание встречи,—
И, плечи клоня,
Приподымает их нежность.

1909

* * *

Не говорите мне о вечности —
Я не могу ее вместить.
Но как же вечность не простить
Моей любви, моей беспечности?

Я слышу, как она растет
И полуночным валом катится,
Но — слишком дорого поплатится,
Кто слишком близко подойдет.

И тихим отголоскам шума я
Издалека бываю рад —
Ее пенящихся громад,—
О милом и ничтожном думая.

1909

* * *

На влажный камень возведенный,
Амур, печальный и нагой,
Своей младенческой ногой
Переступает — удивленный

Тому, что в мире старость есть —
Зеленый мох и влажный камень.
И сердца незаконный пламень —
Его ребяческая месть.

И начинает ветер грубый
В наивные долины дуть:
Нельзя достаточно сомкнуть
Свои страдальческие губы.

1909

* * *

Бесшумное веретено
Отпущено моей рукою.
И — мною ли оживлено —
Переливается оно
Безостановочной волною —
Веретено.

Все одинаково темно;
Все в мире переплетено
Моею собственной рукою;
И, непрерывно и одно,
Обуреваемое мною
Остановить мне не дано —
Веретено.

1909

* * *

Если утро зимнее темно,
То холодное твое окно
Выглядит как старое панно:

Зéленеет плющ перед окном;
И стоят, под ледяным стеклом,
Тихие деревья под чехлом —

Ото всех ветров защищены,
Ото всяких бед ограждены
И ветвями переплетены.

Полусвет становится лучист.
Перед самой рамой — шелковист —
Содрогается последний лист.

1909

* * *

Пустует место. Вечер длится,
Твоим отсутствием томим.
Назначенный устам твоим
Напиток на столе дымится.

Так ворожащими шагами
Пустынницы не подойдешь;
И на стекле не проведешь
Узора спящими губами;

Напрасно резвые извивы —
Покуда он еще дымит —
В пустынном воздухе чертит
Напиток долготерпеливый.

1909

* * *

В смиренномудрых высотах
Зажглись осенние Плеяды.
И нету никакой отрады,
И нету горечи в мирах.

Во всем однообразный смысл
И совершается свобода:
Не воплощает ли природа
Гармонию высоких чисел?

Но выпал снег — и нагота
Деревьев траурною стала;
Напрасно вечером зияла
Небес златая пустота;

И белый, черный, золотой —
Печальнейшее из созвучий —
Отозвалося неминучей
И окончательной зимой.

1909

* * *

Дыханье вещее в стихах моих
Животворящего их духа,
Ты прикасаешься сердец каких,
Какого достигаешь слуха?

Или пустыннее напева ты
Тех раковин, в песке поющих,
Что круг очерченной им красоты
Не разомкнули для живущих?

1909

* * *

Нету иного пути,
Как через руку твою,—
Как же иначе найти
Милую землю мою?

Плыть к дорогим берегам
Если захочешь помочь,
Руку приблизив к устам,
Не отнимай ее прочь.

Тонкие пальцы дрожат,
Хрупкое тело живет:
Лодка скользящая над
Тихою бездною вод.

1909

* * *

Что музыка нежных
Моих славословий
И волны любови
В напевах мятежных,

Когда мне оттуда
Протянуты руки,
Откуда и звуки
И волны откуда,—

И сумерки тканей
Пронизаны телом—
В сиянии белом
Твоих трепетаний?

1909

* * *

На темном небе, как узор,
Деревья траурные вышиты.
Зачем же выше и все выше ты
Возводишь изумленный взор?

— Вверху—такая темнота,—
Ты скажешь,—время опрокинула
И, словно ночь, на день нахлынула
Холмов холодная черта.

Высоких, неживых дерев
Темнеющее рвется кружево:
О, месяц, только ты не суживай
Серпа, внезапно почернев!

1909

* * *

Где вырывается из плена
Потока шумное стекло,
Клубящаяся стынет пена,
Как лебединое крыло.

О, время, завистью не мучай
Того, кто вовремя застыл.
Нас пеною воздвигнул случай
И кружевом соединил.

1910

* * *

Когда мозаик никнут травы
И церковь гулкая пуста,
Я в темноте, как змей лукавый,
Влачусь к подножию Креста.

И пью монашескую нежность
В сосредоточенных сердцах,
Как кипариса безнадежность
В неумолимых высотах.

Люблю изогнутые брови
И краску на лице Святых,
И пятна золота и крови
На теле статуй восковых.

Быть может, только призрак плоти
Обманывает нас в мечтах,
Просвечивая меж лохмотий,
И дышит в роковых страстях.

Начало 1910

* * *

Под грозовыми облаками
Несется клекот вещих птиц:
Довольно огненных страниц
Уж перевернуто веками!

В священном страхе тварь живет —
И каждый совершил душою,
Как ласточка перед грозою,
Неописуемый полет.

Когда же солнце вас расплавит,
Серебряные облака,
И будет вышина легка,
И крылья тишина расправит?

1910

* * *

Единственной отрадой
Отныне сердцу дан —
Неутомимо падай,
Таинственный фонтан.

Высокими снопами
Взлетай и упадай
И всеми голосами
Вдруг — сразу умолкай.

Но ризой думы важной
Всю душу мне одень,
Как лиственницы влажно-
Трепещущая сень.

1910

* * *

Над алтарем дымящихся зыбей
Приносит жертву кроткий бог морей.

Глухое море, как вино, кипит.
Над морем солнце, как орел, дрожит,

И только стелется морской туман,
И раздается тишины тимпан;

И только небо сердцем голубым
Усыновляет моря белый дым.

И шире океан, когда уснул,
И, сдержанный, величественней гул;

И в небесах, торжествен и тяжел,
Как из металла вылитый орел.

1910

* * *

Когда укор колоколов
Нахлынет с древних колоколен,
И самый воздух гулом болен,
И нету ни молитв, ни слов —

Я уничтожен, заглушен.
Вино, и крепче и тяжеле,
Сердечного коснулось хмеля —
И снова я не утолен.

Я не хочу моих святынь,
Мои обеты я нарушу:
И мне переполняет душу
Неизъяснимая полынь.

1910

* * *

Мне стало страшно жизнь отжить —
И с дерева, как лист, отпрянуть,
И ничего не полюбить,
И безымянным камнем кануть;

И в пустоте, как на кресте,
Живую душу распиная,
Как Моисей на высоте,
Исчезнуть в облаке Синая.

И я слежу — со всем живым
Меня связующие нити,
И бытия узорный дым
На мраморной сличаю плите;

И содроганья теплых птиц
Улавливаю через сети,
И с истлевающих страниц
Притягиваю прах столетий.

1910

* * *

Я вижу каменное небо
Над тусклой паутиной вод.
В тисках постылого Эреба
Душа томительно живет.

Я понимаю этот ужас
И постигаю эту связь:
И небо падает, не рушась,
И море плещет, не пенясь.

О, крылья, бледные химеры
На грубом золоте песка,
И паруса трилистник серый,
Распятый, как моя тоска!

1910

* * *

Вечер нежный. Сумрак важный.
Гул за гулом. Вал за валом.
И в лицо нам ветер влажный
Бьет соленым покрывалом.

Все погасло. Все смешалось.
Волны берегом хмелели.
В нас вошла слепая радость —
И сердца отяжелели.

Оглушил нас хаос темный,
Одурманил воздух пьяный,
Убаюкал хор огромный:
Флейты, лютни и тимпаны...

1910

* * *

Листьев сочувственный шорох
Угадывать сердцем привык,
В темных читаю узорах
Смиренного сердца язык.

Верные, четкие мысли —
Прозрачная, строгая ткань...
Острые листья исчисли —
Словами играть перестань.

К высям просвета какого
Уходит твой лиственный шум,—
Темное дерево слова,
Ослепшее дерево дум?

Май 1910

* * *

С. П. Каблукову

Убиты медью вечерней
И сломаны венчики слов.
И тело требует терний,
И вера — безумных цветов.

Упасть на древние плиты
И к страстному Богу воззвать,
И знать, что молитвой слиты
Все чувства в одну благодать!

Растет прилив славословий —
И вновь, в ожиданьи конца,
Вином божественной крови
Его — тяжелеют сердца;

И храм, как корабль огромный,
Несется в пучине веков.
И парус духа бездомный
Все ветры изведать готов.

Июль 1910

* * *

Как облаком сердце одето
И камнем прикинулась плоть,
Пока назначенье поэта
Ему не откроет Господь:

Какая-то страсть налетела,
Какая-то тяжесть жива;
И призраки требуют тела,
И плоти причастны слова.

Как женщины, жаждут предметы,
Как ласки, заветных имен.
Но тайные ловит приметы
Поэт, в темноту погружен.

Он ждет сокровенного знака,
На песнь, как на подвиг, готов:
И дышит таинственность брака
В простом сочетании слов.

1910

* * *

...Я помню берег вековой
И скал глубокие морщины,
Где, покрывая шум морской,
Ваш раздавался голос львиный.

И Ваши бледные черты
И, в острых взорах византийца,
Огонь духовной красоты —
Запомнятся и будут сниться.

Вы чувствовали тайны нить,
Вы чуяли рожденье слова...
Лишь тот умеет похвалить,
Чье осуждение сурово.

1910

* * *

Неумолимые слова...
Окаменела Иудея,
И, с каждым мигом тяжелея,
Его поникла голова.

Стояли воины кругом
На страже стынущего тела;
Как венчик, голова висела
На стебле тонком и чужом.

И царствовал и никнул Он,
Как лилия в родимый омут,
И глубина, где стебли тонут,
Торжествовала свой закон.

1910

* * *

В самом себе, как змей, таясь,
Вокруг себя, как плющ, виясь,
Я подымаюсь над собою,—

Себя хочу, к себе лечу,
Крылами темными плещу,
Расширенными над водою;

И, как испуганный орел,
Вернувшись, больше не нашел
Гнезда, сорвавшегося в бездну,—

Омоюсь молнии огнем
И, заклиная тяжкий гром,
В холодном облаке исчезну!

Август 1910

ЗМЕЙ

Осенний сумрак — ржавое железо
Скрипит, поет и разъедает плоть...
Что́ весь соблазн и все богатства Креза
Пред лезвием твоей тоски, Господь!

Я как змеей танцующей измучен
И перед ней, тоскуя, трепещу,
Я не хочу души своей излучин
И разума и Музы не хочу.

Достаточно лукавых отрицаний
Распутывать извилистый клубок;
Нет стройных слов для жалоб и признаний,
И кубок мой тяжел и не глубок.

К чему дышать? На жестких камнях пляшет
Больной удав, свиваясь и клубясь;
Качается, и тело опояшет,
И падает, внезапно утомясь.

И бесполезно, накануне казни,
Видением и пеньем потрясен,
Я слушаю, как узник, без боязни
Железа визг и ветра темный стон.

1910

* * *

В изголовьи Черное Распятье,
В сердце жар, и в мыслях пустота,
И ложится тонкое проклятье —
Пыльный след на дерево Креста.

Ах, зачем на стеклах дым морозный
Так похож на мозаичный сон!
Ах, зачем молчанья голос грозный
Безнадежной негой растворен!

И слова евангельской латыни
Прозвучали, как морской прибой,
И волной нахлынувшей святыни
Поднят был корабль безумный мой.

Нет, не парус, распятый и серый,
В неизвестный край меня влечет —
Страшен мне «подводный камень веры»,
Роковой ее круговорот!

Ноябрь 1910

* * *

Темных уз земного заточенья
Я ничем преодолеть не мог,
И тяжелым панцирем презренья
Я окован с головы до ног.

Иногда со мной бывает нежен
И меня преследует двойник;
Как и я — он так же неизбежен
И ко мне внимательно приник.

И, глухую затаив развязку,
Сам себя я вызвал на турнир;
С самого себя срываю маску
И презрительный лелею мир.

Я своей печали недостоин,
И моя последняя мечта —
Роковой и краткий гул пробоин
Моего узорного щита.

1910

* * *

Медленно урна пустая,
Вращаясь над тусклой поляной,
Сеет, надменно мерцая,
Туманы в лазури ледяной.

Тянет, чарует и манит —
Непонят, невынут, нетронут —
Жребий,— и небо обманет,
И взоры в возможном потонут.

Что расскажу я о вечных,
Заочных, заоблачных странах:
Весь я в порывах конечных,
В соблазнах, изменах и ранах.

Выбор мой труден и беден.
И тусклый простор безучастен.
Стыну — и взор мой победен.
И круг мой обыденный страстен.

11 февраля 1911

* * *

Когда подымаю,
Опускаю взор —
Я двух чаш встречаю
Зыбкий разговор.

И му́кою в мире
Взнесены мои
Тяжелые гири,
Шаткие ладьи.

Знают души наши
Отчаянья власть:
И поднятой чаше
Суждено упасть.

Есть в тяжести радость,
И в паденьи есть —
Колебаний сладость,
Острой стрелки месть.

Июнь 1911

* * *

Душу от внешних условий
Освободить я умею:
Пенье — кипение крови
Слышу — и быстро хмелею.

И вещества, мне родного
Где-то на грани томленья,
В цепь сочетаются снова
Первоначальные звенья.

Там в беспристрастном эфире
Взвешены сущности наши —
Брошены звездные гири
На задрожавшие чаши;

И в ликованьи предела
Есть упоение жизни:
Воспоминание тела
О неизменной отчизне.

Июль 1911

* * *

Я знаю, что обман в видении немыслим
И ткань моей мечты прозрачна и прочна;
Что с дивной легкостью мы, созидая, числим
И достигает звезд полет веретена,

Когда, овеяно потусторонним ветром,
Оно оторвалось от медленной земли,
И раскрывается неуловимым метром
Рай — распростертому в уныньи и в пыли.

Так ринемся скорей из области томленья —
По мановению эфирного гонца —
В край, где слагаются заоблачные звенья
И башни высятся заочного дворца!

Несозданных миров отмститель будь, художник,—
Несуществующим существованье дай;
Туманным облаком окутай свой треножник
И падающих звезд пойми летучий рай!

Июль 1911

* * *

Ты прошла сквозь облако тумана.
На ланитах нежные румяна.
Светит день холодный и недужный.
Я брожу свободный и ненужный...

Злая осень ворожит над нами,
Угрожает спелыми плодами,
Говорит вершинами с вершиной
И в глаза целует паутиной.

Как застыл тревожной жизни танец!
Как на всем играет твой румянец!
Как сквозит и в облаке тумана
Ярких дней сияющая рана.

4 августа 1911

* * *

Не спрашивай: ты знаешь,
Что нежность безотчетна,
И как ты называешь
Мой трепет — все равно;

И для чего признанье,
Когда бесповоротно
Мое существованье
Тобою решено?

Дай руку мне. Что страсти?
Танцующие змеи.
И таинство их власти —
Убийственный магнит!

И, змей тревожный танец
Остановить не смея,
Я созерцаю глянец
Девических ланит.

7 августа 1911

КУЗНЕЦ

В лазури месяц новый
Ясен и высок.
Пробуют подковы
Звонкий грунт дорог.

Глубоко вздохнул я —
В небе голубом
Словно зачерпнул я
Серебряным ковшом.

Счастия тяжелый
Я надел венец,
В кузнице веселой
Работает кузнец.

Круглое братство
Он для всех кует.
Легкий месяц, здравствуй!
Здравствуй, Новый год!

1911, 1922

* * *

Стрекозы быстрыми кругами
Тревожат черный блеск пруда,
И вздрагивает, тростниками
Чуть окаймленная, вода.

То пряжу за собою тянут
И словно паутину ткут,
То, распластавшись, в омут канут,
И волны траур свой сомкнут.

И я, какой-то невеселый,
Томлюсь и падаю в глуши —
Как будто чувствую уколы
И холод в тайниках души...

1911

* * *

Тысячеструйный поток —
Журчала весенняя ласка.
Скользнула-мелькнула коляска,
Легкая, как мотылек.

Я улыбнулся весне,
Я оглянулся украдкой,—
Женщина гладкой перчаткой
Правила, точно во сне.

В путь убегала она,
В траурный шелк одета,
Тонкая вуалета —
Тоже была черна...

1912

* * *

Когда показывают восемь
Часы собора-исполина,
Мы в полусне твой призрак носим,
Чужого города картина.

В руках плетеные корзинки,
Служанки спорят с продавцами,
Воркуют голуби на рынке
И плещут сизыми крылами.

Хлеба, серебряные рыбы,
Плоды и овощи простые,
Крестьяне — каменные глыбы,
И краски темные, живые.

А в сетке пестрого тумана
Сгрудилась ласковая стая,
Как будто площадь утром рано —
Торговли скиния святая.

1912

ШАРМАНКА

Шарманка, жалобное пенье,
Тягучих арий дребедень,—
Как безобразное виденье,
Осеннюю тревожит сень...

Чтоб всколыхнула на мгновенье
Та песня вод стоячих лень,
Сентиментальное волненье
Туманной музыкой одень.

Какой обыкновенный день!
Как невозможно вдохновенье —
В мозгу игла, брожу как тень.

Я бы приветствовал кремень
Точильщика — как избавленье:
Бродяга — я люблю движенье.

16 июня 1912

* * *

А. Ахматовой

Как Черный ангел на снегу
Ты показалась мне сегодня,
И утаить я не могу,—
Есть на тебе печать Господня.
Такая странная печать—
Как бы дарованная свыше,—
Что, кажется, в церковной нише
Тебе назначено стоять.
Пускай нездешняя любовь
С любовью здешней будут слиты,
Пускай бушующая кровь
Не перейдет в твои ланиты,
И пышный мрамор оттенит
Всю призрачность твоих лохмотий,
Всю наготу нежнейшей плоти,
Но не краснеющих ланит.

1913 <1914?>

* * *

Черты лица искажены
Какой-то старческой улыбкой:
Кто скажет, что гитане гибкой
Все муки ада суждены.

1913

* * *

От легкой жизни мы сошли с ума:
С утра вино, а вечером похмелье.
Как удержать напрасное веселье,
Румянец твой, о нежная чума?

В пожатьи рук мучительный обряд,
На улицах ночные поцелуи,
Когда речные тяжелеют струи
И фонари, как факелы, горят.

Мы смерти ждем, как сказочного волка,
Но я боюсь, что раньше всех умрет
Тот, у кого тревожно-красный рот
И на глаза спадающая челка.

1913

МАДРИГАЛ

Нет, не поднять волшебного фрегата:
Вся комната в табачной синеве,—
И пред людьми русалка виновата —
Зеленоглазая, в морской траве!

Она курить, конечно, не умеет,
Горячим пеплом губы обожгла;
И не заметила, что платье тлеет,
Зеленый шелк, и на полу зола...

Так моряки в прохладе изумрудной
Ни чубуков, ни трубок не нашли;
Ведь и дышать им научиться трудно
Сухим и горьким воздухом земли!

1913

* * *

Веселая скороговорка;
О, будни — пляска дикарей!
Я с невысокого пригорка
Опять присматриваюсь к ней.

Бывают искренние вкусы,
И предприимчивый моряк
С собой захватывает бусы,
Цветные стекла и табак.

Люблю обмен. Мелькают перья.
Наивных восклицаний дождь.
Лоснящийся от лицемерья,
Косится на бочонок вождь.

Скорей подбросить кольца, трубки —
За мех, и золото, и яд;
И с чистой совестью, на шлюпке,
Вернуться на родной фрегат!

Июнь 1913

ПЕСЕНКА

У меня не много денег,
В кабаках меня не любят,
А служанки вяжут веник
И сердито щепки рубят.

Я запачкал руки в саже,
На моих ресницах копоть,
Создаю свои миражи
И мешаю всем работать.

Голубые судомойки,
Добродетельная челядь,
И на самой жесткой койке
Ваша честность рай вам стелет.

Тяжела с бельем корзина,
И мясник острит так плотски.
Тем краснее льются вина
До утра в хрусталь господский!

1913

ЛЕТНИЕ СТАНСЫ

В аллее колокольчик медный,
Французский говор, нежный взгляд —
И за решеткой заповедной
Пустеет понемногу сад.

Что делать в городе в июне?
Не зажигают фонарей;
На яхте, на чухонской шхуне
Уехать хочется скорей!

Нева — как вздувшаяся вена
До утренних румяных роз.
Везя всклокоченное сено,
Плетется на асфальте воз.

А там рабочая землянка,
Трещит и варится смола;
Ломовика судьба-цыганка
Обратно в степи привела...

И с бесконечной челобитной
О справедливости людской
Чернеет на скамье гранитной
Самоубийца молодой.

1913

АМЕРИКАН БАР

Еще девиц не видно в баре,
Лакей невежлив и угрюм;
И в крепкой чудится сигаре
Американца едкий ум.

Сияет стойка красным лаком,
И дразнит сода-виски форт:
Кто незнаком с буфетным знаком
И в ярлыках не слишком тверд?

Бананов груда золотая
На всякий случай подана,
И продавщица восковая
Невозмутима, как луна.

Сначала нам слегка взгрустнется,
Мы спросим кофе с кюрассо.
Вполоборота обернется
Фортуны нашей колесо!

Потом, беседуя негромко,
Я на вращающийся стул
Влезаю в шляпе и, соломкой
Мешая лед, внимаю гул...

Хозяйский глаз желтей червонца
Мечтателей не оскорбит...
Мы недовольны светом солнца,
Теченьем медленных орбит!

1913

ЕГИПТЯНИН

(Надпись на камне 18—19 династии)

Я избежал суровой пени
И почестей достиг;
От радости мои колени
Дрожали, как тростник.

И прямо в полы балахона,
Большие, как луна,
На двор с высокого балкона
Бросали ордена.

То, что я сделал, превосходно—
И это сделал я!
И место новое доходно
И прочно для житья.

И, предвкушая счастья глянец,
Я танцевал не зря
Изящный и отличный танец
В присутствии царя.

По воздуху летает птица.
Бедняк идет пешком.
Вельможе ехать не годится
Дрянным сухим путем.

И, захватив с собой подарки
И с орденами тюк,
Как подобает мне, на барке
Я поплыву на юг.

1913

ЕГИПТЯНИН

Я выстроил себе благополучья дом,
Он весь из дерева, и ни куска гранита,
И царская его осматривала свита,
В нем виноградники, цветник и водоем.

Чтоб воздух проникал в удобное жилье,
Я вынул три стены в преддверьи легкой клети,
И безошибочно я выбрал пальмы эти
Краеугольные, прямые, как копье.

Кто может сосчитать сановника доход!
Бессмертны высокопоставленные лица!
(Где управляющий? Готова ли гробница?)
В хозяйстве письменный я слушаю отчет.

Тяжелым жерновом мучнистое зерно
Приказано смолоть служанке низкорослой,—
Священникам налог исправно будет послан,
Составлен протокол на хлеб и полотно.

В столовой на полу пес, растянувшись, лег,
И кресло прочное стоит на львиных лапах.
Я жареных гусей вдыхаю сладкий запах —
Загробных радостей вещественный залог.

1913

* * *

Пусть в душной комнате, где клочья серой ваты
И склянки с кислотой, часы хрипят и бьют —
Гигантские шаги, с которых петли сняты,—
В туманной памяти виденья оживут:

И лихорадочный больной, тоской распятый,
Худыми пальцами свивая тонкий жгут,
Сжимает свой платок, как талисман крылатый,
И с отвращением глядит на круг минут...

То было в сентябре, вертелись флюгера,
И ставни хлопали,— но буйная игра
Гигантов и детей пророческой казалась;

И тело нежное то плавно подымалось,
То грузно падало: средь пестрого двора
Живая карусель, без музыки, вращалась!

1913

СПОРТ

Румяный шкипер бросил мяч тяжелый,
И черни он понравился вполне.
Потомки толстокожего футбола —
Крокет на льду и поло на коне.

Средь юношей теперь — по старине
Цветет прыжок и выпад дискобола,
Когда сойдутся, в легком полотне,
Оксфорд и Кэмбридж — две прибрежных школы.

Но только тот действительно спортсмэн,
Кто разорвал печальной жизни плен:
Он знает край, где дышит радость, пенясь...

И детского крокета молотки,
И северные наши городки,
И дар богов — великолепный теннис!

1913—1914

ФУТБОЛ

Телохранитель был отравлен.
В неравной битве изнемог,
Обезображен, обесславлен,
Футбола толстокожий бог.

И с легкостью тяжеловеса
Удары отбивал боксер:
О, беззащитная завеса,
Неохраняемый шатер!

Должно быть, так толпа сгрудилась,
Когда, мучительно жива,
Не допив кубка, покатилась
К ногам тупая голова.

Неизъяснимо лицемерно
Не так ли кончиком ноги
Над теплым трупом Олоферна
Юдифь глумилась...

1913

ВТОРОЙ ФУТБОЛ

Рассеян утренник тяжелый,
На босу ногу день пришел;
А на дворе военной школы
Играют мальчики в футбол.

Чуть-чуть неловки, мешковаты —
Как подобает в их лета,—
Кто мяч толкает угловатый,
Кто охраняет ворота...

Любовь, охотничьи попойки —
Все в будущем, а ныне — скорбь
И вскакивать на жесткой койке,
Чуть свет, под барабанов дробь!

Увы: ни музыки, ни славы!
Так от зари и до зари,
В силках науки и забавы,
Томятся дети-дикари.

Осенней путаницы сито.
Деревья мокрые в золе.
Мундир обрызган. Грудь открыта.
Околыш красный на земле.

1913

АВТОПОРТРЕТ

В поднятьи головы крылатый
Намек — но мешковат сюртук;
В закрытьи глаз, в покое рук —
Тайник движенья непочатый.

Так вот кому летать и петь
И слова пламенная ковкость,—
Чтоб прирожденную неловкость
Врожденным ритмом одолеть!

1914 <1913?>

* * *

Как овцы, жалкою толпой
Бежали старцы Еврипида.
Иду змеиною тропой,
И в сердце темная обида.

Но этот час уж недалек:
Я отряхну мои печали,
Как мальчик вечером песок
Вытряхивает из сандалий.

1914

* * *

Развеселился наконец,
Изведал духа совершенство,
Испробовал свое блаженство
И успокоился, как царь,
Почуяв славу за плечами,
Когда первосвященник в храме
И голубь залетел в алтарь...

1914 (?)

* * *

Когда держался Рим в союзе с естеством,
Носились образы его гражданской мощи
В прозрачном воздухе, как в цирке голубом,
На форуме полей и в колоннаде рощи.

А ныне человек — ни раб, ни властелин —
Не опьянен собой, а только отуманен.
Невольно говорим: всемирный гражданин,—
А хочется сказать: всемирный горожанин.

1914

ПЕРЕД ВОЙНОЙ

Ни триумфа, ни войны!
О, железные, доколе
Безопасный Капитолий
Мы хранить осуждены?

Или, римские перуны —
Гнев народа! — обманув,
Отдыхает острый клюв
Той ораторской трибуны?

Или возит кирпичи
Солнца дряхлая повозка
И в руках у недоноска
Рима ржавые ключи?

1914

* * *

Немецкая каска — священный трофей —
Лежит на камине в гостиной твоей,
Дотронься,— она как мерлушка легка,
Пронизана воздухом медь шишака.

В Познани и Польше не всем воевать —
Своими глазами врага увидать
И, слушая ядер губительный хор,
Сорвать с неприятеля гордый убор.

1914

POLACI! *

Поляки! Я не вижу смысла
В безумном подвиге стрелков:
Иль ворон заклюет орлов?
Иль потечет обратно Висла?

Или снега не будут больше
Зимою покрывать ковыль?
Или о Габсбургов костыль
Пристало опираться Польше?

А ты, славянская комета,
В своем блужданьи вековом,
Рассыпалась чужим огнем,
Сообщница чужого света!

1914

РЕЙМС И КЕЛЬН

...Но в старом Кельне тоже есть собор,
Неконченный и все-таки прекрасный,
И хоть один священник беспристрастный,
И в дивной целости стрельча́тый бор.

Он потрясен чудовищным набатом,
И в гро́зный час, когда густеет мгла,
Немецкие поют колокола:
— Что сотворили вы над реймским братом?

Сентябрь 1914

* * *

В белом раю лежит богатырь:
Пахарь войны, пожилой мужик.
В серых глазах мировая ширь:
Великорусский державный лик.

---

* Поляки! *(польск.)*

Только святые умеют так
В благоуханном гробу лежать:
Выпростав руки, блаженства в знак,
Славу свою и покой вкушать.

Разве Россия не белый рай
И не веселые наши сны?
Радуйся, ратник, не умирай:
Внуки и правнуки спасены!

Декабрь 1914

АББАТ

Переменилось все земное,
И лишь не сбросила земля
Сутану римского покроя
И ваше золото, поля.
И, самый скромный современник,
Как жаворонок, Жамм поет,—
Ведь католический священник
Ему советы подает!

Священник слышит пенье птичье
И всякую живую весть.
Питает все его величье
Сияющей тонзуры честь.
Свет дивный от нее исходит,
Когда он вечером идет
Иль по утрам на рынке бродит
И милостыню подает.

Я поклонился, он ответил
Кивком учтивым головы,
И, говоря со мной, заметил:
«Католиком умрете вы!»
А в толщь унынья и безделья
Какой врезается алмаз,
Когда мы вспомним новоселье,
Что в Риме ожидает нас!

Там каноническое счастье,
Как солнце, стало на зенит,

И никакое самовластье
Ему сиять не запретит.
О, жаворонок, гибкий пленник,
Кто лучше песнь твою поймет,
Чем католический священник
В июле, в урожайный год!

1915

* * *

У моря ропот старческой кифары...
Еще жива несправедливость Рима,
И воют псы, и бедные татары
В глухих деревнях каменного Крыма...

О, Цезарь, Цезарь, слышишь ли блеянье
Овечьих стад и смутных волн движенье?
Что понапрасну льешь свое сиянье,
Луна без Рима, жалкое явленье?

Не та, что ночью смотрит в Капитолий
И озаряет лес столпов холодных,
А деревенская луна, не боле,—
Луна, возлюбленная псов голодных.

Октябрь 1915

* * *

Вот дароносица, как солнце золотое,
Повисла в воздухе — великолепный миг.
Здесь должен прозвучать лишь греческий язык:
Взят в руки целый мир, как яблоко простое.

Богослужения торжественный зенит,
Свет в круглой храмине под куполом в июле,
Чтоб полной грудью мы вне времени вздохнули
О луговине той, где время не бежит.

И евхаристия, как вечный полдень, длится —
Все причащаются, играют и поют,
И на виду у всех божественный сосуд
Неисчерпаемым веселием струится.

1915

* * *

— Я потеряла нежную камею,
Не знаю где, на берегу Невы.
Я римлянку прелестную жалею,—
Чуть не в слезах мне говорили вы.

Но для чего, прекрасная грузинка,
Тревожить прах божественных гробниц?
Еще одна пушистая снежинка
Растаяла на веере ресниц.

И кроткую вы наклонили шею.
Камеи нет — нет римлянки, увы.
Я Тинотину смуглую жалею —
Девичий Рим на берегу Невы.

Осень 1916

МАДРИГАЛ

Кн. Андрониковой

Дочь Андроника Комнена,
Византийской славы дочь!
Помоги мне в эту ночь
Солнце выручить из плена,
Помоги мне пышность тлена
Стройной песнью превозмочь,
Дочь Андроника Комнена,
Византийской славы дочь!

1916

* * *

О, этот воздух, смутой пьяный,
На черной площади Кремля
Качают шаткий «мир» смутьяны,
Тревожно пахнут тополя.

Соборов восковые лики,
Колоколов дремучий лес,
Как бы разбойник безъязыкий
В стропилах каменных исчез.

А в запечатанных соборах,
Где и прохладно и темно,
Как в нежных глиняных амфорах,
Играет русское вино.

Успенский, дивно округленный,
Весь удивленье райских дуг,
И Благовещенский, зеленый,
И, мнится, заворкует вдруг.

Архангельский и Воскресенья
Просвечивают, как ладонь,—
Повсюду скрытое горенье,
В кувшинах спрятанный огонь...

Апрель 1916

* * *

Когда октябрьский нам готовил временщик
Ярмо насилия и злобы,
И ощетинился убийца-броневик,
И пулеметчик низколобый

— Керенского распять! — потребовал солдат,
И злая чернь рукоплескала:
Нам сердце на штыки позволил взять Пилат,
И сердце биться перестало!

И укоризненно мелькает эта тень,
Где зданий красная подкова;
Как будто слышу я в октябрьский тусклый день:
— Вязать его, щенка Петрова!

Среди гражданских бурь и яростных личин,
Тончайшим гневом пламенея,
Ты шел бестрепетно, свободный гражданин,
Куда вела тебя Психея.

И если для других восторженный народ
Венки свивает золотые,—
Благословить тебя в далекий ад сойдет
Стопами легкими Россия.

Ноябрь 1917

* * *

Кто знает, может быть, не хватит мне свечи
И среди бела дня останусь я в ночи,
И, зернами дыша рассыпанного мака,
На голову мою надену митру мрака,—

Как поздний патриарх в разрушенной Москве,
Неосвященный мир неся на голове,
Чреватый слепотой и муками раздора,
Как Тихон — ставленник последнего собора!

Ноябрь 1917

* * *

Все чуждо нам в столице непотребной:
Ее сухая черствая земля,
И буйный торг на Сухаревке хлебной,
И страшный вид разбойного Кремля.

Она, дремучая, всем миром правит.
Мильонами скрипучих арб она
Качнулась в путь — и полвселенной давит
Ее базаров бабья ширина.

Ее церквей благоуханных соты —
Как дикий мед, заброшенный в леса,
И птичьих стай густые перелеты
Угрюмые волнуют небеса.

Она в торговле хитрая лисица,
А перед князем — жалкая раба.
Удельной речки мутная водица
Течет, как встарь, в сухие желоба.

<Май — июнь 1918>

ТЕЛЕФОН

На этом диком страшном свете
Ты, друг полночных похорон,
В высоком строгом кабинете
Самоубийцы — телефон!

Асфальта черные озера
Изрыты яростью копыт,
И скоро будет солнце — скоро
Безумный петел прокричит.

А там дубовая Валгалла
И старый пиршественный сон:
Судьба велела, ночь решала,
Когда проснулся телефон.

Весь воздух выпили тяжелые портьеры,
На театральной площади темно.
Звонок — и закружились сферы:
Самоубийство решено.

Куда бежать от жизни гулкой,
От этой каменной уйти?
Молчи, проклятая шкатулка!
На дне морском цветет: прости!

И только голос, голос-птица
Летит на пиршественный сон.
Ты — избавленье и зарница
Самоубийства — телефон!

Июнь 1918

* * *

Где ночь бросает якоря
В глухих созвездьях Зодиака,
Сухие листья октября,
Глухие вскормленники мрака,
Куда летите вы? Зачем
От древа жизни вы отпали?
Вам чужд и странен Вифлеем,
И яслей вы не увидали.

Для вас потомства нет — увы! —
Бесполая владеет вами злоба,
Бездетными сойдете вы
В свои повапленные гробы,

И на пороге тишины,
Среди беспамятства природы,
Не вам, не вам обречены,
А звездам вечные народы.

<*1920*> (1917?)

АКТЕР И РАБОЧИЙ

Здесь, на твердой площадке яхт-клуба,
Где высокая мачта и спасательный круг,
У южного моря, под сенью юга
Деревянный пахучий строился сруб!

Это игра воздвигает здесь стены!
Разве работать — не значит играть?
По свежим доскам широкой сцены
Какая радость впервые шагать!

Актер — корабельщик на палубе мира!
И дом актера стоит на волнах!
Никогда, никогда не боялась лира
Тяжелого молота в братских руках!

Что сказал художник, сказал и работник:
— Воистину, правда у нас одна!
Единым духом жив и плотник,
И поэт, вкусивший святого вина!

А вам спасибо! И дни, и ночи
Мы строим вместе — и наш дом готов!
Под маской суровости скрывает рабочий
Высокую нежность грядущих веков!

Веселые стружки пахнут морем,
Корабль оснащен — в добрый путь!
Плывите же вместе к грядущим зорям,
Актер и рабочий, вам нельзя отдохнуть!

1920

А НЕБО БУДУЩИМ БЕРЕМЕННО...

Опять войны разноголосица
На древних плоскогорьях мира,
И лопастью пропеллер лоснится,
Как кость точеная тапира.
Крыла и смерти уравнение,—
С алгебраических пирушек
Слетев, он помнит измерение
Других эбеновых игрушек,
Врагиню ночь, рассадник вражеский
Существ коротких ластоногих,
И молодую силу тяжести:
Так начиналась власть немногих...

Итак, готовьтесь жить во времени,
Где нет ни волка, ни тапира,
А небо будущим беременно —
Пшеницей сытого эфира.
А то сегодня победители
Кладбища лета обходили,
Ломали крылья стрекозиные
И молоточками казнили.

Давайте слушать грома проповедь,
Как внуки Себастьяна Баха,
И на востоке и на западе
Органные поставим крылья!
Давайте бросим бури яблоко
На стол пирующим землянам
И на стеклянном блюде облака
Поставим яств посередине.

Давайте все покроем заново
Камчатной скатертью пространства,
Переговариваясь, радуясь,
Друг другу подавая брашна.
На круговом на мирном судьбище
Зарею кровь оледенится.
В беременном глубоком будущем
Жужжит большая медуница.

А вам, в безвременьи летающим
Под хлыст войны за власть немногих,—

Хотя бы честь млекопитающих,
Хотя бы совесть ластоногих.
И тем печальнее, тем горше нам,
Что люди-птицы хуже зверя
И что стервятникам и коршунам
Мы поневоле больше верим.
Как шапка холода альпийского,
Из года в год, в жару и лето,
На лбу высоком человечества
Войны холодные ладони.
А ты, глубокое и сытое,
Забеременевшее лазурью,
Как чешуя многоочитое,
И альфа и омега бури;
Тебе — чужое и безбровое,
Из поколенья в поколение,—
Всегда высокое и новое
Передается удивление.

1923

ХРИСТИАН КЛЕЙСТ

Freund. Versäme nicht zu leben
Denn die jahre fliehen
Und es wird der Saft der Reben
Uns nicht lange glühn.

*Ewald Christian Kleist**

Есть между нами похвала без лести,
И дружба есть в упор, без фарисейства,
Поучимся ж серьезности и чести
У стихотворца Христиана Клейста.

Еще во Франкфурте отцы зевали,
Еще о Гете не было известий,
Слагались гимны, кони гарцевали
И княжества топталися на месте.

---

* Друг! Покуда <еще> текут годы, не упускай <миги> жизни; <еще> не так долго будет нас горячить сок винограда <вино>. *Эвальд Христиан Клейст (нем.).*

Война — как плющ в беседке шоколадной,
И далека пока еще от Рейна
Косматая казацкая папаха.

И прямо со страницы альманаха
Он в бой сошел и умер так же складно,
Как пел рябину с кружкой мозельвейна.

8 августа 1932

* * *

Мне кажется, мы говорить должны
О будущем советской старины,

Что ленинское-сталинское слово —
Воздушно-океанская подкова,

И лучше бросить тысячу поэзий,
Чем захлебнуться в родовом железе,

И пращуры нам больше не страшны:
Они у нас в крови растворены.

Апрель — май 1935

* * *

Мир начинался страшен и велик:
Зеленой ночью папоротник черный,
Пластами боли поднят большевик —
Единый, продолжающий, бесспорный,

Упорствующий, дышащий в стене.
Привет тебе, скрепитель добровольный
Трудящихся, твой каменноугольный
Могучий мозг, гори, гори стране!

Апрель — май 1935

* * *

Да, я лежу в земле, губами шевеля,
И то, что я скажу, заучит каждый школьник:
На Красной площади всего круглей земля
И скат ее твердеет добровольный.

На Красной площади земля всего круглей,
И скат ее нечаянно раздольный,
Откидываясь вниз до рисовых полей,—
Покуда на земле последний жив невольник.

Май 1935

ЖЕЛЕЗО

Идут года железными полками,
И воздух полн железными шарами.
Оно бесцветное — в воде железясь,
И розовое, на подушке грезясь.

Железная правда — живой на зависть,
Железен пестик, и железна завязь.
И железой поэзия в железе,
Слезящаяся в родовом разрезе.

22 мая 1935

* * *

Ты должен мной повелевать,
А я обязан быть послушным.
На честь, на имя наплевать,
Я рос больным и стал тщедушным.

Так пробуй выдуманный метод
Напропалую, напрямик —
Я — беспартийный большевик,
Как все друзья, как недруг этот.

Май (?) 1935

* * *

Тянули жилы, жили-были,
Не жили, не были нигде.
Бетховен и Воронеж — или
Один или другой — злодей.

На базе мелких отношений
Производили глухоту
Семидесяти стульев тени
На первомайском холоду.

В театре публики лежало
Не больше трех карандашей,
И дирижер, стараясь мало,
Казался чортом средь людей.

<Апрель> — май 1935

* * *

Мир должно в черном теле брать,
Ему жестокий нужен брат —
От семиюродных уродов
Он не получит ясных всходов.

Июнь 1935

* * *

Я в сердце века — путь неясен,
А время удаляет цель:
И посоха усталый ясень
И меди нищенскую цвель.

14 декабря 1936

* * *

А мастер пушечного цеха,
Кузнечных памятников швец,
Мне скажет — ничего, отец,—
Уж мы сошьем тебе такое...

Декабрь 1936

* * *

Как женственное серебро горит,
Что с окисью и примесью боролось,
И тихая работа серебрит
Железный плуг и песнетворца голос.

Начало 1937

<ОДА>

Когда б я уголь взял для высшей похвалы —
Для радости рисунка непреложной,—
Я б воздух расчертил на хитрые углы
И осторожно и тревожно.
Чтоб настоящее в чертах отозвалось,
В искусстве с дерзостью гранича,
Я б рассказал о том, кто сдвинул мира ось,
Ста сорока народов чтя обычай.
Я б поднял брови малый уголок
И поднял вновь и разрешил иначе:
Знать, Прометей раздул свой уголек,—
Гляди, Эсхил, как я, рисуя, плачу!

Я б несколько гремучих линий взял,
Все моложавое его тысячелетье,
И мужество улыбкою связал
И развязал в ненапряженном свете,
И в дружбе мудрых глаз найду для близнеца,
Какого не скажу, то выраженье, близясь
К которому, к нему,— вдруг узнаешь отца
И задыхаешься, почуяв мира близость.
И я хочу благодарить холмы,
Что эту кость и эту кисть развили:
Он родился в горах и горечь знал тюрьмы.
Хочу назвать его — не Сталин,— Джугашвили!

Художник, береги и охраняй бойца:
В рост окружи его сырым и синим бором
Вниманья влажного. Не огорчить отца
Недобрым образом иль мыслей недобором,
Художник, помоги тому, кто весь с тобой,
Кто мыслит, чувствует и строит.
Не я и не другой — ему народ родной —
Народ-Гомер хвалу утроит.
Художник, береги и охраняй бойца:
Лес человечества за ним поет, густея,
Само грядущее — дружина мудреца
И слушает его все чаще, все смелее.

Он свесился с трибуны, как с горы,
В бугры голов. Должник сильнее иска.

Могучие глаза решительно добры,
Густая бровь кому-то светит близко,
И я хотел бы стрелкой указать
На твердость рта — отца речей упрямых,
Лепное, сложное, крутое веко — знать,
Работает из миллиона рамок.
Весь — откровенность, весь — признанья медь,
И зоркий слух, не терпящий сурдинки,
На всех готовых жить и умереть
Бегут, играя, хмурые морщинки.

Сжимая уголек, в котором все сошлось,
Рукою жадною одно лишь сходство клича,
Рукою хищною — ловить лишь сходства ось —
Я уголь искрошу, ища его обличья.
Я у него учусь, не для себя учась.
Я у него учусь — к себе не знать пощады,
Несчастья скроют ли большого плана часть,
Я разыщу его в случайностях их чада...
Пусть недостоин я еще иметь друзей,
Пусть не насыщен я и желчью и слезами,
Он все мне чудится в шинели, в картузе,
На чудной площади с счастливыми глазами.

Глазами Сталина раздвинута гора
И вдаль прищурилась равнина.
Как море без морщин, как завтра из вчера —
До солнца борозды от плуга-исполина.
Он улыбается улыбкою жнеца
Рукопожатий в разговоре,
Который начался и длится без конца
На шестиклятвенном просторе.
И каждое гумно и каждая копна
Сильна, убориста, умна — добро живое —
Чудо народное! Да будет жизнь крупна.
Ворочается счастье стержневое.

И шестикратно я в сознаньи берегу,
Свидетель медленный труда, борьбы и жатвы,
Его огромный путь — через тайгу
И ленинский октябрь — до выполненной клятвы.
Уходят вдаль людских голов бугры:
Я уменьшаюсь там, меня уж не заметят,

Но в книгах ласковых и в играх детворы
Воскресну я сказать, что солнце светит.
Правдивей правды нет, чем искренность бойца:
Для чести и любви, для доблести и стали
Есть имя славное для сжатых губ чтеца—
Его мы слышали и мы его застали.

Январь—февраль 1937

ЧАРЛИ ЧАПЛИН

Чарли Чаплин
вышел из кино.
Две подметки,
заячья губа,
Две гляделки,
полные чернил
И прекрасных
удивленных сил.
Чарли Чаплин—
заячья губа,
Две подметки—
жалкая судьба.
Как-то мы живем неладно все—
чужие, чужие.

Оловянный
ужас на лице,
Голова не
держится совсем.
Ходит сажа,
вакса семенит,
И тихонько
Чаплин говорит:
Для чего я славен и любим
и даже знаменит?
И ведет его шоссе большое
к чужим, к чужим.

Чарли Чаплин,
нажимай педаль,
Чаплин, кролик,
пробивайся в роль.

Чисти корольки,
ролики надень,
А твоя жена —
слепая тень.
И чудит, чудит
чужая даль.

Отчего
у Чаплина тюльпан,
Почему
так ласкова толпа?
Потому —
что это ведь Москва.
Чарли, Чарли,—
надо рисковать.
Ты совсем
не вовремя раскис.
Котелок твой —
тот же океан,
А Москва так близко, хоть влюбись
в дорогу, дорогу.

Май (?) 1937

* * *

С примесью ворона — голуби,
Завороненные волосы.
Здравствуй, моя нежнолобая,
Дай мне сказать тебе с голоса,
Как я люблю твои волосы
Ду́шные, черноголу́бые.

В губы горячие вложено
Все, чем Москва омоложена,
Чем молодая расширена,
Чем мировая встревожена,
Грозная утихомирена.

Тени лица восхитительны —
Синие, черные, белые.
И на груди — удивительны
Эти две родинки смелые.

В пальцах тепло не мгновенное,
Сила лежит фортепьянная,
Сила приказа желанная
Биться за дело нетленное...

Мчится, летит, с нами едучи,
Сам ноготок зацелованный,
Мчится, о будущем знаючи,
Сам ноготок холодающий.
Славная вся, безусловная,
Здравствуй, моя оживленная.
Ночь в рукавах и просторное
Круглое горло упорное.

Слава моя чернобровая,
Бровью вяжи меня вязкою,
К жизни и смерти готовая,
Произносящая ласково
Сталина имя громовое
С клятвенной нежностью, с ласкою.

Начало июня 1937

* * *

Пароходик с петухами
По́ небу плывет,
И подвода с битюгами
Никуда нейдет.

И звенит будильник сонный —
Хочешь, повтори:
— Полторы воздушных тонны,
Тонны полторы...

И, паяльных звуков море
В перебои взяв,
Москва слышит, Москва смотрит,
Зорко смотрит в явь.

Только на крапивах пыльных —
Вот чего боюсь —
Не позволил бы в напильник
Шею выжать гусь.

3 июля 1937

СТАНСЫ

Необходимо сердцу биться:
Входить в поля, врастать в леса.
Вот «Правды» первая страница,
Вот с приговором полоса.

Дорога к Сталину — не сказка,
Но только — жизнь без укоризн:
Футбол — для молодого баска,
Мадрида пламенная жизнь.

Москва повторится в Париже,
Дозреют новые плоды,
Но я скажу о том, что ближе,
Нужнее хлеба и воды,

О том, как вырвалось однажды:
— Я не отдам его! — и с ним,
С тобой, дитя высокой жажды,
И мы его обороним:

Непобедимого, прямого,
С могучим смехом в грозный час,
Находкой выхода прямого
Ошеломляющего нас.

И ты прорвешься, может статься,
Сквозь чащу прозвищ и имен
И будешь сталинкою зваться
У самых будущих времен...

Но это ощущенье сдвига,
Происходящего в веках,
И эта сталинская книга
В горячих солнечных руках —

Да, мне понятно превосходство
И сила женщины — ее
Сознанье, нежность и сиротство
К событьям рвутся — в бытие.

Она и шутит величаво,
И говорит, прощая боль,
И голубая нитка славы
В ее волос пробралась смоль.

Москва 3

форма № 1.

Управление Сев. Восточных Исправительно-Трудовых лагерей Н. К. В. Д.

Учетно-статистическая карточка

Личное дело №

Прибыл в лагерь 12 10 1938 г.

Место для фотокарточки

Категория содержания				
Категория трудоспособн	СФТ			

Фамилия и кличка Мандельштам

Имя и отчество Осип Эмильевич

Год рожд. 1891. Место рождения и приписки Польша

Образование: Общее Высшее; Специальное

Гражданство СССР Национальность Еврей

Специальность: Общая писатель и; Узкая поэт; Стаж 29 л

Постанов. квалифивац. комиссии:

Какие языки знаете кроме родного Рус. фр. Нем. Италиан. лат.

Социальное происхождение Сын купца

Социальное положение служащий

Партийность б. п.

ОСОБЫЕ ПРИМЕТЫ:
1. Рост средний
2. Телосложение [illegible]
3. Цвет волос седые
4. Цвет глаз карие
5. Нос с горбинкой
6. Прочие приметы [illegible] ... [illegible] волосами на голове [illegible]

Служба в армиях: Старой; Белой; Красной

Служба в судебн. орган. и НКВД

Время ареста 3. 05. 1938

Прошлая судимость судим 5 (который раз в лагере*)

Семейное положение женат указать фамилии и адреса ближних родственников ж. Надежда Яковл. г. Москва Фурманов пер. 5 кв. 26 / 88 г. Калинин 3. [illegible]

Постоянное и последнее место жительство

Отпечаток большого пальца правой руки

Работа до заключения

Учреждение или предприятие	Занимаемая должность	От	До
Гослитиздат г. Воронеж	Лит. работник	1938	ареста

Об ответственности за дачу ложных сведений мне об'явлено

Подпись заключенного О. Э. Мандельштам

Учетно-статистическая карточка
в личном деле заключенного О. Э. Мандельштама (Архив МВД СССР)

И материнская забота
Ее понятна мне — о том,
Чтоб ладилась моя работа
И крепла — на борьбу с врагом.

4—5 июля 1937

* * *

На откосы, Волга, хлынь, Волга, хлынь,
Гром, ударь в тесины новые,
Крупный град, по стеклам двинь,—
грянь и двинь,—
А в Москве ты, черноброваая,
Выше голову закинь.

Чародей мешал тайком с молоком
Розы черные, лиловые
И жемчужным порошком и пушком
Вызвал щеки холодовые,
Вызвал губы шепотком...

Как досталась — развяжи, развяжи —
Красота такая галочья
От индейского раджи, от раджи
Алексею, что ль, Михалычу,—
Волга, вызнай и скажи.

Против друга — за грехи, за грехи —
Берега стоят неровные,
И летают по верхам, по верхам
Ястреба тяжелокровные —
За коньковых изб верхи...

Ах, я видеть не могу, не могу
Берега серо-зеленые:
Словно ходят по лугу, по лугу
Косари умалишенные,
Косит ливень луг в дугу.

4 июля 1937

Стихи для детей

Примус

ПРИМУС

I

Чтобы вылечить и вымыть
Старый примус золотой,
У него головку снимут
И нальют его водой.

Медник, доктор примусиный,
Примус вылечит больной:
Кормит свежим керосином,
Чистит тонкою иглой.

II

— Очень люблю я белье,
С белой рубашкой дружу,
Как погляжу на нее —
Глажу, утюжу, скольжу.
    Если б вы знали, как мне
    Больно стоять на огне!

III

— Мне, сырому, неученому,
Простоквашей стать легко,—
Говорило кипяченому
Сырое молоко.

А кипяченое
Отвечает нежненько:
— Я совсем не неженка,
У меня есть пенка!

IV

— В самоваре, и в стакане,
И в кувшине, и в графине
Вся вода из крана.
Не разбей стакана.

— А водопровод
Где
воду
берет?

V

Курицы-красавицы пришли к спесивым павам:
— Дайте нам хоть перышко, на радостях: кудах!
— Вот еще!
Куда вы там?
Подумайте: куда вам?
Мы вам не товарищи: подумаешь! кудах!

VI

Сахарная голова
Ни жива ни мертва—
Заварили свежий чай:
К нему сахар подавай!

VII

Плачет телефон в квартире—
Две минуты, три, четыре.
Замолчал и очень зол:
Ах, никто не подошел.

— Значит, я совсем не нужен,
Я обижен, я простужен:
Телефоны-старики —
Те поймут мои звонки!

VIII

— Если хочешь, тронь —
Чуть тепла ладонь:
Я электричество — холодный огонь.

Тонок уголек,
Волоском завит:
Лампочка стеклянная не греет, а горит.

IX

Бушевала синица:
В море негде напиться —

И большая волна,
И вода солона;

А вода не простая,
А всегда голубая...

Как-нибудь обойдусь —
Лучше дома напьюсь!

X

Принесли дрова на кухню,
Как вязанка на пол бухнет,
Как рассыплется она —
И береза и сосна,—
Чтобы жарко было в кухне,
Чтоб плита была красна.

XI

Это мальчик-рисовальщик,
Покраснел он до ушей,
Потому что не умеет

Он чинить карандашей.
Искрошились.
Еле-еле
заострились.
Похудели.
И взмолилися они:
— Отпусти нас, не чини!

XII

Рассыпаются горохом
Телефонные звонки,
Но на кухне слышат плохо
Утюги и котелки.
И кастрюли глуховаты —
Но они не виноваты:
Виноват открытый кран —
Он шумит, как барабан.

XIII

Что ты прячешься, фотограф.
Что завесился платком?

Вылезай, снимай скорее,
Будешь прятаться потом.

Только страусы в пустыне
Прячут голову в крыло.

Эй, фотограф! Неприлично
Спать, когда совсем светло!

XIV

Покупали скрипачи
На базаре калачи,
И достались в перебранке
Трубачам одни баранки.

1924

Два трамвая

КЛИК И ТРАМ

Жили в парке два трамвая:
Клик и Трам.
Выходили они вместе
По утрам.

Улица-красавица, всем трамваям мать,
Любит электричеством весело моргать.
Улица-красавица, всем трамваям мать,
Выслала метельщиков рельсы подметать.

От стука и звона у каждого стыка
На рельсах болела площадка у Клика.
Под вечер слипались его фонари:
Забыл он свой номер — не пятый, не третий...
Смеются над Кликом извозчик и дети:
— Вот сонный трамвай, посмотри!

— Скажи мне, кондуктор, скажи мне, вожатый,
Где брат мой двоюродный Трам?
Его я всегда узнаю по глазам,
По красной площадке и спинке горбатой.

Начиналась улица у пяти углов,
А кончалась улица у больших садов.
Вся она истоптана крепко лошадьми,
Вся она исхожена дочерна людьми.
Рельсы серебристые выслала вперед.
Клика долго не было: что он не идет?

Кто там смотрит фонарями в темноту?
Это Клик остановился на мосту,
И слезятся разноцветные огни:
— Эй, вожатый, я устал, домой гони!

А Трам швырк-шварк—
Рассыпает фейерверк;
А Трам не хочет в парк,
Громыхает громче всех.

На вокзальной башне светят
Круглолицые часы,
Ходят стрелки по тарелке,
Словно черные усы.

Здесь трамваи словно гуси
Поворачиваются.
Трам с товарищами вместе
Околачивается.

— Вот летит автомобиль-грузовик—
Мне не страшно. Я трамвай. Я привык.
Но скажите, где мой брат, где мой Клик?
— Мы не знаем ничего,
Не видали мы его.

— Я спрошу у лошадей, лошадей,
Проходил ли здесь трамвай-ротозей,
Сразу видно—молодой, всех глупей.
— Мы не знаем ничего,
Не видали мы его.

— Ты скажи, семиэтажный
Каменный глазастый дом,
Всеми окнами ты видишь
На три улицы кругом,
Не слыхал ли ты о Клике,
О трамвае молодом?

Дом ответил очень зло:
— Много здесь таких прошло.

— Вы, друзья-автомобили,
Очень вежливый народ

И всегда-всегда трамваи
Пропускаете вперед,
Расскажите мне о Клике,
О трамвае-горемыке,
О двоюродном моем
С бледно-розовым огнем.

— Видели, видели и не обидели.
Стоит на площади — и всех глупей:
Один глаз розовый, другой темней.

— Возьми мою руку, вожатый, возьми,
Поедем к нему поскорее;
С чужими он там говорит лошадьми,
Моложе он всех и глупее.
Поедем к нему и найдем его там.

И Клика находит на площади Трам.

И сказал трамвай трамваю:
— По тебе я, Клик, скучаю,
Я услышать очень рад,
Как звонки твои звенят.
Где же розовый твой глаз? Он ослеп.
Я возьму тебя сейчас на прицеп:
Ты моложе — так ступай на прицеп!

1925

Шары

ШАРЫ

Дутые-надутые шары-пустомели
Разноцветным облаком на ниточке висели,
Баловали-плавали, друг друга толкали,
Своего меньшого брата затирали.

— Беда мне, зеленому, от шара-буяна,
От страшного красного шара-голована.
Я шар-недоумок, я шар-несмышленыш,
Приемыш зеленый, глупый найденыш.

— А нитка моя
Тоньше паутинки,
И на коже у меня
Ни одной морщинки.

Увидела шар
Шарманка-хрипучка:
— Пойдем на бульвар
За белою тучкой:
И мне веселей,
И вам будет лучше.

На Вербе черно
От разной забавы.
Гуляют шары —
Надутые павы.

На всех продавцов
Не хватит копеек:
Пять тысяч скворцов,
Пятьсот канареек.

Идет голован
Рядами, рядами.
Ныряет буян
Ларями, ларями.

— Эх, голуби-шары
На белой нитке,
Распродам я вас, шары,
Буду не в убытке!

Говорят шары лиловые:
— Мы не пряники медовые,
Мы на ниточке дрожим,
Захотим — и улетим.

А мальчик пошел,
    Свистульку купил,
Он пряники ест,
    Другим раздает.

Пришел, поглядел.
Приманка какая:
На нитке дрожит
Сварливая стая.
    У него у самого
    Голова большая!

Топорщатся, пыжатся шары наливные —
Лиловые, красные и голубые:
    — Возьми нас, пожалуйста, если не жалко,
    Мы ходим не попросту, а вперевалку.

Вот плавает шар
С огнем горделивым,
Вот балует шар
С павлиньим отливом,
А это вот найденыш,
Зеленый несмышленыш!

— Снимайте зеленый,
Давайте мне с ниткой.
Чего тебе, глупому,
Ползать улиткой?
Лети на здоровье
С белою ниткой!

На Вербе черно
От разной забавы.
Гуляют шары,
Надутые павы.
Идет голован
Рядами, рядами,
Ныряет буян
Ларями, ларями.

1926

ЧИСТИЛЬЩИК

Подойди ко мне поближе,
Крепче ногу ставь сюда,
У тебя ботинок рыжий,
Не годится никуда.

Я его почищу кремом,
Черной бархаткой натру,
Чтобы желтым стал совсем он,
Словно солнце поутру.

1926

АВТОМОБИЛИЩЕ

— Мне,автомобилищу, чего бы не забыть еще?
Вычистили, вымыли, бензином напоили.
Хочется мешки возить. Хочется пыхтеть еще.
Шины мои толстые — я слон автомобилий.

Что-то мне не терпится —
Накопилась силища,
Накопилась силища —
Я автомобилище.

— Ну-ка покатаю я охапку пионеров!

1926

ПОЛОТЕРЫ

Полотер руками машет,
Будто он вприсядку пляшет.
Говорит, что он пришел
Натереть мастикой пол.

Будет шаркать, будет прыгать,
Лить мастику, мебель двигать.
И всегда плясать должны
Полотеры-шаркуны.

1926

КАЛОША

Для резиновой калоши
Настоящая беда,
Если день — сухой, хороший,
Если высохла вода.
Ей всего на свете хуже
В чистой комнате стоять:
То ли дело шлепать в луже,
Через улицу шагать!

1926

РОЯЛЬ

Мы сегодня увидали
Городок внутри рояля.
Целый город костяной,
Молотки стоят горой.

Блещут струны жаром солнца,
Всюду мягкие суконца,
Что ни улица — струна
В этом городе видна.

1926

КООПЕРАТИВ

В нашем кооперативе
Яблоки всего красивей:
Что ни яблоко — налив,
Очень вкусный чернослив,
Кадки с белою сметаной,
Мед прозрачный и густой,
И привозят утром рано
С молоком бидон большой.

1926

МУХА

— Ты куда попала, муха?
— В молоко, в молоко.

— Хорошо тебе, старуха?
— Нелегко, нелегко.

— Ты бы вылезла немножко.
— Не могу, не могу.

— Я тебе столовой ложкой
Помогу, помогу.

— Лучше ты меня, бедняжку,
Пожалей, пожалей,

Молоко в другую чашку
Перелей, перелей.

1926

КУХНЯ

Гудит и пляшет розовый
Сухой огонь березовый
    На кухне! На кухне!
Пекутся утром солнечным
На масле на подсолнечном
    Оладьи! Оладьи!

Горят огни янтарные,
Сияют, как пожарные,
    Кастрюли! Кастрюли!
Шумовки и кофейники,
И терки, и сотейники —
    На полках! На полках!

И варится стирка
В котле-великане,
Как белые рыбы
В воде-океане:
Топорщится скатерть
Большим осетром,
Плывет белорыбицей,
Вздулась шаром.

А куда поставить студень?
На окно! На окно!
На большом на белом блюде —
И кисель с ним заодно.

С подоконника обидно
Воробьям, воробьям:
— И кисель, и студень видно—
Да не нам! Да не нам!

Хлебные, столовые, гибкие, стальные,
Все ножи зубчатые, все ножи кривые.
    Нож не булавка:
    Нужна ему правка!
И точильный камень льется
    Журчеем.
Нож и ластится и вьется
    Червяком.
— Вы ножи мои, ножи!
    Серебристые ужи!

У точильщика, у Клима,
Замечательный нажим,
И от каждого нажима
Нож виляет, как налим.

Трудно с кухонным ножом,
С непослушным косарем;
А с мизинцем перочинным
Мы управимся потом!
    Вы ножи мои, ножи!
Серебристые ужи!

У Тимофеевны
Руки проворные—
Зерна кофейные
Черные-черные:
    Лезут, толкаются
    В узкое горло
    И пробираются
    В темное жерло.

Тонко намолото каждое зернышко,
Падает в ящик на темное донышко!

На столе лежат баранки,
Самовар уже кипит.
Черный чай в сухой жестянке
Словно гвоздики звенит:

— Приходите чаевать
Поскорее, гости,
И душистого опять
Чаю в чайник бросьте!

Мы, чаинки-шелестинки,
Словно гвоздики звеним.
    Хватит нас на сто заварок,
    На четыреста приварок:
Быть сухими не хотим!

Весело на противне
Масло зашипело —
То-то поработает
Сливочное, белое.
Все желтки яичные
Опрокинем сразу,
Сделаем яичницу
На четыре глаза.

Крупно ходит маятник —
Раз-два-три-четыре.
И к часам подвешены
Золотые гири.

Чтобы маятник с бородкой
Бегал крупною походкой,
Нужно гирю подтянуть —
ВОТ ТАК — НЕ ЗАБУДЬ!

1926

Стихи, не входившие в книги

МАЛЬЧИК В ТРАМВАЕ

Однажды утром сел в трамвай
Первоступенник-мальчик.
Он хорошо умел считать
До десяти и дальше.
И вынул настоящий
Он гривенник блестящий.

Кондукторши, кондуктора,
Профессора и доктора
Решают все задачу,
Как мальчику дать сдачу.

А мальчик сам,
А мальчик всем
Сказал, что десять минус семь
Всегда выходит три.

И все сказали: повтори!
Трамвай поехал дальше,
А в нем поехал мальчик.

БУКВЫ

— Я писать умею: отчего же
Говорят, что буквы непохожи,
Что не буквы у меня — кривули?
С длинными хвостами загогули?

Будто «А» мое как головастик,
Что у «Б» какой-то лишний хлястик:
Трудно с вами, буквы-негритята,
Длинноногие мои утята!

ЯЙЦО

Курицу яйцо учило:
Ты меня не так снесла,
Слишком криво положила,
Слишком мало берегла:
Недогрела и ушла,—
Как тебе не стыдно было?

ПОРТНИХА

Утомилась портниха —
Работает тихо.
Потеряла иглу —
Не найти на полу.

А иголки все у елки,
Все иголки у ежа!

Нагибается, ищет,
Только песенку свищет,
Потеряла иглу —
Не найти на полу.

— Для чего же я челку
Разноцветного шелку
Берегла, берегла,
Раз пропала игла!

ВСЕ В ТРАМВАЕ

Красноглазой сонной стаей
Едут вечером трамваи,

С ними мальчик едет тот,
Что запомнил твердо счет;

И портниха: с ней иголка;
У нее в руках кошелка;

Мальчик с баночкой чернил —
Перья новые купил;

Едет чистильщик с скамейкой,
Полотер с мастикой клейкой;

Едет муха налегке,
Выкупавшись в молоке;

С ними едут и другие,
Незнакомые, чужие.

Лишь настройщик опоздал:
На рояли он играл.

СОННЫЙ ТРАМВАЙ

У каждого трамвая
Две пары глаз-огней
И впереди площадка,
Нельзя стоять на ней.

Он завтракает вилкой
На улицах больших.
Закусывает искрой
Из проволок прямых.

Я сонный, красноглазый,
Как кролик молодой,
Я спать хочу, вожатый:
Веди меня домой.

1926

МУРАВЬИ

Муравьев не нужно трогать:
Третий день в глуши лесов
Все идут, пройти не могут
Десять тысяч муравьев.

Как носильщик настоящий
С сундуком семьи своей,
Самый черный и блестящий,
Самый сильный — муравей!

Настоящие вокзалы —
Муравейники в лесу:
В коридоры, двери, залы
Муравьи багаж несут!

Самый сильный, самый стойкий,
Муравей пришел уже
К замечательной постройке
В сорок восемь этажей.

Шуточные стихи

<АННЕ АХМАТОВОЙ>

Вы хотите быть игрушечной,
Но испорчен Ваш завод,
К Вам никто на выстрел пушечный
Без стихов не подойдет.

1911

* * *

Блок — король
И маг порока;
Рок и боль
Венчают Блока.

10 декабря 1911

* * *

И глагольных окончаний колокол
Мне вдали указывает путь,
Чтобы в келье скромного филолога
От моих печалей отдохнуть.

Забываю тягости и горести,
И меня преследует вопрос:
Приращенье нужно ли в аористе
И какой залог «пепайдевкос»?

1912

АНТОЛОГИЯ АНТИЧНОЙ ГЛУПОСТИ <I>

Ветер с высоких дерев срывает желтые листья.
Лесбия, посмотри: фиговых сколько листов!

Катится по небу Феб в своей золотой колеснице—
Завтра тем же путем он возвратится назад.

— Лесбия, где ты была?—Я лежала в объятьях Морфея.
— Женщина, ты солгала: в них я покоился сам!

Буйных гостей голоса покрывают шумящие краны:
Ванну, хозяин, прими—но принимай и гостей!

«Милая!»—тысячу раз твердит нескромный любовник.
В тысячу первый он—«милая» скажет опять!

1912 (?)

* * *

Слышен свист и вой локомобилей—
Дверь лингвиста войлоком обили.

* * *

Кушает сено корова,
А герцогиня желе,
И в половине второго
Граф ошалел в шале.

1913 (?)

* * *

В девятьсот двенадцатом, как яблоко румян,
Был канонизирован святой Мустамиан.
И к неувядаемым блаженствам приобщен
Тот, кто от чудовищных родителей рожден,

Серебро закладывал, одежды продавал
Тысячу динариев менялам задолжал.
Гонят люди палками того, кто наг и нищ,
Охраняют граждане добро своих жилищ.

Конец 1913

* * *

Не унывай,
Садись в трамвай,
Такой пустой,
Такой восьмой...

1913 (или 1915)

* * *

Вуайажор арбуз украл
Из сундука тамбурмажора.
— Обжора! — закричал капрал.—
Ужо расправа будет скоро.

1915

* * *

Автоматичен, вежлив и суров,
На рубеже двух славных поколений,
Забыл о бесхарактерном Верлэне
И Теофиля принял в сонм богов...
И твой картонный профиль, Гумилев,
Как вырезанный для китайской тени.
....

1915

* * *

Мне скучно здесь, мне скучно здесь,
Среди чужих армян.
Пойдем домой, пойдем домой,—
Нас дома ждет Эдем.

1916

* * *

Барон Эмиль хватает нож.
Барон Эмиль бежит к портрету...
Барон Эмиль, куда идешь?
Барон Эмиль, портрета нету!

1915 (?)

АКТЕРУ, ИГРАВШЕМУ ИСПАНЦА

Испанец собирается порой
На похороны тетки в Сарагосу,
Но все же он не опускает носу
Пред теткой бездыханной, дорогой.
Он выкурит в Севилье пахитосу
И быстро возвращается домой.
Любовника с испанкой молодой
Он застает и хвать ее за косу!
Он говорит: не ездил я порой
На похороны тетки в Сарагосу,
Я тетки не имею никакой.
Я выкурил в Севилье пахитосу.
И вот я здесь, клянусь в том бородой,
Билибердосою и Бомбардосой!

1917

ГАЗЕЛЛА

Почему ты все дуешь в трубу, молодой человек?
Полежал бы ты лучше в гробу, молодой человек.

1920

* * *

Я вскормлен молоком классической Паллады,
И кроме молока мне ничего не надо.

Зима 1920—1921(?)

УМЕРЕВШИЙ ОФИЦЕР

<Н. Оцупу>

Полковнику Белавенцу
Каждый дал по яйцу.
Полковник Белавенец
Съел много яец.

Пожалейте Белавенца,
Умеревшего от яйца.

Конец 1920

* * *

В альбом спекулянтке Розе

Если грустишь, что тебе задолжал я одиннадцать тысяч,
Помни, что двадцать одну мог я тебе задолжать.

Зима 1920—1921

АНТОЛОГИЯ АНТИЧНОЙ ГЛУПОСТИ <II>

Юношей Публий вступил в ряды ВКП золотые,
Выбыл из партии он дряхлым—увы!—стариком.

М. Лозинскому

Сын Леонида был скуп, и кратеры берег он ревниво,
Редко он долу струил пенное в чаши вино.
Так он любил говорить, возлежа за трапезой с пришельцем:
— Скифам любезно вино,—мне же любезны друзья.

М. Лозинскому

Сын Леонида был скуп, и когда он с гостем прощался,
Редко он гостю совал в руку полтинник иль рубль;
Если же скромен был гость и просил лишь тридцать копеек,
Сын Леонида ему тотчас, ликуя, вручал...

К. Шилейко

— Смертный, откуда идешь?—Я был в гостях у Шилейки.
Дивно живет человек, смотришь—не веришь очам:
В креслах глубоких сидит, за обедом кушает гуся.
Кнопки коснется рукой—сам зажигается свет.
— Если такие живут на Четвертой Рождественской люди,
Боги, скажите, молю,—кто же живет на Восьмой?

В. Рождественскому

Пушкин имеет проспект, пламенный Лермонтов тоже.
Сколь же ты будешь почтен, если при жизни твоей
Десять Рождественских улиц!..

В. Пясту

Слышу на улице шум быстро идущего Пяста.
Вижу: торчит на пальто семьдесят пятый отрыв.
Чую смущенной душой запах голландского сыра
И вожделею отнять около ста папирос.

М. Шкапской

Разве подумать я мог, что так легковерна Мария?
Пяста в Бруссоны возьми—Франс без халата сбежит.

З. Давыдову

Юношей я присмотрел скромный матрас полосатый.
Тайной рассрочки смолу лил на меня Тягунов.
Время пристало купить волосяную попону—
У двоеженца спроси—он объяснит почему.

Ю. Юркуну

Двое влюбленных в ночи дивились огромной звездою,—
Утром постигли они — это сияла луна.

<ИЗ АЛЬБОМА Д. И. ШЕПЕЛЕНКО>

Поэту море по коленки!
Смотрите: есть у Шепеленки,
Что с Аглаидой Бонифатий
Совокуплялся без объятий.

———

Нам не шелк, одна овчина,
Мы — несчастливый народ.
И в тетрадях чертовщина,
И в судьбе нашей не прет!

———

Роковое трепетанье —
Живо сердце, не мертво,
Как уборщица Маланья.
Впрочем, это ничего.

8 ноября 1923

* * *

Есть разных хитростей у человека много,
И жажда денег их влечет к себе, как вол.
Кулак Пахом, чтоб не платить налога,
Наложницу себе завел!

1923 или 1924

* * *

Но я люблю твои, Сергей Бобров,
Почтово-телеграфные седины.

* * *

Писателю

Как некий исполин с Синая до Фавора,
От договора ты бредешь до договора.

* * *

Ольге Андреевне,
девушке-милиционеру

Не средиземною волной
И не вальпургиевой жабой —
Я нынче брежу, сам не свой,
Быть арестованному бабой.

АНТОЛОГИЯ ЖИТЕЙСКОЙ ГЛУПОСТИ

Мандельштам Иосиф автор этих разных эпиграмм,—
Никакой другой Иосиф не есть Осип Мандельштам.

Эта Анна есть Иванна — Дом-Искусства человек,
Несмотря что в Дом-Искусства можно ванну принимать.

Это Гарик Ходасевич, по фамильи Гренцион,
Несмотря что Альциона есть элегия Шенье...

Это есть Лукницкий Павел, Николаич человек,
Если это не Лукницкий, это, значит, Милюков.

Алексей Максимыч Пешков — очень горький человек,
Несмотря на то, что Пешков — не есть горький человек.

1925

* * *

Это есть художник Альтман,
Очень старый человек.
По-немецки значит Альтман —
Очень старый человек.

Он художник старой школы,
Целый свой трудится век,
Оттого он невеселый,
Очень старый человек.

* * *

Это есть мадам Мария —
Уголь есть почти что торф,
Но не каждая Мария
Может зваться Бенкендорф.

* * *

Любил Гаврила папиросы,
Он папиросы обожал.
Пришел однажды он к Эфросу:
Абрам, он, Маркович, сказал.

* * *

Зевес сегодня в гневе на Гермеса —
В кузнечном деле ни бельмеса,
Оказывается, он не понимал,
Но, громовержец, ты ведь это знал!..

ИЗВОЗЧИК И ДАНТ

Извозчик Данту говорит
С энергией простонародной.
О чем же? О профессии свободной,
О том, что вместе их роднит.

— И я люблю орган,
Из всех трактиров я предпочитаю «Рим».
Хоть я не флорентиец,
Но все же я не вор и не убиец;
Ведь лошади моей, как хорошенько взвесить,
Лет будет восемь иль, пожалуй, десять,—
И столько же ходил за Беатричей ты;
Дурного не скажу и во хмелю про Данта,
В тебе отца родного чту и коменданта,—
Вели ж по осени не разводить мосты!

ЛЖЕЦ И КСЕНДЗЫ

(Басня)

Известно: у католиков развод
За преступление слывет.
И вот
В Италии один партикулярий
Им предложил устроить хоть *акварий.*
Но, по глазам
Лжеца узнав,
Так отказал ему викарий:
— Иди, мой сын, пока ты не погиб:
Мы не *разводим* даже рыб!

ПЕСНЬ ВОЛЬНОГО КАЗАКА

Я мужчина-лесбнянец,
Иностранец, иностранец.
На Лесбосе я возрос,
О, Лесбос, Лесбос, Лесбос!

* * *

Ubi bene, ibi patria*,—
Но имея другом Бена
Лившица, скажу обратное:
Ubi patria, ibi bene**.

---

* Где хорошо, там отечество *(лат.)*.
** Где отечество, там хорошо *(лат.)*.

ТЕТУШКА И МАРАТ

Куда как тетушка моя была богата.
Фарфора, серебра изрядная палата,
Безделки разные и мебель акажу,
Людовик, рококо — всего не расскажу.

У тетушки моей стоял в гостином зале
Бетховен гипсовый на лаковом рояле —
У тетушки моей он был в большой чести.
Однажды довелось мне в гости к ней прийти,—

И, гордая собой, упрямая старуха
Перед Бетховеном проговорила глухо:
— Вот, душенька, Марат, работы Мирабо!
— Да что вы, тетенька, не может быть того!

Но старость черствая к поправкам глуховата:
— Вот, душенька, портрет известного Марата
Работы, ежели припомню, Мирабо.
— Да что вы, тетенька, не может быть того!

БАЛЛАДА О ГОРЛИНКАХ

Восстал на царство Короленки
Ионов, Гиз, Авессалом:
— Литературы-вырожденки
Не признаем, не признаем!
Но не серебряные пенки,
Советского червонца лом,
И не бумажные керéнки —
Мы только горлинки берем!

Кто упадет на четверенки?
(Двум Александрам тесен дом.)
Блондинки, рыжие, шатенки
Вздохнут о ком, вздохнут о ком?
Кто будет мучиться в застенке,
Доставлен в Госиздат живьем?
Воздерживаюсь от оценки:
Мы только горлинки берем!

Гордятся патриотки-венки
Своим слабительным питьем —
С лица Всемирки-Современки
Не воду пьем, не воду пьем!
К чему нам различать оттенки?
Не нам кичиться этажом.
Нам — гусь, тебе — бульон и гренки,—
Мы только горлинки берем!

ENVOI*:

Князь Гиза, слышишь, к переменке
Поет бухгалтер соловьем:
— Кто на кредитки пялит зенки?
Мы только горлинки берем!

В ночь на 25 декабря 1924

* * *

На Моховой семейство из Полесья
Семивершковый празднует шабаш.
Здесь Гомель — Рим, здесь папа — Шолом Аш
И голова в кудрявых пейсах песья.

Из двух газет — о чудо равновесья! —
Два карлика построили шалаш
Для ритуала, для раввинских каш —
Испано-белорусские отчесья.

Семи вершков, невзрачен, бородат,
Давид Выгодский ходит в Госиздат
Как закорючка азбуки еврейской,

Где противу площадки брадобрейской,
Такой же, как и он, небритый карл,
Ждет младший брат — торговли книжной ярл.

1924—1925

---

* Посылка, то есть заключительная строфа стихотворения, содержащая посвящение *(фр.)*.

* * *

Скажу ль,
Во Франции два брата, два Гонкура,
Эдмонд и Жуль,
Когда б не родились и не писали вместе,
Не оказали б им такой французы чести.

Два брата, но одна у братьев голова—
У них цилиндра два и редингота два...
Жуль если только книгу пишет,
Эдмонд не кушает, не дышит.
Покуда Жуль пером себя бессмертит,
Эдмонд мороженицу вертит.

А вечером, лей дождь хоть из ведра,
С Эдмондом Жуль идут в Гранд Опера.
И, не считаясь с тем, кто пишет лучше, плоше,
Друг другу подают не в очередь калоши.

Где братья, там салон, капустник иль премьера...
— Намедни я обедал у Флобера.
Нет, что ни говори,
Изрядно у него выходит «Бовари»!..

1925

* * *

<А. Радловой>

Архистратиг вошел в иконостас...
В ночной тиши запахло валерьяном.
Архистратиг мне задает вопросы,
К чему тебе .... косы
И плеч твоих сияющий атлас...

* * *

Однажды некогда какой-то подполковник,
Белогвардеец и любовник,
Постился, выводя глисту.

Дня три или четыре
Росинки маковой он не имел во рту.

Но величайший постник в мире
Лишь тот, кто натощак читает «На посту».

<1924>

* * *

<И. Уткину>

Один еврей, должно быть, комсомолец,
Живописать решил дворянский старый быт:
На закладной под звуки колоколец
Помещик в подорожную спешит.

* * *

<Ф. Панферову>

Помпоныч, римский гражданин,
Наскучив жить в развратном изобильи,
На то имея множество причин,
Включая старческое слабосилье,
К себе гостей однажды пригласил
И сам себе разрезал скукожилья,
Скукожился и дух по ванной испустил...

* * *

Горнунгам

У вас в семье нашел опору я —
Предупредительность, которая
Меня сумела воскресить,
И долго будет крыса хворая
Признательна за помощь скорую,
Которую нельзя забыть.

Май 1927

* * *

Плещут воды Флегетона,
Стены Тартара дрожат.
Съеден торт — определенно —
Пястом пестуемый яд.

* * *

Подшипник с шариком
Начни соревноваться —
Подшипники шипеть,
А шарики — кататься.

<Конец 1920-х>

* * *

<Г. А. Шенгели>

Кто Маяковского гонитель
И полномочный представитель
Персидского .... Лахути?
Шенгели, господи прости,
Российских ямбов керченский смотритель.

<Конец 1920-х>

* * *

Посреди огромных буйволов
Ходит маленький Мануйловов.

Декабрь 1930 (?)

МОРГУЛЕТЫ

Моргулис — он из Наркомпроса.
Он не турист и не естественник,
К истокам Тигра и Эфроса
Он знаменитый путешественник.

Старик Моргулис зачастую
Ест яйца всмятку и вкрутую.
Его враги нахально врут,
Что сам Моргулис тоже крут.

Я видел сон — мне бес его внушил,—
Моргулис смокинг Бубнову пошил.
Но тут виденья вдруг перевернулись,
И в смокинге Бубнова шел Моргулис.

Старик Моргулис из Ростова
С рекомендацией Бубнова,
Друг Островера и Живова
И современник Козакова.

Старик Моргулис на Востоке
Постиг истории истоки.
У Шагинян же Мариетт
Гораздо больше исторьетт.

У старика Моргулиса глаза
Преследуют мое воображенье,
И с ужасом я в них читаю: «За
Коммунистическое просвещенье»!

Старик Моргулис под сурдинку
Уговорил мою жену
Вступить на торную тропинку
В газету гнусную одну.

Такую причинить обиду
За небольшие барыши!
Так отслужу ж я панихиду
За ЗКП его души.

Звезды сияют ночью летней,
Марганец спит в сырой земле,
Но Моргулис тысячелетний
Марганца мне и звезд милей.

———

Старик Моргулис — примечай-ка! —
Живет на Трубной у Семейки,
И пядей будучи семи
Живет с Семейкой без семьи.

———

Старик Моргулис на бульваре
Нам пел Бетховена...

Начало 1930-х

СТИХИ О ДОХЕ

1

Ох, до сибирских мехов охоча была Каранович:
Аж на Покровку она худого пустила жильца.
— Бабушка, шубе не быть,— вскричал запыхавшийся внучек.—
Как на духу, Мандельштам плюет на нашу доху.

2

Скажи-ка, бабушка,— хе-хе! —
И я сейчас к тебе приеду:
Явиться в смокинге к обеду
Или в узорчатой дохе?

1931

* * *

Павлу Васильеву

Мяукнул конь и кот заржал —
Казак еврею подражал.

<Начало 1930-х>

ЭПИГРАММА В ТЕРЦИНАХ

Есть на Большой Никитской некий дом —
Зоологическая камарилья,
К которой сопричастен был Вермель.

Он ученик Барбея д'Оревильи.
И этот сноб, прославленный Барбей,
Запечатлелся в Вермелевом скарбе

И причинил ему немало он скорбей.
Кто может знать, как одевался Барбий?
Ведь англичанина не спросит внук,
Как говорилось: «дерби» или «дарби»...

А Вермель влез в Барбеевый сюртук.

Весна 1931

* * *

Ходит Вермель, тяжело дыша,
Ищет нежного зародыша.

Хорошо на книгу ложится
Человеческая кожица.

Снегом улицы заметены,
Люди в кожу переплетены —

Даже дети, даже женщины —
Как перчатки у военщины.

Дева-роза хочет дочь нести
С кожею особой прочности.

Душно... Вермель от эротики
Задохнулся в библиотеке.

Октябрь 1932

* * *

Счастия в Москве отчаяв,
Едет в Гатчину Вермель.
Он почти что Чаадаев,
Но другая в жизни цель.

Он похитил из утробы
Милой братниной жены...
Вы подумайте: кого бы?
И на что они нужны?

Из племянниковой кожи
То-то выйдет переплет!
И, как девушку в прихожей,
Вермель черта ущипнет.

Октябрь 1932

* * *

Какой-то гражданин, наверное попович,
Наевшися коммерческих хлебов,
— Благодарю,— воскликнул,— Каганович! —
И был таков.
Однако!

* * *

Однажды из далекого кишла́ка
Пришел дехканин в кооператив,
Чтобы купить себе презерватив.
Откуда ни возьмись,— мулла-собака,
Его нахально вдруг опередив,
Купил товар и был таков.
Однако!

* * *

Сулейману Стальскому

Там, где край был дик,
Там шумит арык,
Где шумел арык,
Там пасется бык,
А где пасся бык,
Там поет старик.

* * *

<А. В. Звенигородскому>

Звенигородский князь в четырнадцатом веке
В один присест съел семьдесят блинов,
А бедный князь Андрей и ныне нездоров...
Нам не уйти от пращуров опеки.

СОНЕТ

Мне вспомнился старинный апокриф —
Марию Лев преследовал в пустыне
По той простой, по той святой причине,
Что был Иосиф долготерпелив.

Сей патриарх, немного почудив,
Марииной доверился гордыне —
Затем, что ей людей не надо ныне,
А Лев — дитя — небесной манной жив.

А между тем Мария так нежна,
Ее любовь так, боже мой, блажна,
Ее пустыня так бедна песками,

Что с рыжими смешались волосками
Янтарные, а кожа — мягче льна —
Кривыми оцарапана когтями.

<1933>

* * *

<М. С. Петровых>

Марья Сергеевна, мне ужасно хочется
Увидеть вас старушкой-переводчицей,
Неутомимо, с головой трясущейся,
К народам СССР влекущейся,
И чтобы вы без всякого предстательства
Вошли к Шенгели в кабинет издательства
И вышли, нагруженная гостинцами —
Полурифмованными украинцами.

* * *

Знакомства нашего на склоне
Шервинский нас к себе зазвал
Послушать, как Эдип в Колоне
С Нилендером маршировал.

* * *

Какой-то гражданин, не то чтоб слишком пьяный,
Но, может быть, в нетрезвом виде,— он
В квартире у себя установил орган.
Инстру́мент заревел. Толпа жильцов в обиде.
За управдомом шлют — тот гневом обуян,—
И тотчас вызванный им дворник Себастьян
Бах! бах! — машину смял, мошеннику дал в зубы.

Не в том беда, что Себастьян — грубьян,
А плохо то, что бах какой-то грубый...

Начало 1934

* * *

Анне Ахматовой

Привыкают к пчеловоду пчелы,
Такова пчелиная порода...
Только я Ахматовой уколы
Двадцáть три уже считаю года.

1934

* * *

На берегу эгейских вод
Живут архивяне. Народ
Довольно древний. Всем на диво
Поганый промысел его —
Продажа личного архива.
Священным трепетом листвы
И гнусным шелестом бумаги
Они питаются — увы! —
Неуважаемы и наги...
Чего им нужно?

<Весна> 1934

* * *

Один портной
С хорошей головой
Приговорен был к высшей мере.
И что ж? — портновской следуя манере,
С себя он мерку снял —
И до сих пор живой.

1 июня 1934

* * *

Случайная небрежность иль ослышка
Вредны уму, как толстяку аджика.
Сейчас пример мы приведем:

Один филолог,
Беседуя с невеждою вдвоем,
Употребил реченье «идиом».
И понадергали они друг другу челок!
Но виноват из двух друзей, конечно, тот,
Который услыхал оплошно: «идиот».

12 июня 1935

* * *

Не надо римского мне купола
Или прекрасного далека.
Предпочитаю вид на Луппола
Под сенью Жан-Ришара Блоха.

1935

* * *

Карлик-юноша, карлик-мимоза
С тонкой бровью — надменный и злой...
Он питается только Елозой
И яичною скорлупой.

Апрель 1936

* * *

Искусств приличных хоровода
Вадим Покровский не спугнет:
Под руководством куровода,—
За Стоичевым год от года
Настойчивей кроликовод.

24 февраля 1937

* * *

Источник слез замерз,
И весят пуд оковы
Обдуманных баллад
Сергея Рудакова.

<СТИХИ К НАТАШЕ ШТЕМПЕЛЬ>

Пришла Наташа. Где была?
Небось не ела, не пила.
И чует мать, черна как ночь:
Вином и луком пахнет дочь.

Если бы проведал бог,
Что Наташа педагог,
Он сказал бы: ради бога,
Уберите педагога!

— Наташа, как писать: «балда»?
— Когда идут на бал,— то: «да!»
— А «вполдень»?—Если день—то вместе,
А если ночь—то не скажу, по чести...

Наташа, ах, как мне неловко,
Что я не Генрих Гейне:
К головке—переводчик ейный—
Я б рифму закатил: плутовка.

Наташа, ах, как мне неловко!
На Загоровского, на маму—
То бишь на божию коровку
Заказывает эпиграмму!

24 февраля 1937

Наташа спит. Зефир летает
Вкруг гофрированных волос.
Для девушки, как всякий знает,
Сон утренний, источник слез,
Головомойку означает,
Но волосы ей осушает
Какой-то мощный пылесос,
И перманентно иссякает—
И вновь кипит источник слез.

24 февраля 1937

* * *

Эта книга украдена
Трошею в СХИ,
И резинкою Вадиной
Для Наташи она омоложена,
Ей дадена
В день посещения дядина.

ПОДРАЖАНИЕ НОВОГРЕЧЕСКОМУ

Девочку в деве щадя, с объясненьями юноша медлил
И через семьдесят лет молвил старухе*: люблю.

Мальчика в муже щадя, негодуя, медлила дева
И через семьдесят лет плюнула старцу в лицо.

*(Найдено в архиве одной греческой
старухи. Перевел с новогреческого О. Мандельштам)*

* * *

О, эта Лена, эта Нора,
О, эта Этна — И.Т.Р.
Эфир, Эсфирь, Элеонора —
Дух кисло-сладкий двух мегер.

24 февраля 1937

РЕШЕНЬЕ

Когда б женился я на египтянке
И обратился в пирамид закон,
Я б для моей жены, для иностранки,
Для донны покупал пирамидон, —
Купаясь в Ниле с ней или в храм и́дя,
Иль ужиная летом в пирамиде —
Для донны пирамид — пирамидон.

Март (?) 1937

---

* В указанный момент юноше было 88 лет, а деве — 86 лет (примечание переводчика).

Приложения

Разные редакции и наброски

СТИХОТВОРЕНИЯ

(1908—1925)

«О, НЕБО, НЕБО, ТЫ МНЕ БУДЕШЬ СНИТЬСЯ...»

Качает ветер тоненькие прутья,
И крепнет голос проволоки медной,
И пятна снега — яркие лоскутья —
Все, что осталось от тетради бедной...

О, небо, небо, ты мне будешь сниться;
Не может быть, чтоб ты совсем ослепло,
И день сгорел, как белая страница:
Немного дыма и немного пепла!

Жемчужный почерк оказался ложью,
И кружева не нужен смысл узорный;
И только медь — непобедимой дрожью —
Пространство режет, нижет бисер черный.

Разве я знаю, отчего я плачу?
Я только петь и умирать умею.
Не мучь меня: я ничего не значу
И черный хаос в черных снах лелею!

ТЕННИС

ТЕННИС

Средь аляповатых дач,
Где скитается шарманка,
Сам собой летает мяч —
Как волшебная приманка.

Кто, смиривший грубый пыл,
Облеченный в снег альпийский,
С резвой девушкой вступил
В поединок олимпийский?

Он творит игры обряд
Так легко вооруженный —
Как аттический солдат,
В своего врага влюбленный!

Вижу мельницы, как встарь,
И гребцов на Темзе кроткой;
Завладел спортсмэн — дикарь
Многовесельною лодкой.

Вижу стадо у воды;
Стерегут овец овчарки.
Без седла и без узды
Пущен конь на клевер яркий.

Это Англия цветет —
Остров мирный и веселый...
Здравствуй, тенниса полет,
Полотно и локоть голый!

«НА ЛУНЕ НЕ РАСТЕТ...»

<I>

У МЕНЯ НА ЛУНЕ

Это все о луне
Только небылица,—
В этот вздор о луне
Верить не годится.
Это все о луне
Только небылица.

На луне не растет
Ни одной былинки;
На луне весь народ
Делает корзинки —
Из соломы плетет
Легкие корзинки.

На луне полутьма
И дома опрятней;

На луне не дома —
Просто голубятни;
Голубые дома —
Чудо-голубятни.

На луне нет дорог
И везде скамейки,
Поливают песок
Из высокой лейки.
Что ни шаг, то прыжок
Через три скамейки.

У меня на луне
Голубые рыбы,
Но они на луне
Плавать не могли бы,—
Нет воды на луне
И летают рыбы!

1927

<II>

ПРИГЛАШЕНИЕ НА ЛУНУ

У меня на луне
Вафли ежедневно,
Приезжайте ко мне,
Милая царевна!
Хлеба нет на луне,—
Вафли ежедневно.

На луне не растет
Ни одной былинки;
На луне весь народ
Делает корзинки —
Из соломы плетет
Легкие корзинки.

На луне полутьма
И дома опрятней;
На луне не дома —
Просто голубятни;
Голубые дома —
Чудо-голубятни.

Убежим на часок
От земли-злодейки!

На луне нет дорог
И везде скамейки,
Что ни шаг, то прыжок
Через три скамейки.

Захватите с собой
Молока котенку,
Земляники лесной,
Зонтик и гребенку...
На луне голубой
Я сварю вам жженку.

ПОСОХ

Посох мой — моя свобода,
Сердцевина бытия.
Скоро ль истиной народа
Станет истина моя?
Я земле не поклонился,
Прежде чем себя нашел;
Посох взял, возвеселился
И в далекий Рим пошел.
Знаю, снег на черных пашнях
Не растает никогда,
Виноградников домашних
Не пьянит меня вода.
Снег растает на утесах,
Солнцем Истины палим.
Прав народ, вручивший посох
Мне, идущему на Рим.

«УНИЧТОЖАЕТ ПЛАМЕНЬ...»

Уничтожает пламень
Сухую жизнь мою,
И ныне я не камень,
А дерево пою.

Оно легко и грубо.
Из одного куска
И сердцевина дуба,
И весла рыбака.

Вбивайте крепче сваи,
Стучите, молотки,
О деревянном рае,
Где вещи так легки.

Поведайте пустыне
О дереве креста;
В глубокой сердцевине
Какая красота!

Из дерева простого
Я смастерил челнок,
И ничего иного
Я выдумать не мог.

1915

«ОБИЖЕННО УХОДЯТ НА ХОЛМЫ...»

<I>

Обиженно уходят на холмы —
Как Римом недовольные плебеи —
Старухи овцы — черные халдеи,
Исчадье мрака в капюшонах тьмы.

Их тысячи, передвигают все,
Как жердочки, мохнатые колени;
Трясутся и бегут в курчавой пене —
Как жеребья в огромном колесе.

Они покорны чуткой слепоте.
Они — руно косноязычной ночи.
Им солнца нет! Слезящиеся очи —
Им зренье старца светит в темноте!

Август 1915

<II>

Обиженно уходят на холмы
Плебеи, и о Риме семихолмном
Тоскуют овцы и по черным волнам
Земли кочуют в океане тьмы.

На них кустарник двинулся стеной
И побежали воинов палатки,
Они идут в священном беспорядке.
Висит руно тяжелою волной.

Им нужен царь и черный Авентин,
Овечий Рим с его семью холмами,
Собачий лай, костер под небесами
И горький дым жилища и овин.

Они покорны чуткой слепоте,
Они — руно косноязычной ночи,
Им солнца нет: слезящиеся очи
Им — зренье старца — светят в темноте.

Август 1915

«КАК ЭТИХ ПОКРЫВАЛ И ЭТОГО УБОРА...»

<1>

— Как этих покрывал и этого убора
Мне пышность тяжела средь моего позора...

Собирается в Трезене
Знаменитая беда:
Царской лестницы ступени
Покраснеют от стыда,
Вот она: какие речи
И какой ужасный вид!
Избегает с нею встречи,
Чуя правду, Ипполит.

— О, если б ненависть в груди моей кипела —
Но видите — само — признанье с уст слетело.

Черным факелом среди белого дня
К Ипполиту любовью Федра зажглась
И сама погибла, сына виня,
У старой кормилицы учась.
Позабыла свой род и царский сан;
Возвела на юношу неправды тень,
Заманила охотника в капкан.
По тебе будут плакать леса, олень!

Любовью черною я солнце запятнала...
....

Мы боимся, мы не смеем
Горю царскому помочь:
Уязвленная Тезеем,
На него напала ночь.

Мы же, песнью похоронной
Провожая мертвых в дом,
Страсти дикой и бессонной
Солнце черное уймем.

13 октября 1915

<II>

«Как этих покрывал и этого убора
Мне пышность тяжела средь моего позора!»

— Будет в каменной Трезене
Знаменитая беда,
Царской лестницы ступени
Покраснеют от стыда,
Гибель Федры беззаконной
Перейдет из рода в род,
И для матери влюбленной
Солнце черное взойдет.

«О, если б ненависть в груди моей кипела—
Но, видите, само признанье с уст слетело».

— Черным пламенем Федра горит
Среди белого дня.
Погребальный факел чадит
Среди белого дня.
Бойся матери ты, Ипполит:
Федра—ночь—тебя сторожит
Среди белого дня.

«Любовью черною я солнце запятнала...»
....

Посоветовала кормилица
Ипполита извести.
Горьким дымом горе стелется,
Разъедает очи гарь.
....
....
....
....

Знаменитая беззаконница—
Федра солнце погребла,—
В очаге средь зала царского
Злится скучная зола!

Но светило златокудрое
Выздоравливает вновь,
Злая ложь и правда мудрая
Пред тобой равны, любовь.

1915

СОЛОМИНКА

СОЛОМИНКА

Когда, соломинка, не спишь в огромной спальне
И ждешь, бессонная, чтоб, важен и высок,
Спокойной тяжестью,— что может быть печальней,—
На веки чуткие спустился потолок,

Соломка звонкая, соломинка сухая,
Всю смерть ты выпила и сделалась нежней,
Сломалась милая соломка неживая,
Не Саломея, нет, соломинка скорей.

Нет, не соломинка в торжественном атласе,
В огромной комнате, над черною Невой,
Двенадцать месяцев поют о смертном часе,
Струится в воздухе лед бледно-голубой.

И, к умирающим склоняясь в черной рясе,
Заиндевелых роз мы дышим белизной.
Что знает женщина одна о смертном часе?
Клубится полог, свет струится ледяной.

Где голубая кровь декабрьских роз разлита
И в саркофаге спит тяжелая Нева,
Шуршит соломинка, соломинка убита—
Что, если жалостью убиты все слова?

«МНЕ ХОЛОДНО! ПРОЗРАЧНАЯ ВЕСНА...»

ПЕТРОПОЛЬ

I

Мне холодно! Прозрачная весна
В зеленый пух Петрополь одевает,
Но, как Медуза, невская волна
Мне отвращенье легкое внушает!
По набережной северной реки
Автомобилей мчатся светляки,

Летят стрекозы и жуки стальные,
Мерцают звезд булавки золотые,—
Но никакие звезды не убьют
Морской воды тяжелый изумруд!

II

Не фонари сияли нам, а свечи
Александрийских стройных тополей.
Вы сняли черный мех с груди своей
И на мои переложили плечи.
Смущенная величием Невы,
Ваш чудный мех мне подарили вы!

III

В Петрополе прозрачном мы умрем,
Где властвует над нами Прозерпина.
Мы в каждом вздохе смертный воздух пьем,
И каждый час — нам смертная година.
Богиня моря, грозная Афина,
Сними могучий каменный шелом:
В Петрополе прозрачном мы умрем,
Здесь царствуешь не ты, а Прозерпина!

Май 1916

«СОБИРАЛИСЬ ЭЛЛИНЫ ВОЙНОЮ...»

Собирались эллины войною
На прелестный остров Саламин,—
Он, отторгнут вражеской рукою,
Виден был из гавани Афин.

А теперь друзья-островитяне
Снаряжают наши корабли —
Не любили раньше англичане
Европейской сладостной земли.

О Европа, новая Эллада,
Золотая житница гостей,
Ни любви, ни дружбы нам не надо
Альбиона каменных детей.

На священной памяти народа
Англичанин другом не слывет,
Развалит Европу их свобода,
Альбиона каменный приход.

КАССАНДРЕ

<I>

КАССАНДРЕ

Я не искал в цветущие мгновенья
Твоих, Кассандра, губ, твоих, Кассандра, глаз,
Но в декабре торжественное бденье —
Воспоминанье мучит нас!

И в декабре семнадцатого года
Все потеряли мы, любя:
Один ограблен волею народа,
Другой ограбил сам себя...

Когда-нибудь в столице шалой,
На скифском празднике, на берегу Невы,
При звуках омерзительного бала
Сорвут платок с прекрасной головы...

Но, если эта жизнь — необходимость бреда,
И корабельный лес — высокие дома,—
Лети, безрукая победа —
Гиперборейская чума!

На площади с броневиками
Я вижу человека: он
Волков горящими пугает головнями:
Свобода, равенство, закон!

<II>

ОТРЫВОК

Какая вещая Кассандра
Тебе пророчила беду?
О,будь, Россия Александра,
Благословенна и в аду!

Рукопожатье роковое
На шатком неманском плоту...

1915

«В ХРУСТАЛЬНОМ ОМУТЕ КАКАЯ КРУТИЗНА!..»

В хрустальном омуте какая крутизна!
За нас сиенские предстательствуют горы,
И сумасшедших скал колючие соборы
Повисли в воздухе, где шерсть и тишина...

1919

ФЕОДОСИЯ

Идем туда, где разные науки
И ремесло — шашлык и чебуреки,
Где вывеска, изображая брюки,
Дает понятье нам о человеке.
Мужской сюртук — без головы стремленье,
Цирюльника летающая скрипка
И месмерический утюг — явленье
Небесных прачек — тяжести улыбка...

Здесь девушки стареющие в челках
Обдумывают странные наряды
И адмиралы в твердых треуголках
Припоминают сон Шехерезады.
Прозрачна даль. Немного винограда,
И неизменно дует ветер свежий.
Недалеко от Смирны и Багдада,
Но трудно плыть, а звезды всюду те же.

1919

«МНЕ ТИФЛИС ГОРБАТЫЙ СНИТСЯ...»

ТИФЛИС

Мне Тифлис горбатый снится,
Сазандарий стон звенит,
На мосту народ толпится,
Вся ковровая столица,
А внизу Кура шумит!

Над Курою есть духаны,
Где вино и милый плов,
И духанщик там румяный
Подает гостям стаканы
И служить тебе готов.

Кахетинское густое
Хорошо в подвале пить,—
Там в прохладе, там в покое
Пейте вдоволь, пейте двое,
Одному не надо пить.

В самом маленьком духане
Ты товарища найдешь,
Если спросишь «Телиани».
Поплывет Тифлис в тумане,
Ты в духане поплывешь.

Человек бывает старым,
А барашек молодым.
И под месяцем поджарым
С розоватым винным паром
Полетит шашлычный дым...

1920

ЛАСТОЧКА

<1>

Я слово позабыл, что я хотел сказать.
Слепая ласточка в чертог теней вернется
На крыльях срезанных с прозрачными играть.
В беспамятстве ночная песнь поется.

А на губах, как черный лед, горит
И мучит память: не хватает слова.
Не выдумать его: оно само гудит,
Качает колокол беспамятства ночного.

И медленно растет, как бы шатер иль храм.
То вдруг прокинется безумной Антигоной,
То мертвой ласточкой бросается к ногам
С стигийской нежностью и страстью зачумленной.

О, если бы вернуть и зрячих пальцев стыд,
И выпуклую радость узнаванья.
Я так боюсь рыданья Аонид,
Тумана, звона и зиянья.

А смертным власть дана любить и узнавать,
Для них и звук в персты прольется.
Но он забыл, что я хочу сказать,
И мысль бесплотная в чертог теней вернется.

Но не о том прозрачная твердит,
Все ласточка, подружка, Антигона...
А на губах, как черный лед, горит
Стигийского воспоминанье звона.

Ноябрь 1920

<II>

Я слово позабыл, что я хотел сказать,
Слепая ласточка в чертог теней вернется
На крыльях срезанных с прозрачными играть.
В беспамятстве ночная песнь поется.

А на губах, как черный лед, горит
И мучит память: не хватает слова.
Не выдумать его: оно само гудит,
Качает колокол беспамятства ночного.

Я так боюсь рыданья Аонид,
Тумана, звона и зиянья.
О, если бы вернуть и зрячих пальцев стыд,
И выпуклую радость узнаванья.

Но он забыл, что я хочу сказать,
И мысль бесплотная в чертог теней вернется.
А смертным власть дана любить и узнавать,
Для них и звук в персты прольется.

Но не о том прозрачная твердит —
Все ласточка, подружка, Антигона...
А на губах, как черный лед, горит
Стигийского воспоминанье звона.

Ноябрь 1920

«ЧУТЬ МЕРЦАЕТ ПРИЗРАЧНАЯ СЦЕНА...»

Снова Глюк из жалобного плена
Вызывает сладостных теней.
Захлестнула окна Мельпомена
Красным шелком в храмине своей.
Черным табором стоят кареты,
На дворе мороз трещит,
Все косматo — люди и предметы,
И горячий снег хрустит.

Снова челядь шубы разбирает,
Розу кутают в меха.
А взгляни на небо — закипает
Золотая, дымная уха.
Словно звезды — мелкие рыбешки,
И на них густой навар,
А на улице мигают плошки
И тяжелый валит пар.

После гама, шелеста и крика
До чего кромешна тьма.
Ничего, голубка, Эвридика,
Что у нас студеная зима.
Слаще пенья итальянской речи
Для меня родной язык
И румяные, затопленные печи,
Словно розы римских базилик.

Пахнет дымом бедная овчина,
От сугроба улица черна.
Из блаженного, певучего притина
К нам летит бессмертная весна.
Чтобы вечно ария звучала:
— Ты вернешься на зеленые луга,—
И живая ласточка упала
На горячие снега!

Ноябрь 1920

«В ПЕТЕРБУРГЕ МЫ СОЙДЕМСЯ СНОВА...»

<I>

В Петербурге мы сойдемся снова —
Словно солнце мы похоронили в нем —
И блаженное бессмысленное слово
В первый раз произнесем:
— В черном бархате советской ночи,
В бархате всемирной пустоты,
Все поют блаженных жен родные очи,
Все живут бессмертные цветы.

Дикой кошкой горбится столица.
На мосту патруль стоит.
Только злой мотор во мгле промчится
И кукушкой прокричит.

Мне не надо пропуска ночного,
Часовых я не боюсь.
За блаженное бессмысленное слово
Я в ночи советской помолюсь.

— Для тебя страшнее нет угрозы
Ненавистник солнца, страх,
Чем неувядающие розы
У Киприды в волосах!
У костра мы греемся от скуки:
Может быть, века пройдут—
И блаженных жен родные руки
Легкий пепел соберут.

Через грядки красные партера
Узкою дорожкой ты идешь
Не для черных душ и низменных святош:
Что ж, гаси, пожалуй, наши свечи
В черном бархате всемирной пустоты:
Все поют блаженных жен крутые плечи,
А ночного солнца не заметишь ты.

24 ноября 1920

<II>

В Петербурге мы сойдемся снова,
Словно солнце мы похоронили в нем,
И блаженное, бессмысленное слово
В первый раз произнесем.
В черном бархате [советской] январской ночи,
В бархате всемирной пустоты,
Все поют блаженных жен родные очи,
Все цветут бессмертные цветы.

Дикой кошкой горбится столица,
На мосту патруль стоит,
Только злой мотор во мгле промчится
И кукушкой прокричит.
Мне не надо пропуска ночного,
Часовых я не боюсь:
За блаженное, бессмысленное слово
Я в ночи январской [советской] помолюсь.

Слышу легкий театральный шорох
И девическое «ах» —
И бессмертных роз огромный ворох
У Киприды на руках.
У костра мы греемся от скуки,
Может быть, века пройдут,—
И блаженных жен родные руки
Легкий пепел соберут.

Где-то хоры сладкие Орфея
И родные темные зрачки
И на грядки кресел с галереи
Падают афиши-голубки.
Что ж, гаси, пожалуй, наши свечи,
В черном бархате всемирной пустоты
Все поют блаженных жен крутые плечи,
А ночного солнца не заметишь ты.

«ЗА ТО, ЧТО Я РУКИ ТВОИ НЕ СУМЕЛ УДЕРЖАТЬ...»

Когда ты уходишь и тело лишится души,
Меня обступает мучительный воздух дремучий,
И я задыхаюсь, как иволга в хвойной глуши,
И мрак раздвигаю губами сухой и дремучий.

Как мог я подумать, что ты возвратишься, как смел?
Зачем преждевременно я от тебя оторвался?
Еще не рассеялся мрак и петух не пропел,
Еще в древесину горячий топор не врезался.

Последней звезды безболезненно гаснет укол,
И серою ласточкой утро в окно постучится,
И медленный день, как в соломе проснувшийся вол,
На стогнах, шершавых от долгого сна, шевелится.

1920

МОСКОВСКИЙ ДОЖДИК

Бульварной Пропилеи шорох —
Лети, зеленая лапта!
Во рту булавок свежий ворох,
Дробями дождь залепетал.

Он подает, куда как скупо,
Свой воробьиный холодок —
Немного нам, немного купам,
Немного вишням на лоток.

И в темноте растет кипенье —
Чаинок легкая возня,
Как бы воздушный муравейник
Пирует в темных зеленях;

Из свежих капель виноградник
Зашевелился в мураве.
Как будто холода рассадник
Открылся в лапчатой Москве.

1922

ГРИФЕЛЬНАЯ ОДА

<I>

Какой же выкуп заплатить
За ученичество вселенной,
Чтоб горный грифель очинить
Для твердой записи мгновенной.
На мягкой сланцевой доске
Свинцовой палочкой молочной
Кремневых гор созвать Ликей —
Учеников воды проточной.

Нагорный колокольный сад,
Кремней могучее слоенье,
На виноградниках стоят
Еще и церкви и селенья.
Им проповедует отвес,
Вода их точит, учит время;
И воздуха прозрачный лес
Уже давно пресыщен всеми.

И как паук ползет по мне,—
Где каждый стык луной обрызган,
Иль это только снится мне,
Я слышу грифельные визги.
Твои ли, память, голоса
Учительствуют, ночь ломая,
Бросая грифели лесам,
Из птичьих клювов вырывая?

Мы только с голоса поймем,
Что там царапалось, боролось,
Но где спасенье мы найдем,
Когда уже черствеет голос.
[И что б ни] вывела рука,
[Хотя] бы «жизнь» или «голубка»,
[Все] смоет времени река.
И ночь сотрет мохнатой губкой.

[Кто я?] не каменщик прямой,
[Не кровельщик], не корабельщик,
[Двурушник я] с двойной душой,
[Я ночи друг], я дня застрельщик.
Ночь, золотой твой кипяток
Стервятника ошпарил горло,
И ястребиный твой желток
Глядит из каменного жерла.

И я теперь учу язык,
Который клекота короче,
И я ловлю могучий стык
Видений дня, видений ночи.
И никому нельзя сказать,
Еще не время, после, после;
Какая мука выжимать
Чужих гармоний водоро́сли!

<II>

ГРИФЕЛЬ

Звезда с звездой — могучий стык,
Кремнистый путь из старой песни,
Кремня и воздуха язык,
Кремень с водой, с подковой перстень.
На мягком сланце облаков
Молочный, грифельный рисунок —
Не ученичество миров,
А бред овечьих полусонок.

Мы стоя спим в густой ночи
Под теплой шапкою овечьей.
Обратно в крепь родник журчит
Цепочкой, пеночкой и речью.
И не запишет патриарх
На мягкой сланцевой дощечке
[Записан] Ни этот сдвиг, [записан] ни этот страх.
Читай: кремневых гор осечки.

Как мертвый шершень возле сот,
День пестрый выметен с позором —
И ночь-коршунница несет
Ключи кремлей и грифель кормит.
Нагорный колокольный сад,
Кремней могучее слоенье —
На виноградниках стоят
Еще и церкви и селенья.

И как паук ползет по мне —
Где каждый стык луной обрызган —
На изумленной крутизне
Я слышу грифельные визги.
Твои ли, память, голоса
Учительствуют, ночь ломая,
Бросая грифели лесам,
Из птичьих клювов вырывая?

Мы только с голоса поймем,
Что там царапалось, боролось,
И черствый грифель поведем
Туда, куда укажет голос;
И чтоб ни вывела рука,
Хотя бы «жизнь» или «голубка» —
И виноградного тычка
Не стоит пред мохнатой губкой.

Кто я? Не каменщик прямой,
Не кровельщик, не корабельщик —
Двурушник я с двойной душой,
Я ночи друг, я дня застрельщик.
Блажен, кто называл кремень
Учеником воды проточной.
Блажен, кто завязал ремень
Подошве гор на верной почве.

И я теперь учу дневник
Царапин грифельного лета,
Кремня и воздуха язык
С прослойкой тьмы, с прослойкой света.
И я хочу вложить персты
В кремнистый путь из старой песни,
Как в язву; заключая в стык
Кремень с водой, с подковой перстень.

8 марта 1923

<III>

ГРИФЕЛЬНАЯ ОДА

И звезда с звездою говорит...

Звезда с звездой — могучий стык,
Кремнистый путь из старой песни,
Кремня и воздуха язык,
Кремень с водой, с подковой перстень,
На мягком сланце облаков
Молочный грифельный рисунок —
Не ученичество миров,
А бред овечьих полусонок.

Мы стоя спим в густой ночи
Под теплой шапкою овечьей.
Обратно в крепь родник журчит
Цепочкой, пеночкой и речью.
Здесь пишет страх, здесь пишет сдвиг
Свинцовой палочкой молочной,
Здесь созревает черновик
Учеников воды проточной.

Крутые козьи города,
Кремней могучее слоенье:
И все-таки, еще гряда —
Овечьи церкви и селенья!
Им проповедует отвес,
Вода их учит, точит время,
И воздуха прозрачный лес
Уже давно пресыщен всеми.

Как мертвый шершень возле сот,
День пестрый выметен с позором.
И ночь-коршунница несет
Горящий мел и грифель кормит.
С иконоборческой доски
Стереть дневные впечатленья
И, как птенца, стряхнуть с руки
Уже прозрачные виденья!

Плод нарывал. Зрел виноград.
День бушевал, как день бушует.
И в бабки нежная игра,
И в полдень злых овчарок шубы,
Как мусор с ледяных высот —
Изнанка образов зеленых —

Вода голодная течет,
Крутясь, играя, как звереныш.

И как паук ползет ко мне —
Где каждый стык луной обрызган,
На изумленной крутизне
Я слышу грифельные визги.
Твои ли, память, голоса
Учительствуют, ночь ломая,
Бросая грифели лесам,
Из птичьих клювов вырывая?

Мы только с голоса поймем,
Что там царапалось, боролось,
И черствый грифель поведем
Туда, куда укажет голос.
Ломаю ночь, горящий мел,
Для твердой записи мгновенной.
Меняю шум на пенье стрел,
Меняю строй на стрепет гневный.

Кто я? Не каменщик прямой,
Не кровельщик, не корабельщик,—
Двурушник я, с двойной душой,
Я ночи друг, я дня застрельщик.
Блажен, кто называл кремень
Учеником воды проточной.
Блажен, кто завязал ремень
Подошве гор на твердой почве.

И я теперь учу дневник
Царапин грифельного лета,
Кремня и воздуха язык,
С прослойкой тьмы, с прослойкой света,
И я хочу вложить персты
В кремнистый путь из старой песни,
Как в язву, заключая в стык —
Кремень с водой, с подковой перстень.

1923

НОВЫЕ СТИХИ

(1930—1937)

«ТЫ КРАСОК СЕБЕ ПОЖЕЛАЛА...» (ЦИКЛ «АРМЕНИЯ»)

<I>

Ломается мел, и крошится
Ребенка цветной карандаш...
Мне утро армянское снится,
Когда выпекают лаваш.

И с хлебом играющий в жмурки
Их вешает булочник в ряд,
Чтоб высохли барсовы шкурки
До солнца убитых зверят.

Страна москательных пожаров
И мертвых гончарных равнин,
Ты рыжебородых сардаров
Терпела средь камней и глин.

Вдали якорей и трезубцев,
Где жухлый почил материк,
Ты видела всех жизнелюбцев,
Всех казнелюбивых владык.

И, крови моей не волнуя,
Как детский рисунок, просты,
Здесь жены проходят, даруя
От львиной своей красоты.

<II>

АРМЕНИЯ

1

Ломается мел, и крошится
Ребенка цветной карандаш...
Мне утро армянское снится,
Когда выпекают лаваш.

И с хлебом играющий в жмурки
Их вешает булочник в ряд,
Чтоб высохли барсовы шкурки
До солнца убитых зверят.

2

Страна москательных пожаров
И мертвых гончарных равнин,
Ты рыжебородых сардаров
Терпела средь камней и глин.

Вдали якорей и трезубцев,
Где жухлый почил материк,
Ты видела всех жизнелюбцев,
Всех казнелюбивых владык.

И, крови моей не волнуя,
Как детский рисунок, просты,
Здесь жены проходят, даруя
От львиной своей красоты.

3

Как люб мне язык твой зловещий,
Твои молодые гроба,
Где буквы — кузнечные клещи
И каждое слово — скоба.

Как люб мне натугой живущий,
Столетьем считающий год,
Рожающий, спящий, орущий,
К земле пригвожденный народ.

Лишь кой-где веселый мальчишник —
Уживчивый праздничный хмель,
Но серо-зеленый горчишник —
Безжизненный пластырь земель.

<III>

АРМЕНИЯ

Ломается мел, и крошится
Ребенка цветной карандаш...
Мне утро армянское снится,
Когда выпекают лаваш.

И с хлебом играющий в жмурки
Их вешает булочник в ряд,
Чтоб высохли барсовы шкурки
До солнца убитых зверят.

Страна москательных пожаров
И мертвых гончарных равнин,
Ты рыжебородых сардаров
Терпела средь камней и глин.

Вдали якорей и трезубцев,
Где жухлый почил материк,
Ты видела всех жизнелюбцев,
Всех казнелюбивых владык.

И, крови моей не волнуя,
Как детский рисунок, просты,
Здесь жены проходят, даруя
От львиной своей красоты.

Как люб мне язык твой зловещий,
Твои молодые гроба,
Где буквы—кузнечные клещи
И каждое слово—скоба.

Как люб мне натугой живущий,
Столетьем считающий год,
Рожающий, спящий, орущий,
К земле пригвожденный народ.

Раздвинь осьмигранные плечи
Мужичьих своих крепостей,
В очаг вавилонских наречий
Открой мне дорогу скорей.

<IV>

АРМЕНИЯ

Ты красок себе пожелала —
И выхватил лапой своей
Рисующий лев из пенала
С полдюжины карандашей.

Страна москательных пожаров
И мертвых гончарных равнин,
Ты рыжебородых сардаров
Терпела средь камней и глин.

Вдали якорей и трезубцев,
Где жухлый почил материк,
Ты видела всех жизнелюбцев,
Всех казнелюбивых владык.

И, крови моей не волнуя,
Как детский рисунок, просты,
Здесь жены проходят, даруя
От львиной своей красоты.

Как люб мне язык твой зловещий,
Твои молодые гроба,
Где буквы — кузнечные клещи
И каждое слово — скоба.

Как люб мне натугой живущий,
Столетьем считающий год,
Рожающий, спящий, орущий,
К земле пригвожденный народ.

Твое пограничное ухо —
Все звуки ему хороши —
Желтуха, желтуха, желтуха
В проклятой горчичной глуши.

Как бык шестикрылый и грозный,
Здесь людям является труд,
И, кровью набухнув венозной,
Предзимние розы цветут.

«РУКУ ПЛАТКОМ ОБМОТАЙ И В ВЕНЦЕНОСНЫЙ ШИПОВНИК...»

1

Ты только погляди на армянские кладбища —
Землетрясеньем раскиданные рыжие валики
Похожие на футляры от швейных машин [Зингера]
Чем-то испуганные, в беспорядке бегущие.

Здесь слышен храп румяных царей и бородатых ангелов
Извиняющийся храп неграмотных священников
Свиристящий храп носатых филистеров
Патриарший храп <нрзб.> ремесленников
И буйволиный храп крестьян.

2

А шиповник Звартноца осыпающийся при первом прикосновении
Розовый мусор — муслин — лепесток соломоновый
И для шербета негодный дичок
Не дающий ни масла, ни запаха?

Роза фаэтонщика и угрюмого сторожа
Охраняющего руины запущенного форума
Где срубленные <?> дубы в <пробел> обхвата
Рулоны каменных ковров.

3

Дорогая дорогая дорогая
Древняя древняя древняя
В три цвета раскрашенный атлас земли Птоломеевой
Ликом льва ставшее <?> ребяческое изображение
<пробел> из тысячи тысяч детей

И с сундуками путешествующие деревенские кладбища
Землетрясеньем раскиданные рыжие валики
Словно футляры от швейных машин
Чем-то испуганные, в беспорядке бегущие.

4

Запряжка быков везет апельсинный напиток,<?>
Чтобы строить дома из цуката,
И голенастые поливальщики улиц
Как сеятели [разбрасывающие брызги].

5

Выбелив дом, ушли штукатур и плотник <?>
Двина прозрачного уксусно-горького выпить
Мусор сожжен драгоценный.

6

[Есть профессора, гадающие на настое и поклоняющиеся дьяволу.
Губы прислушиваются к священному шелесту.]

«С МИРОМ ДЕРЖАВНЫМ Я БЫЛ ЛИШЬ РЕБЯЧЕСКИ СВЯЗАН...»

С миром державным я был лишь ребячески связан,
Устриц боялся и на гвардейцев смотрел исподлобья —
И ни крупицей души я ему не обязан,
Как я ни мучил себя по чужому подобью.

С важностью глупой, насупившись, в митре бобровой
Я не стоял под египетским портиком банка,
И над лимонной Невою под хруст сторублевый
Мне никогда, никогда не плясала цыганка.

Чуя грядущие казни, от рева событий мятежных
Я убежал к нереидам на Черное море,
И от красавиц тогдашних — от тех европеянок нежных —
Сколько я принял смущенья, надсады и горя!

Так отчего ж до сих пор этот город довлеет
Мыслям и чувствам моим по старинному праву?
Он от пожаров еще и морозов наглее —
Самолюбивый, проклятый, пустой, моложавый!

Январь 1931

«ЗА ГРЕМУЧУЮ ДОБЛЕСТЬ ГРЯДУЩИХ ВЕКОВ...»

<1>

Золотились чернила московской грязцы
И пыхтел грузовик у ворот
И по улицам шел на дворцы и морцы
Самопишущий черный народ.

......шли труда чернецы
Как шкодливые дети вперед
Голубые песцы и дворцы и морцы
Лишь один кто-то властный поет <:>

За гремучую <доблесть грядущих веков,
За высокое племя людей,—
Я лишился и чаши на пире отцов
И веселья и чести своей.>

[Мне на плечи <кидается век-волкодав,
Но не волк я по крови своей:
Запихай меня лучше, как шапку, в рукав
Жаркой шубы сибирских степей...>

А не то уведи — да прошу поскорей —
К шестипалой неправде в избу
Потому что не волк я по крови своей
И лежать мне в сосновом гробу.

Уведи меня в ночь, где течет Енисей
<Отними и гордыню и труд —
Потому что не волк я по крови своей
И за мною другие придут.>]

<II>

Золотились чернила московской грязцы
И пыхтел грузовик у ворот
И по улицам шел на дворцы и морцы
Самопишущий черный народ.

......шли труда чернецы
Как шкодливые дети вперед
Голубые песцы и дворцы и морцы
Лишь один кто-то властный поет:

За гремучую доблесть грядущих веков,
За высокое племя людей,—
Я лишился и чаши на пире отцов
И веселья и чести своей.

Замолчи! Я не верю уже никому
Я такой же как ты пешеход
Но меня возвращает к стыду моему
Твой грозящий искривленный рот.

Я — вишневая косточка детской игры
Но в безводном <пророческом?> рву
Я — трамвайная вишенка страшной поры
И не знаю зачем я живу.

....
....

Но заслышав тот голос пойду в топоры
Да и сам за него доскажу.

«НЕТ, НЕ МИГРЕНЬ, НО ПОДАЙ КАРАНДАШИК МЕНТОЛОВЫЙ...»

[Нет, не мигрень — но подай карандашик ментоловый
[[Сонным обзором я жизнь воскрешаю]]
Сгинь поволока искусства: мне стыдно, мне сонно и солово.]

[Нет, не мигрень,— но подай карандашик ментоловый
Да коктебельского горького чобру пучок положи мне под голов

[Нет, не мигрень, но холод пространства бесполого
Свист разрываемой марли да рокот гитары карболовой]

КАНЦОНА

[ГЕОГРАФИЯ]

Как густое женское контральто —
Слева сердце бьется,— слава, лейся!
Я увижу вас, храмовники базальта,
Вас, держатели могучих акций гнейса.

То зрачок профессорский орлиный,—
Египтологи и нумизматы —
Это птицы сумрачно-хохлатые
С жестким мясом и широкою грудиной.

Там Зевес подкручивает с толком
Золотыми пальцами краснодеревца
Замечательные луковицы-стекла —
Прозорливцу дар от псалмопевца.

Он глядит в бинокль прекрасный Цейса —
Дорогой подарок царь-Давида —
Замечает все морщины гнейсовые,
Где сосна иль деревушка-гнида.

Я покину край гипербореев,
Чтобы зреньем напитать судьбы развязку,
Я скажу: «села́» начальнику евреев
За его малиновую ласку.

Край небритых гор еще неясен,
Мелколесья колется щетина,
И свежа, как вымытая басня,
До оскомины зеленая долина.

Я люблю военные бинокли
С ростовщическою силой зренья.
Две лишь краски в мире не поблекли:
В желтой — зависть, в красной — нетерпенье.

26 мая 1931

«ДОВОЛЬНО КУКСИТЬСЯ! БУМАГИ В СТОЛ ЗАСУНЕМ!..»

<I>

Довольно кукситься! Бумаги в стол засунем!
Я нынче славным бесом обуян,
Как будто в корень голову шампунем
Мне вымыл парикмахер Франсуа.

Держу пари, что я еще не умер,
И, как жокей, ручаюсь головой,
Что я еще могу набедокурить
На рысистой дорожке беговой.

Держу в уме, где нынче тридцать первый
Прекрасный год в черемухах цветет
И что еще не народилась стерва,
Которая его перешибет.

Меня хотели, как пылинку, сдунуть,—
Уж я теперь не юноша, не вьюн,
Держу пари: меня не переплюнуть,
Я сохранил дистанцию мою.

7 июня 1931

<II>

Когда подумаешь чем связан с миром,
То сам себе не веришь — ерунда!
Полночный ключик от чужой квартиры,
Да гривенник серебряный в кармане,

Да целлулоид фильмы воровской.
Довольно кукситься, бумаги в стол засунем,
Я нынче славным бесом обуян,
Как будто в корень голову шампунем
Мне вымыл парикмахер Франсуа.
Держу пари, что я еще не умер,
И как жокей ручаюсь головой,
Что я еще могу набедокурить,
На рысистой дорожке беговой.
Держу в уме, что нынче тридцать первый
Прекрасный год, черемуха цветет,
Что возмужали дождевые черви,
И вся Москва на яликах плывет.
Не волноваться! Нетерпенье — роскошь,
Я постепенно скорость разовью.
Холодным шагом выйдем на дорожку,
Я сохранил дистанцию мою.

* * *

Сегодня можно снять декалькомани,
Мизинец окунув в Москву-реку,
С разбойника Кремля. Какая прелесть
Фисташковые эти голубятни:
Хоть проса им насыпать, хоть овса...
А в недорослях кто? Иван Великий —
Великовозрастная колокольня.
Стоит себе еще болван болваном
Который век... Его бы за границу,
Чтоб доучился... Да куда там: стыдно...

Река Москва в четырехтрубном дыме
И перед нами весь раскрытый город:
Купальщики — заводы и сады
Замоскворецкие. Не так ли,
Откинув палисандровую крышку
Огромного концертного рояля,
Мы проникаем в звучное нутро?
Белогвардейцы, вы его видали?
Рояль Москвы слыхали? Гули-гули!..

Мне кажется, как всякое другое,
Ты, время, незаконно. Как мальчишка
За взрослыми в морщинистую воду
Я, кажется, в грядущее вхожу

И, кажется, его я не увижу...

Уж я не выйду в ногу с молодежью
На разлинованные стадионы,
Разбуженный повесткой мотоцикла,
Я на рассвете не вскочу с постели,
В стеклянные дворцы на курьих ножках
Я даже тенью легкой не войду.

Мне с каждым днем дышать все тяжелее...
А между тем нельзя повременить...
И рождены для наслажденья бегом
Лишь сердце человека и коня...

И Фауста бес, сухой и моложавый,
Вновь старику кидается в ребро,—
И подбивает взять почасный ялик,
Или махнуть на Воробьевы горы,
Иль на трамвае охлестнуть Москву.

Ей некогда — она сегодня в няньках?
Все мечется — на сорок тысяч люлек
Она одна — и пряжа на руках...

Какое лето! Молодых рабочих
Татарские сверкающие спины
С девической повязкой на хребтах,
Таинственные узкие лопатки
И детские ключицы.
                                        Здравствуй, здравствуй,
Могучий некрещеный позвоночник,
С которым проживем не век, не два!..

25 июля 1931

«О, КАК МЫ ЛЮБИМ ЛИЦЕМЕРИТЬ...»

<I>

О, как мы любим лицемерить
И забываем без труда
То, что мы в детстве ближе к смерти,
Чем в наши зрелые года.

Еще обиду тянет с блюдца
Невыспавшееся дитя,
А мне уж не на кого дуться,
И я один на всех путях.

<II>

О, как мы любим лицемерить
И забываем без труда
То, что мы в детстве ближе к смерти,
Чем в наши зрелые года.

Еще обиду тянет с блюдца
Невыспавшееся дитя,
А мне уж не на кого дуться,
И я один на всех путях.

Линяет зверь, играет рыба
В глубоком обмороке вод —
И не глядеть бы на изгибы
Людских страстей, людских забот.

Февраль — апрель 1932

«УВЫ, РАСТАЯЛА СВЕЧА...»

НОВЕЛЛИНО

Вы помните, как бегуны
У Данта Алигьери
Соревновались в честь весны
В своей зеленой вере.

По темнобархатным холмам
В сафьяновых сапожках
Они пестрели по лугам,
Как маки на дорожках.

Уж эти мне говоруны —
Бродяги-флорентийцы,
Отъявленные все лгуны,
Наемные убийцы.
Они под звон колоколов
Молились Богу спьяну,
Они дарили соколов
Турецкому султану.

Увы, растаяла свеча
Молодчиков каленых,
Что хаживали вполплеча
В камзольчиках зеленых,

Что пересиливали срам
И чумную заразу
И всевозможным господам
Прислуживали сразу.

И нет рассказчика для жен
В порочных длинных платьях,
Что проводили дни, как сон,
В пленительных занятьях:
Топили воск, мотали шелк,
Учили попугаев
И в спальню, видя в этом толк,
Пускали негодяев.

22 мая 1932

* * *

Дайте Тютчеву стрекóзу
Догадайтесь, почему
Веневитинову розу,
Ну, а перстень — никому

Пятна жирно-нефтяные
Не просохли в купах лип
Как наряды тафтяные
Прячут листья шелка скрип.

Тихо шаркают подошвы
Недочитанных стихов,
И плывут без всякой прошвы
Наволочки облаков.

А еще над нами волен
Лермонтов, мучитель наш,
И всегда одышкой болен
Фета жирный карандаш.

<Май 1932 г.>

К НЕМЕЦКОЙ РЕЧИ

Когда пылают веймарские свечи
И моль трещит под колпачком чулочным,
Мне хочется воздать немецкой речи
За все, чем я обязан ей бессрочно.

Есть между нами похвала без лести
И дружба есть в упор, без фарисейства,
Поучимся ж серьезности и чести
На западе у Христиана Клейста.

Поэзия, тебе полезны грозы!
Я вспоминаю немца-офицера,
И за эфес его цеплялись розы,
И на губах его была Церера...

Еще во Франкфурте купцы зевали,
Еще о Гете не было известий,
Слагались гимны, кони гарцевали
И, словно буквы, прыгали на месте.

Скажите мне, друзья, в какой Валгалле
Мы вместе с вами щелкали орехи,
Какой свободой вы располагали,
Какие вы поставили мне вехи.

И прямо со страницы альманаха,
От новизны его первостатейной,
Сбегали в гроб ступеньками без страха,
Как в погребок за кружкой мозельвейна.

Воспоминаний сумрак шоколадный.
Плющом войны завешан Старый Рейн.
И я стою в беседке виноградной
Так высоко, весь будущим прореян.

Так я стою и нет со мною сладу
....
Бог Нахтигаль, дай мне твои рулады
Иль вырви мне язык [за святотатство] я так желаю.

* * *

Мы живем, под собою не чуя страны,
Наши речи за десять шагов не слышны,

А где хватит на полразговорца,
Там припомнят кремлевского горца.

Его толстые пальцы как черви жирны,
А слова как пудовые гири верны —

Тараканьи смеются усища
И сияют его голенища.

А вокруг него сброд тонкошеих вождей,
Он играет услугами полулюдей —

Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет,
Он один лишь бабачит и тычет.

Как подкову, кует за указом указ —
Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз

Что ни казнь у него, то малина
И широкая грудь осетина.

Ноябрь 1933

<Из Фр. Петрарки>

«РЕЧКА, РАСПУХШАЯ ОТ СЛЕЗ СОЛЕНЫХ...»

<I>

Речка, распухшая от слез соленых,
Лесные птахи рассказать могли бы,
Дикие звери и немые рыбы,
В двух берегах зажатые зеленых:

Воздух медвежий, полог стрел каленых
Уже не тот. Мучительнее дыбы
Прелестный холм. Уже не те изгибы
Тропинка вьет на тех же самых склонах.

Все обозримо. Все на старом месте.
Волнуется. Один я замурован.
О, переход из полдня к черствой келье!

<II>

Речка, распухшая от слез соленых,
Лесные птахи рассказать могли бы,
Чуткие звери и немые рыбы,
В двух берегах зажатые зеленых:

Воздух медвяный, полог стрел каленых
Уже не тот. Мучительнее дыбы
Подъем и спуск. Уже не те изгибы
Тропинка вьет на тех же самых склонах.

Цепи холмов волнуются на месте,
И лишь во мне, как бы внутри гранита,
Зернится скорбь. Что было — то мелькнуло.

Здесь я ищу следов красы и чести,
Той самой, что отсюда, нарочито,
Без оболочки — в небе потонула.

«КАК СОЛОВЕЙ, СИРОТСТВУЮЩИЙ, СЛАВИТ...»

<I>

Как соловей свое несчастье славит
В отцовской и супружеской кручине
И чистый воздух состраданьем плавит
До высоты выплескиваясь синей

И всю-то ночь насквозь меня буравит
И провожает он к моей судьбине.
Кто ж без меня поймет и звук поставит,
Что смерть нашла прибежище в богине.

О легковерье суетного страха:
Он исключил два солнца из эфира
Боясь увидеть их щепотью праха

Так вот она карающая пряха
Я убедился что вся прелесть мира
Ресничного не долговечней взмаха.

<II>

Как соловей свое несчастье славит
В отцовской и супружеской кручине,
И чистый воздух состраданьем плавит,
До высоты выплескиваясь синей,

И всю-то ночь насквозь меня буравит
И провожает он, один отныне,
Я — только я — я тот, кто в звук поставит,
Что смерть нашла прибежище в богине.

О, как легко не знать и жить без страха:
Эфир очей, глядевших в глубь эфира,
Сметь уложить в слепую люльку праха.

Так вот она, карающая пряха!
Я убедился, что вся прелесть мира
Ресничного не долговечней взмаха.

«КОГДА УСНЕТ ЗЕМЛЯ И ЖАР ОТПЫШЕТ...»

Только <уснет земля> и жар отпышет
И на души зверей пал пух лебяжий
Играет ночь своих созвездий пряжей
И мощь воды морской зефир колышет.

Чую горю рвусь плачу и не слышит
В неудержимом отдаленьи та же
Что и всегда, гневливая, на страже
И вся как есть далеким счастьем дышит.

И ключ один поет разноречиво.
Полужестка, полусладка — ужели
Одна и та же милая двулична...

Тысячу раз на дню, себе на диво,
Я должен умереть на самом деле
И воскресаю так же сверхобычно.

«ПРОМЧАЛИСЬ ДНИ МОИ — КАК БЫ ОЛЕНЕЙ...»

<I>

Промчались дни мои — как бы оленей
Косящий бег. Срок счастья был короче,
Чем взмах ресницы. Из последней мочи
Я в горсть зажал лишь память наслаждений.

Нет, не хочу надменных обольщений.
Ночует сердце в склепе скромной ночи,
К земле бескостной жмется. Средоточий
Знакомых ищет, сладостных сплетений.

Но то, что в ней едва существовало,
Днесь, вырвавшись наверх, в очаг лазури,
Пленять и ранить может, как бывало.

И я догадываюсь, брови хмуря,
Как хороша? К какой толпе пристала?
Как там клубится легких складок буря?

<II>

Промчались дни мои, как бы оленей
Косящий бег, поймав немного блага
На взмах ресницы. Смешанная влага
Струится в жилах: горечь наслаждений.

Слепорожденных ставит на колени
Злая краса. Кипит надежды брага.
А сердце где? Его любовь и тяга
Уже земля и лишена сплетений.

Но то, что в ней едва существовало,
Днесь, вырвавшись наверх, в очаг лазури,
Пленять и ранить может, как бывало.

И я догадываюсь, брови хмуря,
Как хороша? К какой толпе пристала?
Как там клубится легких складок буря?

<III>

Промчались дни мои — как бы оленей
Косящий бег. Поймав немного блага
На взмах ресницы. Пронеслась ватага
Часов добра и зла, как пена в пене.
Слепорожденных ставит на колени
Надменный мир. Кипит надежды брага.
А сердце где? Его любовь и тяга —
В жирной земле без нежных разветвлений.

Но то, что в ней едва существовало,
Днесь, вырвавшись наверх, в очаг лазури,
Пленять и ранить может, как бывало.

И я догадываюсь, брови хмуря,
Как хороша? К какой толпе пристала?
Как там клубится легких складок буря?

<IV>

Промчались дни мои — как бы оленей
Косящий бег. Поймав немного блага
На взмах ресницы. Пронеслась ватага
Часов добра и зла, как пена в пене.

О семицветный мир лживых явлений!
Печаль жирна и умиранье наго!
А еще тянет та, к которой тяга,
Чьи струны сухожилий тлеют в тлене.

Но то, что в ней едва существовало,
Днесь, вырвавшись наверх, в очаг лазури,
Пленять и ранить может, как бывало.

И я догадываюсь, брови хмуря,
Как хороша? К какой толпе пристала?
Как там клубится легких складок буря?

<СТИХИ ПАМЯТИ АНДРЕЯ БЕЛОГО>

<I>

10 ЯНВАРЯ 1934

1

Меня преследуют две-три случайных фразы,
Весь день твержу: печаль моя жирна...
О, Боже, как жирны и синеглазы
Стрекозы смерти — как лазурь черна!

Где первородство? Где счастливая повадка?
Где плавкий ястребок на самом дне очей?
Где вежество? Где горькая украдка?
Где ясный стан? Где прямизна речей,

Запутанных, как честные зигзаги
У конькобежца в пламень голубой,
Когда скользит, исполненный отваги,
С голуботвердой чокаясь рекой.

Он дирижировал кавказскими горами
И машучи ступал на тесных Альп тропы
И озираючись пустынными брегами
Шел, чуя разговор бесчисленной толпы.

Толпы́ умов, влияний, впечатлений
Он перенес, как лишь могущий мог.
Рахиль гляделась в зеркало явлений,
А Лия пела и плела венок.

2

Когда душе столь то́ропкой, столь робкой
Предстанет вдруг событий глубина,
Она бежит виющеюся тропкой,
Но смерти ей тропина не ясна.

Он, кажется, дичился умиранья
Застенчивостью славной новичка
Иль звука-первенца в блистательном собраньи,
Что льется внутрь в продольный лес смычка.

И льется вспять, еще ленясь и мерясь,
То мерой льна, то мерой волокна,
И льется смолкой, сам себе не верясь,
Из ничего, из нити, из темна.

Лиясь для ласковой, только что снятой маски,
Для пальцев гипсовых, не держащих пера,
Для укрупненных губ, для укрепленной ласки
Крупнозернистого покоя и добра.

3

Дышали шуб меха, плечо к плечу теснилось,
Кипела киноварь здоровья, кровь и пот.
Сон в оболочке сна, внутри которой снилось
На полшага продвинуться вперед.

А посреди толпы стоял гравировальщик,
Готовый перенесть на истинную медь
То, что обугливший бумагу рисовальщик
Лишь крохоборствуя успел запечатлеть.

Как будто я повис на собственных ресницах
И созревающий и тянущийся весь,—
Доколе не сорвусь—разыгрываю в лицах
Единственное, что мы знаем днесь.

16—22 января 1934

<II>

10 ЯНВАРЯ 1934 ГОДА

1

Меня преследуют две-три случайных фразы:
Весь день твержу: печаль моя жирна...
О Боже, как жирны и синеглазы
Стрекозы смерти, как лазурь черна.

Где первородство, где счастливая повадка,
Где плавкий ястребок на самом дне очей,
Где вежество? где горькая украдка?
Где ясный стан, где прямизна речей,

Запутанных, как честные зигзаги
У конькобежца в пламень голубой—
Морозный пух в железной крутят тяге,
С голуботвердой чокаясь рекой.

Ему солей трехъярусных растворы,
И мудрецов германских голоса,
И русских первенцев блистательные споры
Представились в полвека, в полчаса.

Ему кавказские кричали горы
И нежных Альп стесненная толпа,
На звуковых громад крутые всхоры
Его ступала зрячая стопа.

И европейской мысли разветвленье
Он перенес, как лишь могущий мог:
Рахиль глядела в зеркало явленья,
А Лия пела и плела венок.

2

И вдруг открылась музыка в засаде,
Уже не хищницей лиясь из-под смычков,
Не ради слуха или неги ради.
Лиясь для мыщц и бьющихся висков,

Лиясь для ласковой, только что снятой, маски,
Для пальцев гипсовых, не держащих пера,
Для укрупненных губ, для укрепленной ласки
Крупнозернистого покоя и добра.

3

Когда душе и тóропкой и робкой
Предстанет вдруг событий глубина,
Она бежит виющеюся тропкой,
Но смерти ей тропина не ясна.

Он, кажется, дичился умиранья
Застенчивостью славной новичка,
Иль звука первенца в блистательном собраньи,
Что льется внутрь, в продольный лес смычка,

И льется вспять, еще ленясь и мерясь,
То мерой льна, то мерой волокна,
И льется смолкой, сам себе не верясь,
Из ничего, из нити, из темна...

Лиясь для ласковой, только что снятой маски,
Для пальцев гипсовых, не держащих пера,
Для укрупненных губ, для укрепленной ласки
Крупнозернистого покоя и добра.

4

Дышали шуб меха, плечо к плечу теснилось,
Кипела киноварь здоровья, кровь и пот —
Сон в оболочке сна, внутри которой снилось
На полшага продвинуться вперед.

А посреди толпы — стоял гравировальщик,
Готовый перенесть на истинную медь
То, что обугливший бумагу рисовальщик
Лишь крохоборствуя успел запечатлеть.

Как будто я повис на собственных ресницах,
И созревающий и тянущийся весь,
Доколе не сорвусь — разыгрываю в лицах
Единственное, что мы знаем днесь...

<III>

10 ЯНВАРЯ 1934 ГОДА

Памяти Б. Н. Бугаева (Андрея Белого)

Меня преследуют две-три случайных фразы,
Весь день твержу: печаль моя жирна.
О, Боже, как жирны и синеглазы
Стрекозы смерти, как лазурь черна!

Где первородство? Где счастливая повадка?
Где плавкий ястребок на самом дне очей?
Где вежество? Где горькая украдка?
Где ясный стан? Где прямизна речей, —

Запутанных, как честные зигзаги
У конькобежца в пламень голубой,
Железный пух в морозной крутят тяге,
С голубтвердой чокаясь рекой.

Ему пространств инакомерных норы,
Их близких, их союзных голоса,
Их внутренних ристалищные споры
Представились в полвека, в полчаса.

И вдруг открылась музыка в засаде,
Уже не хищницей лиясь из-под смычков,
Не ради слуха или неги ради:
Лиясь для мышц и бьющихся висков!

Лиясь для ласковой, только что снятой, маски,
Для пальцев гипсовых, не держащих пера,
Для укрупненных губ, для укрепленной ласки
Крупнозернистого покоя и добра.

Дышали шуб меха, плечо к плечу теснилось,
Кипела киноварь здоровья, кровь и пот:
Сон, в оболочке сна, внутри которой снилось,
На полшага продвинуться вперед!

А посреди толпы, задумчивый, брадатый,
Уже стоял гравер, друг меднохвойных доск,
Трехъярой окисью облитых в лоск покатый,
Накатом истины сияющих сквозь воск.

Как будто я повис на собственных ресницах
В толпокрылатом воздухе картин
Тех мастеров, что насаждают в лицах
Подарок зрения и многолюдства чин!

Январь 1934

<IV>

Ему кавказские кричали горы
И нежных Альп стесненная толпа,
На звуковых громад крутые всхоры
Его ступала зрячая стопа.

И европейской мысли разветвленье
Он перенес, как лишь могущий мог:
Рахиль глядела в зеркало явленья,
А Лия пела и плела венок.

Январь 1934

<V>

Откуда привезли? Кого? Который умер?
Где <...> ? Мне что-то невдомек.
Скажите, говорят, какой-то гоголь умер.
Не гоголь, так себе, писатель-гоголек.

Тот самый, что тогда невнятицу устроил,
Чего-то шустрился, довольно уж легок,
О чем-то позабыл, чего-то не усвоил,
Затеял кавардак, перекрутил снежок.

Молчит, как устрица, на полтора аршина
К нему не подойти — почетный караул.
Тут что-то кроется, должно быть, есть причина.
<...> напутал и уснул.

Январь 1934

«ДЕНЬ СТОЯЛ О ПЯТИ ГОЛОВАХ. СПЛОШНЫЕ ПЯТЬ СУТОК...»

День стоял о пяти головах. Горой пообедав,
Поезд ужинал лесом. Лез ниткой в сплошное ушко.
В раздвое конвойного времени шла черноверхая масса
Расширеньем аорты белеющих белых ночей.
Глаз превращался в хвойное мясо.

Трое славных ребят из железных ворот Г.П.У.
Слушали Пушкина.
Грамотеет в шинелях с наганом племя пушкиноведов —
Как хорошо!

Поезд шел на Урал. В раскрытые рты нам
Говорящий Чапаев с картины скакал звуковой:
За бревенчатым тылом, на ленте простынной
Утонуть — и вскочить на коня своего.

Апрель — май 1935

РОЖДЕНИЕ УЛЫБКИ

<I>

Когда заулыбается дитя
С прививкою и горечи и сласти,
Концы его улыбки, не шутя,
Уходят в океанское безвластье:

И цвет и вкус пространство потеряло.
На лапы задние поднялся материк,
Улитка выползла, улитка просияла,
Как два конца их радуга связала
И бьет в глаза один атлантов миг.

9 — 11 декабря 1936

<II>

РОЖДЕНИЕ УЛЫБКИ

Когда заулыбается дитя
С развилинкой и горечи и сласти,
Концы его улыбки, не шутя,
Уходят в океанское безвластье.

Ему непобедимо хорошо,
Углами губ оно играет в славе
И радужный уже строчится шов
Для бесконечного познанья яви.

На лапы из воды поднялся материк:
Улитки рта — наплыв и приближенье —
И бьет в глаза один атлантов миг:
Явленья явное в улыбку превращенье.

9 декабря 1936—6 (7?) января 1937

<III>

РОЖДЕНИЕ УЛЫБКИ

Когда заулыбается дитя
С прививкою и горечи, и сласти,
Концы его улыбки, не шутя,
Уходят в океанское безвластье.

Ему непобедимо хорошо,
Углами губ оно играет в славе —
И радужный уже строчится шов
Для бесконечного познанья яви.

На лапы задние поднялся материк —
Улитки рта наплыв и приближенье —
И бьет в глаза один атлантов миг:
Явленья явного в улыбку превращенье.

И цвет, и вкус пространство потеряло,
Хребтом и аркою поднялся материк,
Улитка выползла, улыбка просияла,
Как два конца их радуга связала,
И в оба глаза бьет атлантов миг.

8<9?> декабря 1936—11 января 1937

«МОЙ ЩЕГОЛ, Я ГОЛОВУ ЗАКИНУ...»

Детский рот жует свою мякину,
Улыбается, жуя,
Словно щеголь, голову закину,
И щегла увижу я.

Хвостик лодкой, перья черно-желты,
Ниже клюва в краску влит,
[Черно-желтый,] Сознаешь ли,—до чего щегол ты,
До чего ты щегловит!

И распрыгался черничной дробью
Мечет [бусинками] ягодками глаз,
Я откликнусь своему подобью,—
Жить щеглу: вот мой указ!

Декабрь 1936

«ВНУТРИ ГОРЫ БЕЗДЕЙСТВУЕТ КУМИР...»

Внутри горы бездействует кумир
С улыбкою дитяти в черных сливах
И с шеи каплет ожерелий жир,
Оберегая сна приливы и отливы.

Когда он мальчик был и с ним играл павлин,
Его индийской радугой кормили,
Давали молока из розоватых глин
И не жалели кошенили.

И странно скрещенный—завязанный узлом
Стыда и нежности, бесчувствия и кости,
Он улыбается своим широким ртом
И начинает жить, когда приходят гости.

13 декабря 1936

«ЭТА ОБЛАСТЬ В ТЕМНОВОДЬЕ...»

<I>

Ничего, что темноводье,
Ничего, что я продрог
И что область хлебороба—
Цепи якорной ядро.

Я люблю ее рисунок
Он на Африку похож —
Дайте свет — прозрачных лунок
Тонких жилок не сочтешь.
— Анна, Россошь и Гремячье
Я твержу их имена —
Белизна снегов гагачья
Из вагонного окна...

Я кружил в полях совхозных —
Полон воздуха был рот —
Солнц подсолнечника грозных
Прямо в очи оборот...
Въехал ночью в рукавичный,
Снегом пышущий Тамбов,
Видел Цны — реки обычной —
Белый, белый, бел-покров.
Трудный рай земли знакомой
Я запомнил навсегда:
Воробьевского райкома
Не забуду никогда!

Где я? Что со мной дурного?
Кто растет из-за угла?
Это мачеха Кольцова,
Это родина щегла!
Только города немого
В гололедицу обзор,
Только чайника ночного
Сам с собою разговор...
В гуще воздуха степного
Перекличка поездов.
Да украинская мова
Их растянутых гудков.

24 декабря 1936

<II>

Ночь. Дорога. Сон первичный
Соблазнителен и нов...
Что мне снится? Рукавичный
Снегом пышущий Тамбов,
Или Цны — реки обычной —
Белый, белый, бел-покров?

Или я в полях совхозных —
Воздух в рот, и жизнь берет,
Солнц подсолнечника грозных
Прямо в очи оборот?

Кроме хлеба, кроме дома
Снится мне глубокий сон:
Трудодень, подъятый дремой,
Превратился в синий Дон...

Анна, Россошь и Гремячье —
Процветут их имена,—

Белизна снегов гагачья
Из вагонного окна!..

23—27 декабря 1936

<III>

Шло цепочкой в темноводье
Протяженных гроз ведро
Из дворянского угодья
В океанское ядро...

Шло, само себя колыша,
Осторожно, грозно шло.
Смотришь: небо стало выше —
Новоселье, дом и крыша
И на улице светло!

26 декабря 1936

«ДРОЖЖИ МИРА ДОРОГИЕ...» И «ВЛЕЗ БЕСЕНОК В МОКРОЙ ШЕРСТКЕ...»

<I>

Дрожжи мира дорогие —
Звуки, слезы и труды
Словно вмятины, впервые
Певчей полные воды.

Подкопытные наперстки,
Бега кровного следы,
Раздают не по разверстке
На столетья, без слюды...

12 января 1937

<II>

Дрожжи мира дорогие —
Звуки, слезы и труды
Словно вмятины, впервые
Певчей полные воды.

Подкопытные наперстки,
Неба синего следы,
[Бега сжатого следы]
Раздают не по разверстке:
На столетья — без слюды...

Брызжет в зеркальцах дорога —
Утомленные следы
Постоят еще немного
Без покрова, без слюды.

И уже мое родное
Отлегло, как будто вкось
По нему прошло другое
И на нем отозвалось.

12—14 января 1937

«СЛЫШУ, СЛЫШУ РАННИЙ ЛЕД...»

Слышу, слышу ранний лед,
Шелестящий под мостами,
Вспоминаю, как плывет
Светлый хмель над головами.
Там уж скоро третий год
Тень моя живет меж вами
И шумит среди людей,
Греясь их вином и небом,
И несладким кормит хлебом
Неотвязных лебедей.

21 января 1937

«ОБОРОНЯЕТ СОН МОЮ ДОНСКУЮ СОНЬ...»

[Грянь, боевой салют <?>: не тронь Москвы, не тронь!]
Обороняет сон мою донскую сонь —
И разворачиваются черепах маневры
Их быстроходная взволнованная бронь
А по трибунам вверх ковры морского говора.

И в бой меня ведут понятные слова
За оборону жизни — оборону
Страны-земли — где смерть уснет, как днем сова
[Стекло Москвы] Москва горит стеклом меж ребрами гранеными.

Рассыплется <?> унынья чалый пар
Подковой речь звенит, шумит как речь — листва
Да закалит меня той стали сталевар —
В которой мир и жизнь и воздух человечества.

3 февраля 1937

«О, КАК ЖЕ Я ХОЧУ...»

О, как же я хочу —
Не чуемый никем —
Лететь вослед лучу,
Где нет меня совсем.

А ты в кругу лучись —
Другого счастья нет —
И у звезды учись
Тому, что значит свет.

[Он только тем хорош,
Он только тем и мил,
Что будит к танцу дрожь —
Румянец звездных сил.]

Он только тем и луч,
Он только тем и свет,
Что шопотом могуч
И лепетом согрет.

«ЕСЛИ Б МЕНЯ НАШИ ВРАГИ ВЗЯЛИ...»

Если б меня наши враги взяли
И перестали со мной говорить люди;
Если б лишили меня всего в мире —
Права дышать и открывать двери,
И утверждать, что бытие будет
И что народ как судия судит;

Если б меня смели держать зверем,
Пищу мою на пол кидать стали б,—
Я не смолчу, не-заглушу боли,
Но начерчу то, что чертить волен,
И, раскачав в колокол стан голый,
И, разбудив вражеской тьмы угол,
Я запрягу десять волов в голос
И поведу руку во тьме плугом.
И в океан братских очей сжатый
Я упаду тяжестью всей жатвы,
Сжатостью всей рвущейся вдаль клятвы.
И в глубине сторожевой ночи
Чернорабочей вспыхнут земли очи,
И промелькнет пламенных лет стая,
Прошелестит спелой грозой Ленин,
И на земле, что избежит тленья,
Будет будить разум и жизнь Сталин.

СТИХИ О НЕИЗВЕСТНОМ СОЛДАТЕ

<I>

Этот воздух пусть будет свидетелем —
Безымянная манна его —
Сострадательный, темный, вседеятельный —
Океан без души, вещество...

Шевелящимися виноградинами
Угрожают нам эти миры,
И висят городами украденными,
Золотыми обмолвками, ябедами,
Ядовитого холода ягодами
Растяжимых созвездий шатры —
Золотые созвездий жиры...

Аравийское месиво, крошево
Начинающих смерть скоростей —
Это зренье пророка подошвами
Протоптало тропу в пустоте —
Миллионы убитых задешево,
Доброй ночи! Всего им хорошего
В холодеющем Южном Кресте.

1 марта 1937

<II>

Посв. М. Ломоносову

Этот воздух пусть будет свидетелем —
Дальнобойное сердце его —
Яд Вердена всеядный и деятельный —
Океан без окна, вещество...[1]

Шевелящимися виноградинами
Угрожают нам эти миры
И висят городами украденными,
Золотыми обмолвками, ябедами,
Ядовитого холода ягодами
Растяжимых созвездий шатры —
Золотые созвездий жиры...

Аравийское месиво, крошево —
Начинающих смерть скоростей.
И не знаешь, откуда берешь его
[Свет размолотых в смерть скоростей]
Свет[2] пропавших без вести вестей —
Недосказано там, недоспрошено,
Недокинуто там в сеть сетей
И своими косыми подошвами
Свет стоит на сетчатке моей.

Миллионы убитых [задешево] подошвами
Шелестят по сетчатке моей.
Доброй ночи! Всего им хорошего!
Это зренье пророка смертей.

<Начало марта 1937>

<III>

Этот воздух пусть будет свидетелем
Дальнобойное сердце его —
Яд Вердена — всеядный и деятельный
Океан без окна — вещество...

Миллионы убитых задешево
Протоптали тропу в пустоте
Доброй ночи! Всего им хорошего
От лица земляных крепостей!

---

[1] Вариант ст. 3—4: «Как лесистые крестики метили // [Откупив океан] Океан или клин боевой».

[2] Вариант: «Луч».

Шевелящимися виноградинами
Угрожают нам эти миры
И висят городами украденными,
Золотыми обмолвками, ябедами,
Ядовитого холода ягодами
Растяжимых созвездий шатры —
Золотые созвездий жиры...

Аравийское месиво, крошево,
Свет размолотых в луч скоростей —
И своими косыми подошвами
Свет стоит на [подошве] моей,—

Там лежит Ватерлоо — поле новое,
Там от би́твы народов светло:
Свет опальный — луч наполеоновый
Треугольным летит журавлем.
Глубоко в черномраморной устрице
Аустерлица забыт огонек,
Смертоносная ласточка шустрится,
Вязнет чумный Египта песок.

Будут люди холодные, хилые
Убивать, холодать, голодать —
И в своей знаменитой могиле
Неизвестный положен солдат.

Неподкупное небо окопное —
Небо крупных оптовых смертей —
За тобой, от тебя — целокупное
Я губами несусь в темноте.

За воро́нки, за насыпи, осыпи,
По которым он медлил и мглил:
Развороченных — пасмурный, оспенный
И приниженный гений могил.

3 марта 1937

<IV>

НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ

Этот воздух пусть будет свидетелем —
Дальнобойное сердце его —
И в землянках — всеядный и деятельный,
Океан без окна, вещество...

Миллионы убитых задешево
Протоптали тропу в пустоте:
Доброй ночи! всего им хорошего
От лица земляных крепостей...

Шевелящимися виноградинами
Угрожают нам эти миры,
И висят городами украденными,
Золотыми обмолвками, ябедами,
Ядовитого холода ягодами
Растяжимых созвездий шатры,—
Золотые созвездий жиры...

Аравийское месиво, крошево—
Свет размолотых в луч скоростей—
И своими косыми подошвами
Свет стоит на сетчатке моей,—

Сквозь эфир, десятично означенный
Свет размолотых в луч скоростей
Начинает число, опрозрачненный
Светлой болью и молью нолей:
И за полем полей—поле новое
Трехугольным летит журавлем—
Весть летит светопыльной обновою
И от битвы давнишней светло...

Весть летит светопыльной обновою:
— Я не Лейпциг, я не Ватерлоо,
Я не битва народов—я новое—
От меня будет свету светло...
Для того ль должен череп развиться
Во весь лоб—от виска до виска,
Чтоб в его дорогие глазницы
Не могли не вливаться войска?

Развивается череп от жизни—
Во весь лоб—от виска до виска,
Чистотой своих швов он дразнит себя,
Понимающим куполом яснится,
Мыслью пенится, сам себе снится—
Чаша чаш и отчизна отчизне—
Звездным рубчиком шитый чепец—
Чепчик счастья—Шекспира отец...

Будут люди холодные, хилые
Убивать, холодать, голодать,
И в своей знаменитой могиле
Неизвестный положен солдат,—

Неподкупное небо окопное,
Небо крупных оптовых смертей —
За тобой, от тебя — целокупное —
Я губами несусь в темноте,—

За воронки, за насыпи, осыпи,
По которым он медлил и мглил —
Развороченных — пасмурный, оспенный
И приниженный гений могил...

2—10 марта 1937

<V>

СТИХИ О НЕИЗВЕСТНОМ СОЛДАТЕ

Этот воздух пусть будет свидетелем
Дальнобойное сердце его
И в землянках всеядный и деятельный —
Океан без окна — вещество

До чего эти звезды изветливы —
Все им нужно глядеть — для чего?
В осужденье судьи и свидетеля
В океан без окна — вещество...

Помнит дождь — неприветливый сеятель —
Безымянная манна его,
Как лесистые крестики метили
Океан или клин боевой.

Будут люди холодные, хилые
Убивать, холодать, голодать
И в своей знаменитой могиле
Неизвестный положен солдат.

Научи меня ласточка хилая
Разучившаяся летать
Как мне с этой воздушной могилой
Без руля и крыла управлять.

И за Лермонтова Михаила
Я отдам тебе строгий отчет
Как сутулого учит могила
И воздушная яма влечет.

Шевелящимися виноградинами
Угрожают нам эти миры
И висят городами украденными
Золотыми обмолвками, ябедами,
Ядовитого холода ягодами —
Растяжимых созвездий шатры
Золотые созвездий жиры

Аравийское месиво, крошево,
Свет размолотых в луч скоростей
И своими косыми подошвами
Свет стоит на сетчатке моей.

Неподкупное небо окопное
Небо крупных оптовых смертей
За тобой, от тебя — целокупное
Я губами несусь в темноте.—

За воронки, за насыпи, осыпи,
По которым он медлил и мглил —
Развороченных — пасмурный оспенный
И приниженный гений могил.

Хорошо умирает пехота
И поет хорошо хор ночной
Над улыбкой приплюснутой Швейка
И над птичьим копьем Дон-Кихота
И над рыцарской птичьей плюсной.
И дружит с человеком калека —
Им обоим найдется работа
И стучит по околицам века
Костылей деревянных семейка —
Эй, товарищество, шар земной!

Для того ль должен череп развиться
Во весь лоб — от виска до виска,
Чтоб в его дорогие глазницы
Не могли не вливаться войска?

Развивается череп от жизни
Во весь лоб от виска до виска
Чистотой своих швов он дразнит себя
Понимающим куполом яснится
Мыслью пенится — сам себе снится
— Чаша чаш и отчизна отчизне
Звездным рубчиком шитый чепец —
Чепчик счастья — Шекспира отец.

Ясность ясеневая и зоркость яворовая
Чуть-чуть красная мчится в свой дом,
Словно обмороками затоваривая
Оба неба с их тусклым огнем.

Нам союзно лишь то, что избыточно
Впереди не провал, а промер
И бороться за воздух прожиточный
Эта слава другим не в пример.

И сознанье свое затоваривая
Самым огненным бытием
Я ль без выбора пью это варево
Свою голову ем под огнем

Слышишь мачеха звездного табора —
Ночь, что будет сейчас и потом?
Наливаются кровью аорты
И звучит по рядам шепотком:
Я рожден в девяносто четвертом
Я рожден в девяносто втором
И в кулак зажимая истертый
Год рожденья с гурьбой и гуртом
Я шепчу обескровленным ртом:
Я рожден в ночь с второго на третье
Января в девяносто одном
Ненадежном году — и столетья
Окружают меня огнем.

<VI>

СОЛДАТ № 3

Этот воздух пусть будет свидетелем —
Дальнобойное сердце его,—
И в землянках всеядный и деятельный
Океан без окна — вещество...

Для того ль должен череп развиться
Во весь лоб — от виска до виска,—
Чтоб в его дорогие глазницы
Не могли не вливаться войска?

Развивается череп от жизни
Во весь лоб — от виска до виска,—
Чистотой своих швов он дразнит себя,
Понимающим куполом яснится,

Мыслью пенится — сам себе снится —
Чаша чаш и отчизна <отчизне> —
Звездным рубчиком шитый чепец —
Чепчик счастья — Шекспира отец.

Миллионы убитых задешево
Притоптали тропу в пустоте —
Доброй ночи — всего им хорошего
От лица земляных крепостей...

Шевелящимися виноградинами
Угрожают нам эти миры
И висят городами украденными,
Золотыми обмолвками, ябедами,
Ядовитого холода ягодами —
[Золотые] Растяжимых созвездий шатры —
Золотые [созвездий] убийства жиры.

Аравийское месиво, крошево,
Свет размолотых в луч скоростей —
И своими косыми подошвами
Свет стоит на сетчатке моей.

Сквозь эфир, десятичноозначенный
Свет размолотых в луч скоростей
Начинает число, опрозрачненный
Светлой болью и молью нолей.
И за полем полей — поле новое
Трехугольным летит журавлем —
Весть летит светопыльной обновою —
И от битвы давнишней светло.

Необутая, светлоголовая,
Удаляющаяся за обзор
Мякоть света бескровно-кленовая
Хочет всем рассказать свой позор.
Ясность ясеневая, зоркость яворовая
Чуть-чуть красная мчится в свой дом,
Как бы обмороком затоваривая
Оба неба с их тусклым огнем.

Нам союзно лишь то, что избыточно,
Впереди не провал, а промер,
И бóроться за воздух прожиточный —
Эта слава другим не в пример.

И сознанье свое затоваривая
Полуобморочным бытием,
Я ль без выбора пью это варево,
Свою голову ем под огнем?

Для чего ж заготовлена тара
Обаянья в пространстве пустом,
Если белые звезды обратно,
Чуть-чуть красные, мчатся в свой дом?
Чуешь, мачеха звездного табора —
Ночь,— что будет сейчас и потом?

Напрягаются кровью аорты
И звучит по рядам шепотком:
Я рожден в девяносто четвертом...
Я рожден в девяносто втором...
И в кулак зажимая истертый
Год рожденья — с гурьбой и гуртом —
Я шепчу обескровленным ртом:
— Я рожден в ночь с второго на третье
Января — в девяносто одном
Ненадежном году — в то столетье,
От которого [сердцу темно] тёмно и днем.

Но окончилась та перекличка
И пропала, как весть без вестей,
И по выбору совести личной
По указу великих смертей.
Я — дичок испугавшийся света,
Становлюсь рядовым той страны,
У которой попросят совета
Все кто жить и воскреснуть должны.

И союза ее гражданином
Становлюсь на призыв и учет,
И вселенной ее семьянином
Всяк живущий меня назовет...

Будут люди холодные, хилые
Убивать, голодать, холодать,
И в своей знаменитой могиле
Неизвестный положен солдат.

Неподкупное небо окопное,
Небо крупных оптовых смертей,
За тобой, от тебя целокупное —
Я губами несусь в темноте,—

За воронки, за насыпи, осыпи,
По которым он медлил и мглил —
Развороченных — пасмурный, оспенный
И приниженный гений могил...

27 марта — 5 апреля 1937

<VII>

СОЛДАТ № 3

Этот воздух пусть будет свидетелем —
Дальнобойное сердце его,—
И в землянках всеядный и деятельный
Океан без окна — вещество...

Миллионы убитых задешево
Притоптали тропу в пустоте —
Доброй ночи — всего им хорошего
От лица земляных крепостей...

Аравийское месиво, крошево,
Свет размолотых в луч скоростей —
И своими босыми подошвами
Свет стоит на сетчатке моей.

Сквозь эфир, десятично означенный
Свет размолотых в луч скоростей
Начинает число, опрозрачненный
Светлой болью и молью нолей.
И за полем полей — поле новое
Треугольным летит журавлем —
Весть летит светопыльной обновою —
И от битвы давнишней светло.

Для того ль должен <череп> развиться
Во весь лоб — от виска до виска,—
Чтоб в его дорогие глазницы
Не могли не вливаться войска?

Развивается череп от жизни
Во весь лоб — от виска до виска,—
Чистотой своих швов он дразнит себя,
Понимающим куполом яснится,
Мыслью пенится — сам себе снится —
Чаша чаш и отчизна отчизне —
Звездным рубчиком шитый чепец —
Чепчик счастья — Шекспира отец.

Хорошо умирает пехота,
И поет хорошо хор ночной
Над улыбкой приплюснутой Швейка,
И над птичьим копьем Дон-Кихота,
И над рыцарской птичьей плюсной.

И дружит с человеком калека:
Им обоим найдется работа.
И стучит по околицам века
Костылей деревянных семейка —
Эй, товарищество — шар земной!

И сознанье свое затоваривая
Полуобморочным бытием,
Я ль без выбора пью это варево,
Свою голову ем под огнем?

Для чего ж заготовлена тара
Обаянья в пространстве пустом,
Если белые звезды обратно,
Чуть-чуть красные, мчатся в свой дом?
Слышишь, мачеха звездного табора —
Ночь,— что будет сейчас и потом?

Напрягаются кровью аорты
И звучит по рядам шепотком:
Я рожден в девяносто четвертом...
Я рожден в девяносто втором...

И в кулак зажимая истертый
Год рожденья — с гурьбой и гуртом —
Я шепчу обескровленным ртом:
— Я рожден в ночь с второго на третье
Января — в девяносто одном
Ненадежном году — в то столетье,
От которого темно и днем.

Но окончилась та перекличка
И пропала, как весть без вестей,
И по выбору совести личной
По указу великих смертей.
Я — дичок испугавшийся света,
Становлюсь рядовым той страны,
У которой попросят совета
Все кто жить и воскреснуть должны.
И союза ее гражданином
Становлюсь на призыв и учет,
И вселенной ее семьянином
Всяк живущий меня назовет...

Шевелящимися виноградинами
Угрожают нам эти миры
И висят городами украденными,
Золотыми обмолвками, ябедами,

Ядовитого холода ягодами —
Растяжимых созвездий шатры —
Золотые убийства жиры.

Будут люди холодные, хилые
Убивать, голодать, холодать,
И в своей знаменитой могиле
Неизвестный положен солдат.

Неподкупное небо окопное,
Небо крупных оптовых смертей,
За тобой, от тебя целокупное —
Я губами несусь в темноте,—

За воронки, за насыпи, осыпи,
По которым он медлил и мглил —
Развороченных — пасмурный, оспенный
И приниженный гений могил...

27 марта — 5 апреля 1937

«ЧТОБ, ПРИЯТЕЛЬ И ВЕТРА И КАПЕЛЬ...»

Украшался отборной собачиной
Египтян государственный строй —
Мертвецов угощал всякой всячиной
И торчит пустячком пирамид.

Рядом с готикой жил озоруючи
И плевал на паучьи права
Наглый школьник и ангел ворующий
Несравненный Виллон Франсуа.

СТИХОТВОРЕНИЯ РАЗНЫХ ЛЕТ

«ФУТБОЛ» И «ВТОРОЙ ФУТБОЛ»

Рассеян утренник тяжелый,
На босу ногу день пришел,
А на дворе военной школы
Играют мальчики в футбол.

Чуть-чуть неловки, мешковаты —
Как подобает в их лета;
Кто мяч толкает угловатый,
Кто охраняет ворота.

[Потерян пояс, шапка сбита
Околыш на сырой земле
А дядьки вечером сердито
Мундир утюжат на столе]

Мундир обрызган. Шапка сбита.
Околыш красный на земле.
А в парке путаницы сито,
Деревья мокрые в золе.

Глухая битва закипает:
На месте топчутся и вот
Один мячом завладевает
И как герой в толпе живет.

С улыбкой тонко-лицемерной
Не так ли кончиком ноги
Над головою Олоферна
Юдифь глумилась [и враги.]

РЕЙМС И КЕЛЬН

Шатались башни, колокол звучал —
Друг горожан, окрестностей отрада,
Епископ все молитвы прочитал,
И рухнула священная громада.

Здесь нужен Роланд, чтоб трубить из рога
Пока не разорвется олифан.
Нельзя судить бессмысленный таран
Или германцев, позабывших Бога.

Но в старом Кельне тоже есть собор,
Неконченный и все-таки прекрасный,
И хоть один священник беспристрастный,
И в дивной целости стрельчатый бор.

Он потрясен чудовищным набатом,
И в грозный час, когда густеет мгла,
Немецкие поют колокола:
— Что сотворили вы над реймским братом?

Сентябрь 1914

«О, ЭТОТ ВОЗДУХ, СМУТОЙ ПЬЯНЫЙ...»

Как пахнут тополя — мы пьяны.
Когда качается земля,
Не ради смуты мы смутьяны,
На черной площади Кремля.

Соборов восковые лики
Спят; и разбойничать привык
Без голоса Иван Великий,
Как виселица, прям и дик.

А в запечатанных соборах,
Где и прохладно, и темно,
Как в нежных глиняных амфорах,
Играет русское вино.

Успенский, дивно округленный,
Весь удивленье райских дуг,
И Благовещенский, зеленый
И, мнится, заворкует вдруг.

Архангельский собор — виденье,
Успенский — если хочешь, тронь!
И всюду скрытое горенье,
В кувшинах спрятанный огонь.

Апрель 1916

А НЕБО БУДУЩИМ БЕРЕМЕННО...

1

Война. Опять разноголосица
На древних плоскогорьях мира.
И вот опять пропеллер лоснится
Как кость точеная тапира!
Крыла и смерти уравнение —
С алгебраических пирушек
Слетев — он помнит измерение
Других эбеновых игрушек:
Врагиню ночь, рассадник вражеский
Существ коротких, ластоногих,
И молодую силу тяжести:
Так начиналась власть немногих!..
Итак, готовьтесь жить во времени,
Где нет ни волка, ни тапира,
А небо будущим беременно —
Пшеницей сытого эфира,
А то сегодня победители
Кладбища лета обходили
Ломали крылья стрекозиные
И молоточками казнили.

2

Ветер нам утешенье принес,
И в лазури почуяли мы
Ассирийские крылья стрекоз —
Переборы коленчатой тьмы.
И военной грозой потемнел
Нижний слой помраченных небес —
Шестируких летающих тел
Слюдяной перепончатый лес.
Есть в лазури слепой уголок,
И в блаженные полдни всегда,
Как сгустившейся ночи намек,
Роковая трепещет звезда,
И, с трудом пробиваясь вперед,
В чешуе искалеченных крыл —
Под высокую руку берет
Побежденную твердь Азраил!

3

Давайте слушать грома проповедь,
Как внуки Себастьяна Баха.
И на востоке и на западе
Органные поставим крылья;

Давайте бросим бури яблоко
На стол пирующим землянам,
И на стеклянном блюде облака
Поставим яств посередине;
Давайте все покроем заново
Камчатной скатертью пространства,
Переговариваясь, радуясь,
Друг другу подавая брашна!

4

Как тельце маленькое крылышком
По солнцу всклянь перевернулось,
И зажигательное стеклышко
На эмпирее загорелось;
Как комариная безделица
В зените ныла и звенела,
И под сурдинку, пеньем жужелиц
В лазури мучилась заноза:
Не забывай меня, казни меня,
Но дай мне имя! Дай мне имя!
Мне будет легче с ним, пойми меня,
В беременной глубокой сини!

5

На круговом, на мирном судьбище
Зарею кровь оледенится.
В беременном глубоком будущем
Жужжит большая медуница.
А вам, в безвременьи летающим,
Под хлыст войны, за власть немногих,—
Хотя бы честь млекопитающих,
Хотя бы совесть ластоногих!
И тем печальнее, тем горше нам,
Что люди-птицы хуже зверя
И что стервятникам и коршунам
Мы поневоле больше верим!

6

Как шапка холода альпийского,
Из года в год, в жару и лето,
На лбу высоком человечества
Войны холодные ладони...
А ты, глубокое и сытое,
Забеременевшее лазурью,
Как чешуя многоочитое,

И альфа и омега бури,—
Тебе, чужое и безбровое,
Из поколенья в поколенье
Всегда высокое и новое
Передается удивленье!

«ДА, Я ЛЕЖУ В ЗЕМЛЕ, ГУБАМИ ШЕВЕЛЯ...»

Там деготь прогудел, лазурью шевеля:
Пусть шар земной положит в сетку школьник.
На Красной площади всего круглей земля,
Покуда на земле последний жив невольник.

<ОДА>

<I>

Уходят вдаль людских голов бугры:
Я уменьшаюсь там — меня уж не заметят,
Но в книгах ласковых и в играх детворы
Воскресну я — сказать, как солнце светит...

И в бой меня ведут понятные слова —
За оборону жизни — оборону
Страны-земли, где смерть утратит все права
И будет под стеклом показан штык граненый...

Правдивей правды нет, чем искренность бойца:
Для чести и любви, для воздуха и стали
Есть имя славное простого мудреца —
Его мы слышали и мы его застали...

18 января — 3 февраля 1937

<II>

[И в бой меня ведут понятные слова —
За оборону жизни — оборону
Страны-земли, где смерть утратит все права
И время расцветет, как самоцвет граненый...

Уходят вдаль людских голов бугры:
Я уменьшаюсь там — меня уж не заметят,
Но в книгах ласковых и в играх детворы
Воскресну я сказать, как солнце светит...

Правдивей правды нет, чем искренность бойца:
Для чести и любви, для воздуха и стали
Есть имя славное простого мудреца—
Его мы слышали и мы его застали...]

[Нрзб.] лошадей вдыхаю чалый пар
[Подковой] речь звенит <?>, шуршит как речь листва.
[Великий Сталин этой]
Да закалит меня той стали сталевар
В которой честь и жизнь и воздух человечества.

<III>

1

Художник, береги и охраняй бойца:
Лес человечества за ним идет, густея,—
Само грядущее дружина мудреца
И слушает его все чаще, все сильнее...
Художник, береги того, кто весь с тобой,
Кто мыслит, чувствует и строит,
Не я и не другой—ему народ родной,
Народ-Гомер хвалу утроит.

2

Он свесился с трибуны, как с горы,
В бугры голов—должник сильнее иска;
Могучие глаза решительно добры,
Густая бровь кому-то светит близко.
И я хотел бы стрелкой указать
На твердость рта—отца речей упрямых,
Лепное, сложное, крутое веко—знать,
Работает из миллиона рамок.
Весь откровенность, весь признанья медь
И зоркий слух, не терпящий сурдинки...
На всех, готовых жить и умереть,
Бегут, играя, щурые морщинки...

3

Глазами Сталина раздвинулась гора
И вдаль прищурилась равнина,
Как море без морщин, как завтра из вчера—
До солнца борозды от плуга исполина.
Он улыбается улыбкою жнеца
Рукопожатий в разговоре,

Который начался и длится без конца
На шестиклятвенном просторе...
И каждое гумно и каждая копна
Сильна, убориста, умна — добро живое,
Чудо народное — да будет жизнь крупна —
Ворочается счастье стержневое...

4

Сжимая уголек, в котором все сошлось,
Рукою жадною одно лишь сходство клича,
Рукою хищною ловить лишь сходства ось
Я уголь искрошу, ища его обличье.

Я у него учусь, не для себя учась,
Я у него учусь к себе не знать пощады:
Несчастья скроют ли большого плана часть —
Я разыщу его в случайностях их чада...

Пусть не достоин я еще иметь друзей,
Пусть не насыщен я и желчью и слезами, —
Он все мне чудится в шинели, в картузе
На чудной площади с счастливыми глазами.

5

И шестикратно я в сознаньи берегу —
Свидетель медленный труда, борьбы и жатвы —
Его огромный путь через тайгу
И ленинский октябрь — до выполненной клятвы...
Уходят вдаль людских голов бугры,
Я уменьшаюсь там, меня уж не заметят,
Но в книгах ласковых и в играх детворы
Воскресну я — сказать, как солнце светит...
Правдивей правды нет, чем искренность бойца:
Для чести и любви, для доблести и стали
Есть имя славное для сильных губ чтеца —
Его мы слышали и мы его застали.

1937

ЭКСПРОМТЫ. ОТРЫВКИ. СТРОКИ ИЗ УНИЧТОЖЕННЫХ ИЛИ УТЕРЯННЫХ СТИХОВ

* * *

Поднять скрипучий верх соломенных корзин...

1908

* * *

.... коробки
.... лучшие игрушки.
..... на пальмовой верхушке
Отмечает листья ветер робкий.

Неразрывно сотканный с другими
Каждый лист колеблется отдельно.
Но в порывах ткани беспредельно
И мирами вызвано иными —

Только то, что создано землею.
Длинные, трепещущие нити,
В тщетном ожидании наитий
Шелестящие своей длиною.

1910

* * *

Я давно полюбил нищету,
Одиночество, бедный художник.
Чтобы кофе сварить на спирту,
Я купил себе легкий треножник.

1912

* * *

Под зефиры весны
Что ты спишь, сельский муж?..

<1910-е>

* * *

<А. Ахматовой>

Целует мне в гостиной руку
И бабушку на лестнице крутой

<После 1917>

* * *

.... Канделаки
У него Брехничев взамен цепной собаки

<1921>

* * *

Однажды прапорщик-заика
К своей прабабушке пришел...

<Середина 1920-х>

* * *

Вакс ремонтнодышащий

<Начало 1930-х>

* * *

Убийца, преступная вишня,
Проклятая неженка, ма!
.... дар вышний,
Дар нежного счастья сама.

....
....

Блеск стали меча самурайской
И вся первозданная тьма
Сольются в один самородок,
Когда окаянней камней
Пленительный злой подбородок
У маленькой Мэри моей.

1933(?)

* * *

В оцинкованном влажном Батуме,
По холерным базарам Ростова
И в фисташковом хитром Тифлисе
Над Курою в ущелье балконном
Шили платья у тихой портнихи...

Апрель 1934

* * *

Это я. Это Рейн. Браток, помоги.
Празднуют первое мая враги.

Лорелеиным гребнем я жив, я теку
Виноградные жилы разрезать в соку.

1935

* * *

Я семафор со сломанной рукой
У полотна воронежской дороги

1935

* * *

И пламенный поляк—ревнивец фортепьянный...
Чайковского боюсь—он Моцарт на бобах...
И маленький Рамо—кузнечик деревянный.

1937

* * *

На этом корабле есть для меня каюта

<1937>

* * *

Там уж скоро третий год
Тень моя живет меж вами.

<1937>

* * *

Но уже раскачали ворота молодые микенские львы

<1937?>

* * *

В Париже площадь есть — ее зовут Звезда
.... машин стада.

<1937?>

* * *

Такие же люди, как вы,
С глазами вдолбленными в череп,
Такие же судьи, как вы,
Лишили вас холода тутовых ягод.

<1937>

* * *

И веером разложенная дранка
Непобедимых скатных крыш...

<1937>

* * *

Река Яузная,
Берега кляузные...

<1937?>

* * *

Черная ночь, душный барак,
Жирные вши...

<1938>

Комментарии

Первые стихотворные публикации Мандельштама появились в 1907 г. в журнале Тенишевского коммерческого училища «Пробужденная мысль», но подлинный литературный дебют состоялся в августе 1910 г. в девятом номере журнала «Аполлон», где была напечатана подборка из пяти стихотворений.

При жизни Мандельштама вышло шесть его поэтических книг: три издания «Камня» (1913, 1916 и 1923), «Tristia» (1922), «Вторая книга» (1923) и «Стихотворения» (1928). В 1931—1932 гг. поэт заключил договоры на сборники «Избранное» и «Новые стихи», а также на двухтомное собрание сочинений, но эти издания не состоялись.

Первое в СССР посмертное издание стихов Мандельштама было анонсировано в 1958, но вышло только в 1973 г.— Мандельштам О. Стихотворения (Библиотека поэта. Большая серия). Л., Советский писатель, 1973 (переизд. в 1974, 1978 и 1979 гг.). О намерении издать двухтомник О. Мандельштама в «Художественной литературе» свидетельствует копия письма председателя Комиссии по литературному наследию О. Э. Мандельштама К. М. Симонова директору изд-ва В. А. Косолапову от 5 июня 1968 г. (архив И. М. Семенко). Издание не состоялось.

В настоящем издании впервые в СССР предпринята попытка собрать в одной книге все поэтическое наследие Мандельштама, включая стихи для детей и шуточные стихи. В Приложениях собраны разные редакции и наброски, а также экспромты, отрывки или строки из уничтоженных или утерянных стихов. Принципы композиции и текстологии, принятые в издании, раскрываются в преамбулах к комментариям к каждому разделу, все исключения оговариваются. Особенности авторской орфографии максимально сохранены. В отношении пунктуации применен дифференцированный подход, позволяющий сочетать адекватность передачи смысла с современными нормами правописания и главными особенностями авторской пунктуации (Мандельштам, как известно, пренебрегал знаками препинания и правилами их расстановки, исходя исключительно из мелодики стиха; нередко он диктовал свои стихи

жене или другим лицам, не вмешиваясь в пунктуацию при авторизации текстов). Нумерация строф, часто встречающаяся в автографах и прижизненных публикациях Мандельштама, не приводится.

Под ст-ниями проставлены даты написания, через запятую — даты их авторской переработки. Косвенные датировки даются в угловых скобках, предположительные — со знаком вопроса в круглых скобках. Переводы иностранных слов в текстах даются под строкой (исключения отмечены в комментариях). Текст, зачеркнутый автором, дается в квадратных скобках, а неавторский текст — в угловых.

В комментариях к каждому ст-нию указываются все известные прижизненные и первые посмертные (в том числе первые в СССР) публикации, а также их порядковые номера в издании «Библиотека поэта» (например: *БП*, № 17). Отмечаются также другие текстологические источники и разночтения (ранние редакции и варианты вынесены в Приложения; Приложения специально не комментируются). Отсутствие даты в источниках или ее совпадение в них с основной датировкой, как правило, не оговаривается. Источники датировки, не совпадающие с источниками текста, отмечаются отдельно. Исправления, опечатки, а также расхождения в пунктуации между различными источниками текстов, как правило, не отмечаются. Ссылки на произведения Мандельштама даются без указания фамилии автора. Ссылки на наст. изд. даются указанием тома и страницы (например: I, 47).

Одним из инициаторов выпуска этого двухтомника была Ирина Михайловна Семенко (1921—1987). Наст. изд. в значительной мере основывается на разработанной ею текстологии стихотворений 1930-х годов (подготовленные ею тексты, принятые нами в качестве основных, в коммент. выделены звездочкой). Нами использованы также текстологические, библиографические и иллюстративные материалы из собраний Э. Г. Бабаева, А. П. Бабенышева, С. И. Богатыревой, Н. К. Бруни, С. В. Василенко, А. В. Головачевой, В. Л. Гордина, Л. В. Горнунга, М. Б. Горнунга, Э. С. Гурвич, Е. П. Зенкевич, Е. А. Земской, Г. С. Кузиной, В. П. Купченко, В. В. Лаврова, М. С. Лесмана, Е. К. Лившиц, В. К. Лукницкой, Б. И. Маршака, А. Г. Меца, В. Я. Мордерер, Б. С. Мягкова, И. М. Наппельбаум, А. Г. Островского, А. Е. Парниса, В. Г. Перельмутера, В. П. Петрановского, И. В. Платоновой, С. В. Поляковой, И. С. Поступальского, Е. О. Путиловой, И. Б. Синани, А. А. Смольевского, С. И. Субботина, М. А. Торбин, Л. М. Турчинского, Б. Я. Фрезинского, Ю. Л. Фрейдина, Н. И. Харджиева, М. И. Чуванова, Е. Ц. Чуковской, Е. В. Шагинян, В. А. Швейцер, В. Б. Шкловской, Н. Е. Штемпель, Е. Г. Эткинда и Н. Д. Эфрос. Всем им, а также сотрудникам Музея-квартиры А. Ахматовой в Фонтанном Доме и ряда государственных архивов и хранилищ — наша искренняя признательность. Особая благодарность — С. С. Аверинцеву, М. Л. Гаспарову, А. Д. Михайлову, А. А. Морозову, А. Т. Никитаеву, Н. Л. Поболю, О. А. Сладковой, Р. Д. Тименчику и Е. А. Тоддесу, без консультации и помощи которых наст. изд. было бы невозможно.

СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ:

АА— Архив М. В. Аверьянова (*ИРЛИ,* ф. 428, оп. 1, ед. хр. 70 и 141).

АВ— Архив М. А. Волошина (*ИРЛИ,* ф. 562, оп. 3, ед. хр. 818, и оп. 6, ед. хр. 149).

АВИ— Архив В. И. Иванова (*ГБЛ,* ф. 109, к. 45, ед. хр. 37).

АЕМ— Архив Е. Э. Мандельштама (собрание Е. П. Зенкевич).

АЗ— Архив М. А. Зенкевича (*ГЛМ,* ф. 247).

АИ— Архив И. И. Ивича-Бернштейна (собрание С. И. Богатыревой).

АЛ— Архив М. Л. Лозинского (собрание И. В. Платоновой).

АМ— Архив О. Э. Мандельштама (описания, фотокопии и копии И. М. Семенко, а также, частично, А. А. Морозова, описания Н. И. Харджиева в *БП;* описания *АМ* в примечаниях к *СК;* для некоторых элементов *АМ* введены особые сокращения — *ВС, НК, К-16 (Кабл.).*

АПЛ— Архив П. Н. Лукницкого (собрание В. К. Лукницкой).

АЧ— Архив К. И. Чуковского (собрание Е. Ц. Чуковской).

АШ— Архив М. С. Шагинян (собрание Е. В. Шагинян).

Ахматова— Ахматова А. Листки из дневника (О Мандельштаме).— Вопросы литературы, 1988, № 2, с. 178—217.

БП— Мандельштам О. Стихотворения (Библиотека поэта. Большая серия). Сост. и примеч. Н. И. Харджиева. Вступ. статья А. Л. Дымшица. Л., 1973.

ВК— Мандельштам О. Вторая книга. М., Круг, 1923.

ВЛ— «Вопросы литературы», Москва.

ВЛ-68— Мандельштам О. Записные книжки. Заметки.— Вопросы литературы, 1968, № 4, с. 180—204 (вступ. заметка и подгот. текста И. Семенко, кроме раздела «Записи разных лет», подгот. А. Морозовым и В. Борисовым).

ВП-II— Мандельштам О. Пятьдесят семь стихотворений.— Воздушные пути. Альманах II. Нью-Йорк, 1961, с. 7—69.

ВП-III— Мандельштам Осип. Пять стихотворений.— Воздушные пути. Альманах III. Нью-Йорк, 1963, с. 19—23.

ВП-IV— Мандельштам Осип. Стихи.— Воздушные пути. Альманах IV. Нью-Йорк, 1965, с. 162—166.

ВРСХД— «Вестник русского студенческого христианского движения». Париж — Нью-Йорк.

ВРСХД, т. 97— Мандельштам О. Двадцать два неизданных стихотворения.— *ВРСХД,* т. 97, 1970, вып. III, с. 107—144.

ВРСХД, т. 111— Мандельштам О. Неизданные стихи.— *ВРСХД,* т. 111, 1974, вып. I, с. 172—179 (публ. Н. Струве).

ВС— так наз. «ватиканский список» — авториз. список рукой Н. Я. Мандельштам, составленный в 1935 г. *(АМ).*

ВТ— Мандельштам О. Воронежские тетради. Подгот. текста, примеч. и послесл. В. А. Швейцер. Ардис, Анн-Арбор, 1980.

ГБЛ— Отдел рукописей Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина, Москва.

Герштейн—Герштейн Э. Г. Новое о Мандельштаме. Париж, Atheneum, 1986.

Гинзбург—Гинзбург Л. О старом и новом. Статьи и очерки. Л., Советский писатель, 1982.

ГЛМ—Рукописный отдел Государственного литературного музея, Москва.

ГПБ—Рукописный отдел Государственной Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, Ленинград.

Д-87—Мандельштам Осип. «Новые стихи».—Даугава, Рига, 1987, № 1, с. 110—117 (публ. Ю. Фрейдина и Е. Сморгуновой).

Д-88—Мандельштам и Латвия. Подборка материалов.—Даугава, Рига, 1988, № 2, с. 94—114.

ДН-87—Мандельштам О. Стихи и переводы.—Дружба народов, 1987, № 8 (публ. П. Нерлера).

ДП—«День поэзии» (с указанием двух последних цифр года). М.

ДП-81—Мандельштам Осип. 1891—1938. О современной поэзии (к выходу «Альманаха муз»). Письмо о русской поэзии. Восьмистишия.—День поэзии 1981. М., 1981, с. 194—201 (публ. и вступ. заметки С. В. Василенко и Ю. Л. Фрейдина).

ЕМ—Мандельштам О. Египетская марка. Л., Прибой, 1928.

«ЕМ»—«Египетская марка».

Иванов—Иванов Г. Стихотворения. Третий Рим. Петербургские зимы. Китайские тени. Сост., послесл. и коммент. Н. А. Богомолова. М., Книга, 1989.

Избр.—Мандельштам О. Избранное. Сост., предисл. и примеч. П. М. Нерлера. Таллинн, Ээсти раамат, 1989.

Избр. стихи—Избранные стихи русских поэтов. Период III. Вып. 2. СПб., 1914.

ИМЛИ—Рукописный отдел Института мировой литературы Академии наук СССР, Москва.

ИРЛИ—Отдел рукописей Института русской литературы Академии наук СССР (Пушкинский Дом), Ленинград.

К-13—Мандельштам О. Камень. Пб., Акмэ, 1913.

К-16—Мандельштам О. Камень. Пг., Гиперборей, 1916 [1915].

К-16 (Ав.)—Мандельштам О. Камень. Изд. М. В. Аверьянова. Авторская и наборная рукопись (собрание А. Г. Островского; сведения об этом любезно предоставлены А. Е. Парнисом, подготовившим их к публикации).

К-16 (Кабл.)—экземпляр *К-16,* подаренный С. П. Каблукову (*АМ,* по сообщению А. А. Морозова).

К-23—Мандельштам О. Камень. М.—Пг., ГИЗ, 1923.

Каблуков—дневник С. П. Каблукова (*ГПБ,* ф. 322, оп. 1, ед. хр. 3—50), с указанием даты.

КГВ—«Красная газета», вечерний выпуск, Ленинград.

Корр.-23—гранки и корректура «Второй книги» (*ИМЛИ,* ф. 225, оп. 1, ед. хр. 4, 5).

Корр.-28—корректура книги «Стихотворения» (*ИРЛИ,* ф. 124, оп. 1, ед. хр. 204).

Кузин— О. Э. Мандельштам и Б. С. Кузин. Материалы из архивов [Письма О. Э. Мандельштама М. С. Шагинян и Б. С. Кузину. Воспоминания Б. С. Кузина об О. Э. Мандельштаме].— Вопросы истории естествознания и техники, 1987, № 3, с. 127—144 (публ. М. А. Давыдова, А. П. Огурцова и П. М. Нерлера).

ЛА— «Литературная Армения», Ереван.

ЛГ— «Литературная газета», Москва.

ЛГ-81— «...Я тоже современник». К 90-летию со дня рождения О. Э. Мандельштама [Стихи].— *ЛГ,* 1981, 14 января, с. 6 (публ. П. М. Нерлера).

ЛГАЛИ— Ленинградский государственный архив литературы и искусства, Ленинград.

ЛГИА— Ленинградский государственный исторический архив.

ЛГр-67— Мандельштам О. Стихи и переводы.— Литературная Грузия, Тбилиси, 1967, № 1 (публ. и послесл. Г. Г. Маргвелашвили).

Липкин— Липкин С. Угль, пылающий огнем. Встречи и разговоры с Осипом Мандельштамом.— Литературное обозрение, 1987, № 12, с. 94—101.

ЛО— «Литературное обозрение», Москва.

МК-87— Мандельштам О. [Стихи].— Московский комсомолец, 1987, 13 марта (публ. Ю. Л. Фрейдина).

Молодая Германия— Молодая Германия. Антология современной немецкой поэзии. Одесса, 1926.

Морозов— Морозов А. А. Письма О. Э. Мандельштама к В. И. Иванову.— Записки Отдела рукописей ГБЛ. Вып. 36. М., 1975, с. 258—274.

Н-88— Мандельштам О. «Я, кажется, в грядущее вхожу» [Стихи и статья «Гуманизм и современность»].— Неделя, 1988, № 45, с. 12 (публ. П. М. Нерлера).

НК— «Наташина книга» — авторизованный список рукой Н. Я. Мандельштам, 1937 *(АМ).*

НМ— «Новый мир», Москва.

НМ-I— Мандельштам Н. Я. Воспоминания. Подгот. текста Ю. Л. Фрейдина. Послесл. Н. В. Панченко. Примеч. и прилож. А. А. Морозова. М., Книга, 1989 (1-е изд.— Нью-Йорк, Изд-во им. Чехова, 1970).

НМ-II— Мандельштам Н. Я. Вторая книга. Париж, YMCA-Press, 1978.

НМ-III— Мандельштам Н. Я. Книга третья. Париж, YMCA-Press, 1987.

НР-28— наборная рукопись «Стихотворений» (*ИРЛИ,* ф. 124, оп. 1, ед. хр. 208).

Одоевцева— Одоевцева И. На берегах Невы. М., Художественная литература, 1988.

ОП— Мандельштам О. О поэзии. Л., Academia, 1928.

П— Мандельштам Осип. Из «Воронежских тетрадей».— Подъем, Воронеж, 1966, № 1, с. 91—97 (предисл. А. Немировского).

«ПА»— «Путешествие в Армению».

Пр-65 — Мандельштам О. Из неопубликованного или забытого.— Простор, Алма-Ата, 1965, № 4, с. 58—64 (предисл. И. Эренбурга).

Пр-66 — Мандельштам О. [Стихи].— Простор, Алма-Ата, 1966, № 11, с. 110 (публ. Н. Я. Мандельштам).

ПС — Мандельштам О. Последние стихи. Рукописная книга (частное собрание).

РД — Мандельштам О. Разговор о Данте. Подгот. текста и примеч. А. А. Морозова. Послесл. Л. Е. Пинского. М., Искусство, 1967.

«РД» — «Разговор о Данте».

Рудаков — Письма С. Б. Рудакова жене, Л. С. Финкельштейн, (*ИРЛИ*, ф. 803), с датами.

С — Мандельштам О. Стихотворения. Л.— М., ГИЗ, 1928.

С-32 — Мандельштам О. Стихотворения (1924—1931). Список 1932 г. (*ИМЛИ*, ф. 225, оп. 1, ед. хр. 8).

Сегал — Сегал Д. «Сумерки свободы»: о некоторых темах русской ежедневной печати. 1917—1918 гг.— Минувшее, Париж, 1987, вып. 3.

Семенко — Семенко И. М. Поэтика позднего Мандельштама: от черновых редакций к окончательному тексту. Carucci editore Roma, 1986.

СБ — собрание А. П. Бабенышева (США) — прижизненная машинопись подборки стихотворений 1930—1931 гг.

СК — Мандельштам О. Слово и культура. Сост. и примеч. П. М. Нерлера. Вступ. статья М. Я. Полякова. М., Советский писатель, 1987.

СМ — собрание Б. И. Маршака (списки стихов 1931—1937 гг., полученные И. Я. Маршаком от Н. Н. Коварского в Алма-Ате).

СП — собрание С. В. Поляковой.

СС-I — Мандельштам Осип. Собрание сочинений в 3-х томах, т. I. Под ред. Г. П. Струве и Б. А. Филиппова. Нью-Йорк, Международное литературное содружество, 1967 (2-е изд.; 1-е изд.— Собр. соч. в 2-х томах. Вашингтон, 1964).

СС-II — Мандельштам Осип. Собрание сочинений в 3-х томах, т. II. Под ред. Г. П. Струве и Б. А. Филиппова. Нью-Йорк, Международное литературное содружество, 1971 (2-е изд.; 1-е изд.— Собр. соч. в 2-х томах. Нью-Йорк, 1966).

СС-III — Мандельштам Осип. Собрание сочинений в 3-х томах, т. III. Под ред. Г. П. Струве и Б. А. Филиппова. Нью-Йорк, Международное литературное содружество, 1969.

СС-IV — Мандельштам Осип. Собрание сочинений, IV — дополнительный том. Под ред. Г. Струве, Н. Струве и Б. Филиппова. Париж, YMCA-Press, 1981.

Струве — Струве Г. Итальянские образы и мотивы в поэзии Осипа Мандельштама.— Studi in onore di Editore Lo Gatto e Giovanni Maver. Roma, 1962, p. 601—614.

Т — Мандельштам О. Tristia. Пб.— Берлин, Petropolis, 1922.

Тоддес — Тоддес Е. А. Статья «Пшеница человеческая» в творчестве Мандельштама начала 20-х годов.— Тыняновский сборник. Третьи Тыняновские чтения. Рига, 1988, с. 184—217.

ТС— так наз. «ташкентский список» — список под загл. «Новая книга» рукой Н. Я. Мандельштам и Э. Г. Бабаева, сделанный в 1943—1944 гг. в Ташкенте (собр. Э. Г. Бабаева).

ЦГАОР— Центральный государственный архив Октябрьской революции и социалистического строительства, Москва.

ЦГАЛИ— Центральный государственный архив литературы и искусства, Москва.

«ЧП»— «Четвертая проза».

ЧР— Мандельштам О. Семь писем.— Часть речи, Нью-Йорк, вып. 2—3, 1982, с. 6—14 (публ. С. Поляниной).

«ШВ»— «Шум времени».

Швейцер-82— Швейцер В. Спустя почти полвека (к выходу «Стихотворений» О. Мандельштама).— Russica 1981. Нью-Йорк, 1982, с. 229—255.

Швейцер-89— Швейцер В. Мандельштам после Воронежа.— Синтаксис, Париж, 1989, вып. 25, с. 69—91.

Штемпель— Штемпель Н. Е. Мандельштам в Воронеже.— Новый мир, 1987, № 10, с. 207—234.

Ю-87— Мандельштам О. Стихи.— Юность, 1987, № 8, с. 74—76 (публ. С. Василенко и Ю. Фрейдина).

RL— Russian Literature. Mouton.

SH— Slavica Hierosolymitana. Slavic Studies of the Hebrew University. Hierusalem.

Стихотворения

1908—1925

Первая книга Мандельштама — «Камень» — вышла в конце марта или в апреле 1913 г. в изд-ве «Акмэ» (СПб.), тиражом 300 экз., на средства автора. Ее составили 23 ст-ния, датированные 1909—1913 гг. (без соблюдения хронологии). Первоначальный авторский вариант названия — «Раковина». Имеются свидетельства о том, что название «Камень» было подсказано поэту Н. С. Гумилевым. Тираж *К-13* был сдан на комиссию в книжный магазин Попова-Ясного на Невском проспекте (воспоминания Е. Э. Мандельштама — *АЕМ*).

Рецензентами первого «Камня» выступили три других акмеиста. С. Городецкий писал: «Книга невелика, но ценна и характерна. Обладая личным чувством ритма, образы для своих переживаний схватывая остро и своеобразно, поэт «Камня» поистине кладет прочный камень в угол созидаемого им мира. О. Мандельштам особенно хорошо чувствует весомость мира, «прекрасное» он создает «из тяжести недоброй»... Его строфы наполнены и напряжены, его рифмы внезапны» (Гиперборей, 1913, № 6, март, с. 27). В. Нарбут отмечал: «И ритм, и метр стиха О. Мандельштам знает великолепно... как знает и то, <что>... поэзия — тяжелый труд, а не неуместное швыряние сплавом слов и фраз... В заслугу О. Мандельштаму следует поставить... еще включение в его

поэтический словарь живой повседневной речи... и тонкую наблюдательность...» (Новый журнал для всех, Пб., 1913, № 4, с. 175—176). Н. С. Гумилев в «Письмах о русской поэзии» усматривал в книге «два резко разграниченные раздела»: «до 1912 года и после него <т. е. символистский и акмеистический>. В первом общесимволистские достоинства и недостатки, но и там уже поэт силен и своеобразен. Хрупкость вполне выверенных ритмов, чутье к стилю, несколько кружевная композиция... Усталость, пессимизм и разочарование, рождающие у других только ненужные пробы пера, у О. Мандельштама кристаллизуются в поэтическую идею — образ: в Музыку с большой буквы... Но поэт не может долго жить отрицанием мира... О. Мандельштам... открыл двери в свою поэзию для всех явлений жизни, живущих во времени, а не только в вечности или мгновении... Я не припомню никого, кто бы так полно вытравил в себе романтика, не затронув в то же время поэта» (Аполлон, 1914, № 1-2, с. 126—127).

Весной 1914 г. Мандельштам готовил второе изд. «Камня». Девять автографов, сохранившихся в *АА*, возможно, являются фрагментами этой рукописи. Это же явствует из распоряжения М. Л. Лозинского, владельца изд-ва «Гиперборей», от 15 апреля 1914 г.: «Разрешаю поставить на втором издании книги О. Мандельштама «Камень», печатаемом на счет М. В. Аверьянова, марку издательства «Гиперборей» *(АА)*. Мандельштам писал М. В. Аверьянову 29 мая 1914 г.: «Многоуважаемый Михаил Васильевич! Вы мне обещали прибавить к 50 еще 25 р. с тем, чтобы считать наш расчет *окончательным*. Быть может, Вы сделаете это сегодня? Я уезжаю в деревню, и 25 р. для меня сейчас очень важны. Надеюсь, Вы не откажете. Ваш О. Мандельштам» *(АА)*. Причины, из-за которых это издание расстроилось, неизвестны.

Второе изд. «Камня» вышло в изд-ве «Гиперборей» (Пг.) в декабре 1915 г. (на титуле: Пг., 1916) тиражом 1000 экз. Как и первое, оно печаталось на средства автора и, согласно «Книжной летописи», в той же типографии по ул. Гоголя, 9 (принадлежавшей в 1913 г. Ю. Мансфельду, а в 1915 г.— А. Лаврову). В *К-16* вошло 67 ст-ний, датированных 1908—1915 гг., выстроенных в хронологическом порядке (с отступлениями) и составивших основу композиции последующих изданий. Из ст-ний, входивших в *К-13*, было отброшено лишь одно — «Змей». 30 декабря 1915 г. С. П. Каблуков записал в дневнике: «Вчера был И. Е. Мандельштам, привезший экземпляр нового — второго издания сборника своих стихов («Камень»). Это издание — его собственное, по внешности оно не очень удачно: жидкая и дряблая бумага типа плохого «верже», невыдержанный шрифт, более чем достаточно опечаток, иногда явно безобразных. Книга пострадала и от цензуры: два стихотворения «Заснула чернь» и «Императорский виссон» не разрешены. Кроме того, собрание вышло не довольно полным, до 27-ми стихотворений отнюдь не плохих, а иногда и превосходных, не включены автором отчасти по мнительности, отчасти по капризу. В сборник вошли около 80-ти пьес... В подаренном мне экземпляре мною восстановлены пропуски» (*Каблуков*, 30 декабря 1915 г.). Никакая другая книга не

вызвала столько откликов в печати. Большинство рецензентов отметили «холод и твердость» стихов Мандельштама, преобладание мысли и сухой рассудочности над чувством (З. Б. (рец.).— Нива. Ежемес. лит. и поп.-научн. прилож., Пг., 1916, № 9, с. 134). Ср. у К. Липскерова: «графически-четкие и твердые линии мандельштамовского стиха и даже известная тяжесть «Камня», впрочем вполне преднамеренная и сознательная, как и все в этой книге, которую именно самосознание напряженное и трагическое делает значительной и любопытной» (Русские ведомости, 1916, 13 апреля). Отмечая «безупречность формы» и «великолепную сжатость, доведенную до пределов», даже «прекрасность» стихов Мандельштама, И. Оксенов утверждал, что это «красота не их собственная... чужая, Мандельштама же, как поэта, нет» (Новый журнал для всех, 1916, № 2-3, с. 94). То, что «из певучего, льющегося русского языка» Мандельштам «сделал» «медь торжественной латыни», В. Гальский (псевдоним В. Шершеневича) полагал его «большим и несомненным достоинством», не признавая при этом в его стихах «убедительности», «искренности» или «мощности»: «Лучшие стихи помечены прежними годами. Чем новее, тем бесцветнее строчки» (Новая жизнь, М., 1916, № 4, с. 188). А. С<еребров>, отнеся Мандельштама по «характеру дарования» к поэтам «хорошего тона», «стилистам, парнасцам», «прекрасным ювелирам чужих драгоценностей» и признавая за ним «несомненное чувство красоты», «отточенность стиха» и «богатство лексикона», настаивает на его несамостоятельности, чужих настроениях (Бальмонт) и «пониженном чувстве жизни» поэта: «В... точных, холодных описаниях нет ни автора, ни его живых оценок, и потому все предметы, чувства и события приобретают жуткую неподвижность и призрачность. В конце концов и сам автор исчезает и тоже становится призраком... В общем, «Камень» О. Мандельштама — тверд, холоден, прекрасно огранен самыми изысканными стихотворными размерами, хорошо оправлен рифмами, но все же блеск его мертвый — тэтовский» (Летопись, 1916, № 5, с. 287—290). А. Дейч даже назвал свою рецензию «Неживой поэт», пояснив правда, что слова «акмеистское» и «неживое» для него синонимы: «Камень» О. Мандельштама, по Дейчу, «не пробужден от глубокого сна истинным вдохновением», автор — «не изведал истинной страсти и настоящей любви», он пленен «ложноклассическим пафосом» и «ходульной позой» (Журнал журналов, 1916, № 13 (июль), с. 14).

Контрастом к перечисленным мнениям критиков звучат суждения поэтов, откликнувшихся на *К-16*. Н. Гумилев, сделавший это первым, подчеркивает именно «полную самостоятельность стихов Мандельштама»: «Его вдохновителями были только русский язык... да его собственная видящая, слышащая, осязающая, вечно бессонная мысль... Его, полюбившего реальность, но не забывшего своего трепета перед вечностью, пленила идея Вечного Города, цезарский и папский Рим... Однако и Рим — только этап в творчестве Мандельштама, только первый пришедший в голову символ мощи и величественности творческого духа» (Аполлон, 1916, № 1, с. 30—32). С. Городецкий выделяет совершенство поэтического языка «Камня», отмечая при этом «мнимый

лаконизм», «ограниченность словаря», «ломкость скрепляющих союзов»: «Автор похож на человека, только что перешедшего через глубокий ручей по качающейся перекладине, но все-таки перешедшего и потому заслуживающего поздравлений» (Поэзия как искусство.— Лукоморье, Пг., 1916, № 18, 30 апреля, с. 19—20). По мнению Андрея Полянина (псевдоним С. Парнок), *К-16* «являет нам творческий путь автора, не только художественный, но и душевный»: первый этап — «поэзия пяти чувств», второй — «мысль о смерти», третий — «жизнь под знаком смерти». Путь художника привел Мандельштама к «пафосу конкретности» и «патетичности», его творчество — «в ваянии из слова», но вместе с тем его «Камень» — это «поющий камень», это «начало пути», заставляющее «с интересом ожидать следующих сборников поэта» (Северные записки, Пг., 1916, № 4, с. 242—243).

Интересен отзыв В. Ходасевича: «Осипу Мандельштаму, видимо, нравится холодная и размеренная чеканка строк. Движение его стиха замедленно и спокойно. Однако порой из-под нарочитой сдержанности прорывается в его поэзии пафос, которому хочется верить хотя бы за то, что поэт старался (или сумел сделать вид, что старался) его скрыть. К сожалению, наиболее серьезные из его пьес, как Silentium, «Я так же беден», «Образ твой мучительный и зыбкий», помечены более ранними годами; в позднейших стихотворениях г. Мандельштама маска петроградского сноба слишком скрывает лицо поэта; его отлично сделанные стихи становятся досадно комическими, когда за их «прекрасными» словами кроется глубоко ничтожное содержание... Ну, право, стоило ли тревожить вершины для того только, чтобы описать дачников, играющих в теннис? Думается, г.Мандельштам имеет возможность оставить подобные упражнения ради поэзии более значительной» (Утро России, Пг., 1916, 30 января, № 30). М. Волошин в обзоре «Голоса поэтов» писал о «юношеском басе» и о «певческом даре» Мандельштама, богатом «оттенками» и «диапазоном», но обещающем стать «еще более гибким и мощным»: «В его книге чувствуется напряженная гортань, обозначается горло певца с прыгающим адамовым яблоком, часто на протяжении многих страниц он только пробует голос... Этот «камень» пока еще один из тех, которые Демосфен брал в рот, чтобы выработать себе отчетливую дикцию» (Речь, Пг., 1917, 4 июня).

В 1916 или, возможно, в начале 1917 г. предполагалось новое изд. «Камня» в Изд-ве М. В. Аверьянова — *К-16(Ав.)*. На титуле — помета издателя: «Прошу набирать как брош<юру> «Радуница». Книга С. Есенина «Радуница» вышла в том же изд-ве в 1916 г.: объемы обеих книг совпадали, чем, по-видимому, и обусловлены серьезные сокращения по сравнению с *К-16* (отброшено 22 ст-ния из 67, правда, 4 ст-ния добавлены в оглавлении, в т. ч. ст-ние «Ни чубуков, ни трубок...» или, по всей вероятности, «Мадригал», обращенный к Л. Рейснер). Это издание также не состоялось.

Об отказе К. М. Кожебаткина издать «Камень» в 1916 г. в изд-ве «Альциона» сообщал Г. Иванов (Новый журнал, Нью-Йорк, 1955, кн. 43, с. 278).

В 1919 г. Мандельштам намеревался издать «Камень» в киевском изд-ве «Летопись», включив в него ст-ния 1914—1919 гг. (Киевский день, 1920, № 7, 23 мая—сообщ. Р. Д. Тименчиком и М. С. Петровским), но и этот план не осуществился.

8 марта 1921 г. Мандельштам обратился в Госиздат с предложением переиздать «Камень». Но редколлегия (в составе В. А. Быстрянского, И. И. Ионова, З. И. Лилиной, Е. И. Первухина при секретаре К. А. Федине) 14 марта 1921 г. отклонила его заявку (*ЛГАЛИ*, ф. 2913, оп. 1, ед. хр. 115, л. 28).

Третье издание «Камня» вышло в Москве в июле 1923 г. в серии «Библиотека современной русской литературы» Госиздата (М.—Пг.) тиражом 3000 экз. (художник А. М. Родченко). Даты под стихами здесь отсутствуют, из 76 ст-ний 7 относятся к 1916—1922 гг. («Не веря воскресенья чуду...», «В тот вечер не гудел стрельчатый лес органа...», «В Петрополе прозрачном мы умрем...», «1914» («Собирались эллины войною...»), «Нашедший подкову» и два перевода—начала «Федры» Ж. Расина и отрывка из старофр. эпоса «Сыновья Аймона»).

По сравнению с *К-16* отброшено 7 ст-ний 1908—1915 гг. («Из полутемной залы вдруг...», «Душный сумрак кроет ложе...», «Паденье—неизменный спутник страха...», «Царское Село», «Поговорим о Риме—дивный град...», «Encyclica» и «И поныне на Афоне...») и введено 9 новых: «Только детские книги читать...», «На перламутровый челнок...» (датируемое 1911 г., оно поставлено среди ст-ний 1909 г.), «Американка», «От вторника и до субботы...», «Я потеряла нежную камею...», «Уничтожает пламень...», «Обиженно уходят на холмы...», «Пусть имена цветущих городов...», «Природа—тот же Рим и отразилась в нем...». Отметим, что посвящение «Петербургских строф» Н. С. Гумилеву в *К-23* еще не было снято.

В раздел «Камень» в *С* вошло 73 ст-ния. По сравнению с *К-23* были отброшены ст-ния «Я потеряла нежную камею...» и «Обиженно уходят на холмы...»; ст-ние «И поныне на Афоне...» возвращено в основной корпус «Камня» и еще 4 ст-ния добавлены: «Как тень внезапных облаков...», «Из омута злого и вязкого...», «Здесь я стою—я не могу иначе!..», «На луне не растет...». Ст-ние «Царское Село», сохранившееся в *НР-28*, было снято цензурой. Вынужденной была и «деперсонализация» четвертого варианта «Камня»: после отказа редакции оставить посвящение «Петербургских строф» Н. С. Гумилеву и включить «Царское Село», посвященное Г. Иванову, Мандельштам снял посвящение М. Л. Лозинскому в ст-нии «Пешеход» и заглавие «Ахматова» в ст-нии «Вполоборота, о печаль...» (эти посвящения и заглавие в наст. изд. восстановлены).

Последним дошедшим до нас композиционным знаком Мандельштама в «Камне» был отказ от ст-ний «1913» («Ни триумфа, ни войны...») и «Есть ценностей незыблемая ска́ла...», перечеркнутых в авт. экз. *С* (собр. Н. И. Харджиева) одновременно с поправками 1937 г. в тексте (см. *БП*). Вместе с тем в другом принадлежавшем Мандельштаму экз-ре *С* пометки не столь многочисленны; в частности, зачеркнуто, по сообщ. Ю. Л. Фрейдина, лишь одно ст-ние—«Ни триумфа, ни

войны...». На этом основании ст-ние «Есть ценностей незыблемая скáла...» оставлено нами в подразделе «Камень».

Таким образом, работа над композицией «Камня» шла в течение четверти века, но канонический состав так и не был выработан. Работа состояла прежде всего в тщательном отборе ст-ний, а также более строгом соблюдении хронологического принципа, впрочем не столь строгого, чтобы не допускать перестановок в рамках одного года (исключения из этого правила, как, например, «На перламутровый челнок...», единичны и могут быть исправлены, как это сделано в *БП* и в наст. изд.).

Наиболее сложной представляется проблема статуса ст-ний, включавшихся в ранние издания «Камня» (см. соответствующую сводку в статье: Мец А. Г. О составе и композиции книги стихов Мандельштама «Камень».— Русская литература, 1988, № 3, с. 179—182). В наст. изд. в корпус «Камня» возвращены ст-ния, снятые в 1923 и 1928 гг. по явно цензурным и автоцензурным соображениям. Так, цензурные ограничения заставили Мандельштама отказаться от целого ряда ст-ний, входивших в *К-16:* «Душный сумрак кроет ложе...», «Я так же беден, как природа...», «Паденье — неизменный спутник страха...», «Царское Село», «Поговорим о Риме — дивный град!..», «Encyclica», «Вот дароносица, как солнце золотое...» и «Обиженно уходят за холмы...», а также двух ст-ний, снятых еще в 1915 г. царской цензурой: «Заснула чернь. Зияет площадь аркой...» (мы помещаем его перед ст-нием «Адмиралтейство», как наиболее близким по времени написания — май 1913) и «Дворцовая площадь» («Императорский виссон...»), помещаемым нами между ст-ниями 1915 г. «От вторника и до субботы...» и «О свободе небывалой...» (при этом заглавие «Дворцовая площадь» снимается во избежание путаницы с аналогичным заглавием белового автографа ст-ния «Заснула чернь. Зияет площадь аркой...»).

В то же время ст-ния «Из полутемной залы, вдруг...» и «От легкой жизни мы сошли с ума...», написанные в связи с какими-то конкретными событиями и не связанные с автоцензурными ограничениями, были, по всей видимости, отброшены сознательно (второе из них Мандельштам перечеркнул и в авт. экз-ре *Т* — см. ниже). То же можно сказать и о ст-нии «Змей», от которого поэт отказался уже в *К-16.* Эти три ст-ния, а также ст-ние «Ни триумфа, ни войны...» в наст. изд. даются в разделе «Стихотворения разных лет».

5 ноября 1920 г. Мандельштам заключил с Я. Н. Блохом, владельцем изд-ва «Petropolis», договор на «издание своего нового сборника стихов под заглавием «Новый камень» размером от 4 до 6 печатных листов» — *ЦГАЛИ,* ф. 1893, оп. 1, ед. хр. 8. Книга, оформленная М. В. Добужинским, вышла в Берлине (на титуле: Пб.— Берлин) в 1922 г. (дата на обложке — 1921) под заглавием «Tristia», предложенным М. А. Кузминым, тиражом 3000 экз. В книгу вошло 45 ст-ний, датированных 1915—1921 гг. и выстроенных с отступлениями от хронологии. Об отношении самого Мандельштама к этому изданию свидетельствуют следующие две надписи: «Дорогому Давиду Исааковичу Выгодскому — с просьбой помнить, что эта книга вышла против моей воли и без моего

ведома. О. Мандельштам. 10.XI.1922» (сообщено А. Г. Мецем) — и «Книжка составлена без меня против моей воли безграмотными людьми из кучи понадерганных листков. О. Мандельштам. 5/II/23» (б-ка *ГЛМ;* характер надписи позволяет считать экз-р, условно, принадлежавшим автору). Внутри этого экз-ра следующие авторские пометки: ст-ния «Я потеряла нежную камею...» (с. 18), «О, этот воздух, смутой пьяный...» (с. 44), «От легкой жизни мы сошли с ума...» (с. 49) и «Вот дароносица, как солнце золотое...» (с. 64) зачеркнуты и к каждому сделана одна и та же помета: «Ерунда! О. М.»; в ст-ниях «Я наравне с другими...» (с. 57) и «Исакий под фатой молочной белизны...» (с. 74) зачеркнуты отброшенные варианты строф и сделана помета: «Искажено. О. М.» (новые варианты не вписаны), кроме того, на с. 52 и 59 исправлены опечатки. На этом основании четыре отброшенных Мандельштамом ст-ния в наст. изд. вынесены в раздел «Стихотворения разных лет».

Первым из рецензентов на книгу откликнулся И. Эренбург: «Мандельштам патетичен всегда, везде, это не ходули, но рост, не манера, но голос... Вся жизнь пронизана патетической дрожью. Нет веса предметов — рука их делает тяжелыми, и все слова могут быть камнями... Мандельштам является — в эпоху конструктивных заданий — одним из немногих строителей...» (Новая русская книга, Берлин, 1922, № 2, август, с. 19). Н. Пунин, теоретик левого искусства, относя стихи Мандельштама к «старым формам», преклоняется перед «силой» его поэзии. «Tristia», по Пунину, «очень пышный и торжественный сборник, но это не барокко, а как бы ночь формы... Никаких не надо оправданий этим песням. И заменить их тоже нечем. Вот почему... я всему изменю, чтобы слышать этого могущественного человека. В своем ночном предрассветном сознании он машет рукавами каких-то великих и кратких тайн. Условимся же никогда не забывать его, как бы молчалива ни была вокруг него литературная критика. И через ее голову станем говорить с поэтом, самым удивительным из того, что, уходя, оставил нам старый мир» (Жизнь искусства, Пг., 1922, № 41 (октябрь), с. 3). По В. Ходасевичу, «поэзия Мандельштама — благородный образчик чистого метафоризма. Подобно Адаму поэт ставит главной целью — узнавать и называть вещи. Талант зоркого метафориста позволяет ему тешиться этой игрой... Поэзия Мандельштама — танец вещей, являющийся в самых причудливых сочетаниях. Присоединяя к игре смысловых ассоциаций игру звуковых, — поэт, обладающий редким в наши дни знанием и чутьем языка, часто выводит свои стихи за пределы обычного понимания: стихи Мандельштама начинают волновать какими-то темными тайнами, заключенными, вероятно, в корневой природе им сочетаемых слов... Думаем, что самому Мандельштаму не удалось бы объяснить многое из им написанного...» (Дни, Берлин, 1922, 13 ноября, с. 11). С. Бобров, охарактеризовав раннего Мандельштама как поэта «необыкновенной высокоторжественности», «снобистской болтовни», «пышности деталей» и «роскошной бессмыслицы», находит «Tristia» «книгой совершенно другого поэта»: «Откуда взялся у Мандельштама этот очаровывающий свежестью голос?.. Откуда эта настоященская, с улицы, с холодком, с трамвайным

билетиком простота? Откуда вот эта горячность, эта страсть, эта чуточку болезненная, но живая грусть, откуда сквозит эта свежесть?.. Но у Мандельштама часто сами пороки стиля становятся приемами и методикой: его смешение стилей... дает неожиданно приятные результаты...» (Печать и революция, М., 1923, № 4, июнь—июль, с. 259—262). Продолжая гумилевскую традицию «Писем о русской поэзии», на *Т* откликнулся Г. Струве, будущий редактор Собр. соч. О. Мандельштама: *Т*—«вовсе не подражание и не реставрация, а художественное претворение классических мотивов в духе того «домашнего эллинизма», который Мандельштам считает подлинной русской стихией... Но слухом обращенный вглубь, в века, Мандельштам зрением остро воспринимает современность... Везде и во всем—крепость, строгость и тяжесть, искание Акрополя, орешка... Его поэзия—поэзия слов-предметов... «Tristia», как и «Камень», останется в русской литературе» (Русская мысль, Париж, 1923, кн. I-II, с. 298—299).

В 1921 г. в Петрограде Мандельштам выпустил в 5 экз-рах рукописный сборник «Последние стихи» *(ПС)*, включив в него 8 ст-ний 1920—1921 гг. без указания дат (экз. № 1—частное собр.).

11 мая 1922 г. Мандельштам заключил с Госиздатом договор на издание сборника «Аониды» объемом 1800 строк (рукопись была представлена в тот же день—*ЦГАОР*, ф. 395, оп. 10, ед. хр. 53, л. 47). Сообщалось также о подготовке поэтом сборника под загл. «Слепая ласточка» (Корабль, Калуга, 1923, № 7-8, с. 48). Издания не состоялись.

В конце ноября 1922 г. Мандельштам сдал в моск. изд-во «Круг» рукопись нового сборника—«Второй книги», вышедшей в мае 1923 г. тиражом 3000 экз., с посвящением «Н. Х.»—Надежде Яковлевне Хазиной, жене поэта. Она вспоминала: «Вторую книгу» он собирал по памяти: вспоминал стихотворения, диктовал или записывал, некоторые смотрел, другие выбрасывал» (*НМ-I*, с. 258). Сохранились наборная рукопись, гранки и корр. *ВК*, с авт. исправлениями—*НР-23* и *Корр.-23*. В книгу вошло 43 ст-ния, датированных 1916—1923 гг., под римскими цифрами и без дат, в т. ч. 28 ст-ний 1916—1920 гг. из *Т* и 11 ст-ний, написанных в 1921—1923 гг.

В. Брюсов писал, что у Мандельштама—«вся современность обязательно одевается в наряды прошлых веков. Почему это? Не потому ли, что поэту нечего сказать?.. Оторванная от общественной жизни, от интересов социальных и политических, оторванная от проблем современной науки, от поисков современного миросозерцания, поэзия О. Мандельштама питается только субъективными переживаниями поэта да отвлеченными, «вечными» вопросами—о любви, смерти и т. п., которые, в своем метафорическом аспекте, стали давно пустыми, лишенными реального содержания. Такая поэзия, чтобы прикрывать свою скудость, нуждается в каких-то внешних прикрасах, и поэт находит их в пышных мантиях античности и библии» (Печать и революция, 1923, № 6, с. 63—66). Напротив, Б. Розенцвейг назвал Мандельштама «последним из дома Пушкиных, полнокровным хранителем сосуда с медом классической мудрости»; он отмечал в поэте «и легчайшую образность...

и особый подход к скрытой в слове мелодии, и в то же время какую-то строгую монументальность каждой его вещи» (Пролетарская правда, Киев, 1923, 7 октября — сообщ. Б. М. Цимериновым).

В мае 1928 г. в ленингр. отд. Госиздата тиражом 2000 экз. вышел последний прижизненный поэтический сборник Мандельштама — «Стихотворения» (договор от 18 августа 1927 г., художник Д. И. Митрохин, редактор Л. М. Варковицкая). Сохранились наборная рукопись и корр. книги — *НР-28* и *Корр.-28*, а недостающая часть — с авторской правкой и пометами редактора — в альбоме П. Н. Медведева — *ГПБ*, ф. 474, альб. 2, л. 374—376, 379—380.

Рецензенты *С* на редкость единодушны; признавая высокое мастерство, даже «ювелирность слова» Мандельштама, все они полагают, что поэт прошел мимо революции и современности: «При всей своей тематической окаменелости, он является выдающимся поэтом,— пишет В. Василенко,— и наш пишущий стихи молодняк может и должен поучиться форме, обращению со словом и высокой культуре стиха у этого испытанного, влюбленного в свое дело мастера» (Известия, 1928, 6 июля). По Н. Степанову, любимой темой Мандельштама является слово, поэтические поиски, «наслаждение звуковой природой слова», и этом смысл — «самостоятелен для каждого стиха. Многие... можно читать с конца к началу» (Звезда, 1928, № 6, с. 123—124). Как и Н. Степанов, М. Рудерман указывал на черту между акмеистическим «Камнем» и более поздними стихами: несмотря на то, что творчество поэта идет «по линии реалистического показа действительности», *С* — это «интересное, значительное, но уже минувшее явление русской поэзии» (*НМ*, 1928, № 8, с. 222—223). По В. Груберту, Мандельштам «отгораживает себя от всего, что могло бы отвлечь от философского, но пышного стоицизма его творчества... Революция вызвала только эстетическое ощущение колоссального поворота, и поэт спокойно прошел через нее...» (Читатель и писатель, 1928, № 46, 18 ноября). Год спустя А. Манфред уже называет Мандельштама «насквозь буржуазным поэтом», представителем «крупной, вполне уже европеизированной» и «весьма агрессивной» буржуазии: «Мандельштам принял революцию не враждебно. Он не отнесся к ней отрицательно, но и не слился с ней» (Книга и революция, 1929, № 15-16, с. 20—22). На этом фоне резко выделяется отзыв Пастернака, писавшего Мандельштаму 24 сентября 1928 г.: «Вчера достал Вашу книгу. Какой Вы счастливый, как можете гордиться соименничеством с автором: ничего равного или подобного ей не знаю! Все эти стихи, кроме разве рассвета с чернецами в сенцах — знал, но и без того они росли и вырастали при каждом новом чтеньи, а тут — перечитка капитальная, с ведома автора и при беглом его участии, и что это за устыжающее наслажденье!.. Я и не рассчитывал говорить о книге. Совершенство ее и полновесность — изумительны, и эти строки — одно лишь восклицанье восторга и смущенья» (*ВЛ*, 1972, № 9, с. 162, публ. Е. В. Пастернак).

В составе *С* три раздела — «Камень», «Tristia» и «1921—1925». Эта композиция воспроизведена и в наст. изд. (вслед за *БП*, третья часть названа «Стихи 1921—1925 гг.»). Однако, пропущенный через цензур-

ные и автоцензурные фильтры, *С* отражает авторскую волю лишь в самых общих чертах. Ст-ния, определенно отброшенные самим Мандельштамом, перенесены в раздел «Стихотворения разных лет», сюда же введены ст-ния, входившие в авт. сборники, но отсутствующие в *С*. Переводы старофр. эпоса «Сыновья Аймона» и начала «Федры» Ж. Расина помещены в раздел «Переводы» во 2-м томе. Ст-ния выстроены в хронологическом порядке (с учетом композиции авт. сборников). Выбор источника текста осуществляется для каждого ст-ния в отдельности: предпочтение, как правило, отдается автографам и поздним публикациям. Даты, за исключением особо оговоренных случаев, даются по выбранному источнику текста. Отсутствие дат под источниками текста специально не оговаривается. В наст. изд. восстановлены полные тексты ст-ний «Кассандре» и «В хрустальном омуте какая крутизна...», а также посвящения Н. Гумилеву, Г. Иванову и М. Лозинскому.

Полный свод рукописей ст-ний 1908—1915 гг. не сохранился. Более или менее значительные собрания таких автографов имеются, кроме *AM*, в *АА, АВ, АЛ,* а также *ЦГАЛИ*.

Камень

«Звук осторожный и глухой...» (с. 66).— *К-16,* с. 5. *К-16(Ав.). К-23,* с. 3. *С,* с. 5. *БП,* № 1. Печ. по *С*.

«Сусальным золотом горят...» (с. 66).— *К-16,* с. 6 (без строфы 2). *К-23,* с. 4. *С,* с. 6. *БП,* № 2. Печ. по *С*.

«Только детские книги читать...» (с. 66).—Альм. «Ковчег». Феодосия, 1920, с. 12. *Т,* с. 42. *К-23,* с. 5. *С,* с. 7. *БП,* № 3. Печ. по *С*.

Но люблю мою бедную землю.—Ср. ст-ние Ф. Сологуба «Я люблю мою темную землю...» (1896).

«Нежнее нежного...» (с. 67).— *К-16,* с. 8. *К-23,* с. 6. *С,* с. 8. *БП,* № 4. Авториз. список с датой «1909» — *AM.* Печ. по *С*.

По свидетельству Е. Э. Мандельштама, посвящено одной из сестер Кушаковых, родственников Мандельштама в Выборге *(АЕМ)*.

«На бледно-голубой эмали...» (с. 67).—Альманахи стихов, выходящие в Петрограде. Вып. I. 1915, с. 24; *К-16,* с. 9; *К-16 (Ав.)*—все с разночт. в ст. 7: «Как на фаянсовой тарелке». *К-23,* с. 7. *С,* с. 9. *БП,* № 5. Автограф, с датой «1909», с тем же разночт. в ст. 7,— *АА*. Печ. по *С*.

«Есть целомудренные чары...» (с. 68).— *К-16,* с. 10. *К-23,* с. 8. *С,* с. 10. *БП,* № 6. Печ. по *С*.

«Дано мне тело—что мне делать с ним...» (с. 68).— Аполлон, 1910, № 9 (июль—август), с. 6, с разночт. в ст. 1: «Имею тело: что мне делать с ним» и ст. 11: «Пока мгновения стекает муть». *К-13,* с. 1, под загл. «Дыхание». *Избр. стихи,* с. 245, под загл.— «Дыхание». *К-16,* с. 11. *К-23,* с. 9. *С,* с. 11. *БП,* № 7. Печ. по *С*.

О «поэтической зависти», вызванной этими стихами,— см.: *Иванов,* с. 351.

«Невыразимая печаль...» (с. 69).—Аполлон, 1910, № 9 (июль—

август), с. 7, с разночт. в ст. 11: «И упоительно живая». *К-13,* с. 3, с разночт. в ст. 11: «И потянулась, оживая». *К-16,* с. 12. *К-16(Ав.),* с возвращением к тексту *К-13* и добавлением ст. 11а: «Полупрозрачная, живая». *К-23,* с. 10. *С,* с. 12. *БП,* № 8. Печ. по *С.*

«Ни о чем не нужно говорить...» (с. 69).— *К-16,* с. 14. *К-23,* с. 3. *С,* с. 14. *БП,* № 9. В *АМ*—автограф, с пометой: «Heidelberg, декабрь 1909» и со вставкой после ст. 2:

Ибо, если смысла в жизни нет,
Говорить о жизни нам не след.

Я еще довольно сердцем дик.
Скучен мне понятный наш язык.

Печ. по *С.*

«Когда удар с ударами встречается...» (с. 70).— Аполлон, 1911, № 5, с. 34; *К-16,* с. 13; *К-23,* с. 12; автограф *(АМ),* с датой «1910»,—везде с заключительной строфой 4 (отброшено в *НР-28*):

И вереница стройная уносится
С весенним трепетом, и вдруг—
Одумалась и прямо в сердце просится
Стрела, описывая круг.

С, с. 15. *БП,* № 10. Печ. по *С.*

«Медлительнее снежный улей...» (с. 70).— Аполлон, 1910, № 9, с. 5, с опечаткой в ст. 1: «спешный улей». *К-13,* с. 4. *Избр. стихи,* с. 247. *К-16,* с. 15. *К-16(Ав.),* с исправлением ст. 5: «Измучена голубизной», причем во 2-м экз-ре строфа 2 зачеркнута. *К-23,* с. 14. *С,* с. 15. *БП,* № 11. Авториз. машинопись, с датой «1910»,— *АМ.* Печ. по *С.*

Silentium (с. 70).— Аполлон, 1910, № 9, с. 7, без загл. *К-13,* с. 2. *Избр. стихи,* с. 244. *К-16,* с. 16; *К-16(Ав.); К-23,* с. 14; *С,* с. 17; авториз. машинопись, без загл. и с датой «1910»,—везде с разночт. в ст. 8: «В мутно-лазоревом сосуде». Печ. по *БП,* № 11, где учтена авторская поправка 1935 г.

Ст-ние тесно связано с «Silentium!» Ф. И. Тютчева и «Art poétique» П. Верлена.

«Слух чуткий парус напрягает...» (с. 71).— Северные записки, Пг., 1913, № 9, с. 6, где начальной строфой было:

Душа устала от усилий,
И многое мне все равно.
Ночь белая, белее лилий,
Испуганно глядит в окно.

В *К-16,* с. 17,—без этой строфы и без строфы 1. Страницы лирики. Избранные стихотворения современных русских поэтов. Симферополь, 1920, с. 39 (по *К-16*). *К-23,* с. 16. *С,* с. 18. *БП,* № 13. Авториз. список

первопечатного текста, с разночт. в ст. 11: «таинственный и странный»,— *АМ.* Печ. по *С.*

И призрачна моя свобода.— Ср. у Ф. Тютчева в ст-нии «Певучесть есть в морских волнах...» (1865): «Лишь в нашей призрачной свободе...» *Твой мир, болезненный и странный.*—Ср. у Ф. Тютчева в ст-нии «О вещая душа моя!..» (1855): «Твой день—болезненный и странный...»

«Как тень внезапных облаков...» (с. 71).—Аполлон, 1911, № 5, с. 33, где строфа 3 в следующей редакции:

И лодка, волнами шурша,
Как листьями,—уже далеко,
И, принимая ветер рока,
Раскрыла парус свой душа.

В отдельные издания «Камня» не входило. *С,* с. 19. *БП,* № 14. Автограф первоначальной редакции, с разночт. в ст. 11: «И, как почуяв ветер рока»,—собр. Е. Г. Эткинда. Автограф той же редакции— *АВИ,* письмо В. И. Иванову от 5/18 августа 1910 г. Авториз. машинопись первопечатной редакции, с датой «1910», а также фрагмент *НР-28*—автограф окончательной редакции,—с датой «1910» и с разночт. в ст. 11: «И, чуя приближенье рока»,—в альбоме П. Н. Медведева (*ГПБ,* ф. 474, альб. 2, л. 376). Печ. по *С.*

«Из омута злого и вязкого...» (с. 72).—Аполлон, 1911, № 5, с. 33, с еще одной (заключительной) строфой:

Ни сладости в пытке не ведаю,
Ни смысла я в ней не ищу;
Но близкой, последней победою,
Быть может, за все отомщу.

В отдельные издания «Камня» не входило. *С,* с. 20. *БП,* № 15. Автограф окончательной редакции—фрагмент *НР-28*—в альбоме П. Н. Медведева (*ГПБ,* ф. 474, альб. 2, л. 375, с пометой: «После «Как тень внезапных облаков...»). Печ. по *С.*

Я вырос тростинкой, шурша.—Ср. «мыслящий тростник» в ст-нии Тютчева «Певучесть есть в морских волнах...» (1865). Образ восходит к афоризму Б. Паскаля, гласящему, что человек—лишь тростинка, слабейшее из творений природы, но тростинка мыслящая. См. также вступ. статью.

«В огромном омуте прозрачно и темно...» (с. 72).— Аполлон, 1911, № 5, с. 32. *К-16,* с. 18. 88 современных стихотворений, избранных З. Н. Гиппиус. Пг., 1917, с. 67. *К-23,* с. 17. *С,* с. 21. *БП,* № 16. Авториз. машинопись с датой «1910»—*АМ.* Печ. по *АМ.*

«Душный сумрак кроет ложе...» (с. 73).—*К-16,* с. 19. *БП,* № 234. Печ. по *К-16.*

«Как кони медленно ступают...» (с. 73).—*К-16,* с. 20. *К-23,* с. 18. *С,* с. 22. *БП,* № 17. Печ. по *С.*

«Скудный луч, холодной мерою...» (с. 73).— Лит. альманах (кн-во «Аполлон»). СПб., 1912, с. 40 (вышел в ноябре 1911, повторен в 1914). *К-13,* с. 8. Златоцвет, 1914, № 10, с. 6. *К-16,* с. 21. *К-23,* с. 19. *С,* с. 23. *БП,* № 18. Печ. по ж. «Златоцвет».

«Воздух пасмурный влажен и гулок...» (с. 74).— Златоцвет, Пг., 1914, № 1, с. 7; *К-16,* с. 22; *К-16(Ав.); К-23,* с. 20; *С,* с. 24,— везде с разночт. в ст. 8: «И невинен, что я одинок!» *БП,* № 19, где дается по авт. экз. *С* с поправкой в ст. 8, датированной 28 августа 1935 г. Печ. по ж. «Златоцвет», с учетом поправки.

«Сегодня дурной день...» (с. 75).— Гиперборей, 1912, № 1 (октябрь), с. 21—22. *К-13,* с. 12. *Избр. стихи,* с. 248. *К-16,* с. 23. *К-23,* с. 21. *С,* с. 25. *БП,* № 20. Печ. по *К-16.*

Об авт. чтении этого ст-ния см.: Бернштейн С. И. Стих и декламация.— Русская речь, Л., 1927, вып. 1, с. 29, 32, 37. Это ст-ние ценил В. Маяковский, тем не менее С. Кирсанов счел возможным «процитировать» его в 1935 (!) г. в «Поэме о роботе» в качестве образца «автоматической» лирики робота (Кирсанов С. Поэма о роботе. М., 1935, с. 11).

«Смутно-дышащими листьями...» (с. 75).— *К-13,* с. 5. *К-16,* с. 24. *К-23,* с. 22. *С,* с. 26. *БП,* № 21. Автограф (на обороте автографа ст-ния «Когда подымаю...») с вариантом (отброшенным) в ст. 1: «Умирающими листьями» — *АМ.* Печ. по *С.*

«Отчего душа так певуча...» (с. 76).— Гиперборей, 1912, № 1 (октябрь), с. 20, с разночт. в ст. 10: «Ты ушел в морские края». *К-13,* с. 6. *К-16,* с. 25. *К-16(Ав.). К-23,* с. 23. *С,* с. 27. *БП,* № 22. Печ. по *С.*

Раковина (с. 76).— *К-13,* с. 7, без загл. *К-16,* с. 26. *К-16(Ав.). К-23,* с. 24. *С,* с. 28. *БП,* № 23. Печ. по *К-16.*

«На перламутровый челнок...» (с. 77).— Сб. «Пьяные вишни». 2-е изд. Севастополь, 1920, с. 7, под загл. «О пальцы гибкие!..». *К-16(Ав.),* в виде автографа, с пометой: «Набирать после «Медлительнее снежный улей». *Т,* с. 48, без даты. *К-23,* с. 11. *С,* с. 13, без указания даты (среди ст-ний 1909); в *НР-28* авт. помета: «В «Камень», после «Невыразимая печаль». *БП,* № 24. Авториз. машинопись, с датой «16.XI.1911», с отброшенным вариантом ст. 3—4: «О пальцы гибкие, спешите // Исполнить царственный урок!»,— *АМ.* Список С. П. Каблукова — *К-16(Кабл.).* Авториз. машинопись — *ЦГАЛИ,* ф. 1893, оп. 1, ед. хр. 1, л. 3. Печ. по сб. «Пьяные вишни», без загл. Судя по авт. пометам в *К-16(Ав.)* и *НР-28,* помещение этого ст-ния в *С* вопреки хронологии и без даты не было случайным.

«О, небо, небо, ты мне будешь сниться...» (с. 77).— Северные записки, СПб., 1913, № 9, с. 6, как строфа 2 ст-ния «Качает ветер тоненькие прутья...» (см. Приложения). Как отдельное ст-ние — *К-16,* с. 27; *К-23,* с. 25; *С,* с. 29. *БП,* № 24. Авториз. список первопечатного текста с датой «24 ноября 1911» — *АМ.* Печ. по *С.*

«Я вздрагиваю от холода...» (с. 77).— Гиперборей, 1912, № 1 (октябрь), с. 22; *К-16,* с. 28; *К-23,* с. 26; *С,* с. 30,— везде со след. редакцией строфы 4:

Что, если, над модною лавкою
Мерцающая всегда,
Мне в сердце длинной булавкою
Опустится вдруг звезда.

БП, № 26, где строфа 4 дается по авт. экз. *С*, с поправками, внесенными в 1937 г. Автограф первопечатного текста, с датой «1912»,— *AM*. Печ. по *БП*.

«Я ненавижу свет...» (с. 78).— *К-13*, с. 15. *К-16*, с. 29. *К-16(Ав.)*. *К-23*, с. 27. *С*, с. 31. *БП*, № 27. Автограф, с датой «1912», с разночт. в ст. 10: «Тяжесть мне дай крыла» и отброшенным вариантом ст. 5—6: «Мстителем, камень, будь, // Кружевом острым стань»,— *AM*. Печ. по *С*.

Ср. «Утро акмеизма» (II, 142—143).

«Образ твой, мучительный и зыбкий...» (с. 78).— Гиперборей, 1912, № 1 (октябрь), с. 21. *К-13*, с. 9. *К-16*, с. 30. *К-16(Ав.)*. 88 современных стихотворений, избранных З. Н. Гиппиус. Пг., 1917, с. 13. Альм. «К искусству!», Феодосия, 1920, № 2, с. 11. Страницы лирики. Избранные стихотворения современных русских поэтов. Симферополь, 1920, с. 40. *БП*, № 28. Автограф с датой «апрель 1912» — *AM*. Печ. по автографу.

«Нет, не луна, а светлый циферблат...» (с. 79).— *К-13*, с. 14. *К-16*, с. 31. *К-16(Ав.)*, где это ст-ние, вычеркнутое М. В. Аверьяновым, восстановлено автором с приложением записки: «Очень просил бы Михаила Васильевича согласиться со мной относительно «Батюшкова», о котором я много думаю. Пусть это будет по-моему, не возбуждая спора». *К-23*, с. 29. *С*, с. 33. *БП*, № 29. Автограф, подаренный К. И. Чуковскому 15 июля 1914 г.,— Чукоккала. Рукописный альманах Корнея Чуковского. М., 1979, с. 56. Печ. по автографу.

Н. Гумилев в отзыве на *К-16* отмечал это ст-ние как переломное и фиксирующее внутренний переход от символизма к акмеизму (Аполлон, 1916, № 1, с. 31). Не подлежит сомнению его программный характер. *А он ответил любопытным: вечность!*— Сходный эпизод зафиксирован в «Записке о болезни надворного советника К. Д. Батюшкова» его лечащего врача А. Дитриха (опубл. на немецком языке в приложении к 1-му тому сочинений К. Батюшкова, СПб., 1887, с. 342,— сообщ. А. В. Зориным). В неопубликованном тексте «Дневника» А. Дитриха ситуация еще более напоминает описанную Мандельштамом; там же встречается и выражение «слабые звезды» — из доклада В. А. Кошелева на I Мандельштамовских чтениях в Москве в феврале 1988 г.

Пешеход (с. 79).— *К-13*, с. 13, без посвящения. *К-16*, с. 32. *К-16(Ав.)*. *К-23*, с. 30, без загл. и посвящения. *С*, с. 34, без посвящения (снято в *Корф.-28*) и с опечаткой в ст. 10: «листвах». *БП*, № 30. Печ. по *К-16*.

Лозинский Михаил Леонидович (1886—1955) — поэт и переводчик, близкий друг Мандельштама, участник «Цеха поэтов», владелец изд-ва «Гиперборей» и редактор одноименного журнала.

Казино (с. 79).— Гиперборей, 1912, № 3 (декабрь), с. 9, без загл.

К-13, с. 16. *К-16,* с. 33, без даты. *К-23,* с. 31. *С,* с. 35. *БП,* № 31. Автограф с датой «май 1912» — *АЛ.* Печ. по *С.*

«Паденье — неизменный спутник страха...» (с. 79).— Гиперборей, 1913, № 8 (октябрь), с. 23. *К-16,* с. 34. *К-16(Ав.). БП,* № 244. Автограф — *АЛ.* Печ. по *К-16.*

Ср. ст-ние Тютчева «Problème» (1833).

Золотой (с. 80).— *К-13,* с. 19—20. *К-16,* с. 37—38. *К-16(Ав.). К-23,* с. 32. *С,* с. 36—37. *БП,* № 32. Автограф с датой «1912» — *АМ.* Печ. по автографу.

В *Корр.-28* слово «японцы» (ст. 9) подчеркнуто красным карандашом цензора и с таким же знаком вопроса на полях.

Царское Село (с. 81).— *К-13,* с. 17—18; *К-16,* с. 35—36, с разночт. в ст. 2: «рьяны» (заменено по требованию военной цензуры — см.: Цветаева М. Проза. Нью-Йорк, 1953, с. 280; Царское Село в поэзии. СПб., 1922, с. 44, без посвящения — везде со след. редакцией ст. 2—4:

Свободны, ветрены и пьяны,
Там улыбаются уланы,
Вскочив на крепкое седло...

Корр.-28, с разночт. в ст. 8: «И рявкнут»,— вслед за ст-нием «Золотой» (в *НР* и *С* отсутствует, снято, очевидно, цензурой). *БП,* № 245, где дается по авториз. списку 1927 г. (собр. Е. М. Глинтерн). В *АМ* — два автографа: строф 1—4 первоначальной редакции, без посвящения и с разночт. в ст. 8: «И звонкого «ура» раскаты» и ст. 14—15: «Читая Твэна и Дюма. // Одноэтажные дома...» и строф 1, 2 и 5 (частично), с посвящением Георгию Иванову, разночт. в ст. 8 (см. выше) и 21—25.

Бесшумно, в царство этикета,
Плывет дворцовая карета
С мощами фрейлины седой...
[Там] Вдоль по торцовой мостовой...

Печ. по *БП.*

Отказ от первоначальной редакции, возможно, имеет политический подтекст (см.: *Швейцер-82,* с. 235), но скорее это связано с исправлением двух неточностей в ст. 3—4 — грамматической (нельзя сказать: «на» седло) и фактической: уланы не квартировали в Царском — см. об этом также: *Ахматова,* с. 199.

Лютеранин (с. 82).— Гиперборей, 1913, № 5 (февраль), с. 23—24, третьим в цикле со ст-ниями «Петербургские строфы» и «В душном баре иностранец...» (см. «...Дев полуночных отвага...»). *К-13,* с. 27—28. *К-16,* с. 39—40. *К-16(Ав.). К-23,* с. 33—34, и *С,* с. 38—39, с опечаткой в ст. 13: «черной лентой». *БП,* № 33. Автограф — *АЛ.* Печ. по *К-16.*

Ср. ст-ния Тютчева «Я лютеран люблю богослуженье...» (1834) и «И гроб опущен уж в могилу...» (1835). См. *Тоддес,* с. 12.

Айя-София (с. 83).— Аполлон, 1913, № 3, с. 37—38; *К-13,* с. 29—30; *К-16,* с. 41—42; *К-16(Ав.)* — везде с разночт. в ст. 5: «И всем

пример — года Юстиниана» и ст. 9: «Куда ж стремился твой строитель щедрый». *К-23*, с. 35. *С*, с. 40—41. *БП*, № 34. Печ. по *К-16.*

Вместе со ст-нием «Реймс и Кельн» ст-ние было прочитано автором на вечере «Писатели — воинам» в Александровском зале Петроградской думы, данном 25 января 1915 г. в пользу Лазарета деятелей искусств (с участием А. Блока, Ф. Сологуба, А. Ахматовой и др.). *Айя-София* — храм св. Софии, построенный в Константинополе в 532—537 гг. в царствование византийского императора Юстиниана, повелевшего установить в нем колонны из храма Дианы (Артемиды) в Эфесе — одного из семи «чудес света» древности. *Апсиды* — полукруглые выступы для алтарей и смежных помещений. *Экседры* — полукруглые ниши. *Паруса* — треугольные сферические своды, держащие купол (впервые применены в храме св. Софии). *И мудрое сферическое зданье // Народы и века переживет.* — После завоевания Константинополя турками в храме св. Софии устроена мечеть.

Notre Dame (с. 83). — Аполлон, 1913, № 3, с. 38. *К-13*, с. 31. *Избр. стихи*, с. 246. *К-16*, с. 43. *К-16(Ав.). К-23*, с. 36, без загл. (отсутствует в оглавлении). *С*, с. 42. *БП*, № 35. В *АМ* — автограф с датой «1912»; к нему на отдельном листке приложен вариант строфы 1:

Ажурных галерей заманчивый пролет —
И, жилы вытянув и напрягая нервы,
Как некогда Адам, таинственный и первый,
Играет мышцами крестовый легкий свод.

Печ. по автографу.

Это ст-ние — своего рода стихотворный манифест, перекликающийся с «Утром акмеизма» (II, 144). Как о декларации нового отношения к поэтическому слову о нем писал С. Городецкий (в статье «Музыка и архитектура в поэзии». — Речь, 1913, 17 июня) и др. критики. См. также: Завадская Е. Поэт и искусство. — Творчество, 1988, № 6, с. 1—2). *Контрфорсы* — вертикальные выступы, укрепляющие несущую конструкцию. *Где римский судия...* — Имеется в виду римское владычество в Галлии; по традиции, высшие судебные органы Франции находятся на о. Ситэ вблизи Notre Dame.

Старик (с. 84). — *К-13*, с. 21—22; *К-16*, с. 44—45; *К-16(Ав.); К-23*, с. 37—38; *С*, с. 43—44 — первоначальная редакция. *БП*, № 37, где дается без предпоследней строфы, вычеркнутой в авт. экз. *С* в 1937 г.:

Так, соблюдая день субботний,
Плетется он, когда
Глядит из каждой подворотни
Веселая беда

(«беда» — исправлено в *С* (введено в *Корф.-28*); в предыдущих изд. — «нужда»). Печ. по *БП.*

Старик, похожий на Верлэна. — Ср. у А. Блока в драме «Незнакомка» (1906), видение первое: «У одного окна, за столиком сидит пьяный

старик — вылитый Верлэн». Верлен Поль (1844—1896) — французский поэт, внешне похожий на скульптурное изображение древнегреческого философа Сократа, жена которого была известна своей сварливостью.

Петербургские строфы (с. 84).— Гиперборей, 1913, № 5 (февраль), с. 21—22, первым в цикле со ст-ниями «В душном баре иностранец...» (см. «...Дев полуночных отвага...») и «Лютеранин», без посвящения; *К-13,* с. 23—24; *Избр. стихи,* с. 246; *К-16,* с. 46—47; *К-16 (Ав.); К-23,* с. 39—40; и Петербург в стихотворениях русских поэтов. Берлин, 1923, с. 47,— везде с разночт. в ст. 11: «крепкая порфира». *С,* с. 45, без посвящения (см. в преамбуле). *БП,* № 38. Автограф первоначальной редакции, без посвящения — *АЛ.* То же, с датой «январь 1913» и разночт. в ст. 5: «Оснежены, зимуют мачты, блоки...» — *АИ.* Автограф строфы 1 — собр. М. С. Лесмана. Печ. по *Корф.-28,* с восстановлением посвящения, снятого редактором.

Гумилев Н. С. (1886—1921) — поэт и переводчик, глава группы акмеистов и синдик «Цеха поэтов», близкий друг Мандельштама. «Я обладаю способностью вести воображаемую беседу только с двумя людьми: с Николаем Степановичем и с Вами. Беседа с Колей не прерывалась и никогда не прервется»,— из письма Мандельштама Ахматовой 25 августа 1928 г. в годовщину расстрела Гумилева *(АПЛ). Чудак Евгений* — герой поэмы Пушкина «Медный всадник».

«Здесь я стою — я не могу иначе...» (с. 85).— *С,* с. 47. *БП,* № 39. Автограф, с датой «1913» и пометой: «После «Петербургские строфы»,— *НР-28,* л. 59. Список С. П. Каблукова, под загл. «Лютер в Вормсе» и с датой «1915»,— *К-16(Кабл.).* Печ. по *НР-28.*

«Здесь я стою — я не могу иначе...» — точный перевод эпиграфа; ответ Мартина Лютера (1483—1546), великого деятеля Реформации,— на предложение Вормского сейма (1521) отречься от «ереси». *Купол Петра* — собор св. Петра в Риме, главный католический храм.

«...Дев полуночных отвага...» (с. 85).— Гиперборей, 1913, № 3 (февраль), с. 22—23, вторым в цикле со ст-ниями «Петербургские строфы» и «Лютеранин»; *К-13,* с. 25—26,— в обоих случаях начиналось строфой:

В душном баре иностранец,
Я нередко, в час глухой,
Уходя от тусклых пьяниц,
Становлюсь самим собой.

К-16, с. 48. *К-23,* с. 41. *С,* с. 48. *БП,* № 40. Автограф первоначальной редакции — *АЛ.* Печ. по *С.*

Выстрел пушечный с Невы. — Выстрел с Петропавловской крепости ежедневно возвещал полдень, внеурочный выстрел предупреждал о наводнении.

Бах (с. 86).— Гиперборей, 1913, № 9-10 (ноябрь — декабрь), с. 31, вторым в цикле со ст-ниями «Анне Ахматовой» (см. «Ахматова») и «Мы напряженного молчанья не выносим...». *К-16,* с. 49—50. *К-16(Ав.). К-23,* с. 43—44. *С,* с. 49—50. *БП,* № 41. Автографы — *АЛ* и *АМ.* Печ. по *К-16.*

Ср. статью «Утро акмеизма» (II, 145). *Ликуешь, как Исайя.*—«Исайя, ликуй»—церковное песнопение, исполняемое при венчании. *И доски вместо образов*—аллюзия подчеркнутой простоты убранства протестантских храмов. *Мелом... цифры значатся псалмов*—характерная деталь протестантских храмов: запись псалмов, исполняющихся в данный день.

«В спокойных пригородах снег...» (с. 87).—Рубикон, 1914, № 3 (14 февраля), с. 10, под загл. «Чайная». *К-16,* с. 51. *К-23,* с. 44. *С,* с. 51. *БП,* № 42. Автограф с датой «1913»—*AM.* Печ. по *С.*

«Мы напряженного молчанья не выносим...» (с. 88).— Гиперборей, 1913, № 9-10 (ноябрь—декабрь), с. 32, третьим в цикле со ст-ниями «Анне Ахматовой» (см. «Ахматова») и «Бах». *К-16,* с. 52,и *К-23,* с. 45,—везде с разночт. в ст. 12: «Чтоб горло повязать, я не имею шарфа!» *С,* с. 52, с пропуском ст. 12. *БП,* № 36, с датой «1912», где текст дается по авт. экз. *С* с исправлением в ст. 12, внесенным 2 января 1937 г. Автографы первоначальной редакции—*АА,* с датой «1912», и *АЛ.* Печ. по *БП,* дата по *С.*

Кошмарный человек—по предположению Н. И. Харджиева, друг Мандельштама поэт Владимир Алексеевич Пяст (Пестовский) (1886—1940), поклонник творчества Эдгара По, с 1913 г. читавший его стихи по-английски в концертах (см. в автобиографии В. Пяста—*ЦГАЛИ,* ф. 405, оп. 1, ед. хр. 20). *«Улялюм»*—стихотворение Э. По. *Дом Эшеров.*— См. новеллу Э. По «Падение дома Эшеров».

«Заснула чернь. Зияет площадь аркой...» (с. 88).—*БП,* № 258. Автограф, с отброшенным загл. «Дворцовая площадь» и датой «1913»,—*АА.* Автограф с датой «1913»—*К-16(Кабл.).* Автограф с датой «12 мая 1913 г.»—в архиве А. И. Тинякова (*ЦГАЛИ,* ф. 1309, оп. 1, ед. хр. 31). Ст-ние было изъято цензурой из *К-16* (см. в преамбуле, с. 448). Печ. по *ЦГАЛИ.*

Арлекин—здесь: Павел I. *Александр*—Александр I (ср. в ст-нии «Кассандре», где смысловое ядро «Александра» смещено от Александра I к Пушкину).

Адмиралтейство (с. 88).—Аполлон, 1914, № 10 (декабрь), с. 8. *К-16,* с. 53. *К-16(Ав.). К-23,* с. 43. *С,* с. 53. *БП,* № 43. Автограф—*АЛ.* Автограф с датой «май 1913»—*AM;* в нем строфы 3 и 4 следовали в обратном порядке и имелась следующая заключительная строфа:

Живая линия меняется, как лебедь.
Я с Музой зодчего беседую опять.
Взор омывается, стихает жизни трепет:
Мне все равно, когда и где существовать!

Г. Иванов вспоминал, что первая (а судя по контексту—последняя.—*П. Н.*) строфа, начинавшаяся словами: «Так музой зодчества был вскормлен мудрый лебедь»,—была уничтожена «по общему цеховому согласию» из-за ее близости к символизму (Новый журнал, Нью-Йорк, 1955, т. 43, с. 275). Печ. по ж. «Аполлон», дата по *К-16.*

Адмиралтейство—здание морского министерства, перестроенное в 1806—1823 гг. по проекту арх. А. Д. Захарова. Ср. два ст-ния «Адми-

ралтейство» (1915) в кн. Б. Лившица «Кротонский полдень» (1928, с. 82—83). *Нам четырех стихий приязненно господство.*— Под шпилем Адмиралтейства помещены 28 статуй — аллегории стихий, времен года, стран света. *Медузы*— здесь:деталь оформления фасада Адмиралтейства.

«В таверне воровская шайка...» (с. 88).— Гиперборей, 1913, № 8 (октябрь), с. 24. *К-16,* с. 54. *К-23,* с. 47. *С,* с. 54. *БП,* № 44. Автограф — *АЛ.* Автограф, под загл. «Таверна», с разночт. в ст. 12: «Часов просеянный песок...» — *АМ.* Печ. по *К-16.*

Химеры— скульптуры фантастических чудовищ на верхней балюстраде собора Парижской Богоматери.

Кинематограф (с. 89).— Новый Сатирикон, 1914, № 22, 29 мая, с. 7. *К-16,* с. 55—56. *К-16(Ав.). К-23,* с. 48—49. *С,* с. 55—56. *БП,* № 45. Печ. по *С.*

В ст-нии дается обобщенно-типичный сюжет авантюрно-великосветского фильма времен немого кинематографа. Как на наиболее узнаваемый прототип Н. М. Зоркая указывает на ленту братьев Патэ «Шпионка» (Искусство кино, 1988, № 3, с. 79—86). Ср. ст-ние С. Я. Маршака «В кинематографе» (1908). *Гитана*— цыганка.

Теннис (с. 90).— За 7 дней, 1913, № 20, с. 432, с тремя отброшенными заключительными строфами,— см. Приложения. Новый Сатирикон, 1914, № 24, 12 июня, с. 3. *К-16,* с. 57—58. *К-16(Ав.). К-23,* с. 50—51. *С,* с. 57—58. *БП,* № 46. Автограф с датой «1913» — *ЦГАЛИ,* ф. 1893, оп. 2, ед. хр. 4, л. 1—2. Печ. по *С.*

Аттический— здесь: древнегреческий. *Сирень бензином пáхнет.*—Ср. у Ахматовой в ст-нии «Прогулка» (1913): «Бензина запах и сирени».

Американка (с. 91).— *К-16(Ав.)* (в оглавлении). Сб. «Пьяные вишни». 2-е изд., Севастополь, 1920, с. 7. Корр. гранки невышедшего номера журнала «Рудин», 1916, № 9,— в архиве Л. М. Рейснер (*ГБЛ,* ф. 245, к. 6, ед. хр. 6). *Т,* с. 54, без загл. *К-23,* с. 52. *С,* с. 59. *БП,* № 47. Печ. по *С.*

«Титаник»— знаменитый английский пароход, погибший в 1912 г. во время своего первого рейса через Атлантику,— символ немощи цивилизации. *Крипт* (крипта) — подземелье, под храмом. *Людовик*— традиционное имя французских королей.

«Отравлен хлеб, и воздух выпит...» (с. 91).— Новая жизнь, 1914, № 1, с. 6. *К-16,* с. 61. *К-16(Ав.). К-23,* с. 55. *С,* 62. *БП,* № 48. Автографы — *АМ* (с датой «1913»), альбом Ю. И. Юркуна (с датой «1913») — альбом Л. А. Глезера, сообщ. А. Е. Парнисом, и собр. Ю. Ф. Львовой (*ГПБ*— сообщ. А. А. Смольевским). Печ. по *АМ.*

По мнению В. Я. Мордерер, ст-ние является прямым откликом поэта на «дело Бейлиса» (октябрь — ноябрь 1913 г.)

Домби и сын (с. 92).— Новый Сатирикон, 1914, № 7, 13 февраля, с. 6. *К-16,* с. 59—60. *К-23,* с. 53—54. *С,* с. 60—61. В *К-16* и *С*— с датой «1913». *БП,* № 49, с датой «1914». Автограф с датой «1914» — *ЦГАЛИ,* ф. 1893, оп. 2, ед. хр. 4, л. 3—4. Печ. по автографу.

Ст-ние пронизано общей образностью романов Ч. Диккенса, прежде всего «Домби и сын» и «Оливер Твист». См.: *Гинзбург,* с. 369, а также вступ. статью.

Валкирии (с. 92).— *К-16*, с. 62. *К-16(Ав.)*. *К-23*, с. 56. *С*, с. 63. В *К-16* и *С*—с датой «1913». *БП*, № 50, с датой «1914». Автограф, под загл. «Валкирии» и с датой «1914»,— *АМ*. Печ. по автографу.

Валкирии (валькирии) (сканд. миф.)—бессмертные девы-воительницы, дарующие победу и уносящие павших героев в Валгаллу—царство мертвых. *Гайдуки*—здесь: выездные лакеи. *Громоздкая опера*—опера Р. Вагнера «Валькирия» (2-я часть музыкально-драматической тетралогии «Кольцо нибелунга»).

«...На луне не растет...» (с. 92).— *С*, с. 65. *БП*, № 51. Автограф с датой «1914» —фрагмент *НР-28*—в альбоме П. Н. Медведева (*ГПБ*, ф. 474, альб. 2, л. 374). Автограф более широкой редакции, под загл. «Приглашение на луну», с датой «1914», и авториз. список под загл. «У меня на луне», с датой «1914—1927»,— *АИ* (см. Приложения). Печ. по *С*.

Ахматова (с. 93).— Гиперборей, 1913, № 9—10 (ноябрь—декабрь; фактически—февраль 1914 г.), с. 30, под загл. «Анне Ахматовой», первым в цикле со ст-ниями «Бах» и «Мы напряженного молчанья не выносим...». *К-16*, с. 64; *К-16(Ав.)* и *К-23*, с. 57—под загл. «Ахматова» (в *К-16(Ав.)* исправлено на «Анна Ахматова»). *С*, с. 66, без загл. (загл. зачеркнуто в *Корф.-28*). *БП*, № 52. Список (рукой М. Л. Лозинского?) с посвящением Анне Ахматовой и датой «7 января 1914»—*АЛ*. Автограф с посвящением Анне Ахматовой—в альбоме А. Ахматовой (*ЦГАЛИ*, ф. 13, оп. 1, ед. хр. 175). По сообщ. В. М. Жирмунского, имелся первоначальный вариант ст. 7: «Так отравительница Федра» (*Гинзбург*, с. 369). Печ. по *К-23*.

Ст-ние написано в кабаре «Бродячая собака». «Я стояла на эстраде и с кем-то разговаривала. Несколько человек из залы стали просить меня почитать стихи. Не меняя позы, я что-то прочла. Подошел Осип: «Как вы стояли, как вы читали» и еще что-то про шаль» (*Ахматова*, с. 193). Ср. в «Поэме без героя» А. Ахматовой: «...Войду сама я, // Шаль воспетую не снимая, // И, как будто припомнив что-то, // Повернувшись вполоборота...» *Федра*—героиня одноименной трагедии Ж. Расина (см. коммент. к ст-нию «Я не увижу знаменитой «Федры»...»). *Рашель* Элиза (1821—1858)—французская трагическая актриса, знаменитая исполнительница роли Федры.

«Поговорим о Риме—дивный град...» (с. 94).— *К-16*, с. 63, с датой «1913»; *К-16(Ав.)*; *К-23*, с. 86 (среди ст-ний 1915 г.) и *БП*, № 261, с датой «1914»—везде с разночт. в ст. 8: «Не могут изменить календаря» и ст. 9: «На дальний мир бросает пепел бурый». Автограф более поздней редакции, под загл. «Рим» (см. примеч. к *БП*), с датой «1914» и отброшенными вариантами в ст. 8: «Не нарушают ход календаря» и ст. 9—как в *БП* и др.,— *АМ*. Печ. по автографу.

Мандельштам читал это ст-ние в доме В. Чудовского (Лившиц Б. Полутораглазый стрелец. Л., 1989, с. 521). *Авентин*—один из семи холмов, на которых стоит Рим; сюда в V в. до н. э. от гнета патрициев переселялись плебеи. *Двунадесятые праздники*—12 главных праздников православной церкви, посвященных Христу и Богородице. *Канонические луны*—лунный календарь, состоявший из 12 месяцев. *Форум*—площадь в

Древнем Риме, место народных собраний. *Тонзура*— кружок, выбриваемый на голове у католических священников.

«О временах простых и грубых...» (с. 94).— Голос жизни, 1915, № 14, 1 апреля, с. 10, первым в цикле со ст-ниями «На площадь выбежав, свободен...» и «Посох» — под общим загл. «Из цикла «Рим»; возможно, этот цикл обозначен С. П. Каблуковым, хлопотавшим о публикации стихов Мандельштама в редактируемом Д. Философовым еженедельнике, как «складень «Рим» — *Каблуков,* 6 февраля 1915 г. *К-16,* с. 66. *К-16(Ав.).* 88 современных стихотворений, избранных З. Н. Гиппиус. Пг., 1917, с. 80. *К-23,* с. 61. *С,* с. 67. *БП,* № 53. Печ. по *С.*

По наблюдению Н. И. Харджиева, последняя строфа перекликается с посланием Ф. И. Тютчева к Н. Ф. Щербине («Вполне понятно мне значенье...», 1857). *Овидий*— Публий Овидий Назон (43 до н. э.— 17 н. э.), римский поэт, автор «Tristia», сосланный императором Августом в изгнание в скифские земли близ устья Дуная.

«На площадь выбежав, свободен...» (с. 94).— Голос жизни, 1915, № 14, 1 апреля, с. 10, вторым в цикле со ст-ниями «О временах простых и грубых...» и «Посох» (под общим загл. «Из цикла «Рим») и с подзаголовком «Памяти Воронихина». *К-16,* с. 67. *К-16(Ав.). К-23,* с. 62. *С,* с. 68. В *К-23* и *С*— с разночт. (опечаткой?) в ст. 8 «рощу портиков» и ст. 12: «беспомощно». *БП,* № 54. Вариант заглавия — «Казанский собор» (*Каблуков,* 6 февраля 1915 г.). Печ. по *К-16.*

По предположению А. А. Морозова, посвящено 100-летию со дня смерти архитектора А. Н. Воронихина (1759—1814), строителя Казанского собора в Петербурге, образцом для которого послужил собор св. Петра в Риме. См. вступ. статью.

Равноденствие (с. 95).— *К-16,* с. 68; *К-16(Ав.); К-23,* с. 63; *С,* с. 69; *БП,* № 55 — везде без загл. Автограф под загл. «Равноденствие», без даты и с пометой: «После «Рима» — *АМ* (под тем же загл. упоминается как недавно законченное в *Каблуков,* 6 сентября 1914 г.). Печ. по автографу, дата по *С.*

Гласных долгота // В тонических стихах.— На самом деле античная метрика, основанная на долготе гласных, называлась метрической. О занятиях Мандельштама древними языками см. в воспоминаниях К. Мочульского (Д-88, № 2, с. 112—114). *Цезура*— пауза в середине стиха.

«Мороженно!» Солнце. Воздушный бисквит...» (с. 95).— Новый Сатирикон, 1915, № 26, 25 июля, с. 3, под загл. «Мороженно!»; *К-16,* с. 69; *К-16(Ав.)* и *К-23,* с. 64 — с разночт. в ст. 5—6: «Но ложечкой звать, но умильно смотреть— // Чтоб в тесной беседке». *С,* с. 70. *БП,* № 56. Автограф первоначальной редакции, с датой «1914» и пометой: «Место в книге — после Тенниса»,— *АА.* Автографы первопечатного текста с датой «1914» (?) — *Каблуков,* 6 сентября 1914 г. (см. фото), *К-16(Кабл.)* и *АМ.* Печ. по *С.*

Ср. в воспоминаниях Е. Э. Мандельштама: «Что ни день раздавался на улице протяжный крик «Мороженое... Сливочное... Клубничное...» и показывался ярко окрашенный ящик, установленный на двуколке, и за ним мороженщик в белом фартуке с длинной ложкой в руках. Он

набирал мороженое из больших металлических банок, стоявших во льду, и раздавал пестрые кружочки покупателям» *(АЕМ).*

«Есть ценностей незыблемая ска́ла...» (с. 96).— *К-16,* с. 70. *К-16(Ав.). К-23,* с. 65. *С,* с. 71. *БП,* № 262. Под загл. «Озерову— трагику» упом. в *Каблуков,* 6 сентября 1914 г. В одном из авт. экз. зачеркнуто (см. преамбулу). Печ. по *С.*

Ст-ние написано в связи с постановкой в 1914 г. в театре им. В. Ф. Комиссаржевской, впервые после 1807 г., трагедии В. А. Озерова (1769—1816) «Дмитрий Донской»—см. отзыв Я. Тугенхольда в «Аполлоне», 1914, № 8 (октябрь), с. 70—71. О внеположном суду современности «месте человека во вселенной», т. е. об иерархии мировоззренческих ценностей, у Мандельштама см. в ст-нии «Пусть имена цветущих городов...». *Ска́ла*—шкала. *Сумароков* Александр Петрович (1717— 1777)—поэт и драматург, автор трагедии «Дмитрий Самозванец» (1771). *Как царский посох в скинии пророков*—жезл первосвященника Аарона, расцветший в скинии (святилище) перед ковчегом в знак его старшинства в Левиином колене (Числа, 17, 1—10).

«Природа—тот же Рим и отразилась в нем...» (с. 96).— *Т,* с. 41, без даты. *К-23,* с. 85 (среди ст-ний 1915 г.). *С,* с. 73, с датой «1914». *БП,* № 82, с датой «1917». Автограф, вместе со ст-нием «Пусть имена цветущих городов...»,— *АЛ.* Список С. П. Каблукова, вместе с тем же ст-нием,— *К-16(Кабл.)* Печ. по *С.*

Ст. 3—4 совпадают со ст. 3—4 ст-ния «Когда держался Рим в союзе с естеством...». См. также коммент. к ст-нию «Пусть имена цветущих городов...», «Поговорим о Риме—дивный град...»

«Пусть имена цветущих городов...» (с. 97).— Вечерняя звезда, 1918, 9 марта. *С,* с. 73, без даты. *БП,* № 81, с датой «1917». Автограф (без даты)—на одном листе с автографом ст-ния «Кто знает? Может быть, не хватит мне свечи...», написанного в 1917 г. (отсюда— дата в *БП*),— *ЦГАЛИ,* ф. 1893, оп. 1, ед. хр. 7, л. 4. Автограф, вместе со ст-нием «Природа—тот же Рим и отразилась в нем...»,— *АЛ.* Список С. П. Каблукова— *К-16(Кабл.);* здесь он подклеен к с. 67 *К-16* с цифрой III вверху (рядом—список ст-ния «Природа—тот же Рим и отразилась в нем...» с цифрой IV; возможно, I и II соответствуют ст-ниям «О временах простых и грубых...» и «На площадь выбежав, свободен...», напечатанным в *К-16* на с. 66—67. Печ. по автографу *(ЦГАЛИ),* датировка—по дате предыдущего ст-ния, место в композиции—по *С.*

О датировке—см. также: *Швейцер-82,* с. 240—242. Ст-ние является своего рода гуманистическим манифестом поэта—ср. статьи «Петр Чаадаев» и «Гуманизм и современность».

«Я не слыхал рассказов Оссиана...» (с. 98).— Наши дни, Пг., 1915, № 3, 15 марта, с. 10 (с пропуском «внуков» в ст. 14). *К-16,* с. 71. *К-16(Ав.). К-23,* с. 66. *С,* с. 74. *БП,* № 57. Автограф с датой «1914» и разночт. в ст. 12: «должны»— *ГАМ,* ф. 352, оф. 5926. Печ. по *С.*

Оссиан—легендарный кельтский поэт III в., герой литературной мистификации шотландского поэта Дж. Макферсона, издавшего в 1765 г. под именем Оссиана сборник эпических поэм и шотландских народных песен. *Скальд*—скандинавский поэт-певец.

Европа (с. 98).— Аполлон, 1914, № 6-7 (октябрь), с. 12, со след. редакцией строфы 3:

Европа Августа и Солнца-короля,
А ныне в рубище Священного союза,
Пята Испании и нежная Медуза,
Земля Италии, романская земля.

К-16, с. 72. *К-16(Ав.)*. *К-23*, с. 67. *С*, с. 75. *БП*, № 58. Автографы двух допечатных редакций с датой: «сентябрь 1914» — *АЛ* и *Каблуков*, 6 сентября 1914 г. Печ. по *С*.

Ср. в статье «Пшеница человеческая». *Священный союз* — коалиция Австрии, Пруссии и России; создан в 1815 г. после падения империи Наполеона I. *Пята Испании, Италии Медуза.*—По сообщ. И. С. Поступальского, Мандельштам соглашался с его замечанием, что правдоподобней было бы: «Пята Италии, Испании медуза». *Меттерних* К. (1773—1859) — австрийский канцлер, вдохновитель Священного союза.

Encyclyca (с. 99).— Невский альманах. Писатели и художники жертвам войны. Вып. I. Пг., 1915, с. 58. *К-16*, с. 73. *К-16(Ав.)*. *БП*, № 266. Автограф под загл. «К энциклике папы Бенедикта XV» с датой «сентябрь 1914» — в архиве П. Н. Щеголева (*ИРЛИ*, ф. 627, оп. 2, ед. хр. 19, л. 2). Автограф под загл. «Encyclyca» и с датой «1914» — *АМ*. Печ. по *К-16*.

Написано в связи с увещевающей и миротворческой энцикликой от 26 августа 1914 г. папы Бенедикта XV, возведенного в сан 25 мая 1914 г. Позднее Бенедикт XV выступил с протестом против разрушения Германией Реймского собора. См.: *Швейцер-82*, с. 249—250.

Посох (с. 99).— Голос жизни, 1915, № 14, 1 апреля, с. 10, третьим в цикле со ст-ниями «О временах простых и грубых...» и «На площадь выбежав, свободен...» (под общим загл. «Из цикла «Рим»), с разночт. в ст. 7: «возвеселился» и ст. 16: «Мне, идущему на Рим», а также с иной редакцией строфы 3 — см. Приложения. *К-16*, с. 74; *К-16(Ав.)*; *К-23*, с. 69, и *НР-28*, л. 54а (список рукой Н. Я. Мандельштам),— с разночт. в ст. 9: «Пусть снега» и ст. 11: «Но печаль». *С*, с. 76, без даты (поправки внесены, очевидно, в 1927 г.). *БП*, № 59, с датой «1914». Автограф, без загл., текст как в *К-16* (в ст. 14 «Истины» с прописной буквы), с датой «1914»,— *АМ*. Печ. по *С*, с датировкой: 1914, 1927.

Ср. статью «Петр Чаадаев». См. вступ. статью.

Ода Бетховену (с. 100).— Альманахи стихов, выходящие в Петрограде. Вып. I. Пг., 1915, с. 20—23; *К-16*, с. 75—78, и *К-16(Ав.)*— все со след, редакцией строфы 2:

Когда земля гудит от грома
И речка бурая ревет
Сильней грозы и бурелома,
Кто этот дивный пешеход?
Он так стремительно ступает
С зеленой шляпою в руке,
И ветер полы развевает
На неуклюжем сюртуке,—

и разночт. в ст. 39: «Тебя назвать боялись греки,». *БП*, № 60. Автограф первопечатной редакции с датой «декабрь 1914» — в архиве Д. Цензора (*ЦГАЛИ*, ф. 543, оп. 1, ед. хр. 256, л. 1). В *АМ* (указание на собр. С. И. Липкина в примеч. к *БП* — ошибочно) — автограф с датой «6 декабря 1914 г.» и разночт. в ст. 29—32:

Тебя предчувствуя в темнице,
Шенье достойно принял рок,
Когда на черной колеснице
Он просиял, как полубог.

Автограф другой редакции, с датой «декабрь 1914»,— *АА*. Печ. по *С*.

Замененные отточиями строки, по свидетельству Г. Иванова, были забракованы А. Ахматовой (Новый журнал, Нью-Йорк, 1955, кн. 43, с. 275), а по сообщ. И. С. Поступальского, были отброшены из стилистических соображений («полы... на сюртуке» — звучит неестественно). *Сын фламандца.*—Отец Бетховена был родом из Антверпена. *Ритурнель*— музыкальное вступление к танцу. *Дионис*—бог растительности, вина и веселья (ср. различение Ф. Ницше «дионисийского» и «аполлонического» начал в искусстве). *Тебя назвать боялись греки, // Но чтили, неизвестный бог.*—Ср. в статье «Скрябин и христианство» (II, 159). «Неизвестный бог».— См. речь ап. Павла в ареопаге (Деяния св. Апостолов, 17, 22—23). *Полнеба охватил костер.*—Ср. у Тютчева в ст-нии «Последняя любовь» (1852—1854): «Полнеба обхватила тень». *Скиния*—шатер, походный храм у древних евреев. *Белой славы торжество.*—См. в статье «Скрябин и христианство» (II, 159).

«Уничтожает пламень...» (с. 101).— Рудин, 1916, № 8 (апрель — май), с. 9. *К-16(Ав.)* (в оглавлении). *Т*, с. 51, без даты. Красная новь, 1922, № 4 (июль—август), с. 28. *К-23*, с. 73. *С*, с. 80, с датой «1914». *БП*, № 61, с датой «1915». Список рукой С. П. Каблукова первоначальной редакции, с датой «1915» и с еще двумя, заключительными строфами,— *К-16(Кабл.)* (см. Приложения). Два списка Л. Рейснер — без разночт. и с разночт. в ст. 1: «Снедает горний пламень» и ст. 2—4: «Сегодня я не камень, // Но дерево пою» — в архиве Л. М. Рейснер (*ГБЛ*, ф. 245, к. 1, ед. хр. 6). Авториз. список — в архиве З. Никитиной (*ЦГАЛИ*, ф. 341, оп. 1, ед. хр. 536). Печ. по ж. «Рудин», дата и пунктуация — по *К-16(Кабл.)*.

«И поныне на Афоне...» (с. 102).— *К-16*, с. 81, с датой «1915». *К-16(Ав.)*. Список рукой Н. Я. Мандельштам — *НР-28*. *С*, с. 81, без даты. *БП*, № 62, с датой «1915». Авториз. список под загл. «Имя Божие», с датой «1915», с разночт.: «Мы ничуть не спасены» (вариант: «Мы судом не спасены»),— *К-16(Кабл.)*. Список рукой М. Цветаевой — *ЦГАЛИ*, ф. 1893, оп. 2, ед. хр. 1, л. 8, со след. редакцией строфы 4:

Каждый раз, когда мы любим,
Мы ее теряем вновь:
Безымянную мы любим <описка; губим? — *П. Н.*>
Вместе с именем: любовь.

Автограф строфы 2 с датой записи «19 марта 1921» — *ИМЛИ*, ф. 225, оп. 1, ед. хр. 2. Печ. по *К-16*.

Написано в июне 1915 г., под загл. «Имя Божие» упом. в *Каблуков*, 24 июня 1915 г. *Афон* — полуостров в северо-восточной Греции, известный своими монастырями, в том числе русскими. *Имябожцы* (имябожники, имяславцы) — русская религиозная секта, возникшая на Афоне в 1910 г. Согласно их учению, Имя Божие — и есть сам Бог, поминание Имени Божия всуе — тяжкий грех: оно непроизносимо и сокровенно. После синодального объявления секты еретической ее члены были насильственно вывезены в Россию и заточены по дальним монастырям. Тем не менее движение широко распространилось неофициально, вызвав большой интерес и сочувствие и в религиозно-философских кругах 1910-х годов. С главой имябожцев, иеромонахом Антонием Булатовичем (бывшим гусарским офицером в Царском Селе), был знаком В. Нарбут (см. его письмо М. Зенкевичу от 3 декабря 1915 г. — *ГЛМ*, ф. 247). Ср. ст-ние «Образ твой, мучительный и зыбкий...».

Аббат («О, спутник вечного романа...») (с. 102). — *К-16*, с. 79—80, с датой «1915». Новый Сатирикон, 1916, № 42, 13 октября, с. 2, где добавлена еще одна строфа:

Переменилось все земное,
И лишь не сбросила земля
Сутану римского покроя
И ваше золото, поля;
И, самый скромный современник,
Как жаворонок, Жамм поет:
Ведь католический священник
Ему советы подает!

К-23, с. 74. *С*, с. 82, с датой «1914». Корр. строфы 3, с датой «1914», — фрагмент *Корр.-28* — в альбоме П. Н. Медведева (*ГПБ*, ф. 474, оп. 1, альб. 2, л. 59). *БП*, № 63, с датой «1915». Список другой редакции, под загл. «Аббат (варианты)», — *К-16(Кабл.)*. Поразительная самостоятельность этой редакции дала нам основание поместить ее в наст. изд. не в Приложениях, а в основном корпусе (см. вступ. статью). Печ. по *К-16*.

Тонзура. — См. коммент. к ст-нию «Поговорим о Риме — дивный град...». *Цицерон* (106—43 до н. э.) — римский оратор и философ. *Жамм* Ф. (1868—1938) — французский католический поэт.

«От вторника и до субботы...» (с. 103). — *К-23*, с. 58. *С*, с. 84. *БП*, № 64. Список с датой «1915» — *К-16(Кабл.)*. Написано в начале 1915 г. (*Каблуков*, 24 июня 1915 г.). Печ. по *С*.

По предположению А. А. Морозова, связано с двухнедельной поездкой поэта в конце 1914 г. в Варшаву, в армию, в качестве санитара-добровольца (*Каблуков*, 26 января 1915 г.).

Дворцовая площадь (с. 103). — Аргус, 1917, № 4, с. 91, под загл. «Дворцовая площадь». *БП*, № 269. Список под загл. «Императорский виссон» и с датой «1915» — *К-16(Кабл.)*. Снято цензурой при подготовке *К-16* (*Каблуков*, 30 декабря 1915 г. — см. преамбулу). Автограф под загл. «Зимний дворец» и с датой, очевидно, записи «Москва,

30 января 1916 г.» — в альбоме А. И. Ходасевич (*ЦГАЛИ*, ф. 537, оп. 1, ед. хр. 127, л. 12). Печ. по ж. «Аргус».

Виссон — дорогая льняная ткань, обычно белая или пурпурная (лен — символ чистоты). *Столпник-ангел* — статуя ангела, увенчивающая Александровскую колонну на Дворцовой площади. *Черно-желтый лоскут* — дворцовый императорский штандарт (черный двуглавый орел на желтом фоне).

«О свободе небывалой...» (с. 104). — *К-16,* с. 82. *К-16(Ав.). К-23,* с. 82. *С,* с. 85. *БП,* № 65. Авториз. машинопись с датой «1915» и разночт. в ст. 12: «Я вовеки не сниму» — *AM.* Список с датой «1915» — *К-16(Кабл.).* Под загл. «Свобода» упом. в *Каблуков,* 24 июня 1915 г. Печ. по *С.*

«Бессонница. Гомер. Тугие паруса...» (с. 104). — *К-16,* с. 83. *К-16(Ав.). К-23,* с. 83. *С,* с. 86. *БП,* № 66. Автограф — *АЛ.* Печ. по *С.*

Написано летом 1915 г. в Крыму. Ст-ние очень любила М. Цветаева. *Список кораблей* — перечень кораблей, участвовавших в морском походе против Трои («Илиада», песнь II). Ср. у И. Анненского: «И каталог кораблей был настоящей поэзией, пока он внушал» (Анненский И. Что такое поэзия? — Книга отражений. М., 1982, с. 204). *Елена* — жена Менелая, царя Спарты, похищенная троянцем Парисом, из-за чего и разгорелась Троянская война. *Ахейские мужи* — здесь: греки, эллины.

«Обиженно уходят на холмы...» (с. 105). — Борьба, Киев, 1919, кн. 1, с. 1. *К-23,* с. 84. *БП,* № 268. Автограф — *АЛ.* Автограф первой допечатной редакции, с датой «август 1915», — *АВ* (см. Приложения, <I>). Список другой допечатной редакции, с датой «август 1915», — *К-16(Кабл.)* (см. Приложения, <II>). Печ. по ж. «Борьба».

Написано в Коктебеле. *Халдеи* — семитический народ в Южной Месопотамии, имевший славу колдунов и прорицателей. *Авентин* — см. коммент. к ст-нию «Поговорим о Риме — дивный град...».

«С веселым ржанием пасутся табуны...» (с. 105). — *К-16,* с. 84. *К-16(Ав.). К-23,* с. 87; *С,* с. 87, и *БП,* № 67, — с разночт. в ст. 16: «И — месяц Цезарей — мне август улыбнулся». Автограф — *АЛ.* Список, на обороте списка предыдущего ст-ния, — *К-16(Кабл.).* Печ. по *К-16.*

Написано в августе 1915 г. в Крыму. *Цезарь* Юлий (100—44 до н. э.) — римский полководец и узурпатор республиканского строя. *Капитолий* — священный холм в Древнем Риме, местонахождение храма Юпитера и важнейших государственных учреждений. *Август* — Август Октавиан (63 до н. э. — 14 н. э.), первый римский император («август» — священный). *Печаль моя светла* — реминисценция из ст-ния Пушкина «На холмах Грузии лежит ночная мгла...» (1829). *Мне осень добрая волчицею была.* — По преданию, Ромул и Рем — основатели Рима — были вскормлены волчицей.

«Я не увижу знаменитой «Федры»...» (с. 106). — *К-16,* с. 85—86. *К-16(Ав.). К-23,* с. 88—89. *С,* с. 88—89. *БП,* № 68. Печ. по *К-16.*

Написано в ноябре 1915 г. (*Каблуков,* 18 ноября 1915 г.). Ср. ст-ния «Ахматова» и «Как этих покрывал и этого убора...», а также перевод фрагмента «Федры» Расина (II, 363). *Как эти покрывала мне постылы* —

цитата из трагедии Расина «Федра» (д. I, явл. 3). *И слабо пахнет апельсинной коркой.*— Существует легенда, что при журнальной публикации этого ст-ния (не разыскана) вместо «слабо» было напечатано «слава»,— опечатка, восхитившая Гумилева. (*СС-I:* с. 425—426). *Мельпомена*— муза трагедии. *Грек*— здесь: воплощение гармонического мироощущения.

Tristia

«Как этих покрывал и этого убора...» (с. 107).— *Т,* с. 7—8, с датой «1916» и с разночт. в ст. 15: «факел горит» и ст. 21 (вместо отточия): «Смерть охладит мой пыл из чистого фиала» (оба изменения внесены в *НР-28*). *ВК,* с. 12—13. *С,* с. 93—94. *БП,* № 69. Автограф ранней редакции с датой «13 октября 1915» *(AM)* и список другой ранней редакции с датой «1915» *К-16(Кабл.)*— см. Приложения. Автограф первопечатной редакции— *АЛ.* Список заключительной строфы окончательной редакции, с датой «1916»— *К-16(Кабл.).* В *К-16(Кабл.)* также список след. наброска, с пометой: «СПб., 1915»—

Заманили охотника в капкан,
По тебе будут плакать леса, олень!

Солнце, возьми мой черный плащ,
Но сохрани живую мощь.

Печ. по *С.*

Ст. 1—2, 11—12—слова Федры из одноименной трагедии Расина. Ср. ст-ние «Я не увижу знаменитой «Федры»...». *Трезена*— город в Древней Греции, с которым связано предание о юноше Ипполите, отвергшем страстную любовь своей мачехи— Федры, жены афинского царя Тезея. Погубив пасынка, Федра кончила жизнь самоубийством.

Зверинец (с. 108).— Новая жизнь, Пг., 1917, 18 июня, и альм. «Тринадцать поэтов». Пг., 1917, с. 23—24,— с подзаголовком «Ода» и датой «январь 1916 г.», с разночт. в ст. 1: «Торжественное», ст. 10: «кормились» и ст. 25: «и темно-бурый». Альм. «Ковчег», Феодосия, 1920, с. 17—19, с датой «январь 1916»; альм. «Паруса», 1922, № 1, с. 1,—с подзаголовком «Ода» и указ. разночт. в ст. 25. Альм. «Наши дни», 1922, № 2, с. 197—198; *Т,* с. 9—11; *ВК,* с. 9—11 (открывает книгу, подзаголовок «Ода» вычеркнут в *НР-23*),— с указ. разночт. в ст. 25. *С,* с. 95—96, с отточиями в ст. 25—26 и 37—40 (вычеркнуто в *НР-28*). *БП,* № 70, где дано по авт. экз. *С* (3 сентября 1935 г. Мандельштам восстановил полный текст, заменив в ст. 25 «и темно-бурый» на «широкохмурый»). В автографе с пометой: «11 янв. 1916. Петербург» *(AM)* зафиксированы различные стадии работы над текстом, а также первоначальные варианты заглавий: «Ода миру во время войны», «Ода миру», «Ода воюющим державам», «Мир» (Ода)» (еще один вариант— «Дифирамб миру»— упом. в *Каблуков,* 12 января 1916 г.). В *К-16(Кабл.)*—

список ранней редакции, под загл. «Миру» (Ода)», с датой «1916» и разночт. в ст. 3—4: «Как на косматые пещеры // Мы променяли сей эфир?», ст. 7—8: «Мы научились умирать, // Но разве этого хотели?», ст. 10: «плодились», ст. 25 (см. выше), ст. 27: «устроим клеть», ст. 28: «повесим шкуры», ст. 29: «пою волну времен», ст. 47—48: «Как полубога век румянца // Осеннего, блаженный век» (исправлено из: «Движеньем кругового танца // И песней, сложенной навек»). Автограф, с подзаголовком: «(Ода)» и разночт. в ст. 37: «И ты, германец, не ропщи»,— *ЦГАЛИ*, ф. 1893, оп. 1, № 2, л. 1—2. Ср. также пометы М. Цветаевой на экз. *Т*, подаренном ею А. Е. Крученых 3 мая 1941 г.: к слову «водились» дана следующая сноска:

«...плодились.

Я, робко: — О. Э., а волы и ягнята — не плодятся!

М-мъ, агрессивно: — Почему?

Я: — Не знаю, только достоверно знаю, что не плодятся.

М-мъ: — Жаль.

Москва, весна 1916 г.» (*ИРЛИ*, ф. 803, оп. 1, ед. хр. 28). Печ. по *БП*.

Орел, лев, гребень (петух), *медведь* — традиционные символы Германии, Англии, Франции и России. Миротворческий пафос этого ст-ния резко контрастировал с воинственно-патриотическим духом, преобладавшим в поэзии во время первой мировой войны (что, видимо, и препятствовало его публикации до февральской революции). Как отмечает А. А. Морозов, ст-ние связано с впечатлениями, полученными от «нездешнего вечера» (каким он описан Цветаевой в одноименной статье) у Канегиссеров в самом начале января. Цветаева, приехавшая в Петербург на Рождество, читала там свою «Германию» и «Я знаю правду! Все прежние правды — прочь! // Не надо людям с людьми бороться!..» Стих Мандельштама: «Славянский и германский лен» она назовет позже «гениальной формулой нашего с Германией отродясь и навек союза» (*ВРСХД*, 1979, т. 129, с. 151).

«В разноголосице девического хора...» (с. 109).— Альманах муз. Пг., 1916, с. 112. *Т*, с. 12. *БП*, № 270. Автограф — *АМ*. Список под загл. «Москва» и с пометой: «1916, февраль. Москва» — *К-16(Кабл.)*. Автограф с датой записи и пометой «8 августа 1917 г. Профессорский уголок — Алушта» — в альбоме В. А. Судейкиной-Шиллинг (разыскано Д. Болтом; сообщ. А. Е. Парнисом). Печ. по *Т*.

На экз-ре *Т*, принадлежавшем М. Цветаевой, над этим ст-нием ею записано: «Мне» (*ИРЛИ*, ф. 803, оп. 1, ед. хр. 28). В январе — феврале 1916 г. Мандельштам дважды приезжает в Москву для того, чтобы увидеться с М. Цветаевой (они познакомились летом 1915 г. в Коктебеле). В эти «...чудесные дни с февраля по июнь 1916 г.,— пишет М. Цветаева в «Истории одного посвящения» (1931),— я дарила ему Москву» (Цветаева М. Соч. в 2-х томах, т. 2. М., 1984, с. 172—173). 12—18 февраля были написаны ее первые из посвященных Мандельштаму ст-ний — «Никто ничего не отнял...», «Собирая любимых в путь...», «Ты запрокидываешь голову...» и «Откуда такая нежность...».

Печаль меня снедала.— Ср. у Пушкина в переводе элегии А. Шенье: «Печаль тебя снедает...» *Православные крюки* — древнерусская нотопись.

Успенье нежное — Флоренция в Москве... — Успенский собор был построен в 1475—1479 гг. флорентийским архитектором А. Фиораванти. (Флоренция — по наблюдению В. М. Борисова, этимологически точный перевод фамилии Цветаевой — см.: *Тоддес*, с. 211).

«На розвальнях, уложенных соломой...» (с. 110).— Альманах муз. Пг, 1916, с. 113, и *Т*, с. 13—14,— с разночт. в ст. 16: «Лущили семя у ворот». *ВК*, с. 14—15. *С*, с. 97—98. *БП*, № 71. На экз-ре *Т*, принадлежавшем М. Цветаевой, ею записано: «Мне»; там же ею приводятся два отброшенных варианта — в ст. 1: «Было: осыпанных, уложенных — мое» и в ст. 8: «И теплятся кому-то три свечи» (*ИРЛИ*, ф. 803, оп. 1, ед. хр. 28). Автограф первопечатного текста и автограф допечатной редакции, с датой «март 1916» — *АМ*. Авториз. список, с указанием варианта: «осыпанных соломой» (с примечанием: «испр<авление> прин<адлежит> не мне») и пометой: «СПб. Апр. 1916»,— *К-16(Кабл.)*. Печ. по *С*.

«В этом многоплановом стихотворении сливаются воедино царевич Дмитрий, убитый в Угличе, и Дмитрий Самозванец, который, в свою очередь, то отождествляется с автором, то отдаляется от него... Представим себе, что стихотворение сопровождается посвящением — Марине Цветаевой; оно сразу же перестает быть загадочным. Имя Марина дает ассоциацию с пушкинским «Борисом Годуновым» и ключ к скрытой любовной теме стихотворения. Она — Марина, поэтому он — Дмитрий, и в то же время он тот, кто пишет о Дмитрии и Марине» (*Гинзбург*, с. 280). Ср. датированное 29 марта 1916 г. ст-ние М. Цветаевой «Димитрий! Марина! В мире...» (сб. «Версты». М., 1922, с. 32). См. также вступ. статью. *Четвертой не бывать.* — Ср. выражение: «Москва — третий Рим, а четвертому не бывать». *Бабки* — детская игра типа городков. *Царевича везут.* — По мнению Н. И. Харджиева, имеется в виду царевич Алексей, увезенный 18 марта 1718 г. из Москвы в Петербург для казни.

Соломинка (с. 110).— Альм. «Тринадцать поэтов». Пг., 1917, с. 25—26, с датой «декабрь 1916 г.» и с разночт. в ст. 27: «В огромной комнате соломинка в атласе» и ст. 32: «и не проснется вновь». Альм. «Ковчег», Феодосия, 1920, с. 13—14, без загл., с разночт. в ст. 28: «Вкушает медленно торжественный покой» и с опечаткой в ст. 1: «Когда, соломинка, ты спишь». *Т*, с. 15—17 (с той же опечаткой). Москва, 1922, № 7 <без пагинации>. *ВК*, с. 20—21. *С*, с. 101—102. *БП*, № 75—76. Автограф первоначальной редакции (с иной последовательностью строф) — *АМ* (см. Приложения). Автографы окончательной редакции — *АМ* и архив С. А. Абрамова (*ГБЛ*, ф. 1, к. 1, ед. хр. 31, с двумя штемпелями: «Печатать разрешается. Политотдел Госиздата» и «25/IV-22»). Список строф 1—3 части I, с датой «декабрь 1916», и части II, с датой «декабрь 1916», с разночт. в ст. 7: «В огромной комнате соломинка в атласе» и ст. 12: «Убита жалостью и не воскреснет вновь»,— *К-16(Кабл.)*. Л. Васильева, со слов С. Андрониковой, передает отброшенный вариант: «Я запечатаю на много поколений // Твой маленький багрянородный рот» (Васильева Л. Альбион и тайна времени. М., 1983, с. 220—221). Печ. по автографу *(ГБЛ)*.

Обращено к Саломее Николаевне Андрониковой (по мужу Андреевой, потом — Гальперн) (1889—1982), петербургской красавице, знакомой А. Ахматовой. Ей же посвящены «Мадригал» и шуточная коллективная трагикомедия «Кофейня разбитых сердец», а также ст-ние Ахматовой «Тень» (1940). Об увлечении ею Мандельштама см.: *Ахматова*, с. 190. Поэт сравнивает ее с героинями Эдгара По *(Лигейя, Ленор)* и Бальзака *(Серафита). Всю смерть ты выпила.*— Источник этого образа Н. И. Харджиев видит в трагической буффонаде В. Хлебникова «Ошибка смерти», изданной в ноябре 1916 г. и упоминаемой в статье «Буря и натиск» (II, 293). *Саломея*— дочь Иродиады, жены иудейского царя Ирода, танцевавшая перед ним на пиру и потребовавшая за это отрубленную голову Иоанна Крестителя. Не дошедшее до нас ст-ние о Саломее Мандельштам написал еще в 1908 г. в Париже — после исполнения «Танца Саломеи» Р. Штрауса симфоническим оркестром под управлением автора (*Д-88*, с. 110).

1. «Мне холодно. Прозрачная весна...» (с. 111) и 2. «В Петрополе прозрачном мы умрем...» (с. 112). Первоначальная редакция (под римскими цифрами I и III) — ж. «Ипокрена». Пг., 1918, № 2-3, с. 28, и «Свободный час», 1919, № 2 (апрель), с. 3, под загл. «Петрополь» (см. Приложения). Как отдельное ст-ние — Вечерняя звезда, Пг., 1918, 4 марта (1) и 15 марта (2). *Т*, с. 20—21, в цикле, с датой «1916». *ВК*, с. 18 (1). Петербург в стихотворениях русских поэтов. Берлин, 1923, с. 42 (1) и с. 111 (2). *К-23*, с. 81(2). *С*, с. 103 и 104 (1 и 2, с датами: «1916»). *БП*, № 72 и 73. Автограф первонач. редакции, с датой «май 1916»,— *АЛ*. Список первоначальной редакции, под загл. «Петрополь» и с пометой: «Май 1916. СПб.»,— *К-16(Кабл.)*. Автограф (1) — собр. М. И. Чуванова. Печ. по *Т*.

Возможно, навеяно контрастом между Петроградом и Москвой, только что — весной 1916 г.— «подаренной» Мандельштаму Цветаевой. *Петрополь*— вводит читательское восприятие в римско-эллинский — и одновременно пушкинский («Медный всадник») — образный контекст. *Прозерпина* (то же, что Персефона) — жена Аида, владычица царства мертвых. *Афина*— богиня мудрости и победы, дочь Зевса.

«Не веря воскресенья чуду...» (с. 112).— Аполлон, 1916, № 9-10 (ноябрь — декабрь), с. 75, с разбивкой на два ст-ния под римскими цифрами (I — ст. 1—16 и II — ст. 17—32) и со ст. 5—6 вместо отточий:

Я через овиди степные
Тянулся в каменистый Крым.

Т, с. 22—23. *К-23*, с. 79—80. *С*, с. 105—106. *БП*, № 74. В 1932 г. Мандельштам сообщил Н. И. Харджиеву, что ст. 5—6 были сочинены М. Л. Лозинским (аналогичная помета неуст. лица в экз. *С* из собр. М. С. Лесмана). Вместе с тем их нет в автографе с датой «июнь 1916» *(АЛ)*, а также в автографе его текст совпадает с «Аполлоном» — из архива С. Рафаловича, подаренном ему автором в августе 1917 г. в Алуште (ныне в собр. М. Мардзадури, Тренто,— сообщ. А. Е. Парнисом). Зато они приведены в автографе, присланном автором С. П. Каблукову

из Коктебеля в начале июня (лишь слова «овиди степные» вписаны самим Каблуковым со знаком вопроса — *Каблуков,* 15 июня 1916 г.). Печ. по *С.*

На принадлежавшем ей экз. *Т* М. Цветаева сверху пометила: «Мне», ст. 21 исправила на: «От бирюзового браслета», а внизу подписала «Александровская Слобода Владимирской губ.— Коктебель. Лето 1916 г.» (*ИРЛИ,* ф. 803, оп. 1, ед. хр. 28). Подробнее — см. очерк М. Цветаевой «История одного посвящения», а также ее письмо к К. Я. Эфрон от 12 июня 1916 г. (Саакянц А. О правде «летописи» и правде поэта.— *ВЛ,* 1983, № 11, с. 209—211).

«Эта ночь непоправима...» (с. 114).— Аполлон, 1916, № 9-10 (ноябрь — декабрь), с. 76. *Т,* с. 24. *ВК,* с. 19. *С,* с. 107. В *БП* отсутствует. Список, под загл. «На погребение матери», с датой «1916»,— *К-16(Кабл.).* Автограф из архива С. Рафаловича, подаренный автором в августе 1917 г. в Алуште (ныне в собр. М. Мардзадури, Тренто,— сообщ. А. Е. Парнисом). Печ. по «Аполлону».

Мать поэта, Флора Осиповна Вербловская, умерла от инсульта 26 июля 1916 г. в возрасте 48 лет. Вызванные телеграммой отца Осип и его младшие братья выехали из Коктебеля 25 июля и успели только на похороны. «...Чем старше становился Осип, тем острее он ощущал свою вину перед мамой» (Воспоминания Е. Э. Мандельштама — *АЕМ*). См. вступ. статью.

«Собирались эллины войною...» (с. 114).— Вечерняя звезда, Пг., 1918, 16 февраля, под загл. «Собирались эллины войною...» и с датой «1916». *Т,* с. 19, без загл. и с датой «1916». *К-23,* с. 68, и *С,* с. 77 (в разделе «Камень»), под загл. «1914» и с ложной датой «1914» (под таким загл. ст-ние «сюжетно» перекликалось со ст-нием «1913» («Ни триумфа, ни войны...»), впоследствии изъятым из корпуса. *БП,* № 77. Автограф с датой «1916» — *ЦГАЛИ,* ф. 1893, оп. 1, ед. хр. 7, л. 1. Списки — *Каблуков,* 2 января 1917 г., и *К-16(Кабл.),* с датой «1916» и разночт. в рифме в ст. 1 и 3: «войной» — «рукой». Черновой автограф первоначальной редакции — на одном листе с черновиком «Соломинки» (см. Приложения). Печ. по автографу *(ЦГАЛИ).*

Написано в декабре 1916 г. в связи с прибытием в Россию английских кораблей с военным снаряжением. Ст-ние отражает нелюбовь Мандельштама «...к Англии, которую он считает высокомерной, самоуверенной и мещански-самодовольной нацией-островитянкой, по духу чуждой и враждебной Европе (континентальной)» (*Каблуков,* 2 января 1917 г.). *Саламин* — остров между Афинами и Мегарой, захваченный афинянами в 598 г. до н. э. *Пирей* — портовый город близ Афин.

Декабрист (с. 115).— Новая жизнь, Пг., 1917, 24 декабря, с разночт. в ст. 16: «сентиментальная гитара» и ст. 21: «Все перепуталось, а некому сказать». Альм. «Исход», 1918, с датой «1917 г., июнь» и с переменой местами строф 3 и 4. *Т,* с. 25—26. Московский понедельник, 1922, 14 августа. Красная новь, 1922, № 4 (июль — август), с. 27. *ВК,* с. 16—17. *С,* с. 112—113. *БП,* № 78. В *К-16 (Кабл.)* — авториз. список допечатной редакции, где текст аналогичен альм. «Исход», кроме ст. 16 — «сантиментальная гитара» — и строфы 5:

«С глубокомысленной и нежною страной
Нас обручило постоянство».
Мерцает, как кольцо на дне реки чужой,
Обетованное гражданство.

Печ. по *С.*

Написано в разгар закончившегося поражением июньского наступления русских войск на Юго-Западном фронте (началось 18 июня — одновременно с организованной большевиками массовой демонстрацией рабочих и солдат в Петрограде: оба события привели к кризису Временного правительства). *Чубук* — длинная трубка, вроде кальяна. *Квадрига* — здесь: колесница на Триумфальной арке. *Вернее труд и постоянство.* — К Тютчеву и Чаадаеву восходит традиция неприятия выступления декабристов как попытки не эволюционного, а революционного решения вопроса об историческом пути России.

«Золотистого меда струя из бутылки текла...» (с. 116).— Знамя труда, 1918, 8 июня (26 мая), с. 2, под загл. «Виноград». Орион, Тифлис, 1919, № 6 (сентябрь), с. 4, с посвящением «Вере Артуровне и Сергею Юрьевичу С<удейкиным>» и с пометой: «11 августа 1917, Алушта». Альм. «Посев», Одесса, 1921, с. 6, с разночт. в ст. 6: «пройдешь, никого не заметишь», ст. 7: «тянутся дни» и ст. 10: «на окна надвинуты». *Т,* с. 31—32. Альм. «Наши дни», 1922, № 2, с. 200—201. Цех поэтов, Пг., 1922, кн. 3 (май), с. 16—17. Московский понедельник, 1922, 11 сентября, под загл. «Виноград». *ВК,* с. 24—27. Свиток, 1924, вып. 3, с. 59 (в редакции «Посева»). *С,* с. 108—109. *БП,* № 79. Автограф, идентичный тексту ж. «Орион»,— в альбоме В. А. Шиллинг-Судейкиной (разыскано Д. Болтом, сообщ. А. Е. Парнисом). Автограф с пометой: «Август 1917. Алушта» — *АЛ.* Авториз. список, без строфы 5 и в редакции «Посева»,— *ГЛМ,* ф. 352, оф. 7870. Авториз. список с датой «август 1917 г.» — *К-16 (Кабл.).* Печ. по *С.*

По сообщ. В. М. Жирмунского, ст-ние написано после посещения дачи художника С. Ю. Судейкина в «профессорском уголке» в Алуште (Мандельштам гостил на даче у родственников А. А. Смирнова, там же находились дачи С. Маковского и С. Андрониковой). *Хозяйка* — В. А. де Боссе (Шиллинг), вторая жена Судейкина (впоследствии жена И. Стравинского). *Не Елена — другая.* — Имеется в виду Пенелопа, верная жена Одиссея, обещавшая сватавшимся к ней женихам выйти замуж не ранее, чем закончит ткать холст (вышивала — поэтическая неточность), но все сотканное ею за день она распускала за ночь. *Золотое руно* — легендарное волшебное сокровище, за которым отправились аргонавты во главе с Язоном в Колхиду.

Меганом (с. 116).— Советская страна, 1919, № 2, 3 февраля, под загл. «Меганон». Альм. «К искусству!», Феодосия, 1920, № 2, с. 7. Сб. «Обвалы сердца», Севастополь, 1920 (разрешен военной цензурой 9 сентября), с. 15, под загл. «Меганон». Альм. «Посев». Одесса, 1921, с. 5, под загл. «Меганон», с разночт. в ст. 28: «Души зарылся амулет». Сб. «Радуга». Полтава, 1921, кн. 2-3, с. 63. *Т,* с. 27—28, под загл. «Меганом»; альм. «Трилистник», М., 1922, вып. 1, с. 59—60, под загл. «Меганон». *ВК,*

с. 22—23. *С,* с. 110—111. *БП,* № 80. Автограф без загл., с пометой: «Август, 1917, Алушта» — *АЛ.* Автограф с пометой: «16 августа 1917, Алушта» — *АМ.* Печ. по *Т,* с исправлением опечатки в слове «ветряный».

Асфодели — разновидность лилий; царство мертвых древние греки представляли себе как луг, поросший асфоделями. *Персефона* — то же, что Прозерпина (см. коммент. к ст-нию «В Петрополе прозрачном мы умрем...»). *Меганом* — мыс на юго-восточном берегу Крыма, между Судаком и Коктебелем. Судя по рифмам и первым публикациям, Мандельштам сначала называл его «Меганон». Ср. в воспоминаниях К. Мочульского: «Мандельштам любил смотреть на далекие Судакские горы, на туманный мыс Меганом. О нем написал он строфы, загадочные и волшебные» (*Д-88,* с. 113). *Черный парус* — символ несчастья; см. миф об Эгее, бросившемся с обрыва в море при виде черных парусов на корабле своего сына Тезея (отправляясь на Крит для поединка с Минотавром, Тезей обещал отцу в случае победы заменить паруса на белые, но забыл об обещании).

«Среди священников левитом молодым...» (с. 117).— Страна, 1918, № 9, 7 апреля (25 марта), с. 2, с посвящением А. В. Карташеву и с опечатками в ст. 8 и 9. Альм. «Творчество», Харьков, 1919, № 3 (апрель), с. 3—4. Альм. «Ковчег». Феодосия, 1920, с. 16 (с опечатками), с датой «1917». *Т,* с. 30. Альм. «Возрождение». М., 1922, т. 1, вып. 1-2, с. 106. *ВК,* с. 27. *С,* с. 119 (в *НР-28* первоначально дата «1916», зачеркнуто и вписано: «1917»). В *БП* отсутствует. Авториз. список, под загл. «Иудеям» и с разночт. в ст. 3: «спускалася над ним», ст. 4: «угрюмо воздвигался» и ст. 12: «Ерусалима ночь среди небытия», прямая речь относится и к строфе 3,— *К-16 (Кабл.).* Печ. по газ. «Страна», с исправлением опечаток.

В 1965 г. в письме к И. Бродскому Н. Я. Мандельштам писала: «Дорогой Иосиф! Честно говоря, я не понимаю, какой нужен комментарий к этому стихотворению... О. М. не историк и не этнограф, а человек историософской мысли, который в историческом узле видел откровения и аналогии. Это стихотворение написано в 1917 году и посвящено Карташеву, религиозному деятелю, члену рел.-фил. общества. «Молодой левит» — это и тот, кому посвящено стихотворение, и сам О. М., Карт<ашева> выпустили незадолго до опубликования этих стихов из Петропавловской крепости. Речь идет о пророчествах типа «сему месту быть пусту» Евдохи, жены Петра Великого. Иначе говоря, сие место рухнет, как рухнул Иерусалим. Обратите внимание на строку: «и храм разрушенный угрюмо созидался». Храм был уже разрушен, и будет разрушен тот, который созидается... Если хотите, это символ культуры вообще. Речь идет о том, что называется «петровский петербургский период русской истории». Старцы — наделенные властью — не видят приближения конца; видит лицо неофициальное — молодой левит (Карташев, О. М.— сам). Концом Иерусалима была тьма, ночь, наступившая, когда Он был на кресте и разодралась завеса. В лен пеленали тело, снятое с креста. «Суббота» с большой буквы. Это не иудейская, а христианско-иудейская символика. Он, которого пеленали

в лен (Иоанн, Лука), назван «Субботой», как бы высшим цветением той павшей культуры.

Что еще нужно объяснять? Что старцы в ус не дуют? Или что есть обычай что-то пеленать? Искать этнографию или историософскую мысль? Объясните, что это стихотворение темное и непонятное, что объяснить его нельзя... И что оно должно пониматься как тревога. Хватит?» (по копии из архива И. М. Семенко). *Карташев* Антон Владимирович (1875—1960)—видный историк православной церкви, один из ведущих участников, а с 1909 г. и председатель петербургского Религиозно-философского общества (секретарем которого в 1909—1913 гг. был С. П. Каблуков). При Временном правительстве—помощник обер-прокурора и обер-прокурор Синода, затем министр вероисповеданий. После Октябрьской революции арестован большевиками и заключен в Петропавловскую крепость (освобожден в марте 1918 г., т. е. незадолго до публикации ст-ния). *Левиты*—наследственные низшие служители иудейского культа. *Черно-желтый свет*—традиционная гамма иудаизма и одновременно самодержавия (см. коммент. к ст-нию «Императорский виссон...»).

«Когда на площадях и в тишине келейной...» (с. 118).—Знамя, М., 1919, № 2, 3 февраля, с. 16, под загл. «Рейнвейн». Москва, 1919, № 3, с. 5. *Т*, с. 29, с датой «1917». Альм. «Наши дни», 1922, № 2, с. 200. *ВК*, с. 28. *С*, с. 118. *БП*, № 83. Печ. по *С*.

Написано в конце 1917 г. Предположительно обращено к Ахматовой (см.: *Ахматова*, с. 195, а также знак «?» против этого ст-ния в экз. *Т*, на котором Ахматова раскрыла известные ей посвящения—Музей А. Ахматовой, Ленинград). *Валгалла*—обитель бога Одина (Вотана), обиталище душ погибших воинов. *Скальд*.—См. ст-ние «Я не слыхал рассказов Оссиана...».

Кассандре (с. 118).—Воля народа, 1917, 31 декабря, без последней строфы и с разночт. (см. Приложения, <I>). Свободный час, 1919, № 1 (январь). *С*, с. 114,—строфа 1 (что, по предположению В. А. Швейцер, лишь фиксирует место этого ст-ния в ряду прочих), в *НР-28* отсутствует, в *Кофр-28*—строфы 1—4 (строфы 2—4 вычеркнуты красным карандашом цензора), в ст. 15—16 разночт.:

Лети, безрукая победа,
И зачумленная зима!

А. Ахматова цитирует ст. 9—12, в т. ч. ст. 10—11 с разночт., по-видимому, являющимся ошибкой памяти: «На диком празднике у берега Невы // Под звуки...». В списке, продиктованном А. Ахматовой В. Я. Виленкину, разночт.: в ст. 11—«Под звуки»; в ст. 15—16: «Лети, безрукая победа— // Гиперборейская чума» и в ст. 21—22: «Касатка милая, Кассандра! // Ты стонешь, ты горишь—зачем...» (*Ахматова*, с. 199). В *БП* отсутствует. Печ. по «Свободному часу».

Обращено к Ахматовой. Ср. ст-ние «Когда октябрьский нам готовил временщик...», а также набросок «Какая вещая Кассандра...»—*К-16 (Кабл.)*, под загл. «Отрывок» и с датой «1915», на наш взгляд, тесно

связанный с данным ст-нием (см. Приложения, <II>). Ср. также со ст-ниями Ахматовой «Молитва» (1915) (перепечатано 26 ноября 1917 г. в газете «Право народа», а 27 ноября, т. е. за 1 день до объявленного созыва Учредительного собрания, прочитано автором на митинге Союза русских писателей в защиту свободы слова) и «Теперь никто не станет слушать песен...» (1917).

В то же время ощутима и автобиографическая нота. Ср.: «После некоторых колебаний решаюсь вспомнить в этих записках, что мне пришлось объяснить Осипу, что нам не следует так часто встречаться, что может дать людям материал для превратного толкования наших отношений. После этого, примерно в марте <1918 г.— *П. Н.*>, Мандельштам исчез» (*Ахматова*, с. 195—196). *Кассандра*— вещая дочь Приама, царя Трои, обреченная предсказывать беды и ни у кого не находить веры своим предсказаниям. *Волею народа.*—Ср. название эсеровской газеты, где активно сотрудничали и Мандельштам и Ахматова (в ней напечатано и это ст-ние). *Скифский праздник*— несомненно, намек на публицистику группы писателей «Скифы», примыкавших к левым эсерам (Р. Иванов-Разумник, А. Блок, А. Белый, Н. Клюев, М. Пришвин), воспевавших революцию как стихию, как праздник революционной воли (см. «Скифы», сб. 1. Пг., 1917, а также ст-ние А. Блока «Скифы»). В сочетании с упоминанием чумы в ст-нии возникает специфическая атмосфера «пира во время чумы». *Гиперборейская чума* (гиперборейская — здесь: северная).— В начале января 1918 г. в газетах появились сообщения об угрозе распространения в Петрограде чумы, эпидемия которой вспыхнула в Трапезунде. *Волков горящими пугает головнями.*—Ср. те же образы в ст-нии в прозе Ф. Ф. Кокошкина, одного из лидеров кадетской партии и члена Временного правительства, написанном им незадолго до его убийства в Петропавловской крепости (*Сегал*, с. 178—193). *Солнце Александра*— соединение образов Пушкина, Александра I и, возможно, А. Ф. Керенского.

«В тот вечер не гудел стрельчатый лес органа...» (с. 119).— Ипокрена, 1918, № 2-3, с. 28 (под римской цифрой II, в цикле со ст-нием «Мне холодно! Прозрачная весна...»). *Т*, с. 33, с датой «1918» и с разночт. в ст. 2: «Нам пела Шуберта» и ст. 8: «С звериной яростью». *К-23*, с. 42. *С*, с. 115, с датой (ошибочной) «1917». *БП*, № 84. Автограф — в альбоме В. И. Кривича-Анненского, с датой написания (зачеркнутой) «янв<арь 1918 г.>» и датой записи: «7 мая 1918 г., Петербург» — и эпиграфом: «Du, Doppelgänger! du, bleicher Geselle!..» — из ст-ния Г. Гейне «Двойник» («Книга песен»),— *ЦГАЛИ*, ф. 5, оп. 1, ед. хр. 111, л. 122. Автограф, под загл. «Шуберт» и с разночт. в ст. 5: «Старинной жизни»,— в собр. М. И. Чуванова. Печ. по автографу *(ЦГАЛИ)*.

Написано после посещения вечера певицы О. Н. Бутомо-Названовой (*Ахматова*, с. 194), состоявшегося 30 декабря 1917 г. (см.: Кац Б., Тименчик Р. Анна Ахматова и музыка. Л., 1989, с. 25—26). Образы ст-ния навеяны песнями Шуберта на стихи В. Мюллера «Прекрасная мельничиха», В. Гете «Лесной царь» и Г. Гейне «Двойник».

«Твое чудесное произношенье...» (с. 120).— Альм. «Творче-

ство», Харьков, 1919, № 3 (апрель), с. 3. *Т*, с. 34, с датой «1918» и опечаткой в ст. 6. *ВК*, с. 29. *С*, с. 116, с датой (ошибочной) «1917». *БП*, № 85. Печ. по *С*.

Написано в начале 1918 г. Обращено к Ахматовой. В этом ст-нии — «соединение мотива телефона и объятой борениями души в предчувствии смерти... Первая строфа декларирует синэстетическое подобие бестелесного голоса и обеззвученной молнии, глухонемой зарницы... Во второй строфе посвист женской речи... сближен с блаженной бессмыслицей или же с иноязычной фонетикой — через параллелизм русского «что» и польского «co». Звук телефонного сигнала и позднее напоминал Мандельштаму о польской речи...» (Тименчик Р. Д. К символике телефона в русской поэзии.— Зеркало. Семиотика зеркальности. Труды по знаковым системам. XXII. Тарту, 1988, с. 158—159. *Горячий посвист хищных птиц.*—Ср. у Ахматовой в ст-нии «Вижу, вижу лунный лук...» (1914): «Не с тобой ли говорю // В остром крике хищных птиц...».

«Что поют часы-кузнечик...» (с. 120).—Сб. «Обвалы сердца». Севастополь, 1920, с. 15, под редакц. загл. «В горячке соловьиной». *Т*, с. 50, с разночт. в ст. 13: «Потому что смерть невинных». Красная новь, 1923, № 1, с. 50. *ВК*, с. 30, с разночт. в ст. 1: «Что поют часы, кузнечик». *С*, с. 117, с разночт. (возможно, опечаткой — в *НР-28* была невыправленная машинопись) в ст. 12: «И на дне морском: прости» и с ошибочной датой: «1917» (исправлено на «1918» в авт. экз. *С*). *БП*, № 86. Печ. по ж. «Красная новь».

Написано в начале 1918 г. Обращено к Ахматовой. *Лихорадка шелестит.*—«Это мы вместе топили печку: у меня жар — я мерю температуру» (*Ахматова*, с. 195, примеч. 41). *Красный шелк.*— Мандельштам говорил, что огонь похож на красный шелк (примеч. к *БП*, № 86). *И на дне морском простит.*—Ср. в ст-нии «Телефон» (1918): «На дне морском цветет: прости!»

«На страшной высоте блуждающий огонь!..» (с. 121).— Вечерняя звезда, Пг., 1918, 6 марта, с датой: «март 1918 г.». *Т*, с. 69. Петербург в стихотворениях русских поэтов. Берлин, 1923, с. 112. *ВК*, с. 31. *С*, с. 120, с датой «1918» и с разночт. в ст. 6—7:

Зеленая звезда мерцает.
О, если ты, звезда, воде и небу брат,

а также в пунктуации, причем эти последние ведут к существенному смысловому сдвигу. *БП*, № 87. Печ. по газете.

Написано в дни немецкого наступления на Петроград, развивает намеченные в цикле «Мне холодно. Прозрачная весна...» (1916) взаимосвязанные мотивы «смерти» и «холодной весны» (зима и весна 1918 г. были особенно холодными и долгими — в том числе из-за перевода календаря 25 января на 13 дней вперед), при этом мотив «смерти» преобразуется в мотив «страшной небесной угрозы» и неизбежной «гибели» Петрограда, а точнее — олицетворяемой им «европейской» России (см.: *Сегал*, с. 178—193). Как и гимн «Сумерки свободы»,

это ст-ние тесно связано с апокалиптической образностью — ср. Откровение св. Иоанна Богослова, 8, 10—11. *Воды и неба брат.*—Ср. ст. 3—4 в ст-нии «Адмиралтейство». *Чудовищный корабль.*—Незадолго до подписания мирного договора с Германией в Брест-Литовске, 3 марта 1918 г. немецкие цеппелины совершили несколько налетов на Петроград (см., напр.: Блок А. Записные книжки. М., 1965, с. 392—393). Ср. также «Воздушный корабль» Лермонтова с его мотивом призрака свергнутого императора.

«Когда в теплой ночи замирает...» (с. 121).—Жизнь, Пг., 1918, 30 июня. *ВК,* с. 32. *С,* с. 121, с опечаткой в ст. 1: «в темной ночи». В *Корф.-28* в ст. 16 вместо «ствол» первоначально стояло «свод». *БП,* № 88. Два автографа, в т. ч. один с пометой: «Май. 1918, Москва»,— *ЦГАЛИ,* ф. 1893, оп. 1, ед. хр. 1, л. 1, 2. Печ. по автографу с датой.

В мае 1918 г. Мандельштам переезжает в Москву, уволившись из Комиссии по разгрузке Петрограда, а с 1 июня — приступает к службе в отделе реформы высшей школы Наркомпроса, поселившись в гостинице «Метрополь» (*ВЛ,* 1989, № 9, с. 275—279). *Геркуланум*— римский город, погибший вместе с Помпеями во время извержения Везувия в 79 г. н. э. и раскопанный археологами,— образ мертвого города, из улиц и зданий которого ушла жизнь. *И убогого рынка.*—Имеется в виду Охотный ряд. *Дорический ствол*— Большой театр.

Сумерки свободы (с. 122).—Знамя труда, Пг., 1918, 24(11) мая, под загл. «Гимн» и с пометой: «Москва, май 1918». Известия Временного рабоче-крестьянского правительства Украины, Харьков, 1919, 9 марта, под загл. «Сумерки свободы». Красный милиционер, 1921, № 2-3. *Т,* с. 67—68, под загл. «Сумерки свободы». *ВК,* с. 33—34. *С,* с. 122, с точками вместо ст. 1—2 и 9—10 и разночт. в ст. 5: «Выходишь» (дата «1918» — вычеркнута в *Корф.-28*). *БП,* № 89. Печ. по газ. «Известия...».

В ст-нии осмысливается опыт первого года революции — опыт надежд, свершений и разочарований. См. вступ. статью. О впечатлении, произведенном этим ст-нием на современников, см.: Эренбург И. Люди, годы, жизнь. Кн. 1 и 2. М., 1961, с. 360. *Сумерки свободы.*— Слово «сумерки», очевидно, употреблено в двух смыслах: и как рассвет, восход свободы весной 1917 г., и как ее закат весной 1918 г. *В глухие годы.*—Ср. у А. Блока: «В те годы дальние, глухие...» («Возмездие»; многие мотивы этой поэмы перекликаются с данным ст-нием). *Братья.*—Ср. призыв к братству в «Скифах» А. Блока, опубликованных в той же газете 8 февраля 1918 г. *О, солнце, судия, народ.*—Кроме возвышенно-абстрактного значения народного суда как «суда истории» здесь несомненен и заземленно-конкретный смысл самосудов толпы (ср. «*ЕМ*»), сообщениями о которых изобиловали газеты 1917—1918 гг. *Твой корабль*— очевидно, противостоит «пароходу современности» футуристов с их декларированным отказом от культурного наследия. По свидетельству И. С. Поступальского, Мандельштам говорил ему в конце 20-х годов, что при написании этого ст-ния у него были «...какие-то ассоциации с «Варягом». Вот и решайте, чего в стихах больше — надежды или безнадежности. Но главное — это пафос воли». Крейсер «Варяг»,

затопленный по приказу командира в неравном бою с японской эскадрой в 1904 г., в 1916 г. был выкуплен Россией у Японии, но в 1918 г. потоплен немцами в Ирландском море. *Мы в легионы боевые связали ласточек*— намек на резкую поляризацию после революции не только общественных, но и художественных сил: образ ласточки у Мандельштама ассоциируется с Психеей, поэтическим словом. *Десяти небес*— над девятью небесами Рая, согласно дантовско-птолемеевой космогонии, помещается десятое — недвижимый Эмпирей, обитель Божества.

Tristia (с. 124).— Пути творчества, Харьков, 1919, № 4, с. 11, без ст. 25—28 и с разночт. в ст. 9: «при слове расставанья» и в ст. 29: «о каменном Эребе». Альм. «Гермес», Киев, 1919, сб. 1 (апрель), с. 11, со строкой отточий между строфами 2 и 3 (чем Мандельштам, по сообщ. Н. И. Харджиева, отметил место двух отброшенных строф), а также с разночт. (или опечаткой) в ст. 14: «ленивый вол». Альм. «Дракон». Пг., 1921, с. 16—17, под загл. «Tristia». *Т*, с. 35—36, под загл. «Tristia» и с датой «1918». *ВК*, с. 35—36 (в *Корр.-23* в ст. 29 «мечтать» исправлено на «гадать»). *С*, с. 123—124, под загл. «Tristia» (зачеркнуто и вновь восстановлено в *Корр.-28*), с датой «1918» и опечаткой в ст. 4: «веселий городских». *БП*, № 90. Автограф строфы 2 (по старой орфографии и с датой: «Киев, 27 апреля 1919 г.») — в альбоме М. М. Марьяновой (*ЦГАЛИ*, ф. 1336, оп. 2, ед. хр. 1, л. 25). Печ. по *С*, с исправлением опечатки.

Заглавие восходит к циклу Публия Овидия Назона «Tristia» («Скорбные песни»), само ст-ние перекликается с третьей элегией первой книги Тибулла в вольном переводе К. Батюшкова, посвященной разлуке поэта с его возлюбленной Делией (см.: Бухштаб Б. Поэзия Мандельштама.— *ВЛ*, 1989, № 1, с. 143—144). *В простоволосых жалобах ночных.*— Ср. у Батюшкова о Делии: «И с распущенными по ветру волосами». *Вигилии* (букв.: бдения) — смены ночных караулов, по которым в Древнем Риме время от заката до рассвета делилось на четыре равные части; смысл термина был оживлен в памяти людей символистской и постсимволистской культуры заглавием сборника В. Брюсова «Tertia vigilia» («Третья стража», 1900). *Как беличья распластанная шкурка.*—Ср. у А. Ахматовой в ст-нии «Высоко в небе облачко серело...» (1911): «Как беличья расстеленная шкурка...» *Эреб*— царство мертвых у древних греков.

Черепаха (с. 125).— Пути творчества, Харьков, 1920, № 6-7 (январь — февраль), с. 13, под загл. «Черепаха», с разночт. в ст. 10: «пестрый башмачок». Альм. «К искусству!», Феодосия, 1921, № 1 (сообщ. В. П. Купченко). Альм. «Дракон». Пг., 1921, с. 18—19, под загл. «Черепаха», с разночт. в ст. 24: «предчувствуя полет» и в ст. 26: «бежит трава». *Т*, с. 37—38, под загл. «Черепаха», с датой «1919». *ВК*, с. 37—38 (в *Корр.-23* в ст. 10 «башмачок» исправлен на «сапожок»). *С*, с. 125—126 (загл. «Черепаха» снято в *Корр.-28*) и с датой «1919». *БП*, № 91. По сообщ. И. В. Одоевцевой, это ст-ние предназначалось также для 4-го выпуска «Нового Гиперборея» (*Одоевцева*, с. 262—263). Печ. по *Т*.

По свидетельству Н. Я. Мандельштам, написано в Киеве 2 мая 1919 г. «Две последние строки были предложены О. М. Маккавейским и были приняты О. М., не знавшим, как кончить эти стихи» (помета на экз-ре *С* из собр. М. С. Лесмана — восходит, видимо, к воспоминаниям Ю. Терапиано «Встречи» (Нью-Йорк, 1953, с. 13—15). Выяснению подтекстов этого ст-ния посвящены статья К. Ф. Тарановского «Пчелы и осы в поэзии Мандельштама» (To Honor Roman Jakobson, v. III, Paris, 1967) и исследование Г. А. Левинтона «На каменных отрогах Пиэрии» Мандельштама: материалы к анализу» (*RL*, 1977, v. V, № 2, 3). Ст-ние пронизано мотивами из фрагментов Сафо, воспринятых через переводы Вяч. Иванова (Алкей и Сафо. М., 1914). *Пиэрия* — область во Фракии, где существовал культ муз. *Лирники, криница* — украинизмы; по предположению Г. А. Левинтона, Мандельштам в Киеве мог знать и украинские переводы Сафо (Франко I. Алька и Сапфо. Львiв, 1913); вместе с тем «лирниками» часто называл эпических певцов в статьях Вяч. Иванов. *Ионийский мед* — здесь: античная поэзия (от Ионии — прибрежной части Малой Азии вкупе с островами Эгейского архипелага). *Сафо* (VII—VI вв. до н. э.) — греческая поэтесса, жила на о. Лесбос, воспевала любовь, юношескую и девичью красоту; бросилась со скалы в море, после того как возлюбленный отверг ее любовь. Реминисценции из ее стихов прослежены Г. А. Левинтоном, К. Ф. Тарановским, а также Н. И. Харджиевым в примеч. к *БП*, № 91. *Черепаха-лира.* — Изобретатель лиры бог Гермес впервые изготовил ее из панциря черепахи. Известны монеты с профилем Сафо, на оборотной стороне которых изображена лира в виде черепахи. *Эпир* — побережье северо-западной Греции. *Терпандр* (VII в. до н. э.) — древнегреческий поэт, как и Сафо, живший на Лесбосе; ему приписывают усовершенствование лиры (первоначально на ней было не 7, а 4 струны). На вопрос, отчего черепаха-лира ожидает Терпандра, а не Меркурия (т. е. Гермеса), Мандельштам ответил: «Оттого, что Терпандр действительно жил на Лесбосе и действительно сделал лиру. Это придает стихотворению реальность и вещественную тяжесть. С Меркурием оно было бы слишком легкомысленно легкокрылым» (*Одоевцева*, с. 126).

«В хрустальном омуте такая крутизна...» (с. 125).— *Т*, с. 40, с датой «1919» и опечаткой в ст. 16: «Палестины». *С*, с. 131,— только строфа 1 (см. Приложения). *БП*, № 92 (по *С*). Автограф строфы 1 — *ГПБ*, ф. 474, альб. 2, л. 379 (после строфы — отточие и дата «1919»; помета — «После «Венеции», что и соответствует месту ст-ния в *С*). Печ. по *Т*, с исправлением опечатки.

По предположению В. Купченко, написано осенью 1919 г. в Коктебеле (*ВЛ*, 1987, № 7, с. 194). *Сиенские предстательствуют горы* — условные остроконечные холмы, составляющие непременный атрибут ландшафта в сиенской живописи XIV—XV вв. (Сиена — город в Тоскане; ср. «всечеловеческие, яснеющие в Тоскане» холмы в ст-нии «Не сравнивай: живущий несравним...»). *С висячей лестницы пророков и царей.* — Лестница Иакова (Бытие, 28, 11—17). *Палестрина* Д. П. (1526—1594) — итальянский духовный композитор, его музыка — вершина католической хоровой полифонии.

«С е с т р ы т я ж е с т ь и н е ж н о с т ь, о д и н а к о в ы в а ш и п р и м е т ы...» (с. 126).— Альм. «Ковчег». Феодосия, 1920, с. 15, с пометой: «Коктебель, март 1920»; сб. «Поэзия революционной Москвы» (под ред. И. Эренбурга). Берлин, Мысль, 1921, с. 75, с датой «март 1920»; альм. «Со[юз] по[этов]». М., 1922, № 2, с разночт. в ст. 8: «как времени бремя убить»; *Т*, с. 55, с датой «1920» — везде с разночт. в ст. 6: «Легче камень поднять, чем вымолвить слово: любить» (в рец. Н. Оцупа на альм. «Союз поэтов» эта строка названа комической из-за употребления неопределенного наклонения вместо изъявительного — см.: альм. «Цех поэтов», Пг., 1922, кн. 3, с. 71). Железный путь, Воронеж, 1923, № 9, 20 мая, с. 2; *ВК*, с. 39; *С*, с. 127, с датой «1920». *БП*, № 93. Автографы — *ПС* (№ 2) и в альбоме Д. И. Шепеленко (*ЦГАЛИ*, ф. 2801, оп. 1, ед. хр. 5, л. 11—12, с датой записи: «6 декабря 1922, Москва»). Печ. по *С*.

Ст-ние, как бы лишенное античной эмблематики, насквозь пронизано образным миром античности. Вместе с тем очевидна и перекличка со ст-нием А. Фета «Моего тот безумства желал, кто смежал...» (Б р о й т м а н С. Н. К проблеме диалога в лирике (опыт анализа стихотворения О. Мандельштама «Сестры — тяжесть и нежность...»).— Художественное целое как предмет типологического анализа. Кемерово, 1981, с. 33—44). Изначально тяжесть, по С. Н. Бройтману, это телесная полнота созревшего живого, нежность — легкое, духовное начало, связанное с еще не созревшей и потому слабой жизнью. Их соединение (сестры) соответствует именно античному типу сознания. *Человек умирает.*—Ср. мотивы смерти и рождения человека в «Веницейской жизни». *Вчерашнее солнце.*— «О том, что «Вчерашнее солнце на черных носилках несут» — Пушкин, ни я, ни даже Надя не знали, и это выяснилось только теперь из черновиков (50-е годы)» (*Ахматова*, с. 198). Н. Я. Мандельштам связывает это со словами Гоголя о том, что вчера еще Пушкин, как солнце, был центром притяжения людей, а сегодня — он мертв и лежит в гробу. Вместе с тем речь идет не только о Пушкине, но и о любом другом человеке (*НМ-II*, с. 127—128). *Время вспахано плугом.*— Ср. в статье «Слово и культура»: «Поэзия — плуг, взрывающий время так, что глубинные слои времени, его чернозем оказывается сверху» (II, 169).

«В е р н и с ь в с м е с и т е л ь н о е л о н о...» (с. 126).— *Т*, с. 43. *ВК*, с. 40. *С*, с. 128, с датой «1920». *БП*, № 94. Печ. по *С*.

Обращено к Н. Я. Мандельштам. Написано в Феодосии, куда Мандельштам, влюбленный в свою будущую жену, приехал из Киева. Он писал ей 5 декабря 1919 г.: «Вчера я мысленно, непроизвольно сказал «за тебя»: «Я должна (вместо «должен») его найти», то есть ты через меня сказала... Надюша, мы будем вместе, чего бы это ни стоило, я найду тебя и для тебя буду жить, потому что ты даешь мне жизнь, сама того не зная,— голубка моя — «бессмертной нежностью своей»...» (*СС-III*, с. 198). «От меня он хотел одного — чтобы я отдала ему свою жизнь, осталась не собой, а частью его существа... Однажды... я вспомнила стихи про Лию. Библейская Лия — нелюбимая жена. И я сказала: «Я теперь знаю, о ком эти стихи»... Он, как оказалось, окрестил Лией дочь Лота... Как-то ночью, думая обо мне, он вдруг увидел, что я

должна прийти к нему, как дочери к Лоту» (*НМ-II*, с. 263). О Лоте и его дочерях см.: Бытие, 19, 30—38. *Лия*—первая жена Иакова и сестра Рахили, его второй и любимой жены. *Илион*—Троя. Ср. в очерке Н. Я. Мандельштам «Отец»: «В 1917 г. отец сказал: «Война скоро кончится. Надо поскорее ехать в Грецию» (*НМ-III*, с. 86). *Елена.*—См. коммент. к ст-нию «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...».

Феодосия (с. 127).—*Т*, с. 39, строфы 4—5, с датой «1919»,—см. Приложения. Альм. «К искусству», Феодосия, 1920, № 1 (сообщ. В. П. Купченко). Культура и жизнь, М., 1922, № 4 (май), с. 1, с датой «1920—1922». Красная новь, 1923, № 1, с. 48. *ВК*, с. 43—45. *С*, с. 132—133, с датой «1920». *БП*, № 96. Печ. по *С*.

Ср. описание города в прозе «Феодосия». *Месмерический*—то есть существующий самостоятельно, как бы в силу «животного магнетизма», открытого в XVIII в. австрийским врачом Ф. Месмером; здесь имеется в виду изображение летающих утюгов на вывесках дореволюционных прачечных. *Смирна* (совр. Измир)—древнегреческий город в Ионии (по Геродоту, первоначально принадлежал эолийцам). Через Смирну в VI в. до н. э. покидала родину по жребию половина жителей Лидии, расположенной внутри Малой Азии и подвергшейся страшному голоду; оставшиеся лидийцы были покорены персами, а переселенцы прибыли в землю омбриков (современная Умбри в Италии), где благополучно дожили до времени Геродота. Этот сюжет прямо перекликается с проблемой эмиграции русской аристократии и части интеллигенции из крымских портов (в 1919—1922 гг. шла также греко-турецкая война, начавшаяся с высадки греческих войск в Анатолии и приведшая к усиленной греческой эмиграции из Турции).

«Мне Тифлис горбатый снится...» (с. 128).—Альм. «Цех поэтов», 1922, кн. 3, с. 18, вторым в цикле со ст-нием «Золотистого меда струя из бутылки текла...»; Рупор, М., 1922, № 5, с. 2, с разночт. в ст. 17: «Ты приятеля найдешь»; *Т*, с. 52—53; *ВК*, с. 61,—везде без строфы 5. *С*, с. 139—140, с датой «1920», строфа 5 введена в *Корр.-28*—автограф см. в альбоме П. Н. Медведева (*ГПБ*, ф. 474, альб. 2, л. 380, с пометой: «К «Мне Тифлис...»—в конец»)—см. Приложения. *БП*, № 101, где дается с поправками, внесенными в авт. экз. *С* 7 ноября 1935 г. Автограф, под загл. «Тифлис», без строфы 5,—*ПС* (№ 7). Печ. по *БП*.

Мандельштам впервые оказался в Тифлисе в сентябре 1920 г. проездом из Феодосии и Батума в Москву. 26 сентября состоялся его (и И. Эренбурга) вечер в Тифлисской консерватории. *Сазандаръ*—певец, аккомпанирующий себе на сазе (восточном инструменте типа мандолины). *Телиани*—сорт грузинского красного вина.

Венецейская жизнь (с. 129).—Альм. «Цех поэтов», Пг., 1921, кн. 2, с. 27, первым в цикле со ст-ниями «За то, что я руки твои не сумел удержать...» и «Чуть мерцает призрачная сцена...»; *Т*, с. 60—61, под загл. «Венецейская жизнь», с датой «1920»,—в обоих случаях с разночт. в ст. 5: «Тонкий воздух, кожи синие прожилки». Огонек, 1923, № 7, под загл. «Венеция». *ВК*, с. 41—42, и *С*, с. 129—130,—без загл., в *С*—с датой «1920». Автограф—*ПС* (№ 1). Автограф, под загл. «Вени-

цейская жизнь» и без даты, на обороте экз-ра договора с изд-вом «Petropolis» на издание сборника стихов «Новый камень», подписанного Я. Н. Блохом 5 ноября 1920 г.—*ЦГАЛИ,* ф. 1893, оп. 1, ед. хр. 8, л. 1. *БП,* № 95. Печ. по автографу *(ЦГАЛИ).*

21 октября 1920 г. Мандельштам читал эти стихи в Союзе поэтов на Литейной. А. Блок записал в своем дневнике: «Гвоздь вечера— И. Мандельштам. Постепенно привыкаешь, «жидочек» прячется, виден артист. Его стихи возникают из снов — очень своеобразных, лежащих в областях искусства только. Гумилев определяет его путь: от иррационального к рациональному (противоположность моему). Его «Венеция» (полный текст сообщен А. Л. Гришуниным). В Италии Мандельштам был дважды, и оба раза — очень коротко, в августе 1908 и в начале 1910 г. *Голубое дряхлое стекло*— знаменитые венецианские стеклянные изделия эпохи Возрождения. *Кипарисные носилки.*— Кипарис у древних греков — дерево скорби: кипарисовую ветвь всшали у дверей дома умершего, хвоей украшали погребальные костры, а у могил высаживали сами деревья. *Словно голубь залетел в ковчег.*—Ветвь в клюве голубя, вернувшегося в ковчег, означала прекращение всемирного потопа и как бы возвещала возрождение, обновление будущей жизни. *Сатурново кольцо.*—Сатурн, вторая по величине планета, окружена состоящими из громадного числа малых тел кольцами; в начале XX в. полагали, что это одно гигантское кольцо. *Веспер*— вечерняя звезда (Венера). *Сусанна*— иудейская девушка, приговоренная к побитию камнями после того, как ее оклеветали старцы, пытавшиеся ее соблазнить. От смерти ее спас пророк Даниил. «Купающаяся Сусанна и старцы» — распространенный живописный сюжет; наиболее известны две картины Я. Тинторетто, венецианского художника XVI в., высоко ценимого Мандельштамом.

«Когда Психея-жизнь спускается к теням...» (с. 130).— *Т,* с. 65, с разночт. в ст. 12: «Сухие шалости»; альм. «Лирический круг». Вып. 1. М., 1922, с. 17, вторым в цикле со ст-нием «Умывался ночью на дворе...»,— в обоих случаях с разночт. в ст. 14: «туманные дубравы». Накануне, Берлин, 1923, 8 апреля (лит. приложение), третьим в цикле «Летейские стихи» (вместе со ст-ниями «Я слово позабыл, что я хотел сказать...» и «Возьми на радость из моих ладоней...»). *ВК,* с. 48 (в *НР-28*— дата «1920»). Железный путь, Воронеж, 1923, № 12, 26 июля, с. 1. *С,* с. 134. *БП,* № 97, где дается по авт. экз. *С,* с. 134, с поправкой в ст. 15 — «зеркальце» вместо «зеркало»,— внесенной 22 марта 1937 г. Автографы — *ПС* (№ 4), в альбоме А. И. Ходасевич (*ЦГАЛИ,* ф. 537, оп. 1, ед. хр. 127, л. 47) и в *АИ* (на обложке экз-ра «Дом искусств», 1922, № 1, в котором на с. 12—13 напечатаны два других ст-ния из цикла «Летейские стихи»). Список рукой Л. Ландсберга, с пометой: «Рук. 1921» — *АВ.* В авториз. списке *(АМ)* вариант заключительной строфы (март 1937):

И в нежной сутолке, не зная, как ей быть,
Душа не узнает ни веса, ни объема,
Дохнет на зеркало — и медлит уплатить
Лепешку медную хозяину парома.

Этот вариант был отброшен (см. примеч. к *БП*). В примеч. к этому ст-нию в *СС-I*, с. 450, приводится другая отброшенная редакция этой строфы, датированная 29 марта 1937 г.: строки 1 и 3 в ней совпадают с текстом *С*, а строки 2 и 4—с редакцией этой строфы в примеч. к *БП*. Печ. по *БП*.

Психея—олицетворение души человека; изображалась в виде девушки с крыльями бабочки. *Стигийский*—от Стикса, реки в царстве мертвых. *Лепешку медную с туманной переправы*—обол, мелкая медная монета, которой расплачивались с Хароном («хозяином парома») перед переправой через Стикс.

Ласточка (с. 130).—Дом искусств, 1921, № 1 (5 ноября), с. 12, с датой «ноябрь 1920» и разночт. в ст. 19: «хотел сказать». *Т*, с. 70—71, под загл. «Ласточка», с датой «1920» и опечаткой в ст. 10: «прикинется». Накануне, Берлин, 1923, первым в цикле «Летейские стихи» (см. коммент. к предыдущему ст-нию) с разночт. в ст. 23: «А на устах». *ВК*, с. 53—54. *С*, с. 137—138, с датой «1920». *БП*, № 98. Черновой автограф—набросок двух переработанных строф, соответствующих строфам 4 и 6 окончательной редакции,—*ИРЛИ*, ф. 172, оп. 1, ед. хр. 68 (текст прочитан А. А. Морозовым), с пометой: «Черновик стихотворения Мандельштама, которое он писал в моей комнате в Доме Искусств» (помета, предположительно, М. Л. Слонимского—см. его Собр. соч., т. 4. Л., 1970, с. 411):

Снова ночь. Рыданье Аонид.
Пустого хора черное зиянье
Где ты, слово: щит и узнаванье.
Твой высокий лоб, твой гордый стыд.

[Сбрось повязку, вернись]
И среди беспамятства и звона
[Легкой пленницей] Нежной вестью, царской дочерью явись
Ласточка, подружка, Антигона...

Черновой автограф первоначальной и промежуточной редакций—*ЦГАЛИ*, ф. 300, оп. 1, ед. хр. 452 (см. Приложения). Автограф, под загл. «Слово»—*ПС* (№ 3). Кроме того, известны автографы фрагментов этого ст-ния: в альбоме Э. Ф. Голлербаха—строфы 5—6, с датой «30 ноября 1920 г.» и строфа 1 с датой «12 января 1920 г.» (очевидно, 1921 г.) (*ГПБ*, ф. 207, оп. 1, ед. хр. 105, л. 3, и ед. хр. 106, л. 29); ст. 19—20 с датой «27 января 1921»—в альбоме С. М. Алянского (Белов С. В. Романтика книжных поисков. М., 1986, с. 140); строфа 5, с датой «29 марта 1921 г.»—*ЦГАЛИ*, ф. 1893, оп. 1, ед. хр. 1, л. 5. Печ. по. *Т*, с исправлением опечатки.

Прокинется—здесь: прометнется, взовьется. *Антигона*—дочь фиванского царя Эдипа, последовавшая за ним в изгнание; здесь—символ дочернего самопожертвования. *Стигийской*.—См. коммент. к предыдущему ст-нию. *И выпуклую радостъ узнаванья*.—Ср. в статье «Слово и

культура» (II, 171). О творческой природе узнаванья у Мандельштама см. также *НМ-II*, с. 22—23. В античной поэтике «узнавание» было сугубо техническим термином. *Аониды*— музы.

«Возьми на радость из моих ладоней...» (с. 131).—Дом искусств, 1921, № 1 (5 ноября), с. 13, с датой «ноябрь 1920». Накануне, Берлин, 1923, 8 апреля (лит. прилож. № 47), вторым в цикле «Летейские стихи» (см. коммент. к ст-нию «Когда Психея-жизнь спускается к теням...»). *Т*, с. 65. *ВК*, с. 49. *С*, с. 143, с датой «1920». *БП*, № 102. Автограф — *ПС* (№ 5). Авториз. список рукой О. Н. Арбениной, с посвящением «Олечке Арбениной» — *ИРЛИ*, PI, оп. 17, ед. хр. 494. Машинопись и список рукой Н. Я. Мандельштам, с разночт. в ст. 15: «Мед превратившиx в соты» — в фонде ж. «Красная новь» — *ЦГАЛИ*, ф. 602, оп. 1, ед. хр. 734, л. 2, и ед. хр. 1165, л. 125. Автограф — в Чукоккале, *АЧ* (см.: Наше наследие, 1989, № 4, с. 74). Печ. по «Накануне».

Написано в Доме искусств (см.: Шкловский В. Сентиментальное путешествие. Воспоминания 1918—1923. Л., 1924, с. 136—137; Ходасевич В. Литературные статьи и воспоминания. Нью-Йорк, 1954, с. 408—409). Обращено к Ольге Николаевне Арбениной-Гильденбрандт (1897—1980) — актрисе Александринского театра и художнице. Ей посвящали свои стихи также Н. Гумилев, М. Кузмин, Б. Лившиц и др. поэты. См. о ней в кн.: Немировская М. А. Художники группы «Тринадцать». Из истории художественной жизни 1920—1930-х годов. М., 1985, с. 152—156. *Тайгет*— горный хребет на Пелопоннесском полуострове.

«Чуть мерцает призрачная сцена...» (с. 132).—Жизнь искусства, 1921, № 798-803, 9—14 августа, с. 6, с разночт. в ст. 15: «А на улицах летают плошки» и ст. 23—24:

И румяные затопленные печи,
Словно розы римских базилик.

Альм. «Цех поэтов», Пг., 1921, кн. 2, с. 29—30, с датой «декабрь 1920 г.», с разночт. в ст. 18: «И кромешна ночи тьма». Искусство, Баку, 1921, № 2-3 (октябрь), с. 13—14, под загл. «Эвридика» и с разночт. в ст. 18: «И хрипит» и в ст. 23—24 (см. выше). *Т*, с. 58—59, с опечаткой в ст. 27: «притона» и с разночт. в ст. 18 (см. выше). Обозрение театров гг. Ростова и Нахичевани-на-Дону, Ростов, 1922, № 5(10), 25—28 января, с. 4, под загл. «Театральный разъезд», с разночт. в ст. 23—24 (см. выше). Театр — Литература — Музыка, Харьков, 1922, № 4 (30 сентября), с. 1, с разночт. в ст. 18 и 23—24 (см. выше). Красная новь, 1923, № 1, с. 49, с разночт. в ст. 23—24 (см. выше). Альм. «Цех поэтов», Берлин, 1922, кн. 2-3 (май), с разночт. в ст. 23: «И на севере таинственно лепечет». *ВК*, с. 53—54. *С*, с. 137—138, с датой «1920». *БП*, № 100. Правленый автограф ранней редакции с датой «ноябрь 1920» — *АИ* (см. Приложения). Автограф, с разночт. в ст. 3: «Бережет ревниво Мельпомена» — в альбоме Ю. И. Юркуна (собр. Л. А. Глезера — сообщ. А. Е. Парнисом). Печ. по *С*.

Ст-ние навеяно впечатлениями от оперы Глюка «Орфей и Эвридика» и обращено к О. Н. Арбениной-Гильденбрандт. *Мельпомена*— муза трагедии. *Притин*— высшая (полуденная) точка движения солнца, здесь — верх блаженства. *«Ты вернешься на зеленые луга»*— ария Орфея из оперы Глюка «Орфей и Эвридика».

«В Петербурге мы сойдемся снова...» (с. 132).— *Т,* с. 46, с датой «25 ноября 1920 г.». Петербург в стихотворениях русских поэтов. Берлин, 1923, с датой «1920». *С,* с. 99—100, среди ст-ний 1916 г. в автоцензурной редакции (см. Приложения). *БП,* № 99. Черновой автограф первоначальной редакции, с пометой: «24 ноября 1920 г., Петербург»,— *АИ* (см. Приложения). Печ. по *Т.*

Размером и темой связано с предыдущим ст-нием. По сообщ. О. Н. Арбениной-Гильденбрандт, обращено к ней *(БП).* Это утверждение оспаривается Н. Я. Мандельштам: на вопрос, к кому обращено это ст-ние, Мандельштам «ответил вопросом, не кажется ли мне, что эти стихи обращены не к женщинам, а к мужчинам» (*НМ-II,* с. 68). *Только злой мотор во тьме промчится.*—Ср. ст. 21—22 ст-ния Блока «Шаги командора», которое Мандельштам считал «вершиной исторической поэтики Блока» (см. II, 190). *Киприда* (от о. Кипр)—одно из имен Афродиты (на Кипре был распространен ее культ). *Легкий пепел соберут.*— Ср. у Пушкина в ст-нии «Кривцову»: «...И подруги шалунов // Соберут их легкий пепел// В урны праздные пиров» (1817).

«За то, что я руки твои не сумел удержать...» (с. 133).— Новый Гиперборей. Журнал «Цеха поэтов». Пг., 1921, № 1, с. 5,— автограф, под загл. «Троянский конь» и с датой «ноябрь 1920» (см.: Лит. учеба, 1988, № 2, с. 128). «Альманах Цеха поэтов», Пг., 1921, кн. 2, с. 28, вторым в цикле со ст-ниями «Веницейской жизни, мрачной и бесплодной...» и «Чуть мерцает призрачная сцена...». Искусство, Баку, 1921, № 2-3 (октябрь), с. 14—15, под загл. «Конь», с неточностями. *Т,* с. 72—73, с разночт. в ст. 4: «плакучие древние срубы» и датой «декабрь 1920». Альм. «Цех поэтов», Берлин, 1922, кн. 2-3 (май). *ВК,* с. 50—51. Сб. «Московские поэты». Великий Устюг, 1924, с. 24, с неточностями. *С,* с. 144—145, с датой «1920». *БП,* № 103, где дается по автографу *ПС* (№ 8). Автограф— *ПС* (№ 8). Авториз. список ранней редакции— *АМ* (см. Приложения). Машинопись, под загл. «Конь» — в фонде «Красной нови» (*ЦГАЛИ,* ф. 602, оп. 1, ед. хр. 734, л. 1). Автограф строф 5 и 6, с датой «18 декабря 1920 г.» — в альбоме В. Познера, Париж (сообщ. А. Е. Парнисом). Печ. по *БП.*

Обращено к О. Н. Арбениной-Гильденбрандт. Ср. запись в дневнике П. Н. Лукницкого о том, что 1 января 1921 г. Мандельштам пришел к Гумилеву и сказал, имея в виду, по-видимому, брак О. Арбениной и Ю. И. Юркуна: «Мы оба обмануты»,— и оба они рассмеялись (см.: Лукницкая В. Перед тобой земля. Л., 1988, с. 338). *Троянский конь*— здесь: хитрость, прибегнув к которой греки (ахейские мужи) овладели Троей. *Приам*— царь Трои, отец Париса, похитителя Елены.

«Когда городская выходит на стогны луна...» (с. 134).— Всемирная иллюстрация. М., 1922, вып. 5, с. 8. *ВК,* с. 52. *С,* с. 146. с датой «1920». *БП,* № 105. Печ. по *С.*

Образно и ритмически связано с предыдущим ст-нием.

«Мне жалко, что теперь зима...» (с. 135).— *Т*, с. 62, с датой «декабрь 1920 г.» и без строфы 6. *ВК*, с. 59—60; *С*, с. 141—142, с датой «1920» — с разночт. в ст. 31: «И тень от шапочки». *БП*, № 104. Авториз. список — *ГЛМ*, ф. 352, оф. 8786. Авториз. машинопись, с рукописной вставкой строфы 6, с разночт. в ст. 6: «И с ласточкой» и датой «декабрь 1920» — *ЦГАЛИ*, ф. 1893, оп. 1, ед. хр. 1, л. 4. Печ. по *ГЛМ*.

Обращено к О. Н. Арбениной-Гильденбрандт. *Баута* — карнавальная полумаска.

«Я наравне с другими...» (с. 136).— *Т*, с. 56—57, с датой «1920» и разночт. в ст. 29—32:

И в полунощной дреме,
Во сне иль наяву,
В тревоге иль в истоме —
Но я тебя зову.

Альм. «Кольцо», 1922, кн. 1, с. 28. *ВК*, с. 57—58. *С*, с. 147—148. *БП*, № 106. Печ. по *С*.

Обращено к О. Н. Арбениной-Гильденбрандт.

«Я в хоровод теней, топтавших нежный луг...» (с. 136).— Альм. «Кольцо», 1922, кн. 1, с. 27, с разночт. в ст. 14—15:

Сам по себе не узнавая,
А ты гоняешься за легкою весной.

Накануне, Берлин, 1922, 25 июня (лит. приложение № 9). *ВК*, с. 55—56. *С*, с. 149—150, с датой «1920». *БП*, № 107. Печ. по *С*.

«Люблю под сводами седыя тишины...» (с. 137).— *Т*, с. 74—75, с датой «1921» и разночт. в ст. 1—5:

Исакий под фатой молочной белизны
Стоит седою голубятней,
И посох бередит седыя тишины
И чин воздушный, сердцу внятный.
Столетних панихид блуждающий призрак...

(эти строки перечеркнуты в авт. экз. *Т*, рядом помета: «Искажено! О. М.»). Накануне, Берлин, 1922, 28 мая (лит. прилож. № 5). Петербург в стихотворениях русских поэтов. Берлин, 1923, с. 44. *БП*, № 274. Автограф — *ЦГАЛИ*, ф. 1893, оп. 1, ед. хр. 1, л. 6. Печ. по *ЦГАЛИ*.

Написано весной 1921 г., переработано в апреле — мае 1922 г. Об общей семантике «хлебных» и иных метафор в этом ст-нии см. *Тоддес*, а также вступ. статью. *У Исаака*.— Имеется в виду Исаакиевский собор. *Генисаретский мрак* — от Геннисаретского (Тивериадского) озера в Палестине, в ряде евангельских эпизодов здесь рыбачили апостолы. *Великопостная седмица* — Страстная неделя. *Соборы вечные Софии и Петра*.— Имеются в виду соборы в Константинополе и Риме — главные храмы православия и католичества (ср. ст-ния «Айя-София» и «На площадь выбежав, свободен...»). *Зане* — ибо, потому что.

Стихи 1921—1925 гг.

Концерт на вокзале (с. 139).— Россия, 1924, № 3, с. 83. *С*, с. 153—154, с пропуском ст. 22 и датой «1921» (вписана в авт. экз. *С*). *БП*, № 108. Беловой автограф первопечатного текста — *AM*. Авториз. список, датированный 1927 г.,— собр. Е. М. Глинтерн. Автограф строф 1 и 2 — собр. М. И. Чуванова. Печ. по ж. «Россия».

Б. Пастернак писал Мандельштаму 24 октября 1924 г.: «У вас чудесное стихотворение в России» (*ЛО*, 1990, № 2, с. 49). Ср. главу «Музыка в Павловске» в *«ШВ». И ни одна звезда не говорит.*—Ср. у М. Лермонтова: «И звезда с звездою говорит». *Аониды*— музы. *Элизиум*— загробная страна блаженства.

«Умывался ночью на дворе...» (с. 140).— Фигаро, Тифлис, 1921, № 1, 4 декабря, с. 3. Альм. «Лирический круг», 1922, вып. 1, с. 16, первым в цикле со ст-нием «Когда Психея-жизнь спускается к теням...». Накануне, Берлин, 1922, 18 июня (лит. приложение № 8), с разночт. в ст. 7: «Чище правды грубого холста...» *ВК*, с. 62 (в *Корф.-23* в ст. 7 «грубого» исправлено на «свежего», а в ст. 12 «А» исправлено на «И»). *С*, с. 155, с датой «1921». *БП*, № 109. Печ. по альм. «Лирический круг».

Н. Я. Мандельштам называет это ст-ние «переломным» и «с новым голосом». Оно было написано осенью 1921 г. в Доме искусств (б. дом Сараджева) в Тифлисе — по всей вероятности, после известия о расстреле Н. Гумилева и о смерти А. Блока. «Мандельштам действительно умывался ночью на дворе — в роскошном особняке не было водопровода, воду привозили из источника и наливали огромную бочку, стоявшую во дворе,— всклянь, до самых краев. В стихи попало и грубое домотканое полотенце, которое мы привезли с Украины... В эти двенадцать строчек в невероятно сжатом виде вложено новое мироощущение возмужавшего человека, и в них названо то, что составляло содержание нового мироощущения: совесть, беда, холод, правдивая и страшная земля с ее суровостью, правда как основа жизни; самое чистое и прямое, что нам дано,— смерть и грубые звезды на небесной тверди...» (*НМ-III*, с. 49—50). Ст-ние должно было появиться также в харьковском ж. «Грядущие дни», но было снято: «Секретарь ЦК Мануильский потребовал на просмотр материал в гранках и разразился по поводу стихов, где встречаются: «Кому жестоких звезд соленые приказы», «Лунный луч, как соль на топоре»— Какая соль? При чем здесь топор? Ничего не понимаю! Что Ленин скажет? Предложено изъять...» (из письма Л. Ландсберга М. А. Волошину от 29 апреля 1922 г.— *ИРЛИ*, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 756). См. разбор этого ст-ния Ю. И. Левиным в «Slavic poetics» (Mouton, 1973, p. 267—276).

«Кому зима — арак и пунш голубоглазый...» (с. 140).— Россия, 1922, № 1 (август), с. 7, с разночт. в ст. 17: «Людишки темные». *ВК*, с. 63—64 (в *Корф.-23* в ст. 9 «Смотри» исправлено на «Взгляни»). *С*, с. 156—157, с датой «1922» и с разночт. в ст. 17: «Пусть люди темные» (исправление внесено в *Корф.-28* рукой редактора). *БП*, № 110. В

АВ — список Л. Ландсберга, присланный М. Волошину из Ростова, с пометой «Из рукоп. 1922», с разночт. в ст. 12: «сквозь непролазный пух» и ст. 23: «придти», а также с вариантом ст. 18—20:

И кто-то говорит, и хрупкий наст скрипит,
Есть соль на топоре, но где достать телегу
И где рогожу взять, когда деревня спит?

Печ. по *НР-28* (расклейка *ВК*) с учетом поправок в пунктуации, внесенных в авт. экз. *С.*

Ст-ние должно было появиться в харьковском ж. «Грядущие дни» (см. коммент. к ст-нию «Умывался ночью на дворе...»). *Арак* — виноградная водка.

«С розовой пеной усталости у мягких губ...» (с. 141).— Всемирная иллюстрация, 1922, вып. 3 (июль), с. 10, под загл. «Европа». Накануне, Берлин, 1922, 30 июля (лит. приложение № 11). Москва, 1922, № 6 (август), с. 2. *ВК*, с. 65 (в *Корр.-23* в ст. 12 «И соскочить» исправлено на «И соскользнуть»). *С*, с. 158, с датой «1922». *БП*, № 111. Автограф строф 3 и 4, с датой «май 1922» и с вариантом в ст. 9: «Ноздри раздуты, как крылья. Сверканье. Плеск»,— *АМ*. Печ. по *С.*

По сообщ. Н. Я. Мандельштам, ст-ние навеяно картиной В. А. Серова «Похищение Европы» (Европа — финикийская принцесса, похищенная Зевсом, принявшим вид быка). Ср. также концовку статьи «Пшеница человеческая», написанной, по-видимому, тоже в мае 1922 г. (II, 195).

«Холодок щекочет темя...» (с. 141).— Москва, 1922, № 6 (август), с. 2, с разночт. в ст. 16: «Осужденная на сруб». Железный путь, Воронеж, 1923, № 8 (1 мая), с. 2. Красная нива, 1923, № 12 (25 марта), с. 21. Альм. «Возрождение», 1923, т. 2, с. 3, с разночт. в ст. 12: «Как ты нынче шелестишь». *ВК*, с. 66. *С*, с. 122, с датой «1922». *БП*, № 112. Автограф — *ИМЛИ*, ф. 225, оп. 1, ед. хр. 11. Печ. по автографу.

Обращено к Н. Я. Мандельштам.

«Как растет хлебов опара...» (с. 142).— Известия ВЦИК, 1922, 23 сентября. Абраксас, 1922, № 2 (ноябрь), с. 17. Альм. «Возрождение», 1923, т. 2, с. 161. *БП*, № 113. Печ. по *С.*

Опара — заправленное дрожжами тесто. *Хлебные Софии* — сравнение с куполом храма св. Софии в Константинополе (см. коммент. к ст-нию «Айя-София»). См. *Тоддес*, с. 184.

«Я не знаю, с каких пор...» (с. 142).— Гостиница для путешествующих в прекрасном, 1922, № 1 (ноябрь), с. 4, вторым в цикле «Сеновал» (вместе со ст-нием «Я по лесенке приставной...»), с общей датой «1922»; Петроград, 1923, № 8 (31 августа), с. 14; *ВК*, с. 68 (в *Корр.-23* — ст. 3: «С сеновала шуршит вор», ст. 9: «Раскидать, как душистый стог», ст. 14: «И травы сухорукий звон»); сб. «Поэты наших дней». М., 1924, кн. 1 (сентябрь), с. 54, с датой «1922»; *С*, с. 160, с датой «1922»; автограф — *ИМЛИ*, ф. 225, оп. 1, ед. хр. 13,— во всех случаях строфа 3 дана в следующей редакции:

Приподнять, как душный стог,
Воздух, что шапкой томит;
Перетряхнуть мешок,
В котором тмин зашит.

БП, № 114. Два черновых автографа (1-я и 2-я редакции)—*АМ.* Печ. по *БП,* где дается по 2-й редакции строфы 3, восстановленной 3 февраля 1936 г. в авт. экз. *С* (И. М. Семенко приводит др. редакцию в ст. 16—«заворошит»).

Комариный звенит князь.—Ср. в гл. VIII «*ЕМ*» (II, 84).

«Я по лесенке приставной...» (с. 143).—Гостиница для путешествующих в прекрасном, 1922, № 1 (ноябрь), с. 4, первым в цикле «Сеновал» (вместе со ст-нием «Я не знаю, с каких пор...»), с датой «1922»; *ВК,* с. 69—70; Петроград, 1923, № 8 (31 августа), с. 14; *С,* с. 162—163, с датой «1922»; автограф, под загл. «Сеновал»,—*ИМЛИ,* ф. 225, оп. 1, ед. хр. 13,—везде без строфы 4. *БП,* № 115. Два черновых автографа (1-я и 2-я редакции)—*АМ.* Авторское чтение без строфы 4—на пластинке «Голоса, зазвучавшие вновь» (М., Мелодия, 1977). Печ. по *БП,* где дается по авт. экз. *С,* в который 3 февраля 1936 г. вписана добавочная строфа (4) с пометой: «Восстановлено по черновикам 1922 г.».

Эолийский чудесный строй—гармония античного искусства (эолийцами—жителями о. Лесбос—были Алкей и Сафо).

«Ветер нам утешенье принес...» (с. 144).—Абраксас, 1922, № 2 (ноябрь), с. 17. Альм. «Возрождение», 1923, т. 2, с. 95. *ВК,* с. 71 (с исправлениями в *Корф.-23;* было—ст. 4: «Трепетанье коленчатой тьмы», ст. 13—14: «И с трудом пробиваясь назад // В чешуе искалеченных крыл» и ст. 16: «Побежденных в бою Азраил»). Сб. «Лет». 1923, с. 24. Накануне, Берлин, 1923, 29 июля («Лит. неделя»). Железный путь, Воронеж, 1923, № 11 (1 июля), с. 2. Ленинград, 1925, № 5 (12 марта), с. 15, вторым в цикле «Война. Опять разноголосица...» (см. Приложения). Сб. «Новые стихи». М., 1926, кн. 1, с. 35. *С,* с. 164, с датой «1922». *БП,* № 116. Автограф—*ИМЛИ,* ф. 225, оп. 1, ед. хр. 3, л. 1. Авториз. список Н. Я. Мандельштам—там же, ед. хр. 1, л. 36, и в архиве А. М. Эфроса (сообщ. Н. Д. Эфрос). Печ. по *С.*

Ср. статьи «Девятнадцатый век» (в ней цитируется строфа 1) и «Гуманизм и современность», а также ст-ние «А небо будущим беременно...». *Азраил*—ангел смерти у мусульман.

Московский дождик (с. 144).—Сегодня, 1922, № 1 (сентябрь), с. 2, без загл., с начальной строфой, не вошедшей в окончательную редакцию,—см. Приложения. Альм. «Ковш», 1925, кн. 1, с. 35. *С,* с. 165, с датой «1922» (в *НР*—машинопись). *БП,* № 117. Автограф первопечатного текста—*ИМЛИ,* ф. 225, оп. 1, ед. хр. 3 и 11. Печ. по альм. «Ковш».

Ср. образные переклички с прозой «Холодное лето» (II, 303). *Чаинок легкая возня.*—Мандельштам, по сообщению Э. С. Гурвич, однажды на прогулке показал ей на летающих в небе птиц и сказал: «Смотрите, чаинки!»

Век (с. 145).— Россия, 1922, № 4 (декабрь), с. 7. Красная новь, 1923, № 1 (январь—февраль), с. 47 (вместо ст. 21—24, по-видимому ошибочно еще раз напечатаны ст. 13—16). *ВК*, с. 72—73. *С*, с. 166—167, с датой (по-видимому, ошибочной) «1923». Во всех указанных публикациях—без последней строфы. *БП*, № 118. Автограф первоначальной редакции, с датой «8 октября 1922»,— *АМ*. Автограф первопечатного текста, с датой «9 октября 1922»,— *АМ*. Автограф того же текста, с датой записи «21 мая 1923 г.»,—в альбоме Е. П. Казанович (*ИРЛИ*, ф. PI, оп. 12, ед. хр. 282, л. 23). Автограф— *ИМЛИ*, ф. 225, оп. 1, ед. хр. 9. Печ. по *БП*, где дается по авт. экз. *С*, в котором 3 февраля 1936 г. была восстановлена первоначальная редакция.

Ср. ст-ние «За гремучую доблесть грядущих веков...». В сентябре 1934 г. (по-видимому, лишь тогда весть об аресте Мандельштама достигла русской эмиграции) М. Цветаева написала ст-ние, судя по всему являющееся откликом на ст-ние «Век»:

О поэте никто не подумал,
Век—и мне не до него.
Бог с ним, с громом, Бог с ним, с шумом
Времени не моего!

Если веку не до предков—
Не до правнуков мне: стад.
Век мой—яд мой, век мой—вред мой,
Век мой—враг мой, век мой—ад

(альм. «Поэзия», вып. 37. М., 1983, с. 140). ***Словно зверь, когда-то гибкий, на следы своих же лап.***— Ср. в предисловии к роману Л. Сент-Огана «Тудиш» (Л., 1925): «Но никто лучше Лефевра Сент-Огана не сумел показать последнего прыжка, когда-то гибкого, восемнадцатого века, который, как зверь с раздробленными лапами, упал на подмостки новой эры».

Нашедший подкову (с. 146).— Красная новь, 1923, № 2 (март—апрель), с. 135—137, с подзаголовком «Пиндарический отрывок». Накануне, Берлин, 1923, 7 октября («Лит. неделя»), с. 7, с подзаголовком «Пиндарический отрывок» и в виде «стихотворения в прозе». *ВК*, с. 74—80. *К-23*, с. 91—95, с подзаголовком «Пиндарический отрывок». *С*, с. 168—172, с датой «1923». *БП*, № 119. Автограф— *АМ*. Оттиск из «Красной нови» с авт. правкой, приводящей к тексту *К-23*,— *ИМЛИ*, ф. 225, оп. 1, ед. хр. 12. Печ. по *К-23*.

Второе по величине (после «Стихов о неизвестном солдате») поэтическое произведение Мандельштама и единственное написанное свободным стихом: именно так немецкие романтики (Гельдерлин, молодой Гете) переводили утонченно-сложную строфику древнегреческого поэта VI—V вв. до н. э. Пиндара или же подражали ей. К Пиндару восходят, по-видимому, и композиционная резкость внутренних переходов, а также мотив коня и колесных состязаний, один из основных у Пиндара. Описание авторского чтения этого произведения см. в кн. Эм. Миндлина «Необыкновенные собеседники» (М., 1979,

с. 103—105). *В необузданной жажде пространства.*—Ср. об Одиссее в ст-нии «Золотистого меду струя так лениво текла и так долго...». *Шероховатую поверхность морей.*—Ср. «шершавые кручи» в ст-нии «С розовой пеной усталости у мягких губ...». *Вифлеемский плотник*—новозаветный Иосиф. *Отец путешествий*—скорее всего, Одиссей. *Чобр* (чебрец, тимьян)—эфироносный кустарничек с характерным терпким запахом. *Воздух бывает темным.*—Ср. ст. 9 в ст-нии «Сестры тяжесть и нежность, одинаковы ваши приметы». *Влажный чернозем Нееры*—здесь: море и время (Неера—дочь Океана, возлюбленная Гелиоса, символизирующая целину). Ср. «Время вспахано плугом» в том же ст-нии. *Шорох пробегает по деревьям зеленой лаптой.*—Ср. первоначальную редакцию ст-ния «Московский дождик» (см. Приложения). *Человеческие губы... форму последнего сказанного слова.*—Ср. ст-ние «Да, я лежу в земле, губами шевеля...» (1935). *Время срезает меня, как монету.*—Ср. ст. 3—4 в ст-нии «Холодок щекочет темя...».

Грифельная ода (с. 149).—*ВК,* с. 81—85. Отрывок (строфа 4)—Накануне, Берлин, 1923, 29 июля («Лит. неделя»). *С,* с. 173—175, с датой «1923». *БП,* № 120. Автограф ранней редакции—*АМ* (опубл. в *Семенко,* с. 34, 35,—см. Приложения, <I>. Автограф, с датой «март 1923 г.» *(АМ),*—первоначальная редакция двух четверостиший, здесь же подвергнутых переработке. Ст. 37—40:

За этот виноградный край,
За впечатлений круг зеленых
Меня, как хочешь, покарай,
Голодный грифель, мой звереныш!

Ст. 45—48:

И что б ни вывела рука,
Хотя бы «жизнь» или «голубка»,
И виноградного тычка
Не стоит скормленное губкой.

Автограф промежуточной редакции под загл. «Грифель», с датой «март 1923», черновой автограф и черновые записи отдельных строф—*АМ.* Авториз. список промежуточной редакции с загл. «Грифель» и с датой «8 марта 1923 г.»—в фонде «Красной нови» (*ЦГАЛИ,* ф. 602, оп. 1, ед. хр. 1165, л. 123, 124 и 126)—см. Приложения, <II>. Авториз. список первопечатного текста, под загл. «Грифельная ода» и с эпиграфом из Лермонтова: «И звезда с звездою говорит...»,—собр. Н. И. Харджиева. Аналогичный список—в архиве А. М. Эфроса (сообщ. Н. Д. Эфрос)—см. Приложения, <III>. Печ. по *БП,* где дается по авт. экз. *С,* из текста которого Мандельштам в 1937 г. изъял 8 строк—ст. 44—52 в *С,* причем ст. 49—50 вынес в эпиграф.

Ср. также в статьях «Слово и культура» и «Девятнадцатый век» (II, 195). Ст-ние тесным образом связано с последним ст-нием Г. Державина—началом оды «На тленность», записанным грифелем на аспидной доске. Очевидна и связь со «старой песней»—ст-нием М. Лермонтова «Выхожу один я на дорогу...». «Грифельная ода», по мнению Н. И. Хар-

джиева, «может рассматриваться как новый этап в развитии поэтического метода Мандельштама, характеризуемый внедрением в предметную структуру стиха принципов сложных смысловых ходов, отчасти идущих от Хлебникова». История становления текста ст-ния раскрыта И. М. Семенко (*Семенко,* с. 9—35). Д. И. Черашняя прочитывает сюжет оды как историю творчества и как смену форм выражения авторского сознания (см.: Литературное произведение и литературный процесс в аспекте исторической поэтики. Кемерово, 1988, с. 66—74). См. также статью Г. И. Седых «Опыт семантического анализа «Грифельной оды» О. Мандельштама» (Филологические науки, 1978, № 2, с. 13—25) и разбор в кн.: Ronen O. An approach to Mandelstam. Jerusalem, 1983. *Стрепет* (было «трепет»)—опечатка машинистки, очень понравившаяся Тихонову, из-за чего автор ее сохранил (помета на экз-ре *С* из собр. М. С. Лесмана).

Париж (с. 151).—Огонек, 1923, № 14 (апрель), с. 1, под загл. «Париж». Литературно-художественный альманах для всех, 1924, кн. 1, с. 212, под загл. «Прабабка городов». *С,* с. 176—177, с датой «1923» и с перестановкой в ст. 9—10 (в *НР*—разночт. или опечатка в ст. 10: «И в панике»). *БП,* № 121 (по автографу с датой «1923»—*АМ*). Авториз. список Н. Я. Мандельштам, под загл. «Париж» и с опиской в ст. 8: «испуганный горох»,—в архиве А. М. Эфроса (сообщ. Н. Д. Эфрос). Печ. по последнему списку, с исправлением описки и датой по *С.*

Тема, образы и ритм этого ст-ния навеяны «Ямбами» О. Барбье, которые Мандельштам переводил в 1923 г. (см. статью «Огюст Барбье (поэт Парижской революции 1930 г.)»—*СК,* с. 191—193). *По звучным мостовым прабабки городов*—строка из перевода ст-ния О. Барбье «Лев». *Фригийская бабушка*—здесь: французская революция 1789 г. (фригийский колпак носили в Древней Греции освобожденные рабы). *Здесь клички месяцам давали*—названия месяцев по республиканскому календарю 1793—1805 гг. *Он лапу поднимал, как огненную розу.*—Лев—образ народного восстания у О. Барбье. См. также в цикле «Армения».

«Как тельце маленькое крылышком...» (с. 151).—Сб. «Лет». 1923, с. 25, как часть стихотворения «Давайте слушать грома проповедь...». Петроград, 1924, № 5, 12 марта, с. 16, под № 4 в цикле «А небо будущим беременно...». *С,* с. 178, с датой «1923 г.». *БП,* № 122. Черновой и беловой автографы—*АМ.* Печ. по *С.*

Как комариная безделица.—Ср. в ст-нии «Я не знаю, с каких пор...».

1 января 1924 (с. 152).—Русский современник, 1924, № 2, с. 97, под загл. «1-е января 1924» и с разночт. в ст. 51: «снега на поларшина». *С,* с. 179—182, с датой «1924». *БП,* № 123. Маш. список—*ИРЛИ,* ф. 172, оп. 1, ед. хр. 1113. Печ. по *БП,* где дано по авт. экз. *С,* с поправкой в ст. 47 (заменой «принимаю» на «уважаю»), внесенной в 1937 г.

Написано в январе 1924 г. в Киеве, где поэт с женой встречали Новый год (см.: *НМ-I,* с. 192). По всей вероятности, завершено в конце месяца, уже в Москве, после смерти и похорон В. И. Ленина (см. очерк

«Прибой у гроба». На вахте, М., 1924, 26 января). Рапповский критик Г. Лелевич в статье «По журнальным окопам» называл это ст-ние «ямбическим стоном торжественного осколка акмеизма». «Насквозь пропитана кровь Мандельштама известью старого мира, и не веришь ему, когда он в конце концов начинает с сомнением рассуждать о «присяге чудной четвертому сословью». Никакая присяга не возвратит мертвеца...» (Молодая гвардия, 1924, кн. 7-8, с. 262—263). См. также: *НМ-II,* с. 501—502 и 507. Подробнейший разбор этого ст-ния дан в кн.: Ronen O. An approach to Mandelstam. Jerusalem, 1983.

Он слышит вечно шум.— Ср. название прозы Мандельштама — «Шум времени». *Беспомощная улыбка человека.*— Ср. ст-ния Тютчева «Осенний вечер» (1830) и «Пожары» (1868). *Какая боль — искать потерянное слово.*— Ср. ст-ние «Ласточка». *Больные веки поднимать.*— Образ гоголевского Вия становится одним из центральных в ст-нии «Нет, никогда, ничей я не был современник...». *Братство // Мороза крепкого и щучьего суда.*— Возможно, имеется в виду суровость зимы 1917/1918 гг., ознаменовавшейся большим числом самосудов. *Аптечная малина.*—В аптечных витринах часто выставлялись шары с малиновой водой. *Четвертое сословье*— пролетариат. *Клятвы, крупные до слез.*—Возможно, аллюзия из речи Сталина над гробом Ленина (ср. «шестиклятвенный простор» в «Оде»).

«Нет, никогда, ничей я не был современник...» (с. 154).— Альм. «Ковш», 1925, № 1, с. 34, под загл. «Вариант», с обратной последовательностью строф 4 и 5 и с разночт. в ст. 9: «Я веку поднимал болезненные веки» и ст. 12: «воспаленных дел». *С,* с. 183—184, с датой «1924». *БП,* № 124. Авторское чтение — на пластинке «Голоса, зазвучавшие вновь» (М., Мелодия, 1977). Печ. по *С.*

Строфы 2—3 совпадают или варьируют текст ст-ния «1 января 1924». См. разбор этого ст-ния в кн.: Ronen O. An approach to Mandelstam. Jerusalem, 1983. *Нет, никогда, ничей я не был современник.*— Эти слова неоднократно использовались для обвинения Мандельштама в аполитичности и оторванности от жизни. *Сто лет тому назад*— по-видимому, канун восстания декабристов; по мнению Н. И. Харджиева, имеется в виду война за независимость Греции, в которой участвовал и Д. Байрон (1768—1824), умерший во время похода.

«Вы, с квадратными окошками...» (с. 155).— Ленинград, 1925, № 21 (13 июня), с. 6. *КГВ,* 1925, 16 октября, под загл. «Ленинградская зима». Новая Россия, 1926, № 1, с. 67—68; *С,* с. 185—186, с вытянутыми в двустишия строфами и с датой «1925». *БП,* № 125. Авториз. список первоначальной редакции, с датой «17 декабря 1924»,— *АМ.* Печ. по ж. «Ленинград».

«Сегодня ночью, не солгу...» (с. 156).— Ленинград, 1925, № 20 (6 июня), с. 4, без загл. и с разночт. в ст. 27: «Хоть даром утро предлагает». *НМ,* 1927, № 6, с. 80, под загл. «Цыганка», с разночт. в ст. 30: «грач летает». *С,* с. 187—188, с датой «1925» (указ. вариант в ст. 27 заменен в *НР-28*). *БП,* № 126. Автограф (на оборотах бланков «Нового мира» с указ. разночт. в ст. 30, под загл. «Цыганка» — в архиве Н. И. Замошкина (*ГЛМ,* ф. 49, оп. 2, ед. хр. 56). Авторское чтение — на

пластинке «Голоса, зазвучавшие вновь» (М., Мелодия, 1977), с указ. разночт. в ст. 27. Печ. по *С*.

Гарнцы (гарнец) — мера сыпучих тел (около 3 кг) и, соответственно, посудина в эту меру. *Рядно* — грубый деревенский холст, мешковина (ср. в ст-нии «Умывался ночью на дворе...»).

«Жизнь упала, как зарница...» (с. 156). — *БП*, № 128, в основном корпусе (дата — по указанию Н. Я. Мандельштам). В *С* не входило. По свидетельству Н. Я. Мандельштам, поэт включил это ст-ние в соответствующий раздел при подготовке несостоявшегося собрания стихотворений в 1931 г. Список Н. Я. Мандельштам, с разбивкой между строфами и с датой «1924», — *ИМЛИ*, ф. 225, оп. 1, ед. хр. 7. Печ. по *ИМЛИ*, дата — по свидетельству П. Н. Лукницкого (см. ниже). Обращено к Ольге Александровне Ваксель (1903—1932) — знакомой Мандельштама, в которую он был влюблен осенью 1924 — зимой 1925 гг. Сравнивая в беседе с П. Н. Лукницким это и следующее ст-ния, Мандельштам выше оценил первое «за то, что оно — новое (новая линия в его творчестве)», тогда как ст-ние «Из табора улицы темной...» принадлежит к «стихам типа «Второй книги», т. е. к старым стихам. Написал он их недавно» (запись в дневнике П. Н. Лукницкого от 20 апреля 1925 г. — *АПЛ*). *Куколь* — колпак, здесь — конусообразная крыша, башня. *Изолгавшись на корню*. — Влюбленность в О. А. Ваксель привела к тяжелому кризису в отношениях между поэтом и его женой (см. *НМ-II*, с. 235—246). *Как пошла чаем сына*. — Арсению, сыну О. А. Ваксель, было тогда около двух лет. *Неуклюжей красоты* — по-видимому, воспоминание об О. Ваксель во время их первого знакомства с Мандельштамом в Коктебеле в 1916 г. *За куколем дворцовым и за кипенем садовым*. — Имеются в виду Таврический дворец и Таврический сад, по соседству с которыми жила О. А. Ваксель с сыном и матерью.

«Из табора улицы темной...» (с. 158). — Звезда, 1927, № 8, с. 43, под загл. «Из табора улицы темной...». *С*, с. 189—190, с датой «1925». *БП*, № 127. Автограф (на обороте бланка «Нового мира») — в архиве Н. И. Замошкина (*ГЛМ*, ф. 49, оп. 2, ед. хр. 54). Фонограмма авторского чтения демонстрировалась Л. А. Шиловым на I Мандельштамовских чтениях в Москве в феврале 1988 г. Печ. по *ГЛМ*.

Обращено к О. А. Ваксель (см. коммент. к предыдущему ст-нию). *Мерзлые клавиши* — возможно, деревянные торцы, которыми в 20-е годы были вымощены многие улицы в Ленинграде.

II. Новые стихи

(1930—1937)

В октябре 1930 г. в Тифлисе, на обратном пути после путешествия в Армению, Мандельштам снова начал писать стихи. С незначительными перерывами — поток стихов не прекращался до конца жизни поэта. Несколько публикаций в 1931—1932 гг. в периодике («Литературная газета», «Новый мир», «Звезда») лишь в малой степени отражали новый

этап его лирики, а попытки собрать воедино и издать новую книгу не увенчались успехом, несмотря на заключение двух договоров с ГИХЛ — (договор № 243 от 8 сентября 1932 г. на книгу «Стихи» и договор № 313 от 31 января 1933 г. на книгу «Избранное» — ЦГАЛИ, ф. 613, оп. 1, ед. хр. 5287, л. 37об.). Неосуществленным осталось также двухтомное собр. соч. Мандельштама (см. темпланы ГИХЛа на 1932—1933 гг.— *ЦГАЛИ,* ф. 613, оп. 1, ед. хр. 11, л. 23, и ф. 611, оп. 2, ед. хр. 243, л. 121—122). Кроме того, из письма В. А. Меркуловой Е. Я. Архиппову от 4 января 1934 г. явствует, что Мандельштам передал свой сборник в одно из грузинских издательств: «Мандельштам обворожителен, но — посмотреть и почитать, кстати, стихов своих он мне так и не дал,— разрознены, затеряны, единственный экземпляр печатается в Тифлисе, выйдет неведомо когда...» (*ЦГАЛИ,* ф. 1458, оп. 1, ед. хр. 70, л. 13об.).

Стихотворения 1930—1937 гг. составляют единство, о названии и структуре которого Н. Я. Мандельштам пишет: «Совершенно ясно, что за время непечатанья написаны две книги — московская и воронежская. Кроме того, в книгах ясны разделы — в первой их два, во второй — три... Названия «воронежские тетради» и «новые стихи» — это домашние слова... Мне кажется, что книги надо отделить друг от друга... Возможно еще такое деление: «Новые стихи». Затем: Раздел I — Москва, Раздел II — Воронеж. В середине цифры — 1 и 2 для Москвы; 1, 2, 3 — для Воронежа. Сплошной поток стихов разрывает связь с биографией и с циклическим характером поэтического мышления» (*НМ-III,* с. 169—170). Название «Новые стихи» (другой вариант — «Новые стихотворения») перекликается с названиями книг Г. Гейне, Р. М. Рильке и др. (см.: *Д-87,* с. 110—111). Еще один вариант названия — «Новая книга» *(ТС).* В наст. издании принято общее название «Новые стихи», с разбивкой на два подраздела — «Московские стихи» и «Воронежские стихи».

Композиция раздела выдержана строго хронологически в соответствии с начальными датами работы над ст-ниями. Текстология основывается на корпусе, подготовленном И. М. Семенко (отмечено в коммент. звездочкой), на сохранившихся у нее фотокопиях *АМ* и на других источниках, хранящихся в государственных и частных собраниях. В коммент. раскрываются все источники текстов, за исключением ряда сводных списков (например, в *АМ* и *ТС*), отмечаемых лишь в тех случаях, когда они содержат существенные разночтения.

Многие ст-ния 30-х годов были впервые опубликованы в СССР во 2-й половине 60-х годов в различных периодических изданиях («Литературная Грузия», «Литературная Армения», «Подъем», «Простор», «Москва», «День поэзии»), нередко с существенными текстологическими неточностями. В *БП* вошло около ста избранных ст-ний 30-х годов, а также многие варианты, приведенные в примечаниях. Ряд ст-ний, не вошедших в *БП,* был опубликован в периодике 80-х годов («Литературная газета», «День поэзии», «Даугава», «Огонек», «Новый мир», «Дружба народов», «Литературная Грузия», «Неделя», «Московский комсомолец», «Советский цирк» и др.).Поэзии «позднего» Мандель-

штама посвящено много исследований, в т. ч. книга И. М. Семенко, обзор Ю. И. Левина (Заметки о поэзии Мандельштама тридцатых годов.— *SH*, 1978, v. III, p. 110—173) и др.

Московские стихи

Состоят из двух «тетрадей»: первая писалась с октября 1930 г. по сентябрь 1931 г., вторая — с апреля 1932 г. по февраль 1934 г. Стихи этого периода при жизни автора почти не печатались — исключение составили подборки в *ЛГ*, «Звезде» и *НМ* (трижды). Ограниченным был контакт и с живой читательской аудиторией: достоверно известно лишь о пяти авторских вечерах Мандельштама в 1932—1933 гг. (10 ноября 1932 г.— в редакции *ЛГ*, в 1933 г.— 22 февраля — в Капелле и 3 марта — в Доме печати в Ленинграде, 14 марта — в Политехническом музее и 3 апреля — в Клубе художников в Москве. Ср. впечатление присутствовавшего на первом из этих вечеров Н. И. Харджиева: «Зрелище было величественное. Мандельштам, седобородый патриарх, шаманил в продолжение двух с пол<овиной> часов. Он прочел все свои стихи (последних двух лет) — в хронологическом порядке! Это были такие страшные заклинания, что многие испугались. Испугался даже Пастернак, пролепетавший: — Я завидую вашей свободе. Для меня вы новый Хлебников. И такой же чужой... Некоторое мужество проявил только В. Б. <Шкловский>: — Появился новый поэт О. Э. Мандельштам! Впрочем, об этих стихах говорить «в лоб» нельзя... <Мандельштам> отвечал с надменностью пленного царя... или пленного поэта» (*НМ-I*, с. 409 — коммент. А. А. Морозова).

«Куда как страшно нам с тобой...» (с. 160).— *БП*, № 143. Два прижизненных списка Н. Я. Мандельштам и машинопись 1930 г. с датами «октябрь 1930 г.» — *АМ*. Авториз. список Н. Я. Мандельштам — *АЗ* (№ 3 в подборке «Семь стихотворений»). Список Н. Я. Мандельштам, с разночт. или опиской в ст. 5: «щеглом»,— *АШ*. Печ. по *АЗ*.

Домашнее название — «Щелкунчик». Обращено к Н. Я. Мандельштам. Написано в Тифлисе. «Реалии: 30 сентября — мои именины... Моя тетка принесла мне в гостиницу домашний ореховый торт. О. М. прочел мне эти стихи позже других из «Армении», но сказал, что оно пришло первое и «разбудило» его... «Щелкунчик» открывает «Новые стихи» — место определено О. М. ... О. М. обратил внимание, что первое же стихотворение нового периода пришло с таинственным количеством строк» (*НМ-III*, с. 142—143). *Товарищ* — так на правительственной даче (см. *«ПА»*) жены называли мужей. «Я над ними смеялась — чего они играют еще в подполье? О. М. мне тогда сказал, что нам бы это больше подошло, чем им» (*НМ-III*, с. 142). *Крошится наш табак.*— «В Тифлисе... исчезли промышленные товары и папиросы... Попадались нам и табаки для самокруток, но не отличные кавказские табаки, а бракованные и пересохшие — они действительно крошились» (там же). Ср. ст-ние Ж. де Нерваля «Эпитафия» (1853).

«Как бык шестикрылый и грозный...» (с. 160).— Литературная Армения, 1966, № 1, с. 47, как эпиграф к циклу «Армения». *БП*, примеч. к № 129—140. Первоначально—строфа 8 редакции IV ст-ния «Ты красок себе пожелала...» (№ 2 в цикле «Армения»)— см. Приложения; имеется и обособленная запись этого четверостишия (*Семенко*, с. 48—49). Автограф с датой «1930»— *АЗ* (на одном листе со ст-нием «Помоги, Господь, эту ночь прожить...»). В *ВС* и *ТС*—как отдельное ст-ние, предшествующее циклу «Армения». Первоначально служило эпиграфом ко всему циклу, но было снято цензурой (*НМ-III*, с. 144). Печ. по *АЗ*.

Армения (с. 160).— *НМ*, 1931, № 3, с. 62—63, с подзаголовком «Двенадцать стихотворений» и с общей датой «ноябрь 1930 г.». *БП*, № 129—140. Написано в Тифлисе между 16 октября и 5 ноября 1930 г. «Это композиция, состоящая из двенадцати ст-ний, замкнутая, ничего в себя больше не вмещающая. Другие стихи об Армении в нее не входят... Надо восстановить тринадцатое ст-ние, взятое О. М. как эпиграф и снятое цензурой, «Как бык шестикрылый и грозный...» (*НМ-III*, с. 143—144). Между тем композиция цикла даже после публикации не была устойчивой: так, в *ТС* встречаем три отступления (№ 1, 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 9, 12, 11—по внутренней нумерации), а в *С-32* одно (№ 12, 11), но со следами серьезной работы над композицией: так, № 2 в какой-то момент был 4-м, № 3—5-м, № 4—5-м и 6-м, № 6—7-м и 8-м, № 7—9-м, № 9—10-м, № 12 (т. е. 11-й в данном случае)—12-м. Автограф № 6 (см. I, 163) имеет номер 3, и т. д. Ранние редакции и варианты цикла разобраны И. М. Семенко и по материалам ее статьи (*Семенко*, с. 36—55) вынесены в Приложения. Печ. по *НМ*.

1. «Ты розу Гафиза колышешь...»—Авториз. список с датой «октябрь 1930»— *АМ*.

Гафиз (Хафиз)—великий персидский поэт (1300—1389). *Окрашена охрою хриплой*.— Ср. след. черн. набросок (*Семенко*, с. 51):

На требе истории хриплой
Звучат [голоса] далеко за <горой>.

Ты вся далеко за горой.— Имеется в виду Внутренняя (Западная) Армения, некогда входившая в состав Армении и до геноцида 1915 г. населенная армянами (гора—Арарат).

2. «Ты красок себе пожелала...»—Авториз. список первоначальной редакции и еще трех промежуточных редакций— *АМ* (см. Приложения). В *ТС*—дата «16 октября 1930». *СБ*, с разночт. в ст. 8: «меж камней», ст. 12: «казнолюбивых» и ст. 115: «жены выходят».

Рисующий лев из пенала.— Ср. рассказанную Мандельштаму в Армении легенду о гончаре, лепящем горшки для того, чтобы пришел лев, ударил их своей лапой и разбил их (*Липкин*, с. 95). *Москательный* (от персидского «мошк»—мускус)—обозначение красок, лаков, масел и т. п. как предмета торговли. *Сардар*— персидский наместник, военачальник, правитель области. *Как люб мне язык твой*.— Об отношении автора к армянскому языку см. в *«ПА»*.

3. «Ах, ничего я не вижу, и бедное ухо оглохло...» — Авториз. список с пометой: «Тифлис, 21 октября 1930» — *АМ.*

Лаваш — тонко раскатанный армянский хлеб.

4. «Закутав рот, как влажную розу...» — Автограф с датой «25 октября» — *АМ.*

5. «Руку платком обмотай и в венценосный шиповник...» — Черн. автограф и авториз. список — *АМ.* Ср. Приложения.

Муслин — легкая ткань. *Шербет* — восточный напиток из лепестков розы.

6. «Орущих камней государство...» — Автограф — *АМ.*

7. «Не развалины, нет, но порубка могучего циркульного леса...» — Черн. автограф и авториз. список окончательного текста — *АМ.* Ср. вариант в черн. автографе (*Семенко,* с. 54):

<пробел> как товар из вавилонской лавки
Виноградины с голубиное яйцо и рыбы
[из каменной соли как пшеничные хлебы]
И нахохленные орлы с совиными крыльями,
еще не оскверненные византийской службой.

Описываются руины кафедрального собора и дворца католикоса в Звартноце близ Эчмиадзина — центра духовной и религиозной культуры всех армян. Эти развалины и солнечные часы — «в образе астрономического колеса или розы, вписанной в камень», упоминаются в «*ПА*».

8. «Холодно розе в снегу...» — Черн. автограф и авториз. список окончательного текста — *АМ. СБ,* с разночт. в ст. 8: «огромная птица».

На Севане снег в три аршина. — Мандельштам однажды утверждал, «...что нужно «в пол-аршина», но по рукописям — «в три аршина». Напутал он сам» (*НМ-III,* с. 144). *Сытых форелей усатые морды несут полицейскую службу.* — Ср. «заспиртованные жандармские морды усатых форелей» в «*ПА*» (II, 104). *Огромная гора* — Арарат. *Окарина* — итальянская глиняная дудочка. *Иль дудкой приручить.* — Ср. наброски в черн. автографе: [«Иль дудкой приманить иль как-нибудь еще»]; [«Иль дудкой приручить <пробел> Арарат — Арарат Урарту»]; «Иль дудкой приручить как страуса иль фламинго». *Снега на рисовой бумаге.* — В *С-32* — «гипсовой» (вероятно, опечатка). *Мне холодно. Я рад...* — Ср. финал «*ПА*».

9. «О порфирные цокая граниты...» — Авториз. список окончательной редакции — *АМ.*

Курдины, примирившие дьявола и бога. — Живущие в Армении курды (главным образом пастухи) исповедуют езидизм — смесь христианства, ислама и зороастризма — и веруют в одинаковое могущество злых и добрых начал.

10. «Какая роскошь в нищенском селеньи...» — Черн. автограф и авториз. список окончательного текста, с датой «24 октября 1930», — *АМ.*

Селенье — пос. Аштарак (с 1963 г. — город) на юго-восточном склоне

Арагаца. Ср. главу «Аштарак» в *«ПА»*: «Село Аштарак повисло на журчании воды, как на проволочном каркасе».

11. «Я тебя никогда не увижу...» — Авториз. список с пометой: «Тифлис, 16 октября — 5 ноября 1930 г.»,— датирующий весь период работы над циклом (это ст-ние первоначально было заключительным) — *АМ.*

12. «Лазурь да глина, глина да лазурь...» — Авториз. список — *АМ. АБ,* с разночт. в ст. 4: «над книжкою немой».

* «Как люб мне натугой живущий...» (с. 165).— *БП,* № 141. Первоначально — в составе промежуточных редакций ст-ния «Ты красок себе пожелала...» (см. Приложения). Как самостоятельное ст-ние — в *ВС* и *ТС.* Печ. по *ВС.*

«Не говори никому...» (с. 166).— *СС-I,* № 201. В СССР — *МК-87.* Авториз. списки — *ВС,* где оно следует непосредственно за циклом «Армения» *(АМ)* и — *АЗ* — № 2 в подборке «Семь стихотворений». Печ. по *АЗ.*

«Это возвращение к северу — одно из ответвлений «Армении»: воспоминания, вызванные словом «пенал». Отсюда — детство, дача (для городского мальчика дача — единственная встреча с природой...). О. М. мне говорил, что на даче — где-то в Вырице, где сосновый лес и болото,— это не природа Финляндии — он вдруг «проснулся и начал жить» (*НМ-III,* с. 144). *Птицу, старуху, тюрьму* — возможно, воспоминания о Феодосии 1919—1920 гг. (см. главу «Старухина птица» в *«ШВ»*). *Чернику в лесу, // Что никогда не сбирал.*—Ср. в *«ПА»*: «В детстве из глупого самолюбия, из ложной гордыни я никогда не ходил по ягоды и не нагибался за грибами» (II, 111).

* «Колючая речь араратской долины...» (с. 166).— *БП,* № 142. Печ. по автографу, с незачеркнутым вариантом ст. 5: «Слепорожденной эмали краса»,— *АМ.* В черн. автографе *(АМ)* — варианты ст. 4: «Глина с лазурью, глина и кровь» и ст. 8: «Глина с лазурью, речь и кирпич».

Дикая кошка — армянская речь.— Ср. одноименное ст-ние.

* «На полицейской бумаге верже...» (с. 167).— Мосты, Мюнхен, 1965, № 11, с. 170. В СССР — *МК-87.* Авториз. список — № 7 в подборке «Семь стихотворений», с датой «1930—1931 гг.»,— *АЗ.* В ст. 5 — отброшенный вариант: «моргать» *(АЗ),* в ст. 6: «И на писанье, мерцанье и тленье...» *(ТС).* Печ. по *ВС.*

Ночь наглоталась колючих ершей — это «о водяных знаках на какой-либо очень хорошей бумаге, которую нам подарили в Тифлисе... О. М. взял несколько листочков в архиве, куда он хотел устроиться работать (отсюда — «полицейская» бумага)» (*НМ-III,* с. 145). Действительно, автограф близкого по времени ст-ния «Колючая речь араратской долины...» написан на бланке Тифлисского Дворянского заемного банка, со сплошными водяными знаками в виде условных звезд и птиц. *Раппортички* — от РАППа (1920—1932), в 1930 г. развернувшего нападки на группу «Литфронт». См.: *НМ-I,* с. 142.

* «Дикая кошка — армянская речь...» (с. 167).— *СС-I,* № 218. В СССР — *МК-87.* В *АЗ* — автограф более ранней редакции с датой

«Тифлис, октябрь 30» и с разночт. в ст. 4: «Маруха», ст. 8: «на желтой равнине» и ст. 13: «Ты пропади <пропуск> говорят», а также в строфе 6:

Были мы люди, а нынче людье
И суждено мне, должно быть, в награду
Лишь роковое в боку колотье
Да Эрзерумский стакан лимонаду.

Разночтения с *ТС*—в ст. 5: «Падают вниз с потолка пауки» и ст. 10—«Нету его ни странней, ни нелепей». В черновом автографе *(AM)*—зачеркнутые варианты, под цифрами 3 и 4:

3. [Грянет же] Грянуло в двери знакомое: ба!
Ты ли дружище—какая издевка
Там, где везли на арбе Грибоеда
Долго ль еще нам ходить по гроба
Как по грибы деревенская девка

4. И по-звериному воет людье
И по-людски куролесит зверье
Чудный чиновник без подорожной
Командированный к тачке острожной
И Черномора пригубил питье
В кислой корчме на пути к Эрзеруму

3. Грянуло в двери знакомое: ба!
Наши дороги ведут к Эрзеруму
Где Черномора пригубил питье
Чудный чиновник без подорожной
Командированный к тачке острожной

4. <пробел> ли очнуться
А не пора ль очутиться мне там
Где обо мне ни слуху ни духу
В городе, где выпрямляюсь по слуху
Где на <молочных [его] еще площадях>
[Липа стоит] Летнего сада столетней <резьбою>

Печ. по *ВС*, где заключительная строфа взята в квадратные скобки, что свидетельствует о неосуществленном намерении переработать ее. (*НМ-III*, с. 146).

Мофуха—томительный летний зной. *Повытчик*—столоначальник. *Эрзерумская кисть винограду*—отсылка к «Путешествию в Арзрум» Пушкина.

*«И по-звериному воет людье...» (с. 168).—*СС-I*, № 220. В СССР—*Н-88*, с разночт. в ст. 5—6: «Командирован к тачке острожной // И Черномора пригубил питье» (дано по наброску одной из строф ст-ния «Дикая кошка—армянская речь...»—см. выше). Печ. по *ВС*, где дано как отдельное ст-ние с соответствующей правкой.

Завершает серию ст-ний, написанных в Тифлисе. *Чудный чиновник*— Пушкин.

Ленинград (с. 168).—*ЛГ,* 1932, № 53, 23 ноября, под загл. «Ленинград» (во всех прочих источниках—без загл.). *БП,* № 144. Машинопись 1931 г., с разночт. в ст. 6: «примешан желток»,—*AM.* Смешанный автограф О. Э. и Н. Я. Мандельштам, без даты,—*АЗ,* с разночт. и правкой в ст. 8—10:

У [меня] тебя телефонов [твоих] моих номера.

Петербург, [я сумею найти] у меня еще есть адреса
[О которых твердят] По которым найду мертвецов голоса,

а также в ст. 13: «И всю ночь напролет ждут [вестей] <пропуск> дорогих». То же разночт. в ст. 13—*С-32* и в списке Н. Я. Мандельштам *(АЗ)*—№ 4 в подборке «Семь стихотворений», с датой «1930—1931», где, кроме того, приписан вариант ст. 13—14 (без отмены основной редакции):

И вся ночь напролет в перебоях глухих,—
Шевеля кандалами цепочек дверных.

Автограф ст. 1—8—в архиве И. У. Будовница (*ГБЛ,* ф. 602, к. 11, ед. хр. 13, л. 2). *ВС* и *АШ*—с разночт. в ст. 11: «лестнице темной». Печ. по *ЛГ.*

Ст-ние «...сильно распространилось в списках, и его, видимо, решили легализовать печатаньем. В дни, когда оно напечаталось, мы жили на Тверском бульваре, насквозь простукаченные и в совершенно безвыходном положении. Писались стихи в Ленинграде, куда мы поехали после Москвы—на месяц, в дом отдыха ЦЕКУБУ. Это тогда Тихонов объяснил О. М., чтобы мы поскорее убирались из Ленинграда—«как на фронте»... Какой-то дружелюбный человек, представитель «Известий», предупреждал О. М.: поменьше читайте эти стихи, а то они в самом деле придут за вами» (*НМ-III,* с. 146, 148). *Вырванный с мясом звонок*—звонок в квартиру Е. Э. Мандельштама (8-я линия, д. 31, кв. 5) был действительно с корнем вырван.

«С миром державным я был лишь ребячески связан...» (с. 168).—Звезда, 1931, № 4, с. 113, с датой «февраль 1931». *БП,* № 146. Авториз. список первоначальной редакции с датой «январь 1931»—*AM.* Авториз. список (рукой М. А. Зенкевича), без даты,—*ЦГАЛИ,* ф. 1893, оп. 1, ед. хр. 7. Заключит. строфа в *С-32* оторвана, в *ВС* взята в угловые скобки, а в *ТС*—в квадратные, в *НК*—отсутствует. По объяснению Н. Я. Мандельштам, поэт колебался, оставлять ли ее. Печ. по «Звезде».

Ст-ние «...чем-то соприкасается еще с «Египетской маркой»—чуждость старого мира, из которой выводится то, что можно и нужно «с веком вековать». Но с темой женщины—с Годивой—приходит нечто иное, уводящее к «Алискансу». Вероятно, ему хотелось убрать Годиву именно в минуту, когда он пытался примириться с «новым» (*НМ-III,* с. 146). *Годива*—воспетая А. Теннисоном жена графа Ковентри, освободившая народ от тяжелой подати, согласившись взамен, по требованию

мужа, выехать из замка в город на лошади прикрытой лишь прядями своих волос, т. е. нагой; однако она ехала по пустому городу — ни один житель даже не открыл ставни.

«Мы с тобой на кухне посидим...» (с. 169).— *ВП-II*, с. 21. В СССР — Москва, 1964, № 8, с. 53. *БП*, № 145. Два списка рукой Н. Я. Мандельштам — *АЗ*, в т. ч. № 1 в подборке «Семь стихотворений». Печ. по *АЗ*.

В декабре 1930 — январе 1931 г. Мандельштамы месяц жили в доме отдыха ЦЕКУБУ «Заячий ремиз» в Старом Петергофе. По истечении срока путевки остановились в Ленинграде у Е. Э. Мандельштама, ведя переговоры с Н. С. Тихоновым о предоставлении им комнаты в Ленинграде. «Это стихи остро прочувствованной изоляции и изгойства — после моего разговора с Тихоновым и еще после разговора О. М. в ленинградском отделении «Известий»... Через два-три дня, получив ответ Тихонова, мы завязали корзины и уехали» (*НМ-III*, с. 148). *Белый керосин* — разбавленный водою.

«Помоги, Господь, эту ночь прожить...» (с. 169).— *СС-1*, № 223. Автограф в *АЗ*, с датой «1931, январь» (на одном листе с четверостишием «Как бык шестикрылый и грозный...»). Существует также поздняя (2-я пол. 1940-х годов) запись Н. Я. Мандельштам со слов переводчика В. А. Бугаевского. Печ. по автографу.

Неизвестно, «считал ли их О. М. бродячими строчками, имели ли они какое-либо продолжение... Гибельных стихов он все же мне никогда не показывал...» (*НМ-III*, с. 147).

* «После полуночи сердце ворует...» (с. 170).—*ДП-62*. М., с. 286. Автограф (ночная запись в темноте) — *АМ*. Авториз. список, без даты,— *АЗ* (№ 6 в подборке «Семь стихотворений»). *ТС*, с разночт. в ст. 6: «дрожишь». Печ. по автографу.

В корпусе, подготовленном И. М. Семенко, шло после ст-ния «Жил Александр Герцевич...». В наст. изд. открывает ряд ст-ний, написанных в 1931 г. в Москве (так же — в *ВС* и *ТС*). Ср.: «Это, так сказать, экспозиция — описание обстановки, в которой он живет <у брата на Старосадском.— *П. Н.*>... Место этого стихотворения сомнений не вызывает» (*НМ-III*, с. 149).

* «Ночь на дворе. Барская лжа...» (с. 170).— *ВП-II*, с. 23. В СССР — *ДН-87*, с. 135. Печ. по списку 1932 г. рукой Н. Я. Мандельштам — *АМ*.

Н. Я. Мандельштам датирует это ст-ние концом марта. По ее сообщению (*НМ-I*, с. 158), является ответом на стихи Пастернака «Красавица моя, вся стать...», написанные в марте 1931 г.: «И рифма — не вторенье строк, // А гардеробный номерок, // Талон на место у колонн...». Ср. запись 1931 г. о Пастернаке: «А читатель его — тот послушает и побежит... в концерт» (*ВЛ*, 1968, № 4, с. 201).

«Я скажу тебе с последней...» (с. 70).—*ВП-II*, с. 12. В СССР— *ЛГр-67*, с. 67 (неточн. текст). *БП*, № 147, где дано по автографу,— *АЗ*. В *АЗ*— 1) автограф, с датой «2/III—31»; 2) авториз. список рукой М. А. Зенкевича, с датой «2/III—31», без выделения строф и с отступом в четных строках; 3) авториз. список рукой Н. Я. Мандельштам, без

эпиграфа, с датой «март 1931» (№ 5 в подборке «Семь стихотворений»). Авториз. список рукой Н. Я. Мандельштам — *АМ* (с авторской пометой: «Для «Ленинграда» на 5-е место (перед «На полицейской...»)» (ср. вышеук. подборку «Семь стихотворений» в *АЗ*, где вслед за данным ст-нием следуют «После полуночи сердце ворует...» и «На полицейской бумаге верже...»). *АШ* — без ст. 3—4 и с разночт. в ст. 8: «черный кукиш». Печ. по автографу.

Домашнее название — «Шерри-бренди». Написано во время дружеского «пира» с Б. С. Кузиным и его коллегами в Зоологическом музее. «Если грубо раскрыть: Елена — это «нежные европеянки», «ангел-Мэри» — я (Пир во время чумы, а чума ощущалась полным ходом...). «Шерри-бренди» — в смысле «чепуха» — старая шутка, еще из Финляндии, где жил с Каблуковым» (*НМ-III*, с. 150). В. Катаев утверждал, что мотив «шерри-бренди» восходит к одной из реплик в его пьесе «Растратчики», на премьере которой Мандельштам был в 1926 г.

* «Колют ресницы. В груди прикипела слеза...» (с. 171). — *ВП-II*, с. 18. В СССР — *Пр-65*, с. 63. *БП*, № 148 (по автографу — *АМ*). Автограф, с датой «2 марта ночь», на обороте 1-й редакции ст-ния «За гремучую доблесть грядущих веков...» (см. коммент. и ранние редакции этого ст-ния) — *АМ*. Список М. А. Зенкевича, с датой «март 1931» и разночт. в ст. 1: «Колют ресницы. В груди холодеет слеза...», — *АЗ*. Печ. по автографу.

«Отношение О. М. к русским каторжным песням — он считал их едва ли не лучшими, очень любил» (*НМ-III*, с. 153).

* «За гремучую доблесть грядущих веков...» (с. 171). — Маковский С. Портреты моих современников. Нью-Йорк, 1954, с. 398. В СССР — *Пр-65*, с. 60. *БП*, № 149. Автограф с датой «март 1931» — *АЗ*. Автограф на одном листе со ст-нием «Колют ресницы. В груди прикипела слеза...» — *АМ*. Историю становления текста см.: *Семенко*, с. 56—67, а также *НМ-III*, с. 150—152. См. Приложения, Ср. вариант зачина:

Не табачною кровью газета плюет
Не костяшками дева стучит
Человеческий жаркий искривленный рот
Негодует поет говорит —

Мне <на шею кидается век-волкодав...>

Сохранившийся беловой автограф (с правкой) дает последовательность вариантов финальной строфы:

1) Уведи меня в ночь, где течет Енисей
К шестипалой неправде в избу
Потому что не волк я по крови своей
И лежать мне в сосновом гробу

(ср. строфу 5 в ранней редакции 1; ср. также ст-ние «Неправда»).

2) Уведи меня в ночь где течет Енисей
И слеза на ресницах как лед
Потому что не волк я по крови своей
И во мне человек не умрет

(ср. ст-ние «Колют ресницы. В груди прикипела слеза...»: «И слеза на ресницах» — вариант: «И слеза замерзает» *(АЗ)*.

3) Уведи меня в ночь, где течет Енисей
И сосна до звезды достает
Потому что не волк я по крови своей
И неправдой искривлен мой рот.

Ср. строфу 4 в ранней редакции 2 (переход от 2-го варианта к 3-му зафиксирован в *АЗ*). По свидетельству Э. Г. Герштейн, финальная строка не нравилась и самому Мандельштаму: «Когда он читал мне это стихотворение, он сказал, что не может найти последнего стиха и даже склоняется к тому, чтобы отбросить его совсем» (*Герштейн*, с. 39—40). Окончательная редакция финальной строки была найдена только в конце 1935 г. в Воронеже: «И меня только равный убьет». Печ. по *ВС*.

Домашнее название — «Волк». Ядро «волчьего цикла» (см. *НМ-I*, с. 179—184 и 431—433). Ср. в письме М. А. Булгакова К. С. Станиславскому от 18 марта 1931 г. (!): «На широком поле словесности российской в СССР я был один-единственный литературный волк... Со мной и поступили, как с волком. И несколько лет гнали меня, по всем правилам литературной садки в огороженном дворе» (цит. по: Чудакова М. Жизнеописание М. А. Булгакова.— Москва, 1988, № 11, с. 93). Ср. также запись в дневнике В. Яхонтова (июль 1931 г.): «он затравленным волком готов был разрыдаться и действительно ведь разрыдался, падая на диван тут же, как только прочел (кажется, впервые и первым) — мне на плечи бросается век-волкодав, но не волк я по крови своей» (*ЦГАЛИ*, ф. 2440, оп. 1, ед. хр. 45, л. 51). Когда С. Липкин сказал, что это «лучшее стихотворение двадцатого века», Мандельштам ответил: «А в нашей семье это стихотворение называется «Надсоном», имея в виду, возможно, совпадение с размером стихотворения Надсона «Верь, настанет пора и погибнет Ваал...» (*Липкин*, с. 99). Но, скорее всего, дело было в другом. «Про «Волка» О. М. говорил, что это вроде романса, и пробовал ввести «поющего»...» (*НМ-III*, с. 150). Характерно, что, попав на Запад (одним из первых — в мемуарах С. Маковского), это ст-ние — «судя по характеру и стилю, какое-то время лишь приписывалось Мандельштаму» (см.: Мандельштам О. Собр. соч. Нью-Йорк, 1955, с. 170 и 377).

* «Жил Александр Герцевич...» (с. 172).— Москва, 1964, № 8, с. 152. *БП*, № 150, по *ВС*, с разночт. в ст. 19: «А там — вороньей шубою». Автограф и два списка — *АМ*. Н. И. Харджиев приводит по памяти вариант ст. 8 (первоначальное авторское чтение): «Твердил он наизусть». Еще одна отброшенная строфа — *Липкин*, с. 100:

Он музыку приперчивал,
Как жаркое харчо.
Ах, Александр Герцевич,
Чего же вам еще.

Печ. по автографу.

Ст-ние написано на квартире А. Э. Мандельштама, среднего брата Мандельштама (Старосадский пер., д. 10, кв. 3). По сообщению Э. С. Гурвич (его вдовы), это была огромная коммунальная квартира (12 семей); одним из непосредственных соседей был Александр Герцевич Айзенштадт, работавший скрипачом в каком-то оркестре. Н. И. Харджиев отмечает пародийную перекличку с «Молитвой» Лермонтова («В минуту жизни трудную...»).

* «Нет, не спрятаться мне от великой муры...» (с. 173).— *ВП-II*, с. 11. В СССР—*Избр.*, с. 223. Список М. А. Зенкевича, с разночт. в ст. 9: «из дупла»,—*АЗ*. В авторском чтении ст. 10 часто звучал: «ты как хочешь, а я не боюсь» (*НМ-III*, с. 153). Печ. по черн. автографу с исправлением описки, уничтожающей рифму: «Москвы» *(АМ)*.

Написано, по-видимому, в начале апреля 1931 г. (см. ранние редакции ст-ния «За гремучую доблесть грядущих веков...»). «Мы действительно ездили куда-то на «Б», и садились поздно вечером на Смоленской площади среди пьяных и мрачных людей... На «А» ездили к Шуре... О. М. далеко не так рвался к точным рифмам, а в этом стихотворении вообще одни ассонансы, да и то не всюду (умрет—пирог)» (*НМ-III*, с. 153). *Вишенка*—по предположению И. М. Семенко, от «висеть» (в трамвае) (см. *Семенко*, с. 64).

Неправда (с. 173).—Мосты, Мюнхен, 1965, № 11, с. 171. В СССР—*ДН-87*, с. 135. Поэт часто читал: «предлагает в горшке из-под нар» (*НМ-III*, с. 154). Печ. по списку М. А. Зенкевича—*АЗ*.

Ср. ранние редакции «За гремучую доблесть грядущих веков...». *К шестипалой неправде.*—Одной из кличек Сталина было: «шестипалый». Н. Я. Мандельштам вспоминала, что Осип Эмильевич говорил ей: «Как, ты не знаешь: у него на руке (или на ноге)—шесть пальцев... И об этом будто в приметах охранки...» <в действительности на его левой ноге—2-й и 3-й пальцы сросшиеся. См.: Волкогонов Д. Триумф и трагедия.—Октябрь, 1988, № 10, с. 5.—*П. Н.*>. Впрочем, здесь связь далеко не прямая. Скорее, ход такой: для людей—шестипалость примета зла» (*НМ-III*, с. 154). *Ребячьи пупки.*—«О. М. не выносил никаких внутренностей—пупков, печенки, почек» (там же). *Полуспаленка, полутюрьма.*—По мнению Б. С. Кузина, имеется в виду комната в Ленинграде свояченицы поэта, Анны Яковлевны Хазиной (*Кузин*, с. 141).

* «Я пью за военные астры, за все, чем корили меня...» (с. 174).—Впервые процитировано в статье А. Селивановского «Распад акмеизма» (Лит. учеба, 1934, № 8, с. 33). Впервые полностью—*ВП-II*, с. 17. В СССР—Огонек, 1987, № 13, с. 17. Список М. А. Зенкевича—*АЗ*. Печ. по *ВС*.

«Стишок всегда был предметом спекуляций у нас для всяких

Никулиных» (*НМ-I,* с. 265.—См.: Никулин Л. Молодость героя. М., 1933, с. 233). Сам Мандельштам считал это ст-ние несерьезным, шуткой. «Говорил: они даже не заметили, какое я невероятное вино выбрал... Шенгели написал смешной ответ в стиле Тихонова против колониализма... Принял их всерьез. О. М. смеялся» (*НМ-III,* с. 154). Имеется в виду ст-ние Г. Шенгели «Ответ Мандельштаму»: «Мой Осип, мой старший товарищ! // Немало мы пили с тобой—// И если не «асти спуманте», // Так пушкинский пунш голубой...» (*ЦГАЛИ,* ф. 2861, оп. 1, ед. хр. 11). З. Г. Минц в статье «Военные астры» раскрывает связь этого ст-ния с поэтическим диалогом Мандельштама и Цветаевой в 1915—1917 гг.,—в частности, с цветаевскими ст-ниями 1916—1917 гг. «Искательница приключений» («По ночам в дилижансе // И за бокалом Асти,—// Я слагала вам стансы // О прекрасной страсти») и «Август—астры...» (Вторичные моделирующие системы. Тарту, 1979, с. 106—110). А. К. Жолковский показывает, что это ст-ние целиком построено на реминисценциях и является поэтическим автопортретом Мандельштама (Жолковский А. К., Щеглов Ю. К. Мир автора и структура текста. Статьи о русской литературе. Лос-Анджелес, 1986, с. 204—227). *Военные астры*—цветы, которыми провожали уходивших на войну 1914 г. (возможно, еще и ассоциация с эполетами).

Рояль (с. 174).—*НМ,* 1932, № 6, с. 106, со строкой точек между строфами 3 и 4, с датой «апрель 1931» и опечаткой в ст. 17: «Чтобы смолой». *БП,* № 151. Авториз. список ранней редакции, с отброшенной строфой (между строфами 3 и 4)—*AM:*

Не прелюды он и не вальсы,
И не Листа листал листы,
В нем росли и переливались
Волны внутренней правоты.

Эта же строфа, с разночт. в ст. 2 («играл листы») и уточнением даты: «16 апреля 1931 г.»—на журнальном оттиске в *СМ.* Печ. по *НМ,* с исправлением опечатки.

Описывается концерт пианиста Генриха Нейгауза (1888—1964). В 1931 г., после ухода его жены, З. Н. Нейгауз, к Б. Л. Пастернаку,—он нередко срывал концерты, хлопал рояльной крышкой и т. п. Именно поэтому, по мнению Н. Я. Мандельштам, в контексте провального концерта отброшенная Мандельштамом строфа бессмысленна (о «внутренней правоте» см. в статье «О собеседнике»). О. Бескин назвал это ст-ние «этакой доброй порцией мистической зарядки» (*ЛГ,* 1933, № 18-19, 23 апреля, с. 8). *Гора и Жиронда*—враждебные фракции в парламенте французской республики в 1789 г. *Голиаф*—ветхозаветный великан, уступивший Давиду в единоборстве. *Мирабо* О. (1749—1791)—вождь либеральной буржуазии начала Великой французской революции, знаменитый оратор. *Мастер Генрих*—Г. Нейгауз. *Сладковатой груши земной.*—«Земляную грушу»—нечто вроде картошки со сладковатым вкусом—О. М. не переносил и говорил, что это просто мороженая картошка» (*НМ-III,* с. 155).

«— Нет, не мигрень,— но подай карандашик ментоловый...» (с. 175).— *СС-I*, № 317, и *ВТ*, с. 30,— с ошибочной датой: «23 апр.— июль 1935 г.». *БП*, № 152. Автограф, с датой «23 апр<еля> 1931 г.» и с правкой в ст. 13—14,— *АЗ;* первоначальная редакция ст. 13—14:

— Нет, не мигрень,— но подай карандашик ментоловый,—
Где поволока искусства? Где краски пространства веселого?

Промежуточная редакция ст. 13—14:

— Нет, не мигрень,— но скажи, разве я изобрел его,—
Свист разрываемой марли под рокот гитары карболовый?

Наброски этого ст-ния (на обороте черновика следующего ст-ния) — *АМ*— см. Приложения. Печ. по автографу.

Н. Я. Мандельштам не видела этот автограф и не признавала сделанную на его основании датировку Н. И. Харджиева, полагая, что это ст-ние — парное написанному в июле 1935 г. ст-нию «Не мучнистой бабочкою белой...» (см. *НМ-III*, с. 210—214 и 156).

«Сохрани мою речь навсегда за привкус несчастья и дыма...» (с. 175).— *ВП-II*, с. 24. В СССР — *Пр-66*, с. 110; *СС-I*, № 235,— с посвящ. А. А. А<хматовой> и с пометой: «Хмельницкая»; *БП*, № 153 (по *ВС*),— везде с разночт. в ст. 10: «нацелясь на смерть». Автограф, с двумя вариантами начала ст. 7 (оба не зачеркнуты): «обязуюсь» и «обещаю» — *АМ*. Автограф, с датой «1931» — собр. М. Б. Горнунга. Автограф наброска строфы 1, с разночт. в ст. 3: «должна быть чернима» и пропуском эпитета перед «дегтем» в ст. 2,— *АМ*. Печ. по автографу (собр. М. Б. Горнунга).

Этим ст-нием кончается «волчий цикл». В этой связи существенно, что в «Листках из дневника», говоря о посвященных ей ст-ниях Мандельштама, А. Ахматова не называет этого ст-ния. *На бадье.*— По мнению Б. С. Кузина, правильно «в бадье». Мандельштам пренебрег этим замечанием (*Герштейн*, с. 42). По мнению Н. Я. Мандельштам, это ст-ние «...не посвящалось никому. О. М. мне сказал, что только Ахматова могла бы найти последнее не хватавшее ему слово — речь шла об эпитете «совестный» к дегтю труда. Я рассказала об этом Анне Андреевне — «он о вас думал» (это его буквальные слова) потому-то и потому-то... Тогда Анна Андреевна заявила, что, значит, он к ней обращается, и поставила над стихотворением три «А». Вполне вероятно, что так и было!» (*НМ-III*, с. 156).

Канцона (с. 176).— *СС-I*, № 236. В СССР — *ДН-87*, с. 135—136. И. М. Семенко считала основным авториз. список Н. Я. Мандельштам, без загл., с датой «26 мая 1931» и разночт. в ст. 9: «Там». Авториз. список, присланный в редакцию «Лит. современника» с датой «Москва, 31» и отброшенными вариантами ст. 12: «псалмопевцу дар от прозорливца» и ст. 26—27: «с ростовщической выпуклостью» и «заглохли» вместо «поблекли» — фонд ж. «Лит. современник» — *ИРЛИ*, ф. 443,

оп. 1, ед. хр. 14, л. 5—6. Авториз. машинопись, под рукописным загл. «География» (позднее зачеркнутым и замененным на «Канцона»), с датой «26 мая 1931» и рукописной правкой строфы 1, приведшей к редакции, на некоторое время отменившей основную,— *АМ* (см. Приложения. По предположениям Э. Г. Герштейн и Т. В. Сидоровой (устные сообщ.), в ст. 23 должно стоять: «вымытая басмой». Печ. по очевидно более позднему списку (*ИРЛИ).*

По мнению Н. Я. Мандельштам, в ст-нии — главная «смысловая проблема: что́ это за край «небритых гор» — Палестина (начальник евреев) или Армения («младшая сестра земли иудейской»)... Скорее всего, это сборный ландшафт средиземноморских культур. «Канцона» — стихотворение о зрении, причем это не только физическое зрение, но и историческое. (Ср. о «зрении хищных птиц» — поэта — в «Разговоре о Данте».) Оно складывается из следующих психологических предпосылок: невозможность путешествия, жажда исторической земли (скоро Москва будет названа «буддийской»), обида на ограниченность физического зрения, глаз хищной птицы, равный стеклам бинокля Цейса (где-то в Армении мы забавлялись, разглядывая даль в бинокль Цейса), физическое и историческое зрение: краски в мире заглохли, но на исторической земле они есть (малиновая ласка, зеленая долина). Здесь вожделенное путешествие осуществляется усилием зрения, похищением зрения хищной птицы, бинокля, обострением чувств» (*НМ-III,* с. 157—158). См. также главу «Начальник евреев» в *НМ-II,* с. 614—624. В. Я. Мордерер в своей неопубликованной работе о «Канцоне» пытается показать, что темой ст-ния является прошлое и будущее еврейского народа, его история и культура, тесно связанные с эллинизмом. Тема российского антисемитизма, возникшая в ст-нии «Отравлен хлеб, и воздух выпит...» развита в «Канцоне», где под «профессорами», египтологами и нумизматами, подразумеваются известные распространители «кровавого навета». *Канцона* (букв.: песня) — сложный жанр провансальской и итальянской любовной поэзии (ст-ния длиной в 3, 5 или 7 строф, рифмы 1-й строфы сохраняются, заключительная строфа укорочена), в России распространения не получила; Мандельштам, очевидно, хотел подчеркнуть заглавием связь проблематики этого ст-ния с южным, средиземноморским пейзажем. *«Села́»* — древнееврейское слово, обозначающее паузу при исполнении псалма или молитвы, подчеркивающее такие чувства, как благодарение и превознесение Всевышнего, и мольбу о Его помощи и защите. *Малиновая ласка.*—Н. Я. Мандельштам связывает это с цветом одежды отца в картине Рембрандта «Возвращение блудного сына».

«Полночь в Москве. Роскошно буддийское лето...» (с. 177).— *ЛГ,* 1932, 23 ноября, с датой «июль 1931». *БП,* № 154. Авториз. список с пометой: «Москва, 30<-е годы>», с ранними (отброшенными) вариантами в ст. 50: «Она у нас пеньковая» и ст. 64: «конвейером высоким»,— в фонде ж. «Лит. современник» (*ИРЛИ,* ф. 443, оп. 1, ед. хр. 14, л. 3—4). В авториз. машинописи *(АВ)* — разночт. в ст. 54: «Есть блуд труда, как есть и блуд крови». Печ. по *ИРЛИ.*

Открывает собой «цикл» своеобразных мандельштамовских белых

стихов с их переменным размером и эпизодическими рифмами. Писалось в начале лета 1931 г. в комнате А. Э. Мандельштама на Старосадском, где О. Э. и Н. Я. Мандельштам остались вдвоем (брат с женой уехали на юг). «Весь период на Старосадском — какой-то особый дразнящий тон, вызывавший дополнительную ненависть. «Буддийская Москва» — ясна из всей концепции исторического мира. Сравнение с конем и с бегами — в последующих белых стихах повторится» (*НМ-III*, с. 161). *В черной оспе.*— По-видимому, имеются в виду мужские сережки тополя. *Два клоуна засели — Бим и Бом.*—Бим и Бом — популярные в 20-е годы юмористы-сатирики Гарин и Вильтзак, по предположению Э. Г. Герштейн, имеется в виду ночная проверка трамвайных путей, начинающаяся двумя контрольными ударами молотом по рельсу, после чего нередко начинали что-то подправлять и со звоном ремонтировать (*Герштейн*, с. 40).

«Еще далёко мне до патриарха...» (с. 178).— *ВП-II*, с. 20. В СССР — *Пр-66*, с. 110 (с пропусками). *БП*, № 155, с разночт. в ст. 26: «лотков». Автограф, без ст. 24—28, с датой «май — сентябрь 31 г.» и разночт. в ст. 31—32: «Хотите, я снимусь в кавказской бурке // У мыловаренного павильона» и ст. 34: «Хотите, я наймусь на побегушки»,— *АЗ*. Авториз. список с авт. правкой и отброшенными вариантами (в ст. 8: «связан с жизнью» и в ст. 13: «бросаюсь к телефону») был послан в ж. «Лит. современник» — *ИРЛИ*, ф. 443, оп. 1, ед. хр. 14, л. 1—2. *ТС*, с датой «июль — сентябрь 1931» и с разночт. в ст. 7: «Но в глубине нисколько не меняюсь...» *ВС*, с датой «21 августа — 19 сентября 1931». *АБ*, с разночт. в ст. 35: «влажные подвалы». См. также коммент. к ст-нию «Довольно кукситься, бумаги в стол засунем...». Печ. по *ВС*, дата — по *АЗ* (соответственно изменено место ст-ния в корпусе).

В этом ст-нии — «развитие темы непристроенности, чуждости, изоляции и в то же время шума и «дробности» Москвы: «воробьи» — городские птицы — всегда воспринимались О. М. как настоящие горожане — олицетворение бессмысленной и милой суеты города... Ключик от квартиры, телефон — это еще Старосадский. Уличные фотографы: снимались вместе с женой Александра Эм. на улице, ходили в китайскую прачечную на Варварской площади (теперь Ногина). Все реалии — это повседневная и точная жизнь (палка). Автопортрет как будто точный, а самое точное — это мучительная настроенность на приятие жизни, на жажду пойти по тому же пути — при полной невозможности это сделать» (*НМ-III*, с. 167). *Целлулоид фильмы воровской*— целлулоидный рожок; с его помощью можно было звонить по телефону-автомату, не опуская 15-копеечную монету (сообщено Н. Л. Поболем). *Белорукая тросmь.*—Поэт ходил с тростью с белым набалдашником: в это время у него начались головокружение и одышка на улице.

* Отрывки из уничтоженных стихов (с. 180).— *СС-I*, № 237—240, с пропуском ст. 15 и 23—27. *СС-IV*, № 520—521 — ст. 23—27, а также двустишие:

Из раковин кухонных хлещет кровь
И пальцы женщин пахнут керосином.

В СССР — *Н-88.* Н. Я. Мандельштам вспоминала вариант ст. 31: «*Я назову тебя с такою силой...*» По-видимому, к этому же ст-нию относится и фрагмент, впервые опубликованный в статье Г. Г. Маргвелашвили «Об Осипе Мандельштаме» (*ЛГр-67,* с. 78):

Язык-медведь ворочается глухо
В пещере рта. И так от псалмопевца
До Ленина: чтоб нёбо стало небом,
Чтоб губы перетрескались, как розовая глина.
Еще, еще...

Печ. по *ВС.*

Само ст-ние «написано вслед за «Полночь в Москве. Роскошно буддийское лето...». После того, как его разругал Б. Кузин, О. М., еще не привыкший, что Кузин враждебно встречает каждое новое стихотворение, порвал листок. Мы считали, что стихи совсем пропали, но в Москве в 35 году среди спасенных черновиков я нашла листки с черновыми записями к этому стихотворению. О. М. ... попросил записать сохранившиеся строчки. Не знаю, надо ли их помещать в основной корпус, скорее в какой-нибудь дополнительный раздел. Черновики я отдала Рудакову, сохранился только беловик в «ватиканском списке» (*НМ-III,* с. 162). Н. И. Харджиев, цитируя отрывок 1, датирует его 1937 г. (*БП,* с. 286). *Арзни* — целебный минеральный источник в Армении. *И казнями там имениты дни.*— По-видимому, имеются в виду процессы по делу Промпартии (прошел с 25 ноября по 7 декабря 1930 г.) и по делу «контрреволюционной организации меньшевиков» (начался в марте 1931 г.). *Глаз — хрусталик кравчей птицы.*— Ср. об аккомодации хищных птиц в *«РД».*

* «Довольно кукситься! Бумаги в стол засунем!..» (с. 181).— *НМ,* 1932, № 4, с. 166. *БП,* № 156. Авториз. машинопись — в фонде «Нового мира» (*ИРЛИ,* ф. 209, оп. 1, ед. хр. 97 — сообщ. А. А. Морозовым). Авториз. список первоначальной редакции, с датой «7 июня 1931»,— *АМ* (см. Приложения, <I>). Вариант, началом которого является строфа 2 ст-ния «Еще далеко мне до патриарха...»,— *ЦГАЛИ,* ф. 1893, оп. 2, ед. хр. 1, л. 1об.—2, машинопись — см. Приложения, <II>). В черн. автографе *(АМ),* а также в *СБ* — ст. 13—14:

Не волноваться. Нетерпенья роскошь
Я постепенно в скорость разовью.

В *СБ* также разночт. в ст. 16: «Я сохраню». Печ. по *ВС.*

По-видимому, это ст-ние было принято редакцией «Нового мира» еще в июле 1931 г., но из-за позиции Мандельштама, возражавшего против его изолированной публикации, выход его в свет задержался почти на год. Мандельштам писал 3 июля 1931 г. редактору «Нового мира» В. П. Полонскому: «Это стихотворение даст читателю, с которым я и без того достаточно разобщен, крайне неполное понятие о последних этапах моей лирики, а потому печатать его обособленно я не могу» (*ЦГАЛИ,* ф. 1328, оп. 1, ед. хр. 224). *Обуян... Франсуа.*—

С. И. Липкин вспоминает, что, когда он в разговоре предложил Мандельштаму более точную рифму («Антуан» вместо «Франсуа»), тот вспылил и пристыдил его (*Липкин*, с. 99). Возможно, что имя «Франсуа» было дорого Мандельштаму ассоциациями с Фр. Вийоном.

* «Сегодня можно снять декалькомани...» (с. 182).— *СС-I*, № 265. В СССР — впервые процитировано в статье Г. Г. Маргвелашвили «Об Осипе Мандельштаме» (*ЛГр-67*, с. 83), заключит. часть первоначальной редакции («Какое лето! Молодых рабочих...»), с датой «25 июня 1931»,— *БП*, № 157; полностью — *Н-88*. Авториз. список с датой «1931», где вместо ст. 8—10: «Его бы за границу, чтоб доучился,// Да куда там — стыдно», в ст. 14—15 — пропуск и разночт. в ст. 32: «Но все-таки нельзя»,— *АШ*. Правленый автограф первоначальной редакции с датой «25/VI—31» — *АЗ*. Неправленая машинопись первоначальной редакции, с резолюцией: «Не печатать. П<олонский?>» и с разночт. в ст. 3: «с хохлатого Кремля», ст. 24 (обособлен) и ст. 37: «почасный ялик»,— в фонде Н. И. Замошкина (*ГЛМ*, ф. 49, оп. 2, ед. хр. 55). В *АЗ* также правленый автограф первоначальной редакции, с датой «25 июня 1931» и правкой в ст. 11: [«Дым от Могэс] Река Москва в четырехтрубном дыме», ст. 21: «Ты [незаконнорожденное] время, незаконно», между ст. 33 и 34: «[Для дальнозоркой рысистой дорожки]», ст. 35: «[Какой-то] [Московский] И Фауста бес, сухой и моложавый...» и ст. 36: «[Но в добрый час вопьется <?> мне] Вновь старику кидается в ребро». Печ. по *ВС*.

В мае или июне 1931 г. Мандельштамы ненадолго переехали в Замоскворечье в квартиру Цезаря Рысса (в начале Б. Полянки), ростовского знакомого А. О. Моргулиса; неподалеку, на Б. Якиманке, жил Б. С. Кузин. «В этом стихотворении нащупываются своеобразные способы примирения с действительностью: она оправдывается самой жизнью, ее шумом, тем, что О. М. называет роялем Москвы. Интересно здесь отношение к «грядущему». До сих пор он никогда не видел того, что будет: «у вас потомства нет». Объяснения, так сказать, всегда шли с настоящим, и была или, вернее, появлялась надежда, что оно может выправиться. Летом 31 года — в полной изоляции, на Полянке, обольстившись рекой, суетой, шумом жизни, он поверил в грядущее, но понял, что он уже в него не войдет... «Новое» представилось ему в виде спортивных праздников (ездил на какой-то футбол) и «стеклянных дворцов» — несомненной реминисценции «хрустального дворца» Достоевского плюс отвратительно построенный дом на Мясницкой, сделанный по замыслу Ле Корбюзье. Столбы — курьи ножки» (*НМ-III*, с. 166). *Декалькомани* — переводные картинки (ср. «А здесь лишь картинка налипла // Из чайного блюдца с водой...» в цикле «Армения»). *Река Москва в четырехтрубном дыме* — по предположению Э. Г. Герштейн, вид с Болотной набережной на кондитерскую фабрику «Красный Октябрь» (*Герштейн*, с. 43). Более вероятным представляется, что это — панорама Могэс со стороны Зарядья и Красной площади (см. разночтения в ст. 11).

* Фаэтонщик (с. 183).— *ВП-II*, с. 19, с разночт. в ст. 27: «чтоб крутилась». Машинопись — *ЦГАЛИ*, ф. 1893, оп. 2, ед. хр. 1, л. 1—1об.,

без загл. *НК,* под загл. «Фаэтонщик» и с датой «июнь 1931». Список рукой Н. Я. Мандельштам, без загл., с датой «12 июня 1931 г.» — *СМ.* Печ. по *НК,* дата — по *СМ*[1].

Написано о Нагорном Карабахе осенью 1930 г. Это был «...последний выезд из Эривани, конец нашего путешествия по Армении. На рассвете мы выехали на автобусе из Гянджи в Шушу. Город начинался с бесконечного кладбища, потом крохотная базарная площадь, куда спускаются улицы разоренного города. Нам уже случалось видеть деревни, брошенные жителями, состоящие из нескольких полуразрушенных домов, но в этом городе, когда-то, очевидно, богатом и благоустроенном, картина катастрофы и резни была до ужаса наглядной. Мы прошлись по улицам, и всюду одно и то же: два ряда домов без крыш, без окон, без дверей. В вырезы окон видны пустые комнаты, изредка обрывки обоев, полуразрушенные печки, иногда остатки сломанной мебели. Дома из знаменитого розового туфа, двухэтажные. Все перегородки сломаны, и сквозь эти остовы всюду сквозит синее небо. Говорят, что после резни все колодцы были забиты трупами. Если кто и уцелел, то бежал из этого города смерти. На всех нагорных улицах мы не встретили ни одного человека. Лишь внизу — на базарной площади — копошилась кучка народу, но среди них ни одного армянина, только мусульмане. У О. М. создалось впечатление, будто мусульмане на рынке — это остатки тех убийц, которые с десяток лет назад разгромили город, только впрок им это не пошло: восточная нищета, чудовищные отрепья, гнойные болячки на лицах. Торговали горстями кукурузной муки, початками, лепешками... Мы не решились купить лепешек из этих рук, хотя есть нам хотелось... О. М. сказал, что в Шуше то же, что у нас, только здесь нагляднее и поэтому невозможно съесть ни куска хлеба... И воды не выпьешь из этих колодцев... В городе не было не только гостиницы, но даже комнаты для приезжающих по имени «общо», где спят вместе мужчины и женщины. Автобус на Гянджу уходил наутро. Люди на базаре предлагали нам переночевать у них, но я боялась восточных болячек, а Мандельштам не мог отделаться от мысли, что перед ним погромщики и убийцы. Мы решили ехать в Степанакерт, областной город. Добраться туда можно было только на извозчике. Вот и попался нам безносый извозчик, единственный на стоянке, с кожаной нашлепкой, закрывавшей нос и часть лица. А дальше было все точно так, как в стихах: и мы не верили, что он нас действительно довезет до Степанакерта... Подъезжая к Степанакерту, мы догнали возвращавшееся домой стадо. Там мы переночевали в «общо», а наутро не без труда получили билеты на автобус (через обком) и вернулись к железной дороге в Гянджу или в Нуху.

Стихи о Шуше написаны в Москве летом 31 года, когда мы жили в комнате у Александра Эмильевича (он уехал в отпуск с женой). Тема

---

[1] С учетом уточнения даты это, а также следующее ст-ние должны предшествовать ст-нию «Сегодня можно снять декалькомани...». К сожалению, в наст. изд. эта корректировка оказалась технически невозможной.— *П.Н.*

его — возница, который неизвестно куда везет,— чумный председатель, некто в маске, от которого мы зависим... Мандельштам давно заметил, что мы совершенно ничего не знаем о тех, от кого зависит наша судьба, даже о таинственных незнакомцах, которые вдруг возникали за редакторскими столами и разговаривали с ним о каком-нибудь очередном издании. Они таинственно, неизвестно из каких недр, появлялись за этими столами и столь же таинственно исчезали. Еще меньше мы знали о председателях этого чумного пира. Стихотворение создалось из конкретного происшествия и более широкой ассоциации, в этом его смысл. Из него вышел мирный отрывок про то самое стадо, которое мы увидели, спускаясь к Степанакерту. Мне помнится, что оно шло под гору, когда мы уже «слезли с горы». Вид этого стада вернул нас к мирной жизни: где стадо, там люди, а не только погонщик в кожевенной маске. У нас было ощущение, что мы спасены... Эти стихи — двойняшки, выросшие на одном корню, но с противоположными ощущениями: жизни и безумного бесцельного бега «до последней хрипоты» (*НМ-III*, с. 162—164). *Словно розу или жабу.*—Ср. в ст-нии С. Есенина «Мне осталась одна забава...» (1923): «Розу белую с черною жабой // Я хотел на земле повенчать...» См. также «Роза фаэтонщика и угрюмого сторожа...» (Приложения, с. 391). *Чумный председатель*— прямая отсылка к «Пиру во время чумы» Пушкина (ритм также восходит к Пушкину: «Бесы»). Однако чума здесь не только литературный образ: в 1929—1930 гг. в Гадруте (Нагорный Карабах) была вспышка бубонной чумы (см.: Зильбер Л. А. Операция «Руда».—Наука и жизнь, 1966, № 12, с. 55—63). *Кисло-сладкая земля.*—Эпитет долго не находился и был подсказан А. О. Моргулисом. *Хищном городе Шуше.*—Имеется в виду армянская резня, учиненная в марте 1920 г. азербайджанскими мусаватистами: в Шуше было вырезано ок. 35 тыс. армян.

*«Как народная громада...» (с. 184).— *СС-I*, № 249. В СССР— *МК-87*. Печ. по *НК* (в *ВС* отсутствует).

Это ст-ние выросло на одном корню с «Фаэтонщиком» (см. коммент. к предыдущему ст-нию).

«О, как мы любим лицемерить...» (с. 185).—*НМ*, 1932, № 4, с. 166, строфы 1 и 2—см. Приложения, <1>. Авториз. список Н. Я. Мандельштам, с датой «14 мая <1932>» — в фонде *НМ* (*ИРЛИ*, ф. 209, оп. 1, ед. хр. 97—сообщ. А. А. Морозовым). *БП*, № 159, строфы 1 и 2 с датой «февраль 1932». В текстологии И. М. Семенко, по *ВС*, с датой «апрель 1932» и др. ред. строфы 3,—см. Приложения, <2>. Печ. по *ИРЛИ*.

Первое ст-ние, написанное после переезда в «чудовищную трущобу» в Доме Герцена и перерыва, вызванного работой над «Путешествием в Армению». По сообщению Н. Я. Мандельштам, возникло из бродячих строчек, относящихся к 1910-м годам, «но приняло форму только в зрелости, когда появилось сознание, что смерть отдалилась, а не приблизилась» (*НМ-III*, с. 155). Мандельштам колебался, оставить строфу 3 или нет: «его смущало то, что он отказывается участвовать в повседневных человеческих тревогах,—это было противно всей его жизненной установке» (*НМ-III*, с. 169).

«Там, где купальни-бумагопрядильни...» (с. 185).— *НМ*, 1932, № 6, с. 107, с датой «май 1932». *БП*, № 163. Обрывок черновика строфы 3, с разночт. в ст. 9: «выворочено веко» и ст. 12: «Оттого-то по Яузе» (там же зачеркнутая редакция ст. 12: «Оттого-то на Яузе ялик высок»)— *АМ*. Н. Я. Мандельштам сообщает также строчку-вариант: «Сам себя я за руку по улицам водил» (*НМ-III*, с. 168). В *ВС* дата «апрель 1932» (в *НК*—май). Печ. по *НМ*.

Домашнее название—«Парк культуры». Этим ст-нием начиналась вторая «московская тетрадь». По свидетельству Н. Я. Мандельштам, написано в результате поездок по весенней Москве и первоначально было посвящено С. Клычкову. В ст-нии—«вспышка любви к Москве, как бы остаток нежности, которая проявилась в белых стихах и в «Путешествии»... Москва в «удельных речках»—тоже постоянная нежность О. М. Здесь чувство близости, родства и единства всех этих московских речонок, фольклорная песенка об их единстве» (*НМ-III*, с. 168). *Вода на булавках*—струйки, текущие из разъезжающей по парку бочки-лейки (примеч. Н. Я. Мандельштам).

Ламарк (с. 186).— *НМ*, 1932, № 6, с. 106, с датой «май 1932», *БП*, № 160. *ВС*, с датой «7—9 мая 1932» и с разночт. в ст. 24: «превыше наших сил». Авториз. список— *АМ*, с первоначальной редакцией заключительной строфы:

И подъемный мост она забыла,
Опоздала опустить на миг,
Позвоночных рвами окружила
И сейчас же отреклась от них.

Ср. «осколок» этого ст-ния в цикле «Восьмистишия» (4): «Шестого чувства крошечный придаток...» Печ. по *НМ*.

Ламарк Жак Батист (1744—1829)—французский натуралист, развивавший идеи об эволюции живой природы под воздействием внешней среды и внутренней тяги организмов к совершенствованию (см. о нем в «*ПА*» и в статье «К проблеме научного стиля Дарвина»). Биолог-неоламаркист Б. С. Кузин (см. о нем в коммент. к ст-нию «К немецкой речи»), по сообщ. Н. Я. Мандельштам, возмущался этим ст-нием, полагая, что Мандельштам вторгся в чужую область; напротив, Ю. Н. Тынянов считал это ст-ние гениальным—пророчеством о том, как человек перестанет быть человеком. По Н. Я. Мандельштам, это «уже не отщепенство и изоляция от реальной жизни, а страшное падение живых существ, которые забыли Моцарта и отказались от всего (мозг, зрение, слух) в этом царстве паучьей глухоты. Все страшно, как обратный биологический процесс» (*НМ-III*, с. 170—171). Это ст-ние было отмечено русской эмиграцией (С. Маковский, В. Вейдле, Н. Оцуп). В частности, Н. Оцуп трактовал его как «тягу назад от культуры в праисторию» (Числа. Кн. 7-8. 1933, с. 239). Вместе с тем казенный советский рецензент (О. Бескин), самоотождествившись с «паучьей глухотой» («Это мы!»), заключал: «Нужна ли особая бдительность, чтобы распознать обычное враждебное нашей действительности утверждение о гуннах, разрушителях тонкости человеческих пережива-

ний?» (*ЛГ*, 1933, № 18-19, 23 апреля, с. 8). *Кольчецы* (кольчатые черви) — тип высокоорганизованных червей. *Протей*— мифическое морское существо, способное принимать любое обличье; здесь — род палочковидных бактерий, символизирующий одну из низших ступеней в эволюционной схеме. *У кого зеленая могила.*— Ср. в статье «Литературная Москва», где Мандельштам сравнивает Хлебникова с «лесным зверем», что «мог укрываться от глаз человеческих и незаметно промснял жестокие московские ночлеги на зеленую новгородскую могилу» (II, 278).

* «Когда в далекую Корею...» (с. 187).— *СС-I*, № 255, с разночт. в ст. 8: «И поступающей», ст. 15: «И Петропавловску, Цусиме—» и в ст. 23: «Иные сны». В СССР — *ДН-87*, с. 136, с разночт. в ст. 15 (см. выше). Список 1932 г. первоначальной редакции рукой Н. Я. Мандельштам, без строфы 3 и с разночт. в ст. 2: «Пробрался» — *АМ*. То же, но с разночт. в ст. 2: «Забрался» — *СБ*. Ст-ние было завершено уже в 1935 г. в Воронеже, при составлении *ВС* (*НМ-III*, с. 172—173). Печ. по *ВС*, с отступлением от текстологии И. М. Семенко, предлагавшей дать ст. 2 в редакции списка 1932 г.

По мнению Н. Я. Мандельштам, это — осмысление поэтом своих возрастов; ст-ние говорит о непререкаемом тождестве личности поэта. Мандельштам, по его словам, всегда был одним и тем же; некоторые мысли и понятия зародились в нем необычайно рано (например, отношение к причинности и прогрессу). При этом он одновременно исключительно динамичен, но вся его эволюция — лишь непрестанные поиски ответа на происходящие во внешнем мире изменения с точки зрения выработанных еще в юности изначальных ценностных понятий (см.: *НМ-III*, с. 171—173). *Далекая Корея.*—Имеется в виду неудачная для России русско-японская война 1904—1905 гг. из-за концессий в Маньчжурии и Корее. *«Петропавловск»*— русский эскадренный броненосец, флагман I Тихоокеанской эскадры, подорвавшийся на японской мине 31 марта 1904 г. (на нем погибли адмирал С. О. Макаров и художник В. В. Верещагин). *Цусима*— сражение в Цусимском проливе 14 мая 1905 г., закончившееся разгромом II Тихоокеанской эскадры, предводительствуемой вице-адмиралом З. П. Рождественским, шедшей на помощь осажденному японскими войсками Порт-Артуру. *К царевичу младому Хлору*— цитата из ст-ния Г. Державина «Фелица» (1782); ср. также его ст-ние «К царевичу Хлору» (1802), где под именем Хлора выведен молодой Александр I.

* «Увы, растаяла свеча...» (с. 187).— *БП*, № 161. Первоначальная редакция под загл. «Новеллино» (*СС-I*, № 256) — см. Приложения, (другой вариант заглавия — «Флорентийцы»). Отсутствует в *ТС*. Печ. по *ВС*.

«В Воронеже О. М. решил выбросить первые две строфы «Новеллино» и заменить их стихами о старике, который бегает быстрее, потому что он больше знает, а от основного стихотворения оставить только две последних» (*НМ-III*, с. 173). В своем первоначальном виде ст-ние «исторично» и повествовательно (записано И. М. Семенко со слов Н. Я. Мандельштам). «Новеллино» — анонимный сборник рассказов

XII—XIV вв., один из древнейших памятников итальянской средневековой литературы, воспроизводящий бродячие сюжеты.

* «Вы помните, как бегуны...» (с. 188).—*Струве,* с. 611. В СССР—*РД,* с. 76, примеч. А. А. Морозова. *БП,* с. 291. Печ. по *ВС,* с пометой: «май 1932, Москва—сентябрь 1935, Воронеж». См. коммент. к предыдущему ст-нию.

Ст-ние связано с образом Брунетто Латини, учителя Данте, осужденного на вечный бег по кругу. Ср. «Ад», XV, 121—124 (в пер. М. Лозинского).

* Импрессионизм (с. 188).—Эренбург И. Люди, годы, жизнь.—*НМ,* 1961, № 1, с. 143 (строфы 1 и 4). Полностью—*ВП-II,* с. 27. В СССР—*Пр-65,* с. 60, без загл. и с разночт. в ст. 10: «Смычок иль хлыст» и ст. 15: «сумрачном развале». *БП,* № 162, с указ. разночт. в ст. 15. *СБ,* с датой «22 мая 1932». *ВС,* с опиской в ст. 2: «Глубокий обморок растений». Печ. по списку 1932 г. рукой Н. Я. Мандельштам *(НМ).*

В ст-нии угадываются картины К. Моне «Сирень на солнце» и К. Писсарро «Бульвар Монмартр» и «Площадь Французского театра в Париже» из тогдашнего собрания Музея нового западного искусства в Москве. См. главу «Французы» в *«ПА».*

«Дайте Тютчеву стрекозу...» (с. 189).—*ВП-II,* с. 529, в составе «Стихов о русской поэзии», с разночт. в ст. 10: «учитель наш». *БП,* № 164 (по *ВС*), с разночт. в ст. 6: «Раздражают» (то же в *НК*). Беловой список 1932 г. рукой Н. Я. Мандельштам с разночт. в ст. 6: «возмутили». Черн. автограф первоначальной редакции—*АМ* (см. Приложения). Н. И. Харджиев указывает на автограф (с датой «июль 1932»—собр. А. В. Звенигородского) и авториз. список промежуточной редакции *(АМ),* текст которой нам неизвестен. В черн. автографе, а также в *ВС* имеется еще одна, заключительная строфа, написанная в Воронеже (*НМ-III,* с. 175), но взятая в квадратные скобки (то есть отброшенная поэтом), пародирующая стихи А. С. Хомякова (см. *БП,* с. 292):

А еще богохранима
На гвоздях торчит всегда
У ворот Ерусалима
Хомякова борода.

Печ. по автографу из альбома Л. В. Горнунга, записанному в мае или июне 1932 г. (Музей А. Ахматовой в Фонтанном Доме, Ленинград).

Дайте Тютчеву стрекозу.—Ср. «Звонче голос стрекозы» из ст-ния Ф. Тютчева «В душном воздуха молчаньи...» (1835). *Веневитинову—розу.*—Ср. ст-ние Д. Веневитинова «Три розы» (1827), а также в ст-нии А. Дельвига «На смерть В<еневитино>ва» (1827): «Розе подобный красой, как Филомела, ты пел». *Перстень*—сердоликовый перстень с надписью на древнееврейском языке, подаренный Пушкину Е. Воронцовой (см. его ст-ние «Талисман», 1827), одновременно намек и на перстень, раскопанный в развалинах Помпеи и подаренный Д. Веневи-

тинову (см. его «Завещание», 1826, и «К моему перстню», 1827); кроме того, «Перстень» — название повести Е. А. Боратынского. *А еще одышкой болен...* — Фет в старости, действительно, страдал одышкой.

Батюшков (с. 189).— *НМ,* 1932, № 6, с датой «18 июня 1932 г.». *БП,* № 165. Автограф с датой «18 июня 1932 г.» — архив Н. И. Замошкина (*ГЛМ,* ф. 49, оп. 2, ед. хр. 53). И. М. Семенко указывает также на варианты — ст. 1: «словно бродяга» и ст. 3: «По переулкам шагает». *СБ,* без загл. и с разночт. в ст. 23: «смутные сны». О намерении поэта снять заключительную строфу сообщает Н. Я. Мандельштам (*НМ-III,* с. 176). Печ. по *НМ.*

На публикацию этого ст-ния откликнулись О. Бескин и Д. Благой: первый — заклеймив его как «пассеистское и стилизаторское» (*ЛГ,* 1933, № 18-19, 23 апреля, с. 8), второй — назвав Мандельштама «видным деятелем нашей литературы» (в кн.: Батюшков К. Собрание сочинений. М., 1934, с. 40). Ср. очерк К. Батюшкова «Прогулка по Москве».

Батюшков нежный со мною живет.— По сообщ. Н. И. Харджиева, в 1932 г. на стене комнаты в Доме Герцена, где жил Мандельштам, висела репродукция автопортрета Батюшкова. В библиотеке Мандельштама было и прижизненное издание Батюшкова. Он говорил: «Словно Батюшков сам дотронулся...» (*НМ-III,* с. 174). По свидетельству С. И. Липкина, ст-ние Батюшкова «К другу» Мандельштам называл своим любимым ст-нием, прибавляя, что «хотел бы быть автором этого ст-ния». *Дафна.*— Единственное упоминание Дафны у Батюшкова — в ст-нии «Ответ Тургеневу» (1812): «Все нимфы строги к нам // За наши псалмопенья, // Как Дафна к богу пенья». Н. Я. Мандельштам полагала, что Дафна — это описка, а подразумевалась Зафна из ст-ния «Источник» (1810), написанного тем же размером, что и данное ст-ние. *Говор валов.*—Ср. в ст-нии Батюшкова «Есть наслаждение и в дикости лесов...» (1819): «И есть гармония в сем говоре валов...» *Оплакавший Тасса.*—См. элегию К. Батюшкова «Умирающий Тасс» (1817). По легенде, Торквато Тассо (1544—1595) умер в день, назначенный для увенчания его лавровым венком в Капитолии.

* Стихи о русской поэзии (с. 190).— Ст-ния 1 и 2 — *ВП-II,* с. 28, ст-ние 3 — *СС-I* (1-е изд.) (искаженные тексты). В СССР — ст-ния 1 (без строф 1 и 2) и 2 как единое произведение — *ЛГр-67,* с. 69, ст-ние 3 — *Пр-65,* с. 61 (без загл., искаженные тексты). *БП,* № 166—168, с общей датой «2—3 июля 1932 г.». *ВС,* с датами под ст-ниями 2 и 3 — соответственно «4 июля» и «3—7 июля 1932 г.». Авториз. машинопись 1932 г.— с разночт. в ст. 3 ст-ния 2: «По корням». Беловой автограф первоначальной редакции ст-ния 2, с датой «2 июля 1932 г.», со следующей редакцией строфы 3 (сохранилась и в других списках):

И угодливо-поката,
Кажется земля, пока,
И в сапожках мягких ката
Выступают облака.

В другом авториз. списке (с датой «4 июля 1932 г.») ст. 5—6 переработаны в вариант, от которого поэт позднее отказался (вернувшись к первоначальному):

У Некрасова тележка
На торговой мостовой.

Оба списка — *АМ.* Машинопись, с разночт. в ст-нии 1, ст. 17: «Пахнет городом, потопом»,— *СБ.* Печ. по *ВС* (предложение И. М. Семенко внести в этот текст исправление в ст. 3 ст-ния 2 по машинописи 1932 г.— нами не принимается).

В 1932 г. Мандельштам собирал по букинистам прижизненные издания русских поэтов, заново пересматривал русскую поэзию XIX в. В «Стихах о русской поэзии» последняя «ощущается как нечто стихийное и народное, питающееся низовыми источниками, нераздельно с ними связанное» (*НМ-III,* с. 197). По свидетельству Э. Г. Герштейн, А. Ахматова не признавала «Стихи о русской поэзии»: «Здесь он ухитрился не заметить Пушкина» (*ЛО,* 1985, № 7, с. 107—108). Вместе с тем сама фигура умолчания здесь и в поэзии Мандельштама лишь подчеркивает то «небывалое, почти грозное отношение» к Пушкину, то «сверхчеловеческое целомудрие», о котором пишет сама А. Ахматова в «Листках из дневника» (*Ахматова,* с. 198).

Эти стихи «даже при беглом чтении производят впечатление текста, целиком сотканного из мотивов, аллюзий, параллелей, относящихся к истории русской поэзии... <это> своеобразный «экзамен» по русской поэзии» (Гаспаров Б. Сон о русской поэзии.— Stanford Slavonic Studies. V. I, 1987, p. 261 и далее). «Разгадку» Б. Гаспаров усматривает в инфернальном сне Татьяны из пятой главы «Евгения Онегина».

1. «Сядь, Державин, развалися...» — *Хитрее лиса.*— Ср. «посольская лиса» — характеристика Ариоста в ст-нии «Ариост». *Початок*— украинизм: начало (ср. также украинизм «кат» — палач — в ранней редакции). Здесь, скорее всего,— початая бутылка вина (ср. «бутылку» в ст. 5): тему пира и буйного веселья, тесно связанную с темой вольности, Державин как бы передает Языкову, поэзия которого 1810—1820-х годов давала к тому немало поводов (ср. стихотворные послания к Языкову Пушкина и Боратынского). *Гром*— неявная отсылка к «Весенней грозе» Тютчева и, одновременно, к строкам Державина: «Гром победы, раздавайся, // Веселися, храбрый Росс!..» *И глотками по раскатам.*— Ср. «громовым своим раскатом... Перед ста народов катом» (поэма Хлебникова «Ладомир»). *Мускат.*— Ср. «Стихов виноградное мясо» в ст-нии «Батюшков». *Конский топ.*— Ср. «людская молвь и конский топ!» из сна Татьяны, одновременно — далекий отголосок темы Евгения, убегающего от Медного всадника.

2. «Зашумела, задрожала...» — *Смоковница.*— Ср. евангельскую притчу о бесплодной смоковнице, не способной утолить жажду путника и потому проклятой и засохшей (Матф., 21, 18—20, и Марк, 11, 13—20).

3. «Полюбил я лес прекрасный...» — Посвящено С. А. Клыч-

кову, которому ст-ние очень нравилось; посвящение восстановлено по указаниям Н. Я. Мандельштам (*НМ-I*, с. 249, и *НМ-III*, с. 176). *Молкнут // Голоса на молоке.*—Ср. идиому «мокнуть на молоке». Ср. также о стихах Пастернака в «Заметках о поэзии»: «Это—кумыс после американского молока» (II, 210). *И белок кровавый белки // Крутят в страшном колесе.*—Ср. «Ни кровавых костей в колесе» в ст-нии «За гремучую доблесть грядущих веков...».

К немецкой речи (с. 192).—*ЛГ*, 1932, 23 ноября, с датой «август 1923» и с посвящением Б. С. Кузину. *БП*, № 169 (по *ВС*, без посвящения). В качестве первоначальной редакции может рассматриваться сонет «Христиан Клейст» (см. I, 307—308), датированный 8 августа 1932 г. (список рукой А. В. Звенигородского), и авториз. машинопись промежуточной редакции под загл. «Бог Нахтигаль», правка на которой (в т. ч. и в загл.) приводит к тексту «К немецкой речи»,—*АМ* (см. Приложения). Авториз. список промежуточной редакции Н. Я. Мандельштам, с пропуском ст. 34 и двумя следующими вариантами в строфе 6:

<1> Дурнушка-жизнь и даже смерть-неряха
Лишь новизной [своей] берут первостатейной
И прямо в гроб с виньеткой альманаха,
Как в погребок за крышкой мозельвейна.

<2> Не потому ль, что даже смерть-неряха
Лишь новизной сильна первостатейной.

Авториз. список Н. Я. Мандельштам под загл. «К немецкой речи», с посвящением Б. С. Кузину и эпиграфом, с опиской в ст. 4: «обязан ей извечно»,—*АШ*. *ВС*, с датой «8—12 августа 1932». Печ. по *АШ*, с исправлением описок и датой по *ВС*.

Н. Я. Мандельштам выделяет в этих стихах «проблему верности и измены: для него чужой язык, чужая поэзия, наслаждение чужой речью равно измене. То же он скажет об итальянском и армянском. Это какое-то повышенное ощущение верности, преданности, когда любовь к чужой поэзии ощущается как нечто запретное» (*НМ-III*, с. 178). *Кузин* Борис Сергеевич (1903—1975)—доктор биологических наук, энтомолог, биолог-теоретик. О его знакомстве с Мандельштамом в Армении в 1930 г. и их дружбе см.: О. Э. Мандельштам и Б. С. Кузин. Материалы из архивов.—Вопросы истории естествознания и техники, 1987, № 3, с. 127—144. В письме к М. С. Шагинян от 5 апреля 1933 г. Мандельштам писал о нем: «Личностью его пропитана и моя новенькая проза, и весь последний период т. н. «зрелого Мандельштама» (там же, с. 131). Ему же посвящено и *«ПА»* (см. коммент. к *«ПА»*). Самому Кузину эти стихи «отчаянно не понравились» (*НМ-III*, с. 177). *Клейст* (фон Клейст) Эвальд Христиан (1715—1759)—немецкий поэт, с 1736 г.—офицер прусской службы. Во главе батальона штурмовал русскую батарею в битве под Кунерсдорфом 12 августа 1759 г., был смертельно ранен и умер во Франкфурте-на-Одере 24 августа. Его похороны описаны Шиллером: русский офицер

положил на его могилу шпагу. В качестве эпиграфа Мандельштам приводит начальную строфу из ст-ния «Дифирамбы» (Ewald Christian von Kleist's Sämmtliche Werke. Berlin, 1803, S. 48). В библиотеке Мандельштама были Гете, Бюргер и др. немецкие поэты. *Церера*—римская богиня плодородия и земледелия. *Франкфурт*—здесь: Франкфурт-на-Майне, родина Гете. *Еще о Гете не было известий.*—В 1759 г. Гете шел 11-й год. *Валгалла.*—См. коммент. к ст-нию «Когда на площадях и в тишине келейной...». *Со страницы альманаха.*—В литературный обиход Германии альманахи вошли в сер. XVIII в. *Мозельвейн*—распространенный сорт немецкого полусладкого вина. *Нахтигаль* (нем.)—соловей. *Пилад* (греч. миф.)—молчаливый друг Ореста, почти не произносивший слов. *Семилетняя бойня*—Семилетняя война 1756—1763 гг. между Австрией, Францией, Россией, Испанией, Саксонией и Швецией с одной стороны, и Пруссией, Великобританией (в унии с Ганновером) и Португалией с другой.

* Ариост («Во всей Италии приятнейший, умнейший...») (с. 193).—*ДП-62.* М., 1962, с. 285, с пометой: «4—6 мая 1933 г. Старый Крым» и опиской в ст. 1: «приятнейшей, умнейшей». *БП,* с. 295—296 (примеч.). Первоначальный текст—без последней строфы, с пометой: «Старый Крым. 4 мая 1933». Печ. по *ВС.*

Написано в Старом Крыму, где с 18 апреля по 29 мая 1933 г. О. Э. и Н. Я. Мандельштам, а с ними и Б. С. Кузин (бывший перед этим, с 3 по 10 апреля, под арестом) жили у Н. Н. Грин, вдовы А. С. Грина. Это был период усиленного чтения Данта, Ариоста, Тасса и Петрарки в *подлиннике* (см.: *НМ-III,* с. 179—184). Тогда же появилась целая группа «итальянских» ст-ний, здесь же был задуман и, видимо, начат *«РД»,* законченный в Коктебеле. *Ариост*—Лудовико Ариосто (1474—1533), итальянский поэт, автор поэмы «Неистовый Орланд», где описывается «путешествие на Луну» за утраченным Орландом рассудком. *И деве на скале: лежи без покрывала.*—Ср. в ст-нии Пушкина «Буря» (1825): «Ты видел деву на скале... С ее летучим покрывалом?» Ср. также в «Неистовом Орланде»—песнь X, сцену с Олимпией, прикованной к скале на растерзание морскому чудовищу и спасенной Орландом. *Феррара*—город и герцогство в Сев. Италии. Ариосто служил при феррарском дворе, выполняя самые рискованные поручения. *В Италии темно*—намек на фашистский режим в Италии, установленный Муссолини в 1922 г. *Широкое и братское лазорье.*—Тема общности европейского («средиземноморского») культурного мира и его истории—одна из сквозных в творчестве Мандельштама.

* Ариост («В Европе холодно. В Италии темно...») (с. 195).—*СС-I,* № 268, с подзаголовком: «(Вариант)». *БП,* № 170, где вариантом, наоборот, считается предыдущее ст-ние. Печ. по *ВС,* с исправлением описки в ст. 19: «А на дворе».

«Второй вариант—это попытка вспомнить эти стихи в Воронеже, когда мы считали, что рукопись не сохранилась. Потом она нашлась. О. М. собирался печатать оба стихотворения под номерами (1 и 2) с общим названием» (*НМ-III,* с. 180). См. также: *Герштейн,* с. 167. *Кузнечик мускулистый.*—Ср. «стальную мускулатуру кузнечика» в рец. на

стихи И. Северянина (II, 257). *И прямо на луну влетает враль плечистый*— рыцарь Астольф, которого должен воротить унесенный на Луну ум обезумевшего Орланда (песнь XXXIV). *Посольская лиса.*— Ариост— «человек, который сумел поладить со своим временем» (*НМ-III*, с. 179) — выполнял разные дипломатические поручения герцогства. Его отец в течение ряда лет был судьей феррарского трибунала. *Феррара... на цепи держала.*— Имеется в виду «оплаканный Батюшковым» поэт Т. Тассо, живший при дворе феррарского герцога Альфонса II и, в результате интриг, посаженный в сумасшедший дом на семь лет.

* «Друг Ариоста, друг Петрарки, Тасса друг...» (с. 196).— *Струве,* с. 612. В СССР— *Избр.,* с. 248. Печ. по *ВС.*

Ст. 2—4 тождественны ст. 30—32 из первой редакции «Ариоста». Несмотря на это, Мандельштам считал это ст-ние самостоятельным произведением: «это стихи об изменнике, который наслаждается чужим языком, чужими звуками» (*НМ-III*, с. 180). См. коммент. к ст-нию «К немецкой речи».

«Не искушай чужих наречий, но постарайся их забыть...» (с. 196).— *Струве,* с. 612, без ст. 3—4. В СССР— *Избр.,* с. 248 (по *ТС*), с разночт. в ст. 9: «А в наказанье». Печ. по *ВС.*

См. коммент. к предыдущему ст-нию.

* Старый Крым (с. 196).— Мосты, Мюнхен, кн. 10, 1963, с. 157—158, без загл. В СССР— *ДН-87,* с. 136, с разночт. в ст. 10: «А тени». Печ. по *НК,* куда вписано, по-видимому, уже в 1950-х годах. Загл. восстановлено по *ТС,* куда сам текст ст-ния, как и в *ВС,* по известным соображениям, не вписан. Э. Г. Герштейн приводит по памяти следующие варианты, представляющиеся ей основными,— ст. 1: «Холодная весна. Бесхлебный Старый Крым», ст. 4: «Какой-то кисленький, кусающийся дым».

После расширения в 1931—1932 гг. принудительных заготовок в колхозах, наметился резкий спад производства, приведший при плановом росте заготовок зимой и весной 1932/1933 гг. к массовому искусственному голоду в сельских районах Украины, Дона, Северного Кавказа, Нижней и Средней Волги, Южного Урала и Казахстана. Число умерших от голода, по разным оценкам, от 2 до 5 млн. чел. (см.: Максудов С. Потери населения СССР. Нью-Йорк, 1989). Н. Я. Мандельштам пишет: «Мы приехали с диким багажом: на месяц пришлось взять с собой хлеба. Вся страна сидела на пайке, а на Украине, на Кубани, в Крыму был форменный голод. Раскулачиванье уже прошло, остались только слухи и толпы бродящего народу. Старый Крым в испуге как-то сжался. Ежедневно рассказывали, как ночью проломали стену, залезли в кладовую и вытащили всю муку и крупу. Именно это было предметом грабежа. Целый день к воротам подходили люди. Откуда? С Кубани... С Украины. Они рассказывали, как целиком выселялись громадные станицы, как раскулачивали и усмиряли... Стихотворение о Старом Крыме фигурировало в «деле» О. М. 34 года— клевета на строительство сельского хозяйства. Из этих стихов ясно, что мы приехали в Крым ранней весной, когда цветет миндаль. Обонятельное ощущение—дым—всегда к ночлегу, к дому. Дымок—это

мысль о жилье. «Рассеянная даль» была вначале «расстрелянной», но это показалось О. М. чересчур прямым ходом. Кубань и Украина названы точно — расспросы людей, бродивших с протянутой рукой. Калитку действительно стерегли день и ночь — и собаки, и люди, чтобы бродяги не разбили саманную стенку дома и не вытащили последних запасов муки. Тогда ведь хозяева сами стали бы бродягами» (*НМ-III*, с. 184—186).

«Мы живем, под собою не чуя страны...» (с. 197).— Мосты, Мюнхен, кн. 10, 1963, с. 159, с пропуском ст. 11—12 и разночт. в ст. 1: «не зная страны», ст. 4: «помянут», ст. 7: «усища», ст. 9: «толстокожих вождей», ст. 13: «Как подковы, кует» и ст. 14: «Кому в лоб, кому в бровь, кому в пах» — по списку Ю. Г. Оксмана (см.: Флейшман Л. Письма Ю. Г. Оксмана к Г. П. Струве.— Stanford Slavonic Studies, v. I. Stanford, 1987, p. 23—26). В СССР — *Ю-87*, с. 74, примеч. (ст. 1—8); полностью — в многотиражной газете МАДИ «За автомобильно-дорожные кадры», 1988, 7 января. Здесь и в др. публикациях ст-ние записано (по спискам, сделанным Н. Я. Мандельштам по памяти) в виде 8 двустиший, с указ. разночт. в ст. 7 и 13. Известны также варианты ст. 11: «Кто пищит» и ст. 3—4:

Только слышно кремлевского горца,
Душегубца и мужикоборца.

Э. Г. Герштейн приводит вариант ст. 5: «У него во дворе и собаки жирны» и сообщает о том, что Мандельштам был недоволен последними двумя строчками (*Герштейн*, с. 79—80). Печ. по автографу, записанному Мандельштамом в НКВД во время допроса (получен в январе 1989 г. Комиссией по литературному наследию Мандельштама при Союзе писателей СССР из КГБ СССР и передан на постоянное хранение в *ЦГАЛИ*. См. «Московские новости», 1989, № 15, 9 апреля, с. 16).

Это ст-ние послужило главным обвинительным материалом в «деле» Мандельштама после его ареста в ночь 13/14 мая 1934 г. См. об этом начальные главы *НМ-I*. Мандельштам прочел это ст-ние по меньшей мере полутора десяткам людей. Как правило, первые слушатели этого ст-ния приходили в ужас (см., например, реакцию Г. А. Шенгели: «Мне здесь ничего не читали, я ничего не слышал...» — *Липкин*, с. 101). *Кремлевский горец.*— Ср. ст-ние «Внутри горы бездействует кумир...». *Его толстые пальцы, как черви, жирны.*— Возможно, Мандельштаму было известно о том, то Сталин, беря книги из библиотеки Д. Бедного в Кремле, оставлял на белых страницах жирные отпечатки, о чем Д. Бедный неосторожно записал в дневнике. *Грудь осетина.*— Широкое хождение имела легенда об осетинском происхождении И. Джугашвили.

* «Квартира тиха как бумага...» (с. 197).— Русская мысль, Париж, 1963, 21 февраля, без строф 4 и 8; полностью — *СС-I*, № 272, с разночт. в ст. 20: «кулацкому паю». В СССР — *Ю-87*, с. 75, без строфы 4 и с разночт. в ст. 11: «И я»; полностью — *Избр.*, с. 250—251. Печ. по *НК* (поздняя запись), с восстановлением строфы 8, взятой Н. Я. Мандельштам в скобки.

Домашнее название — «Квартира». «Осенью 1933 года Мандельштам наконец получил (воспетую им) квартиру (две комнаты, пятый

этаж, без лифта; газовой плиты и ванны еще не было) в Нащокинском переулке... и бродячая жизнь как будто кончилась. Там впервые у Осипа завелись книги, главным образом старинные издания итальянских поэтов (Данте, Петрарка). На самом деле ничего не кончилось...» (*Ахматова*, с. 201—202). Поводом к его написанию послужила реплика Пастернака, забежавшего посмотреть новое жилье Мандельштамов. «Ну вот, теперь и квартира есть — можно писать стихи»,— сказал он, уходя.

«Ты слышала, что он сказал? — О. М. был в ярости... Он не переносил жалоб на внешние обстоятельства — неустроенный быт, квартиру, недостаток денег,— которые мешают работать... Слова Бориса Леонидовича попали в цель — О. М. проклял квартиру и предложил вернуть ее тем, для кого она предназначалась: честным предателям, изобразителям и тому подобным старателям... Проклятие квартире — не проповедь бездомности, а ужас перед той платой, которую за нее требовали. Даром у нас ничего не давали...» (*НМ-I*, с. 157). Как явствует из писем Мандельштама к отцу *(АЕМ)*, переезд в новую двухкомнатную квартиру на пятом этаже «надстройки» писательского кооперативного дома по ул. Фурманова (б. Нащокинскому пер., д. 5, кв. 26) состоялся в ноябре—декабре (ордер был получен раньше,— скорее всего, в августе; дом снесен в 1978 г.). Описание борьбы за квартиру и ее внутреннего «убранства» см.: *Герштейн*, с. 69—71.

* «У нашей святой молодежи...» (с. 200).— *СС-I*, № 274, с указанием в примечаниях варианта ст. 7—8: «Кулацкого бая качаю, // Колхозного пая пою». Печ. по поздней записи в *НК*.

Очевидно, «осколок» ст-ния «Квартира тиха, как бумага...».

* «Татары, узбеки и ненцы...» (с. 200).— *СС-I*, № 273. В СССР — Звезда Востока, Ташкент, 1967, № 3, с. 98. Печ. по поздней записи в *НК*.

Ст-ние отражает бум вокруг переводов поэзии народов СССР в 30-е годы, призванных отображать торжество сталинской национальной политики в области культуры и искусства. Ср.: *Ахматова*, с. 202, а также шуточное ст-ние «Марья Сергеевна, мне очень хочется...» (I, 360).

* Восьмистишия (с. 200).— *СС-I*, № 275—285, в той же последовательности, что и в наст. изд. В СССР — Москва, 1964, № 8, с. 155, под загл.: «Из восьмистиший» (2 и 7), а также: *Пр-66*, с. 110(6); *ЛГр-67*, с. 79 и 80 (3 и 5, частично). Звезда Востока, Ташкент, 1967, № 3, с. 97, под загл. «Из восьмистиший» (11 и 5); *БП*, № 171 и 172 (1 и 7); полностью — *ДП-81*, с. 199—201, в следующей последовательности (нумерация по наст. изд.): 1, 2, 6, 3, 7, 9, 8, 4, 5, 10, 11. В машинописи, переданной в редакцию «Красной нови» (*ЦГАЛИ*, ф. 613, оп. 1, ед. хр. 4686, л. 3—4), под загл. «Воспоминания» (вероятно, опечатка), содержится 4 восьмистишия в следующей последовательности: 2, 3, 6 и 9. Вопрос о композиции «Восьмистиший» автором окончательно решен не был (см. ниже). Печ. по *ВС*, в последовательности, обоснованной И. М. Семенко и согласованной с Н. Я. Мандельштам. Даты, как и в «Дне поэзии», по указаниям Н. Я. Мандельштам.

По И. М. Семенко, «1—2 — это интродукция, ключ к проблеме, импульс к движению, расширению творческого и природного простран-

ства; 3—4—начало пути; 5—все «рвется», «тянется»—и руда, и стон (стих), всякий недоразвиток, ибо в пространстве есть внутренний избыток, т. е. импульс к движению, формообразованию (всего сущего) в природе и искусстве (лепесток и купол); 6—начало нового разговора об искусстве, не прерывающегося до самого конца (а не конец интродукции, как было бы при перемене последовательности), здесь собственная тяга стиха, он еще «недоразвиток»—хотя уже «вертится сам»,—но уже сущее (важная антитеза купола и пустоты); 7—связь со всем предыдущим (с импульсом, внутренней тягой и избытком), черты прежде опыта—сущее до осуществления; 8—развитие темы, намеченной в 7: тема толпы, включающей всех, дуга как бы аналогична толпе, бесчисленному множеству глаз—составляющему единство неохватывающей дуги, т. е. первоимпульса; 9—продолжение темы: «безудержность линий» порождает и опыт и лепет, а не они сами—друг друга, что и снимает проблему «первичности» одного или другого; 10—ясность линий замутнена в игольчатости человеческой мысли (бокалы), мысль опоена чумным питьем—наваждение бесчисленных, ненужных призрачных причин; тяжелыми ненужными крючьями касаемся легких и изящных законов бытия, вмещающих в себя весь вес бесконечности; 11—финал: из так понимаемого пространства, которое главнее главного (вселенная больше вечности),—выход не в вечность, а в бесконечность» (черн. заметки). И. М. Семенко сообщает также, что сама Н. Я. Мандельштам в машинописи конца 1960-х годов дала следующий вариант порядка восьмистиший: 1, 2, 6, 3, 7, 9, 8, 4, 5, 10, 11 (т. е. как в «Дне поэзии»), исправив его на следующий: 1, 2, 6, 5, 4, 3, 8, 7, 9, 10, 11. Н. Я. Мандельштам отмечает, что «Восьмистишия»—это не цикл, а подборка, составленная из ряда ст-ний, написанных в ноябре 1933 г., а также «осколков» от «Ламарка» и стихов на смерть А. Белого: «Мандельштам никак не хотел собрать и записать восьмистишия. Он долго убеждал меня, что восьмистишие—это просто неудавшееся большое стихотворение, но постепенно я замечала, что он начал читать их людям... Первая запись восьмистиший все же состоялась в январе 34 года. Были записаны №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7 <по-видимому, 2, 6, 3, 7, 9 и 8 в наст. изд.—*П. Н.*>. В феврале он прибавил к восьмистишиям 8 строчек, отделившиеся от стихов Белому, и сразу вспомнил «Шестого чувства...» <5 и 4 в наст. изд.—*П. Н.*>. Лишь в Воронеже он «реабилитировал» два последних восьмистишия: №№ 10 и 11... Их он дольше всего не пускал в подборку. Тогда же О. М. записал второй вариант «Люблю появление ткани», как бы соединив стихи о стихописании и стихи о пространстве. В этой искусственной подборке порядок не хронологический, и окончательно он еще установлен не был. Точно определено, что первые три восьмистишия идут одно за другим... <1, 2, 6.—*П. Н.*> Затем следуют четыре... <3, 7, 9, 8.—*П. Н.*>, но как их лучше расположить, О. М. не решил. После этого две пары—но которая из пар раньше, а которая замыкает подборку, тоже не решено. Здесь—в этих пределах (т. е.—расположение двух пар и порядок четырех восьмистиший) надо найти окончательное решение. Очевидно, надо идти от семантики стихов—они все написаны более или менее на

одну тему. Это стихи о познании или, как бы мы теперь сказали, о формах откровения. Мне кажется, что есть связь между... <3.— *П. Н.*> и <8.— *П. Н.*> — два вида живого: бабочка-умиранка и люди в целом, соборность человеческого познания в этом бесчисленном множестве глаз (глаз для О. М.— орудие мысли). Затем логически следует: «И те, кому мы посвящаем опыт, до опыта приобрели черты», то есть опять-таки о соборности сознания (верили толпе), об отношении индивидуального опыта и общего. Тогда... <9.— *П. Н.*> становится на четвертое место, предваряя стихотворение о несовершенстве чувств... <4.— *П. Н.*> и о познающем субъекте... <5.— *П. Н.*>. И наконец, в последней паре я не могу решить, которое из восьмистиший должно занять ключевое — последнее место. Все-таки я бы отдала его «наваждению причин». Но все это я говорю от себя: что думал об этом О. М.— неизвестно. О восьмистишиях он говорил, что это стихи о познании, но дальше не углублялся. Философской терминологией он вообще не злоупотреблял» (*НМ-III*, с. 188—189).

1. «Люблю появление ткани...» — *СС-I*, № 275, с разночт. в ст. 4: «придет» и ст. 6: «открытые формы». *БП*, № 171, с теми же разночт.

И дугами парусных гонок.— Ср. о «парусности» композиции песни XXVI «Ада» у Данте в *«РД»*, гл. V.

2. «Люблю появление ткани...» — Москва, 1964, № 8, с. 155.

Мандельштам не считал, что новым вариантом отменяется старый, а рассматривал их как вариации на одну и ту же тему.

3. «О бабочка, о мусульманка...» — Грани, кн. 50. Франкфурт-на-Майне, 1961, с. 118 (в статье Ю. Терапиано). В СССР — *ЛГр-67*, с. 89 (в статье Г. Маргвелашвили).

Мандельштам читал это ст-ние Пастернаку, Татлину и др. «у Е. Я. Хазина; Пастернак принял его холодно. Бабочка всегда служит для О. М. примером жизни, не оставляющей никакого следа: ее функция — мгновения жизни, полет и смерть. Об этом см. в «Путешествии в Армению». Поэтому и ее минутная красота — развернутые крылья — напоминают ему не о жизни, а о смерти — они равны савану» (*НМ-III*, с. 187, 190).

4. «Шестого чувства крохотный придаток...» — *ВП-II*, с. 26, с разночт. в ст. 1: «крошечный придаток». В СССР — *ДП-81*, с. 200.

Перекликается со ст-нием «Ламарк». Это и следующее восьмистишие — «о двух противоположных формах жизни (познания) — низшая ступень (но уже обреченная смерти), но знающая нечто иное, обладающая другими средствами познания (реснички, теменной глазок), и познание человеческое: голуботвердый глаз, проникший в закон природы» (*НМ-III*, с. 192).

5. «Преодолев затверженность природы...» — *СС-I*, № 279. В СССР — *ЛГр-67*, с. 80, в статье Г. Маргвелашвили (только ст. 1—4, с разночт. в ст. 3: «В ее земной коре господствуют породы»); полностью — Звезда Востока, Ташкент, 1967, № 3, с. 97, с датой «январь 1934». В ст. 7 существовал вариант: «понять природы».

6. «Когда, уничтожив набросок...» — *ВП-II*, с. 30. В СССР — *Пр-66*, № 11, с. 110.

7. «И Шуберт на воде, и Моцарт в птичьем гаме...» — *ВП-II*, с. 33 (искаженный текст). В СССР — Москва, 1964, № 8, с. 155. *БП*, № 172 (Н. И. Харджиев считал это ст-ние шестым в цикле; в его примеч. отмечен авториз. список первоначальной редакции).

Г. Маргвелашвили понимает эти стихи как высказывание о первородстве жизни в ее взаимосвязи с искусством (*ЛГр-67*, с. 79—80). По Н. Я. Мандельштам, это стихи — «о соборности сознания. Губы поэта — орудие его труда. Но то, что он скажет, уже существовало раньше в сознании толпы, которой он верит. Опыт посвящается людям, но они и до воплощения опыта уже обладали им. Отсюда и «бесчисленное множество глаз» в стихотворении. Человечество как целое — это множество глаз, орудий познания» (*НМ-III*, с. 191).

8. «И клена зубчатая лапа...» — *СС-I*, № 282. В СССР — *ДП-81*, с. 200.

Айя-София.— См. коммент. к ст-нию «Айя-София».

9. «Скажи мне, чертежник пустыни...» — *ВП-II*, с. 29 — вместе с 11 как единое целое. В СССР — *ДП-81*, с. 200, с разночт. в ст. 2: «сыпучих песков».

«Ветер пустыни — это то, что познает пространство,— открытое, не представляющее никаких препятствий. Пространственные сравнения лежат в основе стихов о сочинительстве, а в стихах о пространстве появляется определение познавательной работы поэта: соотношение опыта и лепета». Ср. в ранних стихах — о Тютчеве и Верлене (*НМ-III*, с. 190).

10. «В игольчатых чумных бокалах...» — *ВП-II*, с. 31. В СССР — *ДП-81*, с. 201.

11. «И я выхожу из пространства...» — См. коммент. к 9. В СССР — *ДП-81*, с. 201.

Два последних восьмистишия — суть «стихи о познании с несколько иной точки зрения. Выход из пространства для его познания, в бесконечность, которая может быть постигнута только математически, а не исходя из нашего опыта и лепета. Характер познания «В игольчатых чумных бокалах...» — это словно игра в бирюльки: на крючок наугад вытаскивается одна крошечная закономерность, бесконечно малая величина в сравнении с тем, что познано быть не может с помощью «наважденья причин». Каузальность, познаваемая человеком, найденная им для объяснения явлений, это только наугад вытащенное звено в горе таких же звеньев — бирюлек. Ребенок хранит молчанье — это он постигает не части, а целое,— в сцеплении бирюлек ему не разобраться. Игольчатые узкие бокалы — содержат ту каплю, которая может быть воспринята. Их игольчатость — показывает малость содержащейся в них влаги; они еще названы чумными, так как пьющего каплю познания все равно ждет смерть (древо познания, вкусив от которого человек стал смертным)» (*НМ-III*, с. 191). См. также: Левин Ю. И. Лексико-семантический анализ одного стихотворения О. Мандельштама.— Слово в русской советской поэзии. М., 1975, с. 225—233.

* <Из Ф. Петрарки> (с. 204).— Свои вольные переводы сонетов Петрарки Мандельштам не рассматривал как переводы и поместил в свой основной корпус. Проставленные переводчиком эпиграфы — суть первые строки переведенных им сонетов Петрарки, входящих, за исключением третьего, в цикл сонетов «На смерть госпожи Лауры». См. статьи И. М. Семенко: «Мандельштам — переводчик Петрарки» (*ВЛ*, 1970, № 10, с. 154—168) и «Мандельштам в работе над переводами сонетов Петрарки (по черновикам)» (*Семенко*, с. 68—96). В первой статье И. М. Семенко пишет: «Мандельштам стремится снять с Петрарки этот «лоск», «разнородность» его. Отказываясь от размеренной холодности других переводчиков, он усиливает страсть и экспрессию... Переводы Мандельштама — вольные, они соответствуют оригиналу в самом главном». Примечательно, что «наиболее ранние из известных нам вариантов — более всего удалены от оригинала (Петрарки). И Мандельштам отказывался от этих проб; однако образы, созданные собственным воображением, он многократно варьировал, пока они не достигали полной завершенности или исчерпанности» (*Семенко*, с. 68). «Над этими сонетами он работал дольше, чем над другими стихами,— массы вариантов, и притом на бумаге — в черновиках. Иначе говоря, он чему-то на них, как мне кажется, учился» (*НМ-III*, с. 193). Обильные перебои ритма сближают эти переводы с силлабическим стихом оригинала. По сообщ. Н. И. Харджиева (*БП*, с. 316), лучшим русским переводом Петрарки Мандельштам считал державинскую «Задумчивость» (сонет XXII). Широкое распространение получила легенда, что в пересыльном лагере под Владивостоком Мандельштам у костра читал свои переводы из Петрарки. Печ. по *АМ* с уточнением дат по *АЕМ*.

«Речка, распухшая от слез соленых...» — *ВС-III*, с. 20, с датой «январь 1934» и разночт. в ст. 1: «Река, разбухшая». В СССР — Мастера русского стихотворного перевода, т. 2. Л., 1968, с. 265—266, с разночт. в ст. 1: «Река, разбухшая». *БП*, № 286 (по беловому автографу, с датой «ноябрь <в самом автографе: «декабрь».— *П. Н.*> 1933 — январь 1934»,— *АЕМ*), но работа, по-видимому, началась еще в ноябре. Черн. автограф и авториз. список — *АМ*. См. Приложения.

Вольный перевод сонета CCCI. Читая, Мандельштам произносил: «Речка, разбухшая...» (*НМ-III*, с. 193).

«Как соловей, сиротствующий, славит...» — *ВП-III*, с. 19. В СССР — Мастера русского стихотворного перевода, т. 2. Л., 1968, с. 266. *БП*, № 287 (по беловому автографу с датой «декабрь 1933 — январь 1934» — *АЕМ*). Черн. автограф с датой «21 ноября 1933 г.» и автограф промежуточной редакции с датой «декабрь 1933» — *АМ*.

Вольный перевод сонета CCCXI. *Муравит* — своего рода неологизм, не связанный со словарным значением (муравить — покрывать поливою посуду; здесь — пролагать себе незримую дорогу (ср. «тропинок промуравленных изгибы» в предыдущем сонете).

«Когда уснет земля и жар отпышет...» — *ВРСХД*, 1962, № 64, вып. I, с. 49—50. В СССР — Зарубежная поэзия в русских переводах (от Ломоносова до наших дней). М., 1968, с. 318, с разночт. в

ст. 14: «Я воскресаю». *БП,* № 288 (по беловому автографу с датой «14—24 <в действительности: 17—24.— *П. Н.*> декабря 1933»— *АЕМ*). Автограф с поправками и авториз. список— *АМ.* См. Приложения.

Вольный перевод сонета CLXIV.

«Промчались дни мои, как бы оленей...»— *СС-I,* № 490, с датой «4 января 1934 г.» и разночт. в ст. 7: «средостений», ст. 9: «Но та, что в ней едва существовала». В СССР—Зарубежная поэзия в русских переводах (от Ломоносова до наших дней). М., 1968, с. 317. *БП,* № 289, по беловому автографу, с правкой и пометой: «8 января 34. Закончено после известия о смерти Б. Н. Бугаева» (соответствует нашей редакции <IV>—см. Приложения; принятый И. М. Семенко основным текст дается в примечаниях, с разночт. в ст. 8: «Не узнает родимых и сплетений»). Автограф, с разночт. в ст. 9: «Но то, что ждал» и ст. 12: «бровь нахмуря» и ст. 13—14 (нет вопросительных знаков)— в архиве В. Яхонтова и Е. Поповой (*ЦГАЛИ,* ф. 2240, оп. 1, ед. хр. 668).

Вольный перевод сонета CCCXIX. Мандельштам считал его неудачным, пока Н. Я. Мандельштам не привезла в Воронеж рукописи. «Тогда он решил записать его и взял для этого первый попавшийся вариант» (*НМ-III,* с. 193). Этот сонет существует в двух редакциях. «Различия касаются только первых двух строф, но они настолько велики, что перед нами, в сущности, два разных стихотворения... Вопрос о том, какую редакцию считать окончательной,—спорен...» (*Семенко,* с. 82).

* <Стихи памяти Андрея Белого> (с. 206).—О работе над стихами памяти Андрея Белого Н. Я. Мандельштам пишет: «Работа О. М. над этой группой стихов состояла из нескольких этапов. Сначала были написаны первые два стихотворения, но в них не вместился весь материал. Еще в Москве О. М. попробовал построить подборку или цикл, который он называл «мой реквием». Одна из таких попыток зафиксирована в рукописи рукой моего брата <Е. Я. Хазина.— *П. Н.*> (Левина <Л. Н. Гумилева.— *П. Н.*> запись более ранняя). Закончил он эту работу уже в Воронеже, когда я привезла рукописи. Причем там сначала он попробовал воспроизвести нечто сходное с рукописью Евг<ения> Як<овлевича> (для первого списка типа «ватиканского»). Затем он нашел порядок и велел переписать в таком виде в «ватиканский список». «Ватиканский список» был сохранен у меня полностью. ...Я не знаю, как бы О. М. стал все это печатать, но цикл уже был сделан им самим» (*НМ-III,* с. 194—195). Ср. также: «Мандельштам... сам разложил листочки—на каждом был записан один стишок—и вдруг сказал: «Да ведь это опять как «Армения»—смотри...» (*НМ-II,* с. 442).

Вариант цельного прочтения стихов на смерть А. Белого в виде цикла см. в *ДП-86* (М., 1986, с. 106—108) (публ. С. В. Василенко и Ю. Л. Фрейдина, с искажением текста). Печ. по текстологии И. М. Семенко с учетом ее замечаний о композиции в статье «Стихи Андрею Белому»: «По-видимому, твердое решение о композиции цикла тогда принято не было. Цифры (некоторые из них проставлены автором) не дают окончательного порядка. Но границы самих стихотворений,

образуемых группами четверостиший, оказались таким образом предварительно определены» (*Семенко*, с. 98). Цикл состоит из пяти ст-ний.

Написано на смерть Андрея Белого (8 января 1934 г.), с которым за полгода до этого, в Коктебеле, Мандельштам обсуждал свой *«РД»*. Смерть А. Белого потрясла многих современников. Их общее ощущение выражено в письме Б. К. Лившица М. А. Зенкевичу: «Ни одна из смертей последнего времени не впечатляла меня так сильно, как эта смерть. Оборвалась эпоха, с которой мы были — хотим ли мы это признать или нет, безразлично — тесно связаны. Обнажилась пропасть, куда ступить настает уже наш черед» (*ГЛМ*, ф. 237, оф. 6144). О похоронах А. Белого см. также в дневнике М. М. Пришвина (Контекст 1978. Литературно-критические исследования. М., 1978, с. 285—286). По сообщ. Л. Н. Гумилева, бывшего вместе с Мандельштамом на похоронах А. Белого 10 января 1934 г., поэт сначала обиделся на то, что его не пригласили в почетный караул, но затем, постояв немного над гробом, умиротворился и, недолго побыв, ушел.

Н. Я. Мандельштам писала, что этими стихами Мандельштам «отпевал не только Белого, но и себя, и даже сказал мне об этом: он ведь предчувствовал, как его бросят в яму без всякого поминального слова. С самых ранних стихов — смерть постоянная тема О. М. ... Это как-то связано с другим структурным понятием О. М.: возрастами — этапами жизни» (*НМ-III*, с. 197—198).

«Голубые глаза и горячая лобная кость...» (с. 206).— Впервые процитировано в кн. И. Эренбурга «Люди, годы, жизнь» (*НМ*, 1961, № 1, с. 143). Впервые полностью — *ВП-II*, с. 32; в СССР — *Пр-65*, с. 59, под загл. «Андрею Белому» (не принадлежащим Мандельштаму; неточный текст). *БП*, с. 173 (по *ВС*), с датой «10 января 1934» и с разночт. в ст. 15: «мысли» (вместо «речи»), ст. 17: «стрекозы садятся». Разночт. с текстом *ДП-86* — в ст. 16: «нужны для людей». Печ. по авториз. списку с поправками, внесенными 11 января 1934 г.

Кроме того, на этом списке сохранились, в сугубо черновой записи, еще 7 двустиший — необработанных набросков, развивающих иные, чем в окончательном тексте, мотивы (три из них воспроизведены в *БП*, примеч. к № 173),— приводятся по *Семенко*, с. 101:

И клянусь от тебя в каждой косточке весточка есть
И остаться в живых за тебя величайшая честь.

Из горячего черепа льется и льется лазурь
И тревожит она литератора-Каина хмурь.

Так слагался <?> смеялся и так не сложившись ушел
Гоголек или Гоголь иль Котенька или глагол.

На тебя надевали тиару — юрода колпак
Продавец паутины, ледащий писатель, пустяк.

Буду гладить и гладить сухой шевиот обшлага́
Обо всем обо всех запредельная <?> плачет вьюга[1].

Выпрямитель сознанья еще не рожденных эпох
Голубая тужурка, немецкий крикун, скоморох.

Прямизна нашей мысли не только пугач для детей:
Без нее лишь бумажные дести и нету вестей.

Гоголек—так называл А. Белого В. Иванов (а в свое время Гоголя—Жуковский).

10 января 1934 года (с. 207).—*СС-I,* № 289, под загл. «10 января 1934» и с датой «январь 1934». В СССР—*Пр-65,* с. 64, с датой «январь—февраль 1934». *БП,* № 174, без загл. и с датой «январь 1934» (по чистовому автографу из собр. Н. И. Харджиева). Машинопись той же редакции, с посвящением: «Памяти Б. Н. Бугаева (Андрея Белого)»,—в фонде ГИХЛ (*ЦГАЛИ,* ф. 613, оп. 1, ед. хр. 4686, л. 1—2)—см. Приложения, <III>. Аналогичная редакция—авториз. список рукой Е. Я. Хазина(?), с датой «январь 1934»,—*СМ.* Список первоначальной редакции рукой Е. Я. Хазина, с датой «16 января 1934» и разночт. в ст. 11: «Когда скользит, исполненный отваги» и ст. 15: «И русские блистательные споры»—*АМ.* Этот список и следующие за ним записи послужили отправной точкой для начала работы над циклом—см. Приложения, <I>. В *ВС*—промежуточная (II) редакция цикла—по сводному списку текстов, относящихся к данному замыслу (в домашнем обиходе Мандельштамов—«колбаса»), рукой Н. Я. Мандельштам (всего 15 строф), без даты и с нумерацией ст-ний—см. Приложения, <II>. В той же «колбасе» имеется другая нумерация (строф), следование которой приводит к тексту основной редакции с вариантом в ст. 29 (в скобках): «А в гуще похорон». Печ. по этому источнику (в *ТС* разночт. в ст. 11: «Железный пух в морозной крутят тяге»).

Это, по-видимому, фиксирует стадию отказа от построения цикла. Следующей стадией работы, в нашей реконструкции, является редакция *БП:* на это указывают менее конкретная дата под автографом («январь 1934»), передача этого текста в ГИХЛ (возможно, для одного из намечаемых изданий), а главное—противоположный смысловой акцент заключительных строф 8 и 9 (см.: *Семенко,* с. 99—101), причем семантика редакции *БП* содержит в себе не столько переживание, сколько осмысление смерти поэта, более того, с отстранением переживания.

Домашнее название цикла—«Реквием». Два фрагмента из него («Ему кавказские кричали горы...» и «Откуда привезли? Кого? Который умер?..») отнесены в Приложения в качестве вариантов, согласно позднему указанию Н. Я. Мандельштам (*Семенко,* с. 98). С циклом связаны и два «отпочковавшихся» от него восьмистишия (4 и 5). *Печаль моя жирна*—реминисценция «Слова о полку Игореве» («...печаль жирна тече средь земли рускыи»). *Гравировальщик*—В. А. Фаворский, сделавший рисунок «Андрей Белый в гробу».

---

[1] Неразборчивый вариант: «Вопрошая о том, что такое...»

«Когда душе и тóропкой, и робкой...» (с. 208).— *ВП-III*, с. 22. Печ. по сводному списку рукой Н. Я. Мандельштам *(ВС)*, с отброшенным вариантом в ст. 1: «[столь] торопкой, [столь] робкой». Разночт. в *ДП-86:* ст. 4 — «тропинка», ст. 9 — «И льется вспять».

«Он дирижировал кавказскими горами» (с. 209).— *СС-I*, № 293. В СССР — *ЛГр-67*, с. 68. Печ. по списку рукой Е. Я. Хазина. Разночт. со списком рукой Н. Я. Мандельштам в ст. 5: «Толпы умов, событий».

Рахиль и *Лия* — см. коммент. к ст-нию «Вернись в смесительное лоно...»; здесь — символы созерцательной и деятельной жизни. Источник образа — в «Божественной комедии» Данте («Чистилище», песнь XXVII, ст. 97—109).

«А посреди толпы задумчивый, брадатый...» (с. 209).— Мосты, Мюнхен, 1963, кн. 10, с. 158. Печ. по автографу с датой «январь 1934 г.».

«Мастерица виноватых взоров...» (с. 209).— *ВП-II*, с. 34, с разночт. в ст. 21—23.

<пробел...> гибнущим подмога.
Надо смерть предупредить успеть
Я стою у смертного порога.

В СССР — *ЛГр-67*, с. 68, без заключит. строфы; полностью — в статье Ю. И. Левина «Семантический анализ стихотворения» (в кн.: Теория поэтической речи и поэтическая лексикография. Шадринск, 1971, с. 13). *БП*, № 175, по *ВС*, с датой «февраль 1934». Тот же источник — в текстологии И. М. Семенко. Вместе с тем на фотокопии *ВС* в ст. 21 имеет место пробел — «<........> гибнущим подмога». То же в *ТС*, где позднее на месте пробела рукой Н. Я. Мандельштам вписано: «Ты, Мария». После смерти М. С. Петровых в ее семейном архиве был обнаружен автограф этого ст-ния, с датой «13—14 февраля <1934 г.>», необычной для Мандельштама подписью: «М.» и с разночт. в ст. 2: «Маленьких держательница встреч», ст. 7—8:

Их, бесшумно охающих ртами
Полухлебом плоти не корми.

Разночт. в ст. 21: «Наша нежность — гибнущим подмога» (заключительная строфа по этому автографу впервые воспроизведена в статье Л. Озерова «Чистый голос» — в кн.: Петровых М. Черта горизонта. Ереван, 1986, с. 323). Характер разночтений, на наш взгляд, свидетельствует о том, что в автографе зафиксирована более ранняя редакция ст-ния, возможно написанная непосредственно после объяснения с М. С. Петровых. На этом основании печ. по *ТС*, с уточнением пунктуации по автографу и с уточнением в ст. 7: «охающих ртами» (так и в *ВС*).

Обращено к Марии Сергеевне Петровых (1908—1979) — поэтессе и переводчице. Ахматова, упоминая о бурной, короткой и безответной

влюбленности Мандельштама в М. С. Петровых в 1933—1934 гг., пишет, что «Турчанка» (так назвала она это ст-ние) — это «лучшее любовное стихотворение XX века». Она же, со слов М. С. Петровых, сообщает об еще одном — не дошедшем до нас — обращенном к Петровых ст-нии Мандельштама о белом цвете (*Ахматова,* с. 191).

«Твоим узким плечам под бичами краснеть...» (с. 210).— *П,* с. 94, с датой «1934». Печ. по *БП,* № 176, где дано по авториз. списку рукой С. Б. Рудакова с датой «1934». В корпусе, подготовленном И. М. Семенко, дается по поздней копии Н. Я. Мандельштам с этого списка, с небольшими отличиями в пунктуации и с неточной датой: «лето 1934» (?).

Как и предыдущее ст-ние, обращено к М. С. Петровых и, по-видимому, написано в феврале 1934 г. См.: *Герштейн,* с. 168. См. также: *НМ-III,* с. 198—201. *Под бичами краснеть.*—Ср. в ст-нии Некрасова: «Вчерашний день, часу в шестом...» (1848).

Воронежские стихи

Раздел состоит из трех подразделов, или, как их обычно называют, «тетрадей». Первая писалась с апреля по август 1935, вторая — с 6 декабря 1936 по конец февраля 1937, третья — с начала марта по 4 мая 1937 г.

Первым толчком, разбудившим стихи, по-видимому, послужил концерт скрипачки Галины Бариновой 5 апреля 1935 г. (см. коммент. к ст-нию «За Паганини длиннопалым...»). О мощи захватившего Мандельштама порыва свидетельствует С. Б. Рудаков: «Дико работает М<андельштам>. Я такого не видел в жизни... Я стою перед работающим механизмом (может быть, организмом — это точнее) поэзии... Больше нет человека — есть Микель Анджело. Он не видит и не помнит ничего. Он ходит и бормочет: «зеленой ночью папоротник черный...» Для четырех строк произносится четыреста. Это совершенно буквально. Он ничего не видит. Не помнит своих стихов. Повторяется и, сам отделяя повторение, пишет новое...» (*Рудаков,* 20.04.35). Мандельштам говорил, что «его всю жизнь заставляли писать «готовые» вещи, а Воронеж принес, может быть впервые, открытую новизну и прямоту» (*Рудаков,* 31.05.35).

Не меньшими напором и интенсивностью отличался и период «второй воронежской тетради». О начале работы над ней Мандельштам писал отцу 12 декабря 1936 г.: «Я всегда люблю тебе хвастать (старая привычка). И сейчас не могу себя сдержать: во-первых, я пишу стихи. Очень упорно. Сильно и здорово. Знаю им цену, никого не спрашивая...» *(АЕМ).* В тот же день Н. Я. Мандельштам писала К. И. Чуковскому в письме, посвященном преимущественно тяжелому состоянию здоровья и бытовым условиям жизни Мандельштама в Воронеже: «Последнее время (после $1^1/_2$ лет молчания) он снова пишет стихи. Это второй воронежский «цикл»... Самое для нас тяжелое, что буквально некому прочесть стихи... Возвращение мужа к стихам — большая ра-

дость. Но вместе с тем оно вызывает во мне большую тревогу, т. к. я не знаю, способен ли он выдержать колоссальное напряжение, связанное с этой работой, да еще в исключительно неблагоприятных бытовых условиях, в которых он находится» (*АЧ*). Весной 1937 г. Н. Я. Мандельштам привозила стихи «второй воронежской тетради» в Переделкино Б. Л. Пастернаку. В ответной записке Пастернак писал: «Дорогой Осип Эмильевич! Ваша новая книга замечательна. Горячо Вас с ней поздравляю... Мы с Надеждой Яковлевной отметили и выделили то, что меня больше всего поразило. Она расскажет Вам о принципе отбора. Я рад за Вас и страшно Вам завидую. В самых счастливых вещах (а их немало) внутренняя мелодия предельно матерьялизована в словаре и метафорике, и редкой чистоты и благородства. «Где я, что со мной дурного...» в этом смысле головокружительно по подлинности и выраженью. Пусть Надежда Яковлевна Вам расскажет все, что говорилось нами о теме и традиции. Пусть временная судьба этих вещей Вас не смущает. Тем поразительнее будет их скорое торжество. Как это будет, никто предрешить не может. Я думаю, судьба Ваша скоро должна будет измениться к лучшему... Но говорить только хочется об «осах», «ягненке гневном» и других Ваших перлах... Ваш Б. П.» (*ЛО*, 1990, № 3, с. 97).

Новые сведения о датировках многих ст-ний привели к существенным коррективам в композиции «Воронежских стихов» по сравнению с корпусом, подготовленным И. М. Семенко. Отступлением от хронологии является лишь помещение на первое место, в соответствии с волей автора, ст-ния «Чернозем» и соответствующая передвижка тесно связанных с ним ст-ний «Я должен жить, хотя я дважды умер...» и «Пусти меня, отдай меня, Воронеж...». Кроме того, по указанию Н. Я. Мандельштам в корпус в качестве отдельного ст-ния включено ст-ние «Детский рот жует свою мякину...» (вслед за ст-нием «Нынче день какой-то желторотый...»).

Чернозем (с. 211).— *ЛГр-67*, с. 69, с разночт. в ст. 7: «тысячехолмия», ст. 11: «настраивает» и ст. 14: «степь молчит». *БП*, № 179, с разночт. в ст. 14: «Степь молчит». Автограф — *АМ*. Автограф с датой «апрель 35» (собр. Н. И. Харджиева) воспроизведен в *БП*, с. 177. Печ. по этому автографу.

Посвящено С. Б. Рудакову (см. помету Н. Я. Мандельштам в *ТС*: «Сергею»). В *ВС* стоит пятым по счету, но, по указанию Н. Я. Мандельштам, поставлено в начало раздела как центральное ст-ние этого периода. Написано под впечатлением распаханных опытных полей Воронежского сельхозинститута, где Мандельштам нередко гулял. Это — «один из лучших в русской поэзии гимнов земле» (*Штемпель*, с. 232). О «черноземе» и «целине времен» см. в статье «Слово и культура» (II, 169). 31 мая 1935 г. Мандельштам говорил: «Чернозем — вещь реакционная — акмеистическая строфика с обновленной инструментовкой, вещь из «Камня», наподобие «Адмиралтейства» etc. [вещь, угнетающая сейчас М.]. Это вещь 1001-ая и прекрасная, а остальные — вещи первые» (*Рудаков*, 31.05.35). *Моей земли и воли.*—Можно вспомнить, что в 1879 г. в Воронеже прошел съезд «Земли и воли».

* «Я должен жить, хотя я дважды умер...» (с. 211).— *ВП-II,* с. 37. В СССР — *Пр-65,* с. 64, с разночт. в ст. 5: «степь молчит». *БП,* № 180, с тем же разночт. Печ. по *ВС.*

В связи с совпадением ст. 3—4 со ст. 13—14 «Чернозема», Н. Я. Мандельштам характеризует это ст-ние как «тему с вариациями», допустимую и в музыке, и в поэзии» (*НМ-III,* с. 202). В этой связи важно отметить, что в *ВС* это ст-ние непосредственно предшествует «Чернозему» и в наст. изд. поставлено вслед за ним в соответствии с нумерацией ст-ний в *ТС. А небо, небо — твой Буонаротти...*— Ср. ст-ние «О небо, небо, ты мне будешь сниться...». Микеланджело Буонарроти (1475—1564) — итальянский живописец, скульптор и поэт. По-видимому, Мандельштам имеет в виду его знаменитую роспись купола Сикстинской капеллы в Ватикане, а также купол собора св. Петра в Риме, строительством которого с 1548 г. руководил Микеланджело (ср. также ст-ние «Рим»).

* «Пусти меня, отдай меня, Воронеж...» (с. 212).— Эренбург И. Люди, годы, жизнь.— *НМ,* 1961, № 1, с. 142. Печ. по *ВС,* с датой «апрель 1935».

* «Я живу на важных огородах...» (с. 212).— *ВП-II,* с. 35, с опечаткой в ст. 5: «степных окраин». В СССР — *БП,* № 181 (по *ВС*). Авториз. список первоначальной редакции, с заключит. строфой: «Только смерть да лавочка близка» (Н. Я. Мандельштам, по памяти, указывает: «да лавочка видна» — лавочка перед домом, куда Мандельштамы часто выходили посидеть). В *ВС* это ст-ние записано первым среди воронежских стихов, с датой «апрель 1935». Печ. по прижизненной машинописи *(АМ).*

Ванька-ключник — герой русских народных песен, в частности, песни «Как во славном было в Москве городе» (№ 281 из собрания П. В. Киреевского), был повешен князем за любовную связь с княгиней. *Обиженный хозяин.*—См. одноименную главу в *НМ-I,* с. 120—128. «Вскоре выяснилось, что агроном, хозяин дома, где мы поселились, пустил нас, чтобы завести интересные знакомства: «Думал, придут к вам писатели — Кретова, Задонский,— румбу вместе танцевать будем»,— жаловался обиженный хозяин в русских сапогах» (там же, с. 122). Речь идет о второй из пяти квартир, где жили Мандельштамы в Воронеже, в Привокзальном поселке по адресу: 2-я Линейная ул., д. 4 (ныне пер. Швейников, д. 4 б). Хозяина звали Евгений Петрович Вдовин (о нем и о его жене Неониле Михайловне, сестре писателя В. А. Кораблинова, соседи отзывались самым благоприятным образом; доносами, в т. ч. и на Е. П. Вдовина, занимался совладелец этого чудом уцелевшего до сих пор дома (см. фотогр.).

* «Наушнички, наушники мои!..» (с. 212).—*ВП-III,* с. 23, с разночт. в ст. 1: «Наушники, наушнички мои...» и ст. 6: «Прислушайся, как набухают почки...» и с датой «май 1935». В СССР — *ДН-87,* с. 137, с разночт. в ст. 1 (см. выше) и ст. 7: «А вы». Печ. по *ВС,* где стоит вторым среди воронежских стихов (относительно окончательной редакции ст. 1 у И. М. Семенко, судя по ее пометам, оставались сомнения).

Первоначальное название — «Радиоточка». В Воронеже Мандель-

штам тосковал по Москве и не расставался с наушниками. *Голоса Аи*— предположительно, прервавшаяся трансляция оперы Д. Верди «Аида». Аи — сорт французского вина. *Ну, как метро.*— Первая линия московского метрополитена была пущена в середине мая 1935 г. *Молчи, в себе таи*— перифраз начала ст-ния Тютчева «Silentium!» (1830): «Молчи, скрывайся и таи...»

* «Это какая улица?..» (с. 213).— *СС-I*, № 303. В СССР— *ЛГр-67*, с. 69. В *ВС* отсутствует. Печ. по списку рукой Н. Я. Мандельштам.

Мало в нем было линейного— явное указание на адрес квартиры. См. коммент. к ст-нию «Я живу на важных огородах...». *Эта яма.*—Дом Вдовиных находился в низине, буквально в яме (см. фотогр.).

* «За Паганини длиннопалым...» (с. 213).— *П-66*, с. 95, под загл. «Скрипачка» (домашнее название), с неточной датой: «апрель— июль 1936 г.». *БП*, № 184, с датой «апрель — 18 июня 1935 г.». *ВТ*, с. 23, с датой «лето 1935 г.». *ВС*, с датой «апрель — июль 1935 г.», причем «апрель» вписано рукой С. Б. Рудакова. Авториз. машинопись, под загл. «После скрипичного концерта», с датой «Май 1935» и с разночт. в ст. 3: «Кто с чехом — чех»,— в архиве Д. И. Ширина-Юреневского (*ГАМ*, ф. 283, оп. 1, ед. хр. 88). Печ. по авториз. списку рукой Н. Е. Штемпель — *AM*.

Написано после посещения 5 апреля концерта скрипачки Галины Бариновой. «Вчера были на концерте скрипачки Бариновой (с Мандельштамом бесплатно) — у нее невероятный цветаевский темперамент, 22-летняя молодость и неартистичная живость. (Когда я это сказал, О. Э. удивился, откуда я мог так угадать действительное сходство с Цветаевой, когда я ее не видел. А ритмы-то стихов!) А вот и мое достижение. После года или более Мандельштам написал первые 4 строчки. О ней, о Бариновой, после моих разговоров — <далее следует заключительная строфа.— *П. Н.*>. Это должно стать концом 6-тистрофной вещи, у которой дома появилось и начало —

За длиннопалым Паганини
Бегут цыганскою толпой
Все скрипачи —»

(*Рудаков*, 6.04.35).

Работа над ст-нием была завершена 18 июня 1935 г.: «Сегодня закончена «Баринова» (23 строки)» (там же, 18.06.35). См. также *НМ-III*, с. 209. *Паганини* Никколо (1784—1840) — итальянский скрипач-виртуоз, с поразительно длинными и гибкими пальцами. *Чемчура* (чумчура, чурара) — частушечный припев, популярный в 20-е годы (сообщ. М. Л. Гаспаровым). *Марина Мнишек* — польская княжна, жена Лжедмитрия I,— предмет самоотождествления М. Цветаевой.

* «От сырой простыни говорящая...» (с. 214).— *СС-I*, № 311; в СССР — *П*, с. 94,— с датой «май—июнь 1935». *БП*, № 188, и *ВТ*, с. 22,— с датой «июнь 1935» (по *ВС*). Авториз. список с датой «июнь 1935» (в *ВТ*— разночт. в ст. 9: «гудение низкое»). Печ. по *ВС*.

В апреле 1935 г. Мандельштам посмотрел кинофильм «Чапаев»

(это послужило основанием для условной передатировки начала работы над ст-нием). Особенно его поразили сцены «психической атаки» белых офицеров и гибели Чапаева. Это и следующее ст-ние Н. Я. Мандельштам называла «двумя побегами на одном корню» (*НМ-III*, с. 268).

* «День стоял о пяти головах. Сплошные пять суток...» (с. 214).— *ВП-II*, с. 40. В СССР — *ДН-87*, с. 138, с датой «июнь 1935» и разночт. в ст. 17: «открытые рты», ст. 19: «тыном» и ст. 20: «Умереть» (по *ТС*). Автограф первонач. редакции с датой «апрель — май 1935» — см. Приложения. Печ. по *ВС*.

Домашнее заглавие — «Чапаев» (см. коммент. к предыдущему ст-нию). Материалом для ст-ния послужил путь до г. Чердыни — первоначального места ссылки поэта (поездом — до Свердловска и Соликамска, далее пароходом — вверх по Каме, Вишере и Колве) — см. цикл «Кама», а также *НМ-I*, с. 46—59. «В дорогу я захватила томик Пушкина. Оська <старший конвойный.— *П. Н.*> так прельстился рассказом старого цыгана, что всю дорогу читал его вслух своим равнодушным товарищам» (там же, с. 47). Работа над этим ст-нием началась еще в апреле. В начале мая Мандельштам «уничтожил все записи Станс и начатого Чапаева. Он говорил, что они бред, и покушался на черновики, что у меня» (*Рудаков*, 10.05.35). Ср. также в письме от 27 мая 1935 г.: «Он пишет новое, по-моему, плохо... Вот стих:

Сон был больше, чем слух, слух был больше, чем сон,— слитен, чуток —

...По-моему, это риторика... Мандельштам запутался в словах, под них подставляет «смыслы» и не чувствует резины на зубах. Или:

Расширеньем аорты могущества в белых ночах — нет, в ножах.

Даже в отрыве от целого... это абсурдная тянучка. Он расстроен чуть ли не до слез». О спорах по поводу процитированных строк сообщается и 29 мая, а 1 июня как о своей «победе» Рудаков сообщает об изменении в «опротестованном» им ст. 3 (переход к окончательной редакции). 30 мая 1935 г. Мандельштам читал это ст-ние А. Стефену и С. Рудакову, противопоставляя его «Чернозему», и дал к нему следующий «автокомментарий»: «Основное — вещь о Пушкине и Чапаеве. Она говорит о русском фольклоре, о сказке, о стране и впервые о новом «племени», о ГПУ, о молодежи, у которой будущее, о пленном времени, вечности и материально, на основе реального бреда при поездке на Урал, образы безумного пространства, расширяющегося, углубленного и понятого через «синее море пушкинских сказок, море, по которому страдает материковая, лишенная океана Россия» (она же «воздушно-океанская подкова» в предыдущей вещи)...» (*Рудаков*, 31.05.35). Ср. в письме жене, датированном маем 1935 г.: «Вот что: предлагаю принять командировку от Союза или Издательства на Урал по **старому маршруту**. Напишу замечательную книгу (по старому договору). Это чудесная мысль» (*СС-III*, с. 264). *Хвойное мясо* — таежный пейзаж узкоколейки Свердловск — Соликамск (*НМ-III*, с. 207—208). *За бревенчатым тылом* —

в *ВС* исправлено на «тыном» (по сообщ. Н. Я. Мандельштам,— рукой С. Б. Рудакова).

* Кама (с. 215).— «Первое стихотворение этого триптиха — основное. Второе — цензурный вариант. Третье — как бы добавочное и служит переходом к «Стансам». Когда появился цензурный вариант, я спросила О. М., как он будет их печатать — первый или второй. Он сказал, что оба,— это разные стихи, потому что разные концы. Сохранился автограф, чистовик «Камы» с цензурным вариантом, а черновичок — это мнимый черновик,— на котором написана предпоследняя строфа, а сбоку «а со мною жена»... Он напоминал этим мнимым черновиком об основном варианте, чтобы его не заглушил цензурный» (*НМ-III*, с. 203—204). Заглавие цикла — домашнее, в источниках не зафиксированное. В *ВТ* — другая последовательность ст-ний (1, 3, 2 в наст. нумерации) и с датой «май 1935».

См. коммент. к ст-нию «День стоял о пяти головах. Сплошные пять суток...».

1. *СС-I*, № 308, в цикле «Кама» с 2 и 3, с датой «май, 1935 г.». В СССР — *Пр-65*, с. 63, без загл. (в цикле с 3), с разночт. в ст. 9: «И со мною жена». Автограф ст. 7—8 — *АМ* («мнимый черновик» — см. выше). Список, без ст. 7—10 (в цикле с. 3),— *ТС*. Печ. по контаминации «мнимого черновика» (по которому мы вносим исправление в ст. 7: «Так» вместо «Там») и автографа 2 — *АМ*.

На дубовых коленях — пристани или причалы (*НМ-III*, с. 204). *Ельник бежит, молодея в воде.*— Имеется в виду отражение ельника («чернолесья») в реке, более яркое, чем сам ельник (*НМ-III*, с. 204).

2. *СС-I*, № 309, в цикле «Кама» с 1 и 3, с датой «май 1935 г.». В СССР — *БП*, № 182, без загл. (в цикле с 3), с датой «апрель 1935 г.». *ВТ*, с. 18, с разночт. в ст. 5: «Упиралась волна». Автограф, без загл., в цикле с 3,— *АМ*. Авториз. список, под загл. «Кама», с датой «апрель 1935» и разночт. в ст. 9 (двоеточие после «На Тоболе кричат»),— *СМ* (в «Альбоме для малювання», на том же листе — неразборчивый и перечеркнутый набросок рукой поэта, прочитанный И. М. Семенко,— см. Приложения, с. 438. Список рукой Н. Я. Мандельштам, без загл., с неточной датой «1934 г.» и с тем же разночт. в ст. 9,— *СМ*. Печ. по автографу *(АМ)*.

3. *СС-I*, № 310, в цикле «Кама», с 1 и 2, с датой «май 1935 г.». В СССР — *Пр-65*, с. 63, без загл., в цикле с 1, с датой «1935» и с разночт. в ст. 4: «леса посадить». *БП*, № 183. Автограф, без загл., в цикле с 2 — *АМ*. Авториз. список, без загл., с датой «1935 г.» и исправленными вариантами в ст. 1: «Удаляясь», ст. 2: «Многоводная» и ст. 7: «безумную гать»,— *АМ*. Автограф ст. 7—8 (последние слова — обрезаны) — на «мнимом черновике» 1 (см. выше) — *АМ*. Авториз. список, без загл. и с неточной датой «1934 г.»,— *СМ*. Авториз. список, без загл., в цикле с 1, с датой «май 1935 г.» и с пропусками слов в ст. 4 (на месте «посолить») и ст. 5 (на месте «пойми»),— *ТС*. Вариант «леса посадить» в ст. 4 является поздним (*НМ-III*, с. 204). Печ. по автографу *(АМ)*, датировка — общая для цикла.

* «Лишив меня морей, разбега и разлета...» (с. 216).—

СС-I, № 307. В СССР — *ДН-87,* с. 137, без даты. В *ВС* отсутствует (записывалось особым шифром). Источник текста у И. М. Семенко не указан.

И. М. Семенко датировала это ст-ние маем 1935 г., но, возможно, работа над ним началась еще в апреле, параллельно с «Камой» (см. *НМ-III,* с. 208). В то же время близость размера и реверсивное противостояние смыслов сближают это ст-ние со «Стансами». Море (здесь ассоциативно соотносимое и с родным Петербургом, и — через «наше Черноморье» — со Средиземноморьем) и лишенный его материк («вдали якорей и трезубцев») — одна из основных оппозиций поэзии Мандельштама. Ср. у Овидия:

Отнято все у меня, что было можно отнять,
Только мой дар неразлучен со мной, и им я утешен,
В этом у Цезаря нет прав никаких надо мной.

(«Tristia», кн. 3, элегия 7, ст. 46—48, пер. С. В. Шервинского)

Стансы («Я не хочу средь юношей тепличных...») (с. 217).— *ВП-II,* с. 38—39. В СССР — *ДП-62,* с. 185—186, без ст. 11—22 и 33—43, с разночт. в ст. 1: «юношей архивных». Полностью — *БП,* № 187, без нумерации строф, с датой «май — июнь 1935». *ВТ,* с. 19—20, с разночт. в ст. 12: «Нас разделили» и указанием варианта к ст. 32: «сожгла». Н. Я. Мандельштам сообщает о первоначальной редакции, начинающейся со строфы III и со след. редакцией строфы VI (*НМ-III,* с. 205):

Лишь бы страна со мною говорила
И на плечо вполпальца мне давила,
Товарищески ласкова и зла,
Мирволила, журила, не прочла
И возмужавшего меня, как очевидца
Заметила и вдруг как чечевица
Адмиралтейским лучиком зажгла.

Список сокращенной (по-видимому, промежуточной) редакции (без строф I, II и VI) и без ст. «Я слышу в Арктике машин советских стук» в строфе VII (с неточной датой «июнь 1934 г.») — *СМ.* Имеется также отдельная запись строфы II с концовкой: «земного шара первый часовой» (в *АМ,* а также в *СМ*), являющаяся, по мнению Н. Я. Мандельштам, не вариантом, а попыткой пробить стихи в печать (там же). В текстологии И. М. Семенко — по списку Н. Я. Мандельштам *(АМ),* с датой (по *ВС*) «май 1935», разночт. в ст. 12: «Нас разделили» и без ст. 34. Печ. по *БП.*

Работа над ст-нием, возможно, была начата в апреле 1935 г. Поводом к написанию «Стансов» послужили стихи Л. Длигача, где обещалось «распознать классового врага по одному только звуку его лиры» и упоминалось «Слово о полку Игореве» (*НМ-I,* с. 83). Ср. в его поэме «Речь о деревне» (*НМ,* 1935, № 2): «Я в песне познаю врага: // Его последняя струна еще туга». Намекая на Пушкина, О. М. говорил,

что «Стансы» всегда примирительно настроены (*НМ-III*, с. 204). Работа над «Стансами» началась еще в конце апреля, в начале мая поэт предпринял попытку уничтожить черновики (*Рудаков*, 10.05.35,—см. коммент. к ст-нию «День стоял о пяти головах...»). Первая строфа появилась в самом конце работы, причем замена «архивных» на «тепличных» связана с тем, что «архивные» — это положительное понятие. Это — «намек на Рудакова, который к тому времени изрядно мешал и, кроме того, щеголял «архивными» познаниями» (*НМ-III*, с. 204). *Еще побыть и поиграть с людьми.*—Ср. начальные строки ст-ния Ф. Тютчева: «Играй, покуда над тобою // Еще безоблачна лазурь; // Играй с людьми...» (1861). *Большевея*—неологизм; ср. автокомментарий поэта: «О. М. как-то тихонько сказал мне, что в победе в 17 году сыграло роль удачное имя — большевики — талантливо найденное слово. И главное, на большинстве в один голос... В этом слове для народного слуха — положительный звук: сам-большой, большой человек, большак, то есть столбовая дорога. «Большеветь» — почти что умнеть, становиться большим» (*НМ-III*, с. 206). *Чердынь, Обь, Тобол.*—См. цикл «Кама». *Прыжок. И я в уме.*—Речь идет о неудачной попытке самоубийства в Чердыни, когда Мандельштам выбросился из окна второго этажа земской больницы (см. главу «Прыжок» в *НМ-I*). *Лорелея*—рейнская русалка, воспетая в немецкой поэзии и музыке; здесь — романтический символ Германии. *Садовник и палач.*—Адольф Гитлер на досуге увлекался садоводством.

* «Еще мы жизнью полны в высшей мере...» (с. 218).—*БП*, № 185. Строфа 3 — *Рудаков*, 26.05.35, с разночт. в ст. 9: «Еще стрижей довольно в мире и касаток». Печ. по *ВС*.

Домашнее название — «Стрижка детей». Ст-ние пришло первым после цикла открытых политических стихов. «Он счастлив, поняв это. Эти полуварианты будут новой вещью — о детях — и все» (*Рудаков*, 24.05.35). См. также *НМ-III*, с. 203: «В конце апреля мы переехали в центр города — к «агенту». Первое стихотворение на новом месте — о «стрижке детей». Жить стало гораздо легче — центр — не было мучительных поездок в город — весна, возможность заработать на радио и в театре. Стихи этого периода не группируются вокруг одного (матки цикла), а идут свободно — цепочкой. «Еще мы жизнью полны в высшей мере...» — оптимистические и милые стишки на тему «жизнь продолжается» с неизвестно откуда возникшим словесным ходом «в высшей мере». Головы ли рубят, детей ли стригут — один ход ассоциаций. О. М. это заметил и сказал, что это как-то помимо его воли. А реалии простейшие — пришлось долго ждать у парикмахера — детей к первому мая стригли, как баранов. Первого мая мы уже были на новой квартире и под нами всю ночь дебоширили — в нашем доме была не то пивнушка, не то закусочная с водкой. Стихотворение сохранилось только в «ватиканском списке». *Толковые, лиловые чернила*—цвет чернил «ватиканского списка» (см. *НМ-III*, с. 208). Близость к этой строке строки «Привычные кирпичные заборы» из ст-ния С. Б. Рудакова вызвала со стороны последнего чуть ли не обвинения Мандельштама в плагиате (*Рудаков*, 26.05.89,—см. об этом: *Герштейн*, с. 232—233).

* «Не мучнистой бабочкою белой...» (с. 218).— *СС-I*, № 320, с датой «21 июля 1935 г.». В СССР — *ЛГр-67*, с. 59, с посвящением: «Памяти В. Куйбышева», с датой «1935», с разночт. в ст. 6: «Осознавшее», ст. 12: «круглые венки» и в ст. 18: «Продолженье зорких тех двоих». Автограф, с датой «весна 1935» и разночт. в ст. 5: «Обожженное обугленное тело», ст. 6: «Возгласы краснознаменной хвои» и ст. 11: «круглые венки»,— собр. М. Б. Горнунга. Печ. по *ВС;* начальная дата уточнена по указ. автографу, конечная — по *Рудаков* — см. ниже.

Домашние названия — «Венок» и «Летчики». О завершении этих стихов С. Б. Рудаков впервые сообщает 21 июля 1935 г., причем окончательному на эту дату тексту предшествовали «варианты на 7 страничках», в т. ч. одна сообщаемая С. Б. Рудаковым строка:

Как венок шагающий в покое.

«...Это еще не конец, и вся история текста слишком многообильна» (*Рудаков*, 21.07.35). Ранняя редакция этого ст-ния, вписавшегося в цикл «политических стихов», послужила одной из причин кризиса, разразившегося 2 августа 1935 г., вскоре после возвращения Мандельштамов из поездки по Воробьевскому району. Он говорил: «Я трижды наблудил: написал подхалимские стихи (это о летчиках) — бодрые, мутные и пустые. Это ода без достаточного повода к тому: «Ах! Ах!» и только... Я написал горсточку последних стихов и из-за приспособленчества сорвал голос на последнем. Это начало опять большой пустоты» (*Рудаков*, 2.08.35). Поэтому не удивительно, что о продолжении работы над «Летчиками» Рудаков сообщает жене и 3, и 6, и 21 августа 1935 г. Работа над ст-нием завершилась только 30 мая 1936 г.— после того, как он прочел новые стихи Б. Пастернака в «Знамени» (1936, № 4). На отдельном листке он написал С. Б. Рудакову:

«...Шли нестройно люди, люди, люди...
Кто же будет продолжать за них?

Шизоидный психопат О. М. В 30/V/36» (*Рудаков*, 30.05.36). В новой редакции ст-ние, по свидетельству Н. Е. Штемпель, послужило первым подступом к «Стихам о неизвестном солдате» (*НМ-II*, с. 541, 545—546). В *ВТ* этим ст-нием завершается «первая воронежская тетрадь».

* «На мертвых ресницах Исакий замерз...» (с. 219).— *ВП-II*, с. 43. В СССР — Комсомольская искра, Одесса, 1966, 6 марта. *БП*, № 177, с неточной датой «3 апреля 1935» и разночт. в ст. 1: «Исакий» и ст. 11: «замерз талисман» (описка в *ВС* — повторение строчки из ст.1).

Написано под впечатлением известия о смерти О. А. Ваксель, покончившей самоубийством в Христиании (Осло) в 1932 г. О смерти О. Ваксель Мандельштам узнал в Ленинграде от П. Сторицына, по-видимому, зимой 1933 г.: тот рассказал, что она умерла в Стокгольме, сразу же на вокзале, как только ступила на платформу (см.: *НМ-III*, с. 213). «К стихам о мертвой женщине я вижу два побудителя: первый — Марина <в ст-нии «За Паганини длиннопалым...».— *П. Н.*>

приводит к личной теме, второй — женщины в жизни Гете напоминают о событии собственной жизни. Их портреты чем-то напомнили о типе красоты О. Ваксель» (там же, с. 215). Ст-ние — узел поэтических мотивов «раннего» Мандельштама (Шуберт, Исаакий, шуба). *Выжлятник* — старший псарь в псовой охоте (ср. «век-волкодав»).

* «Возможна ли женщине мертвой хвала...» (с. 219).— *ВП-II,* с. 42. В СССР — *П,* с. 95—96, с неточной датой «3 июля 1935 — 14 декабря 1936». *БП,* № 178, с датой «3—4 апреля — 3 июня 1935 г.». В *ВС* — вариант ст. 15—16:

Могила твоя в скандинавском снегу
И Гете манившее лоно.

Авториз. список рукой Н. Е. Штемпель, с датой (рукой автора) «3 июня 1935 — 14 декабря 1936 г.» — *АМ.* Печ. по этому списку.

Посвящено памяти О. А. Ваксель (см. предыд. ст-ние). Это ст-ние особенно высоко ценила Ахматова.

И прадеда скрипкой.— Имеется в виду А. Ф. Львов (1798—1870), скрипач и композитор, автор гимна «Боже, царя храни...». *Миньона* — героиня романа Гете «Ученические годы Вильгельма Мейстера». См. также в радиокомпозиции «Молодость Гете» (Театр, 1989, № 12, с. 2 — 14 — публ. С. В. Василенко и Ю. Л. Фрейдина.)

* «Римских ночей полновесные слитки...» (с. 220).— *СС-I,* № 316. В СССР — *Д-87,* с. 112. Печ. по *ВС.*

Связано с работой над радиокомпозицией «Молодость Гете» (апрель — июнь 1935 г.). Примыкает к ст-ниям памяти О. Ваксель (ср. ст. 2 и концовку первоначальной редакции предыдущего ст-ния). «Римские элегии» — поэтический цикл Гете, отмеченный острой чувственностью.

* «Бежит волна-волной, волне хребет ломая...» (с. 220).— *СС-I,* № 319, с датой «июль 1935». В СССР — *Д-87,* с. 112. И. М. Семенко отмечает указанный Н. Я. Мандельштам вариант в ст. 4: «пучина моровая». См. также первоначальную редакцию ст. 1: «Бежит волна волны волне хребет ломая» (*Рудаков,* 27.06.35). Печ. по *ВС.* Первая дата — по *Рудаков.*

Написано после возвращения Н. Я. Мандельштам из поездки в Москву, откуда она привезла слухи, «ходившие по Москве об убийстве Кирова («ему понадобился труп»)... Это был один из моментов полного отрезвления О. М.» (*НМ-III,* с. 212). В этом ст-нии «о море и Стамбуле... факт употребления одного слова троекратно в падежном изменении очень интересен и, в частности, дает интереснейшее ритмическое движение здесь, раскачку...» (*Рудаков,* 27.06.35). См. также разбор этого ст-ния Ю. И. Левиным (*RL,* 1977, v. V, p. 115 — 122). *Волна-волной.*—По сообщ. Н. Я. Мандельштам, поэт читал это ст-ние именно с такой интонацией (запись И. М. Семенко). *Хладные скопцы.*— Ср. в ст-нии Пушкина «Поэт и толпа» (1828): «Мы в сердце хладные скопцы...»

* «Исполню дымчатый обряд...» (с. 221).— *СС-I,* № 318, с датой «июль 1935». В СССР — *ЛГ-81.* Список, без пробела,— *СМ.* Печ. по *ВС.*

Вернувшись 18 июня 1935 г. из поездки в Москву, Н. Я. Мандельштам привезла оттуда мешочек с коктебельскими камушками (*НМ-III*, с. 212), которые, по всей видимости, вскоре пропали (ср. в письме С. Б. Рудакова о том, что Мандельштамы, с одной стороны, забыли «кучу коктебельских стихов невозвратных», а с другой — переживают «из-за потери коктебельских камушков» (*Рудаков*, 29.06.35). О коктебельских камушках см. также в *«РД»* (II, 251).

* «Из-за домов, из-за лесов...» (с. 221).— *СС-I*, № 322, с датой «6—8 декабря 1936»; в СССР — *ЛГр-67*, с. 85 (в статье Г. Маргвелашвили); *БП*, № 189, с датой «6—9 декабря 1936»,— везде с разночт. в ст. 3: «Гуди, помощник и моих трудов» (так в прижизненной машинописи и *НК*, тот же текст, но под загл. «Гудок» — *ТС*). Списки Н. Я. Мандельштам — *АМ*, *АЧ* и *СП*. Печ. по *АМ*.

Домашнее название — «Гудок». Ст-ние открывает собой «вторую воронежскую тетрадь». Его особо выделил Б. Пастернак. Ср. также ответ Мандельштама жене на вопрос, почему это ст-ние называется «Гудок» (первоначальное название): «А может, это я» (*НМ-I*, с. 191).

Рождение улыбки (с. 221).— *СС-I*, № 342,— соответствует нашей редакции <III>, с разночт. в ст. 5: «невыразимо хорошо» и ст. 12: «Явленья явного в число чудес вселенье». В СССР — *Д-87*, с. 112. Первоначальная редакция из двух строф с датой «9 — 11 декабря 1936» — см. Приложения, <I>,— списки в *АМ*, *СП*, а также в письме К. И. Чуковскому от 28 декабря 1936 г., с датой «декабрь 1936» *(АЧ)*, с вариантом ст. 6: «На лапы из воды» *(АМ)*. Редакция <II>, под загл. «Рождение улыбки» и с датой «9 декабря 1936 — 6 января 1937»,— *АМ* (то же, со второй датой: «7 января»,— *СП*, два списка). 9 января была внесена поправка в заключительную строку:

Явленья явного чудесное явленье

(вариант: «Ягненка гневного разумное явленье») — *АМ*. Редакция <III>, под загл. «Рождение улыбки», из четырех строф с датой «8 <по-видимому, 9.— *П. Н.*> декабря 1936 — 11 января 1937» — из письма в «Звезду» от 13 января 1937 г., с пометой автора: «...только сейчас доработано. Старый текст прошу считать вариантом» (*СП;* эта редакция приведена в *СС-II*). И. М. Семенко в качестве окончательной предлагала редакцию, состоящую из строф 1, 2 и 4 редакции <III>. Печ. по *ВТ*, с. 36,с уточнением начальной даты.

* «Не у меня, не у тебя—у них...» (с. 222).— *СС-I*, № 328. В СССР — *П*, с. 94. Список ст. 1—7, с датой «декабрь 1936» (по-видимому, первоначальная редакция),— *СП*. В то же время в письме к К. И. Чуковскому от 28 декабря 1936 г. *(АЧ)* приведено полностью. Печ. по списку Н. Я. Мандельштам *(АМ)*.

На вопрос: «кто это «они» — народ?» — Мандельштам ответил: «Нет... Это было бы слишком просто...» (*НМ-III*, с. 221). Обилие «их» в этом ст-нии Мандельштам объяснял «влиянием испанской фонетики,— он тогда читал «Сида» и испанских поэтов. Но испанская фонетика была у него, вероятно, самая фантастическая» (там же).

* «Нынче день какой-то желторотый...» (с. 222).— *СС-I,* № 329. В СССР — *ЛГ-81.* Печ. по списку Н. Я. Мандельштам *(АМ).*

«Желтый туман вызвал реминисценцию Ленинграда. О. М. сказал: «Блок бы позавидовал», вероятно вспомнив: «Когда кильватерной колонной вошли военные суда». День желторотый — птичье сравнение» (*НМ-III,* с. 220).

* «Детский рот жует свою мякину...» (с. 222).—*ВП-II,* с. 44. *СС-I,* № 325 (строфы 1 и 2), и *СС-I,* № 323, с разночт. в ст. 1: «Подивлюсь на мир». В СССР — строфа 3 — *БП,* с. 301 (примеч. к № 190), полностью — *Д-87,* с. 112. Авториз. список — *ЦГАЛИ,* ф. 1893, оп. 2, ед. хр. 1, л. 7—7об. (без учета правки). Печ. по *ЦГАЛИ,* дата — по *НМ-III,* с. 219.

По-видимому, первоначальная редакция следующего ст-ния. Отсутствует в корпусе, подготовленном И. М. Семенко, однако имеется ее запись: «Есть ранняя редакция, ее следовало бы печатать в основном корпусе также, тем более что там другое начало, несмотря на свидетельство Н. Я. Мандельштам». Ср.: «Это четверостишие, промежуточное между «Щеглом» и «Улыбкой», О. М. взял из ранней редакции «Щегла» и сказал, что оно нужно для композиции книги, так как в нем раскрывается смысл цикла: «Понятно, зачем мне улыбка ребенка» (*НМ-III,* с. 219). См. коммент. к следующему ст-нию.

«Мой щегол, я голову закину...» (с. 223).— Москва, 1964, № 8, с. 155. *БП,* № 190. Строфы 1 и 2, под именем Вс. Багрицкого и с датой «лето 1938»,— в сб.: Имена на поверке. М., 1963, с. 26. Несмотря на опровержение и извинения со стороны матери Вс. Багрицкого — см.: *ЛГ,* 1964, № 53,— перепечатано в том же виде в сб. «Бессмертие» (М., 1978). Первоначальная редакция — см. коммент. к предыдущему ст-нию. Авториз. список первоначальной редакции — *ЦГАЛИ,* ф. 1893, оп. 2, ед. хр. 1, л. 7—7 об.; авт. правка на этом списке, с пометой: «оконч<ено> 27 дек. 36»,— приводит к окончательной редакции, там же следующие наброски и варианты последней строфы:

[Я и сам бы выпрыгнул из сдобы
Тела кожи и костей
Чтоб увидеть красные сугробы]

[И распрыгался в че<рничной> дроби
Умных ягод, черных глаз
Красен снег, легко стоял в сугробе
Жить щеглу вот мой указ]

Видит, смотрит — весь свое подобье
Не посмотрит — улетел.

Промежуточная редакция, с датой «декабрь 1936 г.»,— *СП* (см. Приложения, где дается по тексту *СП,* но с учетом поправки в ст. 6 (было: «И нагрудник красным шит»), внесенной Мандельштамом в письме от 19 декабря 1936 г. в редакцию «Звезды» *(СП);* согласно пометке И. М. Семенко, в письме Н. Я. Мандельштам к Е. Я. Хазину приводился

еще один вариант этого стиха: «И под клювом красным шит», дата по *НМ-III*, с. 219). Печ. по *ЦГАЛИ*.

Домашнее название — «Щегол». Вместе с «Рождением улыбки» — ключевые стихи «второй воронежской тетради». «Они взаимосвязаны, и работа шла над их разграничением... Объединяющий комплекс: мякина (жевать мякину, поймать птицу на мякину, колючая мякина), улыбка, щегол — щеголь — щегловитый, упорство и непослушание, проходящие как темы. Случайно ли черно-желтый цвет? И ребенок, и щегол — реальности (только что начавший улыбаться сын Кретовой, воронежской писательницы, — и щегол, подаренный О. М. мальчику Вадику, сыну нашей квартирной хозяйки. Рядом с нами мальчишки ставили силки и велся птичий торг. Кретова же уговаривала О. М. облагоразумиться и понять, что такое современная литература и какие требования предъявляются к советскому писателю и поэту)» (*НМ-III*, с. 219—220).

«Когда щегол в воздушной сдобе...» (с. 223). — *СС-I*, № 327. В СССР — *ЛГр-67*, с. 95 (в статье Г. Маргвелашвили). Приложено к письму Н. Я. Мандельштам к К. И. Чуковскому от 28 декабря 1936 г. *(АЧ)*, причем строфа 1 записана по зачеркнутой:

Когда щегол в воздушной сдобе
Вдруг затрясется пуховит —
Он покраснел и в умной злобе
Ученой степенью повит.

Печ. по *АЧ*. Дата — по *НК*.

Первоначально не входило в основной корпус, введено в него при просмотре черновиков в Калинине осенью 1937 г. Ст-ние «про непослушного щегла» было, так сказать, амнистировано за «клевещет клетка сотней птиц» и за развитие темы «птичьей свободы» (*НМ-III*, с. 220).

* «Внутри горы бездействует кумир...» (с. 224). — *ВП-II*, с. 45; в СССР — *Д-87*, с. 113, — с разночт. в ст. 2: «и хранимых» и ст. 11: «широким ртом». Первоначальная редакция с датой «13 декабря 1936 г.» — см. Приложения, <I>. Промежуточный вариант строфы 3 *(АМ)*:

И странно скрещенный, завязанный узлом
Очеловеченной и усыпленной кости
И начинает жить чуть-чуть когда приходят гости
И исцеляет он, но убивает легче.

Список, с разночт. в ст. 13: «И исцеляет он, но убивает легче» — в письме Н. Я. Мандельштам к К. И. Чуковскому от 12 декабря 1936 г. *(АЧ)*. Печ. по списку Н. Я. Мандельштам *(АМ)*.

Домашнее название — «Кумир». Сюжет ст-ния вызывает ассоциации с античным мифом о титане Атланте, превращенном в гору Атлас в наказание за борьбу против богов, а также с фигурой Сталина, «спрятанного» за стеной внутри кремлевского холма. Начатое одним из первых в цикле, ст-ние «...становилось медленно и все время оттеснялось

теми, которые оказались более быстрыми... Неизменной во всех текстах остается вторая строфа. Перед тем, как надиктовать мне этот текст, О. М. сказал: «Я догадался — это Шилейко»... Именно Шилейко «начинает жить, когда приходят гости». Новым в этом варианте была именно эта строчка про гостей: в стихах ведь идет речь об «окостенении» человека и о превращении его в идола. Именно в связи с Шилейко появляется «тишайший» рот вместо первоначального: широкий рот...

<Написав промежуточную редакцию строфы 3 — см. выше> О. М. сказал, что это шире Шилейко, совсем не Шилейко... «Что может делать идол — исцелять или убивать»... И тут же про гору — кремень — кремль... Но идол все же был человеком — отсюда изменение последней строчки:

И вспомнить силится свой облик человечий.

Дальше О. М. убрал «тишайший рот», как относящийся к Шилейко, и вернул старую строчку:

Он улыбается своим широким ртом.

Далее, когда я записывала стихи в какой-то очередной «альбом», О. М. потребовал, чтобы я поставила в первой строфе вместо «счастливых покоях» «хранимых» — покои кумира не могут быть счастливыми, их просто берегут и охраняют... Я спросила, как же рифма, О. М. ответил — ничего, пусть так... Все равно... У него в стихах бывают пропуски рифмы» (*НМ-III*, с. 222—223). Впрочем, и сама Н. Я. Мандельштам (там же, с. 224), и И. М. Семенко вариант «хранимых» из-за отсутствия рифмы находили сомнительным. (Вслед за этим ст-нием по хронологии должны были бы следовать два четверостишия — «Я в сердце века — путь неясен...» и «А мастер пушечного цеха...», не включенные И. М. Семенко в основной корпус; в то же время Н. Я. Мандельштам не исключала их при комментировании воронежских стихов. В наст. издании эти стихи вынесены в раздел «Стихотворения разных лет».)

* «Пластинкой тоненькой жиллета...» (с. 224).— *СС-I*, № 334. В СССР — *Пр-66*, с. 110, с разночт. в ст. 19: «А тополь как самолюбива». *БП*, № 191. Первоначальная редакция, с датой «15 декабря 1936 г.»,— то же, без строфы 4 и с разночт. в ст. 25: «как моя душа» (список в письме Н. Я. Мандельштам к К. И. Чуковскому от 16 декабря 1936 г.— *АЧ*). Печ. по списку Н. Я. Мандельштам *(АМ)*.

Домашнее название — «Задонск». Ст-ние написано под впечатлением летнего отдыха в Задонске — небольшом монастырском городке к северу от Воронежа, на Дону (здесь создавалась «Задонщина»). Необычно для Мандельштама было то, что оно «почти не имело вариантов и сложилось сразу в уме — без записей. Повод был смешной — мы шли из бани и увидели воз с сеном. Я заметила, как О. М. пристально на него смотрит, и испугалась — мне хотелось, чтобы он отдохнул от стихов... Он это почувствовал и сказал мне, что ничего не поделаешь. Дома он разложил на полу мои задонские акварельки и долго шагал по ним. Там

все снопы были и холмики. Задонск — городок при монастыре; место чудное в верховьях Дона. Мы жили недалеко от монастыря — на отличной монастырской дороге, усаженной деревьями, кажется тополями. Стихотворение не менялось, а только «раздвинулось» четвертой строфой. О. М. пробовал в этой строфе только один вариант — ему хотелось употребить тополь в женском роде, как у Тютчева» (*НМ-III*, с. 225—226). *Пластинкой тоненькой жиллета.*— См. о пластиночке бритвы жиллет в «Четвертой прозе» (II, 92). *Честь Рюисдалевых картин*— от Я. Рейсдаля (1628—1682), голландского художника-пейзажиста.

* «Сосновой рощицы закон...» (с. 225).— *СС-I*, № 335. В СССР— *Д-87*, с. 113. В письме в «Звезду» от 19 декабря 1936 г. *(СП)* Мандельштам просил внести исправление в ст. 7 (было: «И бросил сил своих жалея» — по списку, *СП*). Печ. по списку Н. Я. Мандельштам *(АМ)*.

С этого и предыдущего ст-ний начинается новый цикл. «Произошло возвращение к настоящему, входит сегодняшний день и Воронеж. «Сосновая рощица» как-то связано с «Задонском», но это не связь двух стихотворений, растущих из одного корня,— они никогда не смешивались, хотя написаны разом. Иначе говоря, это связь скорее тематическая, чем чисто словесная» (*НМ-III*, с. 225). *Сосновая рощица*— была на пригорке перед домом в Задонске, где Мандельштамы снимали дачу.

* «Эта область в темноводье...» (с. 226).— *ВП-II*, с. 46, без строфы 1. В СССР — Москва, 1964, № 8, с. 153. *БП*, № 192, с датой «23—29 декабря 1936» (в примеч.— вариант <II>). *ВТ*, с. 48—49, с датой «29 декабря 1936» (по-видимому, по *НК*). Строфа 3 как отдельное ст-ние приложена к письму Н. Я. Мандельштам к К. И. Чуковскому от 28 декабря 1936 *(АЧ)*. Первоначальная редакция с датой «24 декабря 1936» — см. Приложения, <I>. Варианты — см. Приложения, <II> и <III> (по *НМ-III*, с. 228). Печ. по списку Н. Я. Мандельштам *(АМ)*.

Это ст-ние и два следующих образуют не цикл, а тематическую группу: «Я не сразу поняла смысл его колебаний с группой этих стихотворений. О. М., видимо, хотел дать оптимистический вариант и мучительно искал его («Смотришь, небо стало выше»), но был настроен достаточно мрачно («начало грозных дел»). Стихи эти как будто пейзажные, но в них символизируется острое предчувствие будущих бед. Оптимистический вариант был бы лживым, поэтому он не выходил, победила правдивая линия, и стихи «стали» (*НМ-III*, с. 229). Н. Я. Мандельштам раскрывает и конкретные реалии этого ст-ния. «Мы проводили много времени на телефонной станции, находившейся в двух шагах от нашего дома. Там висела большая фанерная карта области, на которой вспыхивали лампочки, показывающие, какой из районов области включен в сеть. По совхозам мы ездили летом 35 года. Поездка наша началась с райцентра — села Воробьевка. В райкоме там работал немолодой — лет сорока пяти — человек, явно переведенный из города. Он был подозрительно интеллигентен для райкома, очевидно, его выкинули откуда-то за несогласие. У нас с ним было несколько разговоров, и, несмотря на его осторожность, мы заметили немало горьких интонаций. Они относились и к раскулачиванью, и к организа-

ции хозяйства области. В 37 году мы его вспоминали, думая, что с ним, наверное, расправились» (там же, с. 231). *Тамбов*— 18 декабря 1936 г. по путевке Союза писателей Мандельштам уехал в «нервный» санаторий в Тамбове, откуда вернулся в Воронеж 5 января 1937 г., т. е. значительно раньше срока, ввиду резкого ухудшения здоровья. Ср. впечатления поэта в передаче С. Б. Рудакова: «Чудный губернский город. Река. Снег далеко, далеко. На нем точечки путей. Лес. Перелески под снегом. Движения никакого. Только баба в платке пройдет. Сугробы, чудные дворянские особняки... деревянная, по Щедрину, каланча, один автомобиль на весь город» (*Рудаков*, 13.01.36).

* «Вехи дальние обоза...» (с. 227).— *ВП-II*, с. 47. В СССР— Москва, 1964, № 8, с. 154, с разночт. в ст. 1: «дальнего обоза». *БП*, № 193. *НК*, с тем же разночт. (Н. Я. Мандельштам настаивала на варианте с «дальнего» — *НМ-III*, с. 231—232). Печ. по списку Н. Е. Штемпель *(АМ)*.

Особняк— санаторий в Тамбове.

* «Как подарок запоздалый...» (с. 227).—Москва, 1964, № 8, с. 154. *БП*, № 194. Печ. по списку Н. Я. Мандельштам *(АМ)*.

* «Оттого все неудачи...» (с. 227).— *ВП-II*, с. 48, с датой «20—30 декабря 1936 г.». В СССР— *Д-87*, с. 113—114, с разночт. в ст. 14: «глазах горящих». В памяти Н. Я. Мандельштам — вариант в ст. 5: «травы морской» (*НМ-III*, с. 233). Печ. по списку Н. Я. Мандельштам *(АМ)*.

Домашние названия — «Кащей» или «Кащеев кот». Написано сразу, в уме, после одного из посещений Н. Штемпель, заболевшей в конце декабря. «...Надежда Яковлевна и Осип Эмильевич приходили каждый день... старались развлечь меня, но у самого Осипа Эмильевича, я чувствовала, настроение было плохое.

Мы разговаривали, читали, иногда Осип Эмильевич грустно играл с моим котом, хотя играть с ним было мудрено. Кот был злой, дикий, и характер у него, надо сказать, был дьявольский. Он царапался, кусался, даже преследовал осмелившегося его погладить, чтобы вцепиться. Любил он, пожалуй, только меня, остальных, кто бывал у нас, кое-как терпел. Внешность его вполне соответствовала повадкам. Кот был совершенно черный, без единого пятнышка, с огромными изумрудными глазами. Смотрел он на человека всегда пристально, и в глазах был вопрос с оттенком презрения. Мне казалось, что он все понимает, и я не удивилась бы, если бы он заговорил. Было в нем нечто зловещее, ведьмовское, таинственное. Кот очень занимал Осипа Эмильевича, и однажды, придя к нам, Мандельштам прочитал мне стихотворение: «Оттого все неудачи...» ...Видя настроение Осипа Эмильевича, я не восприняла это стихотворение как шуточное, было в нем какое-то тоскливое предчувствие беды, беспокойство» (*Штемпель*, с. 224).

На следующий день Мандельштам писал Н. С. Тихонову: «31.XII.36 г. С Новым годом! Уважаемый Николай Семенович! Посылаю Вам еще две новых пьесы. Одна из них Кащеев Кот. В этой вещи я очень скромными средствами при помощи буквы «щ» и еще кое-чего сделал (материальный) кусок золота. Язык русский на чудеса способен,

лишь бы ему стих повиновался, учился у него и смело с ним боролся. Как любой язык чтит борьбу с ним поэта и каким холодом платит он за равнодушие и ничтожное ему подчинение! Стишок мой в числе других когда-нибудь напечатают, и он будет принадлежать народу советской страны, перед которым я в бесконечном долгу» (сообщ. С. В. Поляковой). Ср. об этом письме: «Посылая Тихонову «Кота», О. М. смеялся: «Ведь это золотой самородок — «щиплет золото гвоздей», я, нищий,— посылаю ему кусок золота...» (*НМ-III,* с. 233).

* «Твой зрачок в небесной корке...» (с. 228).— *СС-I,* № 345; в СССР — *ЛГр-67,* с. 69—70; *ВТ,* с. 54,—с датой «9 января 1937» (дата ошибочная — см. *НМ-III,* с. 233). *БП,* № 195, с датой «2 января 1937» и с указанием в примеч. на авториз. список первоначальной редакции *(АМ).* И. М. Семенко приводит вариант ст. 7: «Серый, искренне-зеленый». Печ. по списку Н. Я. Мандельштам *(АМ).*

Обращено к Н. Я. Мандельштам.

* «Улыбнись, ягненок гневный с Рафаэлева холста...» (с. 228).— *СС-I,* № 321. *БП,* № 196. Печ. по списку Н. Я. Мандельштам *(АМ).*

Это ст-ние Б. Пастернак назвал перлом. В воронежском музее картин Рафаэля не было. Н. Е. Штемпель полагает, что по какой-то ассоциации Мандельштам вспомнил картину Рафаэля «Мадонна с ягненком» (*Штемпель,* с. 220). По мнению Н. И. Харджиева, имеется в виду младенец («агнец») на картине Рафаэля «Сикстинская мадонна». Г. П. Струве и Б. А. Филиппов полагают, что здесь подразумевается «Мадонна Альба» Рафаэля, до 1937 г. находившаяся в Эрмитаже (с 1937 г.— в коллекции Меллона, США); самый факт продажи, если бы он стал известен Мандельштаму, по их мнению, мог послужить поводом для написания ст-ния (*СС-I,* с. 528—529). По мнению Н. Я. Мандельштам, ст-ние «...скорее напоминает Мадонну Литту, чем Рафаэля. Это, скорее всего, тоска по Эрмитажу» (*НМ-III,* с. 234). Ср. также «Ягненка гневного разумное явленье» — вариант поправки заключительной строки ст-ния «Рождение улыбки», внесенной 9 января 1937 г. (см. соотв. коммент.).

* «Когда в ветвях понурых...» (с. 229).— *СС-I,* № 344, с датой «6—10 января 1937». *БП,* № 197, с датой «9—10 января 1937». Печ. по авториз. списку Н. Е. Штемпель, с датой «9 января 1937» *(АМ).*

Это и следующее ст-ние «выросли на одном корню, это как бы «двойняшки». Были черновики с еще не дифференцированным текстом. Тематически оба стихотворения остались близки. В первом — поздняя осень, когда птица отказывается петь, и единственный исход — сиреневые сани, то есть смерть — славянские похороны в санях. Во втором — даль с воронежской площадки возле нашего дома «без крыльца», степь с ее смертным однообразием, тема — «везут», всегда о гибели; здесь степь из саней — «кочуют кочки» и «все идут, идут...». Слепые, когда их везут в последних санях, не видят, а только ощущают кочки... Именно последние строфы двух стихотворений указывают на общность их происхождения — разные фазы пути «в санях» (*НМ-III,* с. 234).

* «Я около Кольцова...» (с. 229).— *СС-I,* № 343, с датой «1—9

января 1937». В СССР — *Д-87*, с. 114. Мандельштам не хотел записывать это ст-ние из-за строфы 2 («колодник с привязанной к ноге гирей» — *НМ-III*, с. 234). Печ. по поздней записи Н. Я. Мандельштам на обороте листа *НК*.

См. коммент. к предыдущему ст-нию.

* «Дрожжи мира дорогие...» (с. 230).— *СС-I*, № 347, с подзаголовком «(вариант)»; в СССР — *Д-87*, с. 114,—с датой «12—18 января 1937». Первоначальная редакция, с датой «12 января 1937»,— *НМ-III*, с. 235 (см. Приложения, <1>). Промежуточная редакция, с датой «12—14 января 1937» и вариантом (отброшенным) ст. 6: «Бега сжатого следы»,— *НМ-III*, с. 235 (см. Приложения, <2>); этот же текст, с датой «12 января 1937» и разночт. в ст. 6 (см. выше),— *СС-1*, № 346, как основная редакция ст-ния. Печ. по списку Н. Я. Мандельштам *(АМ)*.

Это и следующее ст-ния «вызваны воспоминанием о монастырской дороге, где после дождя в следы, оставленные копытами, набиралась вода. О. М. показал мне на эти «наперстки», когда мы шли с ним неизвестно куда и неизвестно зачем, прослушав передачу о предстоящих процессах «убийц» Кирова... Вмятины дороги навели его на мысль о памяти, о том, как события оставляют следы в памяти... К тому времени, когда писались эти стихи, уже он начал сочинять «оду», которая, как он надеялся, спасет ему жизнь. Отсюда: «по нему прошлось другое» и тема оси колеса. В какой-то момент он мне сказал, что там — в наперстках — сидит бесенок... А что он может делать? Собирать дань... С появления бесенка стихи размежевались. Пока они становились, пришло несколько стихотворений с апологией поэзии, свободы и независимости человека» (*НМ-III*, с. 236).

* «Влез бесенок в мокрой шерстке...» (с. 230).— *СС-1*, № 348, с датой «12—18 января», как вариант промежуточной редакции предыдущего ст-ния. В СССР — *Д-87*, с. 114—115. Печ. по списку Н. Я. Мандельштам *(АМ)*.

См. коммент. к предыдущему ст-нию. Пастернаку особенно понравилась заключительная строфа.

* «Еще не умер ты, еще ты не один...» (с. 231).— *ВП-II*, с. 19. В СССР — *АГр-67*, с. 85 (неточный текст в статье Г. Маргвелашвили). *БП*, № 198. Печ. по *НК* (строфа 1 — в позднейшей записи).

Домашнее название — «Нищенка». Ст-ние «записывалось редко — тональность, опасная для нашего безумного времени... Оно примыкает, но не принадлежит к циклу пейзажных стихотворений, которые следуют за ним» (*НМ-III*, с. 236). *Нищенка-подруга* — Н. Я. Мандельштам. *У тени милостыню просит.*—Ср. в письме Ю. Н. Тынянову от 21 января 1937 г.: «Дорогой Юрий Николаевич! Пожалуйста, не считайте меня тенью. Я еще отбрасываю тень...» (*СС-III*, с. 280). (Ср. также в письме к К. И. Чуковскому от 17 апреля 1937 г.: «Я — тень. Меня нет. У меня есть только одно право — умереть...» — *АЧ*.)

* «В лицо морозу я гляжу один...» (с. 231).— *ВРСХД*, 1964, № 64. *БП*, № 199. Печ. по списку Н. Я. Мандельштам *(АМ)*.

Несмотря на тематическое расхождение с предыдущим ст-нием, их связь подчеркнута тождественностью рифм.

* «О этот медленный, одышливый простор!..» (с. 231).— *ВП-II*, с. 51. В СССР—*Д-87*, с. 115. Печ. по списку Н. Я. Мандельштам *(AM)*.

Домашнее название—«Тень». «О. М. был недоволен стихотворением о Каме—он считал, что это просто повторение прежней темы. Но в основной текст взял без колебаний» (*НМ-III*, с. 236). Это ст-ние особенно понравилось Б. Пастернаку.

«Что делать нам с убитостью равнин...» (с. 232).— *ВП-II*, с. 52, с разночт. в ст. 8: «Пространств несозданных Иуда». *СС-I*, № 350. *ВТ*, с. 60,—с разночт. в ст. 2: «голодом их гуда» и ст. 8: «Пространств несозданных» («Народов будущих» приведено как вариант). В СССР—*Д-87*, с. 115. В текстологии И. М. Семенко—с вариантом «Пространств несозданных Иуда» (т. к. вариант «Народов будущих Иуда» встречается лишь в позднейшей записи Н. Я. Мандельштам; в то же время в ее рабочей записи эта версия трактуется именно как вариант). По сообщ. Н. Я. Мандельштам, вариант «Пространств несозданных Иуда»—цензурный (*НМ-III*, с. 236—237). Печ. по *Д-87*.

* «Не сравнивай: живущий несравним...» (с. 232).— *ВП-II*, с. 64. В СССР—*ЛГр-67*, с. 70; *БП*, № 200,—с разночт. в ст. 7: «И собирался в путь». Печ. по прижизненной машинописи—*АМ* (И. М. Семенко колебалась относительно выбора редакции ст. 7; Н. Я. Мандельштам вариант с «плыть» считала опиской, предпочитая «в путь» из позднейшей записи в *НК;* так же в *ТС*).

Это ст-ние «...чем-то смущало О. М., он сам записал его и долго мне не сообщал... Скорее всего, его смущала противоположность задаче, которую он себе поставил в те дни,—написать оду Сталину. «Не сравнивай—живущий несравним»—защита человека, которого тогда превращали в механического исполнителя воли «высшего разума» и гения. Записав эти стихи, О. М. шутя сказал: «Теперь по крайней мере понятно, почему я не могу поехать в Италию»... Его, оказывается, не отпускала «ясная тоска»...» (*НМ-III*, с. 237). *Тоскана*—область в Италии с центром во Флоренции—городе Данта, олицетворявшего для Мандельштама «всечеловеческую», мировую культуру (ср. его ответ на вечере в феврале 1935 г.: «Акмеизм—это тоска по мировой культуре»).

* «Я нынче в паутине световой...» (с. 233).—Москва, 1964, № 8, с. 155, с разночт. в ст. 12: «Его дыханьем». *БП*, № 201. Печ. по списку Н. Я. Мандельштам *(АМ)*.

Ст-ние—«...еще одна «защита и апология поэзии», как реакция на «оду <Сталину.—*П. Н.*>» (*НМ-III*, с. 238). Ср. в письме Ю. Н. Тынянову от 21 января 1937 г.: «Последнее время я становлюсь понятен решительно всем. Это грозно. Вот уже четверть века, как я, мешая важное с пустяками, наплываю на русскую поэзию; но вскоре стихи мои сольются с ней, кое-что изменив в ее строении и составе» (*СС-III*, с. 280—281).

* «Где связанный и пригвожденный стон...» (с. 233).— *ВП-II*, с. 54. *БП*, № 202. Печ. по списку Н. Я. Мандельштам *(АМ)*.

Одно из основных ст-ний—реверсивно противостоящих «Оде» (в ст. 3—4 угадывается даже некоторая портретность). В то же время

здесь «выражена надежда на возвращение единства мироощущения («все хотят увидеть всех»), на возвращение единства или культуры» (*НМ-III*, с. 241). *Прометей.*—Тема мученика-титана, похитившего для людей огонь, обозначена уже в предыдущем ст-нии («Народу нужен свет» и «Эльбрус»; согласно мифу об Амирани—грузинской версии мифа о Прометее,—последний был прикован именно к Эльбрусу).

* «Как землю где-нибудь небесный камень будит...» (с. 233).—*ВП-II,* с. 53. В СССР—*Д-87,* с. 115. Печ. по списку Н. Я. Мандельштам *(АМ).*

«Слышу, слышу ранний лед...» (с. 234).—*Струве,* с. 611—612. *БП,* № 203, с датой «22 января 1937». Авториз. список первоначальной редакции, с датой «21 января 1937»,—см. Приложения (по *НМ-III,* с. 239). Список окончательной редакции, с датой «22 января 1937» и авт. пометой: «Это—окончательный текст. О. М.»,—*ЦГАЛИ,* ф. 1893, оп. 2, ед. хр. 1, л. 3. Печ. по *ЦГАЛИ* (дата составная).

* «Люблю морозное дыханье..» (с. 234).—*ВРСХД,* 1962, № 64. В СССР—*Д-87,* с. 115. Печ. по списку Н. Я. Мандельштам *(АМ).*

«Мы жили на горе, откуда шел крутой спуск к реке. Следы этого пейзажа во многих стихах этой зимы. По этому крутому спуску мальчишки, среди них птицелов Вадик, сын нашей хозяйки, съезжали на саночках к реке. О. М. постоянно гулял на площадке против нашего домика и глядел на мальчишек. К этому времени уже выпал снег, поздний в том году. По этому стихотворению, говорил О. М., не трудно будет догадаться, что у него на морозе одышка: «Я—это я, явь—это явь»...» (*НМ-III*, с. 240). Это ст-ние Б. Пастернак отнес к числу лучших во «второй воронежской тетради», одновременно считая, что без «векши» было бы лучше.

«Средь народного шума и спеха...» (с. 235).—*ВП-II,* с. 49—50; в СССР—*ЛГр-67,* с. 70; *ВТ,* с. 77—78, под загл. «Вниз по Каме»,—везде с датой «февраль 1937» и разночт. в ст. 2: «На вокзалах и площадях». *БП,* № 204, с датой «январь 1937». Список рукой Н. Я. Мандельштам, с датой «январь 1937»,—*ЦГАЛИ,* ф. 1893, оп. 2, ед. хр. 7. *ТС,* без даты, с указ. разночт. и пропуском в ст. 30 на месте слов «в Кремль». В текстологии И. М. Семенко—по списку Н. Я. Мандельштам *(АМ),* с датой «февраль—март 1937» и указ. разночт. ст. 2. Печ. по *ЦГАЛИ.*

По мнению Н. Я. Мандельштам, это ст-ние вкупе со ст-ниями «Обороняет сон мою донскую сонь...» и «Как дерево и медь—Фаворского полет...» «также являются побочным продуктом «Оды», но в них звучит «не столько противостояние, сколько победа настроений «Оды» и того болезненного возбуждения, которое она вызвала... С самой «Одой» мне было гораздо легче примириться, чем с этой группой стихов. «Ода» была насильственным и искусственным продуктом, а здесь все же чувствуется настоящий поэтический голос» (*НМ-III,* с. 242—243). Н. Я. считала это ст-ние «самой слабой из всех «Кам» (там же).

* «Если б меня наши враги взяли...» (с. 236).—*СС-I,* № 372, с датой «1937». В СССР—*ЛГр-67,* с. 77, без ст. 22—23 (в статье Г. Маргвелашвили). *ВТ,* с. 85,—с примечанием: «В памяти Н. Я. Ман-

дельштам вариант: губить». Полностью — *Ю-87*, с. 76, с датой «февраль 1937» и разночт. в ст. 20: «И промелькнет», ст. 22: «Но на земле» и ст. 23: «Будет губить» (см. Приложения). *Избр.*, с. 300—301 (по *ТС*). Список Н. Я. Мандельштам с датой «февраль 1937» — *СМ*. Прижизненная машинопись — *АМ*. Список Н. Я. Мандельштам, без ст. 20—23 и с датой «февраль 1937» — *АМ*. Печ. по *НК*, где дата — «февраль 1937» (о датировке см. ниже).

Н. Я. Мандельштам относила это ст-ние к «третьей воронежской тетради» (так же в *ТС*). В феврале были записаны лишь отдельные строчки, в целом же оно сложилось и записалось в начале марта. По ее утверждению, вариант с «будить» был цензурным. «О. М. говорил, что в этом стихотворении точная формулировка «тюремного чувства»: когда лишают права дышать и открывать двери. В этом стихотворении есть элемент «Клятвы четвертому сословью» и вера, что наша земля все же избежала тления. Последние две строки пришли к нему неожиданно и почти испугали его: «почему это опять выскочило?» Возник вопрос, как это записать. Я предложила подставную последнюю строку: «будет будить» и вместо союза «а» — союз «и»... В таком виде О. М. послал стихотворение Корнею Ивановичу. Корней при встрече сказал, что последние строки ничуть не вытекают из начала — еще неизвестно, кто это «наши враги», которые могут запереть двери...» (*НМ-III*, с. 245; текст этого ст-ния в *АЧ* не сохранился). По-видимому, в той же редакции оно было приложено и к письму Н. С. Тихонову от 6 марта 1937 г. *(СП)*.

Сделанное И. М. Семенко уточнение датировки начала работы над этим ст-нием, как и отнесение его не к третьей, а ко второй «воронежской тетради», основывается, кроме даты в *НК*, на типе бумаги, но главное — на смысловых и лексических перекличках с писавшейся «Одой», работа над которой завершилась в первой половине февраля (см. соотв. коммент.). И. М. Семенко решительно отвергала вариант «губить» в ст. 23, как не существовавший. Этот вариант находится в решительном противоречии с логикой и пафосом всего предыдущего изложения; даже будучи истолкованной как подспудное и глубинное противостояние теме и настроениям «Оды», такая концовка выглядела бы чрезмерно упрощенной и однозначной.

* «Куда мне деться в этом январе?..» (с. 236).— *ВП-II*, с. 55. В СССР — Комсомольская искра, Одесса, 1966, 6 марта. *БП*, № 205, с датой «январь — 1 февраля 1937». *ВТ*, с. 68,— с разночт. в ст. 13: «стуча». Печ. по списку Н. Я. Мандельштам *(АМ)*, дата по *НК*.

«О. М. мучительно искал, кому бы ему прочесть стихи,— никого, кроме меня и Наташи, не было. Однажды он отправился (со мной) к какому-то воронежскому писателю, кажется, к Покровскому. Нашли его квартиру в деревянном доме под горой. Покровского дома не оказалось, а может, он со страху спрятался, что было вполне естественно» (*НМ-III*, с. 239). Н. Е. Штемпель вспоминала, как однажды Мандельштам кинулся к телефону-автомату и читал новые стихи следователю НКВД, к которому был прикреплен: «Нет, слушайте, мне больше некому читать!» (*Штемпель*, с. 213). Данное ст-ние потрясло ее: «Как ужасно чувство бессилия! Вот на твоих глазах задыхается человек, а ты только смотришь

и страдаешь за него и вместе с ним, не имея права подать даже виду. В этом стихотворении я узнавала внешние приметы моего города. Мандельштамы иногда шли к нам не по проспекту Революции, а низом, по Поднабережной, и там на стыке нескольких улиц — Мясной Горы, Дубницкой и Семинарской Горы — действительно стояла водокачка... был и деревянный короб для стока воды, и все равно люди расплескивали ее, кругом все обледенело... Да, да, и «переулков лающих чулки, и улиц перекошенных чуланы» — Суконовки (Левая и Правая, узкие, кривые), Венецкая, Мало-Чернавская... как много их в этом узле. Запутаешься, закружат... Как не замечала раньше!» (там же, с. 225). *Углан* — в ряде русских говоров (в т. ч. пермском): парень, малый, повеса, баловник.

* «Обороняет сон мою донскую сонь...» (с. 237).— *СС-I*, № 371, с датой «13 февраля 1937». В СССР — *Д-87*, с. 116. В авториз. списке с авт. правкой первоначальных редакций <I> и <II> «Оды» с датой «18 января — 3 февраля 1937» *(АМ)* совпадение со строфой 2 наст. ст-ния (см. Приложения к ст-нию «Ода»). От этого наброска, по-видимому, «отпочковалась» первоначальная редакция наст. ст-ния, с датой «3 февраля 1937» (*АМ*, автограф с правкой) — см. Приложения. Печ. по списку Н. Я. Мандельштам *(АМ)*, дата по автографу и *НК*.

* «Как светотени мученик Рембрандт...» (с. 237).— *СС-I*, № 364; в СССР — *П*, с. 97,— с датой «8 февраля 1937». *БП*, № 207, с датой «4 февраля 1937». Печ. по списку Н. Я. Мандельштам *(АМ)*.

«Картина Рембрандта находилась в Воронеже, сейчас она, кажется, в Эрмитаже. О. М. часто ходил ее смотреть» (*НМ-III*, с. 241). Имеется в виду картина «Шествие на Голгофу» работы одного из учеников Рембрандта Якобса Виллемса де Вету-старшего (ок. 1630 — после 1675). Эта картина поступила в Воронежский музей изобразительных искусств в 1933 г. и первоначально атрибутировалась как работа Рембрандта.

* «Разрывы круглых бухт, и хрящ, и синева...» (с. 238).— *ВП-II*, с. 56. *Пр-65*, с. 61. *БП*, № 206. Печ. по списку Н. Я. Мандельштам *(АМ)*.

«Тоска по Крыму не покидала О. М. В письмах разговоры о хлопотах, чтобы пустили в Старый Крым под любым предлогом — болезнь и т. п. ...» (*НМ-III*, с. 242). Еще в начале 1936 г. Мандельштам добивался получения путевки в Крым (протокол № 3—4 от 16 марта 1936 заседания правления Воронежского отделения Союза писателей — Государственный архив Воронежской области, ф. 2029, оп. 1, ед. хр. 1, л. 164).

* «Еще он помнит башмаков износ...» (с. 238).— *СС-I*, № 363. В СССР — *ЛГр-67*, с. 70, с датой «8 февраля 1937» и разночт. в ст. 7: «Балкон-наклон, подкова, конь-балкон» и ст. 9: «А букв». *БП*, № 208. Печ. по списку Н. Я. Мандельштам *(АМ)*.

Г. Маргвелашвили называет это ст-ние «точной проекцией лица и души Тбилиси 1930 года» (*ЛГр-67*, с. 93). *Башмаков износ.*— Ср. *«РД»* (II, 217). *Давид-гора* (Мтацминда) — гора Св. Давида, нависающая над Тбилиси; на ней расположены одноименный храм и Пантеон

выдающихся деятелей грузинской культуры. Ср. также отрывок «В оцинкованном влажном Батуме...» — см. Приложения (I, 438).

* «Пою, когда гортань сыра, душа — суха...» (с. 239).— *ВП-II*, с. 57. В СССР — *Пр-65*, с. 62, с разночт. в ст. 10: «Песнь бескорыстная». *БП*, № 209. Автограф первоначальной редакции, с разночт. в ст. 1: «Пою, когда гортань свободна и суха» и ст. 5: «И грудь стесняется, без музыки тиха» — *ЦГАЛИ*, ф. 1893, оп. 2, ед. хр. 1, л. 6. Печ. по списку Н. Я. Мандельштам *(АМ)*.

Домашнее название — «Абхазская песенка». В мае 1930 г. в Сухуме Мандельштамы видели «абхазскую свадьбу, имитирующую умыкание. Одноголосые хоры мы слышали и в Абхазии, и в Армении (Комитас). Тема Колхиды — к средиземноморской культуре и общей историософии О. М.» (*НМ-III*, с. 241—242). О пребывании поэта в Сухуме и его интересе к абхазскому фольклору см.: *«ПА»* (II, 115—118), а также *НМ-I*, с. 342—344, и в кн.: Лакоба Ст. «Крылились дни в Сухум-Кале...». Историко-культурные очерки. Сухуми, 1988, с. 193—197. *Здорово ли вино?* — По мнению С. Лакобы, является откликом на смерть Нестора Лакобы, 27 декабря 1936 г. отравленного вином в доме Л. П. Берия в Тбилиси (Мандельштам познакомился с Н. Лакобой в 1930 г., и тот рассказал ему о своем далеком предке, отравившем на пиру в родном доме кровного врага).

* «Вооруженный зреньем узких ос...» (с. 239).— *ВП-II*, с. 58. В СССР — *Пр-65*, с. 64. *БП*, № 210. Печ. по списку Н. Я. Мандельштам *(АМ)*, дата по *НК*.

Домашнее название — «Осы». Особенно тесно связано с «Одой», стержневым словом которого также является «ось». Подробнее об этом «противоборстве» см.: *НМ-I*, с. 194. Б. Пастернак относил это ст-ние к числу лучших во «второй воронежской тетради». Мандельштам посылал это ст-ние также К. И. Чуковскому *(АЧ)*.

* «Были очи острее точимой косы...» (с. 240).— *СС-I*, № 368. В СССР — *Д-87*, с. 115—116. Печ. по списку Н. Я. Мандельштам *(АМ)*, дата по *НК*.

Мандельштам посылал это ст-ние К. И. Чуковскому *(АЧ)*. *Зегзица* — кукушка. Это слово не понравилось Б. Пастернаку, в целом высоко оценившему ст-ние.

«Как дерево и медь — Фаворскго полет...» (с. 240).— *ВП-II*, с. 59; *СС-I*, № 369, с датой «9—11 февраля 1937»; в СССР — *ЛГ-81* — везде с разночт. в ст. 12: «Этой площади». *ВТ*, с. 72, с датой «11 февраля 1937». В прижизненной чистовой записи Н. Я. Мандельштам, на которую опирается текстология И. М. Семенко, в ст. 12 — «Этой площади» (И. М. Семенко считала это опиской и предлагала исправить на «Той площади»). Печ., как и в *ВТ*, по этому источнику без всяких исправлений.

Закончено одновременно со ст-нием «Обороняет сон мою донскую сонь...» (см. коммент.). Ст. 6 «передает все тот же страх, который невольно овладевал людьми, в том числе и нами, в ту страшную эпоху... По поводу стихотворения «Как дерево и медь» О. М. неожиданно мне сказал: «А может, я действительно увижу этот парад», а потом заметил,

что на наши парады он попасть не может, а в стихах есть предчувствие, что он его увидит,— неужели случится что-то совсем неожиданное, при котором он увидит, как «толпа, ликуя»... Странно, но такая надежда всегда шевелилась в подсознании людей — никто не верил в вечность происходящего. А ведь нас заверяли, что настало тысячелетнее царство, где ничего, кроме прогресса, главным образом технического, мы не увидим» (*НМ-III*, с. 243).

* «Я в львиный ров и в крепость погружен...» (с. 240).— *ВП-II*, с. 60. *БП*, № 211. *СС-I*, № 370, и *ВТ*, с. 80,— с разночт. в ст. 11: «Всех наших дочерей». Еще один вариант: «Всех белых дочерей». Печ. по списку Н. Я. Мандельштам *(АМ)*.

Этим ст-нием завершается «вторая воронежская тетрадь». «Стихи о певице с низким голосом — и в то же время это освобождение от «Оды». О. М. слушал по радио Марию Андерсен, гастролировавшую тогда в Москве, видел где-то ее портрет. Но в этом стихотворении не только Мария Андерсен. В те же дни мы узнали, что певица-ленинградка <для нее Мандельштам перевел «Неаполитанские песенки».— *П. Н.*>, работавшая на радио, заболела... Кто-то шепнул, что она не больна, а у нее арестовали мужа, инженера, уже успевшего отсидеть немалый срок в лагерях. Мы пошли к ней, узнали подробности ареста. Она надеялась, что вторично муж в лагерь не попадет, его сошлют, она поедет за ним и всюду прокормится пением... На следующий день О. М., совершенно к тому времени изможденный работой, днем лежал на кровати — мне казалось, что он дремлет. Внезапно он прочел эти стихи. В них опять тема «правоты», своего пути в жизни: «и я сопровождал восторг вселенский...» Больше к Сталину в стихах он не возвращался, хотя еще в Москве пробовал примириться с эпохой» (*НМ-III*, с. 244). Андерсон Мариан (р. 1902) — негритянская певица с богатым и очень низким контральто.

* Стихи о неизвестном солдате (с. 241).— *СС-I*, № 362, с датой «февраль — март 1937», в виде цикла, под цифрами: (1) — ст. 1—24, с отдельной датой «3 марта 1937» и разночт. в ст. 14: «голодать, холодать»; (2) — ст. 25—31; (3) — ст. 32—43, с разночт. в ст. 36: «А за полем», ст. 38 и 40: «светопыльной дорогою», ст. 41: «я не Ватерлоо», а также строфой, следующей за ст. 43:

В глубине черномраморной устрицы
Аустерлица погас огонек,
Средиземная ласточка щурится,
Вязнет чумный Египта песок.

(4) — ст. 44—59; (5) — ст. 60—69; (6) — ст. 70—81; (7) — ст. 82—99, с разночт. в ст. 84: «заговаривая» и обратным порядком ст. 94—97 и 90—93; (8) — ст. 100—110. В СССР — *ЛГр-67*, с. 71—72, с датой «1937» и дополнительными разночт. в ст. 49: «протоптали тропу» и ст. 52: «окопных смертей». *ВТ*, с. 91—95, с датой «февраль — март 1937» и указ. разночт. в ст. 49. Уточненный текст, без разбивки на цикл,— *НМ*, 1987, № 10, с. 196—200 (подготовка текста и коммент. И. М. Семенко). Список Н. Я. Мандельштам — *АМ*.

Домашнее название — «Солдат». Основное ст-ние «третьей воронежской тетради». Работа над ним началась, по-видимому, еще в феврале 1937 г. и продолжалась в течение двух-трех месяцев. «Кажется, последняя запись делалась уже в Москве — в конце мая 1937 года <см. также *Герштейн*, с. 102—103.— *П. Н.*> — после того, как О. М. прочитал их Анне Андреевне. Работая над «Солдатом», О. М. как-то сказал: получается что-то вроде оратории. Эти стихи связаны с рядом других — параллельно им развивается тема Франции — «Я прошу, как жалости и милости» и «Я видел озеро». Вторая группа стихов, связанная и даже вытекающая из «Солдата», это стихи о небе двух планов: 9—19 марта (основа — «заблудился я в небе») и 15—27 марта («под временным небом чистилища», «небо вечери», «о, как же я хочу» и «луч-паучок»). С последней строфой «Солдата» связано и тюремное стихотворение «Если б меня наши враги взяли». Работая над «Солдатом», точнее над его «небесной» частью, О. М. вспомнил слова Гумилева о том, что у каждого поэта свое отношение к звездам, и сказал, жалуясь, что у него звезды появляются, когда кончается материал» (*НМ-III*, с. 246—247).

Об эволюции замысла и истории становления текста «Стихов о неизвестном солдате» см.: *НМ-II*, с. 541—548; *НМ-III*, с. 247—258; *Семенко*, с. 102—126. Опираясь на ряд новонайденных источников (*СМ, ТС, ИРЛИ*), мы реконструируем историю текста следующим образом (номера редакций условные, многие реально существовавшие звенья заведомо утрачены):

Редакция <I>, с датой «1 марта 1937»,— без учета авт. правки на списке Н. Я. Мандельштам (*ЦГАЛИ*, ф. 1893, оп. 2, ед. хр. 1, л. 5) — см. фотогр. и Приложения, <I> (опубл.: *Семенко*, с. 108; *НМ*, 1987, № 10, с. 199).

Редакция <II>, датируется между 1—2 марта 1937 г.,— то же, с учетом правки — см. фотогр. и Приложения, <2> (частично опубл.: *Семенко*, с. 117).

Редакция <III>, с датой «3 марта 1937» — автограф *(АМ)*. Опубл.: *ВТ*, с. 124—125, и *НМ-III*, с. 248—249,— см. Приложения, <III>.

Редакция <IIIA>, с датой «2—7 марта 1937»,— *НК*. Опубл.: *ВТ*, с. 126—127. По существу, отличается от редакции <III> лишь появлением в ст. 19 «на сетчатке» (на месте зачеркнутого «на подошве») и заменой ст. 24—27 на стихи, несущие в себе мотив черепа — один из ключевых в окончательной редакции:

Для того ль должен череп развиться
Во весь лоб — от виска до виска
Чтоб в его дорогие глазницы
Не могли не вливаться войска?

Редакция <IV> — список Н. Я. Мандельштам, без заглавия и с датой «2—10 марта 1937» *(АМ)*. Аналогичный список — *СМ*. Машинопись этой же редакции, под загл. «Неизвестный солдат»,— в фонде ж. «Знамя», вместе со следующим письмом: «В редакцию «Знамя». Посылаю стихотворение «Неизвестный солдат» в доработанном и

развернутом виде. Прилагаемым текстом отменяется ранее мною присланный. Прошу редакцию учесть эти изменения при обсуждении моих стихов. О. Мандельштам. 11 марта 37» (*ЦГАЛИ*, ф. 618, оп. 1, ед. хр. 201, л. 146—148,—опубл.: *ВТ*, с. 128—129). На это письмо последовал ответ—единственный редакционный отклик за все воронежское время: «Редакция «Знамени» сообщала, что войны бывают справедливые и несправедливые и что пацифизм сам по себе не достоин одобрения. Но жизнь была такова, что даже казенный ответ показался нам благой вестью: все же кто-то откликнулся и разговаривает» (*НМ-I*, с. 171). Печ. по *ЦГАЛИ*—см. Приложения, <IV>.

Следующие две промежуточные редакции—назовем их IVA и IVБ—можно реконструировать по двум планам композиции ст-ния *(АМ)*. Первый план—рукой Н. Я. Мандельштам:

«I. 3 строфы—сеятель, свидетель

II. Будут люди—ласточка

III. Миллионы убитых.

III. Неподк<упное> небо—могил

IV. виноградины—арав<ийское> месиво—эфир дес<ятичноозначенный>—до светло Переход: И не знаешь откуда берешь—пропадая задешево

V. Череп

VI. Хорошо умирает пехота».

Второй план—рукой автора: «1. Сеятель. 2. Ласточка. 3. Целокупное небо. 4. Череп. 4. Свет (винoградины крошево). 5. Пехота». Попытку реконструкции по первому плану см.: *НМ-III*, с. 252—256.

Редакция <V>, под загл. «Стихи о неизвестном солдате», с разночт. в ст. 20: «управлять» и отсутствием ст. 32—43, 48—51 и 94—97,—по списку Н. Я. Мандельштам *(СМ)*—см. Приложения, <V>.

Редакция <VA>—под загл. «Стихи о неизвестном солдате» и с датой «2—15 марта 1937» *(ТС)*—отличается от окончательного текста лишь порядком строф в ст. 32—47 (сначала—ст. 44—47, затем 36—39, 40—43 и 32—35).

Редакция <VI>—список Н. Я. Мандельштам (с правкой поэта), под загл. «Солдат № 3», с датой «27 <2—7 (?).—*П. Н.*> марта—5 апреля 1937». Это самая поздняя из сохранившихся редакций, содержащая существенные разночтения, в т. ч. ранее не встречавшуюся строфу (ст. 73—84 наст. редакции—опубл.: *Герштейн*, с. 199; ср. там же: «В трагической картине мира XX века, изображенной в «Стихах о неизвестном солдате», эта строфа выглядит как остаточный элемент»). Печ. по списку без учета правки—см. Приложения, <VI>.

Редакция <VII>—реконструкция редакции <VI> с учетом авт. правки—см. Приложения, <VII>.

«Стихи о неизвестном солдате»—не только самое длинное, но и, быть может, самое трудное для понимания ст-ние Мандельштама. В этих стихах «говорится не про собственную гибель, а про целую эпоху «крупных оптовых смертей», когда каждый погибает «с гурьбой и гуртом»... а среди них и автор... Это оратория в честь настоящего двадцатого века, пересмотревшего европейское отношение к личности.

В дни, когда писались эти стихи, еще не изобрели оружия, способного уничтожить жизнь на земле. Мандельштам... не вполне сознавал, а скорее почувствовал, что гибель будет связана с новым оружием и войной» (*НМ-II*, с. 542, 547). Согласно И. М. Семенко, сюжет «Стихов о неизвестном солдате» — это «предельно детализированный антивоенный сюжет, он имеет обобщающее, расширительное значение осуждения всяческой вражды и ненависти, всяческих страданий и гибелей. В этом смысле... «неизвестным солдатом» Мандельштам представляет и самого себя» (*Семенко*, с. 125—126). Раскрытию смысла этих стихов как цикла и оратории посвящена статья Ю. И. Левина (*SH*, v. IV, 1979, p. 185—213); О. Ронен (там же, p. 214—222) в качестве весьма вероятного источника «сюжета» этих стихов указывает на широко известную в начале века книгу Фламмариона «Рассказы о бесконечном» (1872; в России переиздавалась вплоть до 1917 г.), сочетающую платоновскую этику и метафизику с традиционной физикой и астрономией XIX в., а также с космической фантазией. Видения ее «героя» — духа астронома Люмена — развертываются, благодаря опережению ими скорости света, в обратной временной перспективе. Отсюда же и тема вечного нравственного свидетельства, связанного со всевидящими звездами. Поэтическая тема «Стихов о неизвестном солдате» восходит к «Воздушному кораблю» и «Демону» Лермонтова, а также ст-ниям А. Фета «От огней, от толпы беспощадной...» и «Угасшим звездам». В 1921 г. в Париже был впервые сооружен символический памятник — могила Неизвестного солдата. Ср. также ст-ние А. Штейнберга «Могила неизвестного солдата» с эпиграфом из Лермонтова (Молодая гвардия, 1933, № 8, с. 63), а также переведенное Мандельштамом ст-ние М. Бартеля «Неизвестному солдату» (Бартель М. Завоюем мир! Л.—М., 1925, с. 30—31). Однако основным литературным источником этих стихов, по наблюдениям Л. В. Кациса, следует считать поэму Дж. Байрона «Видение чуда», изданную в России в 1904 г. в переводе Ю. Балтрушайтиса: эта поэма является своего рода подтекстом-каркасом «Стихов о неизвестном солдате» и, пожалуй, единственным источником, охватывающим практически все эпизоды ст-ния (устное сообщение). Размер ст-ния перекликается с размером ст-ния Ахматовой «Все расхищено, предано, продано...» (1921). Ср. также у Гумилева в поэме «Звездный ужас» (1920?):

Горе! Горе! Страх, петля и яма
Для того, кто на земле родился,
Потому что столькими очами
На него взирает с неба черный
И его высматривает тайны.

Лейпциг, (Битва Народов) Ватерло — крупнейшие по скоплению войск битвы, в которых войска Наполеона терпели сокрушительные поражения. *Чепчик счастья — Шекспира отец.* — Человеческая голова, череп ассоциируется у Мандельштама с Шекспиром как безусловнейшим примером ценности человека (примеч. И. М. Семенко). *Чуть-чуть красное.* — Красное свечение звезд — известный эффект Допплера, описан-

ный у Фламмариона. *В ночь с второго на третье // Января*— точная дата рождения Мандельштама.

* «Я молю, как жалости и милости...» (с. 245).— Ст. 1—6— Эренбург И. Люди, годы, жизнь.— *НМ*, 1961, № 1, с. 143. Ст. 1— 14— *ВП-II*, с. 16. Полностью— *СС-I*, № 373, и в СССР— *Пр-65*, с. 59,— с разночт. в ст. 1: «Я прошу», ст. 13: «с рассеянною точностью». *БП*, № 212. Печ. по списку Н. Я. Мандельштам *(АМ)*.

Домашнее название— «Франция». «Франция... представилась О. М. в образе Майи Кудашевой, хотя я что-то не помню, чтоб она картавила» (*НМ-III*, с. 246). Ст-ние было приложено к письму Н. С. Тихонову от 6 марта 1937 г. *(СП)*. *Жимолость.*— В сер. 1920-х годов Мандельштам писал внутреннюю рецензию на кн. Т. Сандра «Жимолость» (не сохранилась; сообщ. К. М. Азадовским). *Воздух стриженый*— перенос эпитета: стриженые виноградники (примеч. Н. Я. Мандельштам). *Улица июльская кривая*— намек на Июльскую революцию 1830 г. *Государит добрый Чаплин Чарли.*— Имеются в виду его фильмы «Новые времена» и «Огни большого города» (см. ст-ние «Чарли Чаплин»). *С розой на груди в двухбашенной испарине.*— Имеются в виду французские двухбашенные готические соборы.

* Реймс— Лаон (с. 246).— *ВП-II*, с. 61, без загл. *СС-I*, № 374, без загл., с датой «4—7 марта 1937». В СССР— *БП*, № 213, без загл., с датой «4 марта 1937». *ВТ*, с. 86, без загл., с датой «4 марта 1937» и разночт. в ст. 1: «стоящее отвесно». *СМ*— без загл., с зачеркнутым вариантом в ст. 2: «розой [на груди]». Печ. по автографу *(АМ)*.

Ст-ние было приложено к письму Н. С. Тихонову от 6 марта 1937 г. *(СП)*. *Реймс* и *Лаон* (Лан)— французские города, известные своими готическими соборами (см. ст-ние «Реймский собор» и «архитектурный» цикл в «Камне»). *Озеро, стоявшее отвесно.*— Ср. «стояние озерной воды на высоте четырех тысяч футов» в *«ПА»* (II, 100).

* «На доске малиновой, червонной...» (с. 247).— *СС-I*, № 375; в СССР— *П*, с. 96,— с разночт. в ст. 3: «снегом занесенной», ст. 10: «фламандского уклона» и ст. 14: «дорогу дальнюю». В списке *(СМ)* в ст. 10 «голландского» исправлено на «фламандского». Печ. по списку Н. Я. Мандельштам *(АМ)*.

В *ТС* открывает подраздел, соответствующий «третьей воронежской тетради». Ст-ние написано как бы с натуры— «вид на Воронеж с берега приблизительно там, где жила Наташа <Штемпель: ул. Каляева, 21.— *П. Н.*>. Все окончания прилагательных первых восьми строчек О. М. произносил с двумя «н» (*НМ-III*, с. 245).

* «Я скажу это начерно, шопотом...» (с. 247).— *ВП-II*, с. 62, с разночт. в ст. 1: «Я скажу тебе». В СССР— *П*, с. 94. *БП*, № 214. Печ. по списку Н. Я. Мандельштам *(АМ)*.

* «Небо вечери в стену влюбилось...» (с. 247).— *СС-I*, № 377, под загл. «Тайная вечеря», с разночт. в ст. 2: «Все изранено» и ст. 11—12: «Той же вечери новые раны, // Неоконченной росписи мгла». *ВТ*, с. 99; в СССР— *Д-87*, с. 116,— под загл. «Тайная вечеря», с указ. разночт. в ст. 2. В памяти Н. Я. Мандельштам— вариант ст. 3:

«Провалилось в нее, отразилось...» Печ. по списку Н. Я. Мандельштам *(AM).*

«Тайная вечеря» — знаменитая фреска Леонардо да Винчи в миланской церкви Санта-Мария делле Грацие (роспись серьезно пострадала в XVII—XVIII вв., а также в 1943 г.). «Погибшая работа художника — мысль о своем наследстве. Очень редкая для О. М.» (*НМ-III,* с. 258).

* «Заблудился я в небе — что делать?..» (с. 248).— *СС-I,* № 378, с датой «9—19 марта»; в СССР — *Пр-65,* с. 60; *БП,* № 216; *ВТ,* с. 100,— во всех случаях с разночт. в ст. 11: «сердце мое расколите» (кроме *БП*), ст. 13: «И когда я умру» и ст. 15—16:

Чтоб раздался и шире и выше
Отклик неба во всю мою грудь!

В черн. автографе *(AM)* варианты ст. 16: «забыв мою грудь» и «всосав мою грудь». Автограф первоначальной редакции со следующей строфой *(AM):*

Одинокое небо виднее
Как недугом я жил им в судьбе
Но оно западня: в нем труднее
Задыхаться, чернеть, голубеть

(приведено, в ином прочтении, в *БП,* с. 304). Автограф, с разночт. в ст. 16: «Отзвук неба» — собр. М. Б. Горнунга. Печ. по поздней записи Н. Я. Мандельштам, строфы 2—4 — с учетом черн. автографа *(AM).* Дата — по *СС-I.*

«Это и следующее стихотворения — прямая реакция на «Солдата» — надоели звезды. Я спрашивала О. М., считать ли второе или первое стихотворение вариантом. Он сказал, что их надо печатать рядом, потому что это разные стихи, несмотря на совпадение первых четырех строк» (*НМ-III,* с. 258—259). См. также *НМ-I,* с. 187. *Дантовых девять // Атлетических дисков* — девять кругов Ада в «Божественной комедии» Данте.

* «Заблудился я в небе — что делать?..» (с. 248).— *ВП-II,* с. 67. *СС-I,* № 379 (как вариант предыдущего), с датой «9—19 марта 1937» и разночт. в ст. 14: «Лед выше!» В СССР — *БП,* № 217, и *ВТ,* с. 101,— с датой «19 марта». *СМ* — с датой «9—18 марта 1937». Печ. по списку Н. Я. Мандельштам, с заменой «лед высший» на «лед вышний». По свидетельству И. М. Семенко, высказавшей эту догадку, Н. Я. Мандельштам ее горячо одобрила, согласившись, что она нередко ошибалась при диктовке или переписке. Начальная дата по *СС-I* и *СМ.*

Первая строфа совпадает с предыдущим ст-нием (см. соотв. коммент.). Ст-ние (список Н. Я. Мандельштам, с датой «19 марта 1937») приложено к письму К. И. Чуковскому от 20 марта 1937 г. *(АЧ).*

* «Может быть, это точка безумия...» (с. 249).— *ВП-II,* с. 63. *СС-I,* № 380; в СССР — *ЛГр-67,* с. 72,— с разночт. в ст. 6: «свет-паучок»

и ст. 10: «Собираемы тонким лучом». *ВТ,* с. 98, с указ. разночт. в ст. 6. Печ. по списку Н. Я. Мандельштам *(АМ).*

«О. М. сказал: «Это моя архитектура»...» (*НМ-III,* с. 259).

* Рим (с. 249).— *ВП-II,* с. 65—66, с разночт. в ст. 7: «Древность легкая, летняя, пагубная», ст. 22: «легкоплечий Давид». В СССР— *ЛГр-67,* с. 72, с разночт. в ст. 7: «Древность летняя, легкая», ст. 8: «С хищным взглядом», ст. 12: «в безобразном наросте» и ст. 34: «И раскрыты». *БП,* № 215 (ст. 7 как в *ЛГр-67*). В памяти Н. Я. Мандельштам—вариант ст. 11—12:

Вы не только его онелепили
Барабанным наростом домов.

Печ. по списку Н. Я. Мандельштам *(АМ).*

«...О. М. говорил, что это стихотворение пошло по ложному и простейшему пути—его удовлетворяли в нем только первые четырнадцать строчек. Он быстро вспомнил, что Моисей не лежит, а сидит, но менять не захотел» (*НМ-III,* с. 246). *Лягушки фонтанов.*—Имеются в виду фонтаны в Санта-Мария делле Грацие в Милане (в Риме— знаменитые фонтаны с черепахами). *Мост ненарушенный Ангела*—мост св. Ангела через Тибр в Риме. *Микель Анджело.*—См. коммент. к ст-нию «Я должен жить, хотя я дважды умер...». *Ночь, Давид и Моисей*—статуи работы Микеланджело (Давид находится во Флоренции). Подтекст упоминания «сырой от слез» Ночи—скорбное четверостишие самого Микеланджело, переведенное Тютчевым, где от лица Ночи говорится:

Молчи, прошу, не смей меня будить.
О, в этот век преступный и постыдный
Не жить, не чувствовать—удел завидный...
Отрадно спать, отрадней камнем быть.

Медленный Рим-человек.—Ср. ст-ние «Пусть имена цветущих городов...». *Ямы Форума заново вырыты.*—По-видимому, имеются в виду раскопки на Форуме. *Ирод.*—См. коммент. к ст.-нию «Соломинка». *Диктатора-выродка // Подбородок тяжелый.*—Имеется в виду Б. Муссолини (1883—1945), фашистский диктатор Италии с 1922 г.

«Чтоб, приятель и ветра и капель...» (с. 250).—Строфы 2 и 5—Мосты, Мюнхен, 1983, № 10, с. 159, с разночт. в ст. 17: «Ладил с готикой»—см. Приложения. Полностью—*СС-I,* № 382. В СССР—*СК,* с. 290, с опечаткой в ст. 21: «веселого клира». Автограф—*ЦГАЛИ,* ф. 1893, оп. 2, ед. хр. 1, л. 7 (воспроизведен в *СК,* с. 272). Двухстрофный вариант—по одному из «альбомов»; этот вариант, причем с исправл. «государственный стыд» на «государственный строй» (см. Приложения), Н. Я. Мандельштам считала основным (*НМ-III,* с. 262). Печ. по *ЦГАЛИ.*

«Именно вокруг этого стихотворения и вокруг «Флейты» располагались потерянные стихи... Политическую окраску это стихотворение получило после ареста Шваба и сочинения «Флейты» <см. ком-

мент.— *П. Н.*>... Записывали его шифром» (*НМ-III,* с. 262). См. статью «Франсуа Виллон» и соотв. коммент. *СК,* с. 290—291. *Египтян государственный стыд.*— Ср. в статье «Гуманизм и современность» (II, 205).

«Длинной жажды должник виноватый...» (с. 251).— *СС-I,* № 383; в СССР — *ЛГр-67,* с. 73,— в обоих случаях под загл. «Кувшин». *ВТ,* с. 102, без загл. И. М. Семенко считала «клевещут» в ст. 5 (по одному из поздних «альбомов») ошибкой по ассоциации с «клевещущими козлами» из «Стансов». Однако в свете того, что нам известно о флейтисте К. К. Швабе (см. коммент. к ст-нию «Флейты греческой тэта и йота...»), «клевещут», по-видимому, является поздней (начало апреля) поправкой (было: «клянутся»). На этом основании печ. по *СС-I.*

Стихи навеяны посещением Воронежского музея изобразительных искусств. Мандельштамы часто туда ходили «к Рембрандту» или в античный зал, где выставлялась черно-красная микенская керамика из коллекции Дерптского университета (см. *НМ-III,* с. 261, и *Штемпель,* с. 220).

* «Гончарами велик остров синий...» (с. 252).— *СС-I,* № 385. В СССР — *ЛГ-81; ВТ,* с. 104,— везде с разночт. в ст. 2: «Крит веселый», ст. 8: «на море и глаз» и ст. 12: «Напои обожженный сосуд». По свидетельству Н. Я. Мандельштам, единственный список этого ст-ния был передан в начале 1938 г. в Ленинграде С. Б. Рудакову. Поэтому имеющийся текст — результат припоминаний в Саматихе весной 1938 г.: «О. М. ленился припомнить поточнее, потому что верил, что Рудаков сохранит. Я знаю, что здесь не хватает двух строф, и кроме того, оно не совсем такое, как было в записи» (*НМ-III,* с. 261). Дата — по предыдущему ст-нию.

См. коммент. к предыдущему ст-нию.

* «О, как же я хочу...» (с. 252).— *ВП-II,* с. 68; *СС-I,* № 384, с датой «23 марта 1937»; в СССР — *ЛГр-67,* с. 72,— с обратным порядком строф 3 и 4 и разночт. в ст. 13: «А я». *БП,* № 218, с датой «27 марта 1937», без строфы 3 и с указ. разночт. в ст. 13. Та же редакция — *ВТ,* с. 97 (с датой «27 марта 1937»), *ТС* и *СМ,* с разночт. в ст. 12: «Тебя — дитя — вручу». Первоначальная редакция, с двумя вариантами строфы 3 и датой «март 1937»,— *АМ* (см. Приложения). Обосновывая свое текстологическое решение, И. М. Семенко писала (на полях корпуса), что трехстрофный вариант <как в *БП.*— *П. Н.*> — в прижизненной машинописи и трех поздних альбомах, четырехстрофный — в позднем альбоме № 4. Поскольку окончательный текст установить невозможно, следует печатать полностью по альбому № 4. Дата уточнена по письму к Н. Я. Мандельштам (см. ниже).

Домашнее название — «Звездочка». Ср. в письме к Н. Я. Мандельштам от 7 мая 1937 г.: «А твоя звездочка — у-у — очень как хороша. Все больше» (*СС-III,* с. 291). «О. М. смущался, что это «постельные стихи», и придумывал, как Нарбут будет его дразнить: «Осип шепотом штопает звезды». Ему хотелось сократить одну строфу, чтобы Нарбут не задразнил его. Отсюда два трехстрофных варианта <см. Приложения.— *П. Н.*>... Четырехстрофный <беловик.— *П. Н.*> я отдала Рудакову...» (*НМ-III,* с. 259—260).

* «Нереиды мои, нереиды...» (с. 253).— *СС-I*, № 297, с ошибочной датой «март (1935?)». В СССР — *Д-87*, с. 117. В ст. 3 вариант: «вековечной обиды» (на обрывке бумаги — *АМ*). Печ. по записи Н. Я. Мандельштам (на обороте «Чернозема») — *АМ*.

Первоначально состояло из 12 строк (*НМ-III*, с. 262).

* «Флейты греческой тэта и йота...» (с. 253).— *ВП-II*, с. 69. *СС-I*, № 387. В СССР — *Д-87*, с. 117, с разночт. в ст. 1: «мята и йота» и ст. 10: «Ему чудится». *ВТ*, с. 105, с указ. разночт. в ст. 1. Список (со ст. 14 — автограф), с разночт. в ст. 1 (см. выше) и ст. 14: «Понимающих топоте губ» — *СМ*. И. М. Семенко считала, что «мята» — позднейшая описка Н. Я. Мандельштам. Печ. по списку Н. Я. Мандельштам *(АМ)*.

Домашнее название «Флейта». Толчком послужил арест Карла Карловича Шваба, флейтиста воронежского симфонического оркестра и преподавателя местного музучилища, с которым у Мандельштамов установились дружеские отношения. Хороший музыкант, он играл на нескольких инструментах и нередко устраивал домашние концерты у себя или у Мандельштама (см.: *Штемпель*, с. 220). О Швабе и его аресте см. также *НМ-I*, с. 174. «Стихи о флейтисте вызвали мысль о скорой гибели» (*НМ-III*, с. 267).

* «Как по улицам Киева-Вия...» (с. 254).—Строфы 2 и 3 — Эренбург И. Люди, годы, жизнь.— *НМ*, 1961, № 1, с. 141—142. *СС-I*, № 395. В СССР полностью — *Пр-65*, с. 63. *БП*, № 220. Печ. по списку Н. Я. Мандельштам *(АМ)*.

Одно время Мандельштам хотел этим ст-нием заключить «Воронежские стихи». Само ст-ние — «конкретизация тревоги и размышлений о египетских казнях, флейтистах и тому подобных вещах: как известно, я киевлянка» (*НМ-III*, с. 263). Очевидно, связано с воспоминаниями о пребывании поэта в Киеве в дни отступления Красной Армии и погрома. По мнению Н. И. Харджиева, толчком послужил также сборник стихов Н. Ушакова «Киев» (Киев, 1936). *Купеческий*— б. Купеческий сад в Киеве. *Липки*— аристократический район в дореволюционном Киеве.

* «Я к губам подношу эту зелень...» (с. 254).— *ВРСХД*, 1962, № 64. В СССР — *П*, с. 96; *ВТ*, с. 112,—с разночт. в ст. 5: «как я слышу и крепну». *БП*, № 219. Автограф первоначальной редакции, с указ. разночт. в ст. 5 *(АМ)*— см. фотогр. (I, 255). Печ. по беловому автографу с датой «30 апреля 1937» *(АМ)*.

Написано после прогулки с Н. Штемпель в Ботаническом саду. «Было пустынно, ни одного человека, только в озерах радостное кваканье лягушек, и весеннее небо, и деревья почти без листьев, и чуть зеленеющие бугры» (*Штемпель*, с. 219).

* «Клейкой клятвой липнут почки...» (с. 254).—Строфы 7—10 — *СС-I* (1-е изд.), полностью — *СС-I*, № 389. В СССР — *Пр-65*, с. 62. *БП*, № 221, с разночт. в ст. 1: «пахнут почки». Черн. автограф с разночт. в ст. 1: «пахнут почки», ст. 5: «[Отче наш] Подожди — шепнула внятно», ст. 9: «Стала б я совсем другою...», ст. 9—10 (отброшенная редакция): «[И далеко от покоя // Очи вместе мчатся]»; беловой

автограф, с датой «2 мая 1937 г.» и авт. пометой на полях строфы 6: «Хорошо!?»,— *АМ*. Печ. по автографу.

Домашнее название — «Наташа». Обращено к Наталье Евгеньевне Штемпель (1900—1988), преподавательнице русской литературы в техникуме, верному другу Мандельштама в Воронеже. В памяти Н. Е. Штемпель — упоминание и первого варианта, от которого Мандельштам отказался, «потому что он автобиографичен. Написано в качестве «отклика» на известие о том, что Н. Штемпель выходит замуж» (см.: *Штемпель*, с. 227—228).

* «На меня нацелились груша да черемуха...» (с. 257).— *СС-I*, № 393. В СССР — *П*, с. 93, с разночт. в ст. 1: «нацелилась» и ст. 3: «вместе с листьями». *БП*, № 222. Печ. по автографу *(АМ)*.

«Возвратившись из Москвы, Надежда Яковлевна прочитала... стихотворение «На меня нацелились груша да черемуха...» — и, улыбаясь, сказала: «Это о нас с вами, Наташа» (*Штемпель*, с. 230).

* <Стихи к Н. Штемпель> (с. 257).— Ст-ние 2 — *ВП-II*, с. 14. Полностью — *СС-I*, № 394, как одно ст-ние. В СССР — *БП*, № 223—224. *ВТ*, с. 109—110. Два беловых автографа *(АМ)* (см. ниже): один — на листке из *НК*, карандашом и с пометами «Вот» (вверху) и «скорее» (внизу), с пропуском ст. 17 (вписана позднее) и разночт. в ст. 7: «И, кажется»; другой — чернилами, на обложке титульного листа издания Боратынского *(АМ)*. Печ. по автографу чернилами.

История этого ст-ния и обоих его автографов описана Н. Е. Штемпель (*Штемпель*, с. 227—230; там же фотогр. первого автографа). Вручая ей эти стихи, Мандельштам сказал: «Я написал вчера стихи... Это любовная лирика... Это лучшее, что я написал... Когда умру, отправьте их как завещание в Пушкинский Дом». Ср. также у Н. Я. Мандельштам: «Прекрасные стихи Наташе Штемпель стоят особняком во всей любовной лирике Мандельштама. Любовь всегда связана с мыслью о смерти, но в стихах Наташе высокое и просветленное чувство новой жизни...» (*НМ-II*, с. 280—281).

Стихотворения разных лет

«Среди лесов, унылых и заброшенных...» (с. 260).— Пробужденная мысль [журнал Тенишевского училища]. СПб., 1907, вып. 1 (разыскано Г. Суперфином и В. Сажиным). Печ. по *Д-88*, с. 105 (публ. А. Меца).

Это и следующее ст-ния написаны, вероятно, осенью 1906 г. (летом с матерью и братьями поэт отдыхал в Зегевольде (Сигулде), где в конце 1905 — начале 1906 г. было жестоко подавлено крестьянское восстание).

«Тянется лесом дороженька пыльная...» (с. 261).— Пробужденная мысль [журнал Тенишевского училища]. СПб., 1907, вып. 1, под псевдонимом «Фитиль» (разыскано Г. Суперфином и В. Сажиным). Печ. по *Д-88*, с. 105 (публ. А. Меца).

Синие пики обнимутся с вилами // И обагрятся в крови.—Эти строки в 1911 или 1912 г. запомнил Г. Иванов и процитировал в статье «Осип Мандельштам»: «Мало кому известно, что... Мандельштам сочинял множество «политических стихов», похожих на Якубовича-Мельшина. «Синие пики обнимутся с вилами И обагрятся в крови»,—славословил он грядущую революцию. «Варшавянку» он считал непревзойденным образцом гражданской лирики» (Новый журнал, 1955, № 43, с. 276).

«В непринужденности творящего обмена...» (с. 262).— *БП*, № 2 (примеч.). Печ. по *БП.*

Н. И. Харджиев называет это ст-ние «своеобразной поэтической декларацией молодого Мандельштама». Благоговение перед Тютчевым и Верленом Мандельштам пронес через всю жизнь. Верлену была посвящена одна из первых, не дошедших до нас, статей поэта (см. в письме к В. В. Гиппиусу от 19—27 апреля 1908 г.— *ЛО,* 1986, № 9, с. 110). По свидетельству М. Карповича, Мандельштам читал ему вслух стихи Верлена по-французски и в своем переводе (*Д-88,* с. 111). Более подробно об отношении к Тютчеву см. в статьях: Тоддес Е. А. Мандельштам и Тютчев.— International Journal of Slavic Linguistics and Poetics, 1974, v. XVII, p. 59—85; Мусатов В. В. Мандельштам и Тютчев.— Творчество писателя и литературный процесс. Иваново, 1981, с. 189—205.

«О, красавица Сайма, ты лодку мою колыхала...» (с. 262).—Печ. по *БП,* № 225. Автограф—*АМ,* на обороте письма к матери, Ф. О. Вербловской, из Парижа от 20 апреля 1908 г., заканчивающегося словами: «Маленькая аномалия: «тоску по родине» я испытываю не о России, а о Финляндии. Вот еще стихи о Финляндии...» (*СС-IV,* с. 116). Печ. по *БП.*

Сайма—река, точнее—канал, соединяющий систему озер Сайма в Финляндии с Балтийским морем у Выборга. *Калевала*—сказочная страна, давшая название карело-финскому народному эпосу.

«Мой тихий сон, мой сон ежеминутный...» (с. 262).— *БП,* № 226, где дано по автографу с пометами: «Ранние стихи», «Стихи мои старые» (1909? 1908?). Авториз. список в *К-16 (Кабл.),* с разночт. в ст. 8: «Как пепел» и исправлениями рукой поэта—в ст. 4: «завес» вместо «одежд» и в ст. 6: «удивленных» вместо «изумленных», с датой «1908». Печ. по *БП.*

«Из полутемной залы, вдруг...» (с. 263).—*К-16,* с. 7. *БП,* № 227. Печ. по *К-16.*

«Довольно лукавить: я знаю...» (с. 263).—*ВРСХД, т. 111,* с. 173, с датировкой: «конец 1908—начало 1909». В СССР печ. впервые.

«Здесь отвратительные жабы...» (с. 263).— *СС-I,* № 146. Печ. по записи в *К-16 (Кабл.),* с датой «1909».

«Сквозь восковую занавесь...» (с. 264).—*ВРСХД, т. 111,* с. 174. В СССР печ. впервые.

Пилигрим (с. 264).—*ВРСХД, т. 111,* с. 173—174. В СССР печ. впервые. Датировка предположительная.

«В морозном воздухе растаял легкий дым...» (с. 265).—

Голос жизни, Пг., 1915, № 25, 17 июня. *БП,* № 228. Автограф — *АМ.* Печ. по авториз. списку в *К-16(Кабл.),* с датой «1909».

«В безветрии моих садов...» (с. 265).— *ВЛ,* 1987, № 7, с. 188, в статье В. Купченко «Осип Мандельштам в Киммерии (Материалы к творческой биографии)». Приложено к письму М. Волошину, посланному из Гейдельберга, по-видимому, в конце 1909 г. Печ. по автографу, с разночт. в ст. 5: «В безвыходности бытия», исправленным по приписке: «Простите мне мою мелочность: пятая строка стихотворения «В безветрии моих садов» — читается:

В юдоли дольней бытия

вместо ужасной «безвыходности», которая торчит, как оглобля» *(АВ).*

«Истончается тонкий тлен...» (с. 265).— Аполлон, 1910, № 9 (июль — август), с. 6. *БП,* № 229, где дано по беловому автографу с датой «1909» — *АА.* Приложено к письму Вяч. Иванову из Монтрё от 13/26 августа 1909 г. (*Морозов,* с. 264). Печ. по «Аполлону».

По свидетельству В. Пяста, подчеркивавшего исключительную оригинальность размера этого ст-ния, Мандельштам, читая его на «башне» у Вяч. Иванова, снискал похвалу мэтра (см.: Пяст В. Встречи. М., 1929, с. 139—141).

«Ты улыбаешься кому...» (с. 266).— *ВРСХД, т. 97,* с. 107. В СССР — *Морозов,* с. 264. Приложено к письму Вяч. Иванову из Монтрё от 13/26 августа 1909 г. Печ. по *АВИ.*

«В просторах сумеречной залы...» (с. 266).— *ВРСХД, т. 97,* с. 107—108. В СССР — *Морозов,* с. 264. Приложено к письму Вяч. Иванову из Монтрё от 13/26 августа 1909 г. Печ. по *АВИ.*

«В холодных переливах лир...» (с. 267).— *ВРСХД, т. 97,* с. 108. В СССР — *Морозов,* с. 264—265. Приложено к письмам Вяч. Иванову из Гейдельберга от 22 октября/4 ноября 1909 г. и М. Волошину. Автограф — *АВ.* В *СС-II,* № 457е и 453з,— строфы 1—3 и 4 напечатаны как отдельные ст-ния. Печ. по *АВ.*

«Озарены луной ночевья...» (с. 267).— *ВРСХД, т. 97,* с. 110. В СССР — *Морозов,* с. 266. Приложено к письму Вяч. Иванову из Гейдельберга от 22 октября/4 ноября 1909 г. Печ. по *АВИ.*

«Твоя веселая нежность...» (с. 268).— *ВРСХД, т. 97,* с. 109—110. В СССР — *Морозов,* с. 266. Приложено к письмам из Гейдельберга к Вяч. Иванову от 22 октября/4 ноября 1909 г. и М. Волошину. Печ. по *АВ.*

Примечательно экспериментированием с «зеркальной» рифмовкой.

«Не говорите мне о вечности...» (с. 268).— *ВРСХД, т. 97,* с. 109. В СССР — *Морозов,* с. 266. Приложено к письмам из Гейдельберга к Вяч. Иванову от 22 октября/4 ноября 1909 г. и М. Волошину. Печ. по *АВИ.*

«На влажный камень возведенный...» (с. 269).— *Морозов,* с. 266—267. Приложено к письмам из Гейдельберга Вяч. Иванову от 22 октября/4 ноября 1909 г. и М. Волошину. Печ. по *АВ.*

«Бесшумное веретено...» (с. 269).— Газ. «Тартуский гос. университет», Тарту, 1968, 12 января, № 1 (публ. Г. Суперфина). Приложено

к письму Вяч. Иванову из Гейдельберга от 22 октября/4 ноября 1909 г. (*Морозов*, с. 267). Печ. по *АВИ*.

«Если утро зимнее темно...» (с. 269).— *ВРСХД, т. 97*, с. 111. В СССР — *Морозов*, с. 267. Приложено к письму Вяч. Иванову из Гейдельберга от 12/25 ноября 1909 г. Печ. по *АВИ*, с исправлением в ст. 3 «пано» на «панно».

«Пустует место. Вечер длится...» (с. 270).— *ВРСХД, т. 97*, с. 111. В СССР — *Морозов*, с. 268. Приложено к письму Вяч. Иванову из Гейдельберга от 12/25 ноября 1909 г. Печ. по *АВИ*.

«В смиренномудрых высотах...» (с. 270).— *ВРСХД, т. 97*, с. 112. В СССР — *Морозов*, с. 268. Приложено к письму Вяч. Иванову из Гейдельберга от 12/25 ноября 1909 г. Печ. по *АВИ*.

«Дыханье вещее в стихах моих...» (с. 271).— *ВРСХД, т. 97*, с. 112. В СССР — *Морозов*, с. 268. Приложено к письму Вяч. Иванову из Гейдельберга от 12/25 ноября 1909 г. Печ. по *АВИ*.

«Нету иного пути...» (с. 271).— *ВРСХД, т. 97*, с. 113. В СССР — *Морозов*, с. 269. Приложено к письму Вяч. Иванову из Гейдельберга от 13/26 декабря 1909 г. Печ. по *АВИ*.

«Что музыка нежных...» (с. 272).— *ВРСХД, т. 97*, с. 113. В СССР — *Морозов*, с. 269. Приложено к письму Вяч. Иванову из Гейдельберга от 13/26 декабря 1909 г. Печ. по *АВИ*.

«На темном небе, как узор...» (с. 272).— *ВРСХД, т. 97*, с. 114. В СССР — *Морозов*, с. 269. *БП*, № 230. Приложено к письму Вяч. Иванову из Гейдельберга от 17/30 декабря 1909 г. (*Морозов*, с. 269). Там же — вариант с разночт. в ст. 3: «Но выше и все выше ты» и ст. 5: «Божница неба заперта —». Ср.: «Дорогой Вячеслав Иванович! Это стихотворение хотело быть «romance sans paroles» (Dans l'interminable ennui... <«песней без слов» (безбрежной тоске...) (фр.) — начальные слова одного из ст-ний П. Верлена.— *П. Н.*>. «Paroles» — т. е. интимно-лирическое, личное — я пытался сдержать, обуздать уздой ритма. Меня занимает, достаточно ли крепко взнуздано это стихотворение? Невольно вспоминаю Ваше замечание об антилирической природе ямба. Может быть, антиинтимная природа? Ямб — это узда «настроения»...» (*Морозов*, с. 269). Авториз. список — *АМ*. Печ. по *АВИ*.

«Где вырывается из плена...» (с. 272).— *СС-II*, № 149, где дано по копии с автографа (*АМ*). В СССР печ. впервые.

«Когда мозаик никнут травы...» (с. 273).— *СС-I*, № 152. Автограф — *Каблуков*, 24 октября 1910 г. Печ. по списку в *К-16 (Кабл.)*, с пометой: «1910, Лугано».

По предположению А. А. Морозова, написано в начале 1910 г. во время поездки в Италию из Гейдельберга и отражает религиозные переживания от первого непосредственного соприкосновения с католицизмом (ср. ст-ние «В изголовьи Черное Распятье...»).

«Под грозовыми облаками...» (с. 274).— *СС-II*, № 148, с разночт. в ст. 6: «совершит». В СССР — *Морозов*, с. 270. *БП*, № 237, где дано по автографу из собр. Е. Г. Эткинда. Приложено к письму Вяч. Иванову из Целендорфа от 5/18 августа 1910 г. Печ. по *АВИ*.

«Единственной отрадой...» (с. 274).— *ВРСХД, т. 97*, с. 114. В

СССР — *Морозов*, с. 270. *БП*, № 232, где дано по автографу из собр. Е. Г. Эткинда, с разночт. в ст. 11—12: «влажно-трепещущая сень». Послано Вяч. Иванову из Целендорфа 5/18 августа 1910 г. Печ. по автографу — *Каблуков*, 18 августа 1910 г.

Ср. там же шуточное (и, видимо, неотправленное) письмо Мандельштама к Вяч. Иванову: «Дорогой Вячеслав Иванович! С. П. Каблуков есть лицо, не заслуживающее доверия, и все, что он клеветал — ложь. И та строчка из моего стихотворения, которую он цитировал в своем письме к Вам, читается без «в»:

Неудержимо падай
Таинственный фонтан,

а не «в таинственный», как он утверждает; а если я в бытность мою в Париже упал в Люксембургский фонтан, читая Мэтерлинка,— то это мое дело. И. Мандельштам» (*Морозов*, с. 260).

«Над алтарем дымящихся зыбей...» (с. 274).— *СС-II*, № 150. Приложено к письму Вяч. Иванову из Целендорфа от 5/18 августа 1910 г. (*Морозов*, с. 270). Печ. по *АВИ*.

«Когда укор колоколов...» (с. 275).— *ВРСХД, т. 97*, с. 115. В СССР — *Морозов*, с. 271 (по *АВИ*, с разночт. в ст. 12: «неизъяснимая полынь» (послано Вяч. Иванову из Целендорфа 5/18 августа 1910 г.). Печ. по автографу с отброшенными вариантами в ст. 1: «полынь колоколов» и ст. 7—8: «Последние остатки хмеля, // Который мною сбережен» — *Каблуков*, 18 августа 1910 г.

«Мне стало страшно жизнь отжить...» (с. 275).— *ВРСХД, т. 97*, с. 115. В СССР — *Морозов*, с. 271 (послано Вяч. Иванову из Целендорфа 5/18 августа 1910 г.). Печ. по *АВИ*.

«Я вижу каменное небо...» (с. 276).— *ВРСХД, т. 97*, с. 116. В СССР — *Морозов*, с. 272, по *АВИ*, с разночт. в ст. 9: «хаос темный» (послано Вяч. Иванову из Целендорфа 5/18 августа 1910 г.). Печ. по *АВИ*.

Эреб.—См. коммент. к ст-нию «Tristia».

«Вечер нежный. Сумрак важный...» (с. 276).— *ВРСХД, т. 97*, с. 116. В СССР — *Морозов*, с. 272 (послано Вяч. Иванову из Целендорфа 5/18 августа 1910 г.). Печ. по автографу с отброшенным вариантом ст. 6: «Мы внезапно охмелели» (*Каблуков*, 18 августа 1910 г.).

«Листьев сочувственный шорох...» (с. 277).— *БП*, № 231, по автографу с пометой: «Гельсингфорс, май 1910» *(AM)*.

«Убиты медью вечерней...» (с. 277).— *ВРСХД, т. 97*, с. 116—117. В СССР — *Морозов*, с. 272 (послано Вяч. Иванову из Целендорфа 5/18 августа 1910 г.). Печ. по *АВИ*.

Посвящение восстановлено по записи автора в *Каблуков*. Написано в июле 1910 г. в Гангё (Финляндия), где Мандельштам познакомился с Сергеем Платоновичем Каблуковым (1881—1919), в то время секретарем петербургского Религиозно-философского общества, ставшим впоследствии старшим другом и наставником поэта.

«Как облаком сердце одето...» (с. 278).— *ВРСХД, т. 97*, с. 117. В СССР — *Морозов*, с. 272—273. Печ. по *АВИ*.

«Я помню берег вековой...» (с. 278).— Морозов А. А. Ман-

дельштам в записях дневника С. П. Каблукова.— *ВРСХД*, 1979, т. 129, с. 138 (*Каблуков*, 24 октября 1910 г.). Три строфы из незавершенного ст-ния, написанного в Берлине. Печ. по *ВРСХД* (впервые в СССР).

Обращено к С. П. Каблукову.

«Неумолимые слова...» (с. 279).—Голос жизни, Пг., 1915, № 25, 17 июня, <с. 13>. *БП*, № 236. Список первоначальной редакции — *Каблуков*, 24 октября 1910 г. Печ. по «Голосу жизни».

Написано в Целендорфе, предположительно, в конце лета 1910 г.

«В самом себе, как змей, таясь...» (с. 279).—Лит. альманах (Кн-во «Аполлон»). СПб., 1912 (вышел в ноябре 1911 г.), с. 41 (издание повторено в 1914 г.). *БП*, № 241, с датой «1911». Автограф с датой «август 1910»,— *АМ. К-16 (Кабл.)*, с датой «1911». Печ. по «Лит. альманаху», дата — по *АМ*.

Змей (с. 280).—Лит. альманах (Кн-во «Аполлон»). СПб., 1912 (вышел в ноябре 1911 г.), с. 40—41, без загл. (издание повторено в 1914 г.). *К-13*, с. 10, под загл. «Змей» и с датой «1910». Более в книги не включалось. *БП*, № 233 (в примеч. указан беловой автограф первопечатного текста). Печ. по *К-13*.

Я не хочу души своей излучин.— Ср. в «Незнакомке» Блока: «И все души моей излучины...» (1906). *Крез* (595—546 до н. э.) — разбитый персами легендарно богатый последний царь Лидии.

«В изголовьи Черное Распятье...» (с. 281).— *ВРСХД, т. 111*, с. 175, с датой «ноябрь 1910». Авториз. список — *Каблуков*, 21 февраля 1911 г. Автограф с датой «ноябрь 1910», пометами «Петербург» и «Каблуков» и разночт. в ст. 14: «С неизбежностью меня влечет» — *АМ*. Печ. по *АМ* (впервые в СССР).

Слова «Подводный камень веры» в автографе взяты в кавычки со сноской: «Тютчев» — указание на цитату из его ст-ния «Наполеон» (1836): «Но о подводный веры камень // В щепы разбился утлый челн». По предположению А. А. Морозова, именно это ст-ние было исключено Гумилевым из готовившейся подборки стихов Мандельштама в «Аполлоне» (см.: *Каблуков*, 6 апреля 1911 г.). См. вступ. статью.

«Темных уз земного заточенья...» (с. 281).— Аполлон, 1911, кн. 5, с. 32 (в подборке ст-ний, написанных в 1910). *БП*, № 235, с датой «1910». По-видимому, написано в конце 1910 г. В списке в *К-16(Кабл.)* дата «1911». Печ. по ж. «Аполлон».

«Медленно урна пустая...» (с. 282).— *ВРСХД, т. 111*, с. 176, с датой: «11 февраля 1911». Печ. по *ВРСХД* (впервые в СССР).

«Когда подымаю...» (с. 282).— *ВРСХД, т. 111*, с. 177—178, с датой «июль 1911». Печ. по *ВРСХД* (впервые в СССР).

«Душу от внешних условий...» (с. 283).— *СС-II* (1-е изд.). *СС-I*, № 156. В СССР — *БП*, № 238, где дано по беловому автографу с датой «июль 1911». Печ. по *БП*.

«Я знаю, что обман в видении немыслим...» (с. 283).— Печ. по *БП*, № 239, где дано по беловому автографу с датой «июль 1911». Автограф первоначальной редакции, с разночт. в ст. 13—14: «Юдольной жизнию не дорожи, художник, // Росою бытия печаль свою считай» — *АМ*.

«Ты прошла сквозь облако тумана...» (с. 284).— Ежемесячные лит. и популярно-научные приложения к журналу «Нива» на 1914 год, т. II, № 8 (август), СПб., 1914, с. 616. Дата (4 августа 1911) — по автографу в *АМ* (сообщ. А. А. Морозовым). Печ. по этому изданию.

«Не спрашивай, ты знаешь...» (с. 284).— Печ. по *БП*, № 240, где дано по автографу, с датой «7 августа 1911».

Кузнец (с. 285).— Рабочая газета, М., 1922, 31 декабря (сообщ. Б. С. Мягковым). Первоначальная редакция (?) без загл., с датой «1911», без строфы 4 и с разночт. в ст. 3: «Громкий грунт» — *СС-I*, № 155. Список этого текста — *К-16(Кабл.)*. Печ. по газете.

«Стрекозы быстрыми кругами...» (с. 285).— *БП*, № 242, по авториз. списку, с отброшенной строфой (между строфами 2 и 3):

Как будто хрупких вод томленье
И глянец тусклых вод — мое
До боли острое мгновенье
И неживое бытие.

Печ. по *БП*.

«Тысячеструйный поток...» (с. 286).— Гиперборей, 1912, № 3 (декабрь), с. 10, третьим в цикле со ст-ниями «Я не поклонник радости предвзятой...» и «Когда показывают восемь...». *СС-I*, № 157, с датой «1911». *БП*, № 247, с датой «1912». Печ. по «Гиперборею», датировка по дате первого ст-ния в цикле в *К-16* и по году публикации.

«Когда показывают восемь...» (с. 286).— Гиперборей, 1912, № 3 (декабрь), с. 10, без даты, вторым в цикле со ст-ниями «Я не поклонник радости предвзятой...» и «Тысячеструйный поток...». Список — *К-16 (Кабл.)*. Печ. по ж. «Гиперборей», датировка — как в предыдущем ст-нии.

Шарманка (с. 286).— Рубикон, СПб., 1914. № 3, 14 февраля, с. 10. *БП*, № 243. Автограф без загл., с датой «16 июня 1912» *(АМ)*. Первоначальный вариант строфы 1 *(АМ)*:

Когда шарманщика терпенье
Чудовищно, и сквозь плетень
Мелькает ящик,— наважденье
Осеннюю тревожит сень.

Печ. по *БП*.

«Как Черный ангел на снегу...» (с. 287).— *ВП-III*, с. 14, с посвящением А. Ахматовой, с явно ошибочной датой — «1910» (Мандельштам и Ахматова познакомились весной 1911 г.). В СССР — в кн.: Виленкин В. Воспоминания с комментариями. М., 1982, с. 440; полностью — *Ахматова*, с. 189 (примеч. В. Я. Виленкина). Печ. по *Ахматова*.

Написано не ранее 1913 г.

Посвящение А. Ахматовой — по указанию Н. Я. Мандельштам, но сама Ахматова считала это ст-ние «таинственным» и «не очень удачным». «По-видимому, это результат бесед с В. К. Шилейко, который тогда

нечто подобное говорил обо мне. Но Осип тогда еще «не умел» (его выражение) писать стихи «женщине и о женщине»... Мне эти стихи Мандельштам никогда не читал» (там же, с. 188—189).

Ср. ст-ние Ахматовой «Черный ангел» (вошло в «Белую стаю»).

«Черты лица искажены...» (с. 287).— *ВП-III*, с. 15, с посвящением «Анне Ахматовой» и с датой «1915». В СССР—в кн.: Виленкин В. Воспоминания с комментариями. М., 1982, с. 440. Автограф—в альбоме А. Ахматовой, без посвящения и с двойной датой (по-видимому, датами написания и записи в альбом): «1913—1933» (*ЦГАЛИ*, ф. 13, оп. 1, ед. хр. 175, л. 24). Печ. по *ЦГАЛИ*.

Ср.: «Наброском с натуры было четверостишие «Черты лица искажены». Я была с Мандельштамом на Царскосельском вокзале (10-е годы). Он смотрел, как я говорю по телефону, через стекло кабины. Когда я вышла, он прочел мне эти четыре строки» (*Ахматова*, с. 193). *Гитана*— здесь: танцовщица. Гумилев советовал Ахматовой заняться танцами («Ты такая гибкая») (см.: Ахматова А. Автобиографическая проза.— *ЛО*, 1989, № 5, с. 12).

«От легкой жизни мы сошли с ума...» (с. 288).— Альманах муз, Пг., 1916, с. 111, с датой «1913». *Т*, с. 49, без даты (в авт. экз. *Т* перечеркнуто и приписано: «Ерунда. О. М.»), с разночт. в ст. 2: «а с вечера похмелье» и в ст. 4: «о пьяная чума?» *БП*, № 252. Список—в *К-16(Кабл.)*. Автограф первоначальной редакции, с датой «10 ноября 1913» и с разночт. в строфе 1:

От легкой жизни мы сошли с ума,
От радости безумной поседели,—
Пора, пора остановить качели,
Пока совсем не воцарилась тьма.

Печ. по «Альманаху муз».

Как и в ст-нии А. Ахматовой «Все мы бражники здесь, блудницы...» (январь 1913), описывается атмосфера петербургской художественной богемы (кабаре «Бродячая собака» и др.). Образ чумы соотносит эту атмосферу с ситуацией «Пира во время чумы» Пушкина. В заключительных строках, по свидетельствам В. Злобина и И. Одоевцевой, подразумевается Георгий Иванов. *Мы смерти ждем, как сказочного волка.*— Ср. то же сближение «смерти» и «волка» в обстоятельствах иного времени (в ст-ниях так наз. «волчьего цикла» (см. *НМ-I*, с. 431—433).

Мадригал («Нет, не поднять волшебного фрегата...») (с. 289).— Рудин, Пг., 1916, № 7 (март), с. 6. *БП*, № 253. В *АМ*— авториз. список незавершенной первоначальной редакции, без загл., с датой «1909» (исправленной Мандельштамом на «1913»), с вариантом строфы 1:

Мне гашиша безумного не надо,
И бесполезен музыки наркоз,
Когда ....
....

(далее по журналу, с разночт. в ст. 5: «Она кутить», и ст. 12: «Сухим и черным воздухом земли»). Печ. по ж. «Рудин».

Обращено к Ларисе Михайловне Рейснер (1895—1926)—поэтессе и революционерке, позднее жене Ф. Раскольникова (см. *НМ-I,* с. 101—105). Мандельштам намеревался включить это ст-ние в *К-16(Ав.).*

«Веселая скороговорка...» (с. 289).—Журнал за 7 дней, Пб., 1913, № 21, 27 июня, с. 454, с датой «июнь 1913». *БП,* № 248. Печ. по журналу.

Песенка (с. 290).—Журнал за 7 дней, Пб., 1913, № 22, 4 июля, с. 474. *БП,* № 249. Печ. по журналу.

Летние стансы (с. 290).—Журнал за 7 дней, Пб., 1913, № 35, 3 октября, с. 738, *БП,* № 250. Печ. по журналу.

Американ бар (с. 291).—Аргус, 1913, № 7, с. 78 (в отделе «Улыбки и гримасы», заголовок дан как часть иллюстрации над ст-нием). *БП,* № 251. Печ. по ж. «Аргус».

Кюрассо (померанец)—здесь: соответствующий вид ликера.

Египтянин («Я избежал суровой пени...») (с. 292).—Заветы, 1913, № 5, с. 12. Печ. по журналу.

«Известно, что беседы с Шилейко вдохновили его <Мандельштама.—*П. Н.*> на стихотворение «Египтянин» (*Ахматова,* с. 189). См. вступ. статью.

Египтянин («Я выстроил себе благополучья дом...») (с. 293).—Голос жизни, Пг., 1915, № 25, 17 июня, с. 13, с разночт. в ст. 18: «И кресло крепкое». Новый Сатирикон, Пг., 1916, № 27, 1 июля, с. 8. *БП,* № 263. Список—*К-16(Кабл.),* с разночт. в ст. 9: «Кто может сосчитать [чиновника] сановника доход!» Печ. по «Новому Сатирикону».

По мнению Н. И. Харджиева, написано в первой половине 1914 г. См. вступ. статью.

«Пусть в душной комнате, где клочья серой ваты...» (с. 293).—Гиперборей, 1913, № 8 (октябрь), с. 24, вторым в цикле со ст-ниями «Паденье—неизменный спутник страха...» и «В таверне воровская шайка...». *БП,* № 254. Список в *К-16(Кабл.),* с датой «1913» и разночт. в ст. 5: «тоской объятый». Печ. по автографу в *К-16(Ав.).*

Спорт (с. 294).—Новый Сатирикон, 1914, № 28-29 (17 июля), с. 7, с разночт. в ст. 8: «две приречных школы» и ст. 11: «Он знает мир». *БП,* № 255. Печ. по списку в *К-16 (Кабл.),* с датой «1913—1914».

Футбол (с. 294).—Новый Сатирикон, 1914, № 30 (24 июля), с. 3, с концовкой: «Юдифь глумилась и враги». *БП,* № 256, где дано по беловому автографу с датой «1913» *(АМ).* Первоначальная редакция, общая для этого и следующего ст-ния,—*АИ* (см. Приложения). Печ. по *БП.*

Юдифь—красавица иудейка, освободившая свой народ от ассирийского гнета: проникнув в шатер полководца Олоферна, она усыпила его и отрубила ему голову. Ср. также картину Джорджоне «Юдифь, попирающая ногой отрубленную голову Олоферна» (упоминается в *«ЕМ»*). По свидетельству В. Пяста, образ Юдифи был вызван одной из постоянных посетительниц кабаре «Бродячая собака» (Пяст В. Встречи. М., 1929, с. 255).

Второй футбол (с. 295).— Златоцвет, 1914, № 4, 24 января, с. 6, под загл. «Футбол». *БП*, № 257. Первоначальная редакция, общая для этого и предыдущего ст-ния,— *АИ* (см. Приложения). Печ. по беловому автографу под загл. «Второй футбол» и с датой «1913» — *АА*.

В воспоминаниях В. Пяста «Встречи» это ст-ние названо «Футболом первым» (М., 1929, с. 255). Футбол был одной из любимых игр и в Тенишевском училище, где учился Мандельштам.

Автопортрет (с. 295).— *СС-I*, № 164. *БП*, № 259, где дано по беловому автографу с датой «1914»,— *АА*. Список, с датой «1913» и разночт. в ст. 7: «Чтобы природную неловкость»,— *К-16(Кабл.)*. Печ. по *АА*.

По мнению А. А. Морозова, ст-ние связано с портретом поэта работы А. М. Зельмановой (см.: Молок Ю. А. Ахматова и Мандельштам (К биографии ранних портретов).— Творчество, 1988, № 6, с. 3).

«Как овцы жалкою толпой...» (с. 296).— *СС-I*, № 178, по списку с рукописи с датой «1914». *БП*, № 260. Печ. по авториз. списку в *К-16(Кабл.)*.

Еврипид— древнегреческий поэт-драматург V в. до н. э.; одним из лучших переводчиков его трагедий в России был И. Ф. Анненский.

«Развеселился, наконец...» (с. 296).— *СС-I*, № 177 (впервые *СС-II*, 1-е изд.), без даты. Датировка — предположительная.

Ст-ние, на наш взгляд, перекликается с «Автопортретом» и содержит в себе начатки «римско-католической» темы стихов 1914 г.

«Когда держался Рим в союзе с естеством...» (с. 296).— Петроградское эхо, 1918, № 10, 18 января (разыскано Д. М. Сегалом), приведено в *БП*, примеч. к № 82, как первоначальная редакция ст-ния «Природа — тот же Рим и отразилась в нем...» (на основании совпадения ст. 3—4), с разночт. в ст. 7: «всемирный горожанин» и ст. 8: «всемирный гражданин». В *БП* — по списку в *К-16(Кабл.)*, где, под загл. «Варианты», записано вместе со ст-ниями «Пусть имена цветущих городов...» и «Природа — тот же Рим...» на одном листке, подклеенном к с. 67 *К-16*. Датировка по ст-ниям в *К-16*, с. 66—67. Печ. по газете.

Н. И. Харджиев датирует это ст-ние 1917 г. Критику его решения см.: *Швейцер-81*, с. 238—242. Опубликованное вскоре после роспуска Учредительного собрания, ст-ние противопоставляет это событие эпохе Древнего Рима с его гражданственностью и правом.

Перед войной (с. 297).— Аполлон, 1914, № 6-7 (август — сентябрь), с. 12, под загл. «Перед войной», без даты. *К-16*, с. 65, без загл., с датой «1914». *К-23*, с. 60, под загл. «1913» (по смыслу соответствующим загл. в «Аполлоне»), без даты. *С*, с. 64, под загл. «1913», без даты. *БП*, № 264. Беловой автограф с датой «1914» — *АЛ*. Печ. по «Аполлону».

Единственное ст-ние, вычеркнутое Мандельштамом в Воронеже в обоих авторских экз-рах *С*; на этом основании вынесено в наст. раздел. *Недоносок* — король Италии Виктор Эммануил III (1869—1947), отличавшийся малым ростом.

«Немецкая каска — священный трофей...» (с. 297).— Биржевые ведомости (веч. выпуск), 1914, 5(18) октября. Список —

К-16(Кабл.), с разночт. в ст. 3: «она, как игрушка, легка.». См. также ретроимпровизацию И. Одоевцевой с отсылкой к газете «Копейка» за 1916 г. (*Одоевцева*, с. 270). Печ. по газете.

Шишак—шлем или каска с острым верхом.

Polaci! (с. 298).—Нива, 1914, № 43, 25 октября, с. 32, без загл. Автограф, под загл. «Polacy»,—в архиве П. Е. Щеголева (*ИРЛИ*, ф. 627, оп. 2, ед. хр. 19, л. 3). Список, под загл. «Полякам»—*К-16(Кабл.)*. Печ. по автографу.

Ст-ние, продолжающее линию пушкинского «Клеветникам России», вызвано сообщением о формировании и участии в боевых действиях против русских войск в Галиции польских легионов «Стржелец» («Стрелок») под командованием Ю. Пилсудского (в этом же номере «Нивы» есть сообщение о формировании аналогичных польских легионов и с русской стороны).

Реймс и Кельн (с. 298).—Петроградские вечера, 1915, кн. 4, с. 13—16. Аполлон, 1915, № 4-5, с. 85 (в статье Г. Иванова «Военные стихи»). *БП*, № 265. Автограф, под загл. «Реймский собор», без даты,—в архиве Ф. К. Сологуба (*ИРЛИ*, ф. 289, оп. 7, ед. хр. 28, л. 1). Авториз. список, с датой «сентябрь 1914» и с разночт. в ст. 2: «Хоть и не конченный, но все-таки прекрасный»,—*К-16(Кабл.)*. Автограф первоначальной редакции—*АЛ*, с пометой М. Л. Лозинского: «О. Э. Мандельштам, недовольный первой редакцией стихотворения, свел его к восьмистишию»—см. Приложения. Печ. по *ИРЛИ*.

В конце декабря 1914 г. Мандельштам читал это ст-ние на квартире у Ф. Сологуба (Беренштам Вл. Война и поэты. Письмо из Петрограда.—Русские ведомости, 1915, 1 января). Также с успехом он читал его 25 января 1915 г. на литературном вечере «Писатели—воинам», устроенном в пользу Лазарета деятелей искусств (Биржевые ведомости, 1915, 26 января). Готический собор XIII в. г. Реймса пострадал от немецких бомбардировок в сентябре 1914 г. Ср. у В. И. Немировича-Данченко: «Отныне и вовеки проклятие и презрение тебе, некогда великая страна, павшая сейчас до последних степеней варварства, подлости и злобы. Мы не пойдем за тобою. Мы пощадим твой Кельнский собор, чтобы каждый вечер и утро от солнца выступал румянец стыда на его башнях, на его каменных стенах—от призраков таких же, как и он, великих, но уничтоженных соборов Реймса и Лувена» (Нива, 1914, № 40, 4 октября). Ср. ст-ние «Реймс—Лаон».

«В белом раю лежит богатырь...» (с. 298).—Морозов А. А. Мандельштам в записях дневника С. П. Каблукова.—*ВРСХД*, 1979, т. 129, с. 146—147 (*Каблуков*, 25 декабря 1914 г.). В СССР—Молодой коммунар, Воронеж, 1988, 20 октября (в статье Ф. Лурье «Из архива П. Е. Щеголева»). Беловой автограф—*ГПБ*, ф. 627, оп. 2, ед. хр. 19, л. 1, с датой «декабрь 1914». Печ. по *ГПБ*.

Возможно, к этому ст-нию относится записка Мандельштама П. Е. Щеголеву: «Многоуважаемый Павел Елисеевич! Я слышал о Вашем желании иметь для «Современника» произведения акмеистов. Будьте добры ознакомиться с содержанием моего стихотворения, я хотел бы сегодня же узнать Ваше решение. Готов к услугам. Мандель-

штам» (*ИМЛИ*, ф. 28, оп. 3, ед. хр. 279). По мнению А. А. Морозова, эти стихи «знаменуют резкий разрыв с римско-католической идеей... и переход на русскую историческую почву». См. вступ. статью.

Аббат (с. 299).— Восстановлено по *БП*, № 63 (примеч.), где дано как допечатная редакция (по авториз. списку — *AM*). Строфа 1 совпадает с заключительной строфой печатной редакции, однако различия между обеими редакциями столь разительны, что мы сочли возможным поместить этот вариант не в Приложениях, а в наст. разделе. См. вступ. статью.

«У моря ропот старческой кифары...» (с. 300).— Борьба, Киев, 1919, кн. 1, с. 1 (сообщ. Е. Б. Белодубровским). Список, с датой «октябрь 1915» и разночт. в ст. 1: «Негодованье старческой кифары» и ст. 6: «Бараньих стад»,— *К-16(Кабл.).* Печ. по ж. «Борьба», дата — по списку.

«Вот дароносица, как солнце золотое...» (с. 300).— *Т*, с. 64, без даты (в авт. экз. *Т* перечеркнуто и записано: «Ерунда. О. М.»). *БП*, № 267. В *К-16(Кабл.)*— авториз. список, под загл.: «Евхаристия», с датой «1915» и разночт. в ст. 7—8:

Вне времени и мы, свободные, вздохнули
На луговине той, где время не бежит

и ст. 10: «ликуют и поют»; в ст. 2 и 3 над словами «повисла» и «должен» записаны варианты «явилась» и «может»; в ст. 6 отброшенный вариант: «Струится в храмине». Печ. по *Т*, дата по *Каблуков*, 24 июня 1915. См. вступ. статью.

Евхаристия— таинство причастия.

«Я потеряла нежную камею...» (с. 301).— Камена. Харьков — М.—Пб., 1918, кн. 1, с. 9, с датой «1916». *Т*, с. 18, с датой «1916» (в авт. экз. *Т* перечеркнуто и записано: «Ерунда. О. М.»). *К-23*, с. 59. *БП*, № 272. Авториз. список, с пометой «1916. Осень» и разночт. в ст. 3: «римлянку прекрасную»,— *К-16 (Кабл.).* Печ. по *Т*.

По сообщ. С. Н. Андрониковой-Гальперн, обращено к ее кузине Тинатине Ильиничне Танеевой (урожденной Джорджадзе): «Мандельштам был у меня, когда пришла, почти в слезах, Тинатина, только что потерявшая камею, мой ей подарок, привезенный из Рима» (*СС-I*, с. 432). Когда в Воронеже Н. Е. Штемпель прочитала это ст-ние наизусть, Мандельштам вспылил и сказал: «Вы прочитали самое плохое мое стихотворение!» (см.: *Штемпель*, с. 213).

Мадригал («Дочь Андроника Комнена...») (с. 301).— *БП*, примеч. к № 75—76, без посвящения. Печ. по списку в *К-16 (Кабл.)* с датой «1916».

Обращено к С. Н. Андрониковой-Гальперн (см. коммент. к ст-нию «Соломинка»). *Андроник Комнин*— византийский император (1182—1185); его дети, Алексей и Давид, после гибели отца прибыли в Грузию к царице Тамар, своей родственнице. Алексей впоследствии стал первым императором Трапезундской империи.

«О, этот воздух, смутой пьяный...» (с. 302).— *Т*, с. 44—45, без даты. В авт. экз-ре *Т* перечеркнуто и помечено: «Ерунда!» *(ГЛМ). БП*, № 271. Автограф, с датой «1916» и разночт. в ст. 7: «Спит—и разбойничать привык»,—в фонде газ. «Воля народа» (см.: Нева, 1990, № 3, с. 206—207, публ. Н. Чесноковой). В *К-16 (Кабл.)*—авториз. список, с пометой: «Апр. 1916. Москва» и с другой редакцией строфы 2:

Без голоса Иван Великий—
Колоколов дремучий лес
Спит, и разбойник безъязыкий
В стропилах каменных исчез.

Черн. автограф другой редакции (приведен в примеч. к *БП*, № 271)—см. Приложения. Печ. по *Т*, дата—по *К-16 (Кабл.)*.

Примыкает к циклу ст-ний, обращенных к М. Цветаевой.

«Когда октябрьский нам готовил временщик...» (с. 302).—Воля народа, Пг., 1917, 15 ноября. В СССР—Московский комсомолец, 1990, 10 мая, с. 4 (публ. П. Нерлера).

Эти стихи, являющиеся непосредственной реакцией на Октябрьскую революцию 1917 г., Мандельштам читал наряду с другими стихами и прозой на одном из вечеров в мае 1918 г. Спрошенный И. Эренбургом, не переменил ли он с тех пор свои убеждения, Мандельштам ответил «нет», а на вопрос, как же в таком случае быть с «временщиками», поэт ответил с не оцененной собеседником иронией: «Это... но это—стилистическая ошибка» (газ. «Возрождение», М., 1918, № 3, 5 июня (23 мая), с. 2). Ст-ние обращено, по-видимому, к А. Ф. Керенскому. Н. Я. Мандельштам (*НМ-1*, с. 161) связывает его также с трагической смертью знакомого Мандельштама с юных лет Ф. Ф. Линде—прототипа комиссара Гинце в «Докторе Живаго» Б. Пастернака (см.: Краснов П. Н. Бунт 3-й пехотной дивизии.—Лит. Россия, 1989, 26 мая, с. 16—17). См. также вступ. статью.— *Керенского распять!*—Ср. реплики «народа» и «мужика на амвоне» в «Борисе Годунове»: «Вязать Борисова щенка!.. Вязать! Топить!» 4 ноября в той же газете было помещено постановление ЦК партии эсеров по поводу приказа Военно-революционного комитета РКП(б) об аресте и предании суду А. Ф. Керенского. *И сердце биться перестало.*—Возможно, написано в предположении, что А. Ф. Керенского уже нет в живых.

«Кто знает, может быть, не хватит мне свечи...» (с. 303).—Страна, Пг., 1918, № 21, 21 апреля, с. 2. Автограф (на одном листе со ст-нием «Пусть имена цветущих городов...»)—*ЦГАЛИ*, ф. 1893, оп. 1, ед. хр. 7, л. 4 (поступил из фонда В. Полонского), с разночт. в ст. 5: «Как гордый патриарх» и ст. 8: «постыдного собора» (текст *ЦГАЛИ*—см.: Неделя, 1987, 14—20 декабря, с. 15, публ. П. Нерлера). Печ. по газете.

Написано, предположительно, в ноябре 1917 г. *Мак*—здесь: символ наркотического, усыпляющего вещества. *Митра*—головной убор высшего духовенства. *Тихон* (до монашества—Белавин В. И., 1865—1925)—5 (18) ноября 1917 г. на Поместном соборе Всероссийской церкви избран

первым патриархом русской православной церкви после восстановления патриаршества в России. 6 января 1918 г. Тихон выступил с анафемой против узурпаторов власти, позднее протестовал против отделения церкви от государства и против изъятия церковных ценностей.

«Все чуждо нам в столице непотребной...» (с. 303).— *ВРСХД*, 1970, т. 98, вып. 4, с. 67, с датой «1916 (1917)». *СС-II*, № 457. В СССР — Московский комсомолец. 1990, 10 мая, с. 4 (публ. П. Нерлера). Печ. по *ВРСХД* (впервые в СССР).

Текст, по сообщ. А. А. Морозова, сохранился у А. Г. Габричевского. Ст-ние, очевидно, подразумевает Москву уже в качестве столицы государства. На этом основании ст-ние датируется маем — июнем 1918 г.— временем, когда Мандельштам, вслед за Наркомпросом, где он тогда служил, переехал в Москву (*ВЛ*, 1989, № 9, с. 275—279). *Ее базаров бабья ширина*— «процитировано» в очерке «Сухаревка» (II, 306).

Телефон (с. 303).— Первопубликация в периодике не разыскана. Впервые — в очерке Ахматовой «Мандельштам» (*ВП-IV*, с. 32—33), в СССР — *ДН-87*, с. 134, где дано по автографу из фонда Н. В. Рыковского, с пометой: «Москва, июнь 1918»,— *ГБЛ*, ф. 421, к. 2, ед. хр. 9.

Это ст-ние, перекликающееся с другими ст-ниями 1918 г., посвященными ей, Ахматова называла «таинственным». Ср. у В. Ф. Ходасевича в «Некрополе» рассказ о том, как в 1911 г. его спас от самоубийства телефонный звонок к Муни (С. В. Киссину). *Валгалла.*— См. коммент. к ст-нию «Когда на площадях и в тишине келейной...». *Самоубийство решено.*— Ср. ст-ние А. Ахматовой «Когда в тоске самоубийства...», в первоначальной редакции опубликованное в газ. «Воля народа» (1918, 12 апреля, № 1). *На дне морском цветет: прости!*— Ср. ст. 12 в ст-нии «Что поют часы-кузнечик...».

«Где ночь бросает якоря...» (с. 305).— *ВРСХД*, 1970, т. 98, вып. 4, с. 68, с пометой: «1920. Коктебель». В СССР — на программе вечера памяти О. Э. Мандельштама, состоявшегося 8 декабря 1988 г. в Институте химической физики им. Н. Н. Семенова АН СССР (сообщ. А. Т. Никитаевым). Текст был утерян поэтом и сохранился вписанным в экз. *К-23*, принадлежавший, скорее всего, ростовскому юристу Л. Э. Ландсбергу, знакомому Мандельштаму еще по Феодосии и Коктебелю (Л. Ландсберг и Мандельштам виделись в Харькове в феврале 1922 г.— см. коммент. к ст-нию «Кому зима — арак и пунш голубоглазый...»). Находку этого ст-ния Н. Я. Мандельштам называла чудом (см.: *НМ-II*, с. 131, 540, и Григорян Л. Неизвестное стихотворение О. Мандельштама.— Комсомолец, Ростов-на-Дону, 1989, 28 января, с. 6). По мнению А. А. Морозова (устное сообщение), ст-ние датируется 1917 г.

Повапленные — покрашенные снаружи.

Актер и рабочий (с. 305).— Художественная мысль, Харьков, 1922, 18—25 февраля, с. 10, под загл. «Дом Актера». Театральная Одесса, 1922, № 1, 28 марта, с. 1, без загл. Трилистник. Альм. I. М., 1922, с. 60—61, под загл. «Актер и рабочий». *БП*, № 273. Печ. по «Трилистнику».

Написано летом 1920 г. в связи с открытием аристократического

кафе-кабаре в Феодосии (Миндлин Э. Необыкновенные собеседники. М., 1979, с. 97—98).

«А небо будущим беременно...» (с. 306).— Сб. «Лёт. Авиостихи». М., 1923, с. 24—26, без загл., как часть цикла из 6 ст-ний, включая «Ветер нам утешенье принес...» и «Как тельце маленькое крылышком...». Ленинград, 1924, № 5, 12 марта, с. 15—16, под загл. «А небо будущим беременно...»,— см. Приложения. *НМ*, 1929, № 4, с. 41—42, под загл. «А небо будущим беременно...» и с датой «1923». *БП*, № 275, без загл. Список первоначальной редакции, без загл. и без даты, с обособлением как отдельных ст-ний «Война. Опять разноголосица...» (с зачеркнутым вариантом ст. 13—14: «[И он теперь выводит набело // И черные кремня осечки]» и «Ветер нам утешенье принес...», далее по тексту «Ленинграда» под № 1, 2, 3, 4),— *ИМЛИ*, ф. 225, оп. 1, ед. хр. 1, л. 35—38. Списки первоначальной и окончательной редакций (с первоначальным вариантом ст. 1: «Война. Опять разноголосица...»)— *АМ*. Список Н. Я. Мандельштам ст. 21—56— в архиве ГИХЛа (*ЦГАЛИ*, ф. 613, оп. 2, ед. хр. 164); текст перечеркнут (на обороте л. 2— помета редактора В. <В. Казина?— *П. Н.*>: «Прошу срочно переписать») и подклеен к вырывке ст-ния «1 января 1924» из *С*, также перечеркнутой,— по-видимому, следы размышлений автора над проблемой включения этого ст-ния в Собр. соч. 1932—1933 гг. Печ. по *НМ* с исправлением опечатки в ст. 27: «облака» (по «Лёту»).

Н. И. Харджиев отмечает близость к «социально-утопической» поэме В. Хлебникова «Ладомир» (1920). Ср. статью «Пшеница человеческая». *Камчатная*— узорчатая, с разводами.

Христиан Клейст (с. 307).— *БП*, примеч. к № 169, без эпиграфа. Беловой список рукой А. В. Звенигородского, под загл. «Христиан Клейст» и с пометой: «8 августа 1932 г., Москва» и разночт. в ст. 8—10 *(АМ)*:

> И перед битвой радовались вместе.
>
> Война, как плющ в дубраве шоколадной,
> Пока еще не увидала Рейна.

Печ. по черн. автографу *(АМ)* с восстановлением эпиграфа; отброшены следующие варианты ст. 8: 1) «На мареве протравленных поместий» и 2) «И перед битвой радовались вместе» и ст. 9: 1) «Война— как плющ в дубраве шоколадной» и 2) «Он гарцевал <?> в беседке виноградной».

Этот сонет, при всей его самостоятельности, может рассматриваться и как первоначальная редакция ст-ния «К немецкой речи» (см. соотв. коммент.). На списке— поздняя помета Н. Я. Мандельштам: «Из архива А. В. Звенигородского. Передано— 27 июня 1957 г. О. Э. Мандельштам продиктовал эти стихи А. В. Звенигородскому— и сказал, что этот вариант он дарит ему и больше нигде стихи записаны не будут».

«Мне кажется, мы говорить должны...» (с. 308).— *СС-II*, № 457, без даты, с ошибкой в ст. 2: «О будущем советския страны». *ВС*— без нумерации, фиксирующей принадлежность к основному корпусу, с датой «апрель 1935». В *ТС*— зачеркнуто. Первоначальный вариант

ст. 4 — «Войны и мира гнутая подкова» (заменено под влиянием катастрофы 18 мая 1935 г. с агитационным самолетом «Максим Горький» — см.: *Рудаков,* 21.05.1935). В СССР — *ДН-87,* с. 137. Печ. по *ВС,* дата — с учетом указ. правки.

Воздушно-океанская подкова — здесь: Россия. Ср. «воздушный океан» в «Демоне» Лермонтова. Правку ст. 4 Рудаков находил «безлепицей, оттеснившей классику», сам Мандельштам — «борьбой с акмеизмом».

«Мир начинался страшен и велик...» (с. 308).—RL, 1977, v. V, № 3, p. 278, с датой «апрель 1935» (по *ТС,* публ. Б. Янгфельдта), с разночт. в ст. 6—7: «Привет тебе, скрепитель дальнозоркий // Трудящихся. Твой угольный, твой горький — ». Список Н. Я. Мандельштам, с правкой Мандельштама (в ст. 5 было: «Как пепел, замурованный в стене») и датой «апрель — май 1935»,— *АМ* (аналогичный текст — в памяти антрополога Я. Я. Рогинского, записано С. М. Марголиной). В *ТС*— зачеркнуто. В СССР — *ДН-87,* с. 137 (по *ТС*). Печ. по *АМ.*

Домашнее название — «Большевик». Я. Я. Рогинский вспоминал, что Мандельштаму здесь не нравилась похожесть на Пушкина: «Ужо тебе, строитель чудотворный...» Он спросил Рогинского, было бы тому приятно, если бы ему сказали, что у него «мозг каменноугольный» (сообщ. С. М. Марголиной). О связи рифмы «горький — дальнозоркий» с М. Горьким см.: *Рудаков,* 18.06.1936.

«Да, я лежу в земле, губами шевеля...» (с. 308).— *ВП-II,* с. 37, как вторая часть ст-ния «Я должен жить, хотя я дважды умер...». В СССР — *ДП,* 1962, с. 286, с разночт. в ст. 4: «чернеет». *БП,* № 186 (по беловому автографу, с разбивкой на двустишия и разночт. в ст. 2: «Но то»). Беловой автограф первоначальной редакции, с датой «май 1935» *(АМ),*— см. Приложения. В примеч. к *БП* упомянут также авториз. список промежуточной редакции (рукой С. Б. Рудакова), с датой «18 мая 1935 г.». Печ. по *ВС.*

В *ТС* и *ВС* имеет порядковые номера, что свидетельствует о первоначальном намерении включить это ст-ние в основной корпус «Воронежских стихов». Это ст-ние — центральное в оставшемся незавершенным «одическом» цикле конца весны 1935 г. Ср. отзыв Мандельштама об этом ст-нии: «Сказал «Я лежу», сказал «в земле» — развивай тему «лежу», «земля». Только в этом поэзия. Сказал реальное, перекрой более реальным, его — реальнейшим, потом сверхреальным. Каждый зародыш должен обрастать своим словарем, обзаводиться своим запасом, идя внутрь, перекрывая одно движенье другим. Будь рифма, ритм... все недостаточно, если нет этого» (*Рудаков,* 8.06.1935).

* Железо (с. 309).— *ВРСХД,* 1976, т. 118, вып. II, с. 228. В СССР — *Ю-87,* с. 75. Печ. по копии И. М. Семенко.

Об этом ст-нии см. в письмах мая 1935 г. Мандельштама к жене: «Хорошо ли «железясь»?» и «К подборке прибавь «Стансы» плюс «Железо» (*СС-III,* письма № 55 и 57).

«Ты должен мной повелевать...» (с. 309).— *СС-IV,* № 515, по сообщ. Ю. П. Иваска, с разночт. в ст. 4: «Я был». В СССР — *Ю-87,* с. 75. Печ. по альм. «Часть речи» (Нью-Йорк, 1982, вып. 2-3, с. 3), где

дано по списку С. Б. Рудакова из собр. Ф. Вигдоровой, дата — предположительная.

* «Тянули жилы, жили-были...» (с. 309).— *ВРСХД*, 1976, т. 118, вып. II, с. 228, с разночт. в ст. 5: «темных отношений». В СССР — *Ю-87*, с. 75. Печ. по копии И. М. Семенко, предлагавшей отнести это в раздел шуточных ст-ний.

По-видимому, это ст-ние связано со ст-нием «За Паганини длиннопалым...», работа над которым началась в апреле.

* «Мир должно в черном теле брать...» (с. 309).— Печ. впервые по *ВС*, где ст-ние зачеркнуто.

* «Я в сердце века — путь неясен...» (с. 310). — *СС-I*, № 332, с датой «зима 1936». В СССР — *Д-87*, с. 113, с датой «14 декабря 1936 г.». По-видимому, было написано немногим раньше, т. к. приложено к письму Н. Я. Мандельштам К. И. Чуковскому от 12 декабря 1936 г. *(АЧ)*: в тексте разночт. в ст. 2: «удаляет» и ст. 4: «нищенская цвель». Печ. по списку, с двумя насмешливыми приписками автора: вверху — «это для дурней» и внизу — «Гурий Верховский»,— *АМ*.

«О. М. не мог, не посмеявшись над собой, назвать и посох, и памятник. Он все же показал мне, что для него это «нищенская цвель», и больше ничего. Второй «памятник» и того жесточе: про мастера пушечного цеха» (*НМ-III*, с. 221).

* «А мастер пушечного цеха...» (с. 310).— *СС-I*, № 333, с датой «1936». В СССР — *Д-87*, с. 113, с датой «декабрь 1936». Печ. по списку Н. Я. Мандельштам *(АМ)*.

Н. Я. Мандельштам писала, что это второй, не сентиментальный памятник. «В нем предчувствие судьбы... и изготовление памятника предоставляется «мастеру пушечного цеха» и портному. Это пошло от фигуры на памятниках с протянутой рукой и невероятно поднявшимся вслед за рукой пиджаком. О. М., когда-то следивший за своей одеждой, страдал от диких «москвошвейных» пиджаков с неумело вшитыми рукавами и смеялся, обнаружив на памятнике этот самый покрой» (*НМ-III*, с. 224). Ср. в ст-нии Н. Гумилева «Рабочий»: «...Все он занят отливаньем пули, // Что меня с землею разлучит».

* «Как женственное серебро горит...» (с. 310).— *СС-I*, № 353, с датой «1937», в СССР — *ЛГ-81* — с разночт. в ст. 4: «стихотворца». Печ. по копии И. М. Семенко с датой «1936(?)», датируется началом 1937 г. по преобладающему размеру ст-ний этого периода.

По-видимому, осколок ст-ния «Не сравнивай: живущий несравним...» («В его вариантах было и серебро, и плуг» — *НМ-III*, с. 237).

<Ода> (с. 311).— *СС-I*, № 341,— только ст. 77—80 («Уходят вдаль людских голов бугры...») как отдельное ст-ние. Slavic Review, v. 34, 1975, № 4, р. 683—693 (неполный текст, публикатор не указан). Впервые полностью — Scanda-Slavica, v. 22. 1975, р. 35—41, с пропуском ст. 56 (публ. Д. Янгфельдта). В СССР — ст. 77—80 как отдельное ст-ние — *ЛГ-81*, полностью — Советский цирк, 1989, 12—18 октября, № 41, с. 15, под загл. «Ода Сталину». Авториз. список другой редакции заключительной строфы, с датой «18 января — 3 февраля 1937» *(АМ)*,— Приложения, <I>. Далее этот текст был зачеркнут, строфы 1 и 2

переменены местами и внизу приписана трудночитаемая строфа — см. <II>. Список первоначальной редакции (соответствует строфам 3—7), без загл. и с датой «1937»,— Приложения, <III>. Автограф ст. 77—80 («*Уходят вдаль людских голов бугры...*») — на одном листе с черновиком ст-ния «Не сравнивай, живущий несравним...» (*НМ-III*, с. 238). Печ. по *СС-IV*, № 517, где дано по списку из *AM*.

«Ода» — домашнее название. Мотивации — желанию обезопасить себя — и обстоятельствам ее написания Н. Я. Мандельштам посвятила целую главу: «Он не сумел задушить собственные стихи, и они, вырвавшись, победили рогатую нечисть. Попытка насилия над собой упорно не удавалась. Искусственно задуманное стихотворение, в которое О. М. решил вложить весь бушующий в нем материал, стало маткой целого цикла противоположно направленных, враждебных ему стихов» (*НМ-I*, с. 217, 220). Окончательный вариант был завершен в марте 1937 г. и отослан в несколько московских редакций. Позднее Мандельштам просил уничтожить текст «Оды».

Существует упрощенно-неправомерный взгляд на «Оду» как на выражение слабости духа поэта и потери им «поэтической правоты» (см., напр.: Сарнов Б. Заложник вечности (Случай Мандельштама).— Огонек, 1988, № 47, с. 26—30). По мнению А. С. Кушнера, Мандельштам начал эти стихи «из страха и желания спастись, но постепенно увлекся, что было не так трудно, как нам сейчас кажется. Человек тридцатых годов не был убежден в своей человеческой правоте, чувство правоты у него сочеталось с чувством вины, а кроме того — гипноз власти, особенно — сталинский гипноз. Эти стихи — лишь наиболее полное, но не единственное свидетельство колебаний и сомнений Мандельштама» (из письма к П. М. Нерлеру от 9 августа 1980 г.). Действительно, «Оде» свойственна смысловая двойственность, подчас двусмысленность (недаром ни один журнал «Оду» не напечатал). Сам по себе патетический ритм (Г. Фрейдин относит размер «Оды» к жанру «пиндарической оды»), в сочетании с «высоким штилем» большинства фраз, содержит скрытое пародийное начало. Многозначительно и сослагательное наклонение в первой же строке, проводящее черту между реальным автором и «лирическим героем» «Оды». См. вступ. статью, *НМ-I*, с. 193—197, и статью Гр. Фрейдина «Мандельштамовская «Ода Сталину»: история и миф» (The Russian Review, v. 41. 1982, October, № 4, p. 400—424). *Уголь.*— Ср. «угль, пылающий огнем» в «Пророке» Пушкина. *Мира ось.*— Ср. стержневой образ «оси земной» в других ст-ниях этого периода. *Я б воздух расчертил на хитрые углы* — возможно, намек на ремесленный прием рисующих с образца портретистов, расчерчивающих образец и свою копию на квадраты (ср. «И не рисую я, и не пою» — реверсивное высказывание Мандельштама в ст-нии «Вооруженный зреньем узких ос...»). *Как я, рисуя, плачу.*— Ср. ст-ние «Где связанный и пригвожденный стон...». «Плакал, потому что задание было невыполнимым» (примеч. Н. Я. Мандельштам). *Я б несколько гремучих линий взял.*— Ср. ст-ние «За гремучую доблесть грядущих веков...». *Вдруг узнаешь отца.*— «Задохнешься от такого папаши» (примеч. Н. Я. Мандельштам). *Народ-Гомер* — возможно, парафраз горьковской характери-

стики Сулеймана Стальского, данной ему на I съезде писателей в 1934 г.: «Гомер XX века» (С. Стальский был известен своими одическими поэмами о Сталине, Ежове и др., см. также эпиграмму на него — I, 359). Ст. 37—38.— Ср. слова Мандельштама: «Почему, когда я думаю о нем <Сталине>, передо мной все головы — бугры голов? Что он делает с этими головами?» (*НМ*-I, с. 197). *Сжимая уголек.*— Ср. «угольный мозг» в ст-нии «Мир начинался страшен и велик...» (или «каменноугольный» в другой редакции). *На чудной площади.*— Ср. ст-ние «Да, я лежу в земле, губами шевеля...». *Глазами Сталина раздвинута гора.*— Ср. ст-ние «Внутри горы бездействует кумир...». *Шестиклятвенный простор.*— Имеются в виду шесть «клятв» Сталина в его речи, произнесенной над гробом Ленина 26 января 1924 г.: «Мы клянемся, товарищ Ленин, что мы с честью выполним этот твой завет» и т. д. Ср. также «клятву» в ст-нии «Если б меня наши враги взяли...». *Для сильных губ чтеца.*— По предположению И. М. Семенко, имеется в виду В. Яхонтов: «Не было ли замысла, чтоб эта «Ода» вошла в репертуар Яхонтова и спасла О. М.?»

* Чарли Чаплин (с. 313).— *СС-I,* № 386, с пометой: «1937. Москва» и разночт. в ст. 50: «В дорожную дорогу». Сокращенная редакция (без ст. 15—18 и 37—50) — *ВТ,* с. 130, без даты (по поздней записи Н. Я. Мандельштам в *НК*). В СССР — брош. «Музей Кино. Апрель 1989», с. 40—41. Печ. по копии И. М. Семенко со списка в *АМ,* с внесенным нами исправлением в ст. 50 (было: «В дорогую дорогу»).

По мнению И. М. Семенко, текст, возможно, испорчен: рифмы не на своих местах, возможны пропуски рифм. Написано в Москве, по-видимому, вскоре после возвращения из воронежской ссылки (т. е. во второй половине мая или в июне 1937 г.). В кинематографе Ч. Чаплин — «самая сильная и стойкая привязанность поэта» (Зоркая Н. «...Страшное, правдивое и мстительное искусство».— Искусство кино, 1988, № 4, с. 84). Ср. ст-ние «Я молю, как жалости и милости...». Сквозной в творчестве Чаплина образ «дороги», «шоссе большого», ведущего «к чужим, к чужим»,— прямая цитата финала картины «Новые времена». *Ролики надень*— эпизоды из фильмов Ч. Чаплина «Скетинг-ринг» и «Новые времена», бывших в советском прокате в 1920-х годах.

«С примесью ворона голуби...» (с. 314).— *RL,* 1977, v. V, № 3, p. 279 (публ. Б. Янгфельдта). В СССР — Подъем, Воронеж, 1988, № 8, с. 117—118 (публ. Э. Г. Герштейн). Список рукой Е. Е. Поповой, с датой «1937» и с разночт. в ст. 15: «тепло неслучайное», ст. 20: «ноготок холодающий» и ст. 21: «судьбу свою знаючи»,— в архиве В. Яхонтова (*ЦГАЛИ,* ф. 2440, оп. 1, ед. хр. 668, л. 2). Печ. по второму списку, с пометой: «Сцилла и Харибда» против ст. 14,— в письме Е. Поповой В. Яхонтову (написано между 6 и 9 июня 1937 г.): «Осип Эмильевич, если не ошибаюсь, вздумал «открыть» меня... В ссылке он помолодел лет на двадцать, выглядит хулиганистым мальчишкой и написал мне стихи, которые прячет от Надежды Яковлевны(!!)... Стихи эти явились в результате нашей прогулки в машине по городу... Мандельштамы

предлагают сдать свою квартиру Союзу и взамен просить общую дачу, вместе жить» (там же, ед. хр. 158, л. 9—10).

Обращено к Еликониде Ефимовне (Лиле) Поповой (1903—1964)—режиссеру и жене В. Яхонтова. Н. Я. Мандельштам называла ее «сталинисткой умильного типа» (*НМ-I*, с. 217, 237—238). В. Швейцер пишет об этом отзыве Н. Я. Мандельштам, что «это ирония с дистанции десятилетий... Лиля не притворялась ни перед другими, ни перед собой; в ее вере была слепота, но не было приспособленческого цинизма...» (*Швейцер-89*, с. 78).

«Пароходик с петухами...» (с. 315).— *Герштейн*, с. 195, с разночт. в ст. 9: «И паяльник звуков» и ст. 15: «Не изволил бы». В СССР—*ДН-87*, с. 138. Печ. по списку С. Б. Рудакова, с пометой: «3 июля 37. Савелово»,— *ИРЛИ*, ф. 803, оп. 1, ед. хр. 29, л. 1. В списке отмечены варианты—в ст. 9: «И полуторное море», ст. 10: «К небу припаяв» и ст. 12: «В силу, в славу, в явь».

Первое по времени из дошедших до нас ст-ний, написанных в Савелове, куда Мандельштамы, во избежание нарушения паспортного режима, переселились в середине июня 1937 г. Там их навестила Н. Е. Штемпель: «Осип Эмильевич рассказывал мне, как они жили эти два месяца после отъезда из Воронежа, прочитал все новые стихи. Мне кажется, их было десять или одиннадцать... Насколько я помню, это были небольшие (по количеству строк) стихи, лирические, любовные—и, конечно, прекрасные. Но одно из них резко отличалось от остальных. В нем шла речь о смертной казни, которую Осип Эмильевич не принимал и не оправдывал ни при каких обстоятельствах... Стихи пропали при последнем обыске и аресте... Списков ни у кого не было» (*Штемпель*, с. 207—208). По сообщению В. А. Швейцер, Н. Я. Мандельштам вспоминала еще об одном ст-нии—«Черкешенка», возможно связанном с рассказом Е. Е. Поповой о том, как однажды горцы (она родом с Северного Кавказа) пытались купить ее у деда. См. также: *Герштейн*, с. 194.

Стансы («Необходимо сердцу биться...») (с. 316).— *Швейцер-89*, с. 78—80. Список рукой Е. Е. Поповой—в одном из ее писем: О. Е. Поповой (сестре)—*ЦГАЛИ*, ф. 2440, оп. 1, ед. хр. 61, л. 154—155. Печ. по *Швейцер-89*.

Обращено к Е. Е. Поповой. Возможно, было «заказано» ею для новой композиции В. Яхонтова и Е. Поповой, посвященной Сталину (см.: *Швейцер-89*, с. 80—81). В этом ст-нии, пишет В. А. Швейцер, «борется желание быть «как все», принять Лилину правду—и невозможность этого» (там же). *Вот с приговором полоса*—Сообщения об арестах, судах и приговорах не были редкостью, но скорее всего имеется в виду сообщение в «Правде» от 13 июня о расстреле М. Н. Тухачевского, А. И. Корка, И. Э. Якира, И. П. Уборевича и др. военачальников. *Футбол—для молодого баска*—серия матчей московских футбольных клубов со сборной Басконии во 2-й половине июня 1937 г. (см.: Старостин А. П. Большой футбол. М., 1964, с. 169—178). *Новые плоды*—«Новые плоды»—название задуманной В. Яхонтовым композиции («о Мичурине и социализме», по выраже-

нию Е. Е. Поповой), в которую он предполагал включить отрывок из «Юности Гете» и стихи Мандельштама (возможно, «Оду» или «Стансы»).

«На откосы, Волга, хлынь...» (с. 315).— *ВЛ*, 1980, № 12, с. 243 (публ. Э. Г. Герштейн). Часть речи. Альм. 2-3. Нью-Йорк, 1982, с. 4—5, с посвящ. Е. Е. Поповой, датой «июль 1937, Савелово» и разночт. в ст. 2: «теснины новые»,—по списку С. Б. Рудакова из собр. Ф. Вигдоровой. *ДН-87*, с. 139, с разночт., вызванным неточным прочтением источника,—в ст. 2: «теснины новые», ст. 17: «Берега стоят неравные» и ст. 19: «Ястреба тяжелонравные». Печ. по списку С. Б. Рудакова с пометой: «Савелово, 4 июля 37»—*ИРЛИ*, ф. 803, оп. 1, ед. хр. 29, л. 2—3.

Обращено к Е. Е. Поповой. Написано незадолго до открытия (15 июля 1937 г.) канала Москва—Волга (с 1947 г.—им. Москвы), строившегося заключенными. Мандельштам, несомненно, видел завершение работ, по дороге из Савелова в Москву и обратно. Э. Г. Герштейн указывает на прямую связь «ритмико-синтаксических ходов и образного строя» этого ст-ния с русской фольклорной традицией (*ВЛ*, 1980, № 12, с. 243); не лишено убедительности также предположение В. С. Непомнящего, что отсутствие рифмы в ст. 18 вызвано ошибкой либо педантизмом С. Б. Рудакова и верным вариантом является: «И летают по верхи, по верхи» *Алексею, что ль, Михалычу.*— Алексей Михайлович (1629—1676)—второй русский царь из династии Романовых. *Берега серо-зеленые*—возможно, вид работающих на канале заключенных.

Стихи для детей

Когда в 1908 г. Мандельштам писал: «Только детские книги читать, // Только детские думы лелеять...»—он не подозревал, что и сам обратится к такому специфическому жанру, как поэзия для детей. Если не считать ст-ния «Приглашение на луну», написанного в 1914 г. и имеющего много общего с поэзией для детей, то первые пробы Мандельштама в этом жанре появляются в 1924 г., включая сюда переводы из Р. Л. Стивенсона—«Заморские дети» (Воробей, 1924, № 5, с. 27) и «Одеяльная страна» (Новый Робинзон, 1924, № 12, с. 17).

В 1925—1926 гг. Мандельштам выпустил четыре книги для детей—«Примус», «Два трамвая», «Шары» и «Кухня». В архиве изд-ва «Время» (*ИРЛИ*, ф. 42) сохранился план книги «Трамваи» (разыскан К. М. Азадовским): «1. Мальчик в трамвае; 2. Чистильщик; 3. Буквы; 4. Полотеры; 5. Калоша; 6. Яйцо; 7. Мука; 8. Рояль; 9. Портниха; 10. Все в трамвае и 11. Сонный трамвай». Пять из них входили ранее в сборники «Примус» и «Шары».

Н. Я. Мандельштам вспоминала: «Все говорили Мандельштаму, что надо изучить детскую психологию: дети любят то, дети не любят этого... Племянница Осипа Эмильевича—Татка—они очень дружили—получила от него «Кухню» и сказала: «Ничего, дядя Ося, можно

перерисовать ее на «Муху-Цокотуху»... Один Корней Иванович утешил. Осип Эмильевич встретил его на улице и довольный пришел домой: «Знаешь, что сказал Чуковский! Не думайте о детях, когда пишете детские стихи»...

Детские стихи сочинялись как шуточные: вдруг, неожиданно и со смехом — «А так годится?» ...Из своих книг он любил именно так сочинявшиеся: «Примус» и «Кухню». Там коротенькие стишки вроде поговорочек, присказок. Жарится яичница — стишок. Забыл закрыть кран на кухне — стишок... Сварили кисель — опять событие и повод для стишка. Они и получились живые и смешные. Любят ли их дети? Кто их знает... Ведь детям тоже надо привыкнуть к стишку, чтобы его полюбить.

А вот «Приглашение на Луну» вовсе для детей не предназначалось. Это из «взрослых» стихов, и приглашалась, наверное, вполне взрослая женщина, а дети как будто согласны считать его своим. Во всяком случае, те дети, которым Мандельштам их читал. С детьми он часто дружил и играл. Очень подружившись, даже читал стихи — про Луну или про Наташу, которую выдают замуж.

...Мне всегда казалось, что сочинение детских стихов — развлечение, отдых, такое же легкое времяпрепровождение, как шуточные стишки, которые сочиняются только с товарищами за веселым разговором, за чаем, за бутылкой вина. Особенно много шуточных стихов Мандельштам сочинял в Москве в тридцатые годы, обычно с Анной Андреевной Ахматовой. Она их любила и всегда очень смеялась. А детские — обычно со мной, и кой-какие тоже с ней. Может, мы с ней и жарили яичницу.

Все детские стихи пришлись на один год — мы переехали тогда в Ленинград и развлекались кухней, квартиркой и хозяйством. Потом они кончились, и навсегда. В сущности, Осип Эмильевич про них забыл...» (Детская литература, 1989, № 8, с. 78).

Стихи Мандельштама для детей, отмечает Е. О. Путилова, «...вводят ребенка в мир конкретного современного быта. Поэт как будто нарочно выбирает самые прозаические предметы: примус, утюг, ножи, кастрюли, вязанку дров... В его изображении они оказываются необычайно привлекательными, как бы ощущают себя равноправными участниками жизни человека. Стихи заявляют об этом громко, мажорно, весело, приглашая по-новому взглянуть на привычный, примелькавшийся мир вещей... В мире мандельштамовских вещей возникают свои отношения, звучат маленькие диалоги, с очень явственными, подчас неожиданными для читателя голосами и интонациями» (*ДП-84*, с. 131).

По мнению В. Берестова, разговаривая с детьми, Мандельштам передает радость мирной, новой жизни: «Телефон сердится оттого, что никто не услышал его звонка. Утюгу больно стоять на огне, но он отважно делает свое дело. Даже улица у поэта — живое, сказочное существо: «Улица-красавица, всем трамваям мать», не говоря уже о трамваях-приятелях Клике и Траме» (предисловие к сборнику детских стихов Мандельштама, в печати). См. также: З а в а д с к а я Е. В. Трам-

вайное тепло. Об иллюстраторах детских книг Мандельштама.— Детская литература, 1988, № 11, с. 54—56 и 79—80.

Примус (с. 320).— Мандельштам О. Примус. Л., Время, 1925 (тир. 8000 экз., худ. М. Добужинский).

Два трамвая (с. 324).— Мандельштам О. Два трамвая. Л., ГИЗ, 1925 (тир. 10 000 экз., худ. Б. Эндер). Первоначальное название — «Трамваи». Стихи написаны в 1924 г.

Шары (с. 327).— Мандельштам О. Шары. Л., ГИЗ, 1926 (тир. 3000 экз., худ. Н. Лапшин). Ст-ния «Чистильщик», «Полотер» и «Кооператив», под общим заголовком «В городе», впервые опубликованы в ж. «Новый Робинзон», 1925, № 4, 31 марта, с. 13.

Кухня (с. 332).— Мандельштам О. Кухня. Л., Радуга, 1926 (тир. 8000 экз., худ. В. Изенберг).

Из книги «Трамваи» (с. 336).— *СС-II*, № 457э. В СССР — ст-ния «Мальчик в трамвае» и «Буквы» — *ДП*, 1984, с. 152 (публ. Е. Путиловой).

Муравьи (с. 337).— Юные строители, 1924, № 18, с. 11 (разыскано и сообщ. Е. О. Путиловой).

Шуточные стихи

Авторы почти всех воспоминаний о Мандельштаме неизменно отмечают, что это был человек неистребимой веселости: шутки, остроты, эпиграммы от него можно было ожидать в любую минуту, вне всякой зависимости от тяготы внешних обстоятельств. Между шуточными и «серьезными» стихами он проводил четкую грань, но чем строже и аскетичней становилась его лирика, тем раскованней и своевольней писались шуточные стихи. В них, как правило, он тяготел к острым эпиграммам-портретам, тонким каламбурам, вообще к филологическим эффектам, любил комические стилизации. Его юмор — это общеакмеистическая, по выражению Ахматовой, «веселость едкая литературной шутки». «Шуточные стихи — это петербургская традиция, Москва признавала только пародии» (*НМ-I*, с. 334). Действительно, если Мандельштам и пародировал, то не поэтов, а целые жанры («элегические дистихи», «куплеты», «басни»). В его шуточных стихах ощутимо влияние пушкинского юмора. Думается, что сама идея «Антологии античной глупости», зародившаяся в начале 1910-х годов, восходит к контрасту двух пушкинских элегических стихов, обращенных к Н. Гнедичу. В середине 20-х годов создавалась уже «Антология житейской глупости», где пародировался, на этот раз, не «высокий штиль», а, наоборот, подчеркнуто сниженная русская калька немецкой фразы. Мандельштам особенно любил куплеты, начинающиеся (или заканчивающиеся) всякий раз одной и той же строкой или фразой («Старик Моргулис...», «Служил Гаврила...», «...Однако» и др.).

«Никто не умел так совсем по-невзрослому заливаться смехом по всякому поводу — и даже без всякого повода.

— От иррационального комизма, переполняющего мир,— объяснял

он приступы своего непонятного смеха.— А вам разве не смешно?—с удивлением спрашивал он собеседника.— Ведь можно со смеху лопнуть от всего, что происходит в мире» (*Одоевцева*, с. 127). Мандельштам любил анекдоты, но его собственная шутка «...принадлежит к совершенно иному разряду, чем анекдот — острая сатира кратчайшего размера с фабульным построением. Шутка Мандельштама построена на абсурде. Это домашнее озорство и дразнилка лишь изредка с политической направленностью, но чаще всего обращенная к друзьям — к Моргулису, ко мне, к Ахматовой. Это стишок-импровизация «на случай» или игра вроде тех, в которые он играл с моим братом, например совместное заявление в Комакадемию о том, что «жизнь прекрасна» (*НМ-II*, с. 143—144). В другой работе («Моцарт и Сальери») Н. Я. Мандельштам заметила, что экспромты и шуточные стихи Мандельштама «...строятся на отработанном материале, но не в поэзии, а в прозе и в устной речи, и действует при их произношении чисто версификаторский дар. По-своему они очень портретны, потому что в них больше, чем в чем-либо, запечатлелись живая речь, озорство и смех» (*НМ-III*, с. 46). См. также тезисы Г. А. Левинтона «К вопросу о статусе литературной шутки у Ахматовой и Мандельштама» и «Ахматовой уколы» в кн.: Анна Ахматова и русская культура начала XX века. Тезисы конференции. М., 1989, с. 40—47.

Шуточные стихи Мандельштама сохранились частью в архивах *(АМ, АИ, АПЛ, ЦГАЛИ)*, частью в памяти современников (Н. Мандельштам, А. Ахматовой, И. Эренбурга, В. Пяста, Э. Герштейн, Н. Штемпель, К. Мочульского и др.). Первая попытка собрать шуточные стихи Мандельштама вместе была предпринята в рамках выпущенного в США четырехтомного Собрания сочинений поэта.

В наст. изд. собраны выявленные на сегодняшний день шуточные ст-ния Мандельштама, включая и написанные им в соавторстве (в частности, с М. Л. Лозинским, Б. К. Лившицем и С. Б. Рудаковым).

В раздел не включены шуточные стихи, ранее публиковавшиеся под именем Мандельштама, применительно к которым доказанным или существенно более вероятным, однако, следует считать авторство других лиц, в частности Г. Иванова. Сюда относятся первое из ст-ний «В альбом спекулянтке Розе» (*СС-I*, № 433) и «Поэма об издательстве» (*СС-I*, № 459) (см.: *Одоевцева*, с. 135, и коммент. Н. Богомолова в *Иванов*, с. 537), а также ст-ние «Ах! матовый ангел на льду голубом, // Ахматовой Анне пишу я в альбом» (*СС-I*, № 420), записанное в альбом А. Ахматовой Вас. Гиппиусом (*ЦГАЛИ*, ф. 13, оп. 1, ед. хр. 175). (Эта ошибка повторена анонимным публикатором в ж. «Крокодил», 1990, № 10, с. 7). Неубедительной представляется и принадлежность Мандельштаму отрывка из коллективной трагикомедии «Кофейня разбитых сердец», пародирующего стихи самого Мандельштама (*СС-I*, № 425).

К числу шуточных ст-ний, написанных Мандельштамом в соавторстве, следует также добавить начало акростиха. Ст. 1—3 принадлежат Л. Н. Гумилеву, ст. 4 — Мандельштаму: «Эмма Герштейн» в позднем варианте ее воспоминаний «Новое о Мандельштаме» (Наше наследие, 1989, № 5, с. 118):

Эмаль, алмазы, позолота
Могли б украсить египтян,
Моей же девы стройный стан —
Аршин трико иль шевиота.

<Анне Ахматовой> (с. 340).— *ВП-III*, с. 15, с посвящ. «Анне Ахматовой» и датой «1911». В СССР — *Ю-87*, с. 74. Печ. по автографу — в альбоме А. Ахматовой (*ЦГАЛИ*, ф. 13, оп. 1, ед. хр. 175, л. 1).

«Блок-король...» (с. 340).— Из письма В. Пяста к А. Блоку от 10 декабря 1911 г. (Литературное наследство, т. 92, кн. 2. 1982, с. 211, в иной строфике). Печ. по кн.: Пяст В. Встречи. М., 1929, с. 257.

Строки Мандельштама из коллективного послания «Мы и Блок» по случаю выбора А. Блока «королем поэтов» в петербургском ресторане «Вена» 10 декабря 1911 г.

«И глагольных окончаний колокол...» (с. 340).— Мочульский К. О. Э. Мандельштам.— Встречи. Сб. 2. Париж, 1945, с. 30—31. В СССР — *Д-88*, с. 113.

Зачисленный 10 сентября 1911 г. в студенты отделения романских языков Историко-филологического факультета Санкт-Петербургского университета, Мандельштам, не проходивший древнегреческого языка в Тенишевском училище, был обязан в течение первого учебного года сдать дополнительный экзамен за полный курс классической гимназии (*ЛГИА*, ф. 14, оп. 3, ед. хр. 59170, л. 1—2). Его однокурсник К. В. Мочульский (1892—1948), будущий приват-доцент этого университета, вызвался помочь ему в подготовке. Он вспоминал, что Мандельштам «...приходил на уроки с чудовищным опозданием, совершенно потрясенный открывшимися ему тайнами греческой грамматики. Он взмахивал руками, бегал по комнате и декламировал нараспев склонения и спряжения. Чтение Гомера превращалось в сказочное событие; наречия, энклитики, местоимения преследовали его во сне, и он вступал с ними в загадочные личные отношения. Когда я ему сообщил, что причастие прошедшего времени от глагола «пайдево» (воспитывать) звучит «пепайдевкос», он задохнулся от восторга и в этот день не мог больше заниматься. На следующий урок пришел с виноватой улыбкой и сказал: «Я ничего не приготовил, но написал стихи». И, не снимая пальто, начал петь. Мне запомнились две строфы... <следует ст-ние.— *П. Н.*>. До конца наших занятий Осип Эмильевич этого вопроса не решил. Он превращал грамматику в поэзию и утверждал, что Гомер — чем непонятнее, тем прекраснее. Я очень боялся, что на экзамене он провалится, но и тут судьба его хранила, и он каким-то чудом выдержал испытание» (тем не менее это произошло за рамками установленных сроков: для сдачи поверочного экзамена по греческому языку Мандельштам был оставлен на первом курсе на второй год — *ЛГИА*, ф. 14, оп. 3, ед. хр. 59170, л. 3). См. также: Ронен О. К истории акмеистических текстов. Опущенные строфы и подтекст.— *SH*, 1978, v. III, p. 71—72. *Аорист* — глагольная форма, обозначающая мгновенное или предельное действие, отнесенное к прошлому.

Антология античной глупости (с. 341).—Лукоморье, Пг.,

1915, № 6 (7 февраля), с. 18, под псевдонимом «Анк Сульпициус» (по-видимому «Стульцитиус», что означает «глупость» (лат.). Из них первые три — опубл. Г. С. Рабиновичем со следующим пояснением: «В декабре 1911 г. Мандельштам явился в «Бродячую Собаку» <в действительности открылась 1 января 1912 г.— *П. Н.*> и сказал экспромтом: «Господа, я нашел за границей, в Италии, пергаменты неизвестного поэта Кайюса Стульцитиуса и перевел их: они отличаются закругленной античной глупостью...» (*ВП-III,* с. 24). Вместе с тем, по решительному утверждению Г. Иванова и также Вс. Рождественского (запись в альбоме М. М. Шкапской), ст-ние «— Лесбия, где ты была?..» (с разночт. в имени «адресата»: Делия) принадлежит М. Лозинскому и было написано в 1912 г.; Г. Иванов приводит также несколько иную редакцию первого из двустиший: «Ветер с окрестных дерев срывает желтые листья. // Лесбия, о, погляди — фиговых сколько листов!» (Звено, Париж, 1924, 28 июля). Возможно, в этой «Антологии» объединены шуточные стихи двух или нескольких авторов, но участие и инициатива Мандельштама сомнений не вызывают. Стихи из «Антологии» вспоминают также А. Ахматова, И. Одоевцева, В. Пяст и др. мемуаристы. Антология продолжалась и в 20-е годы (см. ниже).

«Слышен свист и вой локомобилей...» (с. 341).— Списки — в альбоме Е. А. Архиппова, подаренном им В. А. Меркурьевой (*ЦГАЛИ,* ф. 2209, оп. 1, ед. хр. 16, л. 46, с пометой: «самая полная рифма») и в альбоме М. Шкапской (*ЦГАЛИ,* ф. 2182, оп. 1, ед. хр. 140, л. 54об., со слов Вс. Рождественского и с пометой: «Самая длинная рифма русской поэзии»). Печ. впервые по альбому Е. А. Архиппова.

«Кушает сено корова...» (с. 341).— *СС-I,* № 458, по воспоминаниям Г. С. Рабиновича в пересказе Р. Н. Гринберга.

Принадлежит к «серии анекдотов о графе, написанных Мандельштамом совместно с Г. В. Ивановым и мной: граф посетил вечер Игоря Северянина, пришел в восторг и написал следующие стихи...» (*СС-I,* с. 553). *Шале* — здесь: сельский домик, дача.

«В девятьсот двенадцатом...» (с. 342).— *ВП-III,* с. 25, искаженный текст — в воспоминаниях Г. Рабиновича, с пояснением: «В ноябре — декабре 1913 г. Осип Эмильевич поссорился с родителями и поехал гостить в санаторию моего отца, доктора Рабиновича, в Мустамяки. Вернувшись, посетил меня: «Гриша, я написал стихи...» *Мустамяки* — от Мустамяк, дачного места в Финляндии (совр. Репино). Печ. по публ.: Крейд В. Неизвестные строки О. Мандельштама.— Новый журнал, 1988, № 170, с. 293, где дано со ссылкой на Г. Иванова.

«Не унывай...» (с. 342).— Печ. по *Иванов,* с. 355 и 454.

В «Петербургских зимах» Г. Иванов относит это ст-ние ко времени после возвращения из поездки в Варшаву в санитарном поезде Н. И. Врангеля, т. е. к началу 1915 г. («Я встретил его в «Бродячей собаке». Давясь от смеха, он читал кому-то четверостишие, только что им сочиненное...»), а в более поздних «Китайских тенях» — к 11 апреля 1913 г.— дню массовой манифестации у Казанского собора в Петербурге по поводу взятия войсками Балканского союза турецкого города Скутари.

Вуайажор арбуз украл (с. 342).— Пяст В. Встречи. М., 1929, с. 291.

Написано в форме «жоры» — шуточного жанра, также родившегося в «Бродячей собаке», особенностью которого является то, что им нельзя пользоваться без разрешения В. К. Шилейко (см. ниже). *Вуайажор* (фр. voyageur) — путешественник.

«Автоматичен, вежлив и суров...» (с. 342).— *Герштейн*, с. 187—188 (с неточной ссылкой на *Рудаков*, 6.08.1935). Печ. по *Рудаков*, 18.08.1935.

«А вот кусочек: осколок забытого сонета Гумилеву (год 15)» (там же). *Теофилъ*— Теофиль Готье (1811—1872), французский поэт, горячим поклонником и переводчиком которого был Гумилев (см. его статью «Теофиль Готье» в «Письмах о русской поэзии»). *Китайские тени*— так Г. Иванов назвал свои мемуарные очерки, печатавшиеся в 1925—1930 гг. в парижских газетах «Дни» и «Последние новости».

«Мне скучно здесь, мне скучно здесь...» (с. 343).— Сохранилось в памяти Н. К. Бруни-Бальмонт, со слов ее мужа, художника Л. А. Бруни.

В мае 1916 г. Л. А. Бруни был вместе с Мандельштамом на первой половине лекции В. Брюсова в Тенишевском училище, посвященной средневековой армянской поэзии и связанной с выходом в конце 1915 г. под редакцией В. Брюсова антологии «Поэзия Армении». По предположению А. Е. Парниса, Мандельштам в этом экспромте пародирует стиль некоторых переводов Брюсова из этой антологии.

«Барон Эмиль хватает нож...» (с. 343).— Приведено в воспоминаниях В. С. Срезневской: «Эмиль Вениаминович Мандельштам, отец поэта, которому не очень понравился какой-то из портретов сына, пригрозил «разрезать эту мазню на куски», чем и вызвал настоящий экспромт» (сообщено М. А. Торбин). Возможно, имеется в виду портрет работы Льва Бруни (в наст. время в собр. В. В. Шкловской).

Актеру, игравшему испанца (с. 343).— *СС-IV*, № 531. В СССР — Конечный А. М., Мордерер В. Я., Парнис А. Е., Тименчик Р. Д. Артистическое кабаре «Привал комедиантов».— Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник 1988. М., 1989, с. 134—135 (по *ЦГАЛИ*, с подзаголовком «Загадка и разгадка» и с разночт. в ст. 5: «У гроба он закурит пахитосу» и ст. 13—14: «бородой // Белибердоса и Бомбардоса»). Автограф — в фонде С. И. Антимонова (*ЦГАЛИ*, ф. 2353, оп. 1, ед. хр. 22, л. 40). Список Г. Мовшесона, с пометой: «записывал со слов автора в Привале комедиантов в 1917 или 1918 г. Г. Мовшесон передал мне 15.X.60 г.»,— в собр. М. С. Лесмана. Печ. по этому списку.

Обращено к Сергею Ивановичу Антимонову (1880—1954), актеру театра «Кривое зеркало», исполнявшему роль матадора Фернандо Поганеца в спектакле по пьесе В. Трахтенберга «Загадка и разгадка» (шла в «Привале комедиантов» в феврале—апреле 1917 г.). Ср. «испанское» имя поэта — Дон Хозе делла Тиж д'Аманд — в написанной в

августе 1917 г. коллективной трагикомедии «Кофейня разбитых сердец» (*СС-I*, № 425, а также в статье Р. Д. Тименчика в *Д-88*, с. 109).

Газелла (с. 343).—Эренбург И. Люди, годы, жизнь.—*НМ*, 1961, № 1, с. 142.

Написано в Феодосии. *Газелла* (газель) — восточная поэтическая форма, состоящая из двустиший с рифмой или редифом в каждой четной строке.

«Я вскормлен молоком классической Паллады...» (с. 344).—Сообщ. М. С. Лесманом.

Паллада— Паллада Олимпиевна Гросс (Старынкевич, Богданово-Бельская, Дерюжинская, Педди-Кабецкая; 1887—1968) — поэтесса, автор сборника «Амулеты» (Пг., 1915), окончила Драматическую студию, руководимую Н. Евреиновым. В литературных кругах был известен «Альбом Паллады», составленный из посвященных ей ст-ний.

Умеревший офицер (с. 344).—Форш О. Сумасшедший корабль.—Звезда, 1930, № 2, с. 12, с намеком на авторство Н. Гумилева и разночт.: «Мелавенец». Печ. по списку М. М. Шкапской в ее альбоме (*ЦГАЛИ*, ф. 2182, оп. 1, ед. хр. 140, л. 49об.), со следующим пояснением: «Происхождение этой эпиграммы таково. Оцуп читал в Союзе поэтов на вечере поэму, где была фраза: «умеревший офицер». А в Доме литераторов был полковник Белавенец — старичок, который при выдаче яиц говорил — «Ну на что вам одно яйцо (выдавали по одному)? Дайте его мне, у меня уже набирается порядочно». Ему давали. Вот этого-то полковника Белавенца и объединили с Оцупом в эпиграмме. Называлась она «Умеревший офицер». Писалась Мандельштамом» (там же). Поэма, кончавшаяся строками: «И лежит, раскинув руки, // Умеревший офицер», была уничтожена автором (см.: *Одоевцева*, с. 265). *Оцуп* Николай Александрович (1894—1958) — поэт, член второго «Цеха поэтов».

В альбом спекулянтке Розе (с. 344).—Одоевцева И. На берегах Невы.—Новый журнал, Нью-Йорк, 1963, кн. 71, с. 34. В СССР—Чукоккала. М., 1979, с. 222. Печ. по *СС-I*, № 432. Там же, под № 433, приведено еще одно ст-ние, посвященное «спекулянтке Розе»: «Печален мир. Все суета и проза. // Лишь женщины нас тешат да цветы. // Но двух чудес соединенье ты: // Ты женщина! Ты роза!», принадлежащее Г. Иванову (*Одоевцева*, с. 135).

Роза— Роза Васильевна Рура, «хозяйственник» изд-ва «Всемирная литература»; по описанию И. Одоевцевой, это «...существо неопределенного возраста и необъятных размеров... выполняла по ею же самой установленной таксе мелкие поручения и выдавала небольшие ссуды, как правило — только за неделю до общеиздательского выплатного дня» (*Одоевцева*, с. 135). См. о ней также: Даугава, Рига, 1987, № 6, с. 115.

Антология античной глупости (II) (с. 344).—Традиция этой «Антологии» была продолжена в первой половине 20-х годов. Многие шуточные стихи этих лет записаны в альбоме М. М. Шкапской (*ЦГАЛИ*, ф. 2182, оп. 1, ед. хр. 140—141). Печ. по этому альбому (кроме первого).

«Юношей Публий вступил в ряды ВКП золотые...» — *СС-II*, № 457ю. Печ. по *ЦГАЛИ*, ф. 1893, оп. 1, ед. хр. 9, л. 8, с заголовком: «Из антологии античной глупости».

«Сын Леонида был скуп...» — *Лозинский* М. Л.— См. коммент. к ст-нию «Пешеход». См. также: Пяст В. Встречи. М., 1929, с. 261; *Иванов*, с. 452—454. Дополнительный комизм возникал и оттого, что в действительности М. Л. Лозинский был человеком щедрым.

«— Путник, откуда идешь?..» — *ВП-III*, с. 25. См. др. варианты — Чукоккала. М., 1979, с. 60; Нева, 1978, № 12, с. 126.

Шилейко Вольдемар Казимирович (1891—1930) — филолог, специалист по древним культурам Передней Азии, переводчик «Гильгамеша» и поэт, второй муж А. Ахматовой. Жил на 4-й Рождественской ул. (ныне — Советская). См. о нем: Шилейко Т. «Легенды, мифы и стихи...».— *НМ*, 1986, № 4. *Рождественский* Всеволод Александрович (1895—1977) — поэт, член второго «Цеха поэтов». *Пяст* В. А.— См. коммент. к ст-нию «Мы напряженного молчанья не выносим...». *Шкапская* (Андреевская) Мария Михайловна (1891—1952) — поэтесса, с сер. 20-х годов — очеркист и прозаик. *Бруссон* Жан-Жак — секретарь А. Франса, автор книги «Анатоль Франс в туфлях и халате» (в 1925 г. трижды выходила на русском языке). *Давыдов* Зиновий — заместитель и «правая рука» А. Н. Горлина в Госиздате. *Юркун* Юрий Иванович (1895—1938) — прозаик, многолетний друг М. Кузмина и муж О. Н. Арбениной.

<Из альбома Д. И. Шепеленко> (с. 346).— Печ. впервые по автографу: *ЦГАЛИ*, ф. 2801, оп. 5, ед. хр. 5, л. 33об.—34об. (третье ст-ние — зачеркнуто).

Шепеленко Дмитрий Иванович (1897—1972) — русский поэт, член Тифлисского «Цеха поэтов», автор сборника ст-ний в прозе «Прозрения» (1-е изд.— Тифлис, 1920; 2-е изд.— М., 1925). При содействии С. Городецкого переехал в Москву и был соседом Мандельштама по Дому Герцена в 1922—1924 гг. Во 2-м изд. «Прозрений» Шепеленко упоминает и Мандельштама: «Стройно держащий свою лысину Мандельштам осторожно шарит возле меня спичек» (с. 20—21). *С Аглаидой Бонифатий.*— Ср. запись в дневнике Д. И. Шепеленко от 20 декабря 1920 г.: «Игнатий Богоносец. Четьи-Минеи, кн. IV, стр. 56. Страдание Святого мученика Бонифатия. // Возжелала Аглаида иметь у себя мученические мощи своего раба-любовника Бонифатия...» и т. д. (*ЦГАЛИ*, ф. 2801, оп. 1, ед. хр. 4, л. 92об.—93).

«Есть разных хитростей у человека много...» (с. 347).— Катаев В. Алмазный мой венец.— *НМ*, 1978, № 6, с. 53.

Эпизод, предшествующий появлению этого ст-ния, представляется весьма характерным: в 1923 или 1924 г. Катаев вместе с Мандельштамом (или «Щелкунчиком») получил у Н. К. Крупской аванс и заказ на агитстихи, разоблачающие хитрость кулаков, выдававших своих наемных рабочих за членов семьи, что позволяло им обойти закон о продналоге. На предложение Катаева взять в качестве размера четырехстопный хорей («Кулаков я хитрость выдам...» и т. д.), Мандельштам возразил: «Я удивляюсь, как вы с вашим вкусом можете предлагать мне

этот сырой, излишне торопливый четырехстопный хорей, лежащий совершенно вне жанра и вне литературы!» После этого он сообщил мне несколько интересных мыслей о различных жанрах сатирических стихов, причем упомянул имена Ювенала, Буало, Вольтера, Лафонтена и, наконец, русских Дмитриева и Крылова. Я сразу понял, что наше предприятие под угрозой. Между тем щелкунчик, видимо, все более и более вдохновлялся, отыскивая в истории мировой поэзии наиболее подходящую форму. Он высказал мысль, что для нашей темы о хитром кулаке и его работнице-батрачке более всего подходит жанр крыловской басни: народно и поучительно. Он долго расхаживал по комнате от окна к двери, напевая что-то про себя, произносил невнятно связанные между собою слова, останавливался, как бы прислушиваясь к голосу своей капризной музы, потом снова начинал ходить взад-вперед... В конце концов он написал басню...» (там же).

«Но я люблю твои, Сергей Бобров...» (с. 347).— Печ. по *АИ*.

Бобров Сергей Павлович (1889—1971)— поэт, литературовед, критик, автор рецензии на *Т* (Печать и революция, 1923, № 4, с. 259—262).

«Как некий исполин с Синая до Фавора...» (с. 347).— *СС-I*, № 438, под загл. «Писателю». В СССР — аналогичный текст в анонимной публ. в ж. «Крокодил» (1990, № 10, с. 7). Печ. по списку Н. Я. Мандельштам *(АИ)*.

«Не средиземною волной...» (с. 347).— Печ. по списку Н. Я. Мандельштам *(АИ)*.

Антология житейской глупости (с. 347).— Список Н. Я. Мандельштам — *АИ*. Строфа 2, с разночт. в ст. 4: «Оттого что» — *АПЛ*. Печ. по *АИ*.

Построены на пародировании русской кальки немецкой фразы. *Анна... Иванна*— Анна Ивановна Чулкова (1886—1964), жена В. Ф. Ходасевича с 1911 по 1922 г. Судя по записи в ее альбоме, Мандельштам был знаком с нею уже в 1916 г. Осенью 1920 г., когда и Мандельштам, и Ходасевич с женой жили в Доме Искусств, знакомство упрочилось и не прекратилось после отъезда Ходасевича за границу. *Гарик Ходасевич, по фамилии Гренцион*— Э. Е. Гренцион (1907—?), сын А. И. Ходасевич от первого брака, впоследствии киноактер (псевдоним — Э. Гарик). *Лукницкий* Павел Николаевич (1900—1973) — поэт и прозаик, биограф Н. С. Гумилева. *Милюков* Павел Николаевич (1859—1943) — русский политический деятель, один из лидеров партии кадетов, министр иностранных дел во Временном правительстве.

«Это есть художник Альтман...» (с. 348).— А<дамович Г.> По поводу собрания сочинений О. Мандельштама.— Опыты, Нью-Йорк, 1956, кн.6, с. 93—94. В СССР — в кн.: Эткинд М. Натан Альтман. М., 1971, с. 5.

Г. Адамович пишет: «Мандельштам читал эти стихи сотни раз, давясь от смеха, но с напускной важностью и с сильным немецким акцентом: «ошэн стари шеловэк...» Ст-ние примыкает к «Антологии житейской глупости». *Альтман* Натан Исаевич (1889—1970) — русский художник, автор знаменитого портрета А. Ахматовой.

«Это есть мадам Мария...» (с. 348).—Сообщ. И. М. Наппельбаум (со слов А. Ахматовой). Публикуется впервые.

Имеется в виду Мария Игнатьевна Бенкендорф (урожденная Закревская, во 2-м браке—баронесса Будберг; 1892—1974)— переводчица, секретарь изд-ва «Всемирная литература»; в 1922— 1928 гг.—секретарь и друг А. М. Горького, посвятившего ей роман «Жизнь Клима Самгина». М. Будберг—героиня книги Н. Берберовой «Железная женщина».

«Любил Гаврила папиросы...» (с. 348).—Печ. по списку Н. Я. Мандельштам с пометой: «У Багрицкого в Кунцеве» *(АИ).*

По некоторым, впрочем малодостоверным, сведениям, идея графоманской «Гаврилиады» в «Двенадцати стульях» И. Ильфа и Е. Петрова была подсказана Мандельштамом (см., напр.: Коваленков А. Хорошие, разные... Литературные портреты. М., 1966, с. 10). *Эфрос*—Эфрос А. М. (1888—1954), критик, переводчик и издательский работник, сотрудник ГИХЛа и «Academia».

«Зевес сегодня в гневе на Гермеса...» (с. 348).—*СС-I,* № 446, с разночт. в ст. 1: «Зевес всех должностей лишил Гефеста». В машинописи *(АПЛ)* с разночт. в ст. 1: «Зевес всех должностей лишил Гермеса». Печ. по списку Н. Я. Мандельштам *(АИ).*

Извозчик и Дант (с. 348).—*КГВ,* 1925, 26 октября. Фрагмент—*ЦГАЛИ,* ф. 1893, оп. 1, ед. хр. 9, л. 8, с заголовком «Из забытой басни «Извозчик и Дант». Печ. по *КГВ.*

Лжец и ксендзы (басня) (с. 349).—Смехач, 1924, № 19 (октябрь), с. 19.

Викарий—помощник епископа по управлению епархией.

«Ubi bene, ibi patria...» (с. 349).—*СС-IV,* № 532, с датировкой: «1930-е». По смыслу ст-ния, более вероятной датировкой является сер. 20-х годов, когда Мандельштам и Лившиц особенно сблизились. Печ. по *АИ.*

По свидетельству Е. К. Лившиц, оба поэта были принципиальными противниками эмиграции из России.

Песнь вольного казака (с. 349).—Печ. по списку А. А. Тарковского (дата записи—23 октября 1963 г.)—архив Л. В. Горнунга.

Тетушка и Марат (с. 350).—Иванов Г. Петербургские зимы.—Дни, Париж, 1926, 4 апреля, с разночт. в ст. 5: «Среди других вещей», ст. 6: «на бронзовом рояле», ст. 7: «У тетушки он был в особенной чести» и ст. 13: «—Вот,—говорит,—портрет известного Марата». Печ. по списку Н. Я. Мандельштам *(АИ).* Первопубликация не разыскана. О ней сообщает Г. Иванов, принявший это ст-ние «всерьез» (*Иванов,* с. 464). Печ. по списку Н. Я. Мандельштам, с пометами: «Вечерняя 24?» и «С Беном»,—*АИ.*

По сообщ. Е. К. Лившиц, написано вместе с Б. Лившицем; поводом послужил бисквитный бюст Лютера, подаренный Лившицу его тетей Розой (Дукельской-Диклер), скупившей в свое время все спичечные фабрики Лонжина в Финляндии. *Акажу*—мебель из красного дерева. *Марат* Ж. П. (1743—1793)—один из вождей якобинцев.

Мирабо О. (1749—1791)—граф, деятель Великой французской революции, лидер крупной буржуазии.

Баллада о горлинках (с. 350).—Чукоккала. М., 1979, с. 236—237.

Написано вместе с Б. Лившицем в ночь на 25 декабря 1924 г. В своем комментарии К. И. Чуковский пишет: «Под горлинками подразумевались, кажется, недавно вошедшие в оборот червонцы, которыми Мандельштаму и Лившицу выплачивали гонорар. А. Н. Горлин был заведующим иностранным отделом Госиздата, помещавшимся на верхнем этаже (ср.: не нам кичиться этажом) Дома Книги, который писатели называли тогда «Нотр дам де Госиздат», по аналогии с «Нотр дам де Пари» (там же). Ср. также в письме Е. К. Лившиц к П. М. Нерлеру от 18 декабря 1981 г.: «Я помню, как писалась эта баллада. Это было у Мандельштамов, они снимали тогда две комнаты у чтицы Марадудиной. Было это уже поздно ночью. Мы с Надей валялись в спальне на супружеской кровати и болтали, дверь была открыта, и нам было видно и слышно, как веселились наши мужья. Они ходили по комнате и сочиняли эту балладу, смеясь, перебивая друг друга, ища слова, меняя строки, рифмы, варианты, отметая «сор»,—все это наплывало одно на другое, и рождающаяся баллада словно качалась на этих ритмических волнах». *Царство Короленки*—по-видимому, русская реалистическая проза. *Ионов* (Бернштейн) И. И. (1887—1942)—профессиональный революционер и издательский деятель, в сер. 20-х годов возглавлял Госиздат. Враждебно относился к «попутчикам»; между Ионовым, возглавившим после В. И. Нарбута изд-во «Земля и фабрика», и Мандельштамом и Лившицем возник острый конфликт после незаконного расторжения Ионовым договоров на переводы из Майн Рида.

«На Моховой семейство из Полесья...» (с. 352).—Печ. по списку Н. Я. Мандельштам *(АИ)*.

Написано в 1924—1925 гг. вместе с Б. К. Лившицем в его квартире на Моховой ул. (д. 9, кв. 1). *Выгодский* Давид Исаакович (1893—1973)—писатель и переводчик, родом из Гомеля, сотрудник Госиздата, друг Мандельштама и Лившица, с последним одно время снимал общую квартиру на Моховой. *Шолом Аш* (1880—1957)—еврейский писатель, писал на идише (среди его переводчиков на русский язык И. Беккер, Я. Слоним, С. Гехт и Д. Е.—псевдоним, за которым, возможно, скрывается Д. Выгодский).

«Скажу ль...» (с. 352).—Неполный текст (без ст. 7—8 и 11—15), под заглавием «Из забытой поэмы о двух Гонкурах»,—*СС-II*, № 457ы; источник этой публикации—авториз. список, с датой «1925», в альбоме А. И. Крученых (*ЦГАЛИ*, ф. 1893, оп. 1, ед. хр. 9, л. 9). Др. вариант неполного текста (без ст. 5—6 и 9—10)—машинопись в *АПЛ*. Печ. по контаминации.

Гонкуры Эдмон (1822—1896) и Жюль (1830—1870)—французские писатели, братья и соавторы.

«Архистратиг вошел в иконостас...» (с. 352).—*Ахматова*, с. 191.

Полный текст утерян. В связи с этим ст-нием Ахматова пишет: «Легенда о его <Мандельштама.— *П. Н.*> увлечении Анной Радловой ни на чем не основана... Пародию на стихи Радловой — он сочинил из веселого зловредства, а не par dépit*, и с притворным ужасом где-то в гостях шепнул мне: «Архистратиг дошел!», т. е. Радловой кто-то сообщил об этом стихотворении» (там же). *Радлова* (Дармолатова) Анна Дмитриевна (1891—1949) — поэтесса, автор сборников «Соты» (1918), «Корабли» (1920) и «Крылатый гость» (1922), сестра первой жены младшего брата Мандельштама. *Запахло валерианом* — намек на Валериана Адольфовича Чудовского — верного рыцаря Радловой (примеч. Ахматовой).

«Однажды некогда какой-то подполковник..» (с. 352).— *СС-I*, № 436.

«На посту» (с 1925 г.— «На литературном посту») — литературно-критический журнал, с позиций вульгарного социологизма вел яростную борьбу с писателями-«попутчиками».

«Один еврей, должно быть, комсомолец...» (с. 353).— *СС-I*, № 437.

Эпиграмма на Иосифа Уткина (сообщ. Е. К. Лившиц).

«Помпоныч, римский гражданин...» (с. 353).— *СС-I*, № 451. Печ. по машинописи *(АПЛ)*, с пометой: «Панферов употребляет глагол «скукожился», которого нет в русском языке».

«У вас в семье нашел опору я...» (с. 353).— Печ. впервые по архиву Б. В. Горнунга.

Обращено к братьям Борису, Льву и Юрию Горнунгам. В неопубл. воспоминаниях Б. В. Горнунга описывается эпизод, когда после посещения одного из изд-в он и Мандельштам спустились к Москве-реке и Мандельштам предложил вскарабкаться на развороченную стену Китай-города и пройти по ней до Москворецкого моста; на мосту Мандельштаму показалось, что на стене его продуло и он заболевает, и лишь дома у Горнунгов (на Балчуге), после того как ему дали аспирин, градусник и горячий чай с каким-то алкоголем, он оживился, «воскрес» и на прощание прочитал эти стихи (сообщ. М. Б. Горнунгом).

«Плещут воды Флегетона...» (с. 354).— *СС-I*, № 443. Печ. по списку Н. Я. Мандельштам (АИ).

Ср. в ст-нии Пушкина «Прозерпина» (1824): «Плещут волны Флегетона, // Своды тартара дрожат...» *Флегетон* — огненная река, текущая в аду. *Тартар* — подземное царство мертвых, ад. *Пяст* (Пестовский) В. А.— См. коммент. к «Антологии античной глупости» (II).

«Подшипник с шариком...» (с. 354).— *СС-I*, № 440, с датировкой: «конец 1920-х гг.». Печ. по машинописи *(АПЛ)*.

«Кто Маяковского гонитель...» (с. 354).— Публикуется впервые по списку Н. Я. Мандельштам *(АИ)*.

Эпиграмма обращена к Георгию Аркадьевичу Шенгели (1894—1956) — поэту и переводчику, с которым Мандельштам впервые познакомился в 1919 г. в Харькове. В 1925—1927 гг.— председатель Всерос-

---

* с досады *(фр.)*.

сийского Союза поэтов, в конце 1920-х и в 1930-е годы он работал в отделе литературы народов СССР в ГИХЛе, автор многократно переиздававшихся книг «Трактат о русском стихе» и «Техника стиха». Был ярым литературным противником В. В. Маяковского, выпустил о нем полемическую книгу «Маяковский во весь рост» (М., 1927), бывшую в некотором смысле ответом на многочисленные устные разносы Маяковским книги Шенгели «Как писать статьи, стихи и рассказы» (М., 1926). *Лахути* А. А. (1887—1957)—иранский поэт и революционер, в 1922 г. эмигрировал в СССР. В 1923—1925 гг. работал в Центр. изд-ве народов СССР, затем—зам. наркома просвещения Таджикистана, в 30-е годы—ответственный секретарь СП СССР. *Российских ямбов керченский смотритель.*—Ср. в выступлении В. В. Маяковского 11 апреля 1926 г. в клубе рабкоров «Правды»: «А Шенгели говорит: пиши ямбом. Ни слова о свободном стихе. И главное—все это изложено директивным тоном: пиши так, все остальное будет плохо» (Катанян В. Маяковский. Хроника жизни и деятельности. М., 1985, с. 338).

«Посреди огромных буйволов...» (с. 355).—Григорьев А., Петрова И. Мандельштам на пороге тридцатых годов.— *RL,* 1977, v. V, № 2, с. 191).

Сообщ. И. Д. Ханцын и В. А. Мануйловым. *Мануйловов*—Виктор Андроникович Мануйлов (1893—1987), филолог и поэт, близкий знакомый друзей Мандельштама—А. О. Моргулиса и И. Д. Ханцын (в указ. публ. см. почтовую карточку, написанную О. Э. и Н. Я. Мандельштам и В. А. Мануйловым И. Д. Ханцын (в декабре 1930—или январе 1931 г.) из санатория Цекубу «Заячий ремиз» в Ст. Петергофе).

Моргулеты (с. 355).—Первые две—*СС-I,* № 434—435, с датировкой: «1920—1930 гг.?», следующие три—*НМ-II,* с. 144—145; в наст. виде—в примеч. к статье А. Григорьева и И. Петровой «Мандельштам на пороге тридцатых годов» (*RL,* 1977, v. V, № 2, с. 190—191). Печ. по *RL,* с исправлением «Маргулеты» и «Маргулис» на написание, соответствующее фамилии Моргулис.

Шуточный цикл, создававшийся в начале 30-х годов. *Моргулис* Александр Осипович (1898—1938?)—переводчик, член правления ССП; в 1931—1932 гг. Моргулис работал в газете «За коммунистическое просвещение» (сокращенно «ЗКП»; ныне «Учительская газета») (подробнее см. в указ. статье, с. 189—196). Его вдова, пианистка Иза Давыдовна Ханцын (1899—1983), вспоминала: «Близкое знакомство с О. Э. произошло уже в Ленинграде (1925—1927), тогда Мандельштамы жили в Лицее, мы часто бывали у них, они—у нас... О. Э. очень нежно любил моего мужа... У нас Мандельштам как-то смягчался, его внутренняя напряженность разряжалась; кроме того, он очень доверял литературному вкусу моего мужа. О. Э. постоянно читал нам стихи. Сам очень радовался рождению каждой «Моргулеты»...» *Эфрос.*—См. коммент. к ст-нию «Любил Гаврила папиросы...». *Бубнов* А. С. (1884—1940)—революционер, в 1929 г. сменил А. В. Луначарского на посту наркома просвещения РСФСР. *Островер* Л. И. (1889—1962)—детский писатель. *Живов* М. С. (1893—1962)—переводчик и литературовед, в начале 1930-х годов—сотрудник «Известий». *Козаков* М. Э. (1897—1954)—

прозаик (упоминается в «*ПА*»). *Шагинян* Мариэтта Сергеевна (1888—1982)—писательница, с которой в 30-е годы Мандельштам был в дружественных отношениях (см. его письмо к ней от 5 апреля 1933 г.— Вопросы истории естествознания и техники, 1987, № 3, с. 131—132).

Стихи о дохе (с. 356).— <I>— *СС-I*, № 455. Полностью— *Герштейн*, с. 42—43. В СССР—Наше наследие, 1989, № 5, с. 108. Печ. по *Герштейн*.

Поздней осенью 1931 г. Мандельштамы снимали «плюшевую» комнату на Покровке у женщины по фамилии Каранович. «Мы прожили два месяца в наемной комнате на Покровке в комнате женщины, уехавшей на работу в Сибирь, но—увы!—за комнату не заплатили» (*НМ-II*, с. 144). Хозяйка прослышала о дешевизне мехов в Сибири и уехала, оставив в Москве мать и сына. Сюда часто приходил В. Яхонтов, и эти стихи они любили читать вдвоем: первые два стиха автор, вторые—чтец, остальное—оба вместе (см.: *Герштейн*, с. 42—43).

«Мяукнул конь, и кот заржал...» (с. 356).— *СС-I*, № 439, под загл. «Павлу Васильеву» и с датировкой: «конец 20-х гг.». Печ. по *СС-I*.

Казак— Павел Васильев (1910—1937), был выходцем из семиреченских казаков, Мандельштам полюбил и высоко ценил П. Васильева; о нем говорили, что он находится под влиянием Мандельштама (см.: *Герштейн*, с. 62—63). *Еврей*—возможно, Исаак Бабель (1886—1940), автор «Конармии», однако, возможно, и сам Мандельштам, на которого П. Васильев в 1933 г. написал пародию (*ГЛМ*, ф. 112, оп. 1, ед. хр. 3).

Эпиграмма в терцинах (с. 357).— *СС-IV*, № 541. Печ. по альбому Е. Я. Архиппова, подаренному им В. А. Меркурьевой (*ЦГАЛИ*, ф. 2209, оп. 1, ед. хр. 16, л. 46).

Вермель Юлий Матвеевич (1900?—1943?)—зоолог, друг и соавтор Б. С. Кузина и двоюродный брат филолога Д. Усова, любитель литературы «ужасов». *Барбей д'Оревилья* (Барбе д'Оревильи) Ж. А. (1808—1889)—французский писатель-романтик, основатель дендизма.

«Ходит Вермель, тяжело дыша...» (с. 357).— *СС-IV*, № 542. Печ. по альбому Е. Я. Архиппова, подаренному им В. А. Меркурьевой (*ЦГАЛИ*, ф. 2209, оп. 1, ед. хр. 16, л. 46об.—47).

«Счастия в Москве отчаяв...» (с. 358).— *СС-IV*, № 543, с разночт. в ст. 1: «Счастия почти отчаяв». Печ. по альбому Е. Я. Архиппова, подаренному им В. А. Меркурьевой (*ЦГАЛИ*, ф. 2209, оп. 1, ед. хр. 16, л. 48).

Он почти что Чаадаев—возможно, намек на родство Вермеля с Е. С. Норовой.

«Какой-то гражданин, наверное, попович...» (с. 358).— *СС-I*, № 450. Печ. по машинописи (*АПЛ*).

«Однажды из далекого кишлака...» (с. 358).— *СС-I*, № 452. Печ. по машинописи (*АПЛ*).

«Там, где край был дик...» (с. 359).— *СС-I*, № 453. Список Н. Я. Мандельштам—*АИ*. Печ. по *АПЛ*, посвящение—по *АИ*.

Сулейман Стальский (1869—1937)—лезгинский поэт-ашуг, автор

стихотворных агиток, приветствий, посланий и величаний, названный М. Горьким в 1934 г. «Гомером XX века» (см. коммент. к «<Оде>»).

«Звенигородский князь в четырнадцатом веке...» (с. 359).— *СС-I*, № 454. Поэт Андрей Владимирович Звенигородский (1877—1961), князь, был дружен с Мандельштамом в начале 30-х годов (см. *НМ-II*, с. 375—376).

Сонет (с. 359).— *СС-I*, № 441, с датировкой: «около 1930-х гг.». Список с разночт. в ст. 3: «По той святой, по той простой» — *АИ*. Печ. по *АПЛ*. Машинопись — *АПЛ*.

Имеется в виду ухаживание Л. Н. Гумилева за М. С. Петровых.

«Марья Сергеевна, мне ужасно хочется...» (с. 360).— Обращено к М. С. Петровых. Список, с разночт. в ст. 1: «Мария Сергевна»,— *АИ*. Печ. по *АПЛ*.

Шенгели.— См. коммент. к ст-нию «Кто Маяковского гонитель...».

«Знакомства нашего на склоне...» (с. 361).— *СС-II*, № 457я. В СССР — *Ю-87*, с. 74.

См. *НМ-I*, с. 215—216: «Еще был Нилендер, эллинист и знаток древнееврейского. Бывший морской офицер, он работал в Публичной библиотеке и приходил обычно под полночь, захватив с собой на всякий случай пакетик чаю. Он переводил Софокла и все рассказывал о «золотом сечении». Однажды Шервинский пригласил О. М. с Анной Андреевной послушать перевод. Вдвоем пускать их не следовало: они чего-то там натворили, пришли с хохотом, и О. М. объяснил... <далее — текст эпиграммы.— *П. Н.*>». *Шервинский* Сергей Васильевич (р. 1892) — поэт и переводчик античных авторов. *Эдип в Колоне* — трагедия Софокла, в переводе В. О. Нилендера вошла в кн.: Софокл. Трагедии. Пер. В. О. Нилендера и С. В. Шервинского. М.—Л., Academia, 1936. *Нилендер* Владимир Оттонович (1883—1965) — поэт и переводчик.

«Какой-то гражданин, не то чтоб слишком пьяный...» (с. 361).— *СС-IV*, № 544, с датой «начало 1934» (по *АМ*). В СССР — в коммент. А. А. Морозова к *НМ-I*, с. 396 (без ст. 1—3); полностью — под загл. «Себастьян Бах» и с разночт. в ст. 1: «не то, чтоб слишком пьян» — в анонимной публ. в ж. «Крокодил» (1990, № 10, с. 7). Машинопись, под загл. «Бах»,— *АПЛ*. Печ. по списку Н. Я. Мандельштам с датой «1934» — *АИ*.

Это ст-ние вызвало интерес чинов ГПУ, проводивших арест и обыск Мандельштама в мае 1934 г. (см.: *НМ-I*, с. 9).

«Привыкают к пчеловоду пчелы...» (с. 361).— *ВП-III*, с. 15. В СССР — *Ю-87*, с. 74. Автограф с датой «1913—1933» — в альбоме Ахматовой (*ЦГАЛИ*, ф. 13, оп. 1, ед. хр. 175). Список П. Н. Лукницкого, с датировкой «февраль 1934» — *АПЛ*. Печ. по *ЦГАЛИ*.

См.: Левинтон Г. А. «Ахматовой уколы».— Анна Ахматова и русская культура начала XX века. М., 1989, с. 43—47.

«На берегу эгейских вод...» (с. 361).— *СС-I*, № 457, без ст. 10 и с разночт. в ст. 2: «аргивяне». В СССР — в статье С. Шумихина (*ВЛ*, 1988, № 3, с. 275). Печ. по машинописи *(АПЛ)*, там же — вариант ст. 4—5: «Паршивый промысел его: // Начальству продавать архивы».

Написано весной 1934 г. в связи с закончившейся скандалом

попыткой приобретения архива Мандельштама Государственным Литературным музеем, во главе которого стоял В. Д. Бонч-Бруевич (подробнее см.: Шумихин С. История архива О. Э. Мандельштама.— *ВЛ*, 1988, № 3, с. 275—280).

«Один портной...» (с. 361).— *Герштейн*, с. 189. В СССР— Герштейн Э. Мандельштам в Воронеже.—Подъем, Воронеж, 1988, № 8, с. 114. Печ. по *Рудаков*, 15.06.1935, с пометой: «Свердловск, 1 июня 34».

В этом письме отнесено к жанру «дурацких басен» (название, видимо, принадлежит Мандельштаму). Написано на пути в ссылку из Москвы в Чердынь.

«Случайная небрежность иль ослышка...» (с. 361).— *Герштейн*, с. 188—189. В СССР—Герштейн. Э. Мандельштам в Воронеже.— Подъем, Воронеж, 1988, № 8, с. 113. Печ. по *Рудаков*, 15.06.1935. Написано вместе с С. Б. Рудаковым.

«Не надо римского мне купола...» (с. 362).— *НМ-I*, с. 419 (коммент А. А. Морозова). Печ. по списку Н. Я. Мандельштам (*АИ*, с пометой: «в газете 35 г., фотография»).

См. *НМ-I*, с. 249. *Луппол* Иван Капитонович (1896—1943)— литературовед и философ, в 1935—1940 гг. возглавлял ИМЛИ АН СССР, во 2-й пол. 1930-х гг.—главный редактор ГИХЛа. *Блок* Ж. Р. (1884—1947)—французский писатель-коммунист и общественный деятель, совместно с Р. Ролланом руководил журналом «Европа». В августе 1934 г. участвовал в работе I съезда советских писателей (видимо, тогда и была опубликована «вдохновившая» Мандельштама фотография; не разыскана). Летом 1937 г. Луппол заявил Мандельштаму, что пока он «...сидит за редакторским столом, Мандельштам не получит ни строчки переводов и вообще никакой работы» (*НМ-I*, с. 269). Ср. также письмо О. Мандельштама В. Ставскому, датируемое 1938 г.: «Уважаемый тов. Ставский! Сейчас т. ЛУППОЛ объявил мне, что никакой работы в Гослитиздате для меня в течение года нет и не предвидится. Предложение, сделанное мне редактором, т. о., снято, хотя Луппол подтвердил: «мы давно хотим издать эту книгу». Провал работы для меня очень тяжелый удар, т. к. снимает всякий смысл лечения. Впереди опять разруха. Жду Вашего содействия—ответа. О. Мандельштам» (*ЦГАЛИ*, ф. 631, оп. 15, ед. хр. 294(2), л. 113, с резолюцией: «Т. Каш.<?—*П. Н.*> Сохраните Мандельштама»).

«Карлик-юноша, карлик-мимоза...» (с. 362).— *Герштейн*, с. 188. В СССР—Герштейн Э. Мандельштам в Воронеже.— Подъем, Воронеж, 1988, № 8, с. 113. Печ. по *Рудаков*, 3.04.1936.

Написано вместе с С. Б. Рудаковым. См.: «О. сочинил четверостишие, долженствующее пародировать Гумилева... <далее текст ст-ния.— *П. Н.*>. Началось так. О. сказал: «Он питается Елозой» (сказал в разговоре—прозаически). А я: «Он питается Елозой // И яичной скорлупой». Через несколько минут О. вопил четверостишие (сперва несколько иное—не запомнил его)» (там же). *Карлик-юноша*—по всей видимости, журналист И. Дунаевский, сотрудник газеты «Коммуна», у которого Мандельштамы снимали комнату зимой—весной 1936 г. *Ело-*

30 С.— в 1936 г. редактор «Коммуны» и член редколлегии журнала «Подъем».

«Искусств приличных хоровода...» (с. 362).— *СС-I*, № 447. Печ. (впервые в СССР) по автографу с датой «24 февраля 1937» *(АМ)*.

Покровский Вадим (1909—19??)—воронежский писатель, кандидат в члены ССП. *Стоичев* Стефан — в 1936—1937 гг. секретарь Воронежского отделения ССП.

«Источник слез замерз, и весят пуд оковы...» (с. 363).— *ВТ*, с. 116. В СССР — *Штемпель*, с. 223. Печ. по автографу, с исправлением описки в ст. 2: «весит»,— *АМ*.

Источник слез— перифраз строки из ст-ния С. Рудакова «Баллада о движении», посвященного Н. Е. Штемпель («в разлив, ранней весной мы сидели с Сергеем Борисовичем на плоту».— *Штемпель*, с. 223).

<Стихи к Наташе Штемпель> (с. 363).— Частично опубл. в *ВТ*, с. 116—118, *СС-I*, № 448, и *СС-IV*, № 546—548, а также в *Штемпель*, с. 218 и 223. Печ. по копиям И. М. Семенко с автографов и записей Н. Я. Мандельштам со слов Н. Е. Штемпель *(АМ)*.

Ср.: «Писал их Осип Эмильевич весело, часто за чаем, когда я собиралась уходить» (*Штемпель*, с. 223).

«Пришла Наташа. Где была?..» — *ВТ*, с. 118. В СССР — *Штемпель*, с. 223.

Ср.: «Особенно потешала Осипа Эмильевича последняя строчка, так как лук я терпеть не могла, да и к вину была совершенно безразлична» (*Штемпель*, с. 223).

«Если бы проведал бог...» — *СС-I*, № 448, с разночт. в ст. 1: «услышал Бог». В СССР — *Штемпель*, с. 218.

В 1937 г. Н. Е. Штемпель преподавала русский язык и литературу в техникуме, до этого — служила в педологической лаборатории.

«Наташа, как писать «балда»?..» — *ВТ*, с. 116. В СССР — *Штемпель*, с. 218.

Ср.: «Я рассказывала техникумовские новости, а однажды пришла в полном смятении, надеясь получить от Осипа Эмильевича совет. На уроке русского языка во время диктанта на вопрос учащегося, как пишется «в полдень», я ответила: «Вместе», имея в виду существительное «полдень». Все тридцать человек написали «полдень» слитно с предлогом «в». Что делать? Эта ошибка меняла оценку, я в отчаянии (был первый год моей педагогической работы). Осип Эмильевич рассмеялся и вместо совета взял карандаш и написал две эпиграммы...» (*Штемпель*, с. 218).

«Наташа, ах, как мне неловко...» — Печ. впервые по записи Н. Я. Мандельштам со слов Н. Е. Штемпель *(АМ)*.

«Наташа, ах, как мне неловко...» — *ВТ*, с. 118. В СССР печ. впервые (по *АИ*).

Загоровский Павел Леонидович (1892—1952) — психолог, профессор Воронежского пединститута, знакомый Н. Е. Штемпель, с которым она познакомила Мандельштама. *Мама*.— См. о ней: *Штемпель*, с. 213—214.

«Наташа спит. Зефир летает...» — *ВТ*, с. 118, без ст. 5—8. В СССР печ. впервые (по записи в *АМ*, с датой «24 февраля 1937»).

Источник слез.— См. коммент. к ст-нию «Источник слез замерз...».

«Эта книга украдена...» (с. 364).— *ВТ,* с. 116 (в иной графике). В СССР — *Штемпель,* с. 222.

Шуточная надпись, приложенная к экз. *С,* подаренному Мандельштамом Н. Е. Штемпель. *Троша*— знакомый Мандельштама и Рудакова, вместе с которым последний одно время снимал комнату. Троша похитил в местной библиотеке книгу Мандельштама. *СХИ*— Сельскохозяйственный институт. *Резинкою Вадиной.*—Имеется в виду Вадик Вдовин, сын хозяйки квартиры, где жил Мандельштам. *Посещения дядина.*— Дядя Н. Штемпель, которого она очень любила, в это время болел.

Подражание новогреческому (с. 364).— *СС-I,* № 449, без загл. и примеч. *ВТ,* с. 117, без загл. В СССР—Лит. учеба, 1987, № 3, с. 150, без загл. и примеч. (в статье П. Нерлера «Мандельштам—читатель Пушкина»). Печ. по автографу *(AM),* заглавие по *Штемпель,* с. 223.

Ср.: «Шутка была связана со мной и Павлом Леонидовичем <Загоровским.— *П.Н.*> (там же).

«О, эта Лена, эта Нора...» (с. 364).— *СС-I,* № 338 (1-е изд.). *ВТ,* с. 116. В СССР печ. впервые (по записи Н. Я. Мандельштам со слов Н. Е. Штемпель).

Ср.: «У меня была сослуживица по Институту Гигиены и Санитарии, немоложавая женщина Нора Яковлевна Эпштейн. Очень важная и тонкая дама. Она ярко красила губы, хорошо одевалась, работала лаборанткой, но ее муж был главный врач клинической больницы, он относился к работникам ИТР (инженерно-технические работники), имел благодаря этому ряд привилегий, жили они в новом, только что выстроенном доме в Итэеровском переулке (ныне ул. Чайковского), что придавало Норе Яковлевне еще больше важности. Тут же в институте работала и ее сестра Елена Яковлевна, она была попроще, поскромнее, ее мужа Федю <Маранца.— *П. Н.*>, агронома (в прошлом скрипача), очень тихого симпатичного человека, Осип Эмильевич знал еще по Киеву и хорошо к нему относился. Даже изредка днем на несколько минут Мандельштамы заходили к нему» (из неопубликованной части воспоминаний Н. Е. Штемпель).

Решенье (с. 364).—*СС-I,* № 456. В СССР—в анонимной публ. в ж. «Крокодил» (1990, № 10, с. 7, с ничем не объяснимой датой «1920»). Печ. по автографу—*ЦГАЛИ,* ф. 1893, оп. 2, ед. хр. 1, л. 4, на обороте— строчка: «Я видел озеро...» (ст-ние «Реймс—Лаон» написано в марте 1937 г.).

Приложения

Экспромты. Отрывки.
Строки из уничтоженных или утерянных стихов

«Поднять скрипучий верх соломенных корзин...» (с. 436).—Сохранилось в памяти М. М. Карповича (1888—1959), познакомившегося с Мандельштамом в Париже 24 декабря 1907 г. Он

сообщает о не дошедших до нас ст-ниях Мандельштама 1908 г. «С таким же увлечением он декламировал и лирические стихи Верлена и даже написал свою версию Gaspard Hàuser'a <Каспар Хойзер (1812—1833)— таинственный нюрнбергский узник, подозревавшийся в высоком происхождении.— *П. Н.*>. Как-то мы были с ним на симфоническом концерте из произведений Рихарда Штрауса под управлением самого композитора. Мы оба (каюсь!) были потрясены «Танцем Саломеи», а Мандельштам немедленно же написал стихотворение о Саломее... В апреле 1908 г. я ездил на две недели в Италию. Мандельштам принял очень близко к сердцу это мое первое итальянское паломничество и отозвался на него стихами. Но даже из этого, мне посвященного, стихотворения в памяти сохранилась почему-то только одна строка: «поднять скрипучий верх соломенных корзин» (в моем багаже действительно была такая, вывезенная из России, корзина)» (Карпович М. Мое знакомство с Мандельштамом.— Новый журнал, Нью-Йорк, 1957, № 49, с. 259. В СССР — *Д-88*, с. 110).

«.........коробки...» (с. 436).— *ВРСХД, т. 111*, с. 174. В СССР печ. впервые по *СС-IV*, № 502.

«Я давно полюбил нищету...» (с. 436).— *Одоевцева*, с. 271 (1-е изд.— Вашингтон, 1967). Дата — по *Рудаков*, 21.05.1935.

См. там же: «Акмеизм в 1912 году у него выковал такие стихи о бедном художнике, живущем на чердаке и имеющем специфические «легкие», «тяжелые», «упрямые» etc. вещи даже в быту—

..........художник
Чтобы кофе сварить на спирту,
Он купил себе легкий треножник.

Стихи писались серьезно, но потом отвергнуты и стали анекдотом».

«Под зефиры весны...» (с. 436).— Печ. по *ЛО*, 1986, № 7, с. 109 (предисл. А. Лаврова и Р.Тименчика к публикации переписки М. Лозинского и А. Блока).

Экспромт Мандельштама — обратный перевод со сделанного М. Лозинским перевода на латынь известного двустишия А. Кольцова: «Что ты спишь, мужичок? // Ведь весна на дворе...»

«Целует мне в гостиной руку...» (с. 437).— *Герштейн*, с. 274. Печ. по *Рудаков*, 6.02.1936.

См. там же: «Она <Ахматова.— *П. Н.*> говорит, что пушкинисты ее дразнят по поводу ее дома, его историчности:

А мы живем как при Екатерине—

Дальше вышло весело. Я говорю:

Многооконный на Фонтанке дом.

А оказывается, О. ее раньше коверкал:

Целует мне в гостиной руку —
И бабушку на лестнице крутой».

(ср. ст-ние Ахматовой «Течет река неспешно по долине...», 1917).

«..........Канделаки...» (с. 437).— *НМ-II*, с. 77.

Канделаки Д.— нарком просвещения Советской Грузии (*НМ-II*, с. 77). *Брихничев* Иона Пантелеймонович (1879—1968)—до революции расстриженный священник (из «голгофских христиан»), поэт и публицист (см. письмо к нему А. Блока от 26 августа 1912 г.), в 1921 г. ответственный сотрудник Госиздата Грузии.

«Однажды прапорщик-заика...» (с. 437).— Записано П. Н. Лукницким на полях машинописи шуточных стихов Мандельштама (*АПЛ*).

Вакс ремонтнодышащий (с. 437).— *НМ-I*, с. 334.

Вакс Борис Арнольдович (погиб в 1941 г.), драматург, автор бездарных пьес о Парижской коммуне, был соседом Н. И. Харджиева в Марьиной Роще. Мандельштам любил над ним потешаться (сообщ. Н. И. Харджиевым).

* «Убийца, преступная вишня...» (с. 438).— Печ. впервые по копии И. М. Семенко с автографа (*АМ*).

Ритмически тяготеет к восьмистишиям.

«В оцинкованном влажном Батуме...» (с. 438).— Процит. в *НМ-II*, с. 87. Печ. по *СС-IV*, с. 27, с датой «[апрель 1934]».

См.: «Центросоюз в Батуме <в 1921 г.— *П. Н.*> вышел в меценаты и за лекцию о Блоке выдал Мандельштаму материю на костюм и на два платья для меня. Мандельштам в 34 году (конец апреля) вспомнил, как мы «Над лимонной Курою в ущелье балконном шили платье у бедной портнихи...». В мае рукопись отобрали, и она пропала. Восстановить стихотворение нам не удалось — оно было слишком свежим» (*НМ-II*, с. 87).

* «Это я. Это Рейн. Браток, помоги...» (с. 438).— Печ. по зачеркнутому черн. автографу (*АМ*).

Набросок одного из вариантов цикла «Кама».

«Я семафор со сломаной рукой...» (с. 438).— *Герштейн*, с. 187. Печ. по *Рудаков*, 17.04.1935.

Ср. там же: «Сегодня <разговор.— *П. Н.*> — опять о рельсах, что видны с балкона, и о том, скоро ли нас повезут поезда. А он говорит... <далее цитата.— *П. Н.*> (У него сломана правая рука выше локтя)».

«И пламенный поляк—ревнивец фортепьянный...» (с. 438).— *СС-IV*, № 522 (по *АМ*, разрозненные строчки).

«На этом корабле есть для меня каюта...» (с. 439).— Печ. по *СС-IV*, № 524, с датой «[1937]».

Записано Дж. Бэйнс со слов Н. Я. Мандельштам.

«Но уже раскачали ворота молодые микенские львы...» (с. 439).— *СС-IV*, № 526.

Записано Дж. Бэйнс со слов Н. Я. Мандельштам. См. коммент. к ст-нию «Кувшин».

«В Париже площадь есть—ее зовут Звезда...» (с. 439).— *CC-IV*, № 527.

«Такие же люди, как вы...» (с. 439).— *CC-IV*, № 528, где печ. по тексту, сообщ. А. А. Морозовым. В ст-нии всплыли давние впечатления поэта об армянах и армянской культуре.

«И веером разложенная дранка...» (с. 439).— *CC-IV*, № 529, где печ. по тексту, сообщ. А. А. Морозовым.

«Река Яузная...» (с. 440).—Сохранилось в памяти Д. М. Маторина. Возможно, неточная цитата из ст-ния «Там, где купальни, бумагопрядильни...». Печ. по: Нерлер П. Последние дни.—Наше наследие, 1988, № 6, с. 102.

«Черная ночь, душный барак, жирные вши...» (с. 440).— Список рукой неустановленного лица—*АЕМ*. Печ. по воспоминаниям В. М. Меркулова о пребывании Мандельштама в пересыльном лагере под Владивостоком (Нерлер П. «С гурьбой и гуртом...» Хроника последнего года О. Э. Мандельштама.—Минувшее, Париж, 1989, вып. 9, с. 369).

Принадлежность этих строк Мандельштаму не бесспорна.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ СТИХОТВОРЕНИЙ

Содержание

Стихотворения

(1908—1925)

* Цифра второго столбца обозначает страницу приложений.

Новые стихи

(1930—1937)

Стихотворения разных лет

Стихи для детей

Шуточные стихи

Приложения

Разные редакции и наброски

Мандельштам О. Э.

М23 Сочинения. В 2-х т. Т. 1. Стихотворения. Сост., подготовка текста и коммент. П. Нерлера; Вступ. статья С. Аверинцева.— М.: Худож. лит., 1990.—638 с.

ISBN 5-280-00559-2 (Т. 1)

Первый том Сочинений крупнейшего русского поэта XX века О. Э. Мандельштама (1891—1938) составили стихотворения, созданные им на протяжении жизни, включая стихи для детей.

М $\frac{4702010206\text{-}124}{028(01)\text{-}90}$ 49-89

ББК 84Р7

Осип Эмильевич Мандельштам

СОЧИНЕНИЯ В ДВУХ ТОМАХ

Том 1

Редактор *Т. Беднякова*

Художественный редактор *Г. Масляненко*

Технический редактор *Л. Платонова*

Корректоры *Н. Замятина,*
Т. Сидорова

ИБ № 5290

Сдано в набор 29.06.89. Подписано к печати 23.04.90. Формат 84×108[1]/[32]. Бумага тип. № 1. Гарнитура «Баскервиль». Печать высокая. Усл. печ. л. 33,6+вкл.+альбом=34,49. Усл. кр.-отт. 35,8. Уч.-изд. л. 35,21+вкл.+альбом=35,97. Тираж 200 000 экз. Изд. № II—3018. Заказ № 2561. Цена 6 р.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература», 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени МПО «Первая Образцовая типография» Государственного комитета СССР по печати. 113054, Москва, Валовая, 28.